ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ

В РОССИИ ВСЕ ПОЭТЫ – СТРАННИКИ

* * *

Спой мне песню, свиристель —
Городской красавчик,
Как в жестокую метель
Заблудился мальчик.

Не ему ль ты навевал
Сладкую истому?..
За собой зазывно звал,
Провожал до дому.

Белоснежная постель.
За окошком — ветка.
А на ветке — свиристель —
Шестиклинка кепка,

Грудь — горящий уголёк,
Стильная одёжка...
Я тогда простыл и слёг —
Приболел немножко.

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич — известный современный русский поэт. Родился в 1952 году. Закончил факультет режиссуры Куйбышевского государственного института культуры и искусства и Высшие литературные курсы Московского литературного института. Автор 9 поэтических книг и множества публикаций в изданиях России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Живёт в Самарской области.

Ты меня сумел согреть.
Я, как мог, лечился,
Задушевно жить и петь
У тебя учился.

Я тебя уже люблю
За мечты-надежды.
И такие же куплю
Для себя одежды.

Под твою запел свирель,
Стал поэтом мальчик...
Ясноглазый свиристель,
Городской красавчик.

* * *

Целуемся с тобой в подъезде,
На целый белый свет одни.
Спасибо всем твоим соседям
За то, что крепко спят они.
За то, что нас они не слышат —
Мы не мешаем никому.
Ваш дворник подметать не вышел —
Ну, что ж, спасибо и ему.
Хотя и не за что, конечно,
Но пусть его жильцы простят,
Поскольку он вчера, сердечный,
Немного перебрал в гостях.
Спасибо, утренняя почта,
Что не спешишь к нам в выходной,
Ещё спасибо всем за то, что
Моя любимая со мной.

МЕТЕЛЬ

Когда небесная Медведица
Снег рассыпает из ковша,
Метёт тобольская метелица
Над побережьем Иртыша.

Метель, лихая сумасбродница
И леденящая мольба.
Она острожная колодница
И каторжанская судьба.

Метель, сибирская кандальница,
С упрёком смотрит мне в глаза.
Она народная печальница
И Достоевского слеза.

Её попутчиком и мытарем
Пустился я в далёкий путь.
Земля, такой слезой умытая,
Меня не может обмануть.

Пока тобольская метелица
Метёт просторы Иртыша,

Позволь, небесная Медведица,
Испить из твоего ковша.

Своей попоной серебристою
Ночной морозною порой,
Своей дымящейся, искристою
Медвежьей шубою накрой.

Возьми в сердечные избранники
И обними, и обогрей.
В России все поэты — странники
Метельной Родины своей.

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК

По тюремному замку к плечу плечом
Мы шагаем с художником-москвичом.
Гулко наши шаги звучат в полутьме.
Породнились мы с ним в тобольской тюрьме.

Он Лукьянов Иван и подельник мой.
Повязала нас крепко судьба тюрьмой.
Трижды здесь подавлялся тюремный бунт.
Знаменитые люди сидели тут.

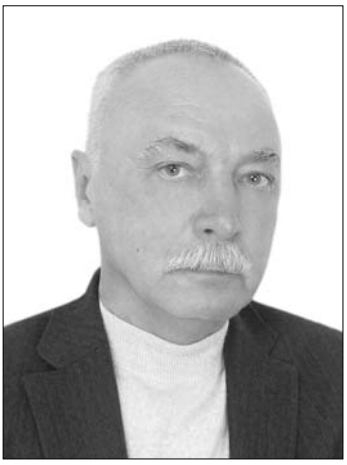
Здесь влачил Чернышевский тюремный срок.
Проклинал Короленко жестокий рок.
Если выйдем на волю из этой тюрьмы,
Знаменитыми будем с тобою мы.

Открывается карцера глухо дверь.
Чую я — не к добру это всё теперь.
Заходи побыстрей, не робей, Иван.
Этот карцер в народе зовут “стакан”.

В этом карцере нету сидячих мест.
Он для самых стойких — тяжёлый крест.
И хотя маловат на двоих “стакан”,
Выпьем чашу судьбы, мой собрат Иван.

Но толкает нас в спину экскурсовод,
Потому что заканчивает обход.
И выходим вдвоём из лихой тюрьмы
На свободу с чистой совестью мы.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ



ПОСЕЛЕНИЕ

РОМАН

И отвалились от земли руки у Серого:
“Поневоле сдашь её, землю-то: её,
матушку, в порядке надо держать,
а уж какой тут порядок!”

И. А. Бунин. “Деревня”

1

Начать сенокос как обычно после Петрова дня Виталику Смирнову в этот раз не удалось. Всему виной был установившийся с недавних времен порядок пасти деревенское стадо по очереди… и собственная слабохарактерность. Сразу три дома попросили выручить, попасти за них не в свою очередь. Конечно, можно было бы и заупрямиться, отказать. Но уж больно причины у всех были серьезные и уважительные. У одних умер близкий родственник где-то в дальних краях, у других разом заболели корью гостившие внучата из города, у третьих призывали (что случалось всё реже и реже, и воспринималось уже как экзотика) сына в армию. Виталик помялся, поёжился, поулыбался тихими васильковыми глазами… и пошёл всем навстречу. По жизни он предпочитал особо ни с кем не заедаться и вообще был покладистым малым, хотя на сердце заныло — для своих трёх коров и пяти овец с ягнятами

ПОПОВ Александр Владимирович родился в 1953 году во Владимирской области. Окончил Московский полиграфический институт. Работал корреспондентом “Комсомольской правды”, “Огонька”, заведующим отдела очерка и публицистики журнала “Молодая гвардия”, заместителем главного редактора исторического журнала “Родина”, шеф-редактором журнала “Союзное государство”, главным редактором интернет-изданий. Живёт в Москве.

сена надо было каждый год запасать тонны, и тут каждый день в середине июля, в самую жаркую пору, когда накошенная трава высыхала на глазах, был на счету. Да и косилку он уже навесил на трактор, прошприцевал всё, подтянул, опробовал на холостом ходу. И готовился начать обкашивать овраг за деревней, где трава в этом году после сырой и затяжной весны поднялась как никогда густая и сочная. И вот на тебе, предстояло отдать четыре золотых денёчка на занудное кочевание с коровами и овцами по лугам, псу под хвост, безо времени… И это его тяготило, как всегда тяготило то, что приходилось делать, словно с перепугу, нежданно-негаданно, без наторенного, привычного порядка.

Но в первый же день досадного, несвоевременного пастушества, когда Виталик погнал ранним утром жиденькое деревенское стадо — три десятка пёстрых, разнопородных коров и грязно-серую, лохматую сплотку овец — по привычному маршруту в пойму Кержи, подкрался мелкий, несмелый, как начинающий воришка, дождь, и от сердца Виталика отлегло.

Он шёл за нестройно рассыпавшейся вдоль шоссе, голодно припадающей с утра к траве скотиной, пощёлкивал для острастки на отстающих, колченогих, страдающих копыткой овец, коротким ременным кнутиком на длинном кнутовище, отполированном в ладонях до лакового блеска, посматривал на быстро затягивающееся тёмно-серыми тучами небо и думал, что оно может быть и ничего, что досталось вот так неожиданно пасти, косить в такую погоду всё равно нельзя, и в этом смысле хорошо, что так получилось. Но когда пристальнее оглядывал из-под длинного козырька бейсболки набухающие влагой и всё ниже проседающие на землю облака, мысли опять приобретали неспокойный характер — главное, чтоб на сеногной не завернуло, как два года назад. Тогда вот так же начиналось с сопливого, тёплого дождичка, а разошлось нелетними, холодными ливнями на три недели, так что за покос он взялся только в августе. А какое сено в августе — проволока, а не сено…

И, словно подслушивая невесёло-обременительные мысли Виталика, дождь пришпорил, смелее зашуршал по крапиве и лопухам, редким, объеденным овцами, кустам вдоль дороги. Виталик достал из брезентовой сумки через плечо предусмотрительно захваченный, аккуратно скрученный в рулон, матово-прозрачный полиэтиленовый дождевик с капюшоном, тщательно обрядился в него, застегнувшись на все пуговицы-кнопки, разгладил на себе, огляделся и, визгливо скользя резиновыми сапогами по сырой траве, побежал заворачивать непутёвую, вечно отбивающуюся от стада, глупо-строптивую корову Генки Демьянова, которая и в это утро, как всегда, самоуверенно и нагло направилась в сторону зеленеющей капусты на крайнем от села приусадебном участке. “Какая вредная тварина — вся в хозяина!” — беззлобно думал Виталик, несколько раз легонечко, щадяще приложившись кнутиком к худым, с намертво присохшим навозом, ляжкам коровы. Корова обиженно повела на него своим большим, глупым оком и коряво припустила, тяжело болтая огромным круглым выменем, размером с футбольный мяч, с заляпанными грязью сосками, куда-то во главу стада. Виталик перегнал табун через шоссе, с искрошенным, переломанным в мелкую плитку асфальтом, и вольно распустил стадо по отлогому косогору к реке. Теперь можно было расслабиться и передохнуть, подкрепиться чем Томка снарядила в дорогу. Он присел под густые, запахшие горечью под дождем кусты черёмухи на горке, выбрав место посуше у корневищ, и с удовольствием позавтракал парой яиц вкрутую, варёной курятиной, запив всё горячим чаем из термоса. Томка у него была баба хозяйственная и заботливая, Виталик подумал о ней с теплотой, и в который раз, что женился правильно.

Пасти ему выпадало обычно три-четыре раза за сезон с мая до середины октября, и это было для него каторгой. Не любил он уныло-тягучее, изнурительное пастушье дело. Четыре дня — три за коров и один за овец (так почему-то было определено в деревне) — монотонного, однообразного перемещения вдоль реки и одичавших полей, когда время шло черепашьим шагом, всё на ногах, и в дождь, и в жару всегда в резиновых сапогах, так, что до неестественной белизны опревали пальцы на ногах, сухомятка, вставание ни свет ни заря, усталость за день, что отваливались, становились ватными

ноги — выматывали его до такой общей разбитости, полного изнеможения, что обычно на четвёртый день не хотелось ни вставать, ни шевелиться, ни есть, ни пить. То ли дело было прежде, когда всем селом нанимали пастуха, скидывались ему на зарплату, кормили по очереди самым вкусным и лучшим, чтоб старался, скотинку не обижал… и горя, как говорится, не знали. Правда, тогда и стадо было побольше, под двести голов, в каждом хозяйстве держали корову и не одну, телят, овец по десятку.

Виталик оторвался от воспоминаний и нашарил в сумке китайский приёмник, специально подаренный ему сыном в прошлом году на случай такой вот одинокой, скучной работёнки. Покрутил колёсико настройки, везде с утра зубоскалили, смешили друг друга, рассказывали хохмочки и байки, пели непонятные песенки, что-то трещали про цены, курсы, индексы. Виталик с отвращением выключил радио. Ничего дельного, чтобы хоть что-то услышать полезного, чтобы хоть кто-то рассказал, как жить тут, как другие живут. Одна неразбериха какая-то и тарабарщина — триллеры, трейлеры, ритейлеры… и не выговоришь, и ничего не понять. Он действительно не понимал, что происходило за пределами его хозяйства, семьи, возни с коровами, отёлами, стрижкой овец, выпаиванием телят, чисткой навоза, сенокосом, уходом за домом, продажей молока, сметаны, творога… Раньше понимал, а вот теперь, хоть убей, не понимал. Нет, он понимал, что надо как-то выживать, что-то зарабатывать, крутиться, прикапливать деньги на свадьбу сыну и дочери, ведь когда-то они будут жениться и замуж выходить, нужна им будет и крыша над головой, не всё же по общежитиям и чужим углам отираться, а там надо будет обзаводиться обстановкой, пойдут дети, их нужно будет каждый день поить-кормить, покупать одежду-обувь… Опять же внукам помогать надо, как же без этого… Но вот как всё это устроить, как приладить и завинтить в одно целое, чтобы было от чего-то устойчивого и надежного оттолкнуться и пойти, пойти дальше от одного к другому, налаженным ходом? Как? Этого он решительно не понимал. Раньше понимал, когда работал в совхозе на машине, потом на кране… был везде нарасхват, знал, что будет делать каждый день, сколько заработает, сколько налевачит, на сколько и чего купит для хозяйства, на какие шиши приоденется с женой и детей в школу соберёт. И сколько на главное дело, можно сказать, мечту заветную, на книжку положит…

В армии Виталик служил в ГДР, в автороте, на авиабазе под Дрезденом. Служба была необременительной, другие ходили в караулы, сутками не спали, охраняя хранилища и ангары, бегали по боевой тревоге, палили на пыльных стрельбищах, чеканили шаг на плацу, а Виталик исправно крутил баранку огромного и неуклюжего на вид, крокодилистого “Урала”, перевозил разнокалиберные армейские зелёные ящики со складов на аэродром и обратно, бомбы и ракеты в круглой опалубке, всегда гомонящих и хохочущих, радующихся, как дети, любой поездке на машине солдат, картонные коробки с маслом и тушёнкой, авиазапчасти, бочки с техническим спиртом, хозинвентарь, мебель и немудрёный скарб вечно кочующих из гарнизона в гарнизон офицеров. У других ни минуты покоя и отдыха, всё по часам и уставу, а Виталик набросит пилотку на глаза и подрёмывает себе, вытянув ноги, в просторной, пахнущей нагретой кожей и соляркой, кабине грузовика, кемарит, пока не загрузят-разгрузят кузов, матерясь, на полусогнутых сноровистые, неутомимые солдатики. Но Виталик, надо заметить, не только меланхолично позёвывал на службе, не только лениво подсчитывал, сидя в теплой машине, как и большинство шоферов, в календарике вожделенные денёчки до дембеля или наводил бархоткой от безделья на сапогах глянец… Нет, не всё так однозначно, водилась за Виталиком как бы одна страстишка. И даже не страстишка, а врождённое свойство его натуры. Тут надо сказать, что Виталик был весьма любопытен и наблюдателен по природе, а потому с самым живейшим интересом и внимательнейшим образом присматривался ещё ко всему, что вокруг происходит, деется, особенно у немцев этих, когда выпадало, допустим, к соседям под Лейпциг, где тоже стояли летуны, наведываться.

Виталику нравились опрятные, вылизанные улицы; ровные, выложенные плиткой тротуары; обвитые плющом или диким виноградом неброские,

но какие-то надёжно сработанные, каменные дома немцев; низкие, хорошо прокрашенные, пряменькие изгороди между соседями; цветники, клумбы, подстриженные бобриком газоны; чистота и порядок во дворах, где всё было продумано и каждый предмет знал свое место; правильно сформированные, подрезанные деревья. Но особенно эти прочные, двухэтажные дома из камня повсеместно… Они не выходили из головы, волновали его. А почему не построить что-то похожее у себя в деревне, и не зажить вот так же крепко и основательно, часто думал он, и его не раз подмывало как-нибудь остановиться вот у такого домика, зайти, осмотреть всё внимательно, расспросить, как строить надо, может быть, план срисовать… Он даже не выдержал и осторожно подступился с таким предложением к прапорщику Зозуле, с кем у него за два года службы и частых совместных поездок в командировки сложились вроде бы неплохие, чуть ли не приятельские отношения. "Ты шо, сдурел, хлопец? — насмешливо посмотрел на него прапорщик Зозуля, огромный, добродушный, пузатый хохол откуда-то из-под Ровно. — Контакты с местными… ни-ни! — Зозуля решительно рубанул воздух рукой, похожей на медвежью лапу, — у тебя в кузове богато всяких интересных хреновин понакидано… узнают, что стоял, балакал с немчурой… замордуют!" Виталик понял, что сморозил глупость, и смиренно прикусил язык.

Но, как говорится, кто ищет… Словом, однажды возвращались на базу из очередной поездки к каким-то дальним авиаторам, и тут надо было такому случиться, что у всегда надежного, как танк, "Урала" неожиданно закипел двигатель. Впрочем, не мудрено, жара установилась тогда, несмотря на начало мая, нестерпимая, градусов за тридцать. Виталик поднял крышку парившего, как поспевший самовар, капота и понял, что без ведра холодной воды не обойтись. К счастью, тормознули у буйно цветущей яблоневой аллеи, уходящей от основного шоссе куда-то в глубь поля к краснеющим черепицей постройкам. Подумав, заметно посомневавшись, сопровождающий груз офицер, капитан Седельников, прозванный за не по чину повелительно-строгое, сухо-надменное обращение с сослуживцами Генерал-капитаном, всё-таки приказал Виталику сходить за водой к "бауэру", только, свирепо рявкнул он, быть там предельно осторожным, в дом не заходить, лишний раз пасть не открывать, поздороваться, да поприветливее — "guten Tag!", попросить "wasser", сказать "danke", и быстренько, на рысях, обратно. "Gut?" — грозно посмотрел капитан на Виталика. Виталик молча, втайне обрадовавшись, отмотал прикрученное проволокой к запаске, помятое ведро и отправился, как по райской дорожке, под гудящими пчёлами в кипенно-белом цвету яблоневой аллеи к "бауэру". "Вот таким будет подъезд и к моему дому", — отметил он, осторожно, можно сказать, трусовато, вступая на незнакомый, чужой, немецкий двор.

Перед ним отрылось довольно широкое пространство в форме буквы П, вымощенное столетней, обкатанной временем до серо-сизого блеска брусчаткой. Справа под навесом стоял довольно потрепанный колесный тракторишка с брезентовым вылинявшим верхом на четырёх железных стойках и новенький белый "Трабант"; слева, также под навесом, были аккуратно, в рядок, расставлены плужки, культиваторы, сеялка, бороны. Виталик по-деревенски опытно отметил сверкающую сталь лемехов и зубьев борон от недавней работы с землей. Впрочем, судя по темным подтекам на брусчатке, технику здесь только что и помыли. Под навесами было прохладно и сумрачно, и от того как-то особенно радостно и приподнято выделялся на солнце выкрашенный нежной, розовой краской, большой, двухэтажный дом с лепной, в вензелях цифрой "1885" на треугольном фронтоне. В центре двора на высокой клумбе цвели желтые и красные тюльпаны. Виталик почувствовал, как у него разливается на сердце тепло. Вот так нужно сделать и у себя дома.

У трактора возился коренастый, плотный, средних лет человек в синем, замасленном комбинезоне, позвякивал ключами по металлу. Когда Виталик вошёл во двор, он оторвал крепко посаженную, на короткой шее, с жидкими прядями светло-рыжих волос голову от работы и с тревожным недоумением взглянул на гостя. Виталик, напрягая все свои познания в немецком языке, вынесенные из курса средней школы, сказал, что "main auto stop…

bitte, wasser". Как ни удивительно, но немец его понял и показал на колонку в углу двора. Пока ведро наполнялось водой, Виталик ещё раз с плохо скрываемым восхищением оглядел двор и дом, что не укрылось от хозяина. Вытирая на ходу ветошкой руки, немец подошел к Виталику.

— Карл, — гортанно выдохнул немец, протягивая широкую ладонь, и добавил наполовину по-русски, наполовину по-немецки: — Здравствуй, kamerad!

"Не воевал, на вид — перед войной родился", — подумал Виталик, пожимая руку немца.

— Карашо? — сказал Карл, махнув ветошкой вокруг себя.

— Хорошо, — сдержанно подтвердил Виталик и неожиданно начал объяснять на смеси немецкого и русского: — nach Heimat bauen auch Haus... хочу сделать такой же дом... на родине... nach Heimat!

Немец и это понял.

— Карашо, очен карашо! — схватил он ещё раз и потряс, смеясь, руку Виталика. — Kom... kom, kom! — показал на вход в дом.

Виталик замялся, вспомнив строгие наставления капитана.

— Бистро, очен бистро! — понимающе увлёк его под локоток немец.

Виталик был уже не рад, что связался с этим "фрицем", но любопытство пересилило страх. "А-а, семь бед, один ответ. Когда ещё посмотришь, как изнутри они живут!". Дом изнутри, однако, на взгляд Виталика, был не совсем правильно спланирован — слишком много маленьких комнаток, кладовок и подсобок, всё это было бы лучше укрупнить, расширить, придать размах... Но вот кухня ему понравилась с первого взгляда, поразила своей просторностью, ухоженностью, блеском эмалированной посуды на полках, ладно подогнанными друг к другу шкафами на стенах с горками тарелок, чашек, затейливыми рюмочками, стаканами, с идеально чистым кафельным полом, большим круглым столом посередине, обставленным стульями с высокими спинками, букетом сирени в прозрачной вазе на белой скатерти. "Вот такую чистоту и порядок заведём и у нас на кухне, где будем собираться всей семьёй за круглым столом", — разом размечтался Виталик. Немец угостил его из сифона стаканом шипучей воды с привкусом лимона и неожиданно достал из холодильника бутылку пива и кружок домашней колбасы, нарезал хлеба, упаковал все в полиэтиленовый пакет и протянул Виталику. Посмотрев на немца, на его доброе, просиявшее искренностью лицо, в светлые, без фальши глаза, Виталик понял, что жеманиться и отнекиваться здесь не надо, и принял подарок.

— Тебя только за смертью посылать, рядовой... Почему так долго? — подозрительно ощупав Виталика взглядом, процедил сквозь зубы тоном, не предвещающим ничего хорошего, Генерал-капитан, когда Виталик нарочито суетливо, энергичной трусцой подбежал к машине, стараясь не расплескивать в одной руке воду в ведре, зажав другой под горло пакет с пивом и колбасой.

— Да бауэр пахал на задворках, я ему махаю, махаю... далеко, пока он подъехал... а колодезь у него на замке, — соврал первое, что пришло в голову и прикинулся валенком Виталик, забираясь на высокий бампер "Урала", залить воду в радиатор.

— "На задворках... махаю... колодезь"... деревня! — недовольно передразнил Генерал-капитан. — А что у тебя тут? — осторожно, двумя пальцами, поднял с земли за ушки пакет, аккуратно приставленный Виталиком к переднему колесу грузовика.

— Да немец что-то сунул в руки, когда я побёг обратно с водой, — сказал Виталик, вытирая пилоткой пот со лба. "Вот влепит под горячую руку пяток нарядов вне очереди, карячься потом со шваброй в казарме после отбоя!" — подумал Виталик, физически ощущая, как нарастает, готовый вырваться огнём, нешутейный гнев в капитане.

— Что-то в руки сунул! А если он тебе гранату в штаны сунет, так и побежишь придурком! — заорал капитан. — О, пивко, запотевшее... холодненькое, колбаска домашняя! — заглянув в пакет, резко убавил обороты Генерал-капитан, — не отравленное? — сурово пронзил взглядом Виталика.

— Давайте на мне испробуем, товарищ капитан, — облизнул сухие губы Виталик.

— Ты у меня испробуешь, ты у меня испробуешь наряд вне очереди! — машинально, смягчившимся голосом пропел Генерал-капитан, точным, отработанным движением срывая крышку с бутылки о край подножки. — Хорошо, рядовой, на жаре холодненького пивка принять!

Виталик понял, гроза миновала, и с облечением вздохнул.

— Не вздыхай, — сделал несколько крупных глотков из бутылки Генерал-капитан, — пива я тебе всё равно не дам, ты за рулем, а вот колбаски пожуй, заслужил! — и протянул пакет Виталику.

После армии Виталик как-то очень тихо и незаметно женился. А что оставалось делать. Не шляться же с парнями по деревенским улицам с переносным магнитофоном до рассвета, не травить же по лавочкам, лузгая семечки, байки и анекдоты, не пить же портвешок до одури и беспричинных драк до увечий. Нет, Виталик был другой, ему нравилась полезная, правильная жизнь. Во всём размеренная, во всём аккуратная и с какой-то своей завершённой ладностью. Скажем, копает Виталик грядки, так он их так приподнимет, глубоко, на весь штык, врезая лопату в землю и перекидывая пласт повыше, так тщательно потом каждый комочек руками разомнет, граблями любовно разрыхлит и обхлопает для стойкости лопатой по боковинам, что вырастут в огороде, выровненные в строгую линейку, не грядки, а настоящие клумбы в каком-нибудь ухоженном немецком городке. Любо-дорого посмотреть. Или колет он дрова на дворе, так поленья бросает не как попало, куда рука "поширше маханёт", а в кучку поладнее и повыше прилаживает, чтоб лужайку меньше засорять. А когда дрова подсохнут, перенесёт их в поленницу в сарай, и каждую щепку, завиток берёсты соберёт в корзину, и на дворе чисто, и на растопку зимой сгодится.

Не любил Виталик в жизни беспорядок, неряшливость или разор какой… Всё в нем от "бардака" протестовало, появлялось желание поправить, сделать хорошо. Но Виталик понимал, что он очень "маленький" человек, и потому особо не высовывался, не лез без команды вперёд… Хотя душа болела… Случится, пошлют его на машине сено перевозить куда-нибудь в дальнюю, "неперспективную" деревеньку, где остались три одинокие бабки куковать, а дома все брошенные стоят, так пока разнорабочие сено в кузов навиливают, Виталик пройдётся по оставленным избам, повздыхает, что ушла большая и налаженная жизнь, и ничего другого не придумает, как что-нибудь полезное найти, сохранить или запомнить, с расчётом на будущее, так сказать. Хоть так, чтоб не всё пропало бесследно. Однажды подобрал в старом сарае топор с подгнившим топорищем и немецким клеймом двадцать пятого года. Оказался топор крупповским, Виталик вымочил его в керосине, очистил от ржавчины, насадил на новое топорище, наточил в кузнице на электрическом точиле, и стал топор острее бритвы — одно удовольствие было им с деревом работать. А с деревом Виталику очень по душе пришлось зимними вечерами заниматься. Полюбилось ему всякие финтифлюшки деревянные вырезать — наличники, балясины, деревянные кружева на фронтон.

Незаметно Виталик с головой ушел в хозяйство, закопался в домашних делах так, что даже мать, неторопливая, степенная женщина, сама дальше дома-огорода не любившая никуда высовываться, однажды не выдержала: "Ты бы, сынок, хоть в клуб сходил, промялся… не старый ещё". А отец, всю жизнь проходивший в кладовщиках, всегда на людях, бойкий и речистый, сидя как-то на лавочке и наблюдая, как Виталик сноровисто наводит метлой порядок во дворе, насмешливо бросил сыну: "Тебе бы вот так, как с метлой, с девками научиться управляться… Я в твои годы ни одной гулянки не пропускал, мама ты вылитый!" Виталик обиделся, но смолчал, хотя что-то в голове у него щёлкнуло, и он подумал о Томке Лисицыной, бухгалтерше в совхозной конторе, присланной недавно после техникума к ним в Романово. У Томки были добрые, всегда весело и дружелюбно смотревшие из-под густых, чёрных бровок, сияющие бирюзовые глазки. И Виталику они нравились, хотя ни статью, ни фигурой Томка не удалась. Угадывалась в Томке будущая колобковатая округлость. Но Виталик сам был среднего росточка,

плотный крепышок, и в этом смысле, понимал Виталик, они были пара. К тому времени Виталика, как башковитого и непьющего работника, отправили от совхоза на шестимесячные курсы автокрановщиков, и он стал частенько бывать в бухгалтерии то с командировочными отчетами, то за очередной стипендией. Томка всегда посматривала на него из-за своего стола ласково и участливо, когда не было старшей, бралась ему помогать. Виталик обычно тушевался в конторе среди женщин, мямлил что-то о печатях и подписях, незаметно вытирая вспотевшие ладони о штаны. С Томкой у него с оформлением бумаг выходило всегда ловко и без напряга.

Виталик стал снова появляться в клубе и несколько раз проводил Томку до квартиры, к одинокому дому бабы Зои Котовой, куда Томку определили, как молодого специалиста, на постой. Дом стоял на отлогом берегу перерезавшего село ручья, заросшего непролазными травами, ольхой, бузиной и черёмухой; пышно цветущее и до болей в висках пахнущее весной раздолье для соловьиных страстей. Обычно перед тем, как расстаться, Виталик и Томка садились на скамейку под самыми окнами бабызоиного дома, вглядывались в голубовато-зелёное свечение умирающей и нарождающейся зари, вслушивались в соловьиные, страстные песенные схватки, неловко молчали. Виталик веточкой отгонял комаров, Томка сочно шлёпала их ладошкой на голых икрах. Так бы они, видно, промолчали бы ещё очень долго, если б не баба Зоя, высокая, крепкая старуха с властным, решительным лицом боярыни Морозовой.

— Ты, вот что, касатик, либо женись, либо в другое место ходи соловьев слушать! — выросла она однажды в ночи, словно из-под земли, грозной фурией перед заробевшим Виталиком. — Томка девка честная, работящая и чистоплотная… Бери, не пожалеешь! Или — другую поищи!

Виталик подумал-подумал и женился. Без ора и шума всех этих бестолковых деревенских свадеб, гудений клаксонами свадебного поезда, красных лент через плечо шаферов, двухдневного пьянства, фальшивых братаний с невестиной родней и всей этой кутерьмы и суеты, от которых нестерпимо болит голова и свадьба превращается в испытание воли и силы духа брачующихся. А сколько денег, на мотоцикл с коляской, улетает просто на ветер. Виталик подумал и предпочёл скромный вечерок в родительском доме, где с его стороны был старший брат Федька с женой, родители само собой, да старый дружок ещё со школы — он был свидетелем — местный силач, гулёна и большой авторитет среди парней, широкогрудый, весь прошнурованный мускулами, налитой силушкой немеряной Ванька Кузнецов. С невестиной стороны приехала из соседнего района мать Томки, простая, без фокусов женщина, сразу полюбившая "рассудительного" зятя и от всей души одарившая молодых "на обзаведеньице" ста рублями. Отца, как выяснилось, у Томки не было. Он был, конечно, но давно состоял с тёщей в разводе, где-то "странствовал по свету", так что его уже все и забыли. Приезжал ещё на бракосочетание Томкин брат из Москвы Николай, со своей благоверной, толковый мужик, как показалось Виталику, он возил на "Волге" директора завода в столице. Внимательно и строго оглядывала присутствующих из-под очков свидетельница со стороны Томки, тоже недавно присланная в Романово после пединститута, учительница химии Любовь Максимовна. Некоторое время, пока не подготовили комнату в школьном общежитии, она также была на постое у бабы Зои Котовой, и девчонки задружились, хотя Любовь Максимовна была и с высшим образованием… Тихо-мирно посидели, не напиваясь, познакомились, часам к двум ночи разошлись.

Вскоре ему дали автокран. Романово бурно разрасталось. К двум улочкам тесно обсевших склоны ручья старых, седых изб с садами-огородами, начали активно пристраивать, "придавать селу стройность и завершённость", как говорил директор совхоза Сергей Васильевич Дьяконов, ряды типовых, двухквартирных домов. На горке, вверх по ручью, заложили новую контору, детский сад, школу, дом быта, универмаг, котельную, баню, с полсотни кирпичных и панельных двухэтажек. Работы для Виталика хватало, он был всегда нарасхват. С утра краном блоки под фундамент укладывает, люльки с кирпичом и раствором тягает, вечером панели поднимает, одну на другую

ладит — “майна! вира!”. Рядом с большой совхозной стройкой зашевелился и частный сектор. Кто-то старый дом подновлял, кто-то новый ладил. Все зовут Виталика, кран, он любую тяжесть играючи поднимет, куда надо перенесёт и установит. Стал накапливаться к зарплате солидный приварок, копеечка в кармане завелась. Тут-то в Виталике и проклюнулась снова мечта о собственном каменном доме. Но прежде Виталика, как молодого семьянина и ударника труда, премировали квартирой в новом двухквартирном доме. Виталик был рад, Томка к тому времени родила Андрюху, первенца, у родителей стало тесно. Какое-никакое (ему не нравилось, раздражало соседство через стенку), а всё своё, можно сказать, жилье, думал Виталик, а там поживём, деньжат поднакопим, и, глядишь, лет через пять-шесть можно будет и за свой, отдельный, кирпичный дом браться. Чем-то похожий на тот, что “сфотографировал” он тогда у немца, у этого Карла.

Стал Виталик понемногу, по десятке-другой, каждый месяц на книжку откладывать. Вроде и невелика сумма (всего-то на три бутылки), а за год, однако, больше тысячи набегало. Томка его мечты полностью разделяла. Она действительно оказалась неглупой и покладистой бабой. “Виталик да Виталик, — щебечет, — как ты это хорошо придумал, я согласна...” — и всё глазками бирюзовыми Виталика оглаживает. Ночью с деликатной нежностью прижмется к плечу: “А на втором этаже у нас обязательно будет комната для детей, такая... я по телевизору смотрела, с ковром на полу... ты им кроваток с резными спинками наделаешь...”. Виталик скупо отвечал: “Угу!”. А про себя удовлетворенно думал: “Понимает все, и приметливая... по телевизору смотрела!”

Через шесть лет на книжке скопилась приличная сумма. “На новенькие “Жигули” хватит”, — не без приятности оценивал Виталик. Тут и Маринка, дочка, как по заказу, родилась. Пора начинать, решил Виталик... с какой-то неожиданной занозой в сердце. Что-то подсказывало ему в последнее время, что он то ли проворонил нужный момент, то ли по обстоятельствам, не зависящим от него, начинал дело заведомо невыполнимое. Раздвоенность и хмарь какая-то в душу закралась. Всё вокруг неясно шевелилось, кривилось, пучилось и поворачивалось полной непредсказуемостью. Пошел к Дьяконову, подумал через совхоз кирпичом разжиться, прикинул, дешевле выйдет, на доставку не надо будет тратиться. Сергей Васильевич характерно поскрёб указательным пальцем крупный, облысевший лоб: “Не понимаю, что творится, фонды по живому режут, скоро листа шифера не допросишься, а кирпича уже полгода нет. Страна работает, а того гляди, спички пропадут...” И, усмехнувшись, пристально посмотрел на Виталика: “Ты газеты читаешь, телевизор смотришь? Чувствуешь, куда всё клонится?!” Виталик ушёл от беспредметного разговора, рассусоливать о том, что нельзя было потрогать руками, не любил, главное он понял — кирпича в совхозе нет. Дьяконов был мужик честный и конкретный, поэтому и держался так долго, тридцать лет у руля — если говорил да, то да, нет, так нет. А потом он приходился Смирновым хоть и какой-то дальней по женской линии, но всё же родней. Виталик чувствовал, что дядя Сережа (так он звал Дьяконова с детства) его всегда незаметно, но поддерживает. Помог бы и в этот раз, если было бы чем...

После встречи с Дьяконовым Виталик через день решил съездить на базу райпотребсоюза, может, там удастся кирпич достать, пусть и дороже, но надо было спешить. Виталика охватила отчаянная лихорадка добытчика, хотя что-то уже однозначно говорило ему, что добывать-то особенно и нечего. “Спохватился, разиня! Дождался, досиделся!”. И действительно, на базе не то что кирпича, гвоздей, обыкновенных железных гвоздей, которые раньше отпускались ящиками, на глазок, не удалось выписать. Знакомый завскладом сказал, что снабжение стало, как в Гражданскую войну, и для наглядности показал пустое хранилище, где, как в издевку, висели в углу никому не нужные дуги, хомуты, уздечки, вожжи и стояли деревянные бочки с колесным дегтем. “Зря улыбаешься... Покупай пока есть! — сказал с печальным вздохом завскладом. — Чует моё сердце, к лошадкам скоро вернёмся!”

“Неужели пролетел? Неужели порядка больше не будет? А в беспорядке что путное сделаешь…” — несколько дней, до приезда шурина из Москвы, думал Виталик, бестолково шурша, пробуя вчитываться в единственную выписываемую им газету. В газете писали, что поступаться принципами нельзя, и предупреждали о разрушении народного хозяйства, чуть ли не всего государства. Правильно, соглашался Виталик и, вспоминая о кирпиче, думал, что развал уже начался. Потом брал другую газетку, которую ему регулярно приносил, хитро улыбаясь, Ванька Кузнецов, и которую в свою очередь привозил Ваньке из города его брат, художник Вениамин, без опаски, нахраписто и вызывающе ругающий на чём свет стоит “зажравшихся коммуняк”. Читал в этой газете, что пришла пора менять командно-административную систему, смелее внедрять хозрасчет и кооперативы, демократические формы управления, гласность, не бояться инициативы, освободить человека от оков замшелого догматизма, и, мстительно раздражаясь, тоже соглашался с писаками, что правда, то правда, довели “партократы” страну до ручки, гнать их надо всех. Потом ловил себя на мысли, что запутывался, кого гнать и как гнать, когда и так всё сыпется, какими принципами не надо поступаться… и включал телевизор. А там, занимая очередь перед микрофоном, говорили и говорили народные депутаты. И опять всё мешалось, пропади они пропадом эти депутаты, в голове. Ругал кто-то дребезжащим, заикающимся голоском армию за Афганистан, он был против, армия выполняла приказ и по рассказам тех, кто побывал там, ребята воевали хорошо, честно, а по словам депутата выходило, что все они были чуть ли не убийцы, бомбили и обстреливали мирные кишлаки, грабили, мародёрствовали, торговали наркотиками, своих раненых, как последние гады, бросали на поле боя. “Тебя бы туда, придурка, хоть на пару деньков! Сразу бы поумнел!” — негодовал Виталик. Выходил на трибуну кто-то лысый и горластый и начинал задиристо, убедительно, надо сказать, бросаться словами, как скрутили мужика по рукам и ногам, замордовали приказами и глупыми инструкциями, не дают развернуться, что наряду с колхозами-совхозами надо фермерство внедрять, и Виталик с ним соглашался. Начинал вдруг с непонятным воодушевлением примериваться к роли фермера-единоличника, распалялся: “Вы только дайте нам земли, да не жадничайте, вон её сколько! Да тракторишка какой-нибудь завалящийся на первых порах, да пару плужков с культиваторами, да не лезьте с вечными указивками своими, как пахать-сеять, и, действительно, мужики, ух, развернутся! Вон этот, лысый-то, что говорит — фермеры в России до революции кормили пол-Европы, сливочным маслом в Сибири тележные оси мазали! А сейчас что? За сливочное масло, чтобы только пожрать, в очередях друг друга готовы поубивать. Действительно, фермерство нам надо! На своём-то поле каждый будет порасторопнее крутиться”.

Но мысль о кирпиче, который так хотелось добыть во что бы то ни стало, о неразберихе, заклубившейся вдруг рядом, охлаждала воображение Виталика, выталкивала из головы все эти горячечные мечтания о фермерстве. Тут надо было думать, что делать сейчас, конкретно, когда главное, со страхом признавался себе Виталик, в том, что деньги скоплены, и немалые, и как их теперь на что-то дельное потратить, если с домом вообще вдруг всё сорвётся? И Виталик с ещё большим нетерпением стал ждать к субботе шурина. “Колька, он в Москве, при начальстве, может, что знает там, подскажет…”

Но Колька тоже ничего не знал. Нет, кое-что он знал, даже, как выяснилось, многие очень серьезные вещи знал, но не то, что хотел узнать Виталик. А Виталика интересовало, когда на складах снова появятся кирпич, шифер, гвозди. А то, похоже, бардак начинается, и когда руководство начнёт наводить порядок?

— Много знать хочешь, брат! — со значением и задушевно (они, породнившись, как-то сразу закорешились) сказал Колька — крепко сбитый, с худым, широкоскулым лицом, сорокалетний мужик — когда они, распаренные, после бани “накатили” по рюмке на уютной, чистенькой терраске у Виталика. — У них там наверху полный раскардаж, они сами не знают, что теперь будет и что вообще делать.

— Как не знают? — недоверчиво посмотрел Виталик — Там же в министерствах планируют всё.

— Планировали… — энергично затряс влажной от пота рубахой на груди Колька, поудобнее откидываясь на резную спинку деревянного диванчика, сделанного любовно минувшей зимой Виталиком, — а теперь всё кувырком, склады забиты продукцией, а до потребителя ничего не доходит, а если и отгружают, то всё где-то или пропадает, или через год пердячьим паром к месту назначения добирается. — Колька понизил голос: — Тайный саботаж кругом, людей дефицитом злят, страну валят…

— Кто? — тихо спросил Виталик.

— Те, кто с американцами снюхался, — веско сказал Колька, — под ширмой перестройки, по заданию оттуда… из-за океана, они хотят Союз развалить, чтобы одни американцы были хозяевами на шарике, вот и путают нам все карты, гласность и демократизацию придумали, народ на власть науськивают.

— Да уж… — неопределенно протянул Виталик, понимая, что сейчас шурин, видимо, повторяет слова кого-то очень важного, — даже отсюда видать. Тут Ванька Кузнецов приносил газетку, так там, как это? “Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с красным знаменем цвета одного”… — процитировал Виталик, — ну, это уж совсем… так у нас, действительно, все развалят.

— Не должно, не допустят, — решительно замотал головой Колька, — хотя, — махнул он рукой, — там у них, говорят, агенты влияния верх берут, а Мишка Меченый оказался полным импотентом… Если не снимут, тут такое начнётся! Всё под откос полетит!

— Да уже летит, — помрачнел Виталик, — только нам-то что делать? — И снова вернулся к истории с кирпичом, уже рассказанной Кольке в бане.

— Попробую переговорить с шефом, может, он чем поможет… мужик солидный, со связями, — пощупал Виталика бирюзовыми, как у Томки, глазами Колька. Но по тому, как сказано было, и по какой-то скользящей рассеянности во взгляде Кольки, Виталик понял, что говорится это просто так, когда по делу сказать нечего. И не стал открываться шурину о накопленных деньгах, которые, нереализованные, в нарастающем хаосе, не давали ему покоя.

Виталик продолжал, как и все романовцы, по привычке ходить на работу, получал наряды, ехал на своем автокране на коттеджи за околицей, где что-то ещё пытались гоношить, начали новую улицу, но чувствовал каждый день, как слабеет, распрямляется в пустоту заведённая пружина привычной жизни, как замирает наработанный порядок и уклад. Приедет на стройку, где обычно этого нет, того нет, посидит с безразлично покуривающими мужиками на штабелях бетонных панелей, поговорит о том о сём. Потом бригадир скажет, подражая известному юмористу: “Кирпич ёк, цемент ёк, пошли обедать”. Однажды вечером после работы, если теперь можно было называть работой то, что он делал, ноги почему-то сами привели его в контору к Дьяконову, на огонёк. Сергей Васильевич был не в меру грустен и задумчив, показалось, как-то особенно тепло поздоровался с Виталиком, обрадовался. В кабинете у Дьяконова было сумрачно и пусто, горела только настольная лампа с металлическим колпаком, ярко высвечивая контрастным низовым светом блестящий шёлк красно-малиновых, с тяжёлыми жёлтыми кистями, знамен в углу. Виталик знал, что это были особые знамёна, переданные совхозу “на вечное хранение за успехи в социалистическом соревновании”. Привычные слова, они как-то сами собой, машинально, выстроились у него в сознании с каким-то неожиданным, странным предчувствием, что, возможно, он видит их в последний раз, и ему стало чего-то очень жаль.

— Вот перебираю бумажки, порядок навожу, — кивнул Сергей Васильевич на стопку разноцветных канцелярских папок на столе с тесёмками, завязанными бантиком, — а лучше сказать, итоги подвожу… Ты по делу или так? — бегло взглянул он поверх лампы на Виталика.

— Так… — вяло сказал Виталик, оглядывая, как в первый раз, кабинет Дьяконова.

— Грустишь, значит?.. Бывает. Я вот тоже, брат Виталий, грущу... — прокашлялся наигранным смешком директор совхоза. — Первый раз за тридцать лет не спустили план на следующий год. А куда русский человек без плана? Никуда... на печку заберется, не сгонишь потом... План — он нашему брату спать не дает, кровь разгоняет.

Виталик растерянно посмотрел на Дьяконова и неожиданно наивно, по-детски, как робеющий ученик учителя, спросил:

— Что будет-то теперь, дядя Серёж?

Дьяконов завязал бантиком очередную папку, меланхолично взвесил её на пухлой белой ладони:

— Вот здесь вся документация по газификации Романова на будущий год... Осточертело всем дровишки палить, тысячу лет палим... сколько возни с ними — привези, напили, расколи, в поленницу сложи... А тут спичку к форсунке поднес и только регулируй потом температуру в доме. Думал, сделаю последнее хорошее дело и на пенсию, на заслуженный отдых... Что будет, говоришь? — отложил Дьяконов папку в сторону и забарабанил по ней короткими, аккуратно-прямыми пальцами, невесело улыбнулся: — Легче сказать, чего не будет... Газа, похоже, в Романове уже никогда не будет. Зато рынок будет, племяш ты мой дорогой!

Виталик, вытягиваясь над потоком света от лампы, вопросительно взглянул на Дьяконова.

— Рынок — это, брат мой, сурово... — нехотя ответил Дьяконов. — Рынок — это когда выживает тот, у кого мозги хитрее, лапы сильнее, зубы острее... Рынок — это теперешняя жизнь с точностью до наоборот... Опасная игра затевается, — вздохнул он, — опасно это, на полном ходу дать полный назад. В щепки всё разнесет. — Дьяконов опустил голову, привычно поскрёб плешивый лоб. — Горбачёв доболтался, Ельцин его вот-вот спихнет. За Ельциным стоят молодые волки... хунвейбины. Они задерут подол России-матушке, как уже один раз делали их предки... По-моему, они идут ещё и поживиться крепко — разворуют они всё! — вскинул голову Дьяконов. — Такой у нас будет рынок!

Виталик с сожалением подумал, что не всё понимает, о чём говорит Дьяконов. "Не догоняю!" — признался про себя.

— Как это разворуют? — заерзал он на стуле. — Вот вы, мы... тут работали-работали, и вдруг все разворуют... А что не работать и дальше, как работали?

— Жалею, что так и не отправил тебя в свое время в институт. Сколько раз предлагал! С направлением от совхоза давно бы уже и поступил, и закончил... — недовольно посмотрел на Виталика Дьяконов. — Ну, в общем, проще говоря, будет у нас скоро, дружище, не социализм, а капитализм.

— Непонятно как-то... чудно получается, — справился с растерянностью Виталик, — строили-строили социализм, и вдруг все поменять наоборот... капитализм... Зачем?

— Правильно, вот и я о том же — зачем? Лучше, чем сейчас, в деревне, да и вообще в России, никогда не жили! — сказал вдруг горячо Дьяконов. — Надо было осторожно улучшать, выправлять систему, она рабочая и справедливая, в целом пришлась по характеру нашему народу. Нет, взялись осатанело ломать всё... крушить. Почему? Я понял одно, они ненавидят, как-то очень люто ненавидят, наше государство, вот такое огромное, богатое, сильное... что бы они там ни говорили — развивающееся... И самое главное, не дающее им безнаказанно воровать! Система так устроена! Поэтому они решились стереть её до основанья, снова взяв власть... И вот, похоже, берут, взяли уже! Теперь они будут доводить государство до состояния дистрофика, это у них называется рынок внедрять... И под шумок раздевать страну донага, карманы набивать. Дай Бог, чтоб я оказался неправ, но слушали мы тут недавно в области на совещании одного рыночника из Москвы, к Ельцину, как нам сказали, приближенного, так он такое нёс! Представляешь, деревню назвал "агрогулагом", "чёрной дырой"! После этого мне стало окончательно ясно... возьмутся за Россию они основательно... не долго осталось.

Напряженно вслушивался Виталик в слова многоопытного, пожившего, видавшего всякое, Дьяконова. Виталик, как и многие в Романове, искренне уважал, даже чтил своего директора. Умный и грамотный был Дьяконов мужик, справедливый. Слово его всегда оказывалось почему-то верным… Слушая директора, Виталик ощущал какое-то общее беспокойство и страх. Он вновь подумал о каменном доме, о том, что надо было хотя бы на год-два раньше начинать, глядишь бы, и успел… И сожаление об упущенном болезненно ворохнулось в нём… Опять же деньги, что делать с ними теперь? Спросить, не спросить? Виталик потупился, втянул голову в плечи и передвинулся вместе со стулом из полосы света в тень.

— Говорят, фермеров поднимать будут… — неожиданно сказал он из полумрака. — Один депутат по телевизору рассказывал, что до революции наши фермеры пол-Европы хлебом кормили…

Дьяконов удивленно изогнулся и как-то снизу, из-под лампы внимательно посмотрел на Виталика.

— Не похожи они на тех, что приходят что-то поднимать, — нахмурился он. — Фермерство тоже требует много денег, не меньше, чем колхозы-совхозы. Этих денег русской деревне не дадут… Русская деревня им не нужна, они её всегда презирали… и боялись. Сейчас им надо что-то красивое посулить народу, сбить деревенского человека с толку, чтоб развалить побыстрее то, что организует, воспитывает и развивает человека на земле. Поднимает его на серьёзный, современный уровень и в работе, и в жизни. Они же хотят раздёрнуть, распустить нас на нитки, как они говорят, атомизировать, погрузить поодиночке в тупую борьбу за биологическое выживание. Вот это и будет их фермерство… Так что готовься жилы рвать, чтоб с голоду не помереть! — насмешливо вгляделся в Виталика Дьяконов. — Дом подлатай, коровёнку, пока есть возможность, ещё одну прикупи и зарывайся в навоз! Деревня поехала в обратную сторону! Куда-то к царю Гороху! — Дьяконов стал нервно перебирать карандаши в гнезде письменного прибора. — А что касается того, что, мол, хлебом пол-Европы кормили… Может, кого-то и кормили, только сами его вдоволь не ели. Я ещё помню стариков, которые рассказывали, что хлебушка до марта едва хватало, в прямом смысле слова — голодали. Голод целые губернии охватывал. Сказочников много развелось сейчас… Впрочем, — досадливо махнул рукой Дьяконов, — когда разваливают государство, всегда появляются удивительные сказки либо о светлом будущем, либо о чудесном прошлом.

Виталик вновь поймал себя на мысли, что мало понимает из того, о чём говорит директор. Кроме слов, что надо готовиться выживать. Он и сам это чувствовал, и даже начал запасать впрок сахар, крупу, стиральный порошок, мыло, свечи, спички… Но вот деньги? Снова подумал о них проклятых Виталик и неожиданно решился:

— Я на дом — помните, дядя Сереж, про кирпич спрашивал? — восемь тысяч накопил… Куда их теперь? Не пропадут?

Дьяконов отвернул лампу в сторону, строго посмотрел на Виталика.

— Что же ты раньше молчал? Восемь тысяч хорошие деньги… Могут и пропасть, государство на волоске держится… Слушай, есть одна мысль! — мягко шлёпнул ладонью по столу Дьяконов. — Ты на коттеджах работаешь, согласись — жильё может получиться на уровне, девяносто квадратов общая площадь, это уже не двухквартирные домики… но совхоз их, видимо, уже не осилит. Покупай такой… недостроенный, тысяч семь-восемь он как раз и будет стоить, потом как-нибудь доведёшь до ума, отделаешь, парень ты рукастый.

Виталик долго смотрел в пол, прикидывал. Коробку поставили с крышей — это хорошо, но электричество, воду не подвели… начнешь доделывать, ещё тысячи три не меньше вбухать надо, где их взять? А потом, типовые они, эти коттеджи, панельные, всё равно какие-то унылые! Нет, думал Виталик, не то это всё, не то… И, может, ещё всё наладится? Может, преувеличивает всё Дьяконов? Как бы всё-таки хотелось иметь свой, каменный… с душой, для себя построенный дом! И отказался. Как он потом жалел об этом!

Где-то через месяц, морозным декабрьским вечером, когда, управившись со скотиной, Виталик присел перед телевизором посмотреть, как всегда на ночь, программу "Время". Вот те на! До него не сразу дошло увиденное и услышанное. Показали как-то мельком, ничего не разобрать, какое-то заседание где-то в лесу, где Ельцин и главные хохол и белорус распустили Советский Союз. Нет, он вначале ничего не понял, "денонсация (он и слова-то такого не знал) союзного договора", потом вдруг "США уведомлены о создании Содружества Независимых Государств — СНГ" вместо СССР. Нет! Этого не может быть! Виталик побежал на кухню путанно пересказывать всё Томке. Она, насколько уж была далека от политики, и то сразу заинтересовалась, и посоветовала Виталику (вот ведь умная баба!) послушать "Голос Америки". Виталик достал с шифоньера дембельский, купленный ещё в военторге в Германии "VEF" и пошарил на коротких волнах зарубежные радиостанции. Нет, всё правильно, везде возбуждённо, и, как показалось Виталику, радостно верещали, что Советский Союз распущен. Прав оказался Дьяконов, на волоске всё висело…

А потом прошло ещё немного времени, и Горбачёв ушёл из президентов — "добровольно сложил полномочия"… Показали, как над Кремлем спустили красный флаг и подняли трёхцветный. На следующий день после этого Виталик встретил на улице Ваньку Кузнецова. Ванька был с хорошего бодуна, весь какой-то взбаламученный, злой, с нарочитой лихостью смял до боли своей железной лапищей руку Виталика и с подмигиваниями пропел:

Пили мы и горькую,
Пили мы и сладкую.
Что же ты наделала,
Голова с заплаткою?!

— Слушай, корефан, а ведь мы с тобой присягали Советскому Союзу, — мутно посмотрел он на Виталика. — Чему теперь, если что, служить будем? И что он их всех не перехватал в этой Пуще?! Имел право, этот обсос меченый!.. Они же заговор устроили! Все голосовали весной за Советский Союз! Это госпереворот! Даже Венька наш согласился… госизмена!

Виталик уклонился от опасного разговора, да и чего баланду травить, когда всё уже там, наверху, решили и ничего не поправишь… Он спешил на почту, деньги снимать. Решился всё-таки… когда они, рублики-то, на руках, спокойнее как-то. Но на почте заведующая Зинаида Митрофановна, необъятных размеров женщина, с добрым, сытым лицом и внимательными, бдительными глазками, только сочувственно, с пониманием, посмотрела на него из полукружья окошка в стеклянной перегородке: такие деньги надо заранее заказывать в банке, а банк после всей этой чехарды вот уже неделю не работает. Виталик, чуя неладное, чертыхнулся про себя, оставил заявление и ни с чем вернулся домой.

А затем тихо и вкрадчиво, без обычной новогодней приподнятости и суеты, с ельцинскими "дорогими россиянами" вместо "дорогих товарищей" по телевизору, в серой, туманной январской оттепели пришел, как коварный баскак, 1992 год. Где-то в середине января Виталик получил на почте свои кровные восемь тысяч. Зинаида Митрофановна отсчитала Виталику еще красными советскими червонцами все, что лежало у него на книжке. Вздохнула, посмотрев пристально и сострадательно, Виталику в глаза: "Может, не надо забирать-то сейчас? Пусть бы себе и лежали… может, какая компенсация будет? А то вон куда все двинулось, в городе килограмм мяса уже сто рублей!".

В конце месяца он зарезал барана и поехал на рынок продавать. Действительно, парная баранинка уходила по сто двадцать рубликов за кило. Виталик выручил тогда сразу две тысячи. Но когда возвращался на автобусе домой, вдруг с ужасом понял, что его восемь тысяч, которые он копил полжизни, тянут всего-то на четыре "современных" барана! Виталик почувствовал себя нагло, самым бессовестным образом, раздетым и обобранным и, вернувшись домой, с нарочитой веселостью, хвастливо-оживлённо (во, сколько разом подвалило!) передавая кругленькую сумму Томке, попросил

неожиданно выпить, и как-то очень скоро тяжело и безрадостно захмелев, украдкой и скупо расплакался.

Вскоре совхоз переименовали в какое-то ООО "Колос", Дьяконов ушел с работы, выделили каждому работнику по шесть гектаров земли, но где конкретно, не сказали, перестали платить зарплату, к осени порезали и распродали за долги всех совхозных коров, "приватизировали" по-тихому технику (Виталику тогда, как бывшему "передовику", достался колесный трактор), обанкротились и разбрелись каждый по своим дворам. Так Виталик стал, как говорили при старой власти, единоличником. Тут он окончательно понял, что деньг в кассе ему уже не видать никогда, а детей надо было как-то поднимать, вспомнил Дьяконова, ещё раз мысленно отдав должное его прозорливости, и с головой "зарылся в навоз".

А сам Дьяконов неожиданно умер. Все был вроде ничего, крепким смотрелся еще мужиком. После совхоза, правда, похудел, живот немного сбросил, но и помолодел от этого как-то, выглядеть стал свежее. Вполне бодрым шагом пройдет мимо окон за хлебом в магазин, так же уверенно обратно с сеткой, набитой буханками, прошагает. При встречах как обычно приветливо поздоровается, о семье-доме расспросит, про себя что-нибудь с юмором расскажет. Как, например, ругала тут его жена, что он, мол, ничего не делает, только спит в кресле сутками. А маленький внук Никита после этого спросил у бабушки, а где же рядом с дедушкой утки? Однажды, как бы между прочем, обронил, что сын у него в Москве "докторскую защитил". По тому, как сказал это обычно очень сдержанный Дьяконов, по его неожиданно повлажневшим глазам, Виталик понял, что всегда круглый отличник, их "земеля", выпускник их деревенской школы, Юрка Дьяконов, добился в жизни чего-то серьёзного.

Виталик видел, что доживает когда-то первый и уважаемый человек в округе, в общем-то всеми забытый и никому не нужный. Иногда Виталик вспоминал старика, думал, что неплохо бы зайти, помочь, может, чем, но в суете все откладывал и откладывал на потом, пока Дьяконов не умер от внезапного инсульта. Так ли уж внезапного? Потом как-то местная фельдшерица Светка Пономарёва рассказала, что Дьяконов после ликвидации и разграбления совхоза стал резко страдать повышенным давлением. А смертельный удар случился, когда при странном стечении обстоятельств сгорела совхозная контора вместе с завоеванными им и романовцами в "трудовых битвах" красными знаменами…

Жаль было Дьяконова Виталику, было к кому обратиться, поговорить серьёзно, дельное слово услышать… как осиротел. Кроме Дьяконова оставался в Романове еще Ванька Кузнецов, с кем можно было отвести душу. Но дружба с Ванькой обернулась неожиданно враждой и ненавистью. Кто бы мог подумать, что всё так получится…

После того вечера, когда Виталик расписался с Томкой, женился вскоре и Ванька Кузнецов на той самой учительнице, Любови Максимовне, что была со стороны Томки свидетельницей. Тогда Ванька, оказывается, пошел провожать Любовь Максимовну в учительское общежитие выкошенными лугами старого села, и в копне сена на чьих-то задворках случился у них грех. Через три месяца Ванька, как честный человек, не дожидаясь пока у Любови Максимовны вылезет пузо, повел её "под венец". Женившись, Ванька, будучи завмастерскими, тоже получил вне очереди квартиру в доме на две семьи на одной улице с Виталиком, буквально напротив, через дорогу. Соседство только подогрело дружбу. Они часто ездили семьями на Ванькином служебном "Москвиче" купаться на дальние пруды, вдвоем, "без баб", порыбачить, поохотиться… Праздники, особенно Новый год, любили встречать вместе.

Но вот пришли новые времена, общественное отменили, вернули снова частное. Всё с ног на голову. Начинай с нуля… Но делать нечего, надо было как-то выживать. И каждый принялся выживать по-своему…

Виталик по старинке ухватился за скотину. Дедов и прадедов из нужды выводила и теперь с голоду не даст помереть, решил он. Завел вторую корову, потом третью, двух боровков, овец, гусей, уток. И правда, года через три, скопив деньжат от вырученных на рынке молока, творога, сметаны,

мяса, Виталик купил подержанную "Волгу" у шурина на заводе, где тоже всё рушилось и распродавалось.

Ванька в "навозе ковыряться" не любил, ударился в пчеловодство. Развел пасеку в двадцать ульев и прикупил вскорости еще крепенький "Форд" с кузовком. Теперь он летом вывозил пчёл на медосбор в бывшую барскую усадьбу, километрах в семи от Романова, где каким-то чудом сохранились столетние липовые аллеи, обильный, ежегодный взяток с которых позволял Ваньке уже мечтать о пристройке к дому и новой террраске. Для охраны пасеки был куплен за хорошие деньги в городе жгуче-черный, со светло-коричневыми подпалинами, щенок ротвейлера. И вырос мощный, клыкастый зверь, весь из ярости и упругой ловкости, остервенело и грозно носящийся черным дьяволом, с дымно парящим, красным языком, без лая по проволоке, натянутой по диагонали пасеки. Его неутомимое, опасно-беззвучное скольжение по проволоке, бесовское сверкание глазами в ночи почему-то тревожили Виталика. "Не дай Бог, сорвётся! Насмерть порвёт!" — с предусмотрительной опаской думал он, прислушиваясь от своего дома к бесноваиям страшного пса в Ванькином огороде.

И однажды пёс сорвался. Странным образом, как потом выяснилось, перетерлось стальное кольцо, соединяющее ременный поводок от ошейника с проволокой. Одним прыжком перемахнув полутораметровый забор, отделяющий Ванькин двор от улицы, молниеносно растерзав несколько куриц, лакомящихся после дождя жирными червями на тропинке, зверь кинулся на семилетнюю дочку Виталика Маринку, на корточках присевшую с бумажными корабликами у широкой, разлившейся на полдороги, лужи. Девочку спасла от верной гибели толстая, из прочного, как брезент, китайского нейлона, куртка с капюшоном. Пока взбесившийся кобель рвал капюшон и куртку, покусав до крови руки, которыми Маринка пыталась закрывать лицо и шею, на крики девочки выбежал побледневший до смертельной белизны Виталик, с соседом через стенку Лехой Зайцевым, ловким, вёртким, как чертёнок, мужиком, в молодости бесстрашным, решительным бойцом и зачинщиком многочисленных деревенских драк. Мгновенно оценив ситуацию и выхватив из железного ящика с ключами Виталькиного трактора, тарахтевшего на нейтральном ходу у дома, увесистый ломик, Леха несколькими рубящими, беспощадными ударами перебил псу позвоночник. Зверь завыл и, скалясь розовой от крови пастью, закрутился на траве, не в силах опереться на парализованные задние лапы. Леха прицелился добить собаку по голове, но опустил руку с ломиком: к месту схватки бежал, не разбирая луж, Ванька Кузнецов.

В дело как-то очень споро тогда вмешался участковый, кому все доложила по телефону фельдшерица Светка Пономарёва, производившая первый осмотр покусанной Маринки и срочно направившая девочку в районную больницу. Участковый, молодой, неоперившийся лейтенантик, после милицейской школы направленный в Романово, ещё мало разбирался в тонкостях взаимоотношений коренных романовцев, и потому действовал строго по закону. По закону Ваньке Кузнецову грозило уголовное преследование, потому что собака была бойцовой породы и "содержалась в ненадлежащих условиях", к тому же оказалась "не привитая". Так что светил Ваньке вполне реальный срок. Виталик обиженно молчал и не влезал в расследования участкового, хотя по-дружески мог бы и попытаться как-то сгладить инцидент. В конце концов, Ванька договорился с лейтенантом "переквалифицировать" дело в административное нарушение и заплатить штраф, довольно серьёзный по сельским меркам, надо заметить. И ещё, по закону, настоял участковый, необходимо было взять анализы у собаки. Такая специальная служба по собачьим анализам была только в области. Везти куда-то, за тридевять земель, парализованного пса Ванька отказался наотрез. Участковый в свою очередь довёл до его сведения, что он связывался с лабораторией и что на анализы необходимо доставить тогда пёсью голову. Что переживал Ванька, когда добивал из ружья собаку, когда отрубал ей башку, можно только догадываться.

С тех пор он избегал любых встреч с Виталиком, а если случалось сталкиваться на улице или в магазине, старательно отворачивал лицо.

А потом на Ванькиных пчёл ни с того ни с сего напала вдруг какая-то "моровая язва". Разом погибли пятнадцать семей. Такое бывает, намекнули Ваньке опытные пчеловоды, если распылить через леток в улей какую-нибудь ядовитую дрянь, ну, например, хлорофос. "Неужели Виталька? — разжигал себя мстительными догадками Ванька, выметая гусиным крылышком из опустевших ульев золотисто-коричневые, сухо шелестящие комочки мёртвых пчёл. — Нет, вряд ли... с Маринкой всё обошлось, кобель оказался здоровый... Нет, тут кто-то другой... из местной босоты, завидуют! Хотя, чем чёрт не шутит... мог он кого-нибудь и подговорить! Вот и живи здесь без злой собаки!".

На следующий год Ванька стоически попытался поднять пасеку на прежний уровень. Но что-то как будто решительно надломилось у него с пчелиным хозяйством. Летом он прозевал несколько сильных отводков в период роения, и пчёлы, взмыв в небо чёрной кометой, улетели куда-то в сторону леса. Оставшиеся в ульях словно осиротели и работали вяло, вполсилы. Купленные за хорошие деньги у знакомого пчеловода несколько, казалось бы, сильных семей оказались заражёнными клещом, быстро вырабатывались и умирали, более того, перенесли заразу на здоровые ульи. К осени, чтобы не сработать себе в убыток, Ванька пожадничал и откачал у пчёл меда сверх меры. Зимой в ульях начался голод. К весне не осталось ни одной живой семьи. Ванька приуныл, пристройка к дому и новая терраска откладывались, похоже, надолго, если не навсегда. Ванька, морщась, купил корову, с отвращением завёл поросёнка и устроился к Любови Максимовне в школу (к тому времени она стала директором) на смешные деньги учителем труда и рисования.

А вот Виталик Смирнов все глубже "закапывался в навоз". Каждую субботу и воскресенье мотался с Томкой на "Волге" по рынкам и подмосковным дачным поселкам. Торговал "экологически чистыми продуктами" где только мог. Но когда садился с тетрадкой за расчёты — на сколько выручил, на сколько потратился — в итоге всегда говорил себе, откладывая в сторону дешёвую шариковую ручку: "Нет, не догоняю!" С некоторых пор до него стало доходить, что если он даже заведет ещё десяток коров, отару овец, дюжину кабанов, не будет есть и пить, откажет себе в новых штанах, мыле и зубной пасте, будет из экономии сидеть при лучине, ходить в лаптях — то и тогда не разбогатеет, не обзаведётся той серьёзной копеечкой, которая позволила бы не то что каменный дом построить, ладно, Бог с ним, а купить хотя бы по однокомнатной, самой скромной квартирке Маринке и Андрюхе в райцентре. Об этом пришла пора озаботиться. Маринка была уже зрелая девка, на выданье, двадцать три незаметно набежало, работала бухгалтером на хлебозаводе — чем не невеста! А замуж выйдет, где жить будет? Андрюха после армии подался в "ментовку", служил полицейским в небольшом подмосковном городке. Ему двадцать восемь недавно отметили. Постоянной подруги, догадывался Виталик, у него ещё не было. Но как в жизни бывает, сегодня нет, завтра есть. Так что о крыше над головой и для него не грех подумать. Правда, Виталик отдал тут ему недавно практически все вырученные за молоко деньги, триста тысяч, на бэушный, но еще свеженький, "фольксваген", не всё же парню по электричкам и автобусам мотаться...

Свои обиды Виталик надсадно-закупоренными носил в себе, если и делился с кем, то только с Томкой. "Ну, что тут сделаешь, отец, — вскидывала на него смышлёные, бирюзовые глазки Томка, — ничего не изменишь... Ты говоришь, жулики кругом! Так жулики всегда за счёт тружеников живут... Ты же не будешь разливать воду из колодца по бутылкам и продавать, как минералку". "Не буду, — соглашался Виталик, — только не всегда они за наш счёт жили, были и другие времена" — многозначительно добавлял он, опуская глаза в землю. "Да будет тебе, — чутко понижала градус разговора Томка. Она после совхоза как-то очень удачно устроилась бумажки перекладывать в сельсовет, по-новому, в администрацию Романовского сельского поселения, и это накладывало на неё определённую ответственность, — те времена давно прошли... А ты и сейчас кое-что зарабатываешь честно". "Копейки, — хмурился Виталик, чувствуя, что ему приятны слова

жены, что он “зарабатывает честно”, — хороший дом на них не построишь, детям квартиру не купишь”. “А может нам, отец, в фермеры податься? — сказала однажды Томка. — Земли у нас вместе с родительской двадцать пять гектаров, выделиться, взять поближе к деревне… Ты у нас ещё не старый… Вон как Бяка-то развернулся!”. Виталик призадумался, Томка словно его тайные мысли читала… Ушлая всё-таки баба!

Виталик давно приглядывался к Мишке Макарову, Бяке, как звали его в деревне с детства — фермеру, можно сказать, заметному, бывалому, с совхозных времён. Ещё в “перестроечные” времена, на излете Советской власти, будучи простым механизатором, Бяка выделился из совхоза, взял в аренду пятьдесят гектаров земли, выклянчил кое-какую технику и занялся частным хозяйствованием. Виталик несколько раз и так, и сяк, и по пьяной лавочке пытался выведать у Бяки, как тому удалось и дом построить каменный, и коровник со свинарником сгоношить, и тракторами-машинами обзавестись, и даже работника нанять, но ничего конкретного у скрытного Бяки выведать ему так и не удалось. “Хитрый Бяка, — думал Виталик, — что-то он химичит, неспроста у него денежки водятся… Но ничего, рано или поздно дознаемся!” И всегда после таких мыслей с особым удовольствием вспоминал тот случай на речке из раннего детства, после которого Мишка Макаров на всю оставшуюся жизнь остался Бякой.

Тогда они, компания романовских мальчишек, ловили в омуте у разрушенной мельницы раков. Бесстрашно нашаривали их руками в норах под высоким, изрытом корневищами деревьев, берегом и, стараясь не напороться на клешни, ухватив рака за хрупко-твердую, панцирную спинку, выбрасывали на берег. Периодически выскакивали из реки и собирали маниакально уползающих в сторону воды раков в плетёную корзину. На берегу сидел увязавшийся за старшими пятилетний, вечно простуженно шмыгающий носом, плаксиво-капризный, а потому недолюбливаемый пацанами Мишка Макаров. Вначале Мишка боязливо и настороженно рассматривал копошащихся, налезающих друг на друга в корзине тёмно-зелёных раков, похожих на огромных тараканов. Потом осмелел и, пересиливая страх, попробовал даже прикоснуться к одному, самому маленькому и нестрашному, пальчиком. Рак клацнул клешней и больно стеганул Мишке по руке. Мишка взвизгнул, отдергивая до крови прокушенный палец: “Бяка!” Мальчишки в ликовании, давясь от смеха, попадали на землю и, суча в воздухе белыми, промытыми пятками, зашлись в мстительном восторге: “Бяка! Бяка!”

…На четвертый день пастушества, в субботу, наконец-то развёдрилось и проглянуло солнце. Земля после трёхдневных дождей, быстро подсыхая, запарила, разом стало жарко и душно. Виталик, раздевшись к полудню до пиджака, уже несколько раз запускал кнутовище под рубашку, с наслаждением чесал между лопатками, мечтал о вечерней бане. На берегу Кержи не выдержал, разулся, с наслаждением пополоскал задыхающиеся в резине, с душком, ноги в мутной от дождей, холодной, непрогретой воде. Долго рассиживаться, правда, не пришлось. Скотина от оводов и слепней начинала сатанеть. Коровы ломились, спасаясь от кровососов, через кусты подальше от реки на ветерок, на прибрежную горку. Заворачивая их по высокой, ещё мокрой траве в очередной раз на луг, чтоб не дали дёру с горки в деревню, Виталик совсем выпустил из виду проказливую коровёнку Генки Демьянова, которая, пока пастух бегал по косогору, тут же перебралась вброд на другой берег реки, где принялась, подманивая остальных коров, утробно реветь и рыть рогами землю.

Пришлось снова разуваться и босиком, высоко закатав штаны, больно спотыкаясь о скользкие камни на дне реки, перебираться на другую сторону Кержи. Лезть обратно в речку корова не хотела, хоть тресни. Виталик пытался и уговаривать её, и подталкивать — бесполезно! Упрямое, строптивое животное, широко и грузно раскорячившись, словно вросло в землю, продолжая призывно трубить, воспалённо косясь на Виталика дурным, навыкате, глазом. Терпение Виталика лопнуло. Кнут он оставил на другом берегу рядом с сапогами. В горячке, не размышляя о последствиях, Виталик решительно

выломал в ивняке длинный, гибкий прут и, секанув несколько раз для острастки со свистом воздух, принялся с яростным остервенением, не помня себя (помутнение какое-то нашло), нахлёстывать корову по худой, мосластой хребтине. Несколько, наиболее сильных ударов хлыстом вспороли корове кожу до крови, на глазах вспухли толстыми, насосавшимися пиявками, рубцы. Тут побежишь! Протяжно и обиженно замычав от боли, корова грузно и неуклюже, как только ноги о камни не переломала, тяжелой махиной ринулась в воду… Виталик не на шутку струхнул, быстренько следом пересек речку, по-солдатски, мигом обулся и, нагнав корову, попытался клочком травы затереть следы от побоев. Рубцы позеленели и стали ещё заметнее.

Пас в этот день Виталик как никогда долго, до сумерек. Зародилась наивная мысль, что рубцы, возможно, рассосутся, ранки затянутся, а если нет, то в темноте не будут так заметны. Он несколько раз осторожно подкрадывался к корове, пристально разглядывал её спину. Нет, рубцы не исчезали, не рассасывались. И Виталик медлил, затягивал с возвращением в деревню. И только, когда солнце окончательно провалилось за горизонт, небо загустело тёмной синевой, а с речки потянуло холодом и сыростью, Виталик развернул стадо в Романово.

Как назло, встречал в этот вечер свою непутевую коровёнку на лужайке перед домом сам Генка Демьянов. Обычно это делала его жена Нинка, рано увядшая, зашуганная, вечно смотрящая в землю сутулым коньком-горбунком, бессловесная раба. Она, принимая корову, обычно мелкими шажками и как-то пугливо трусила за ней до сарая, не особенно оглядывая кормилицу. Генка, тот наоборот, изображал из себя заботливого, внимательного хозяина. Обычно в заношенном до жёлтых, просоленных пятен под мышками полосатом тельнике, в нейлоновых, спортивных штанах, в неизменных резиновых шлепанцах на босу ногу, Генка вальяжно распахивал провисшую на одной петле, чертившую землю, калитку, давал корове посоленную корочку, картинно оглаживал её бока. У Виталика это всегда вызывало улыбку. Он-то хорошо знал, что Генка был тот ещё хозяин, корову держал всегда полуголодной, сена запасал до февраля, не больше, а потом побирался с верёвкой по соседям, выпрашивая охапку-другую "до лета". Корова у него по весне выбиралась на свет божий из хлева, пошатываясь.

Как-то Виталик зашёл к Генке во двор и поразился толстому слою окурков перед низеньким, прогнившим крылечком. Так и представилось, как хозяин изо дня в день посиживает на трухлявых ступеньках, непрерывно смолит, бросая экономно выкуренные до корешка окурки под ноги. "Сколько же денег улетело с дымом! — подумал тогда Виталик. — И сколько новых крылечек можно было сделать на них!" А какой запущенный, с чмокающей под ногами тёмно-коричневой, навозной жижей, не просыхающей даже летом, ржавыми консервными банками, битой посудой под забором, щепой от колотых дров, без единого деревца был у Генки двор! "Ты бы сюда хоть пару машин щебёнки бросил, — помнится, сказал тогда Виталик, с ужасом оглядывая дикость и разруху кругом, — всё бы до сарая легче было добираться". "Щебёнку, говоришь? — с вызовом посмотрел на него Генка карими, с сизой дымкой в зрачках, глазами. — На щебёнку денег надо… Это у вас, у прихватизаторов, их много, а у нас, простых колхозников, денег нет!" "У каких таких прихватизаторов?" — изумился Виталик. "Да у таких, как ты, — недобро оскалился Генка, — разжились на народном добре…" "Не понял?" — снова удивился Виталик. "Все ты понял, — сощурился Генка, — когда совхоз делили, тебе вон трактор с навесной техникой дали, а мне пососи только…" — похлопал он себя ладонью ниже пояса. "Вон оно как!" — по-прежнему изумляясь, подумал Виталик и хотел было добавить, что и при совхозе надо было больше работать, а не спать под кустами на телогрейке, тогда, глядишь, и тебе что-нибудь досталось бы, но благоразумно промолчал и дал себе зарок больше к Генке не заходить.

— Что-то ты сегодня, пастух хренов, запаздываешь! Корова, она животное такое, любит вовремя доиться! — крикнул недовольно Генка Виталику от криво откинутой, так и не починенной за лето, калитки, тыча встречаемой

корове одной рукой горбушку хлеба в губы, другой нарочито ласково похлопывая её по спине.

— В дожди пригонял раньше, сегодня решил добрать время… — мимоходом бросил Виталик, норовя побыстрее проскочить мимо Генки.

— Э, стой, зазноба моя, это что тут у тебя?! — услышал Виталик крик Генки и, стараясь не оглядываться, прибавил хода. — Да на тебе живого места нет! Ого, до мяса приголубили! А ну-ка, погодь, пастушок, ты что это с коровкой нашей сделал? — Виталик услышал за собой, как часто зашлёпал резиновыми тапками по голым пяткам Генка, и понял, что тот догоняет его…

— Я нечаянно, я не хотел! Она всё через реку лезла! — развернулся Виталик лицом к преследователю и интуитивно прикрылся рукой с кнутиком, улавливая каким-то особым чувством, что Генка настроен решительно.

— Нечаянно?! А, если она скинет, она в марте огулялась, ты за неё телиться будешь?! — Плотный, на голову выше ростом, Генка сходу, не размахиваясь, коротко отвесил тяжелым, как гирька, кулаком Виталику в ухо. Виталик почувствовал, как его ноги отрываются от земли, и кувыркнулся в грязную, мокрую траву. Бейсболка с головы слетела, закатилась в лужу. Кнутик выпрыгнул из рук.

— Будешь знать, как над домашним животным издеваться, гад! — назидательно сказал Генка и, презрительно отплёвываясь, развернулся к дому.

Виталик, оглушённый, встал на ноги, достал бейсболку из лужи, отжал, и, прижимая холодную, влажную ткань к стремительно наливающемуся жаркой тяжестью уху, огляделся. К счастью, сумеречная улица была пуста, скотину уже разобрали и развели по дворам, никто, кажется, ничего не видел. Хотя, показалось, шевельнулись занавески в тёмных окнах, ещё без света, у Ваньки Кузнецова… Виталик машинально накинул мокрую бейсболку на голову, потоптавшись на месте, нашёл в траве кнутик, и, повертев его бессмысленно в руках, закипая: “Да чтоб, вас всех!”, с треском сломал о колено.

2

В выходные Андрюха Смирнов старался побывать у родителей. Он видел, как достается отцу. И когда приезжал домой, помогал старикам по хозяйству с полной выкладкой. Чистил хлева, вывозил на тачке в огород горы слежавшегося, утрамбованного коровами навоза, который, пуп надорвешь, прежде чем вырвешь вилами из сопрелой толщи и кинешь на тележку; колол дрова — комлистые, перевитые древесными жилами чураки, в которых колун застревал и взять их можно было только железным клином; копал по весне бесконечные гряды в огороде, после чего спина не разгибалась; летом впрягался в сенокос — подменял отца, валил тракторной косилкой траву, потом с матерью и сестрой разбивал валки, шевелил, сгребал сено, складывал в копны, перевозил к дому, скирдовал… Иной раз зайдут друзья вечером, в клуб приглашают, так Андрюха деликатно уклонится, что не могу, мол, завтра рано на работу надо ехать, а сам с отцом возьмётся обшивать тёсом дом с улицы. К слову, когда всё сделали, покрасили в голубой цвет, наличники причудливой резьбы на окна навесили — заиграла халупа.

Виталик с тихой радостью поглядывал на старательного домоседа-сына, удовлетворенно угадывал в нём себя. Он часто ловил себя на мысли, какой знатный трудяга мог бы получиться из Андрюхи, если б тот остался в деревне. Технику любит и знает, приучен работать на ней, можно сказать, с детства. Работящий, аккуратный, спорый… Не пьет. Учился в школе очень даже ничего, всё-таки на автомеханика в техникум поступил и закончил. Вот если бы всё оставалось по-старому, прикидывал Виталик, далеко бы пошел в совхозе парнишка. Этот уж точно бы каменный дом поставил. А так, где ему по специальности тут работать — всё развалили, растащили, да и в райцентре картина такая же — ни одного завода не осталось. Вот и пришлось подаваться в “ментовку”. Да и то надо сказать спасибо шурину, у того какие-то зацепки в подмосковной полиции оказались, взяли Андрюху сразу сержантом. И всё равно, в деревне Андрюха, в нормальной деревне, как раньше,

был бы куда больше на своём месте. Ух, крепко бы зажил парень! Виталик воображал сына то механиком, то завмастерскими, то на кране, то на комбайне, заколачивающим в уборочную по восемьсот рублей в месяц, за три сезона на новенький "Урал" с коляской. А что, разве мало зарабатывали, кто старался, не пил, не отлынивал от работы? Рукастый, с башкой механизатор получал больше, чем директор. Всё-таки хорошее было время — уносился в прошлое мыслями Виталик. И представлял Андрюху с хозяйственной, толковой женой, с нормальными ребятишками, естественно, в добротном кирпичном доме, где впереди яблоневая аллея, мощённый гладкими, обкатанными водой камушками (вон их в реке сколько!) двор, с клумбой посередине и разными пристройками... как у того немца, в Германии. "Не у меня, так у него точно получилось бы!".

...После бессонных суток дежурства Андрюха Смирнов никакой, измотанный до предела, рухнул на узкую, расшатанную кровать в полицейском общежитии в восемь вечера пятницы и проспал, как убитый, до десяти утра субботы. Проснулся выспавшимся и бодрым, в приподнятом настроении. Принял душ, надел джинсы, новую, голубую рубашку, ярко подсинившую и без того синие, васильковые глаза, жадно и с удовольствием позавтракал яичницей с жареной колбасой и в самом благодушном расположении духа вырулил на своем подержанном, но смотрящемся почти новым, чисто вымытом и ухоженном "фольксвагене" на трассу в сторону родного Иванграда.

Всё в тот день, от наконец-то появившегося солнца после трёхдневных дождей, чистоты и свежести промытых пространств с фиолетовыми пятнами люпиновых колоний, малиновыми линиями иван-чая, цветной вышивкой трав до дерзкого хода автомобиля, напористо подминающего под себя километры местами еще влажного, маслянисто лоснящегося на солнце асфальта, — всё это было так зримо, энергично и сильно и так сливалось с внутренним ощущением полета, довольства и безмятежности, что Андрюхе хотелось кричать что-то бессмысленное и несуразное, голосить во всё горло и подпрыгивать от беспричинной радости за рулём, что он периодически и делал, на долю секунды фиксируя краешком глаза диковато-недоуменные взгляды водителей пролетающих мимо, как из пращи, машин... Памятный выдался тогда денёк, надолго он запомнился Андрюхе.

Подъезжая к Иванграду, распираемый желанием щегольнуть и покрасоваться на иномарке, Андрюха несколько раз набирал по мобильному домашний телефон дядьки Фёдора, тот по субботам частенько выбирался с женой в Романово навестить родителей. Машины своей дядька не имел, ездил в деревню на автобусе, ещё ходившем два раза в сутки (раньше было пять рейсов), днём и вечером, с грехом пополам в Романово. Что такое романовский автобус по субботам, Андрюхе объяснять было не надо — поездил, знавал это дело. В маленький, всегда почему-то заляпанный сухой, светло-коричневой грязью, с ободранными сиденьями "пазик" народу набивалось под завязку. Ехали обычно весело, с прибаутками и матерком, и нередкими драками за свободные места... Никто у дядьки Федора дома на звонки не откликался. И Андрюха решил завернуть на всякий случай на автостанцию, подхватить дядю, если тот решил съездить в деревню, непосредственно у автобуса.

Андрюха дважды объехал вокруг романовского "пазика", энергично штурмуемого расторопными земляками, правя одной рукой, нарочито высовывая голову из машины. Дядьки нигде не было. Притормозив поодаль, Андрюха решил дождаться конца посадки, авось ещё прискочет старый козел. Настроение у Андрюхи начало портиться, никто его особо не замечал, знакомые здоровались сдержанным кивком головы, подбросить никто не напрашивался. Гордый народ романовцы, с самомнением, что тут скажешь, мать их так! И тут от толпы отделилась в коротком розовом платьице и голубой джинсовой курточке, на упругих, ровных ножках в белых туфельках на высоком каблучке девушка Мальвина. Именно в такую, почти в такую, влюбился когда-то в детстве Андрюха, посмотрев в романовском клубе "Приключения Буратино".

— Здравствуй, Андрюша! Ты случайно не в Романово? — очаровательной стрекозкой подлетела и замерла, словно зависнув в воздухе, над высунутой из окна машины головой Андрюхи Мальвина, поправляя солнцезащитные очки

на высокой, взбитой прическе крашеных, пепельно-голубоватых волос. Мальвина, это была точно Мальвина, настоящая, с экрана, из детства! Только повзрослевшая… И ещё у той глаза были синие, печально-неподвижные, а у этой смеющиеся, карие, с клубящимся сизым дымком в глубине зрачков.

— Ты что, не узнаешь меня? — Мальвина отступила на полшага назад, как бы давая себя рассмотреть. — Это я, Люда Демьянова, мы ещё в школе учились вместе, только я в пятом, а ты в десятом.

— Что-то припоминаю, — растерялся Андрюха, с неприличным магнетизмом зашарив глазами по оголенным, стройным ножкам Мальвины. — Хотел дядьку встретить… в Романово еду. Могу подвезти… — неопределенно промямлил он.

— Дяди Феди здесь нет… Так что, мне садиться? — заиграла глазками Мальвина.

— Да садись… какие дела! — расторопно, справляясь с растерянностью, ответил Андрюха, чувствуя, что девушка ему нравится. — Даже если он придет, всем места хватит.

Мальвина, цокая каблучками, розово-голубым облачком облетела машину и эфирно-бесшумно опустилась на переднее сиденье рядом с Андрюхой.

— А как же билет? — покосился Андрюха на высоко открывшиеся бедра Мальвины… и проглотил вожделение.

Мальвина, усмехнувшись, достала из кармашка джинсовой куртки прямоугольный листик бумаги, скомкала его и выщелкнула пальчиком в окно:

— С местом… кому-то повезет…

В автобусе с трудом закрыли спинами переламывающиеся дверцы последние пассажиры, и “пазик”, дёргаясь, приседая на правую сторону, начал отъезжать от автостанции.

— Не пришел… не повезло дяде Феде, — Андрюха тронул машину с места.

— В следующий раз повезёт… Ты ведь каждую субботу ездишь домой, — завозилась на сиденье Мальвина и поддернула из-под себя розовое платьице, натягивая на колени. Андрюха не удержался, снова пошарил глазком полуприкрытые бедра Мальвины.

— Откуда знаешь, что каждую субботу… следишь, что ли? — заелозил вспотевшей рукой по набалдашнику рычага переключения скоростей. На повороте, при выезде от автостанции на центральную улицу города, он опасно, почти на красный свет, обогнал романовский автобус и полетел, не разбирая дороги.

— Да ничего особенного, — неожиданно смущённо сказала Мальвина, — когда идем с девчонками в клуб, всегда видно, стоит ли твоя машина у вашего дома. А почему ты никогда не ходишь на дискотеку? Там бар открыли, прикольно… — спросила она и покраснела.

— Честно? — сказал он, встретившись глазами с Мальвиной и, мгновенно уловив, что ответить надо как думаешь. — Просто смысла не вижу. Пива насосаться да поплясать в дыму… не, это не для меня, я лучше в бане попарюсь…

— А молодость? — задумчиво, как бы вспомнив что-то своё, глубоко интимное, сказала Мальвина. — Вот так и пройдёт?

— Не знаю! — резко оборвал Андрюха, улавливая полезность, но крайнюю несвоевременность разговора. — А я бы тебя никогда не узнал. Чем занимаешься? Где живёшь?

Между тем миновали город, свернули на шоссе в сторону Романова.

— Ну и жара сегодня, кошмар, — замахала ладошками у лица Мальвина, — говорят, весь июль теперь простоит такой… Я в парикмахерской работаю… комнату у одной бабули снимаю… Хочешь, Андрюша, тебе модную прическу сделаю! — Она вдруг плутовато нацелилась на Андрюху. Серые дымки заиграли у неё в глазах. — Что у тебя на голове? Какой-то самодельный полубокс! Хочешь, я сделаю тебе каре, как у хачиков? Нет, каре тебе нельзя, ты все-таки в полиции работаешь… Во, тебе гранж подойдет, очень стильный вид будешь иметь! — Мальвина неожиданно гибко метнулась к Андрюхе и ловко взъерошила ему волосы на голове.

Андрюха уловил легкий запах пота, который показался ему приятным, машинально сбросил скорость, остановился.

— Так и разбиться можно! — притянул к себе Мальвину.

— Ну и пусть! С тобой я на всё готова… я поняла это ещё в пятом классе, — засмеялась Мальвина, прижимаясь всем телом к Андрюхе.

Андрюха на миг отстранился, огляделся и, обнимая одной рукой девушку, тронул машину с места, чтобы через несколько метров свернуть с шоссе на полевую дорогу, пробитую в высокой траве к реке рыбаками и любителями пикников на чистых песчаных отмелях.

…Распираемый довольством и счастьем, первый раз в жизни ощутив нежность и страсть влюбленной, потерявшей разум женщины — ничего подобного до этого ни с кем у Андрюхи не было, — он подъехал к дому с желанием с кем-нибудь поделиться своими чувствами, выговориться… может быть, с отцом… Было где-то около восьми вечера. Выяснилось, что сегодня отец пасёт. "Четвёртый день уже", — уточнила мать, внимательно приглядываясь к сыну.

— Ты сегодня особенный какой-то… и нарядный, как жених, — сказала она, собирая на стол.

"А может, я и есть жених!" — хотел сказать Андрюха, но передумал. Всё-таки серьезные, мужские дела он предпочитал обсуждать с отцом. А ведь мать угадала. После произошедшего сегодня у него с Людкой он готов был на ней, ни много ни мало, жениться. Андрюха чувствовал, что он встретил свою женщину. Он это сразу понял, когда слился с ней…

— Вечером схожу в клуб, — уклонился он от разговора с матерью, — одноклассников, когда ехал, на дороге встретил, пива попьем, давно не виделись.

— Только осторожнее там, — сказала Томка, — сейчас в деревне кого только нет, не раньше… а ты милиционер.

— Хорошо, — сказал Андрюха, прикидывая, хватит ли ему времени протопить баню и попариться до встречи с Людкой в клубе. Решил, что успеет. Заодно и отцу будет не грех помыться после четырёх дней пастьбы. А в бане, если не разминутся, может, удастся и поговорить.

Летом натопить баню — дело быстрое. Это зимой кадишь по два-три часа, пока прогреются стены, полы, полок… С десяток охапок дров, не меньше, спалишь, прежде чем почувствуешь, как наполняется устойчивым, сухим жаром тёмное, прокопченное нутро бани. А в июле достаточно десятка поленьев — и всё, через час волосы на голове трещат, пар из каменки, если плеснуть туда из ковшика, вырывается, как из огнемета, злым, раскалённым облаком, только уворачивайся. Таким гремящим духом, когда погаснет в печке огонь, и вода в котле начнет булькать и постукивать, надо баню несколько раз прожарить, промыть как бы, запарить в тазике с горячей водой берёзовый веник, дождаться, пока он не даст целебный, дегтярный запах — и тогда можешь смело заходить париться.

Андрюха уже во второй раз забрался на полок, когда услышал, как в предбанник, как всегда, чуть осторожно вошёл отец и стал неторопливо и размеренно раздеваться, сопя стаскивать сапоги, с глухим стуком отбрасывая их в угол.

— Бать, ты? — крикнул Андрюха. — Опаздываешь! Я уже по второму кругу!

— Ох, и накалил! И как только терпишь! — коренасто и разлаписто, белея в неярком свете банной лампочки сбитым, борцовским телом, на коротких ногах, вошёл в парную Виталик, машинально прикрывая голову ладонью, — шапку бы надел, мозги расплавятся.

— Не расплавятся, всего-то двенадцать полешек бросил…

— Ну да, лето, много ли надо, — сказал Виталик, присаживаясь на низкую скамейку вдоль стены. — Вначале отопреем, за четыре дня с этой скотиной… спина зудит просто.

— Давай предварительно веничком, — изъявил желание соскочить с полка Андрюха.

— Потом, — поморщился Виталик, охлаждая руку в бачке с холодной водой и прикладывая её к уху.

— Что с ухом? — всмотрелся Андрюха сверху. — Оно у тебя вареником оттопырилось.

— Да так… ты только матери не говори, я ей сказал, что у реки поскользнулся, на камень упал, — не стал ломаться Виталик и все как было рассказал сыну.

— Да я ему сейчас, козлу, пойду ноги повыдергиваю! — в бешенстве спрыгнул с полка Андрюха.

— Не стоит, — продолжая смачивать холодной водой ухо, кисло сказал Виталик, — никто ничего не видел… не стоит с дерьмом вязаться. А я его весной сеном выручал… — хмыкнул неопределённо.

— Как это не стоит! — вскинулся Андрюха. — Если тут каждый будет руки распускать… это уже ни в какие ворота! И что? Никто ничего не видел? На всей улице никто? Так не бывает, свидетелей найдем! На пятнадцать суток! Сразу поумнеет!

— И чёрт меня дернул с этой его коровой… Сам не знаю, что на меня нашло! — сокрушённо замотал головой Виталик.

— Бать, ты чего? — продолжал ерепениться Андрюха. — Ну, хлестанул ты эту корову, ну, рубец остался… она что, сдохла от этого? А тут хулиганство! Он же ударил тебя! Не, так просто ему это не пройдет!

— Да кончай ты! — раздражённо оторвал от уха и замахал рукой Виталик. — От дерьма подальше! Никто ничего не видел… а там жизнь покажет.

— Как скажешь, бать, — неожиданно сбавил обороты Андрюха. До него вдруг дошло, что этот "козёл", которому он готов "ноги повыдергивать" за отца — родной отец Людки. И как-то нехорошо ворохнулось что-то в душе. Словно знак какой-то проявился…

— Ты только матери ничего не говори, — снова напомнил Виталик, по-своему оценив замешательство сына, — да и вообще, никому…

В клуб Андрюха пришёл где-то в начале одиннадцатого, в самый разгар бурного, разухабистого веселья. Пошарил глазами по скачущим, подпрыгивающим в трассерах пульсирующих огней изломанным фигурам танцующих. Людки нигде не было. Подошёл к барной стойке, где бармен, он же и диск-жокей в наушниках, в розовой рубашке и жёлтом в белый горошек галстуке-бабочке, с факирской ловкостью орудуя бутылками, приплясывая, сооружал кому-то, высокому и пижонистому, в дорогой, тонкой кожи черной куртке и белых штанах, стоявшему спиной к Андрюхе, какой-то замысловатый коктейль. Бармен сделал знак глазами, снял наушники с головы, что-то коротко сказал, и человек в кожанке обернулся.

— О, кто к нам пожаловал! Здорово, мент поганый! — сказал он довольно доброжелательно Андрюхе, не протягивая руки.

— Здорово, урка вонючая! — в тон ответил Андрюха, тоже не протягивая руки, и вскарабкался неуклюже на неудобный, длинным кукишем торчащий из пола, барный стул. Перед ним был Витёк Орешников, однокашник до восьмого класса. Не виделись они лет семь. Витёк сильно изменился. Из жидкого "глистёныша", как звали его в школе за худобу и заморенность, Витёк раскачался в крепкого, вполне бойцовского вида "быка", нагулял вес, как-то весь раздался, заматерел. Карие, влажные глаза, большие и красивые, смотрели нагловато и твёрдо. "Вполне уверенный в себе бандит", — почему-то подумал, интуитивно весь подобравшись, Андрюха. Ростом он был пониже и массой пожиже, но неожиданно почувствовал, что, если придется сцепиться, он завалит Витька. Он ощутил себя собранным, хладнокровным и готовым рассудочно применить то, чему учили на занятиях рукопашного боя.

Витёк, усмехнувшись и как бы что-то уловив, с небрежной барственностью привычно и ловко угнездился на стуле напротив, картинно откинул руку назад, в которую бармен услужливо вставил фужер с коктейлем.

— Выпьешь? Это мое заведенье, угощаю… Денис, два по сто коньячку! — отставляя стакан с коктейлем, приказал бармену.

— Выпить всегда можно… А вот угощать меня не надо! — положил на барную стойку две сотенные бумажки Андрюха, принимая рюмку с коньяком.

— Брось ломаться… можно подумать, в ментовке платят, как на фирме? — насмешливо заблестел красивыми глазами Витёк.

— Нормально платят, — сухо отрезал Андрюха, — выпить хватит. — И еще раз оценивающе оглядел Витька. Чёрные, густые волосы с природным, сильным блеском, словно налаченные, хорошо, тщательно стриженные с модным коком надо лбом; почти сросшиеся у переносья брови вразлёт, тонкий, горбатый носяра, маслянистые глаза — Витек был не по-местному, экзотично красив. Проступала во всём его облике резкая, завершённая очерченность. Отец Витька когда-то проработал с год ветврачом после сельхозинститута в совхозе. Был он откуда-то из Дагестана, звали его Алиаскер, или что-то в этом роде. Но в Романове он был просто Алик. Неугомонным и любвеобильным оказался Алик парнем. Стремительным всадником гонял он по фермам на выделенном ему совхозом "ижаке", пока не вынесла его горячее, страстное тело тяжёлая, упрямая машина на одном из крутых поворотов на груду собранных на меже валунов. Хоронить увезли его на родину. Романовцы искренне жалели, говорили "хороший был человек", многие девушки и женщины плакали. Особенно рыдала и убивалась по покойному доярка Файка Орешникова, пышногрудая и крепкозадая деваха, к тому времени ходившая уже с приличным животом. Большая охотница погулять, повеселиться, родила Файка с тех пор ещё двоих от разных ухажеров, но не унывала: "Советская власть всех на ноги поставит!". Но тут Советская власть внезапно приказала долго жить, и пришлось Витьку с младшими братом и сестрой с ранних лет впрягаться в изнурительную борьбу за кусок хлеба. Ходили они втроём, оборванные и голодные, по селу, подрабатывали как могли у одиноких женщин и старух — кому грядки за сто рублей вскопают, кому дрова за двести переколют и приложат. После восьмого класса Романовской средней школы отправился Витёк в город, в ПТУ, учиться на токаря. Но кому нужен был токарь в Иванграде, где к той поре все производства встали! Подрабатывал Витёк кое-как в шиномонтажках и автосервисе. Кругом бандиты, обман и свирепая резня за деньги. Кончилось приобщение Витька к когда-то гордому классу пролетариев тем, что подался он к "пацанам", был замечен сборщиком "дани" на рынке, угодил в тёмную историю выбивания долгов с какого-то барыги посредством паяльника и получил пять лет колонии строгого режима. Это всё доходило стороной до Андрюхи, так что в целом он про Витька кое-что знал.

— Когда откинулся-то? — спросил он Витька, пригубливая, не чокаясь с Витьком, рюмку.

— Да с полгода уже, — с вызовом сказал Витек, отхлёбывая тоже из своего стаканчика, — а что?

— Ровным счётом ничего… просто спросил, — в сторону сказал Андрюха, внимательно ещё раз оглядывая танцующих, — и сразу бизнес открыл… молодец.

— Я в твоих похвалах, мент, не нуждаюсь! — мгновенно ощерился Витёк. — Я за пять лет речей ваших поганых наслушался — вот вы где у меня! — провел он ладонью по горлу.

— А коньячок-то палёный, — принюхался, усмехаясь, к рюмке Андрюха, — ванилькой отдаёт.

— Ну и работёнка, даже на отдыхе всё вынюхивать… легавые везде легавые, — парировал Витёк, вглядываясь куда-то за спину Андрюхи. — Вот и Людок, красавица наша, пожаловала!

Наверное, Андрюха слишком поспешно оглянулся, наверное, с излишним интересом вгляделся в приостановившуюся у порога Людку с подружкой, наверное, слишком эффектна и заметна была Мальвина в узких в обтяжку джинсах и светлой рубашке, завязанной узлом на оголенном животе, что он залюбовался, не сумел скрыть свои чувства, что не укрылось от Витька.

— Что, нравится? — ухмыльнулся Витек и наклонился ближе к Андрюхе. — Рекомендую… трахается, как зверь…

— Умолкни, гнида! — страшным шёпотом прошипел Андрюха и с силой вдавил кулаком причинное место Витька в упругую, дерматиновую подушку барного стула. Тот выпучил от ужаса и боли глаза.

— Андрюш, ты куда? Что с тобой? — жалобно пискнула Людка, когда Андрюха с перекошенным от злобы лицом, решительно двинулся к выходу.

— Отвяжись! — кажется, оттолкнул он Людку и выскочил на воздух.

То, что напохабничал ему Витёк, было так похоже на правду, было так близко к тому, что он сам испытал с Мальвиной, что ему казалось невозможным, что она могла так же щедро и бурно раздавать себя другому. Этого не могло быть! Так не бывает! Она же не машина! Но эти подробности… их придумать нельзя. "Тварь! Дешёвая тварь!" — бесконечно повторял Андрюха, шатаясь бесцельно по деревне.

3

Утром в воскресенье Виталик залёживаться не стал. Хотя вечером после бани, разнежившись, пообещал Томке, что завтра работать не будет, а будет весь день отдыхать. "Ты бы поберёг себя, отец, не всё чертоломить", — ласковым, медовым голоском баюкала Томка, смазывая зашибленное ухо какой-то противовоспалительной мазью и для пущего эффекта подкладывая под бинт, налагаемый на больное место, листья подорожника. Её мягкие пальчики, почему-то со временем совсем не огрубевшие от ежедневной, деревенской работы, проворными барашками прыгали вслед за бинтом вокруг головы Виталика. Сердце Виталика таяло от благодарного чувства к жене, и он покорно, молчаливыми кивками головы, соглашался, что нужно отдохнуть. Но думал он только о том, как поведёт себя на лугу навесная косилка, которую давно уже нужно было менять. Но она стоила денег, а лишних денег у Виталика после покупки сыну машины не было. Да и трактор, похоже, своё отработал, размышлял Виталик, тридцать лет… так, говорят, работает только японская техника… движок надо перебирать, на ходу глохнуть стал. А когда этим заниматься? В сенокос? Кто ж так делает! И Виталику не терпелось поскорее начать, врезаться в круговерть сенокоса, забыть проблемы. А там посмотрим, а там, если что-то пойдёт не так, по ходу решим, выкрутимся, придумаем…

И потому, несмотря на вчерашнее согласие отдохнуть "хотя бы в воскресенье", Виталик, как заведённый, вскочил в половине пятого, размотал бинт на голове — ухо, кажется, прошло, не саднило, опухоль начала спадать; подоил и выгнал коров в стадо, выпустил овец, успокоил, зашевелившуюся в постели Томку, что "уже выспался… не спится", попил парного молочка и с нескрываемым удовольствием завёл стоявший на задворках трактор…

Косить он начал по отлогому, просторному склону неглубокого, с пересыхающим летом ручьем и небольшими, болотистыми бочажинами оврага, километрах в двух от Романова. Это были когда-то самые удобные, самые лакомые покосы в окрестностях села. Рядом с домом, и сено на солнечных, покатых угорах выходило всегда необыкновенно душистое от зрелого разнотравья, плотное и тяжёлое. Когда-то за делянки здесь, как рассказывали, романовские мужики крепко и с остервенением бились. Теперь они и даром никому не были нужны. Виталик уже лет пятнадцать здесь косил, и все свыклись с мыслью, что это Смирнова угодья. Да если бы кто-то заехал и другой, Виталик не стал бы возражать, травы хватило бы всем. Но те, кто держали скотину, предпочитали заготавливать сено ещё ближе к селу, на одичавших, бывших клеверных, совхозных полях. И Виталик тоже больше по привычке обкашивал в овраге самые лучшие, ровные участки, а затем переезжал на давно облюбованное им поле у соседней Хорьковки.

Виталик работал уже несколько часов кряду, кружил с косилкой по склону оврага, так что начала ныть и постанывать занемевшая от неудобной позы спина, когда на другой стороне оврага на свое поле выехал валить клевер Бяка. На красном, новеньком, поблескивающем свежей краской "Беларусе", с мощной роторной косилкой — "И где только деньги люди берут!" — Бяка уверенно зашёл на высокие, густые чащи зеленовато-коричневого, с редкими розовыми шапочками, начинающего осыпаться клевера. Его трактор работал как бы без выхлопа, ни одного темного дымка над трубой — Виталик перевёл взгляд на свою чадящую керосинку — "Эх!". Роторная косилка

Бяки без зажёвываний, играючи забирала жёсткие стебли перезрелого клевера и словно бритвой срезала под корешок — "Нам бы такую!". И ещё Виталик вспомнил, что, как тут недавно ему рассказывали, Бяка прикупил по весне пресс-подборщик и какую-то машину с замысловатым названием для очистки полей от подлеска.

Обычно, обкашивая свои делянки, Виталик задавался целью где-то к полудню делать перекур напротив родника на противоположной, высокой стороне оврага. Родник, сколько помнил Виталик, всегда пульсировал здесь упругими, светлыми клубами хрустальной воды, словно ритмично работало в недрах земли чьё-то невидимое, неустанное сердце. В прежние времена ключ каждое лето углубляли, расширяли лопатами, забирали в просторный деревянный сруб, так что образовывалось небольшое озерцо, где в холодной, никогда не прогреваемой солнцем воде хранились до отправки на молокозавод бидоны молока от полуденной дойки совхозного стада. Молоко не скисало сутками. Случалось, мальчишки в жаркие дни, если проходили мимо, окунались и даже пробовали плавать в родниковой заводи. Но обычно пулей через минуту-другую вылетали из воды, долго стучали от холода зубами.

"И ведь не болели!" — как всегда, машинально подумал Виталик, останавливая трактор напротив ключа. "Закалённые были, ничего не брало… весь день на воздухе и зимой, и летом… как быстро пролетело всё…" — размышлял он, пробираясь к роднику по дну оврага среди зарослей ивняка, душных, остро и приторно пахнущих дебрей сныти, коричневых султанов рогозы.

У родника он разделся по пояс, намочил руку, присев на корточки, в ледяной воде, пошлёпал ею по начинающей лысеть с затылка голове, осторожно потрогал ухо — кажется совсем прошло! — напился из пригоршни и решительно обмыл лицо, шею, грудь ключевой водой. Растёрся рубашкой, тело заполыхало жаром и свежестью. "Вот потому и не болели", — снова подумал Виталик о пользе закаливания, вспоминая неясно и мимолетно о детстве… А когда оделся и присел на крутой склон оврага, вбивая для упора каблуки ботинок в землю, мысли его сразу стали заняты главным и привычным — где разжиться деньгами на новую технику? Может, и в самом деле в фермеры податься? Говорят, им кредиты стали давать… Тут надо бы с Бякой поговорить… Но ведь никогда правду не скажет, шельмец, думал с легким раздражением Виталик, прислушиваясь к чистому, мощному гудению Бякиного трактора, равномерно, без натуги то приближающегося к оврагу, то уходящего далеко в поле. Несколько раз Виталика подмывало подняться наверх, остановить под каким-нибудь благовидным предлогом Бяку, поговорить. Но какое-то чувство гордыни не пускало его. И он, пожевав в задумчивости травинку, собрался уже уходить. Внезапно Бяка, словно угадав его желания, остановился где-то неподалеку. Виталик услышал, как он выпрыгнул из кабинки на землю и, шумно разрывая цепкую, густую траву ногами, направился к оврагу.

— Не пересох ещё ключик? Хватит напиться? — крикнул Бяка сверху и, скользя подошвами сапог, хватаясь руками за высокие, жилистые стебли желтеющей пижмы, стал боком, выставляя ногу вперёд, спускаться к роднику.

— Ну и жарища сегодня! — вприпрыжку подскочил к Виталику и с разбега звучно поздоровался за руку. — Я смотрю, ты здесь с самого ранья, уже на корову, поди, навалял… Я тоже хотел пораньше, но вчера были гости из города, поддали крепенько, с утра еле раскачался. — Бяка опустился на колено, зачерпнул кепкой воду из родника и стал торопливо и жадно пить. Напившись, он умыл лицо, отжал кепку и нахлобучил её мокрую на заросшую густым, диким волосом, давно не стриженную голову.

— Завтра, если такая погода постоит, уже можно будет сено прессовать, — сказал Бяка, поглядывая на небо.

— Это, смотря кто… прессовать… — осторожно ответил Виталик, глядя в землю. Он обдумывал, как половчее подъехать к Бяке с назревшим, деликатным разговором, если тот сам в руки просится.

— Что, неужели все по старинке с граблями и вилами по лугам бегаешь? — насмешливо скосил глаза с жёлтыми белками Бяка.

“Пьёт, капитально пьёт”, — подумал Виталик, пристально посмотрев снизу на Бяку, отметив и желтизну глаз, и серую, с трёхдневной щетиной, нездорово натянутую на скулах, кожу исхудалого, не по возрасту в обильных морщинах Бякиного лица.

— Да как-то всё никак на пресс-подборщик не скоплю… вот и приходится с граблями и вилами… — вынужденно миролюбиво пробормотал Виталик, проглатывая обиду. — Кстати, по чём они сейчас? Ты, я слышал, новый купил?

— Новье по сто тридцать тысяч и выше, — покровительственно сказал Бяка, машинально ощупывая рукой склон и усаживаясь поудобнее рядом с Виталиком, — подержанный можно подыскать и за тридцать-сорок… набери в интернете, там чего только нет.

— В интернете… — хмыкнул Виталик. “Тебе бы наши заботы”, — подумал.

— Скажешь, и интернета у тебя нет? — с издёвкой сказал Бяка.

— А у тебя есть? — огрызнулся Виталик.

— Есть… давно уже от школы оптоволоконный кабель домой провел. Пора уже от лучины, Виталя, отрываться, — похлопал Бяка Виталика по плечу. — Интернет — великое дело, очень полезная штука… Я по интернету хоть каждый день с главой района могу связываться! — вдруг вырвалось у него. — По телефону или на прием там хрен добьешься, а по интернету письмишко на его электронный адрес бросил, глядишь, через день-два помощник его тебе уже ответ начирикал.

Виталик с интересом посмотрел на Бяку:

— А с какого перепугу он тебе отвечать станет?

— Их обязывают реагировать, так сказать, на нужды трудящимся… — усмехнулся Бяка, — в интернете никаких бланков, официальных подписей, отбрехался через помощника, кто там чего проверять будет… А потом, таких как я, нас всего двое в районе, хочешь не хочешь — особое отношение…

— Что, всего два фермера на весь район? — напрягся (что-то забрезжило полезное в разговоре) Виталик.

— Когда делили паи, нарисовалось сразу где-то под сотню… думали, главное землю взять, — задумчиво, с сухим треском потёр небритый подбородок Бяка, — а потом — налоги, тарифы, цены, техника… сам знаешь… За двадцать лет все разорились. Барахтаемся вот пока — я да еще один мужик из бывшего “Дубеневского” совхоза… — вяло уточнил Бяка.

— Барахтаетесь… ну, тебе-то грех жаловаться… вон у тебя… каждому бы так, — потыкал большим пальцем через плечо Виталик в сторону поля.

— Э, брат, не завидуй, — усмешливо сузил глаза Бяка, — если тебе рассказать, как это всё достается… Но лучше не будем! — хлопнул он себя ладонями по коленам и сделал попытку встать.

Виталик понял — или сейчас, или никогда.

— Миш, — вдруг доверительно и проникновенно, чувствуя, что следует подпустить “слезу”, заговорил он, — а я хочу в фермеры податься! Торговать молоком и сметаной по дачам — это ничего, но всё-таки не то… не догоняю, понимаешь? Не догоняю, и всё тут! Тити-мити… — пошуршал пальцами в воздухе Виталик. — Трактор ещё совхозный, надо менять… Какую-то новую технику купить тоже невозможно. Не всё же с граблями и вилами, в самом деле, по лугам бегать! Детям что-то пора приобрести — у обоих ни кола, ни двора! А тут, может, какие кредиты дадут… У нас с Томкой и с родителями двадцать пять гектаров паевых есть. Выделимся, зерновыми займусь, стадо заведу, глядишь, копейка серьёзная появится… Что-то надо делать! Вот ты, хоть и говоришь, что трудно, но что-то у тебя выгорает — трактор вон новый, пресс-подборщик, новая косилка, этот, как его, мульчер… поля чистить, ведь лес везде поголовный прёт… Но это надо было всё как-то приобрести! Значит, можно! Вот я и думаю, может и мне рискнуть?!

Бяка молча, насупившись, сгрёб пятернёй кепку с головы и отбросил в сторону, расстегнул молнию, снял байковую ветровку с капюшоном. Кисло

пахнуло застарелым потом, несвежим бельем. Остался в одной вылинявшей, грязно-серой футболке.

— Меня на следующий день после пьянки стало часто в пот бросать. Вот так вдруг прошибёт, что хоть майку выжимай. Не знаешь, почему это? — сказал неожиданно Бяка, утираясь внутренней стороной ветровки. — Я слышал — от сердца…

— Да просто жара сегодня, — поспешил успокоить Бяку Виталик, хотя ему показалось, что Бяка вдруг как-то излишне побледнел, — а ты оделся как на Северный полюс… охолонись вон лучше из родничка.

— Пожалуй, ты прав, — с раскачкой приподнялся с земли Бяка. У родника он, широко, по-бабьи расставив ноги, наклонился и с чувством, сильно, почти втирая воду, умыл одной рукой лицо, намочил голову и шею.

— Враз полегчало! — оторвался от родника и, повернувшись лицом к Виталику, пристально оглядел его, как бы к чему-то примериваясь. — А всё-таки с сердцем что-то не то, то стучит и стреляет, как тракторный пускач, то обмирает, как курица под топором… — Последние слова были сказаны Бякой словно в дополнение к какому-то непростому, внутреннему диалогу с собой.

— Провериться надо, — машинально сказал Виталик, чувствуя приближающуюся развязку.

— Вот что, земеля! — выпрямился медленно Бяка. — Я тебе по-дружески, откровенно, как мужик мужику скажу — не суйся ты в это дело, в это фермерство гребаное! Живёшь спокойно, не голодаешь — ну и живи! А дети? Что дети? Дети у тебя выросли, пристроены мало-мальски… пусть ипотеку берут…

— Ну, ты скажешь тоже… ипотеку! Ипотека — это на всю жизнь хомут… две квартиры, говорят, в итоге выплачивать приходится, — промямлил растерянно Виталик. Слова Бяки явно озадачили его.

— Смешной ты человек, — заулыбался Бяка, подходя ближе к Виталику, — а кредиты, о которых ты мечтаешь, если фермером станешь, они тебе что, за просто так будут даваться? Их тоже, как и ипотеку, возвращать с процентами надо!

— Говорят, начинающим есть льготные какие-то…

— “Говорят, начинающим…” — передразнил Бяка, — минимально под десять процентов, вот тебе и все льготы! А дальше сам думай, крутись, выворачивайся наизнанку, как их вернуть…

— А ты… ты как же? — мягко, боясь спугнуть момент, задал свой главный вопрос Виталик.

— Что я? — неопределенно пожал плечами Бяка и снова долго, как бы что-то прикидывая, рассматривал Виталика. — Я в дерьме по самую макушку… — медленно сказал Бяка и снова замолчал. Виталик, трепеща, впился в него взглядом.

— Запутался я в этих кредитах, век бы их не видать, — продолжил неожиданно, словно на что-то решившись, Бяка, — берёшь новый, прикрываешь старый, потом снова берёшь, закрываешь предыдущий… и так до бесконечности. Живу в долг и каждый день жду, когда этот пузырь лопнет… надоело… скорей бы обанкротиться — всё какая-то ясность! Но и этого сделать не дадут… — засмеялся натянуто Бяка, показывая отсутствие передних зубов.

— Почему это… не дадут? — вильнул глазками Виталик.

— А я для них дойная корова, — насмешливо посмотрел на Виталика Бяка, — сорок процентов с каждого кредита наверх отдаю! Представляешь, миллион они мне, допустим, оформляют, а я им четыреста тысяч обратно в конвертике возвращаю… Так кто ж такой несушке голову будет рубить?! Вот они меня и подсаживают, как какого-нибудь наркомана на иглу, на кредиты… Виталя, друг сердечный! Это паутина, — морщась и растирая рукой левую часть груди, начал вдруг говорить что-то ужасное Бяка, — липкая, грязная паутина! Лучше не попадать в неё! И техника у меня не моя — вся она в лизинге! Не завидуй!.. И вообще, запутался я в мутных схемах с этими жуликами по самое некуда! Поэтому и тебе не советую лезть в это дерьмо!

Живи спокойно, радуйся, что никому ничего не должен, что сам по себе и что ни одна сволочь не держит тебя на крючке! — Бяка поднял кепку с земли, оббил её о колено, и, зажав вместе с ветровкой в руке, не прощаясь, стал зло и решительно, как показалось Виталику, постанывая, карабкаться вверх по склону оврага.

После разговора с Бякой что-то в душе у Виталика разладилось. Были упования, пусть неясные, но какие-то надежды на изменения в лучшую сторону чего-то главного в жизни. Снова всплыли в сознании забытые было грезы о собственном каменном доме. Но Бяка пролил в душу неуверенность и сомнение. Может, действительно не надо ничего менять? Вроде всё есть, все сыты, одеты, обуты. Погонишься за большим, не потеряешь ли то малое, что есть, что вот оно, как говорится, в руках? Не случайно же все эти фермеры разоряются? А то, что Бяка рассказал о себе? Жуть, страшно становится.

Виталик так раздумался, разволновался, что не заметил в траве россыпь мелких, острых камней. И откуда они только берутся! Виталик каждый покос чистил от них овраг, но они маниакально, как драконовы зубы, лезли и лезли всякий год из земли… Стальные, натёртые до блеска травой ножи косилки искристо царапнули камни, заскрежетали, вздыбились, начали с хрустом ломаться, словно стеклянные. Виталик чертыхнулся, остановил трактор, дал задний ход. Но было уже поздно, косилку заклинило намертво. “Теперь до вечера ножи меняй! Только бы Андрюха не уехал, вдвоём управимся быстрее!” — Виталик возбуждённо погнал трактор в деревню.

Было уже около пяти пополудни. Установилось полное безветрие. Солнце палило немилосердно. Виталик обливался потом, задыхался от зноя и пыли, трясясь в раскалённой кабинке на ухабах по дороге домой. Мутило — с утра ничего не ел, злился, что не нашлось в тракторе пустой бутылки, набрать воды в роднике, что ничего не взял утром перекусить, что не углядел с косилкой… Доставалось мысленно и Бяке: “Зажрался! Всё ему не так! Да ещё пугает!..”

Как ни гнал, ни спешил, сына дома все-таки не застал.

— С полчаса как уехал, — сказала Томка, вглядываясь в лицо мужа. — Андрей весь день был мрачнее тучи, ты вон тоже какой-то недовольный… Что с вами сегодня? Давай-ка я покормлю тебя, — понимающе добавила она, — а потом полежи, отдохни… И что тебя погнало с утра, завтра бы с сеном начал… а сегодня с Андреем пообщался бы, не то что-то с ним, чувствую, — заканючила Томка и осеклась, заметив, как раздражённо стал морщиться Виталик.

— Может, подрался с кем… люлей получил, — грубо сказал Виталик, всё ещё недовольный, что сын уехал раньше обычного, и потрогал зашибленное ухо.

— Да нет, не похоже, что-то другое… — задумчиво проследила Томка за рукой мужа. — А ухо у тебя, я смотрю, совсем спало…

— Слава Богу, — уже ласковее отозвался Виталик, — да вот как назло на покосе Бяку встретил, а потом косилка полетела, на камни напоролся… Как проморгал?! И все Бяка со своей трепотнёй… расстроил меня…

Томка сделала вид, что пропустила про Бяку мимо ушей, достала из холодильника початую бутылку самогона, холодную, зажаренную с утра в духовке курицу, банку малосольных огурцов.

— И что теперь? Косилку новую покупать? — сострадательно посмотрела на мужа.

Виталик выпил рюмку, закусил огурцом, набросился на курицу, раздирая её руками.

— Да сделаю, там всего-то ножевое полотно поменять, — невнятно заурчал он с набитым ртом, — с Андрюхой, конечно, повеселее бы… но ничего, сам управлюсь… Говоришь, расстроенный уехал?

— Весь день был какой-то смурной, — долго вытирала руки Томка кухонным полотенцем, неожиданно добавила: — Мне передавали, вчера он подхватил у автостанции в городе Людку Демьянову…

— Ну и что? — недовольно покосился Виталик, вспомнив вчерашнюю историю с Генкой.

— Вот и то! — вырвалось раздраженно у Томки. — Люди-то заметили, тронулись они от автостанции вместе с автобусом в час, а домой-то он приехал где-то в начале девятого…

Виталик пожал плечами, потянулся было к бутылке, но передумал — пьяным работать не любил, а вечером он твёрдо наметил косилку починить.

— Нормально… покатал девку, — ухмыльнулся, — дело молодое.

— Да как сказать, — многозначительно сказала Томка. — Говорят, она весной с Витькой Орешниковым путалась, когда он вышел из тюрьмы.

— Говорят, говорят… всё у вас говорят, — нахмурился Виталик, почувствовав, как недобро ёкнуло сердце. И налил всё-таки вторую рюмку. Выпил, долго и сосредоточенно хрустел огурцом. Томка терпеливо переминалась у стола.

— Ну, а приехал-то он вчера… ничего? — спросил Виталик, твердо и решительно завинчивая бутылку.

— Веселый, в настроении… — вздохнула Томка, — ну, ты же его сам в бане видел…

— Значит, что-то там, в клубе, приключилось… — старательно стал чистить зубы спичкой Виталик, — я ему говорил, нечего там делать… лучше бы лёг пораньше, а с утра сено со мной поехал косить… глядишь бы я с Бякой не заболтался, косилка была бы цела… Эх! — махнул рукой. — Приедет в субботу, поговорю! — Виталик кинул спичку в чёрное жерло печки, решительно поднялся. Постоял, подумал и зачем-то добавил: — Ну, а что касается Людки и этого… как его, Витька Орешникова, то со свечкой мы там не стояли… А у нашего должна быть башка на плечах, не маленький уже…

Томка покачала головой.

— Не маленький, конечно, но неопытный еще… сейчас девки вон какие… да этот тюремный тут… говорят, бандит отпетый! — разволновалась неожиданно она.

— Ладно, ладно — разберёмся, — досадливо морщась, попытался успокоить жену Виталик, — приедет, всё узнаем! Главное, без нервов… а то напридумываешь ты вечно!.. Лучше послушай, что Бяка баит, — свернул неприятный разговор Виталик, снова усаживаясь за стол.

— Да как же иначе… сердце болит, — часто заморгала бирюзовыми глазками Томка и, виновато улыбаясь, задвигала табуреткой присесть.

Виталик в подробностях передал разговор с Бякой в овраге.

— Даже не знаю, что тут и сказать… — задумалась, выслушав мужа, Томка. — Конечно, у каждого сегодня жизнь не сахар, но получается-то пока — Бяка лучше всех в Романове живёт и что-то, похоже, не спешит фермерство бросать.

— Говорит, скорей бы обанкротиться, кредит кредитом покрывает, как белка в колесе! — торопливо вставил Виталик.

— Это все они так говорят, у кого своё дело… ноют и жалуются, — рассудительно сказала Томка, — только добровольно никто ещё от этого куска хлеба не отказывался. Жадные, хитрые… и соперников боятся.

— Ты куда это клонишь, не пойму что-то?! — искренне удивился Виталик.

— Да как сказать, — внимательно посмотрела на мужа Томка, — пока он тут в округе один фермер, все кредиты его, а появись еще кто-то — уже на двоих делить надо.

— Ну, ты и скажешь! — подскочил Виталик на месте. — Как это… конкуренции боится?! Поэтому и запугивал, значит! — С нескрываемым интересом посмотрел на жену: "Век живи, век учись", и почему-то вспомнил, что идея с фермерством принадлежала Томке. — Не знаю, — пожал плечами, — мне показалось, Бяка от души говорил, без подлянки…

— Может, оно и так, — сказала Томка со вздохом, — тут подумать надо, нас же никто не гонит…

4

Давным-давно, еще на заре новой, демократической власти, когда на короткий период неожиданно прихлынули в деревню частникам щедрые, безвозмездные кредиты от государства, Бяка не сплоховал, взял своё и выстроил просторный, с размахом, каменный дом за околицей, на холме, поближе к лесу, где рядом, сразу от опушки начиналось его поле. Красивое место выбрал Бяка для жительства, привольное. Дали необъятные убегали от окна, синели в дымке леса на горизонте… Поэтом бы родиться Бяке! И всегда было здесь сухо и чисто. Не как в самом Романове, где весну и осень увязали в грязи. Что тоже учёл Бяка, когда выбирал место под будущий дом. Приусадебный участок он прирезал к кромке поля, так что на деле вышло, что он хитро расширил свои владения где-то ещё на гектар. Все делал с умом, продуманно и надежно Бяка. Дом разделил для удобства капитальной стеной на две половины: зимнюю и летнюю. Кочевал с постелью из духоты в холодок и обратно. Полы настелил двойные, с толстым слоем керамзита между половицами — зимой хоть босиком ходи, не застудишься. Рамы вставил дубовые, которые ни одна сырость не перекашивает, вечные. Мансарду для будущих внучат утеплил поролоном и обшил вагонкой, а затем проолифил и покрыл лаком. Получилась на чердаке уютная, сверкающая чистотой и опрятностью светёлка.

Приусадебный участок Бяка разделил на три части. На первой, рядом с домом, всегда солнечной поляне, специально без единого деревца, разбил огород. Тут росли только овощи и полезные кусты — смородина, малина, крыжовник, бузина вдоль забора от грызунов и вредителей. Во второй посадил яблоневый сад с беседкой посередине, с вишенником по периметру, в котором живописно "утопил" баньку. В третьей части, с берёзовой аллеей на выезде, разместил хозблок — увитый диким хмелем, чтобы запах отшибало, двор для скота и сарай для сена; рядом, как он говорил, "кормозапарочный цех" с двумя огромными котлами, вмазанными в печку, в которых с утра до вечера булькало и варилось в облаках тёплого, белого пара месиво из комбикорма и картошки для свиней, настаивалось пойло для коров; сзади кормозапарника — обитый шиферными листами навес для техники; в углу участка, на отшибе — отапливаемая, с печкой, избушка-слесарня с инструментом, токарным станком, купленным за копейки ещё у совхоза, за которым Бяка наловчился вытачивать болты и гайки, и самые необходимые железки по хозяйству — от дверных крючков до массивных, навесных запоров для сараев и пристроек.

Все это сложное и непростое хозяйство вместе с домом Бяке удалось выстроить и наладить за какие-то два-три года после обвала советской власти, когда ещё живы были в Романове рукастые и несребролюбивые, старой закалки мужики, готовые за ящик водки и скромное угощение, за "здорово живешь", так сказать, поднять и справный дом за лето, и баньку с пунькой сгоношить. Правда, на угощение Бяка не скупился, подтягивал ежедневно из города спирт "Рояль" багажниками на "Москвиче", нарезал горы дешевой вареной колбасы, не жадничая, выставлял просроченную гуманитарную тушенку из Европы, тазиками варил скользкие, рыхлые "ножки Буша". Иногда шелестел, но уже скупее, "гайдаровками" с многочисленными нулями, выдавал, когда мужики уже изрядно накачивались и радовались, как дети, "живым" деньгам, которые они видели в победно шагающей рыночной стихии всё реже и реже. Что они доносили до дома, одному Богу известно. Поговаривали, что Бяка как отдавал, так аккуратно и забирал у наиболее захмелевших.

Подфартило Бяке тогда с мужиками, крупно подфартило. Через пять лет эти чуткие и отзывчивые на чужую нужду люди, добрые, наивные, человеколюбивые "совки", вдруг начали дружно вымирать. Умирали они от водки, от этой дешёвой, удивительно доступной, морем разливанным нахлынувшей, "палёной", ядовитой гадости; от тоски и непонимания, что с ними происходит; от своей ненужности и бесполезности… Умирали десятками, не дожив год-два до пенсионного возраста. Когда Бяка обнаруживал, что достроить,

допустим, сенник некого было уже и позвать, он начинал не без странного удовлетворения думать, что со своей грандиозной стройкой он успел как-то удивительно вовремя и ловко проскочить, что ему в каком-то смысле повезло… Проскочить он успел и с деньгами. Осторожное, хитрое, тороватое районное начальство, сплошь из прежних коммунистов, только начинало входить во вкус освоения увесистого государственного пирога и поначалу оглядчиво отгрызало от кредитов Бяке всего лишь пять-семь процентов. Это уже потом, лет через десять они установили твердую планку в сорок процентов, а тогда ещё пугливо скромничали и оставляли Бяке, завистливо облизываясь, приличные суммы. Бяка зажил тогда на широкую ногу, вольным помещиком. Зерновыми он заниматься бросил — невыгодно стало, засеял поле клевером — возни меньше, развёл коров и свиней. Правда, с тех пор его хозяйство прозвали Свинячьим хутором. Бяка на это обижался, поскольку считал себя образцовым хозяином, чистоплотным и аккуратным, не то что некоторые, вот уж действительно, живущие, "как свиньи". И ведь действительно имел на это право, если по совести сказать. Дом его, благодаря стараниям жены Райки, сухопарой, не знающей устали в работе, энергичной, суровой молчунье, светился чистотой и опрятностью. Перед домом, со стороны села, Бяка разбил цветник, высадил вдоль грунтовки до большака голубые ели. Он даже мусор регулярно вывозил на тракторной тележке в заброшенный песчаный карьер. Поэтому, чья бы корова мычала…

В новом доме родилась дочь Тонька. Долгожданный ребенок, Райка долго не могла понести. Обнадёженный Бяка начал мечтать о наследнике. Но внезапно Райка умерла. В мглистый, ноябрьский день, с ледяным северным ветром, разогретая в кормозапарнике до пота, она в одном халате привычно сновала с ведрами на скотный двор и обратно. Ночью заполыхала от высокой температуры, стала бредить. Через два дня преставилась в районной больнице от крупозного воспаления лёгких. "Странно, — говорил потом Бяка, — от воспаления лёгких сейчас не умирают". Но жена умерла. И с этого рокового события начался совсем другой отсчёт времени в жизни Бяки.

Дом, двор, огород, сад вдруг начали зарастать грязью, сорной травой, мусором, превращаться действительно в Свинячий хутор. Бяка пробовал сопротивляться накатывающему запустению. Бросался по утрам в огороде на сорняки, обкашивал сад и проулки между сараями, старался подмести в доме, помыть посуду хотя бы для Тоньки, устроить постирушки. Но его одного на всё явно не хватало. Сад за лето зарастал густой, негодной травой, от которой коровы отворачивались; к хозяйственным постройкам торились едва заметные тропинки; у крыльца незаметно образовалась помойка; в доме за свалками нестиранного, затхлого тряпья заметно сжалось пространство, поубавилось света. Тонька подрастала. Поначалу Бяка смотрел на неё с надеждой. Но девочка росла вялой, замкнутой, безразличной ко всему тихоней. Она даже в куклы не играла. Обычно днями одиноко просиживала у окна, рассеянно смотрела куда-то в сторону села, в небо, вычерчивала слабым пальчиком на стекле какие-то, ведомые только ей, вензеля и значки. "По матери тоскует", — думал Бяка и подходил к дочери, жалостливо гладил по головке. От его прикосновения девочка вздрагивала и ёжилась. Бяка в такие минуты терялся и, не зная, что сказать дочери, вздыхал и молча уходил из комнаты. "Жениться бы надо, — размышлял он тоскливо, — мать ей, конечно, не заменишь, но вот если бы попалась добрая и работящая…" Но такой женщины не подворачивалось. Сошелся было Бяка с "новой русской" в Романове, владелицей магазина Надькой Карасёвой. Полгода похаживал к ней по вечерам. Надька была разведённая, тоже одна поднимала сына. Была аккуратная, чистоплотная, водкой и мужиками не баловалась. Лет с двадцати начала работать продавщицей в Романовском сельпо, нагло не обсчитывала, ну, если только по копеечке, по две с пьяненького какого или подслеповатой старушки. Приторговывала, говорят, среди своих по ночам водкой, по рублю сверху. Деньги на книжку не клала, покупала золото в Москве. Так что было на что открыть свою лавочку при буржуйской власти. И собой была Надька вполне ничего, Бяке нравилось её не расплывшееся

к сорока годам, по-девичьи собранное тело, ухоженные, всегда пахнущие чем-то приятным, волосы, милое, с правильными чертами лицо… Симпатичная была женщина Надька, по всему подходила, и можно было подумать и о дальнейшем, но уж очень скупа и торовата оказалась. Бяка сам был не из щедрых, деньги любил попридержать, тратился всегда с неохотой. Но с Надькой был особый случай. Она даже на свидании, пред тем как лечь с Бякой в постель, налив ему рюмочку с напёрсток, внимательно проглядывала на просвет, на сколько поубавилось в бутылке, и отрезала закусить строго дозированный, единственный кусочек колбаски. В разговорах аккуратно выведывала, на кого у Бяки записан дом, и если он женится, то что перепадет жене. "Заморит голодом, а то и меня и Тоньку отравит, дом и всё хозяйство перепишет на себя с сыном", — решил однажды Бяка и порвал с Надькой навсегда.

Случались у него потом и после Надьки связи с женщинами, но носили они характер эпизодический и недолговременный, так, когда совсем уж было без бабы невмоготу… К пятидесяти годам Бяка отчаялся второй раз жениться, заматерел, космато, по-звериному зарос, потерял половину зубов, приобрёл навсегда запущенный, неряшливый вид, стал попивать. Тонька выросла, с трудом закончила десять классов в Романове, учиться никуда дальше не пошла, так и осталась с отцом на Свинячьем хуторе. К двадцати годам стала не по летам заплывать жирком, раздаваться на глазах, превращаться в широкозадую, толстоногую, круглолицую бабищу. К хозяйству была постыдно равнодушна — не допросишься ведра свиньям вынести, на ходу, что называется, спала, любила жареную картошку на подсолнечном масле — съедала сковородами, и часами бестрепетно вглядывалась, как в детстве в окно, в телевизор. "Ну, ты бы хоть в доме приборку сделала, живём, как в хлеву, — пробовал иногда наставлять дочь Бяка, — ты посмотри, в чем мы ходим, хуже трактористов!" Тонька нехотя отрывалась от телевизора, равнодушно смотрела на отца: "Ладно, снимай рубаху, постираю". "Э, черт! — закипал Бяка, — рубаху я и сам постираю! Ты себя обиходь, порядок во всем наведи! Кому ты будешь нужна такая грязнуха!" "Да найдутся охочие, — усмехалась Тонька, — я, вона, богатая невеста…" "Охочие… богатая невеста… тебя, дуру, и за деньги никто не возьмет!" — в раздражении выбегал Бяка из дома. "И в кого она такая?! — нервно ерошил он буро-седую, густую волосню на голове, остывая на лавочке у крыльца. — Вот Райка была — огонь!" — с тоской вспоминал покойную жену, в который раз растравливая себя мыслью, что замены ей, видно, никогда уже не будет.

Но тут неожиданно и "замена", и "охочие" вдруг нашлись… Года три назад на хутор к нему прибилась вывезенная из Москвы семья. Вернее, мать с сыном. Тогда многих горемык из столицы, отбирая у них квартиры, московские жулики рассовывали по деревням, в полузаброшенные, купленные за бесценок хибары. Были это в основном люди пьющие, ослабленные, не способные ни к какому сопротивлению стервятникам капиталистической эры. "Новые высланные", как окрестили их в Романове, были из их числа. Мать — Таисия, в прошлом, как она рассказывала, инженер-технолог какого-то НИИ, и в деревне несла последние гроши в магазин к Надьке Карасёвой за палёную водку. Хотя её сын — Игорек, худой, остролицый, невысокий паренек лет двадцати с нерабочей, полувысохшей левой рукой, не был замечен в особом пристрастии к выпивке. В Романове их жалели, сразу приняли, отнеслись как к несчастным, обобранным до нитки нехорошими людьми на большой дороге. В первое лето, когда пара крепких, коротко стриженых "бычков" грубо десантировала мать и сына из "рафика" с немудреным скарбом на лужайку перед раскуроченным "финским" домиком — "Вот ваша новая квартира!", помогала им обжиться и не умереть с голоду вся деревня. Соседские мужики из подручного материала перестелили в домике сгнившие полы, застеклили окна, переложили провалившуюся печь. В зиму сердобольные романовцы нанесли бедолагам картошки, муки, круп, банок с маринованными огурцами. Помогли заготовить дров. Таисия в припадке пьяной благодарности не раз вставала на колени и, рыдая, кланялась каждому прохожему на улице. Когда картошка закончилась, мать с сыном пошли

батрачить по дворам. Денег им никто не давал — не было их, денег этих, у самих романовцев. А вот накормить, обогреть несчастных — ради Бога! Прочесав и не раз в поисках работы и тарелки щей романовские улицы, мать и сын постучались на Свинячий хутор. Поначалу Бяка принял их настороженно и с неудовольствием — бомжи какие-то, алкашня, один калека… что с них возьмешь, но, впрочем, ладно, решил, пущу, пусть навоз почистят у коров, не всё же самому надрываться… Но, знакомясь ближе, наблюдая за "высланными" в работе, начал ловить себя на мысли, что они-то, вообще, ничего, старательные, и от них есть какой-то прок. Баба, если не пила, вполне сноровисто научилась орудовать вилами, замешивать корм для свиней, доить даже… Малый оказался тоже не ленивый, ловко подхватывал правой, здоровой рукой ведра с пойлом, без устали таскал в коровник. С ними и в доме стало повеселее. Тонька то ли стесняться стала бардака, то ли ещё что, но начала с некоторых пор приборку наводить, за собой следить, по крайней мере, вылезла из замурзанного халата, джинсы на толстую задницу напялила, съездила в город, кудрявую прическу сделала. Правда, тут Бяка немного насторожился, стал приглядывать за Игорьком, но ничего предосудительного не обнаружил — Игорька, кажется, не волновали мясистые прелести Тоньки, да и была она на голову выше Игорька. "Окажется наверху, невзначай, — представил, улыбаясь, Бяка интересную сцену, — раздавит, как мышонка", — и перестал даже думать о чём-то таком.

И мать с сыном прижились на Свинячьем хуторе. Бяка отделил им перегородкой из горбыля закуток в кормозапарнике, сколотил два топчана, поставил столик, прибил вешалку… По их же просьбе, между прочим — не таскаться же каждый день из деревни и обратно в свою холодную лачугу, а тут всегда в тепле и рабочее место в прямом смысле в двух шагах. Да и приготовить себе всегда можно на горящей с утра до вечера печке. Самые необходимые продукты — хлеб, крупу, макароны, подсолнечное масло Бяка покупал им сам, по строго дозированной норме, молока позволял пить вволю. Раз в неделю разрешил ходить в баню, правда, только после себя с Тонькой.

Лето прожили вполне справно и дружно. Бяке даже стала нравиться такая жизнь. Таисия за работой забывалась и стала вроде меньше пить. Она даже как-то посвежела, и Бяка поймал себя однажды на вожделении к ней. Но подавил это чувство в себе, это было бы себя не уважать. Хотя вся деревня, доходило до него, давно уже перекрестила его с Тайкой, а Тоньку с Игорьком. Однажды Надька Карасёва, отвешивая Бяке в магазине сахарный песок, с издевкой и мстительно пробросила: "Слаще сахара бывают, говорят, бомжихи… Не знаешь, Миш?" Но Бяка на сплетников поплёвывал, держался сам в норме и удерживал равновесие, как ему казалось, на хуторе в целом. В то лето он заготовил клевера на две зимы вперёд, удачно продал осенью излишки, оказался с барышом. Потом ловко перехватил хороший кредит и обзавёлся той самой новой техникой, на которую завистливо заглядывался Виталик Смирнов. Правда, в лизинг, но мечталось, что рано или поздно он её выкупит в собственность. Но для этого надо было договариваться с Булкиным, главой района, чтобы тот надавил на своего зятя, заведующего агролизингом, продать года через два технику Бяке по остаточной стоимости. Булкин же в последнее время стал капризничать, не подпускал Бяку напрямую к переговорам, действовал через помощника. Бяка долго недоумевал, за что такая немилость, пока помощник не намекнул, что "хозяин" хочет поднять до пятидесяти процентов ставку отката по кредитам. Ну, это было уже слишком — с миллиона отдай пятьсот! А себе тогда что оставалось?! Почти ничего! Бяка всю осень ходил как оглушённый и решил, пока не приедут описывать имущество за долги, новых кредитов не брать. Так и вошёл в растерянности, бочком, одной ногой как-то, в Новый год. Что явно не сулило устойчивости и процветания в наступающем. Как говорится, как встретишь…

Так оно и вышло. В начале января, после затяжного, обильного новогоднего возлияния замёрзла Таисия. Возвращалась из деревни ночью, пьяная, на хутор, сбилась с дороги, долго плутала, судя по следам, по полю, упала в снег в каких-то ста метрах от жилья, заснула и больше не проснулась.

И морозец стоял легкий, и метели особой не было, и вот надо же тебе, как угораздило! Отдала Богу душу всего в нескольких шагах от дома. Судьба! Перенесли её, негнущуюся, скрипуче-заиндевевшую, в прилипших ледышках, Бяка с Игорьком в кормозапарник, уложили на топчан, стали разоблачать. Из кармана жиденького, обвислого пуховика выпала недопитая бутылка, покатилась криво по полу…

— Наверное, смерть была легкая… умерла, как в наркозе, — зачем-то сказал Бяка, вглядываясь в почерневшее, каменное лицо покойной.

— Заткнись, урод! — вдруг затрясся, сверкнув глазами Игорек, поднял бутылку с пола, отвинтил крышку зубами и выпил залпом до дна.

С того дня Бяка стал почему-то побаиваться Игорька. А Тонька после простеньких, тихих похорон с укором сказала:

— Мог бы и в дом тогда Таисию перенести.

А весной, в жаркий, синий апрельский день, когда Бяка неожиданно вернулся с поля, где подсевал клевер, за новой порцией семян, он застал Тоньку с Игорьком в постели. Что-то удержало его бить калеку, да и сверкнувшие тогда, после смерти матери, ненавистью глаза Игорька — краткий миг восстания раба — запомнились, не схватился бы за нож… В клокочущей ярости, с трудом сдерживаясь, он отследил, пока Игорек оденется, обует, постукивая пятками в пол, ссохшиеся кирзовые сапоги, а затем сгрёб его за шиворот и спустил пинками с крыльца:

— Чтоб духу твоего здесь больше не было, козёл!

К дочери вернулся, прихватив в сенях, сто лет там висевший на гвоздике, никому не нужный, приводной ремень с комбайна.

— Потаскуха! С кем связалась! — схватил Тоньку за жиденькие, мелким бесом завитые волосёнки, оторвал от подушки, занес руку для удара.

— Бей! — закричала Тонька, закрывая глаза рукой. — Хоть насмерть убей, не боюсь! А его прогонишь, удавлюсь! Среди твоих грязных свиней удавлюсь! — И зарыдала, кривя своё и без того некрасивое, большеротое, круглое лицо: — Мамку заморил, теперь мне жизни не даешь!

Бяка разжал пятерню, лёгким толчком с удивлением оттолкнул голову Тоньки:

— Что, что я сделал с матерью?

— Что слышал! — кульком упала Тонька в подушку, вздрагивая в рыданиях голыми, мясистыми, усеянными рыжими веснушками, плечами.

Бяка неприязненно прикрыл спину дочери толстым, засаленным одеялом, не решился и погладить Тоньку по волосам — обида вдруг взяла его.

— Мы с матерью жили дружно… вместе дом поднимали, — голос Бяки задрожал. — Врачи, коновалы, погубили её… и всего-то было воспаление легких.

Тонька затихла, прислушиваясь. Бяка всё-таки осторожно погладил её по голове:

— Вот так-то, доча… А он тебе не пара… сама же знаешь. Вот и подумай, к чему всё это приведет! — Бяка присел на край кровати, примирительно встряхнул через одеяло плечо дочери.

— Пара не пара, а лучше мне здесь не найти! — выпрямилась на постели Тонька, прикрываясь и вытирая слёзы одеялом. — В клубе на меня никто внимания не обращает, все вон худенькие, а я… как корова!

— Ну, зачем так сразу — "как корова"! Ты симпатичная, крупная… кому-то и такие нужны, — миролюбиво сказал Бяка, зачищая ногтем присохшую грязь на штанах. — А он-то, посмотри — шкет! Да ещё с одной рукой! Что ты в нём нашла?!

Тонька перестала плакать, недоверчиво поглядела на отца — так ли уж по-доброму расположен он, можно ли довериться? — шмыгнула носом и снова заревела:

— Он хороший, у него тоже мамка умерла… не прогоняй его!

Бяка досадливо поморщился и, ещё раз потрепав Тоньку по голове, пошёл искать Игорька.

Игорёк был в кормозапарнике, складывал свой немудреный скарб в объёмистый, высокий мешок из-под комбикорма. Придерживая зубами край

мешка, запихивал в него одной рукой облезлые, с торчащим пухом куртки, замызганную, стоптанную обувь, несвежие вороха грязных футболок, электрически потрескивающие, из синтетики, свитера… В аккуратную стопку на столе были сложены книги.

— Читаешь? — прикидывая с чего начать разговор, машинально взял Бяка в руки верхнюю книжку. — Молодец… смотри ты, какая заковыристая… "Как рабочая сила становится товаром", — прочитал на обложке, — "Критика капитализма", — посмотрел на следующий томик в стопке. — Ну, да, — протянул, думая о своем, — ты же в экономическом техникуме учился…

Игорёк подхватил рукой мешок под горло, разжал зубы и, отплёвываясь, поставил на топчан. Вопросительно и недобро взглянул на Бяку.

— А вот мне, брат, читать некогда, — вздохнул Бяка и вернул книгу в стопку, — с утра до вечера, как заводной…

Игорёк молча, насупившись, стал по одной запихивать книжки в мешок. Бяка нахмурился:

— Ты, вот что, распаковывай мешок… Скажи спасибо Тоньке, упросила… Но чтоб больше к ней ни-ни, на пушечный выстрел! — свирепо выпучивая глаза, грохнул кулаком по столешнице.

— Ты меня на испуг не бери! — задрожал длинным, острым подбородком Игорек. — Ради Тоньки… Тони, то есть, я останусь… но на все твои условия класть хотел! — зло сказал он и помахал в воздухе, согнутой в локте рукой.

— Борзый, значит, стал… выёживаешься! — потёр рукой небритые скулы Бяка, — хотел с тобой по-хорошему… А может, тебя свиньям скормить? Кто тебя, такого обсоса, искать будет! — усмешливо окинул Игорька взглядом.

Тот побледнел, сделал несколько шагов назад:

— Будут! Тонька искать будет! — и опустил руку в карман.

— А ты, я смотрю, шустрик, — покосился Бяка на карман Игорька, — капитально запудрил девке мозги… от этой дуры теперь всё что угодно можно ожидать. — Бяка потоптался на месте и на всякий случай встал так, что их с Игорьком стал разделять стол.

— И что же мне с тобой, таким красивым и умным, всё-таки делать?

— Слушай, папаша, — поморщился Игорек, — хватит придурка из себя корчить… Говори по делу, или я действительно сейчас уйду!

— По делу, так по делу, — посуровел Бяка, — так вот… Тоньку я за тебя, бомжа, никогда не отдам, лучше застрелиться от позора… И расцепить вас сейчас невозможно, — Бяка мрачно задумался. — Так вот… я тебе денег дам, хорошо дам, не обижу!.. Ты покрутишься здесь ещё до осени, потихоньку спуская всё на тормозах, чтоб без бабьих трагедий там разных… а потом исчезнешь, как будто тебя никогда и не было. Ну, напишешь потом что-нибудь, что другую полюбил… и с концами. — Бяка замолчал и накрыл Игорька, как плитой, тяжелым, угрюмо-выжидательным взглядом.

— Покупаешь, значит? Ну и сколько дашь? — усмехнулся Игорёк.

— Тысяч сто пятьдесят, думаю, тебе хватит, чтоб уехать далеко-далеко! — с медовой ехидцей пропел Бяка.

— Не густо, — криво улыбнулся Игорёк, — с учётом того, что мы с матерью три года пахали на тебя бесплатно.

— Не понял! — насторожился Бяка.

— А чего тут понимать, — вскинулся острым подбородком Игорёк, — осенью мы с Тоней и так решили от тебя уйти, а до этого…

— Как, как — уйти?! — перебил Бяка. — Жить, что ли, вместе? С тобой? Ну, ты, юморист!

— …А до этого!.. — выкрикнул Игорёк, — ты заплатишь по суду всю причитающуюся мне зарплату!

— Зарплату?! Тебе, по суду?! Да кто ж тебя слушать будет, сявка! — аж побелел от негодования Бяка.

— Послушают! Тоня свидетель, всё на суде расскажет! Да и другое коечто вскрыться может! — вырвалось у Игорька.

— А вот это уже интересно! — задышал глубоко Бяка. — Что, например?

— Узнаешь! — сказал Игорёк, доставая руку из кармана и разминая пальцы в воздухе.

— Ну, ты и наглец! — выдохнул Бяка, — без меня вы бы с матерью с голоду подохли… а я вас бесплатно кормил. И сколько же ты просишь этой… зарплаты?

— Хуже свиней кормил… макароны и маргарин. — Вздрогнул подбородком Игорёк, — а зарплату буду требовать среднюю по деревне… семь тысяч в месяц. Вот и считай, сколько на двоих за это время набежало.

— На пол-лимона тянет… не по чину замах, — презрительно посмотрел на Игорька Бяка. — Ничего ты в суде не докажешь! Не знаешь ты, что такое сейчас суды… А вот нарваться можешь, капитально нарваться, так, что, действительно, закопают… — Бяка выдержал паузу, устало и безразлично протянул: — Что-то там "вскрыться может"… Что ты вскроешь? Детсад… Так что бери, пока я добрый, то, что даю, и на все четыре стороны по осени… В июле получишь половину, в октябре остальное. Ты все понял?

Игорек, царапнув Бяку косым взглядом, промолчал. Бяке захотелось подойти к этому обнаглевшему "обмылку", врезать как следует, повалить и долго возить мордой об пол, пока не запросит пощады. Сдержался. "Поучить сосунка старших уважать ещё будет время". Разошлись в тревожной подозрительности каждый при своем.

Бяка видел, что шашни Игорька с дочерью не только не прекратились, как грозно требовал он, но, наоборот, приобретали с каждым днём всё более откровенный и наглый характер. К июлю утративший всякий стыд и страх Игорек самым бессовестным образом бухал сапожищами каждую ночь прямиком к Тоньке в летнюю половину дома. Это был вызов, дерзкий, самонадеянный вызов, и Бяка понял, что его условия решительно отвергнуты. "Что делать? — призадумался Бяка. — Выгнать их обоих и немедленно? Но сколько будет сраму на селе, да и как одному летом справляться с хозяйством, с этой вечно голодной прорвой свиней, коровами, сенокосом! Подстеречь "недоделка" где-нибудь в укромном местечке, придушить гниду и закопать в лесу?!" — приходили в голову и такие мысли, но это было слишком… Стал бояться, что по злобе Игорек отравит свиней, подмешает что-нибудь в пойло коровам… Потерял покой, пристрастился подглядывать через грязные окна в кормозапарнике и в сарае, как они с Тонькой мешают корм свиньям, как доят и поят коров. Стало пошаливать сердце, временами еле ноги таскал. А тут еще Булкин со своими тёмными делишками в очередной раз нарисовался. Случилось это как раз накануне встречи с Виталиком Смирновым в овраге.

Здесь надо сказать, что Бяка через этот проклятый распил с кредитами так сросся с верхушкой районной администрации, что вошёл в круг чуть ли не самых близких и доверенных лиц самого главы района Булкина Владимира Савельича. А посему изредка, обычно где-то раз в году, на хуторе у Бяки появлялся на неприметной "совковой" "Ниве" помощник Булкина по связям с общественностью Вадик Труханов, чрезвычайно деятельный, расторопный, улыбчиво-обаятельный молодой человек, неполных ещё тридцати лет, но, к сожалению, рано облысевший, что очень старило и портило его. Но это так, к слову…

Вадик заезжал на хутор на заляпанной грязью "Ниве" обычно со стороны леса, по вполне наезженной лесниками, охотниками и "чёрными" торговцами древесиной дороге, пробитой через когда-то роскошный, но теперь под корень выведенный хвойный бор, от большого села Петровское, стоявшего километрах в десяти от Романова на большаке в сторону областного центра. Получалось, что Труханов делал порядочный крюк по чащобам сорного подлеска, поднявшегося на месте красавца-бора, прежде чем попасть на хутор к Бяке. Принимая от Вадика обычно поздним вечером, в темноте, увесисто-тяжелый, средних размеров, но вместительно-ёмкий чемоданчик-кейс с кодовым замком, обильно и тщательно, как это делают в аэропортах, перемотанный скотчем, Бяка понимал предусмотрительность помощника

главы района. Он однозначно догадывался, что в чемоданчике. Испариной покрывалось тело Бяки, когда он брал кейс в руки, закутывал в рогожку и, тревожно прижимая к груди, нёс, как бомбу с заведённым таймером, в слесарню. Там он, затворив окна на внутренние ставни, чтоб ни щёлочки, ни просвета, доставал из ящика, заваленного разнокалиберными заготовками, моток тонкого, стального тросика, обматывал им широколобую станину токарного станка, закреплял узел, перебрасывал тросик через блок, ввинченный в потолочную балку, к лебёдке и осторожно, мягко приподнимал передок станка над полом. В полу обнаруживалась крышка, с металлическим кольцом заподлицо, неглубокого, обитого оцинкованной жестью тайника, куда и помещался с особой тщательностью и предосторожностями дополнительно упакованный в целлофан драгоценный чемоданчик. Затем станина снова намертво опускалась на люк тайника, обнаружить который, не сдвинув в сторону полуторатонную махину станка, было невозможно.

Вадик только почтительно закивал головой и сделал восхищённый знак большим пальцем, когда Бяка показал ему потайное место уже на второй раз появления помощника главы района с таинственной поклажей.

"Груз-10", как обозначил для себя чемоданчик Бяка, обычно отлёживался у него на хуторе месяц-два, не более. Затем снова по лесной дороге и, как всегда, в сумерках появлялся на вёрткой машинке Вадик и, не особо распространяясь, отделываясь скупым приветствием, забирал кейс, клал под подушку переднего пассажирского кресла, и уезжал уже по шоссе в город. Бяка мысленно крестился: "Слава Богу, пронесло... И дай Бог чтоб в последний раз", когда красные задние огни "Нивы" угольками в темноте уплывали по хуторскому просёлку на большую дорогу в Иванград. Но "последний раз" не наступал. Более того, в этот последний раз Вадик приехал какой-то кислозадаченный, смурноватый, и, передавая "груз-10", предупредил, что кейс полежит у Бяки, может быть, до осени. Час от часу не легче... А когда Бяка, совершив с чемоданчиком привычную ходку в слесарку, вернулся в дом, Вадик неожиданно попросил выпить. Это было уже что-то новенькое, чтобы деловито-строгий, вечно куда-то спешащий Вадик сел с Бякой водку пить? Чудеса какие-то! Но у Вадика, видимо, что-то крепко наболело, про свои проблемы Бяка и думать не хотел, так противно было на душе, что уже скоро сидели они в празднично освещённой разноцветными гирляндами беседке, среди нежно причесанного трёхдневными дождями, вольно дышащего сада, и на вполне доверительной, разнеженной волне, в гармонии с природой, почти не пьянея, с удовольствием опрокидывали рюмку за рюмкой. Хотя, "не пьянея"... это им только так казалось. Просто водка попалась приличная и не сразу била по мозгам, как "палёнка", и Бяка не пожадничал, принес из подвала царскую закуску — пол-ляжки свиного окорока — бело-розового на просвет, если резать тонкими ломтями, пахнущего дымком, таявшего во рту... Вадик пил, наполнялся пьяной, осоловелой расслабленностью и не мог насытиться окороком. С ним такое, при его конституции, редко случалось. Бяка, посмеиваясь, наблюдал за неуемно-прожорливым гостем и тоже не отставал.

— Завтра печень будет вот такая! — показал рукой Вадик что-то воображаемо большое, выпуклое, по правому боку.

— Ничего, рассосётся, молодой ещё, — успокаивающе говорил Бяка, иронично оглядывая лысую голову Вадика, — молодой... это вот мне завтра с похмела клевер косить... боюсь, хреново будет!

— А ты спи... ты же не в колхозе, бригадир будить не будет... ты же сам себе хозяин, — уже пьяненько подковырнул Вадик.

— Хозяин! — неопределенно хмыкнул Бяка. — А ты откуда про колхозы-то знаешь? Кино смотрел? — не удержался, тоже боднул Вадика.

— И кино смотрел, и книжки читал, и дед с бабкой рассказывали... Преемственность поколений, так сказать... — совсем не обиделся Вадик и внимательно, с присущей ему особенностью — исподлобья, посмотрел на Бяку, — ты что, Михал Василич, действительно поедешь завтра свой клевер косить, в воскресенье... с бодуна?

— Умирай, а рожь сей… — чем-то польщённый, беззубо заулыбался Бяка.

— А ты батрака пошли, — сказал неожиданно Вадик, — кстати, где он? Да и дочки твоей что-то не видать.

— В клуб ушли, на дискотеку… еле выпроводил, — нахмурился Бяка (ему не понравилось — "батрак") и подумал: "Хитрый жучила, пьяный-пьяный, а лишних ушей на всякий случай боится". — Какой из моего "батрака" батрак! — небрежно отмахнулся. — Ты же знаешь, калека он… но вот прибился, живёт… — и на всякий случай добавил: — Я его не гоню, бесплатно кормлю-пою…

— А мать его, я слышал, замерзла?

— Да, пьяная, зимой… как раз после новогодних праздников… Так что надеяться мне приходится только на самого себя… Умирай, а рожь сей, — со вздохом повторил Бяка.

— А надо ли все это? — вдруг странным вопросом задался Вадик и взялся за бутылку: — Ого, пустая! И когда это мы успели и эту выдуть?

Бяка молча сходил в дом и принес ещё поллитровку.

— Не знаю, что надо, что не надо… — сказал он, вернувшись, нетрезво припечатывая бутылку на стол, — а что ещё делать? Я в кредитах, ты знаешь, в долгах, как… в навозе. Не буду крутиться, за полгода сдуюсь… всё опишут, не опишут — заставят своим продать, не заставят продать — убьют… И чё я тогда старался?! Чё из кожи лез, наживал, строил все это?.. Так что поеду завтра с утра клевер косить, без бригадирских пинков, как ты говоришь… Вот она, частная собственность! Она злее колхоза! Даже с бодуна гонит на работу… Я не прав? Если прав, наливай!

Вадик ещё достаточно твёрдой рукой филигранно, не пролив ни капли, разлил водку по пузатым, вместительным рюмкам:

— Глаз-алмаз… прав ты, Василич, прав! И меня проклятый капитализм безжалостно каждый день на "мои клевера" гонит… Как осточертело всё, если б ты знал! Кажется, плюнул бы да и ушёл снова в газету… Но там гроши, а дачу достраивать надо, квартиру ремонтировать надо, жене барахло разное покупать надо, сыну кружки и репетиторов оплачивать надо — вот и кручусь, обслуживаю тут… — он показал глазами наверх, — зато кое-что перепадает… с барского стола, так сказать… Надолго ли, правда, он, этот стол?

Вадик, изрядно тронутый хмельком, картинно подпёр щёку рукой, плутовато посмотрел на Бяку:

— Ты читал сказку, впрочем, это не сказка… самого ехидного русского писателя "Как один мужик двух генералов прокормил", так и называется "Как один мужик…", не читал? Ну, не важно, так я тебе скажу, что ты переплюнул того мужика из сказки — ты кормишь сразу пять, нет, десять генералов! Дай посчитаю… — Вадик поднял вверх правую руку и стал зажимать пальцы: — Главу, трёх замов, руководителя аппарата, полицмейстера, прокурора… и т. д. и т. п. Вот бы про что написать надо, я ведь когда-то неплохо писал! Но теперь уже вряд ли что когда напишу! — Вадик выпил и как-то стремительно вдруг "поплыл", рассиропился, умыл ладошкой, как ребёнок, пьяные слёзы на лице.

"Всё, готов!.. А про генералов он верно сказал", — зло подумал Бяка и осторожно спросил:

— У генерала одного… шефа твоего… всё нормально? Ты что-то тут про стол…

Вадик собрался и постарался придать глазам трезвое выражение.

— Строго между нами, — зашептал он, — бандюги в сити-менеджеры протолкнули своего, тот в долю лезет, а тут и так всё по краям… не на тебя же, в смысле таких, как ты, его сажать! В общем, война… поэтому и решили, у тебя до осени всё полежит… у тебя надежно, кому в голову придет искать тут… главное, чтоб — никому, никому! — Вадик прикрыл веки и решительно замотал головой.

Бяке стало не по себе, страшно.

— А много там? — сорвалось против воли.

— Не считал! — с пьяным вызовом, в упор посмотрел Вадик. — Тебе-то какая разница!

Бяка обиделся.

— Я тут тоже только передаточное звено, — попытался извиниться Вадик.

— В чемоданчике десять кило с лишним, я завешивал… — хмуро заговорил Бяка, — одна любая американская бумажка — посмотрел в интернете — ровно один грамм… получается, если отбросить вес тары, на десять кило тянет ровно лимон зелени стодолларовыми бумажками? Правильно считаю?! — озадачил Вадика неожиданными выкладками Бяка.

— Ну, ты голова! Ну, ты Пифагор! — в пьяненьком восторге захохотал Вадик. — А мы говорим, народ у нас не тот, не въезжает народ! Да народ у нас самый умный! До всего додумкается и докопается! Только бы интерес был! Голова у нас народ! И ты голова, Василич! Дай я тебя, Пифагорушка ты Романовский, поцелую! — Вадик порывисто приподнялся со скамейки и, перегнувшись через стол, опрокидывая рюмки, крепко сжав ладонями небритое, с вытаращенными глазами, лицо Бяки, жарко наградил того куда-то в шапку жестких, непромытых волос на голове троекратным поцелуем.

— Ну и волосы у тебя! — отстранившись, воззрился сверху на Бяку. — Как у Анджелы Дэвис… Дай на рассаду! Дай на рассаду! — снова куражливо полез с поцелуем.

— Ну, ладно, будет тебе! — разжал ладони Вадика Бяка, понимая, что гость окончательно спёкся. С силой, за плечи снова усадил Вадика напротив и, подумав, выровнял на столе рюмки:

— На посошок? — взболтнул бутылку.

Вадик согласно кивнул, замерев в позе птицы на морозе. Бяка вложил ему в руку до краев наполненную рюмку. Чокнулись. Вадик мучительно, содрогаясь, выцедил рюмку до дна. Глаза его, сверкнув белками, закатились под лоб.

— И это… всё что ты возишь ко мне… весь ихний общак? — решился и спросил всё-таки Бяка.

— Наивный, — прошептал Вадик, погружаясь в пьяно-беспамятный сон, — но лучше об этом… ни-ни… — сделал он последнее отрицательное шевеление рукой, — а то будет… больно…

“Сколько же воруют! — с необъяснимым восхищением и оторопью подумал Бяка, — если такие деньги гребут только в одном сраненьком районе! А по всей стране?!”

Он вспомнил, что в июле обещал этому заморышу Игорьку половину суммы, чтоб запаху того по осени не было здесь… и призадумался. Деньги у него были. Лежали где надо. Но это были его кровные денежки, добытые горбом и потом. Собирал он их на чёрный день, как НЗ, на всякий непредвиденный случай. И вот теперь какому-то наглому хорьку отдать из них сто пятьдесят тысяч? “И кто меня за язык тянул?” — аж зубами заскрипел Бяка. Он неприязненно покосился на размякшего, нехорошо побледневшего, беспомощного и жалкого в нездоровом, пьяном сне Вадика, и странное, недоброе видение вдруг застлало его сознание. Он представил неожиданно сгоревшую где-нибудь в лесу “Ниву” (для этого нужно задним ходом снова отогнать машину в лес, в колеях после дождей полно воды, по следам ничего не разберут), сгоревшую вместе с Вадиком, но… без драгоценного его чемоданчика. Лимон зеленью, огромные деньжищи! — будет ждать своего часа в укромном местечке, в таком, что ни одна ищейка не найдет! Уж он-то придумает! Как с тайником придумал! Ведь придумал же! А потом, когда всё уляжется, через несколько лет, прощай нищее Романово! Прощай, каторжный Свинячий хутор! Привет, вечнозеленый рай на земле, на каких-нибудь далеких, жарких островах! “Менты копать глубоко не будут, разбираться на место приедут мелкие сошки, им вряд ли что-то про чемоданчик скажут… — горячо забилось в голове у Бяки, — но вот потом… потом появятся серьёзные ребята… и “будет больно” — усмехнулся Бяка, — Тоньку жалко, на глазах изуродуют…” Бяка испугался того, что он только что нафантазировал, отмахнулся от паскудных мыслей, и понял, что он тоже перебрал.

Но решение, что никаких денег, из своих, кровных, он Игорьку давать не будет, было им принято. "Тогда где взять, чтоб отдавать было не жалко?.. А вот где! — вдруг осенило Бяку. — Могли бы и отблагодарить за чемоданчик, так сказать, небольшим процентиком за хранение, — стал думать Бяка, — что я зря что ли рискую! Но от них дождешься! — и с ненавистью посмотрел на Вадика. — Растекся тут соплёй... столько окорока сожрал!" Бяка грубо схватил Вадика под мышки, жёстко встряхнул, как какой-нибудь мешок с картошкой, резко сдернул со скамейки и, пятясь задом, поволок к дому.

...Утром, опохмеляясь на кухне вчерашней водкой, — Вадик пить категорически отказался, жалостливо попросил, дрожа всем телом, чая покрепче, — Бяка мрачно, не глядя Вадику в глаза, осведомился о возможности комиссионных за хранение денег.

— Ты чего, старина, добить меня хочешь? — простонал Вадик. — Какие комиссионные! Ты что хочешь, шефа разозлить? Кредитов лишиться? Прошу тебя, не грузи меня сейчас своей молодецкой, крестьянской глупостью. О, как мне хреново! — Вадик обхватил руками голову.

— Ну, как же так, — пробовал возражать Бяка, — я же рискую, ну, хотя бы два-три процентика... Ты намекни шефу... аккуратно так, как-нибудь.

— Нет, ты несносен, Василич! Ничего намекать я не буду! Какие процентики, что за чушь ты городишь? Отвяжись Бога ради! Дай лучше таблетку какую-нибудь от головы! — взмолился Вадик.

— Таблетки нет, а вот чайку попей, — с обиженным видом поставил Бяка перед Вадиком на стол кружку с дымящимся, свежезаваренным чаем. — Деньги очень нужны... за ответственность можно и подбросить... — снова было начал он.

— Ты, что, идиот полный?! — уже рассерженно зашипел Вадик, дуя на чай, не решаясь сделать первый глоток. — Тебе русским языком говорят — не наглей! Тебе доверяют, а ты начинаешь борзеть... Подумай, что ты имеешь, и что можешь потерять из-за своей тупости! Давай больше без этой деревенской дури! — Вадик нахохлился и, приноровившись к горячей кружке, стал быстро пить мелкими глотками чай.

Бяка угрюмо вертел пустую рюмку в руках. Опохмелка обычно приносила ему облегчение, в голове отпускало, возвращалось настроение, даже какая-то куражливая веселость появлялась — так становилось хорошо. Сегодня всё было испорчено. Этот лысый дурень всё обкакал! А сколько словечек издевательских накрутил... и получилось, что Мишка Макаров полное чмо и мудак. Нет, он как-то еще гнуснее завернул... Бяка силился сформулировать, что его так занозило в словах Вадика, и пока не мог. Он почувствовал только, как наливается злобой.

Вадик, допивая чай и бегло оглядывая резко помрачневшего Бяку, внезапно сообразил, что на старые дрожжи наш человек вдвойне непредсказуем. "А ведь и по морде съездит за здорово живешь... Чёрт меня дёрнул с ним вчера напиться! Ещё вообразит себе!" — с досадой подумал Вадик, ощущая, как после чая его пробил оздоровляющий пот, как ему становится легче, как восстанавливается более или менее ясность в мыслях. Он понял, что надо как можно быстрее делать ноги и, похлопав себя по карманам в поисках ключей от машины, засобирался в дорогу.

— Ну, пока... загостился я у тебя. Дома, наверное, извелись, — сунул он, запоздало застеснявшись, мокрую от пота ладонь Бяке. Тот хмуро отозвался вялым, недружелюбно-холодным рукопожатием. — Значит, ты понял, до осени всё у тебя... — еще раз напомнил Вадик, — если что, звони! — и, вытирая руку носовым платком, юркнул за порог.

Бяка постоял у окна, понаблюдал, как Вадик возится у машины, протирает зеркала, лобовое стекло, машинально постукивает ногой по скатам, и, подумав, решил всё-таки выйти во двор, открыть передние ворота гостю. Пёс Байкал, увидев хозяина, в радостно-бурном порыве залаял, заметался у будки при воротах, приветственно отрываясь от земли на задние лапы на натянутой цепи. "Хоть кому-то я нужен ещё здесь!" — подумал Бяка, ласково

запуская руку в густую, вонючую шерсть кобеля на загривке. Байкал, извернувшись, подпрыгнул и несколько раз лизнул Бяку в лицо. Бяка мягко отпихнул собаку, сдвинул щеколду на воротах, распахнул половинки ворот и дождался, пока мимо проедет Вадик. Вадик, приветственно подняв руку и посигналив, проехал. Бяке захотелось, гримасничая, высунув язык, вытянуться во фрунт и козырнуть, но он вовремя опомнился и только нарочито медленно пошевелил на уровне плеча растопыренной пятерней. Затем вернулся в дом, прошел на летнюю половину. Приоткрыл дверь в Тонькину комнату. Голубки ещё мирно почивали. Тонька под одеялом, казалось, ещё массивнее, бесформенным сугробом нависала над своим заморышем, русая голова которого со сбитыми, давно нестрижеными волосенками смешно, помладенчески, торчала у Тоньки где-то посередине её полных, развалистых грудей. "Тьфу, ты… мерзость какая! — вознегодовал Бяка, с отвращением прикрывая дверь. — Поеду косить, разбужу… Кто доить-кормить псарню будет, проспали всё, поганцы!" Сходил на скотный двор, рассеянно и нервно, кое-как отдоил все пять коров. Доил с опозданием на два часа, бедные коровёнки, настрадавшись, подпускали к себе с доильным аппаратом плохо, нервничали, на месте не стояли, молока дали мало. Бяка, чувствуя, что задерживается с покосом, не погнал их в общее стадо, выгнал в загон за скотным двором, решив, что к вечеру привезёт им подкормиться клевера с поля. Затем затопил печь в кормозапарнике, замесил кашу с комбикормом для свиней. И только после этого пошел будить Тоньку.

Когда заводил трактор, навешивал косилку, пробовал её на оборотах, неожиданно вспомнились и "крестьянская глупость", и "деревенская дурь", и Бяка вдруг понял, кто он для них… "Давить вас надо всех, ворьё ненасытное!" — с остервенением думал Бяка, выруливая на тракторе в сторону клеверного поля.

5

Первым желанием Витька, когда он отошел от болевого шока, было догнать своего обидчика и всадить ему куда-нибудь в почку нож, а потом ещё раз, и ещё, и ещё… Он нащупал в кармане куртки складник с откидывающимся лезвием, сработанный ещё умельцами на зоне. Но мысль, что за нападение на полицейского грозит ему немалый срок, остудила его. Снова в тюрьму он не хотел. Только что вышел и обратно туда? Нет, так не пойдет. Туда рисковому человеку всегда успеется, а хотелось пожить вольготно, с оттягом, с ленивой беспечностью и удовольствием. А для этого нужны были приличные бабки, на деревенском баре хапок не сделаешь, а бабки нужно было ещё где-то добыть, не засветившись. Так что залипать с этим ментом в первые же дни на свободе был бы чистейший наивняк. А там время покажет, поквитаться ещё успеем… Так решил Витёк, остывая и принимая снова уверенно-беспечный вид. Впрочем, никто ничего и не заметил, исключая бармена. А бармен был старый кореш из Иванграда, замутились ещё до отсидки, вряд ли будет бакланить лишнее… Витёк приказал ему "хорошей" водки. "Ты ничего не видел", — сказал на всякий случай, принимая рюмку. Выпил, закурил и вышел на крыльцо клуба. Боль при ходьбе ещё отдавала в паху. Витёк, морщась, присел на низенькие, с облупленной краской перильца и, без удовольствия покуривая, огляделся. Рядом, сбившись в стайку, длинно плюясь и нарочито цветисто матерясь, перебивая друг друга в каком-то бессмысленном оре, пили дешёвое пиво из горла, беспощадно смоля одну сигарету за другой, полупьяные подростки. "Пацаны, а нельзя ли потише и без плевков!" — раздражаясь, сказал Витёк. Что-то было всё-таки не так, и ему отчаянно захотелось потрогать больное место, хотя бы через карман штанов. Пацаны почтительно притихли. "Шли бы вы, поплясали!" — не выдержав, сунул руку в карман штанов Витек. Пацаны как один, щеголевато отстреливая щелчками недокуренные сигареты в кусты за крыльцом, послушно, гуськом потянулись в клуб. Витёк, привстав с перил, пощупал через тряпку кармана своё самое главное. Всё было при нём, кажется, целое и невредимое, он с облегчением вздохнул, повеселел и всмотрелся в дальний,

плохо освещённый угол крыльца. В толстой, с некрасивым круглым лицом девахе с трудом узнал дочку Бяки Тоньку Макарову. Рядом с ней крутился, что-то быстро говорил, часто вставал с перил и снова садился, механически-бережно придерживая правой рукой левую, какой-то доходяга, кажется, работник Тонькиного отца, что-то типа вывезенный с матерью из Москвы, вроде Игорьком зовут… Витек до этого встречал его несколько раз у деревенского магазина, запомнил. Придурки, отметил Витек, критически оглядывая пару. Он вспомнил Тоньку белёсой, неуклюжей свинкой в школе, всегда застенчивой и какой-то сконфуженной, смотревшей на парней старшеклассников глазами, полными вожделенческой мути раннего созревания. Внезапно что-то подсказало ему, что эта "толстая чмошница" и этот "полный задрот" могут быть полезны ему. Какое-то странное чутьё вдруг повело его к ним, как маньяка ведёт к уловленным жертвам. Тонька раздвинула тонкой, буратинистой прорезью рот в подобие улыбки и сделала попытку даже помахать ему рукой. Доходяга тоже обернулся в его сторону и остро, настороженно чиркнул глазами. Витёк, вдруг однозначно понявший, что ему надо от них, уверенно и с распоясанной небрежностью хулигана, шагнул в сторону парочки.

— А я смотрю, ты не ты… нет, думаю, всё-таки Макарова, — подошел Витёк к Тоньке с Игорьком, сдержанно улыбаясь своими красивыми, нагловатыми глазами.

— Да, давно не виделись, — смущённо зашарила руками по перилам Тонька, не зная, что сказать.

"Квашня тупая", — подумал Витёк и протянул руку Игорьку:

— Виктор.

Игорёк представился, нарочито, как показалось Витьку, не отрываясь от перил. Ладонь у него была несоразмерно росту большая, каменно-загрубевшая, расплющенная тяжёлой физической работой. Витёк хищно прицелился: "гонористый… вроде, не лох бздиловатый", но оценил однозначно… "мужик".

— А что так редко ходим в клуб? — спросил Тоньку. — Первый раз вижу вас здесь… Отец не пускает? Работа, наверное, всё работа… поле, свиньи, коровы.

— Да нет, — засмущалась Тонька, — отец, наоборот… хотя работы хватает.

— Как, кстати, батя-то, не женился ещё? Я его как-то видел тут, едет на новом тракторе, всё блестит, сверкает… вполне солидно чувак смотрится. — От Витька не укрылось, что при упоминании Тонькиного отца Игорёк напрягся и помрачнел.

— Не женился, — сухо сказала Тонька, — всё по-старому.

— Знатный жених… богатый, — пробросил Витек, — надо ему бабу найти… молодой ещё.

— Пятьдесят два, — уточнила Тонька.

— Не возраст для мужика, который всегда на свежем воздухе да на парном молочке, — внимательно, заиграв глазами, посмотрел Витёк на Игорька. Игорёк недовольно отвернулся в сторону. "Бяку точно не любит, — с удовлетворением подумал Витёк, — нормально!"

— А не принять ли нам грамм по сто за встречу? — предложил вдруг Витёк. — Выпить мне что-то сегодня охота… Как смотришь, Игорище?

— Да нам бы домой уже… — неуверенно сказала Тонька, просительно и по-свойски подергав Игорька за полу куртки. Игорёк промолчал. "Да они, похоже, спарились, — отметил Витёк, — Бяке круто повезло", — ухмыльнулся про себя.

— Ну, так что, мужик? — с подначкой спросил Игорька.

— Можно и выпить, — принял вызов Игорёк.

Тонька неодобрительно зажевала тонкими губами, хотела что-то сказать, но хватило ума сдержаться. Витёк, пропуская её первой в клуб, поощрительно приобнял за плечи, хотя его так и подмывало шлепнуть эту толстую свинью по её жирной заднице. Но тоже сдержался. Надуто-сосредоточенный вид Игорька говорил о том, что тот вряд ли бы оценил такой жест как дружески-

приятельский. А ссориться с ним сейчас Витьку было крайне нежелательно. Хотя этот заморыш своей остренькой, крысиной физой его явно начал раздражать. Вот бы кому он врезал сейчас с удовольствием, ни с того ни с сего… Витёк почувствовал, как его начинает переполнять не знающая выхода злоба, не отомщённая обида на Андрюху Смирнова и за что-то на всех окружающих разом, он уловил в себе, как начинает просыпаться, царапаться и метаться в нём тот зверёк бешеной ярости и сладостного нетерпения, который укротить можно было, только сделав кому-нибудь больно. Такие ощущения возникали в нём, когда он прижигал чужое, трепетное, покрывающееся испариной тело раскалённым утюгом, подносил шило к глазу… Проходя душный, блистающий рябью опрокинутого ночного неба зал с пляшущей романовской ребятней, Витёк выхватил взглядом в высверках разорванных огней бледное, красивое лицо Людки Демьяновой. Витёк дотянулся до него своей злобой, словно ядом плюнул, и, умиротворенно предвкушая, на ком он сегодня может отыграться, стал остывать. Вполне спокойным и даже улыбчивым он провел своих гостей мимо бара длинным, тёмным коридором в комнату для приватных встреч.

Это было небольшое помещение, почти квадратное, может быть, четыре на четыре метра, когда-то служившее кабинетом заведующему клубом. С тех далеких, уже полумифических времён на стенах комнаты каким-то чудом сохранились в простеньких деревянных рамочках несколько почётных грамот за призовые места в районных и областных смотрах Романовской художественной самодеятельности. Но на самом видном и почетном месте, в простенке между окнами, в пышной раме, богато декорированной раскрашенными под золото, невиданными, "райскими" цветами, красовалось, словно погребальный венок, свидетельство о регистрации Орешникова В. А. в качестве индивидуального предпринимателя. Стоял по стенке с тех незапамятных времен полированный, неубиваемый шкаф-шифоньер, в углу письменный, тоже ещё советский, из грубой ДСП стол, пара фанерных стульев. На полу был постелен вполне ещё сносный, незатёртый, чистый палас, на котором шиковатым островком были расставлены четыре мягких кресла и журнальный столик посередине. Витек усадил гостей в кресла, подошел к шкафу, открыл дверцу:

— Что будем пить, господа? Девушкам, естественно, винца, — бодренько сказал он, рассматривая полки, уставленные бутылками, — есть хорошее, чилийское. А мужчинам? Мужикам? Что желаете, ваш бродь, Игорище? Виски, коньяк?

— Да все равно, — пожал плечами Игорек, — можно виски. — Он всё силился разгадать, с какого это перепуга блатной Витька Орешников так прогибается перед ними. Что-то подсказывало ему, что тут что-то не так.

Тонька из кресла внимательно рассматривала почётные грамоты на стене, потом встала и подошла к ним вплотную.

— Давно хочу выкинуть этот совок, — проследил за ней искоса от шкафа Витёк, — да обои полиняли, и под рамками теперь белые пятна. Надо переклеить стены и снять эту фигню.

— Во, а тут моя мамка, — как всегда нерешительно сказала Тонька и прочитала, конфузясь, вслух: — "Награждается трио: Н. И. Ветрова, Л. М. Кабанова, Р. С. Макарова за лирическое исполнение песни "Старый клён"… — Тонька обернулась к Витьку: — Можно я её заберу, — сказала она, неожиданно разволновавшись. Витёк посмотрел насмешливо и с интересом:

— Да хоть все забирай… меня от этого коммуняцкого хлама тошнит. Бабки надо было людям платить, бабки! А они эти бумажки, которыми даже подтереться неудобно, совали. Порожняк гнали, вот и просрали всё… На бабках всё держится, на бабках! Америкосы давно это поняли, и живут лучше всех!

Тонька сняла рамку со стенки, сдула с неё пыль, вернулась на прежнее место. Грамоту положила под руку на столик.

— Вот видишь, — показал рукой Витёк на стену, — теперь белое пятно… Ладно, зеркалом завешу…

— Вот скажи мне, американец, сила в чем? — неожиданно подал голос Игорёк. — В деньгах? Я думаю, сила в правде, тот, за кем правда, тот и сильней.

Витёк с удивленной оторопью посмотрел на Игорька:

— Ты это… о чём?

— Да о том, на чём всё держится, — опустил глаза в пол Игорёк.

— Постой, постой, что-то ты очень знакомое сейчас сказал, — заинтересованно развернулся в сторону Игорька со стаканами в руках Витёк, — "сила в правде… за кем правда, тот и сильней"…

— Это "Брат-два", — морщась, проронил Игорёк, укладывая нездоровую руку на колени.

Тонька могутно шевельнулась в кресле и с восхищением посмотрела на Игорька.

— Да, точно, вспомнил, — подошёл Витёк к столику и начал расставлять стаканы, бутылку вина, блюдце с солёными орешками, — нам это кино на зоне показывали… Много туфтового, но в целом ничего, там этот главный герой вполне правильного пацана играет… Но это же кино, Игорище, в жизни-то всё по-другому. Сила, она в силе, — посмотрел он на больную руку Игорька, — и в том, чем можно заткнуть каждого — в бабках. Всё остальное фраерский трёп… Так, значит, тебе вискаря? — снова победительно направился Витёк к шкафу.

— Не каждого можно заткнуть деньгами, — вдруг неожиданно вырвалось у Игорька, — иногда лучше сдохнуть, чем издевательства и подачки терпеть!

— Вот тут ты правильно рисуешь, — сказал, не оборачиваясь, на мгновение застыв перед раскрытым шкафом, Витёк, — от беспредела люди, бывает, на автоматы бросаются. "Это он, лопушок, зря, — быстро соображал Витёк, — тут он прокололся, тут мы его и пощупаем". И уже не сомневаясь, взял с полки специальную бутылку виски с легкой дозой клофелина и разбавленный водой коньяк.

— У нас на зоне был мужик, который отказался ходить к куму, — начал по ходу сочинять он, возвращаясь с бутылками к журнальному столику, — решительно так отказался, не буду стучать и всё… Они его начали прессовать — придирки, избиения, карцер. Он не выдержал, бросился на колючку, ну, с вышки его очередью и срезали… Вот так, Игорище… понимаю тебя, давай за то, чтобы всё рассосалось! — Он налил полный стакан Тоньке и по половинке Игорьку виски и себе коньяку. Чокнулись. — До дна! — с воодушевлением предложил. — За встречу и знакомство!

Томка нерешительно подняла стакан с вином, вопросительно-предупреждающе взглянула на Игорька.

— А давай! — вдруг назло ей почему-то сказал Игорёк. — До дна, так до дна… Всё равно мы все на дне! — И неожиданно ловко, с каким-то странным профессионализмом, опрокинул разом стакан в глотку.

— Вот это по-нашему, по-пацански! — сказал Витёк и тоже махнул залпом свой разбавленный коньяк, выразительно посмотрел на Тоньку.

— Опьянею, — промямлила Тонька и начала пить вино мелкими глотками.

— Раз!.. — закричал Витек, — два!.. три!.. — На "девять!" Тонька допила стакан, поставила на столик, вытерла ладошкой губы и решительно запихнула почётную грамоту "с мамкой" в сумку под бок.

Витёк придвинул ей орешки, Игорьку предложил сигарету. Уже после первых затяжек Игорька повело. Усилиями воли он старался смотреть трезво, держать лицо, несколько раз в голове мелькало, что он хмелеет слишком быстро и не подпаивает ли его этот блатарь как-то специально? Он хмурился, старался смотреть на Витька с упреждающей строгостью и даже спасительно попытался затушить сигарету в блюдце с орешками. Витёк недовольно встал и принёс с подоконника пепельницу.

— Между первой и второй… — брезгливо вытащил он окурок из блюдца и бросил в пепельницу. — Не так ли, красавица моя? — обратился к Тоньке и налил ей снова полный стакан. Тонька захихикала и, как

показалось Игорьку, "дала" Витьку глазами. "Мстит, что не пляшу под её дудку" — зло подумал Игорёк и отважно подставил стакан под горлышко бутылки, нацеленной в его сторону рукой Витька. На этот раз Витёк отмерил ему уже три четверти стакана. Игорёк, не дождавшись каких-то обязательных слов и чоканий, заглотнул в два приема и эту порцию вискаря. Тонька надулась и вылакала до донышка, как воду, своё вино. Витёк, кажется, тоже принял еще коньяка. Вроде он даже как-то нарочито демонстративно водил перед глазами Игорька стаканом со светло-коричневой жидкостью... и картинно медленно выпивал, шумно выдыхая и крякая. "Это он показывает, что пьёт на равных", — догадывался Игорёк и пытался додумать, связать мысли, что всё тут неспроста, но нахлынувшая обида на Тоньку, что сразу начала перед чужим, видным мужиком задницей вертеть, ненависть к её отцу, что держит его за скотину бесправную, за раба свинячьего, так неожиданно больно сжали его сердце, что он едва не разрыдался и начал горячо рассказывать Витьку, впрочем, не Витьку даже, а кому-то другому, внимательному и всё понимающему, доброму человеку, что живет он хуже пса цепного, спит и ест в кормозапарнике, работает как негр на плантации за тарелку супа, что он давно бы повесился, если бы не Тонька, и что к осени он стрясет с Бяки кровные, потом заработанные, и уедут они с Тонькой отсюда куда глаза глядят... Впрочем, этого он уже и не помнил, как не помнил, когда перебралась со своего кресла к нему на подлокотник Тонька, как смущенно и нежно обнимала его и жалела, стыдливо целуя в голову. Не помнил, что он долго и бурно разъяснял Витьку, отвечая на его дешевые вопросы-подковырки, почему Бяка не платит ему, своему работнику, хотя всем известно, что Бяка мужик небедный. Осталось только в сознании, в какой-то кошмарной, лохматой мешанине сцен и видений, невнятное пятно смыслов, неясное мерцание мыслей, главных и определяющих тогда весь бред пьяных откровений... После мучительных попыток припомнить потом, о чём он больше всего говорил, вынырнуло вдруг откуда-то в памяти это нечто, это облако беспокойства и тревоги... И он вспомнил, что это была его болтовня о недавнем кредите Бяки и что помимо кредита тот немало выручил год назад на клевере, осенью на мясе, что денег у него где-то запрятано немерено... что их надо найти, взять положенное ему, честно заработанное, всего-то пол-ляма, и распрощаться навсегда с этим вонючим Свинячьим хутором, кормозапарником, кровососом Бякой.

...Спровадив с довольно бесцеремонными понуканиями в ночь практически уже ничего не соображающих гостей через запасный выход с тыльной стороны клуба, Витёк, довольный, что всё было разыграно, как по нотам, вернулся в завклубную комнату и первым делом спрятал поглубже в шкаф бутылку виски с клофелином (пригодилась всё-таки). Чувствовал он себя превосходно. Этот дешевый фраерок, доходяга грёбаный (хотя что-то он из себя мнит), при каком-то странном одобрении толстухи (может, и впрямь любит этого недоноска?), рассказал ему всё. Теперь он знал, где взять серьезное бабло... В самом добром расположении духа, вольготно закинув ноги на столик, Витёк посидел в кресле, покурил, погрыз орешков. Пить больше не стал, впереди было ещё одно важное дельце, в котором, знал по опыту, лишний алкоголь не помощник. Посидел, подумал, снял ноги со стола, энергично поводил вправо-влево раздвинутыми коленями. Боль в паху ушла полностью, нигде даже отдалённо не тянуло, не щемило. "И всё-таки надо проверить на деле, — усмехнулся Витек, — тут выпивка ещё, как обезболивающее..." Через пару минут бодро встал с кресла, расправил модные, узкие штаны на коленях, поднял в стойку (подсмотрел в каком-то сериале) воротник рубахи, откинул на плечах куртку и, не забыв щёлкнуть выключателем на стене у порога, вышел в зал.

Было уже далеко за полночь, веселье угасало, притушили музыку, отключили пульсаторы света. Никто уже не плясал, не резвился, кто не ушёл, утомлённо расселись за столики по углам, вяло потягивали пиво и коктейли. Людка Демьянова, изнуренно-похудевшая, а от того ещё более красивая, сидела с подружкой у барной стойки с высокой, цилиндрической стекляшкой в руках, улыбалась, искала рассеянно глазами что-то в воздухе. "Скучает...

это то, что надо", — решил Витёк, подошёл и бесцеремонно положил руку на туго обтянутое джинсами бедро Людки:

— Грустно без мужика, Людок? Могу развеселить!

— Убери лапы, не в борделе! — грубо сказала Людка, сбрасывая руку Витька.

— Опоньки! Во мы как заговорили! — нехорошо засмеялся Витёк. — Недотрога, значит, — и тут же поправился, поднимая руки вверх: — Не в настроении... понимаю, нет проблем... Может, чего-нибудь посущественнее этого пойла, для поднятия духа, так сказать... — показал глазами на Людкину ёмкость с какой-то мутной жидкостью и долькой жёлтого лимона, проткнутого соломкой.

— Сегодня не хочется, — уже более миролюбиво сказала Людка и посмотрела на подружку: — Ты как? Я ухожу, — соскочила с высокого табурета, стала застегивать ворот рубашки повыше. — Идем?

Подружка, Витёк её не знал, видимо, из приезжих, — хитренько посмотрела из-под густой, низкой челки на Витька, потом на Людку, и благоразумно решила остаться ещё "на полчасика". Витёк одобрительно усмехнулся: "Сечёт, коза!" и двинулся вслед за Людкой к выходу.

Ночь выдалась совсем не июльская — тёмная, после дождей прохладная. Небо с северо-востока, из-под светлой предрассветной полосы затягивало высокими, бугристыми облаками. С подоблачной стороны сердито налетал, шумел листвой на деревьях свежий ветер. Людка ёжилась в одной тоненькой рубашке. Витёк снял куртку, набросил Людке на плечи, попытался приобнять.

— Не надо, — сказала Людка, неприязненно и решительно выворачиваясь из-под руки Витька, — и, вообще, я одна дойду, — подумала, сняла куртку и вернула её Витьку.

— Что так? — посуровел Витек. Принимая куртку, не стал надевать, оглянулся, бегло пошарил глазами по сторонам. Ни души. До ближайших домов метров триста, все спят.

— Да как тебе сказать, Витя... — загадочно улыбнулась Людка. Витёк в сумерках не то чтобы увидел, скорее, почувствовал эту предательскую бабью улыбку: "Сучонка!" — Сегодня со мной случилось такое, — затаённо сказала Людка, — что нам... ну, в общем, нам лучше больше не встречаться...

— Понятно, — хмыкнул Витёк, — новый трахач появился... и кто он, этот шустрик?

— Зачем тебе... — показалось, снова улыбнулась Людка, — один хороший человек... он мне ещё со школы нравился.

— А я не хороший? — длинной струйкой сплюнул сквозь зубы Витёк, внимательно приглядываясь к темному силуэту у дороги заброшенной, полуразрушенной подстанции, когда-то питавшей электричеством зерносушилки совхозного тока.

— Я не это хотела сказать... при чём здесь ты? — попыталась оправдаться Людка. — Просто я поняла сегодня, что он мне нужен, ну, что он хороший...

— Хочешь, я скажу, кто этот "хороший"? — в упор посмотрел на Людку Витёк и стал торопливо, словно куда-то опаздывая, натягивать на себя куртку. Поравнялись с подстанцией. Людка, словно что-то почувствовав, со страхом посмотрела снизу вверх на Витька. Сказать ничего не успела. Витёк глухо и больно залепил ей рот левой рукой. Правой обхватил за бедра, оторвал от земли, потащил в разбитый проём подстанции. Поставил лицом к стене. Почувствовал, как затрепетала Людка. Людка невнятно под ладонью прокричала что-то. Коротким ударом кулака по почкам Витек прекратил всякое сопротивление... Он взял её яростно, с остервенением. Заканчивая насилие, прищемил мочку уха Людке зубами, прошептал:

— Привет твоему менту поганому передай...

6

Сенокос у Виталика Смирнова с того злополучного наезда косилкой на камни явно не заладился. И погода стояла отменная — каждый день солнце и ровный, тёплыми, нежными волнами суховей с юго-востока, откуда-то из

жарких далеких пустынь, только успевай утром, пораньше валить траву, шевелить в обед и сгребать к вечеру в воздушные, пролитые цветочными духами, копны. И настроение было азартное, заводное, чувствовал себя Виталик превосходно, бодро, каждый день выспавшимся, вставал до солнца, успевал подоить коров, процедить молоко, включить сепаратор, пока поднимется Томка, а затем рвался на огромное, запущенное поле рядом с плотиной в окрестностях уютной, давно уже ставшей дачной, деревушки Хорьковки — там он после романовского оврага набирал каждое лето основную массу сена. Травы у запруды, рядом с водой, выдавались особенно сочные, чистые, без привычной осоки, пижмы и татарника. Коровы зимой, как давно приметил Виталик, ели сено с хорьковских делянок с удовольствием и бережливо, редкая прядка сена, как малосъедобная, выдергивалась чувствительными коровьими губами из кормушки и втаптывалась в навоз… И с рабочими руками для дружной, особенно разворотистой работы на сенокосе был полный порядок. Приехал погостить, будучи в отпуске, из города брат Федька, шурин Колька, временно безработный после закрытия завода, зарулил от безделья в деревню к сестре на своей ухоженной "девятке" из Москвы… Три здоровых, сноровистых мужика, Томка, плюс родители на подхвате, Маринка, за все рабочие выходные взявшая недельный отгул. Андрюха, правда, не появлялся… Да такой артелью с сеном можно было играючи управиться недели за полторы.

Но уже на третий день аврала стал чихать и кашлять, глохнуть на ходу трактор. "Похоже, спёкся, железный конь… — сокрушенно определил Виталик, когда машина в самый неподходящий момент окончательно встала в поле, — пора покупать новую лошадку". С помощью соседа Лёхи Зайцева, у того ещё каким-то чудом был в рабочем состоянии "дизель", отбуксировали трактор к дому. Два дня с шурином ковырялись в железках. Два золотых, бесценных денёчка! Виталик злился, нервничал. Пришлось по утрам ездить на "Волге" с дедовской "литовкой" в Хорьковку. Но это же не работа, насмешка и издевательство какое-то — махать косой, продвигаясь вперед в час по чайной ложке, да ещё когда заедают поутру комары да мошки. Так до белых мух можно было промахать… Спасибо, шурин оказался мужиком рукастым, к концу второго дня трактор всё-таки завели. Виталик на следующий день косил до глубокого вечера, заканчивал уже при свете фар. Насушили к субботе сена прорву, на двух коров точно, весь луг был заставлен островерхими, шлемовидными стожками. Теперь надо было энергично и решительно перевезти всё домой, на задворки, где за сараем обычно метали скирды на зиму. Виталик прицепил тележку с высокими, досками нашитыми бортами к трактору, народ — Томка, Федька, Маринка, Колька — побросали вилы и грабли в тележку, попрыгали через задний, низкий борт следом… Тронулись с шутками-прибаутками. Едва выбрались за деревню в сторону Хорьковки, на ходу отвалилась серьга у прицепа тележки, зарылась с разгону острым хоботом в землю, с бабьим визгом и суровым мужским матом попадали люди друг на друга в тележке. Хорошо, что всегда осторожный Виталик ехал на небольшой скорости, не гнал, как другие, а то и до увечий в таких делах не далеко… Приваривали серьгу на Свинячьем хуторе у Бяки, только у него на всю округу был сварочный аппарат. Еще один день профукали. Ночью — вот уж не везёт так не везёт — украли половину стожков на лугу. Кто? Можно было только гадать. Следы от колесника вели к шоссе, а там, на асфальте, терялись. Пришлось Виталику навёрстывать упущенное, то есть пополнять украденное, ещё тремя днями ударной косьбы. И растянулся его сенокос не на полторы недели, как виделось поначалу, а на все три.

Метал Виталик последнюю скирду на задворках уже только с Томкой. Городские помощники разъехались, родителей решили пощадить — возраст, достаточно намаялись за сезон.

…Виталик орудовал вилами у основания стога, как всегда в спором деле, с полной выкладкой сил, молча, сосредоточенно, нервно. Подходила к концу первая декада августа, пахнуло осенью, похолодало, утренняя туманная дымка долго не расходилась, готовая собраться в дождевые облака.

И Виталик спешил, решительно и глубоко насаживал на вилы сена побольше, с натугой, так, что вибрировал и выгибался гибкий черенок в руках, выбрасывал тяжёлые, лохматые охапки на скирду, где их принимала Томка, раскладывала равномерно по краям и середине стога, утаптывала.

— В серёдку клади побольше, в серёдку! — сердился Виталик, отбегая в сторону и критически оглядывая скирду, — выводи на конус, разлаписто получается!

— Ты бы раньше сказал, — кричала сверху Томка, — на конус теперь у тебя сена не хватит!

— Хватит! — недовольно откликался Виталик, задирая голову вверх и счищая ладонью сенную труху с шеи. — Могла бы и сразу подсказать, сверху виднее!

Томка оказалась права, сена на конус не хватило, скирда получилась раскисшая, широкая, с рыхлыми боками.

— Эх, набьёт дождя в серёдку, погниёт все к чертям собачьим! — вполголоса заругался Виталик внизу.

— Ну, что там? — громко спросила Томка. — Не слышу!

— Плохо! — ещё сердитее отозвался Виталик. — Воронье гнездо какое-то, а не скирда! Чего там ходила, мечтала!

— Ну, вот, я во всём виновата... — кажется, засмеялась Томка, — пройдись побольше грабельками по бокам, подчеши, постройнее будет...

— Сиди там... грабельками по бокам! — уже всерьёз начал злиться Виталик. — Сразу неправильно, слишком широко, заложили. Говорил, поуже, поуже надо было основание завивать!

— Что делать будем? — устало сказала Томка, усаживаясь на сено. — Притомилась что-то я.

Виталик нервно заходил вокруг стога с граблями, обтёсывая бока:

— Каракатица получилась, а не скирда!.. Плёнкой укрывать будем!

Он сбегал куда-то в сарайчик, где хранил инвентарь и всякую ерунду, притащил волоком порыжевшую от дождя и грязи, сложенную в несколько слоёв (когда-то до теплицы укрывал огуречные грядки) полиэтиленовую пленку. Принёс лестницу, приставил к скирде, и, раскинув пленку по земле, стал подавать одним концом, забираясь по лестнице, Томке на верх стога. Плёнка удивительно точно, словно по заказу, укрыла половину скирды, легла по бокам почти до земли.

— То, что надо! — подобрел Виталик и сходил за ещё одним, таким же, куском плёнки.

Когда укрыли вторую часть стога, прижали плёнку от ветра тяжёлыми жердями, и спустилась по лестнице на землю Томка, Виталик, грустно посмотрев на жену, сказал:

— Всё! Надо в фермеры подаваться!

— Решился, всё-таки?! — Томка осторожно заглянула в потемневшие от тяжёлой работы и нервного возбуждения глаза Виталика.

— А куда деваться! — вскинулся Виталик. — Технику надо менять, всё износилось, всё! Это ж надо, серьга на ходу отвалилась... Хорошо, что ещё не угробил кого! Ворья развелось... А если бы пресс-подборщик был, я бы рулонов накрутил по четыреста килограммов, попробуй укради такой! И не возились бы сейчас с этими скирдами... Кредит дадут, всё что-нибудь посовременнее куплю. Бяка говорил, сейчас бэушная техника есть неплохая... и недорого... — Виталик, остывая, вопросительно посмотрел на Томку.

— Надо попробовать, а там видно будет, — незаметно вздохнула Томка. — У людей же получается, а мы что, хуже!

— Я вот думаю, с чего начать? — поборол неуверенность Виталик. — Бумажки всякие оформлять...

— А ты к Бяке сходи, чего стесняться... он опытный, что-нибудь да подскажет! — уже твёрже сказала Томка, помогая Виталику отнести лестницу к сараю.

Виталик согласился, сказал, что завтра же и съездит. Начал засеиваться мелкий, как через ситечко, холодный дождик. Виталик, довольный, что с сеном управились вовремя, пошёл, почёсываясь, топить баню.

…Подруливая на “Волге”, со временем всё чаще тревожно поскрипывающей корпусом (и эта сыпется!), по аккуратной, недавно подсыпанной щебёнкой дорожке к Свинячьему хутору, Виталик с удовлетворением, как если бы это было его хозяйство, отметил вернувшийся порядок и чистоту по обочинам дороги. “С работником-то оно повеселее получается, а то без супружницы совсем завшивел Бяка”. Только вот голубые ели, густо высаженные вдоль шоссе, придавали дороге мрачноватый, какой-то траурный вид. “Я бы на его месте, как у того немца, посадил яблони”, — подумал мельком.

С угрюмым, тоскливо-озабоченным лицом встретил Виталика и хозяин усадьбы. Бяка, нахохлившись, сутуло сидел, поджав ноги, на скамейке у крыльца, длинными затяжками курил, что-то невесело, задумавшись, перебирал в голове, не окрикнул даже пса, который злой, вонюче-мохнатой массой, гремя цепью, бросился без лая на Виталика из конуры у ворот. Виталик с трудом увернулся, шустро отскочив на безопасное расстояние.

— Зверюга, зажрёт, если наскочит! — сказал Виталик, бочком, не спуская глаз с яривщейся на задних лапах, задыхающейся в ошейнике собаки, приближаясь к Бяке.

— Думаешь? Надо испытать, — загадочно произнёс Бяка, вяло пожимая руку Виталика. Ладонь у Бяки была холодная и влажная, “какая-то неживая”, отметил Виталик. Да и всем своим видом Бяка был не фонтан. Очень уж бледное и рыхло-обвалившееся было у него лицо.

— Что смотришь? — сказал Бяка, с усмешкой фиксируя чрезмерно пристальный взгляд Виталика. — Что-то мне не по себе сегодня, кажется, сердчишко опять пошаливает, — осторожно похлопал рукой левую часть груди.

— Давай, сгоняю за фельдшерицей, — для порядка предложил Виталик, — может, укол какой сделает, тут шутить не надо…

— Ерунда, от переутомления, корвалольчику накапаю, пройдёт… Две недели с этим сеном спины не разгибал… сейчас вот за подлесок взялся, со стороны бора всё жуть как заросло, мульчер с трудом берёт, — смягчившимся на заботу Виталика голосом сказал Бяка. — Ты-то с сенокосом управился?

— Да кое-как, — махнул рукой Виталик, — техника совсем никуда, всё старое… Это ж надо, серьга на ходу отвалилась, ну ты знаешь, у тебя приваривали… — привычно начал он и, обрадовавшись удачному повороту в разговоре, заспешил перейти к сути дела.

Чем дольше говорил Виталик, тем отчуждённее и мрачнее становился Бяка. Думал он о чём-то своём, слушал вполуха. Лишь изредка из приличия поворачивал в сторону Виталика своё бледное, съехавшее лицо, усмешливо и затаённо улыбался. “Не вовремя я, что-то с ним не так, — ловил глазами настроение Бяки Виталик. — Надо всё-таки на обратном пути попросить Светку Пономареву забежать к нему…”.

— Значит, всё-таки решился… ну, что ж… дело хозяйское, — медленно и неопределенно сказал Бяка, как бы выслушав до конца Виталика. — Тут главное решиться — или ты, или тебя! — неожиданно вырвалось у него. После чего Бяка долго глядел перед собой в никуда, старательно ковыряя носком сапога ямку в земле. — Мне сейчас, честно скажу, брат, не до тебя, — посмотрел он кисло на Виталика, — но я понял тебя… тебе нужен, как я понимаю, ходок, проныра. Один ты всю эту трихомундию с выделением пая, межеванием, кадастровым паспортом, лицевыми счетами не потянешь… Есть у меня такой, я ему, кстати, может, сейчас звонить буду… — Бяка сморщился, как будто хлебнул уксуса, — под ним одна юридическая фирмешка ходит, как раз такими делами промышляют… Они тебя тысяч на восемьдесят-девяносто раскрутят…

Виталик насторожился, почесал под штаниной, видимо, укушенное муравьем место. Чёрные, крупные муравьи, как заметил он, сноровисто и озабоченно в изобилии сновали по столбикам скамейки и нижним доскам тераски. “Древоточцы, — машинально отметил Виталик, — разведутся, труха от тёса останется, надо было Бяке и терраску каменной строить…”.

— А что делать? — продолжил устало Бяка. — Самому пороги обивать — дороже встанет, каждой вшивоте придётся совать, а тут деньги пакетом отдашь, всё необходимое в одном пакете и получишь… По-божески возьмут и быстро всё сделают, они тут все в одном котле варятся… Это они тебя потом по-крупному будут ошкуривать, а пока моему знакомому будет только выгодно оформить тебя в фермеры как можно быстрее… По-божески возьмут, — повторил ещё раз Бяка, искоса наблюдая за беспокойно заерзавшим на скамейке Виталиком. — Да не бзди преждевременно, не в тюрьму идёшь, — ободряюще толкнул он плечом Виталика. — Запиши телефончик этого щегла… Я ему сегодня все-таки позвоню, — Бяка прерывисто вздохнул, — скажу про тебя, а ты ему в понедельник звякни, он все устроит быстренько… свои десять процентов не упустит. Есть на чем записать?

Виталик извлек из бокового кармана камуфляжной куртки, привезённой шурином с какого-то армейского склада, шариковую ручку, неизменный блокнотик с зарисовками кружевных наличников, коньков, подзоров (резьбу по дереву не забывал) и крупными цифрами записал мобильный телефон некоего Вадима Аркадьевича Труханова.

— А он, этот Вадим Аркадьич, кто? — потыкав ручкой в блокнотик, осторожно спросил Виталик.

— Да как тебе сказать? — раздражённо передёрнул плечами Бяка, — крутится рядом с Булкиным, то ли помощник, то ли советник какой… Станешь фермером — узнаешь… через него всё будешь делать. Извини, брат, — умоляющим жестом прижал руку к сердцу Бяка, — у меня тут срочные дела навалились… Давай, — пожал он снова без энтузиазма руку Виталика, — жми на педали!

— Как собаку зовут? — через плечо, вполоборота, спросил Виталик, направляясь к воротам.

— Байкал! — слабым голосом, не поворачиваясь, сказал Бяка.

— Байкал, Байкал, Байкалушка — свои, свои! — заворковал Виталик, предупредительно обходя на почтительном расстоянии пса, презрительно-равнодушно отслеживающего от будки, сидя на нагло раскинутых задних лапах, трусливо семенящего к выходу человека.

…К фельдшерице Виталик в этот день заехать забыл, он уже весь был в новых заботах и мечтах.

7

Не дожидаясь, пока гость отъедет от ворот, Бяка заторопился в дом, выпить что-нибудь от сердца. В груди, прямо посередине, что-то жгло и разрывалось. Такого у него ещё никогда не было, и Бяка испугался. Как можно быстрее, наплевав на крючком цепляющую в сердце боль, поднялся по крутым ступенькам крыльца, прошел общим коридором — в горнице у дочери противно смеялся Игорёк — на свою, зимнюю половину, на кухню. Добежал до холодильника, извлёк из пазухи дверцы пузырек с корвалолом, натряс в первую попавшуюся чашку пятьдесят две капли (по числу прожитых лет, как учила покойная жена Райка), разбавил из чайника кипяченой водой, морщась, выпил горькую, противно пахнущую валерьянкой настойку. Присел на табуретку, стал терпеливо ждать. Обычно минут через десять лекарство начинало действовать. Тут взяло не сразу, прошло с полчаса, а Бяка все продолжал сидеть скрючившись, мерно растирал грудь ладонью, незаметно для себя начал тихо и жалобно поскуливать. Из комнаты Тоньки уже на два голоса раздался весёлый хохот, потом кто-то, глухо стуча ногами по полу, побежал за кем-то, с грохотом опрокинулся стул, стала слышна весёлая возня, мерное поскрипывание кровати, сладкое постанывание. “Тьфу, ты, ни стыда, ни совести, поганцы!” — болезненно зажмурился Бяка и в который раз с неприязнью подумал, что зря он, сгоряча, не подумав, обещал этому “свинячьему повару” уже в июле отдать половину “выходного пособия”. Июль прошёл, а деньги, вот так, за здорово живешь, какому-то ублюдку отдавать не хотелось. Бяка даже застонал от расстройства, вспомнив,

с какой нагловато-вызывающей ухмылкой поглядывал на него последнее время Игорек. "Хрен тебе, а не деньги, вонючка! С голой задницей осенью выкину, бегай потом по судам! Кого пугать вздумал!" — мстительно думал Бяка, вставая с табуретки, забыв о сердце и вполне здорово, машинально направляясь к холодильнику. "Кажется, отпустило", — с облегчением отметил, возвращая пузырек с корвалолом на место и заглядывая в морозилку, где в белом, заиндевевшем царстве лежало расфасованное по полиэтиленовым пакетам мясо. На сенокос Бяка обычно резал небольшую, но упитанную свинку, поддерживал силы свежей убоинкой. Бяка поворошил рукой смёрзшиеся, с сухим треском отпадающие друг от друга, жёсткие, словно каменные, свертки. Пересчитал (мясо Тоньке на готовку Бяка выдавал строго дозированно), один пакет, в холодном, мглисто-посверкивающем инее, развернул, заглянул внутрь, успокоенно снова свернул и засунул поглубже в морозилку… "Ну, что ж, надо всё-таки позвонить, поставить в известность!" — Бяка довольно решительно (боль совсем прошла) вышел из кухни и направился по коридору — у Тоньки лицемерно-стыдливо притихли — к двухмаршевой лестнице, ведущей в мансарду.

Здесь, на втором этаже дома, на высоте, мобильная связь была почище, поустойчивее. И толсто, плотно обитая войлоком дверь с лестницы, чтобы не дуло зимой с чердака, надежно защищала разговор от лишних ушей. Бяка пользовался обычно мансардой для особо серьёзных переговоров — с банком там, начальством из района, или когда что-то покупал-продавал на солидные суммы.

Резкими, короткими рывками Бяка плотно прикрыл за собой дверь на второй этаж, накинул на всякий случай крючок. Прошёл в мансардную комнату, сел на продавленный, в ямах, старый диван у окна — единственное, что было здесь из мебели, чиркнул машинально указательным пальцем по мохнато осевшей по подоконнику пыли — пыль была здесь везде многолетняя, она серо выбелила и съела светло-жёлтую, праздничную налаченность сосновой вагонки, которой когда-то так старательно обил светелку Бяка, а потом выкрасил жёлтым "пенатэксом" и покрыл в несколько слоев лаком. "Думал, что внуки будут жить здесь летом… когда они будут теперь, эти внуки?" — вздохнул Бяка и включил телефон. Часы на мониторе показывали половину шестого. "Самое время, — подумал Бяка, нажимая на кнопку, когда вывернулась строчка "Труханов", — работу заканчивает, пятница — короткий день… теперь можно и поговорить".

Тем не менее, Вадик откликнулся не скоро, коротким, раздражительным:

— Слушаю вас!

— Вадим Аркадьич? — почтительно осведомился Бяка. — Здрасьте! Это Михаил Макаров из Романова, извините, что беспокою…

— Здрасьте, Михал Васильич! — нетерпеливо бросил Вадик. — Я сейчас в дороге с шефом… если можно покороче… Что там у вас?

"Вот это хорошо, что он с Булкиным!" — обрадовался Бяка, но привычно засмущался, зачастил:

— Сегодня на меня тут наехали! Требуют лимон! Вечером я должен оставить пакет в обозначенном месте! Не знаю, что и делать!

— Стоп, стоп, стоп! — неожиданно нервно и решительно остановил Бяку Вадик. — Отсюда помедленней! Кто наехал?.. Давайте с толком, с расстановкой!

— Не знаю! — тоже возбудился Бяка. — Какие-то отморозки, зажали меня в поле… Я кусты со стороны леса корчевал!

— Как выглядели? Откуда взялись? — стараясь говорить спокойнее, стал уточнять Вадик.

— Как выглядели? В масках были, злющие, как голодные кабаны, наглые… — снова заторопился Бяка, — подъехали со стороны леса, по трелевочной дороге…

— Знаю, знаю… — машинально сказал Вадик и неожиданно спросил: — Лям… какими требовали?

Бяка не сразу понял, а потом дошло:

— Российскими… а какими же ещё! — вырвалось у него.

— Понятно, — Бяке показалось, Вадик облегчённо вздохнул. — Ну, и что там у них, какие-нибудь особенности, приметы… запомнил? — уже деловито, переходя на "ты", спросил он.

— Да, в масках, говорю, были… какие приметы! — вдруг открылся смысл предыдущего вопроса Бяке, и он почувствовал, каким-то особым наитием уловил, что дальнейший разговор уже не будет иметь никакого смысла, что он обречен. — Хотя, вот запомнил, — потускневшим голосом сказал Бяка, — у одного на руке была наколка… кажется, кораблик с парусом, он все кхыкал, ну, то есть, кашлял… а у другого на лапище солнышко с лучиками вставало… А так, бандюги как бандюги… грозились, если деньги не принесу, инвалидом сделать, ну и все прочее…

— Когда это случилось? — продолжал уточнять Вадик. — Номер машины запомнил?

— Номер грязью замазан, — промямлил Бяка, — это было где-то часа два назад…

— Надо было сразу сообщить, — нарочито-недовольно буркнул Вадик, — в полицию звонил?

— Нет, вам первому… хотел пораньше, да тут один мужик из деревни заехал, все планы перебил, — снова зачастил Бяка. — Он, кстати, в фермеры надумал, я дал ему ваш телефон… Виталик Смирнов зовут, хочет в понедельник вам звонить…

— Ладно, ладно, с этим Виталиком разберёмся, пусть звонит, — взял начальственную, покровительственную ноту Вадик, — тут надо думать сейчас, что с тобой делать. Вот что, подожди минут десять, я перезвоню… Сиди тихо, жди! — Вадик решительным нажатием кнопки прервал торопливо-благодарное Бякино: "Все понял, буду…".

— Владимир Савельич, надо бы переговорить, — старательно, вытянувшись хоботком, подобрался Вадик с заднего сиденья к плечу важно откинувшегося в кресле рядом с водителем человека.

— Не опоздаем? — тяжело зашевелился человек на переднем кресле, прихватывая для удобства мясистой рукой верхнюю ручку.

— Идем с запасом в час, — сверил Вадик время на мобильнике, — в сторону МКАД из области в пятницу пробок не бывает… вот в обратную… это да, все на дачи ринутся… Звонок был серьёзный…

— Всегда у тебя всё серьёзное… сплошные проблемы… Вот так на море едем, — недовольно заворчал передний седок, — тормозни, — бросил шоферу, — разомнемся немного. Без пищалок? — обернулся к Вадику.

— Желательно, Владимир Савельич, — оставил мобильник на сиденье Вадик.

Вышли из машины. Владимир Савельевич оказался крупным, солидно-представительным, с животом через ремень мужиком лет пятидесяти с небольшим. Большая голова без шеи, с густыми седыми волосами, тщательно постриженными "под Ельцина" времен окончательной трансформации того из секретаря обкома в президенты, сидела на широких плечах монументально и несковыристо. По всему облику, упитанной, бычьей крепи, по особой багровости и рыхло-жеваной мордастости лица, чувствовалось, что этот человек любит с удовольствием и через край попить-поесть. Небольшие светлые глазки смотрели умно, строго, с холодком, как чаще всего смотрят глаза бывалого, пребывающего долго во власти и знающего всему цену человека. У такого, чувствовалось, не забалуешь. Про Булкина, а это был глава администрации Иванградского района, так и говорили — строгач, бычара, кого хочешь затопчет. Он, видимо, и затаптывал, иначе не усидел бы на шатком и опасном, но доходном креслице начальника уезда восемнадцать лет.

Спустились по невысокой, отлогой насыпи шоссе (шофер, делая поправку на грузность хозяина, знал, где тормознуть) на довольно чисто выкошенную обочину, отошли к придорожному лесу.

— Ну! — повелительно бросил Вадику Булкин. Вадик коротко и внятно, как на утреннем обзоре районных новостей, пересказал разговор с Бякой. Булкин недовольно засопел, характерно похрюкал носоглоткой, глубоко

вдыхая воздух через широкие, круглые ноздри разъехавшегося лаптем носа, раздраженно поерзал молнией на белой спортивной куртке.

— По уму-то, конечно, надо бы забрать… это… сам понимаешь, у твоего фермера, — сердито начал выговаривать Вадику, — но возвращаться уже поздно, — Булкин агрессивно, двустволкой, раздул ноздри, — чем он думал, козел, хотя бы на два часа раньше… этот твой хранитель?

— Растерялся, да, говорит, как на грех подъехал какой-то местный мужик, который в фермеры хочет, как я понял, за советом, — заюлил Вадик.

— Да-а, — процедил, холодно и отстранённо смерив Вадика взглядом, Булкин, — я, как чуял, когда ты мне подсовывал этого хуторянина… "Место безопасное, уединённое, удобно скрытно подъезжать", — напомнил он какой-то разговор Вадику и снова сердито засопел. — Ну, ладно, будем надеяться, обойдется… То, что они попросили российскими, это хорошо, это, ты прав… они о главном не знают… Вот что, — Булкин внимательно посмотрел на носки своих дорогих, светлой желтой кожи, надеваемых обычно в отпуск за границу, легких, щеголеватых мокасин, перевел взгляд на бело-голубые, пижонистые кроссовки Вадика. — Как только вернёмся вечером в воскресенье из Испании, полетишь впереди меня, как бог Гермес на своих волшебных штиблетах, к своему хуторянину, возьмёшь всё у него, схватишь в охапку и в другое место… и больше ни шагу туда! Только бы твой столыпинец продержался до понедельника. Так ему сейчас и скажи — продержись до понедельника! Посули три… нет, два, полтора… хрен с ним, два процента!.. Чтоб было за что под утюгом партизаном молчать! Разумно? — вперился бычьим взглядом в Вадика Булкин.

— Отлично! Вы, как всегда, Владимир Савельич, в корень… — сладко пропел Вадик. — Может, это… для подстраховки наряд вызвать?

Булкин задумался, носорожисто потоптался на месте:

— Вопрос, кто их навёл на этого вольного хлебопашца? Нет ли тут следочка к нашему недавнему, этому, как его, Господи прости… сити-менеджеру? Раз его криминал поставил… не копает ли он по нашим финансовым агентам? — стал размышлять Булкин. — Допустим, что это так. Допустим, он хочет отщипнуть себе кусок пирога, заметим, от нашего пирога, нанимает каких-то пацанов, прощупывает финансовые источники, начинает с того, что на поверхности лежит… Фермер, мол, кредиты от администрации получает, пусть и со мной делится… Может быть такое? Может. А наш главный полицмейстер, как меня начали информировать, в последнее время что-то попой вертит, говорит, мало ему отстёгивают… начал с этим, сити-менеджером, корешиться… хотят, похоже, свою игру с баблом в районе замутить… Ну, ну, пусть попробуют! — Булкин сжал кулаки и словно налился свекольным соком. — Так вот с нарядом этим… Можно, конечно, позвонить… менты вышлют группу, рэкет как-никак, обязаны отреагировать… А если эти пацаны по наводке от сити-менеджера, и полицмейстер об этом знает, он уж тут не пропустит возможности направить с нарядом к нашему фермеру своего опытного человечка… Без утюга расколют хуторянина! А?

— Мудро, Владимир Савельич, мудро! — продолжал насахаривать Вадик. — Тут, как говорится, врач не навреди…

— Не понял, — строго воззрился на Вадика Булкин, — при чем здесь какой-то врач?!

— Это я к тому, что торопиться не следует, — вывернулся Вадик.

— Молодец, — понимающе ухмыльнулся Булкин, — торопиться с нарядом не будем… Может, они, с другой стороны, залётные какие… налететь, срубить деньжат по-быстрому и снова под корягу… А мы шум поднимать начнём, протоколировать, в сводки заносить…

— Вполне, очень даже может быть, — заученно просиял глазками Вадик, — тут к вашим словам одна деталька вспомнилась, — он на короткое время, буквально на секунду, таинственно вскинул вверх указательный палец, — Макаров, ну, этот фермер, говорил, что у одного на руке наколка лодки с парусами, парусник… а у другого солнце с лучами встаёт… Это о чём говорит? Тот, кто с парусником, вор, который не ворует, где живёт… залётный, выходит, однозначно залётный! Вы тут в точку!.. А, тот, кто с солнышком,

значит, недавно откинулся… на мели сидит. Вот и скорешились друганы в легкую бабок срубить у фермера, по-тихому, в деревне… Залётные они! Точно!

Булкин заулыбался:

— С кем работаем… — насмешливо окинул Вадика взглядом, — мы и в наколках знаем толк!

— Вот всегда вы так, Владимир Савельич… а я серьёзно, — сделал попытку обидеться Вадик.

— Да ладно тебе, вижу, что серьёзно, — примиряюще похлопал его по спине Булкин, — вернёмся, пробьём по своим каналам, что за птахи. Ну, а пока успокой этого фермера, про проценты не забудь… Пусть продержится до понедельника… с нарядом торопиться не следует… Поехали, самолёт ждать не будет!

…Из витиеватых, полных недоговоренностей и намёков, разъяснений-указаний Вадика Бяка понял, что нужно особо следить "за главным предметом", что ждёт его, Бяку, награда за "содействие и мужество" в "две единицы с колечками от всего", что нужно продержаться до "ночи на понедельник", когда он, Вадик, "вернувшись с шефом вечером в воскресенье из командировки", сразу же "заглянет с надежными ребятами" и всё уладит.

Когда разговор был закончен, Бяка ещё долго стоял у окна светёлки, машинально потирая влажным и нагревшимся от вспотевшей ладони мобильником лоб, рассеянно вглядывался в мутно-запылённое, с высохшими серыми пятнами от дождевых капель стекло, мало, что видел, тяжело собирался с мыслями. Внезапно он понял, что не услышал от Вадика главного для себя, что делать ему дальше, нести или не нести этим, в масках, деньги? И до него дошло, что никого его проблемы не интересуют, что всем плевать с высокой колокольни, что будет с ним, с его дочерью, с его кровно заработанными, наконец. А интересуют их там, наверху, только их собственные денежки, только их выгода, только их интересы и больше ничего. Он для них всего лишь так себе, резинка, для одного дела. Обидно стало Бяке, горько обидно. И ещё, вдруг Бяка понял, что остался он со своей бедой один на один. И никто ему не поможет. И он принял решение, что не отдаст этой мрази ни копеечки. Сдохнет, а не отдаст! И снова острым крючком вонзилась в его сердце боль, невозможно стало вздохнуть полной грудью. Казалось, что вот-вот что-то лопнет там в пульсирующем комочке жизни… Бяка сел на диван, стал дышать мелкими порциями, короткими, крайне осторожными затяжками воздуха растаскивать болевое сцепление в сердце. Когда немного отпустило, посмотрел время на телефоне. Было восемь тридцать. Внизу хлопнула дверь на улицу. Тонька пошла загонять коров. До встречи с "крутыми" оставалось полчаса. Бяка подумал, что зря он весной не купил у заезжего, загулявшего егеря казенный охотничий карабин "Сайга". И просил-то тот всего ничего, на пару бутылок…

Примерно в это же время, в блистающем огнями, промытым стеклом, глянцем пластиковых панелей, никелем хромированных стоек, яркими подсветками баров и бутиков столичном аэропорту "Домодедово" начиналась регистрация пассажиров на рейс Москва – Барселона. Вадик с Булкиным с наработанной неспешностью привычно влились со своими аккуратными, чистыми чемоданчиками на колесиках в толпу дорого и по-спортивному одетых людей, отправляющихся покупаться и понежиться на просторных, ухоженных пляжах солнечной Каталонии. И хотя у Вадика с Булкиным среди вещей, прихваченных в дорогу, лежали шорты, плавки и пляжные тапочки, летели они в Испанию в этот раз не ради теплого моря и ленивого полеживания в шезлонгах в сладкой полудреме на прокаленном солнцем пляже. Основное место в чемоданах наших путешественников занимали легкие, светлых тонов, солидные костюмы, галстуки, смена небедных туфель и сорочек. Конечным пунктом перелета в Барселону для Булкина и Вадика был небольшой, старинный, чрезвычайно уютный городок на каталонском взморье, с пульсирующе-дробным, воспламеняющим воображение, как перестук кастаньет, названием Мальграт-де-Мар. Всего в часе езды от Барселоны, крупнейшего, между прочем, делового центра Европы. С деловыми соображениями и расчётами собрались и Булкин с Вадиком из затерянного среди русских

равнин Иванграда в затерянный среди каталонских, оливковых холмов Мальграт. Летели наши друзья на восточное побережье Испании, чтобы оформить на двоюродную сестру Вадика покупку небольшой, всего в триста квадратных метров, но очень уютной виллы в стиле модерн начала двадцатого века, с пальмами и бассейном, в черте старого Мальграта, где века сплели нежно-уютное, каменное кружево улочек, где всегда всё надраено и умыто до блеска, лампадно-прозрачно от сияния и синевы моря, с осторожным, вкрадчивым шорохом накатывающегося где-то рядом на берег. Год назад отдыхал здесь с женой Булкин, правда, в новом городе, где отели, магазины, бары и рестораны, где ни днем, ни ночью не спят люди, где не утихает музыка и ищет кратковременных и острых ощущений разноязыкая толпа. Однажды после ужина вышли они прогуляться вдоль моря и как-то незаметно свернули на аллею, уводящую к тёмным силуэтам прибрежных холмов. Каково же было их удивление, когда они вступили в совершенно иной мир древнего испанского городка, где, как когда-то в русских деревнях на скамеечках, сидели в плетёных креслах перед домами люди, о чём-то неторопливо переговаривались, где играли дети в мяч, где неброско работали вечерние магазины и в нешумных кафе под открытым небом коротали время за кружкой пива крепенькие дедки, возможно, когда-то налитые яростной, взаимно-испепеляющей ненавистью "республиканцы" и "фалангисты". Сидели рядом со стариками и молодые люди, с красивыми, особенно у девушек, рельефно очерченными, чувственно-взрывными лицами. Но никто не кричал и не выяснял отношения. Всё проходило правильно, с достоинством. Это было так трогательно и мило, что Булкин с женой, вернувшись в отель, решили, что вот так и здесь надо доживать в старости. "Меняю Иванград на Мальграт", — плутовато щурясь, характерно хрюкая носоглоткой, сказал Булкин Вадику по возвращении домой. "Остроумно, Владимир Савельич! Остроумно, ничего не скажешь!" — расшаркался, как обычно, Вадик.

8

Было уже достаточно поздно, где-то около одиннадцати вечера, когда к задней двери романовского клуба почти бесшумно на нейтральном ходу (от шоссе под горку), при выключенных фарах, мягко шурша по заросшей травой грунтовке, подкатила заляпанная грязью, видавшая виды, битая-перебитая "пятёрка" (как она еще бегала, бедная!). Витёк Орешников, особенно чутко прислушивавшийся в этот вечер к каждому шороху за стенами своего кабинетика, пропустил приезд ночных гостей. Согретый и расслабленный коньяком, он вздрогнул в кресле, когда услышал стук в плотно занавешенное окно. Осторожно, залипнув в простенке, узко отодвинув штору и с опаской глянув в темноту, он узнал стучавшего. Легко подхватившись, скорым шагом, почти выбежал в коридор, провернул ключ в замке. В коридор поочередно, напряженно и опасливо зыркая по сторонам, вступили с улицы двое. Впереди, одетый в просторную, темно-серую блузу с капюшоном, был широкий, почти квадратный, с длинными руками до колен, весьма примечательный субъект, о которых принято говорить, даже мельком взглянув, "типично бандитская морда" — хряповидно-округло-наглая, словно слепленная из увесистых, с кровью, отбивных, настолько она была багрово-сыра, бесформенна, рыхла. Только крохотные "моргалы", светящиеся неистребимой пакостью, выдавали в ней что-то "человеческое" (если так можно было сказать).

— Здорово, Кокос! — низким, приглушённым голосом, непрерывно озираясь, приветствовал он Витька, протягивая лапу, густо и страшно заросшую поверх кисти крупным, рыжим волосом.

— Привет, Паук! — сдержанно, с долей скрытой иронии, отвечал Витёк.

Второй был как-то анекдотично во всём противоположен первому. Выше среднего роста, узкоплеч и узкогруд, худосочен. Под глазами не отменяемые черные синяки. Подкашливая, он поздоровался с Витьком кивком головы, словно боясь словом невзначай вычерпнуть из себя что-то дорогое и важное для жизни. И глаза его приторможенные смотрели бережливо, без растраты, с затуханием.

— Привет, Синяк! — заметно теплее поздоровался с ним Витёк. — Направо, в комнату, — нетерпеливым движением руки поторопил он гостей, вглядываясь в конец коридора. Там было пусто. Звучала негромкая музыка, светился разноцветными огоньками топер, подвешенный к потолку в зале. И практически никого. В эту пятницу, как ни странно, с посетителями в баре было не густо.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил Витёк уже в комнате, закрывая дверь поплотнее.

— Два часа ждали… не привез, падла! — выругался квадратный, внимательно приглядываясь к столику с коньяком и орешками.

— Его проблемы… потеряет больше, — отследив взгляд квадратного, направился Витёк к шкафу за рюмками.

— Я говорил, Кокос, надо было прессовать его сразу на хуторе! Попялили бы девку у него на глазах, сразу бы всё отдал! — заворчал квадратный, не без удовольствия отмечая появление на столике ещё двух рюмок.

— Тебе бы только пялить кого-нибудь, Паук, — ухмыльнулся Витёк, разливая коньяк. — Тоньше надо работать… тоньше, за вымогательство с применением насилия дают в два раза больше… А ты и так только откинулся!

Паук скорчил недовольную гримасу, первым вытянул лапу к коньяку. У запястья под звериным волосом синело восходящее солнышко с шестью короткими лучами.

— Башли нужны, Кокос, башли! Ты вон своё дельце тут замутил, коньяк жрёшь, а мы с Синяком по нулям! — огрызнулся Паук и опрокинул, ни с кем не чокаясь, рюмку в рот. Порылся толстыми, волосатыми пальцами в тарелке, зажевал орешками. Витёк неодобрительно поглядел на Паука, тоже выпил. Закусывать орешками после Паука не стал. Синяк повертел коньяк в руках, понюхал, поставил на столик. Из-под задравшегося рукава куртки, выглянул безобидный, как на детских рисунках, веселый кораблик с парусами.

— Ты чего? — кивнул на рюмку Витёк.

— Тубик, таблетки сильные жру… — уныло, сдерживая кашель, выдавил Синяк.

— Ему айболита хорошего надо! — мрачно изрёк Паук. — А где лавье?

— Лавье будет, мы его додавим! — пристально вглядываясь в Синяка, сказал Витёк. — До рублика всё отдаст, да ещё с процентами… Мы его на счётчик поставим. Когда днём наехали на этого придурка в поле, морды прикрывали? — спросил у Паука. Тот кивнул и подлил себе ещё коньяка. — Не хочет по-хорошему, сегодня же начнём отжимать — медленно, с подкруткой, только сок потечёт… — Тёмные глаза Витька стали ещё темнее. — Не включит вовремя голову, тогда и до девки его доберёмся, — с ухмылкой посмотрел на Паука, — а пока вот что…

Паук с Синяком навострили уши. Витёк, на голову выше всех, наклонился к ним и, старательно уклоняясь от дыхания Синяка, шепотком изложил план действий на ночь.

…Когда минуло девять, и выбор окончательно определился, и стало ясно, что вопреки здравому смыслу, чувству самосохранения, природной осторожности, ничего уже, из-за неожиданного, дерзко-упрямого желания действовать наперекор всему, отменено не будет, Бяка почти физически почувствовал, как сомкнулись, захватывая его всего, хищные, неумолимые створки какого-то прочного, не размыкаемого капкана. Бяка ощутил, что с этого момента игра пошла на опасный разогрев, с непредсказуемым, вполне вероятно, печальным концом. И он запоздало засомневался, заметался в чувствах и настроениях — может, как всегда надо было сделать — стерпеть, подчиниться жесткой, организованной силе — власти, бандитам, да какое имеет значение кому, главное, чтоб более сильные и агрессивные отвязались, не трогали его, не мешали жить… Но выбор был сделан, и ничего отменить уже было нельзя, и некому было помочь, встать рядом с ним, Мишкой Макаровым, простым деревенским мужиком, размечтавшимся когда-то стать

хозяином, поверившим вещавшим откуда-то сверху витиям, что можно быть этим самым хозяином, независимым, самодостаточным, отвечающим только за себя. Бяка внезапно подумал, что вот тут-то и кроется главная причина того, что с ним сейчас происходит. Он же хуторянин, одиночка. Он сам хотел этого, и сам всё сделал так, что надеяться он мог теперь только на самого себя. "Вот загнись я сейчас здесь, и никто не придет на помощь, — с ядовитой обидой на всех подумал Бяка. — Даже дочь родная не побеспокоится внизу — где ты, отец, что с тобой?!"

Он лёг ничком на диван, пропитанный сухой, чистой пылью, ещё пахнущей июльским зноем и раскалённой на солнце крышей, и тихо, бессвязно заканючил, как когда-то в детстве, спасаясь от зубной боли на печке, где, крутясь и не находя себе места, интуитивно прижимаясь больной щекой к горячим кирпичам, старался заглушить, умиротворить ломоту в зубах и побыстрее заснуть. "А как же надо тогда жить? — заворочался Бяка на диване, принимая позу поудобнее и улавливая в себе мягкие, приятные позывы ко сну. — А надо жить среди людей, — внезапно явственно пришло Бяке в голову. — А как это — жить среди людей? — задался странным, каким-то чуждым для себя вопросом Бяка и удовлетворился столь же несвойственным для себя ответом: — Это когда все работают сообща, живут сплочённо, вместе радуются и переживают, если что... вместе дают отпор, если враги приходят". "Правильно думаешь, Миша, — внезапно возник из ниоткуда Сергей Васильевич Дьяконов, — я всегда знал, нагуляешься, наживёшься на хуторах, снова к нам вернёшься". "Куда возвращаться-то, совхоз давно разрушили! — опешил Бяка. — И вы, Сергей Васильевич, тоже умерли!" "Зря разрушили, — печально покачал головой Дьяконов, — был бы совхоз, отбились бы от любых бандитов... Да и не было их при нас, это сейчас их распустили, а мы им воли не давали". "Верно говорите, Сергей Васильевич, как клопы лезут изо всех щелей, — согласился Бяка, — давить их надо... И что мне с ними теперь делать?" "Все, что мог, ты уже сделал", — сказал многозначительно и туманно, растворяясь куда-то, Дьяконов... и Бяка проснулся.

Спал он около часа, не больше. В доме было нехорошо, с каким-то нежилым замиранием, тихо. В светёлке окно непроницаемо сливалось с чёрным небом. Не перелетал, как обычно, шумным табунком ветер с верхушки на верхушку деревьев, не скреблись мыши между двойными полами, не гремел цепью пёс у будки. "Какой мрак и глушь... как в могиле, — приподнялся Бяка с дивана, сел, вслушиваясь в темноту, — а эти, наверное, опять в клуб ушли?" И странно, впервые Бяка подумал о Тоньке и её ухажёре, этом работничке Игорьке, особенно об Игорьке, без раздражения и неприязни. "Черт с ней, пусть делает, что хочет, никого лучше, похоже, она здесь, действительно, не найдет... Доверчивая, наивная, дура полная... Не дай Бог, останется одна, затопчут ведь", — с жалостливой нежностью шевельнулось в душе. Впрочем, чувство это прошло как-то вскользь, особенно не занимая его. А занимало его всего, можно сказать, овладело им, послевкусие этого странного сновидения с Дьяконовым. Никогда ему прежде не являлся в снах старый директор Дьяконов, с чего бы это, с какой стати?! И слова его... Чушь, чепуха какая-то, но странная, настораживающая, недобрая, ощущал Бяка, чепуха. "Покойники снятся к перемене погоды, — вспомнил Бяка из детства слова бабушки, — к перемене, так к перемене... но Дьяконов сказал с намёком, как-то приговорно..." Снова пугливо проснулось, заныло сердце. "Все, что мог, ты уже сделал"... Неужели? — в дурном предчувствии запнулся Бяка, не решаясь сказать себе то, что уже проговорил как-то особо в неподвластных глубинах сознания. — Нет, дурь какая-то, совсем спятил здесь, на чердаке, в этом пыльном гробике". Бяка встал с дивана, вытягивая вперёд руку, ощупью добрался до двери, нашарил и откинул крючок, включил свет на лестнице. Сердце, почувствовал, прибавило в оборотах, слышимо и громко запульсировало в груди, к счастью, без боли, и Бяка, повеселев, вполне здорово и уверенно заскрипел вниз по ступенькам.

На кухне он, отворив, заляпанную полустёршимися, переводными картинками (детское увлечение Тоньки) дверцу холодильника, долго и придирчиво рассматривал его содержимое. В холодильнике вроде бы было все

и в то же время ничего. Банки с покупными маринованными огурцами — на любителя, рыбные консервы, тушенка, кусок вареной колбасы с потемневшим срезом, сыр, сосиски — всё невкусное и противное. В пластмассовой пазухе дверцы торчала початая бутылка водки. Бяка, поколебавшись, извлёк её за холодное, скользкое горлышко и переправил на стол. Пошарил глазами еще по полкам холодильника и нашел то, что нужно. Это были, завернутые в промасленную бумагу, остатки домашнего окорока с той самой, памятной пьянки с Вадиком. Бяка, вспомнив сколько его тогда сожрал Вадик, не без удовольствия на ощупь отметил, что осталось ещё достаточно. Налил в чайную чашку водки, граммов сто пятьдесят ("А сердце? А все равно!"), нарезал окорока, хлеба — махом выпил, торопливо набросился на копчёную свинину. Потом еще добавил в чашку, и ещё... Через полчаса ему однозначно стало хорошо. Задышал полной грудью, порозовел, выкурил несколько сигарет кряду. "Не всё ещё сделано, не всё! В понедельник приедет Вадик с ребятами... и мы ещё посмотрим!" — воинственно думал Бяка, стараясь забыть, заглушить страх и уныние в сердце. Да и само сердце как-то утихомирилось, встало на место. Бяка нашёл под печкой, где ещё по старинке хранились ухваты, охотничий топорик, которым зимой колол на кухне лучину на растопку, и поигрывая им, увесистым и ладным в руке, вышел из дома. Ночь для начала августа выдалась особенная, странная какая-то, без звёзд, просветов и сполохов, вся в чёрном, как скорбящая, поражённая горем, вдова, бестрепетная и беззвучная. "Чудно, вроде и облаков сегодня нет", — отметил Бяка, посмотрев с крыльца на небо. Он включил свет в беседке, решил оставить его до утра, обошёл двор, проверил замки на сараях, спустил Байкала с цепи. Тот бурно обрадовался, долго прыгал вокруг, благодарно ластился, а затем с ошалелой страстью кинулся нарезать круги вдоль забора по всему участку. "Вот так и гоняй всю ночь, неугомонный!" — поощрительно подумал Бяка и вернулся в дом.

На кухне он приложился ещё раз, хотел добавить, но, пересилив себя, оставив немного на донышке (как там утром будет?), решительно спрятал бутылку в холодильник. Он был уже тепленький, когда добирался до постели. Но по пути не забыл закрыть в своей комнате дверь на самодельный, железный засов, сунуть топорик в изголовье, проверить шпингалеты на окнах. Заснул мгновенно и глубоко. Не слышал, когда вернулись с "танцев" Тонька с "хахалем". В конце вечера, захмелев, он снова осерчал на Игорька и снова решил "никаких денег этому шнурку не давать". Но в целом он засыпал в хорошем, можно даже сказать, благодушном настроении. Короткие мгновения человеческого благополучия!

На границе утра и ночи, когда ещё совсем темно, но вкрадчивые, едва различимые, тихие и размытые, как призраки, предрассветные сумерки опием смеживают веки и веселящим газом утягивают в омут грёз и сновидений, Бяка тяжело и не сразу проснулся от крика Тоньки и сильных ударов в дверь (колотила, видимо, пяткой):

— Папка, горим! Пожар! Пожар!

Тут Бяка враз очухался и протрезвел, спрыгнул с постели проворно и ловко, как спрыгивал, может быть, только в армии под свирепый сержантский рык "рота, подъём!" — сунул ноги в ботинки, спал не раздеваясь, кинулся к двери.

— Где горим? — с лязгом откинул засов.

— Да слесарня твоя, там! — слезами залилась на пороге Тонька.

"Чемоданчик!" — молнией пробило Бяку. Сердце сорвалось с места и раскалённым углём прожгло грудину. Бяка, морщась от боли, зачем-то метнулся обратно к постели, выхватил топорик из-под подушки, бросился мимо оторопело-испугавшейся Тоньки на улицу. Не помня себя, в горячке, как молодой, проскакал по ступенькам крыльца вниз и, нелепо размахивая топориком над головой, топча грядки, ломанулся напрямки к мелькающему сквозь деревья жёлтому зареву. Когда подбежал, спасать что-то было поздно. Пламя уже вырывалось высокими, оранжевыми фитилями сквозь прогоревшую, готовую рухнуть, крышу слесарни. Шифер с треском лопался и разлетался мелкими, шрапнельными осколками. Несколько раз горячий, тугой

жар, надуваясь эластичными, чёрно-красными пузырями под сохранившимися остатками крыши, лопался и взвивался в небо огнемётными струями. Это взрывались в слесарне канистры с бензином. После чего пламя загудело в горящей клети постройки, как в кузнечном горне, и вознеслось выше деревьев. На залитой рыжим светом поляне перед слесарней бестолково метался и прыгал дикарем у костра, с пустым ведром в здоровой руке Игорёк.

— Скотину, выпускай скорей! Скотину!.. — закричал ему, подбегая, Бяка, хотя каким-то безошибочным чутьем угадывал, что надобности особой в подобном распоряжении не было. Слесарня стояла на безопасном расстоянии от скотного двора, сам так рассчитывал, когда ставил (поэтому и начали с неё, мелькнуло вскользь), да и ночь выдалась какая-то малахольная, ни ветерка, ни малейшего шевеления в воздухе. Игорёк послушно побежал к коровнику. "Уж не он ли петуха пустил?" — искрой пролетело в голове у Бяки. "Эй, а Байкала не видел?!" — неожиданно крикнул он вдогонку Игорьку. "Там он, в кустах!" — мотнул на бегу головой Игорек. Бяка, защищая лицо от жара рукой с топориком, шагнул в сторону вишенника. Байкал лежал на боку, словно отдыхал в жаркий день в тенёчке, под низкими ветвями молодой вишни, с проткнутым горлом. Кровь ещё не успела засохнуть на траве и блестела в пламени пожара тёмным лаком на листьях осоки. "Значит, не Игорёк... перелезали через забор, нарвались на собаку... — летели обрывки мыслей в голове у Бяки, — интересно, успел Байкал кого-нибудь тяпнуть? Наверное, его этот квадратный, с ручищами как у гориллы... Знали бы они, что спалили! Бежать надо было с этим чемоданчиком, бежать! А теперь между двух огней... Пощады ни от кого не жди!" — закружилось, завертелось в голове у Бяки. Он повернулся лицом к огню. Пожар унимался. Языки пламени становились короче и холоднее. Недовольно мычали коровы, выгнанные раньше времени в загон из теплого коровника. Подошла, дрожа всем телом, Тонька, с ужасом и страхом вглядываясь в лицо отца. Бяка недовольно нахмурился, широко размахнулся и с силой, наотмашь швырнул зачем-то топорик в огонь. Что-то внезапно как будто вонзилось ему в грудь, словно шилом ударили в самое сердце. Бяка рухнул на землю. Последнее, что он услышал, был нечеловеческий в своём отчаянии крик дочери: "Папка, не умирай!".

...Утром в понедельник Булкин, не отдохнувший, нервный и злой после вечернего перелета из Испании, долгого получения багажа, нудного возвращения в ночи на машине домой, недосыпа и несварения желудка, раздражённо просматривая хронику происшествий за выходные, составленную районным отделом полиции, натолкнулся на сообщение, заставившее его вскочить с кресла, сорвать галстук с шеи и загромыхать взбесившимся слоном по кабинету. "В ночь с пятницы на субботу сгорела хозяйственная постройка у фермера Макарова М. В. (Романовское сельское поселение). Сам Макаров М. В. скончался на пожаре при невыясненных обстоятельствах". Булкин рванул дверь в приёмную, рявкнул, высунувшись на полкорпуса: "Срочно Труханова сюда!" Через несколько минут перепуганная секретарша доложила, что Труханова на рабочем месте нет, мобильный у него заблокирован, и предусмотрительно добавила, что дома говорят, уехал рано утром на работу. Булкин распорядился никого к себе не пускать, заказал чая в заварочном чайничке покрепче и, прихлебывая из высокой, прозрачной, настоящего китайского фарфора чашки, привезенной из таиландского Пхукета, стал машинально-старательно перечитывать, густо и в нетерпении малюя красным фломастером сообщение о фермере Макарове, думать, прикидывать разное, мстительно представляя, что он сделает с этим "говнюком" Трухановым, когда тот соизволит, наконец, появиться на службе. Вадик, лёгок на помине, отозвался звонком на мобильный Булкина. "Извините, опаздываю, еду с места события доложить... — виновато заговорил он, поздоровавшись с шефом и, услышав в трубку свирепое хрюканье носоглоткой Булкина, — буду через десять минут!" И точно, не прошло и получаса, как он влетел, как на саврасых, к Булкину.

— Владимир Савельич! — закричал в нервном захлёбе с порога Вадик. — Я, как только узнал всё от его дочери... позвонил на мобилу, как

и договаривались, утром, этому фермеру, ответила дочка… Не стал вас будить, рванул сразу же туда! Ну, кто знал, что эти… гости его, окажутся такими отморозками! — Видок у Вадика был ещё тот, лицо серо-зелёное, скособоченное, взгляд прыгающий, видно было, что изнутри его колотит и потряхивает.

Булкин внимательно и настороженно оглядел Вадика:

— Ты присядь, охолонись, попей вот чайку, — достал из шкафа сервизную, маленькую чашку для кофе, без блюдца, плеснул туда из заварочного чайничка, поставил на лакированную поверхность стола для заседаний.

Вадик плюхнулся на стул рядом, отпил несколько глотков, успокаиваясь, схватился за голову. Руки его были в саже.

— Всё дотла! Ничего не осталось! Я думал, пачки плотные, может, номера-серии сохранятся… нет, всё вчистую! Этот мудак зачем-то там ещё канистры с бензином держал… Судя по всему, адов огонь был! — Вадик, изображая на лице ужас, затряс головой.

— Ну хоть что-то осталось? — осторожно спросил Булкин. — Ты, я вижу, поковырялся в головешках.

— Подумал об этом, Владимир Савельич, подумал… — на пределе честными, полными горя и отчаяния, преданными глазами посмотрел на шефа Вадик, — остатки от кейса, металлические пряжки, застёжки там, оплавленные, сохранились… какая-то труха рыже-зелёная от пачек осталась… Всё собрал, в машине в пакетике лежат… Нет, если бы этот вариант, — подумав, отрицательно замотал головой Вадик, — унесли бы вместе с кейсом… А потом, зачем ему тогда умирать там, на пожаре?! — то ли озадачился, то ли утвердился в мысли Вадик. — Ну, распилили, подожгли, разбежались… Умирать-то зачем, тут радоваться надо! А он от переживаний… от разрыва сердца… — пожал плечами Вадик. — Как-то тут не сходится.

— А кто сказал, что от этого… как ты говоришь, — усмехнулся Булкин, — разрыва сердца?

— Обширный инфаркт миокарда, какой-то мощнейший… сразу умер, — поправился, насупившись, Вадик, — я звонил патологоанатому, вскрытие было в субботу…

— Значит, там “скорая” была, менты?.. — раздумчиво сказал Булкин. — Кто доложил в ОВД? В сводки всё попало, — кивнул он в сторону стола.

— Ну да, дочка вызывала “скорую”… Приехали, когда он уже остыл, — потупился, усмехнувшись, Вадик. — Пожарная машина приезжала, когда одни угли остались… Эскулапам, чтоб забрать в морг, нужно было освидетельствование ментов… вызвонили участкового.

— Ага, участковый, — многозначительно посмотрел на Вадика Булкин, — это уже конкретика… Там кто участковый?

— Да старлей один… здоровый такой, Емелин… Его ещё Лёня-тюрьма зовут…

— Почему, интересно? — сделал попытку улыбнуться Булкин.

— Да он когда-то в тюрьме вертухаем служил.

— Ну и что этот Лёня-глазок в протокол занёс? — усмешливо продолжал Булкин.

— Сегодня я заглядывал… к нему, — выделил голосом, через паузу Вадик.

— Молодец, — кивнул сдержанно Булкин.

— В протоколе у него всё четко — признаков насильственной смерти не обнаружено… там всё по делу, — сдержанностью на сдержанность Булкина, с обидой, ответил Вадик. — Правда, намекал занести собаку…

— Какую собаку, что за чушь? — посуровел Булкин.

— Собаку там обнаружили на пожарище, хозяйскую… Её, видимо, того… ножом в горло.

— Однако, деталька… а мы молчим, — уже строго посмотрел на Вадика Булкин. — Ну и что он с этой собакой?

— Уладили, — значимо сказал Вадик, — у Лёни-тюрьмы чуйка есть, понял, что про собаку особенно не следует распространяться… Ну, пришлось отблагодарить человека.

— Вот это ты хорошо, правильно, — одобрительно кивнул Булкин, — мы же говорили, следаков туда не надо.

— Я всё помню, Владимир Савельич… — с благодарным трепетом отозвался на похвалу шефа Вадик. Подумал и, решив, что момент подходящий, добавил: — То, что они с собакой так, говорит о том, что Бяка, ну, фермер этот, не мог с ними в сговор войти… Скорее всего, когда он послал их подальше, они решили надавить, подожгли эту сарайку… Она, я помню, както на отшибе стояла. Рассчитали, сволочи, что на дом и на другое не перекинется…

Вадик сказал и, быстро взглянув на Булкина, понял, что с подобными обобщениями лучше бы ему повременить. Лицо Булкина вдруг багрово потемнело, глаза налились мутью, и он в ярости чугунно затопал ногами:

— На отшибе?! Башку тебе отшибить надо! Какого хрена, ты! ты! не подумал, что так может быть? Бандюги сразу вычленили, а ты нет! Тебе голова на что дана?! Кто мне теперь всё вернет? А мне, сам знаешь, в декабре надо будет по договору там… всё закрыть! Где мне взять теперь баксы? Ты их высрешь?!

— Я-то здесь при чём? — слабо пискнул Вадик. — Сами дали команду на перемещение чемоданчика и фермера этого одобрили! А теперь получается!.. — начал ловить воздух ртом Вадик, — а теперь получается… Несправедливо всё это, Владимир Савельич! Несправедливо! — обиженно залопотал Вадик.

— А теперь получается, что ты просто болван, дурак и кретин безмозглый! — вскипел Булкин. — Вон отсюда! Бегом в сквер и жди меня там! Будет тебе сейчас справедливость! — заорал он Вадику вслед, когда тот с облегчением змейкой скользнул в дверь.

Встречи в скверике, что был через площадь, буквально в сотне метров от здания районной администрации, Булкин назначал Вадику в исключительных случаях, когда надо было порешать какие-то особо важные дела. Скверик, чахлый и пыльный, с низкими, кривоватыми деревцами, с плохо постриженными, измято-разломанными декоративными кустами, был почему-то всегда малолюдным, даром, что разбит был в самом центре города. Может, потому, что одной своей частью граничил с высокой, из красного дореволюционного кирпича, стеной городской тюрьмы. Обходили его боязливо и суеверно стороной иванградцы. А вот Булкин из-за пустынности и какой-то странной уединённости, судя по всему, это место любил. Когда они уединялись для переговоров в самом дальнем и глухом углу сквера, Вадик неосознанно начинал тревожно оглядываться и чего-то бояться. Наблюдательный Булкин обычно тонко улыбался и произносил своё неизменное, как ему казалось, страшно остроумное: “Русский человек, мементо тюрьма!” — с ударением на “ю”. Вот и сейчас, прохаживаясь в ожидании Булкина, по растрескавшимся асфальтовым дорожкам сквера, Вадик, ощущая себя очень скверно, думал, что слово “скверный” от слова “сквер”, кисло и с опаской поглядывал на тюремную стену, в который раз поражаясь, что в разгар летнего дня, в самом центре города в скверике не было ни души, даже не сидели квёло привычные ко всему старички и старушки, не прохаживались тянущиеся к свежему воздуху и зелени молодые мамашки с колясками, не спали на поломанных скамейках склонные к уединению бомжи. Вадик с тревогой и тоской думал, какое коленце выкинет вокруг сгоревших денег Булкин. А то, что речь пойдёт именно об этом, он нисколько не сомневался. Что, что, а шефа своего он изучил уже достаточно, даже слишком достаточно. Копейки мимо кошелька не пронесёт. Вадик прикидывал разные варианты и всё сводил в итоге к одному, что взыщется с него. Но у него таких денег не было. Хоть вешайся или стреляйся! Но тут пошла такая масть, прикидывал Вадик, что взыщется и с мёртвого…

Шумно, отдуваясь, вспотевшим — денёк задавался жарким — подошёл Булкин. Хмуро, неодобрительно оглядел Вадика, раздражённо похрюкал носоглоткой:

— Ты, вот что, Вадим, — начал вполне миролюбиво, — я там пошумел немного, это всё в сторону… эмоции это, бабье всё… будем по-деловому.

Предложение такое… — Вадик напрягся. Булкин умерил строгость во взоре. — Насколько я помню, этот фермер был в кредитах, как екатерининский вельможа в звёздах, — по первому образованию Булкин был учителем истории, любил поиграть заковыристыми сравнениями, — перекредитованный товарищ… Так вот, надо связаться с банком, который ему последним больше всего отвалил, наверняка, в залоге именьице покойного — пусть банкротят ферму, описывают имущество… Там есть что взять, домишко, ты говорил, приличный, техника, скотинка, землица вполне ухоженная… Наследники есть? — неожиданно спросил.

— Дочка, — скупо выдавил Вадик, ещё не понимая, куда клонит Булкин.

— Что за фря?

— Да так, — пожал плечами Вадик, — глупая деревенская клуша.

— Жить ей будет где?

— Какая-то развалюха в деревне от дедушки с бабушкой осталась, — уныло промямлил Вадик.

— Потом, — хмыкнул Булкин, — надо ей будет выписать тысяч восемьдесят из фонда поощрения малого и среднего бизнеса, ну, так сказать, за заслуги отца. А пока на похороны тысяч двадцать…

— Понятно, — опустил глаза в землю Вадик, чувствуя приближение развязки.

— Итак, мы отвлеклись, — продолжил Булкин, цепко прихватив снова посуровевшим взглядом Вадика, — банчок банкротит ферму, описывает имущество, выставляет на торги — следишь за мыслью? — надавил глазами Булкин. — И тут вступает в дело твой двоюродный братец…

Вадик непроизвольно издал то ли стон, то ли глухое мычание, как от сильнейшей, неожиданной боли.

— Ничего, ничего, — успокоил его Булкин, — не бедный, пяток нехилых магазинов по всему нашему городку, ларьки на рынке… А кто подниматься помогал? Кстати, какая у тебя там доля? — насмешливо покосился в сторону Вадика.

Вадик онемело молчал.

— Итак, братец твой покупает поместье это, а затем… — Булкин сделал выразительную паузу, — продаёт его… моей структуре. — Булкин сделал доброе лицо и потрепал Вадика по волосам: — Очнись! Это ещё не всё! Выручку твой братец обналичит и вернёт всё до копеечки моим людям.

— Это ж сколько он отдаст вначале банку, а потом вам, — вымолвил, наконец, Вадик, — он разорится.

— Он отдаст твою долю в своем бизнесе… лимонов десять, — невозмутимо сказал Булкин, — это всего шестая часть того, что по вашей милости, потерял я.

— Но вы же потом ещё раз перепродадите ферму, двойная выручка, — уныло вступил в торг, чувствуя, что совершает ошибку, Вадик.

— Правильно! — с агрессивным торжеством воскликнул Булкин. — Выручу ещё столько же! Но это всё равно только треть от потерянного. Думай, как к декабрю вернуть хотя бы половину! Я подожду, свои люди, — ухмыльнулся Булкин, — но Мальграт, сам знаешь, ждать не будет! — И он мягко и дружелюбно улыбнулся Вадику.

— Есть одна мысль, — оторвал взгляд от земли Вадик, — там в Романове, Бяка говорил, ну, Макаров этот, когда в последний раз звонил, когда мы ехали в аэропорт… один мужик, кажется, Смирнов, как-то так, простая фамилия… в фермеры рвётся.

Булкин принял стойку жирного вопросительного знака:

— Ну-ка, ну-ка?

— Надо заняться им, — тускло (обида переполняла его) сказал Вадик, — побыстрее оформить в фермеры, ну и, как начинающего, щедро одарить подъёмными, кредитами… с откатными, допустим, на половину…

— Нормально, — одобрил Булкин, — займись… К концу года у нас неосвоенных в бюджете лямов пятьдесят набегает… Хотя бы десятку через этого новоявленного мироеда отбить, нормально будет… А там ещё что-нибудь

придумаем. — Он ласково пощупал взглядом Вадика. Вадик обиженно отвёл глаза в сторону. — Ну, давай, партизан, расходимся по одному… Да, и ещё, чуть не забыл, — приостановился Булкин, — в среду у меня будет Эдик Бекас, хочет на въезде в город, со стороны Москвы, АЗС открыть… ты с ним завтра повидайся, пусть поспрошает среди своих, кто фермера спалил. Отморозков этих надо найти и примерно наказать! — Булкин резко крутанулся на каблуках в сторону выхода из сквера. — Так и передай Бекасу, пусть ищет… Иначе заправку на золотом местечке построит другой. Найдёт, отправим поджигателей на исправительно-трудовые… надолго… будут по копеечке оплачивать ущерб, всё польза от дебилов! — Посмотрел в сторону тюремной стены, подмигнул Вадику: — Мементо тюрьма!

9

Несколько раз Людка пыталась напомнить о себе, встретиться, поговорить с Андрюхой. Тот упорно от любых встреч-контактов уклонялся. Она нашла через деревенских его мобильный телефон, звонила, Андрюха, слыша её голос, сбрасывал номер. Людка дежурила по субботам, когда приезжала к родителям, у окна, отслеживала на улице машину Андрюхи, а затем, приодевшись, начинала фланировать перед окнами смирновского дома. Бесполезно. Столкнуться с Андрюхой так, как бы случайно, не получалось. В клуб она после истории с Витьком, которую вспоминала с содроганием и ужасом, перестала ходить. Да и Андрей, доходило через подружек, там тоже не появлялся. Тогда она обратилась к последнему, старинному, самому верному способу — написала ему коротенькую записку и передала через Маринку. “Андрюша, — писала она сдержанно, как ей подсказывало чутьё, с достоинством, — нам надо увидеться. Я знаю, меня оговорили. Но всё не так. Мне нужен только ты. И вобще мне хочется тебя обнять и сказать очень, очень важное. Есть что сказать. Ты не представляешь, что со мной происходит. Люда”. Ответ был жёсткий: “Не хочу тебя ни видеть, ни слышать”. Без подписи. С Людкой случилась первая бабья истерика в жизни.

А между тем, к октябрю, обычно внешне, по-мужски равнодушно-безразличный к жизни “бабья”, Генка Демьянов стал невольно примечать за дочерью разные интересные изменения. Так они стали бросаться в глаза. Людка слегка округлилась, похорошела, налилась чистым женским соком. Как-то ясно, изнутри, засветилась. Первый раз эти превращения за дочерью Генка заприметил где-то в конце сентября, сидя однажды в ласковый, солнечный денёк уходящего бабьего лета, на подгнивших ступеньках своего крыльца, неспешно покуривая и бездумно-размеренно пришлёпывая по половицам носком резиновой тапочки на босу ногу. Людка тогда приехала на выходные к родителям и взялась наводить порядок в доме. Шныряла мимо отца то с пыльными половиками выбивать на улице, то с ведром и тряпками мыть полы. Генка недовольно (мешала спокойно сидеть), искоса, разглядывал снующую туда-сюда дочь. “Сиськи налились, ноги покрупнели… и сзади как бы раздалась”, — отмечал между делом Генка, не понимая ещё, как относиться ко всем этим, неожиданно проявившимся, изменениям в фигуре дочери. Но уже в следующую субботу, так же смоля сигареткой на крылечке в неизменных тапках на босу ногу, хотя заметно похолодало, и по привычке отслеживая, как Людка несёт, прижимая высоко к груди, дрова из сарая растопить печь, Генка как-то разом встряхнулся, отметив вдруг с недобрым предчувствием особую выпуклость живота у дочери. Неприятная догадка шевельнулась в душе и заставила в первый раз задуматься, что с девкой что-то не так.

Вечером, отужинав жареной картошкой и парой настораживающе-бледных, рыхло разваренных, “пустых” сосисок (Людка привезла из города), прихлёбывая сладкий чаёк, заваренный чем-то непонятным в пакетиках на ниточке, Генка неприязненно, с нарастающим раздражением (что-то от него бабы явно скрывали), наблюдал за женой, процеживающей с унылой старательностью через марлю в трёхлитровые банки только что из-под коровы, парное молоко. Нинка с годами всё больше сутулилась, подсыхала, как забытая корочка в торбе у нищего, казалась всё меньше ростом. “Страшненькая

со временем получится бабуся", — уже откровенно злясь, подумал Генка, отмечая, как сиротливо-жалко горбится острыми лопатками жена, наклоняясь с подойником к банкам. "Вобла с крыльями!" — определил Генка и ощутил вдруг сильнейшее желание двинуть что есть силы жене по хребту — враз бы в струнку вытянулась!

— А с Людкой у нас всё нормально, мать? — справился с дурным желанием, но как-то ядовито-елейно, с глупой ухмылкой спросил.

Нинка оторвала ведро от горлышка очередной банки, испуганно вскинула на мужа глаза:

— Не знаю, что и сказать тебе! — поставила подойник на пол, суетливо заправила седеющие прядки волос со лба под простенькую, неопределенного цвета, изношенную косынку, боязливо-затаенно вздохнула.

— Скажи, как есть! — пристукнул чашкой по столу Генка.

— На сносях она, отец... — тихо, обмирая, сказала Нинка.

Генка зверем вырвался из-за стола, завис с кулаками над женой:

— У-у, курица безмозглая! Так я и знал! Что раньше молчала?!

Крупными шагами, опрокинув подойник с остатками молока на пол, рванулся в комнату к дочери. Наскоком схватил Людку за шиворот, рывком приподнял из кресла:

— В подоле решила принести! Тихой сапой! Кто брюхо набил, сучка?!

Людка, хрипя и вырываясь из-под отцовской руки, сдалась сразу:

— Андрюшка Смирнов!.. Пусти, больно!

Генка брезгливо отбросил дочь в кресло.

— Ничего не путаешь? — разъяренно склонился над Людкой. — Болтали, ты с этим братком, Орешниковым, таскалась!

Людка, уткнувшись лицом в ладони, зарыдав в голос, неприязненно повела острыми лопатками. И со спины стала очень похожа на мать. Генка вспомнил, что женился на Нинке, когда та была тоже с уже приличным животом. Ему стало жаль дочь, и он грубовато одернул сбившуюся кофту на спине Людки:

— Ладно... баба всегда знает, от кого она... Значит, Андрюха Смирнов? Вот козёл... Что делать будем? К врачу идти надо... чего тянешь!

Людка подняла на отца свою кукольную, симпатичную мордашку, ставшую от слёз ещё милее и роднее:

— Не хочу я к врачу! — вдруг зашлась она и упала перед отцом на колени: — Папка, прости! Не пойду к врачу! Хоть убей, а ребенка оставлю! — закричала не своим голосом и боком повалилась на пол. Нинка, укоризненно посмотрев на мужа, бросилась к дочери.

Генка стоял оглушенный, такая неведомая прежде сторона бабской жизни открылась ему вдруг. "Ещё не родила, а как защищает!" — что-то похожее на уважение и даже гордость за дочь шевельнулось в нём.

— Ничего, вырастим... а с Андрюшкой я поговорю... он хоть знает? — в смущении забормотал Генка, помогая Нинке поднять Людку с пола и усадить снова в кресло.

— Ничего он не знает, — дрожала Людка губами, — ему что-то наговорил этот Орешников... У нас получилось всё неожиданно с Андрюшкой, хорошо всё получилось... Орешников догадался, отомстил, садист, насильник...

— Он, гад, что-то сделал с тобой? — тихо и нехорошо спросил Генка.

Людка заметалась головой по спинке кресла:

— Потом! Не сейчас!

Генка окаменело, не отрываясь, смотрел на дочь:

— Он ответит! — мрачно изрёк. — И с папашкой этим... хлюстом твоим, выпадет время, поговорим как надо... Не знает он! Так пора знать уже!

Время "поговорить с хлюстом" выпало на Покров. Прежде в Романове это был "престол", отмечаемый и при Советской власти. Богоборческая власть закрывала на этот "пережиток" глаза... Коренные романовцы праздник ещё как-то, по затухающей, помнили. Стирали по старинке занавески на окнах, мыли полы, резали, у кого были, гусей, тушили с картошкой... Тускловато, без размаха, выпивали. Генка был коренной и считал, что он кое-что помнит, а поэтому сходил через дорогу тоже к коренному Ваське Чистякову,

заприметив со своего крылечка, как тот начал с утра ошкуривать топориком осинки перед домом на новую баню. Генка прихватил с собой бутылку самодельного, и Васька после традиционного романовского приветствия "с Покровом!", не чинясь особенно, шустро сгонял в дом за стаканчиками и солёными огурцами.

Был серый, влажный денёк с лёгким, как дым, туманцем на кустах и деревьях. Мягкими волнами накатывал тёплый южный ветер, приносил с оголившихся садов горький аромат палой листвы. До этого шли спорые, нудные дожди, а вот на Покров вдруг ни капли. Словно что-то накапливалось, затаивалось в природе для каких-то резких, решительных перемен. "Тучи перестраиваются на снег, — со знанием дела крутил головой Васька, поглядывая на небо, — вот потянет сиверок, сразу снежку навалит". Пока же сиделось на подсохших брёвнышках вполне уютно и в удовольствие. Генка переобулся на Покров из резиновых тапочек в войлочные сапоги на литой, резиновой подошве, надел новый пуховик (Людка купила на рынке), чёрную вязаную шапочку и чувствовал себя вполне справным, солидным мужиком, готовым хоть сейчас войти в самые лютые морозы. Его распирало здоровье и благостность. После третьего стаканчика ему стало совсем хорошо, и он уже вполне убедительно, как ему казалось, растолковал Ваське, почему Крым окончательно и бесповоротно снова отошёл к России. Вот тут-то и проехал мимо, аккуратно огибая глубокие, мутные лужи на дороге, на своём "фольксвагене" с чёрно-оранжевой георгиевской ленточкой на антенне, Андрюха Смирнов. И у Генки разом созрело решение "поговорить" сегодня же с "говнюком" на предмет его дальнейших отношений с Людкой. "На Покров свадьбы играли, вот и мы сегодня, может, зачнем чего..." — решил без колебаний Генка.

Было где-то около семи вечера, когда он отправился к Смирновым. На улице похолодало. Свежим, морозным дыханием предупреждал о скорой зиме Север. В свете фонарика, искрясь, кружились белыми бабочками крупные, лёгкие снежинки. "Тучи перестроились на снег"... Генке вспомнилось, как в детстве широко и людно, с гармошками гуляли на Покров в Романове, как возбужденно и радостно перебегали они с мальчишками от одного круга пляшущих к другому, как выслеживали парочки, незаметно подкрадывались, "пугали" — кричали, заходясь в детском восторге, что-то о женихе и невесте... Вот потеха была! Или, как (почему-то именно на Покров) рыскали по садам, искали в опавшей, пружинящей под ногами листве влажноскользкие, пропитанные холодной чистотой первых заморозков, нападавшие яблоки. Вкуснее не было на свете ничего этих яблок... "Куда все ушло? И куда пришло?!" — машинально думал Генка, вслушиваясь в мёртвую немоту деревни, шаря лучом фонарика по тёмному, избитому колеями створу улицы... и, раздражаясь, прикидывал, с чего начать разговор у Смирновых. Решил — "лучше пусть как само пойдет".

Железная дверь с улицы в заборе из гофрированного металлического листа легко, плавным нажатием вниз отлаженно-пружинистой ручки, без скрипа и лязга поддалась. На широкой терраске был включён свет. Чёрный камень дорожки, ведущей к дому, мерцал кристаллами первого снега. Чётко прочерченной графикой темнели на просвет аккуратно подпиленные яблони и сливы. На всём пространстве двора было уютно и красиво. "Порядок у кулачка! Фермер гребаный!" — неприязненно поглядывая по сторонам, вспомнил Генка деревенские сплетни, что на место умершего Бяки оформляет документы Виталик Смирнов.

В помещение Генка вошел по-деревенски, без стука. Просто потопал перед дверью для порядка ногами. В доме было тепло, даже жарко. Играло, жёлто размазывая блики на кирпичах сквозь щели в заслонке, пламя в каменном подтопке русской печи. Сладко пахло нарезанной капустой. Томка возилась с засолкой на кухне, хрустко перемешивала руками шинковку с морковью, с силой отжимала, посыпала крупной солью, снова отжимала, перекладывала, зажимая ладонями вороха длинно нарезанной капусты, в высокий эмалированный бачок. Она первая выглянула на шум в дверях.

— О, Гена, вот так гость!.. — запнулась было Томка от неожиданности, но поправилась на более приветливый тон. — Проходи, раздевайся!

— Шёл мимо, дай, думаю, загляну на огонёк, — остановился Генка в небольшом коридорчике-прихожей у вешалки с зеркалом, красиво забранным в резную рамку, стал расстегивать куртку, — сегодня же Покров!

— Понятно, понятно, — почему-то вдруг, словно почувствовав что-то неладное, засуетилась Томка, — ты, наверное, к Виталику… Они с Андрюшкой только что из бани… Отец, к тебе пришли! — крикнула мужу в комнату напротив.

— Ничего тебе не понятно, — запыхтел, нагнувшись, с усилием стаскивая сапоги с ног, Генка, — ты приезжая, не знаешь… Покров у нас в Романове — престол! Раньше праздновали, знаешь, как!

— Тапочки вон бери… — кивнула Томка на шлепанцы под зеркалом, — и проходи… я тут капустой занялась.

— Это правильно, капусту на Покров солят… Мы третьего дня тоже с Нинкой кадушку нарубили, — соврал Генка, вспоминая, что он только вчера после долгих понуканий жены срезал кочаны с грядок. Сунул ноги в тапки, двинулся было вперёд, но вернулся к куртке, вытащил бутылку из кармана, потряс в воздухе: — Чуть не забыл главное! С Покровом!

Запоздало, стараясь согнать с красного, распаренного лица растерянность, появился в дверях передней и сам хозяин.

— Здорово! — коротким движением от живота протянул Генке руку Виталик, другой механически, в недоумении, потёр ухо.

— Ты, это самое, земеля, что летом было… забудем, — по-своему расценил жест с ухом Генка, — ну, погорячился я тогда малость… Характер у меня такой, завожусь с пол-оборота… дурак дураком бываю! И всё из-за чего? Из-за скотины какой-то! Другую норовистую какую, ты прав, может, и хлыстом поучить как следует надо, чтоб не пёрла куда не следует, а если попёрла, отвечай и получай… Вот так — отвечай и получай! За всё в жизни отвечать надо, за всё! — витиевато заговорил Генка, подходя к столу, ставя с пристуком бутылку и здороваясь за руку с Андрюхой. Андрюха поздоровался молча, сдержанно, даже не привстал. Он почему-то сразу догадался, по чью душу заявился неожиданный гость. Подумал о Людке, насупился: "Дура, полная дура!"

Виталик принёс Генке из спальни стул, Томка подала тарелку, вилку и одинаковый, третий, гранёный стаканчик. В раздумье удалилась на кухню. Генка хотел что-то сказать ей вслед, но воздержался. На столе стояла стеклянная салатница с винегретом, сковорода с жареной домашней колбасой, солёные огурцы, хлеб, наполовину опорожненная бутылка с коричнево-подкрашенным зверобоем самогоном. Виталик, бегло взглянув на сына, незаметно вздохнул, взял свою бутылку.

— А давай, мою попробуем, — предложил Генка, — к празднику трёхлитровую банку нагнал!

Виталик отвинтил крышку с гостевой бутылки, понюхал:

— Запашистая… из картошки?

— Из чего же ещё! — живо подхватил Генка. — Зерно теперь только на рынке в городе. Дожили! Ни одного гектара не сеем, не пашем. Раньше можно было у Бяки хоть немножко зернеца купить, ну, теперь и Бяки нет.

— Похоронили, — скупо отозвался Виталик.

— Усадьбу, болтают, банк за долги забрал… во дела, — протянул Генка, подумал и добавил: — Ты, я слышал, фермерство оформляешь?

— Пытаюсь, — уклончиво сказал Виталик.

— Ну и как?

— Сложно всё, волокиты много… — ускользал от разговора о фермерстве Виталик. Генка посчитал разумным не приставать больше с вопросами, умолк.

Виталик разлил Генкин самогон по стаканчикам, чокнулись, хмуро выпили.

— Хорош, крепкий чёрт! — на правах хозяина вежливо оценил Виталик, морщась, отрезал на сковороде кусок колбасы. — А я в свою зверобой добавляю, и вкус приятный, и мягчит.

— Говорят, зверобой на это дело отрицательно влияет, — показал глазами на низ живота у себя Генка.

— Не знаю… зверобой и в чай добавляют, — заел колбасу для вкуса вилкой винегрета из салатницы Виталик, — я слышал, наоборот полезно.

— На что-то полезно, а вот на это дело точно вредно, — почему-то начал упорствовать Генка, — мне одна врачиха говорила.

Виталик только пожал плечами, тему затронули какую-то странную.

— Ну, нам-то с тобой, Виталич, теперь это по барабану, — гнул своё с упрямым нажимом Генка, — а вот молодёжи нет. У молодёжи всё должно быть пучком, девок-то вон сколько кругом… Правильно, Андрюш? — со смыслом посмотрел на Андрюху. Тот отвел глаза, усмехнувшись, промолчал.

— Что усмешничаешь-то? Вижу, всё понял! — наступательно и зло вдруг заговорил Генка, развернувшись всем корпусом к Андрюхе. — На четвёртом месяце Людка! Говорит, от тебя!

На кухне охнула Томка, и слышно было, как что-то с мягким, тупым звуком упало и покатилось по полу. "Кочан выпал из рук", — машинально отметил Виталик, ещё не до конца осознавая, что сказал Генка.

— Как это понимать? Какая Людка?! — опешил он.

— А так и понимать надо, сватушка ты мой дорогой, — быстро налил себе стаканчик и нервно опрокинул в рот Генка, — что сыночек твой, Андрюша, дочку мою, Людку, обрюхатил… с пузом ходит девка!

— Это что же такое? — оторопело посмотрел на сына Виталик.

Андрюха опустил глаза в пол. В дверях вся в слезах появилась Томка:

— Это правда, сынок?! Что молчишь?

— Не знаю… — угрюмо отозвался Андрюха.

— Интересно получается, набил девке брюхо и не знает! — аж подскочил на стуле Генка. — Вот она, современная молодежь — сунул, вынул, побежал! А ребёночка кто растить будет? К врачу она отказывается идти!

— Тут ещё надо посмотреть, кто отец! — вскинул голову Андрюха. Эх, помолчать бы ему! Но он уже не владел собой. — Там до меня всякие побывали, хвастали разное! — зашелся он. — Я чужие грехи прикрывать не буду!

— Постой, так не надо, не горячись! — залепетал Виталик. — Тут надо теперь всё аккуратно, детально разобрать…

— Ты хочешь сказать, наша Людка — подстилка, проститутка, что ли? — взъярился Генка. — За это, парень, знаешь, что бывает? — грозно стал приподниматься он из-за стола.

— Я этого не говорил! — сухо, овладевая собой, бросил Андрюха. — Только до меня у неё тут было с одним плотно…

— Ну, знаешь, чего у кого не бывает! — загремел над столом Генка. — Про тебя ведь тоже, небось, не скажешь, что нецелованный! А бабы, спроси у матери, всегда знают, от кого понесли… Природа у них такая! Чутьё особое! — Генка на секунду задумался, кинул взгляд в сторону Томки: — Это я не про тебя, Тамара, это я в качестве примера женщины… В общем, пока у Людки пузо колесом не выперло, бери девку и в сельсовет на роспись!

Генка сел и нервно задвигал, как шашки, перед собой вилку с рюмкой. Из-под аккуратно стриженных (Людка ухаживала за отцом), довольно еще густых, с редкими блёстками седины, волос выкатились струйки пота и потекли по вискам вниз.

— Ну и жарища у вас! — Генка утерся рукавом пиджака, взглянул на Андрюху. Андрюха выдержал взгляд, сурово набычился.

— Никуда я не пойду, — выдавил он, — пусть другие ходят, кто до меня ходил…

— Зря ты так, парень, — дымом заволокло зрачки Генки, — судьбу себе и другим ломаешь… Людка, она, конечно, заводная, но не подлая… А если ребенок без отца вырастет и вором станет, или над ним какой-нибудь хахаль Людкин потом издеваться будет… совесть не замучает? — Генка ненавидяще посмотрел на побледневшего вдруг Андрюху.

Томка, рыдая, пулей проскочила из кухни в спальню, где, слышно было, рухнула на матрасным звоном отдавшую кровать, заголосила. Виталик,

опустив голову, потрясённый, катал хлебные шарики на клеёнке. Генка встал и, полный оскорблённого достоинства, бойцовским петухом задрав голову, молча, не прощаясь, направился в коридор к вешалке.

Он вышел на улицу. Редкий снег перешёл в тихую, незлую метель, падал на землю мягкими, влажными струями. Нежнейшей, белой накидкой прикрывал осеннюю наготу, наполнял пространство теплом и светом. Отряхивая короткими подёргиваниями лапки от снега, на дорожку к калитке выбежала кошка, зачем-то с боязливой осторожностью уселась на ходу. Генка с размаху, в дурно накатившем бешенстве, врезал по ней ногой. Кошка, мяукнув, эластично-мягким комком отлетела в сторону и белкой взметнулась на высокую яблоню. Мстительные чувства переполняли Генку. В голове метелью роились идеи отомстить — одна страшнее другой.

(Продолжение следует)

ИВАН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

РУБЦЫ ОТ УЛЫБОК И ДРАК

* * *

Проводим последнего из ветеранов
Последней оправданной нами войны,
И память в подполье уйдёт партизаном
И будет тревожить ленивые сны.

А может уже, упреждая забвенье,
Отряд молчаливый уходит в леса,
Где помнит о нас корневое сплетенье,
Где просят за нас журавлей голоса.

Уходят последние из ветеранов
Войны, что оправдана жизнью самой,
И строй журавлиный летит над курганом,
И что-то не так с наступившей весной.

ДОМ НАД РЕКОЙ

Не в аду, не в раю,
а на самом краю,
где земля осыпается в воду —

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Иван Александрович родился в 1977 году в Москве, в многодетной семье. Окончил Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина по специальности "инженер-механик", с 1998-го по 2001 год — аспирантуру ГОСНИТИ, к. т. н. В настоящее время работает в компании по производству печатной и наружной рекламы. Живёт в Москве.

дом несчитанных лет,
почерневший от бед.
Он на откуп тебе отдан.

Этот дом у реки
сторожат старики,
и дрожат огоньки в печке.
Этот дом над рекой
бережёт стариков,
как исток бережёт речку.

От крыльца до конька —
три венца, три вершка.
И несёт облака ветер.
Ой, ты, речка-река,
не спеши убегать,
не кроши берега
эти.

ЦЫПЛЁНОК

Его разбудила кромешная тьма,
И тесною стала родная тюрьма,
И, то ль от отчаянья, то ль от стыда
Он ткнулся во тьму, и явилась звезда!
И с каждым ударом по чёрной стене
Звезда за звездой появлялась на ней,
Как будто на клюве цыплячий нарост
Служил специально рождению звёзд.
Он ими дышал и меж ними тонул,
Пока, наконец, не проклюнул луну.
И, перекатившись с крыла на крыло,
Он вытянул шею, и стало светло.
И солнце таким же промокшим птенцом
Смотрело на мир, сотворённый Отцом.

* * *

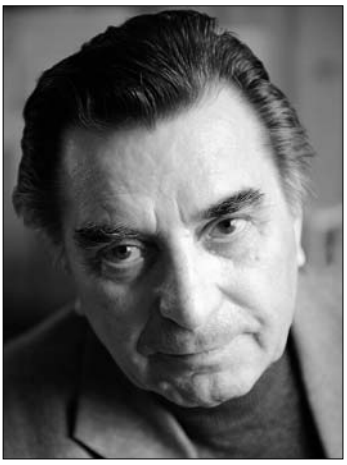
...Я вижу себя в стариках:
Вон тот — и сухой, и сутулый,
И так же лоснится рукав,
И волосы временем сдуло,

Рубцы от улыбок и драк,
Стучат кровеносные трубы;
А этот — такой же дурак,
И так же искусаны губы.

Вы словно большая семья,
Где каждый другому любезен.
Примите меня, если я
Могу быть хоть чем-то полезен.

Пускай я зелёный пока,
Вы в братство своё боевое
Примите хоть сыном полка
В конец бесконечного строя.

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



СЛУГА ЗАКОНА ВДОВИН

ПОВЕСТЬ

Виктор Вдовин — слесарь экстра-класса — пришёл в депо в свой отгульный день. Была среда, на путях, густо разветвившихся перед большим почернелым зданием, стояли и двигались электровозы. Ломкий весенний воздух оскольчато дробили гудки, переклики людей. Солнце сверкало в извивах накатанных рельсов, в стёклах машин, то и дело выезжающих из тёмного зева депо и готовых к дальней дороге. Какой-то машинист, проезжая мимо, узнал Вдовина.

— Ловишь, нет? — свесился он из окна.

— Скоро буду ловить! — скрипуче крикнул тот, задрав голову. — Только не рыбу.

Машинист ничего не понял, фыркнул и, уезжая, долго смотрел на Вдовина странным взглядом. От стоящего электровоза поздоровался рыжий патлатый ученик слесаря. Вдовин поскрипел возле него, подсказал, как лучше закрепить хомут на трубопроводе. В это время из-за соседней машины появился мастер механического цеха Антипов.

— А-а, Вите́ля! — увидел он своего слесаря. — Чего не отдыхается? Гудит-зовёт родной завод?

— У меня к тебе дело, Сергей Иваныч. Серьёзный разговор.

Мастер нахмурился. Он подумал, что Вдовин пришёл отпроситься ещё на один день: заработанных отгулов у слесаря было много.

— Сейчас приду. Жди возле моей "бендежки".

Вскоре он подошёл, пропустил Вдовина в стеклянную огородку, которую все называли "антиповой бендежкой".

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович родился в 1938 году. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Журналист, публицист, прозаик. Живёт и работает в Москве.

— Ну, какой такой разговор? — начал он расстёгивать телогрейку. — С Люськой что ль будете расходиться? Иль сходиться — я что-т всё перепутал.

— Увольняюсь я у тебя.

Мастер так и сел, где стоял.

— Ты што, Витéля? А куда пойдёшь?

— В рыбинспекторы.

На прозабоченном лице Антипова появилась облегчённая улыбка. В городе, кроме депо, было ещё два завода. Соберись Вдовин туда — привет классному слесарю. А тут, значит, новая блажь. Мастер дрогнувшей рукой вытащил сигаретку, протянул пачку Вдовину, но спохватился, что тот не курит, и с надеждой заговорил:

— Зря это, Витéля. Хорошую специальность хочешь на какое-то... на собачье занятие сменять. Нет, нет: оно тоже необходимо — такое дело. Но ты ж рабочий человек! Золотые, как это говорят, руки. Жисть, конечно, сейчас враскос идёт. Зато у нас здесь тепло, светло и мухи не кусают. Рыбки вон в аквариуме плавают. А в инспекторах в этих? Подстрелят тебя где-нибудь браконьеры, — мастер засмеялся, — и никто, как это говорят, не узнает, где могилка твоя.

Вдовин невнятно скрипнул. Антипов подался ухом к нему.

— А? Ты чево-то сказал?

— Силы зря не трать. Этот разговор, Сергей Иваныч, извини за выраженье, в пользу бедных.

Мастер поглядел на Вдовина и понял, что Витéлю "забрало".

У него это случалось. Если другого человека увлеченье слегка покачивало на своих волнах, не повёртывая течения жизни, то Вдовина будто водоворотом затягивало. Сначала на его пухлом, круглом лице замечали странную усмешку. Полные губы как-то сразу тоньшали, утягивались вбок, ноздри надувало и в синих Витéлиных глазах начинали посверкивать первые сполохи страсти. При этом он всё чаще лохматил и дёргал свой белобрысый чубчик, словно тот ему чем-то мешал.

Потом Витéля на некоторое время становился непроницаем, и это напоминало сдавленное затишье перед грозовым неистовством. Он набирал книг, разыскивал знатоков, сидел у них до ночи, пока жёны, зевая, не заговаривали о каких-то собаках, которые кого-то ищут, сбились с ног, а где найти — не знают. Наконец, наступал момент, когда Вдовин уже не мог удержать распиравшую его любовь. Он обрушивал её на каждого встречного-поперечного, особенно приставал к машинистам, и те, опасаясь обидеть слесаря-аса, с деревянными лицами слушали скрипучий захлёб, смотрели сверху вниз на мелкорослую фигурку, удивляясь, откуда у северного человека, и не мальчишки уже, столько страсти.

Но страсть проходила, оставляя памятки в окружении Вдовина, а то и на нём самом. Рыбки, которыми мастер заманивал слесаря, появились в цехе после очередного вдовинского увлечения. В самый разгар его влюблённости в гуппи и меченосцев в депо взялись за перестройку условий труда. Покрасили бледно-зелёной краской станки, Вдовин принёс аквариум. На этом реорганизация закончилась — деповское начальство переключилось на другие дела. Однако и Витéлина страсть вскоре стала гаснуть. Дома у него все десять аквариумов затянуло водорослями, рыбки передохли, и Вдовин задарма раздал дорогие стеклянные ящики, которые когда-то делал на заказ.

Но не всегда Витéля отделывался так просто. На мотоцикле "Ява" он дважды отправлялся в мир иной, и только усердие хирурга Шабельского возвращало его с полдороги. Скреплённый проволоками и бинтами, Вдовин выходил из больницы и опять садился на "Яву".

Теперь мотоцикл стоял в углу большой тёмной кухни бревенчатого дома без переднего колеса, с разобранным мотором, в корытце с соляркой мокли болты, а Витéля снова косил усмешливо губы.

— Ну, и чёрт с тобой! — сердито сказал мастер, заметив вдовинскую удалённость от шума станков и металлического вызвона, доносившихся

в огородку. — Пройдёт блажь — приходи. Возьму, так и быть, хотя кидаешь ты меня, как это говорят, в трудную минуту.

Витéля снисходительно улыбнулся, сунул Антипову твёрдую ладошку и пошёл в отдел кадров за расчётом.

* * *

Был апрель, средина месяца. Но если кто думает, что на юге Кольского полуострова это весна, похожая на среднерусскую, тот ошибается. В городе, правда, тает. По обочинам уклонистых тротуаров и дорог днём пожуркивает снежная вода, и расчищенный асфальт, где редко ездят машины, высыхает, сереет. Потемневшие сугробы у домов оседают, плотнеют, однако они ещё высоки и кажутся навечными. А в лесу сквозь снег лыжной палкой землю не достать, на озёрах — метровая броня льда, белые просторы моря пустынны, и, глядя на них, понимаешь, почему это море назвали Белым.

В такую пору у Витéли каждый год хлопотня. Он несёт в охапке из чулана коробки, которые забытыми лежали там с перволёдья, высыпает на стол путаный навал лесок, блёсен, мормышек и, с трудом сдерживая волнительный зуд, аккуратно раскладывает всё это по своим местам. Рыбалка — непреходящая вдовинская любовь. Три месяца назад она привела его в клуб железнодорожников на лекцию: “Охрана рыбных запасов — всенародное дело”.

Бровастый чёрный мужчина начал разговор круто:

— Кто знает, товарищи, когда зародилась рыбоохрана?

Из-за спины Вдовина худой токарь Пушкарёв крикнул:

— С новой еры!

Редко рассыпанные по рядам люди оживились. С рыбоохраной у большинства из них отношения были прохладные.

— Немножко товарищ не угадал, — сходу откликнулся бровастый. Похоже, у него эта приманка срабатывала безотказно.

— Не с новой эры, а до неё.

— Выключить Пушкаря из рыбаков!

— Зачем же? К несчастью, многие не знают истории этого вопроса. А дело обстоит таким образом. Ещё в “Книге мёртвых” — это Древний Египет — выходит, первобытный строй, говорится: “Я не истреблял животных на их пастбищах, я не ловил сонной рыбы...” Перечисленные действия уже тогда считались вредными и грешными.

Можно привести ещё примеры древнейшей рыбоохраны, разумность которых сохранилась до наших дней. У западных готов в пятом веке нашей эры существовал закон, по которому забойки для лова рыбы в реках можно было делать только в полреки. По шотландскому закону XIII века заграждения в реках для лова рыбы разрешалось делать с просветом такой ширины, чтобы в нём — я вам цитирую дословно: “могла повернуться трёхлетняя свинья”.

В рядах удивлённо хэкнули. Лектор чувствовал себя рыбой в воде.

— А вот вам, товарищи, один из законов Петра Первого. Им запрещалось ловить на перетяжку без наживы — это нынешняя браконьерская самоловная снасть. Проходящая рыба цепляется, как придётся, много уходит просто раненой и потом погибает.

От древних времён лектор быстро перешёл к дням нынешним и заговорил о сёмге. Из рядов отли́вными а́биками* выступили настороженные лбы. Сёмга стала пугающей и далёкой, хотя многие ещё не успели забыть ту пору, когда эту рыбину можно было и добыть без хлопот, и купить без опаски. Витéля тоже полавливал её. Но пошли слухи, что приняли какой-то строгий закон: одного поймали, отобрали снасть, оштрафовали, другого посадили — и Вдовин бросил игру с властями. Однако всё время думал, что власти в этом деле гнут не туда. Царская она, конечно, еда, но разве море ею обедняет? Как истинный помор, Вдовин твёрдо верил, что знает о рыбах всё. И вдруг выяснялось, что с сёмгой дела могут быть худые. Плодовитость

* Абик — обнажающийся во время отлива большой подводный камень.

её, говорил бровастый, по сравнению с другими рыбами, очень невелика. Если треска откладывает до 9 миллионов икринок, палтус — три с половиной миллиона, щука и та — триста тысяч, то сёмга — самое большее — 30 тысяч икринок. Чаще же — в два-три раза меньше. Для нереста эта рыба заходит из моря в реки. Нерестится, в основном, лишь раз в жизни. После чего вскоре погибает. Из каждой сотни отнерестившихся сёмг скатываются в море всего несколько штук. Через год на повторный нерест возвращается самое большее три-пять рыб. К третьему нересту доживает ещё меньше. К тому же до взрослой рыбы у сёмги множество врагов. Поэтому вырастают из икринки единицы, и ловят её не тоннами, а штуками.

Час, наверное, лектор рассказывал о жизни. И чем дальше, тем беспокойней чувствовал себя Вдовин. Ему вдруг начали явственно видеться входящие в устья рек большие серебристые рыбы. Толкаемые какой-то неведомой силой внутри себя, они мощно пронизывают тугой встречный поток. Блёстками рассыпается в стороны речная мелочь, и, кажется, ничто не способно остановить выросших в море великанов на последнем в их жизни пути.

Но эти картины тут же сменились другими. Сёмгу что-то подхватило, вырвало из воды. Она яростно бьётся. Удар колотушкой. Оглушённая рыба падает на дно лодки, и в набухшем сёмужьем животе замирает жизнь тысяч её повторений.

Ещё до того, как лектор кончил, Витéля понял, что сёмге нужна защита.

* * *

В инспекцию Вдовин поступил, как днём в автобус вошёл: ни толкотни, ни мятого бока. Старшему инспектору Гаврилину он чинил когда-то телевизор. Сам Витéля не помнил этого, но Гаврилин уваженья не забыл.

— Значит, решил с браконьёрством бороться? — спросил он, пересекая нервным почерком вдовинское заявление. Старший инспектор был узколиц, сильно смугл и, похоже, ещё молодой. Однако чёрные, кудрявые волосы уже изрядно просекла седина. Врагов своих он не по-здешнему называл "браконьёрами", и каждый раз это слово пронзало его болью, от которой на миг синели губы и округлялись глаза.

— Ради природы, извиняюсь за выраженье, — поспешно вскочил и вытянул руки по швам Вдовин. Он малость струхнул от гаврилинских преображений.

— Это правильно. Мы не можем ждать милости от природы после всего, что с ней сотворили. Да ты садись, садись!

Старший инспектор уже пришёл в себя, и только подрагивающие ноздри тонкого носа напоминали о недавней буре.

— Наша работа, — Гаврилин скосил глаз на заявление, — Виктор Николаич, тяжелей, чем в милиции. Тех когда-никогда добрым словом помянут. Праздник у них есть, награды дают. Говорят: мильцанер такой, мильцанер сякой, а чуть чего: дяденька мильцанер, караул! Убивают! Нас же с тобой пока никто на помощь не зовёт. Кроме вот природы, да государственных интересов. Но природа, сам знаешь, молчит, как рыба об лёд. А интерес этот каждый на свой аршин примеряет. Видишь, чего творится в государстве? Законы вроде есть, и вроде их нет. Поэтому следить нам надо зорко и неподкупно.

Вдовин с готовностью кивнул. Выходя в тот раз с лекции, он вспомнил вдруг, как утром в депо, на верстаке, увидел брошенную кем-то московскую газету "Известия". Газета была мятая, в масляных пятнах, но Витéля не на это обратил внимание. Название одной статьи, ясно читаемое среди жирных разводов, задержало вдовинский взгляд. "К диктатуре закона!" было написано крупными буквами. После всего услышанного на лекции Вдовин воспринял эти слова как приказ. Хотя спроси его, что такое диктатура, он толком, наверное, и не объяснил бы. Со школьных годов сидело в памяти "диктатура пролетариата". Потом много лет говорили и писали про диктатора Пиночета. Диктатура, представлял Вдовин, это какая-то большая власть,

суровая к одним, но полезная другим. Когда он после лекции вспомнил слова в замасленной газете, у него всё сложилось. Сёмгу надо защищать. А её врагов — браконьеров — давить.

На следующий день после лекции он набрал в железнодорожной библиотеке книг про рыб и о природе. Ася Львовна — бугристая, как оплывший огарок, библиотекарша подложила к этой стопе и художественную повесть. Про сёмгу, где она родилась, ну, и жила дальше. Ночами Вдовину стали сниться зеленоватые глубины, время от времени там медленно проходили одинокие рыбы, похожие на акул. Витéля задом отплывал от них, пока не касался пятками мягкой и почему-то тёплой подводной скалы. Но тут появлялось лицо Петра Первого, каким его Витéля видел в "Истории СССР". Левитановским голосом царь гремел: "В конце XVIII века в реке Куре ловили каждый год по десять тысяч белуг, а уже в XIX веке белуги почти не осталось. Браконьеры!.." Круглые глаза Петра были выпучены, как у морского окуня, поднятого из глубин. Жёсткие кошачьи усы сердито двигались. Витéля тревожно ворочался, и вдруг близко раздавался Люськин голос: "Спи, как следует. Ногами всю захолодил. Не знай чего дёргается..."

— Пошлём документы на тебя в область, — продолжал Гаврилин. — Хотя дело не к спеху. А ты устрой пока ревизию нашему хозяйству. Говорят, в моторах разбираешься. Мастера у нас аховые. Я лишь мечтаю о том времени, когда охрану природы будут оснащать и ценить, — Гаврилин задумался, подыскивая сравнение, — как, например, пограничников.

Витéля деликатно улыбнулся.

— Не веришь?

Гаврилина скосоротило.

— Будет такое! Вот тогда запоют у нас браконьёры Лазаря!

* * *

До конца апреля Вдовин перебрал несколько лодочных моторов. Заодно подремонтировал казённый мотоцикл (свой по-прежнему стоял в углу кухни). А когда отшумел самый дорогой вдовинский праздник — День Победы, Витéлю отправили в областную инспекцию.

Вернулся оттуда новый инспектор с удостоверением личности, с наганом и твёрдым приказом ни в коем случае не стрелять, если, конечно, кто-нибудь из рыбьих воров первым не сделает дырку во вдовинской фуражке с "крабом", которую он за пол-литра купил в Мурманске у обалдевшего от праздников "бича". А тут вскоре и лёд на реках взломало. По сине-сверкающей глади моря тронулись льдины. Рыбинспекция перевела ручку своей жизни на "товсь".

Под навесом, где Вдовин ремонтировал моторы, Гаврилин собрал своё воинство. Навес стоял близко к обрыву берега. Где-то внизу туго били под скалу невидимые волны. Косыми молниями оттуда взлетали чайки, мгновенье держались чуть выше навеса и с резким криком — словно железом блúскали по стеклу, падали за скалу. Воинство курило, жадно глядело на колыхающийся ковёр моря. Пять месяцев предстояло этим людям болтаться вдоль побережья, спать и есть где придётся, от случая к случаю наведывать дом. К концу сезона многие божились, что рассчитаются. Однако, встав на семейный прикол, трудно отходили от летней вольницы. Тяготились пресностью стреноженной жизни, опухали с пересыпу и снова ждали весны, за которой вставали беспокойные дни, нащупывающие разговоры в чужих домах, булыжный звук стаканов в глухоте белых ночей.

С утра, в честь начала сезона, кое-кто выпил. Где брали водку, никто ни у кого не спрашивал. Недавно ввели талоны на продукты: в месяц — две бутылки водки на человека. Но инспектор для рыбаков был поважней большого партийного начальника. Умаслить его — всё равно, что прикормить рыбу у своей лунки.

Под навесом то и дело вспыхивал хохот. Мужчины задирали друг друга, как борзые, рвущиеся с поводков.

Подошёл Гаврилин, пряча в конверт бумажку. Его тоже поддели. Он прыснул, весело отмахнулся, но тут же построжал и начал напутственную речь. Над "браконьёрами" заклокотали громы и молнии. Старший инспектор призывал обрушить всю силу закона на этих недоносков общества, выявлять денно и нощно, карать штрафом и судом. Затем он повернул к рыболовецким колхозам, и Вдовин с удивлением услышал, что здесь тоже надо держать ухо востро.

— Запасы сёмги, как вы знаете, товарищи, ограниченные. Хотя она нерестится в наших реках, хотя мы и строим рыборазводные заводы, растёт семга в открытом море. Вдали от наших берегов. И вот некоторые страны сейчас стали ловить её там, не дожидаясь, пока она уйдёт на нерест.

Под навесом зароптали.

— Куда наши-то смотрят! — крикнул полный мужчина лет сорока в очках на одутловатом лице. — Подводную лодку под них — сразу отловятся.

Гаврилин нахмурился.

— Ну, это, Федотов, не нашего ума дело. Нам свою задачу надо выполнять как следует. Тем не менее, — повысил он голос, — у нас есть некоторые товарищи, которые с браконьёром живут в корешах.

Гаврилин потряс конвертом.

— На участке Карнаухова... Ты где, Карнаухов?

— Тут я, — откликнулся тощеватый мужичок.

— Ага! Знаешь ты такого Мошникова?

— Сморя какого! — весело крикнул Карнаухов. — У нас их десять штук в кажном селении.

— А вот такого, — вскипел Гаврилин, — который безнаказанно блудит у тебя на участке!

— Такого не знаю.

— Вот вам, товарищи, и рыбинспектор! Люди знают, мне об этом пишут (Гаврилин потыкал пальцем в конверт), а страж порядка не знает

Карнаухов негромко — для соседей — огрызнулся: "Гласность — в рот ей два весла. С мово ж села человек. Заедят потом". Гаврилин не мог услышать этого — стоял далеко. Но, видимо, догадался.

— Вы чего там шепчете? — тихо произнёс он, и губы его вдруг перекосило. — Может, устали у нас работать?

Под навесом сразу насторожились. Такой поворот сулил крупные неприятности. За недолгое время работы в инспекции Гаврилин уволил несколько человек, а потерять хлебное место, когда в магазинах шаром покати — такому только дурак обрадуется.

— Дак мы... куда он, Альберт Петрович, денется. Помаем мы ево, — засуетился Карнаухов.

— Поймаем. Только без вас. На этот участок направим товарища Вдовина. А вы поблизости от нас поработаете. Глянем, чего к чему.

Гаврилин остро посмотрел на Вдовина.

— Согласен, Виктор Николаич?

Витéля решительно кивнул. Он был как патрон, втиснутый со стальным клацаньем в ствол и готовый выстрелить туда, куда ствол направят. Люська ждала-ждала, что Витéля одумается, пугала уходом, но Вдовина не прошибло. Забрав дочку, она ушла к своим. Витéлина мать — худая, высокая и молчаливая женщина — несла свой крест без жалоб. Однако тут и она не выдержала. Встала в дверях, растопырила руки. Все люди, как люди, дорожат семьёй и работой, а этот, куда ни ступит, то вляпается. Отец ранетый был, за такого причудника воевал, а ему хочь плюй в глаза — всё божья роса. Жена который раз уходит — как тута не уйдёшь? Ловил рыбу, теперь ему давай людей ловить.

Витéля окрысился на мать, взволнованно закричал: "Не понимаешь ни бум-бум и не лезь! Об государстве надо думать! Доим его, кто ловчей ухватится, а у государства, может, беда".

Поэтому карнауховское отношение к делу Витéле сильно не понравилось.

— Держут тут всяких, — сквозь зубы прошипел он, — потом, извиняясь за выраженье, вещи пропадают.

Стоящий рядом Федотов медленно оглядел Витéлю с головы до ног и хотел что-то сказать, но тут старший инспектор ошарашил его:

— Вы, Федотов, пока вдвоём поработаете со Вдовиным. Участок отдалённый. Там, я чувствую, инспекторским духом не пахнет. Зато браконьёры, душа с них вон! — рявкнул Гаврилин, — живут, как у Христа за пазухой!

* * *

Новый дом колхозной конторы стоял над самой рекой в отдалении от всех изб села. Стрельников умышленно велел построить его здесь. Не много было машин в колхозе, но каждая за чем-нибудь да подъезжала к конторе. Из-за этого единственная улица, когда правление занимало дом в самом селе, была всю весну, лето и осень разъезжена до непроходимости. А сюда, по-над рекой катайтесь, сколько влезет. Опять же, колхоз рыболовецкий, главный транспорт — до́ры, карбаса́ и лодки. Пристают прямо под окна конторы. Стрельников видит, кто по дому соскучился, а кто делает план на тонях.

План не даёт покоя председателю. Два года колхоз обгонял всех на побережье. Стрельникова начали хвалить в районе и даже в Мурманске. Тыкали им других председателей. Молодой руководитель, недавно принял колхоз, и смотрите, как сумел организовать людей. Не в одних людях было дело — Стрельников знал это лучше других. Но похвалы приятно щекотали. За зимы насиделся в президиумах, узнал много разного народу, в том числе — "нужного". Однако, когда дали план на новый год, опешил. Как появились прошлые успехи, не очень опытом поделишься. А тут надо дать сёмги ещё больше.

Возле конторы послышался топот. Стрельников потянулся к окну, которое выходило в сторону села. Окно, что справа за спиной, глядело на реку. Оттуда разве водяной мог прискакать. Не успел председатель приспуститься на стул, как в коридоре забухали шаги.

— Валерий Иваныч, беда!

— Ну? — иронически уставился Стрельников единственным глазом (второй в мальчишках выжгло порохом) на коротконогого бригадира Мезина. — Бабы на тоню приехали?

— Вот-те и ну! — обиженно передразнил Мезин, отдирая с пиджака шмотки грязи. — Приехали, да не бабы. Вдовин с Федотовым.

— Эх, мать твою! — изменился в лице председатель. — Когда?

— Мы аккурат сети проверяли. Я ихний мотор услыхал. Гребенькову Васюне кричу: "Сбрось сёмгов половину в анбар!" Как будто вчера поймали. Но этот хитрый, стерва... новичок. Вдовин-то! Федотов — очками луп-луп и вроде не заметил. А Вдовин на сети глянул — и в анбар.

Стрельникова выбросило из-за стола. В два шага он подошёл к окну, которое выходило на реку. Вниз по течению река просматривалась примерно на километр. Никого на ней не было.

— Что делать? — перемялся в заляпанных грязью сапогах Мезин.

— Снять штаны да бегать! — рассердился председатель. — Что делать... Ушами меньше хлопать! Мне как будто одному план нужен...

Он запустил пятерню в жёсткие рыжие волосы, поскрёб голову. Подошёл к бригадиру, глянул на него одним глазом сверху вниз. Стрельников был высок, узкоплеч, выглядел необматеревшим ещё переростком, хотя перевалило мужику за тридцать. Продолговатое лицо его пылало, и светлые брови дёргались, как рыбки на раскалённой плите.

— Они видели, как ты уехал?

— Похожа нет.

— Похожа... свинья на ёжа. Дуй сей момент к себе. Только подальше от реки держись. Они, небось, ко мне уже едут.

Через некоторое время снизу послышался комариный зуд. Стрельников подошёл к окну, толкнул створки. Солнце поднялось уже высоко. Но средина реки ещё кое-где парила. Туман держался и у противоположного берега, который был в лесной тени. При открытом окне комариный зуд сразу стал

далёким гулом. Стрельников сплюнул. Моторы он различал на слух — до того, как на волне демократизации его выбрали председателем, работал механиком. Снизу на полной скорости шла инспекторская лодка.

Когда она причалила, Стрельников вернулся к столу, стал читать записки бригадиров о последних уловах.

— Можно, Валерий Иваныч?

Председатель подвигал очередной листок, вроде не слыша. Потом поднял зелёный глаз к дверям.

— А-а, — удивился он. — Два друга — мосла! Третьего собака унесла…

К нему вернулась его насмешливость и уверенность в себе.

— Чего это ни свет, ни заря к нам?

— Кто рано встаёт, тому — сапоги, — показал Вдовин глазами на грязь от мезинских сапог. — Остальным — лапти.

— Не убирают вовремя, — сокрушённо закивал председатель. — Каждый человек на счету. Путина. Вот и некому палубу драить.

— Драй Мезина, — посоветовал Вдовин, падая на стул перед столом председателя. — Чтоб сапоги чистил у порога. И коня не гонял.

— Гляди-к: следопыт…

Стрельников слегка смутился. "Где он им попал, чёрт? Ведь сказал: к реке не соваться". Угаданный приезд бригадира менял обстановку. Валерий Иванович сначала хотел отбрехаться: не знаю, как они там поставили ловушки — давно не был в бригаде. Конечно, сей момент прикажу открыть полреки. А Мезина? Мезина накажем.

Теперь игра не получалась. Поняли это и рыбинспекторы.

— Что ж эт ты делаешь, Валерий Иваныч? — серьёзно спросил Вдовин. — Мы браконьеров-одиночек ловим, а председатель колхоза опять почти всю реку перекрыл.

Валерий Иванович побагровел. Зелёный глаз гневно сверкнул. Но председатель сдержал себя.

— Душат планом, Виктор Николаич, — как можно проникновенней пожаловался он. — Не выполнишь — отругают. А выполнять… вон видишь, как его выполнять приходится.

Ему было неприятно оправдываться перед этим плотненьким, строго слушающим человечком. Но другого выхода он не видел. В первый же свой приезд Вдовин оштрафовал председателя. Стрельников махал длинными руками перед фуражкой с крабом, подбегал к Федотову — его он однажды видел с прежним инспектором Карнауховым, однако Вдовин только холодил синие глаза и скрипуче повторял: "Закон, дорогой товарищ! Закон".

После этого Валерий Иванович решил наладить человеческие отношения с новым инспектором. Сёмга вдруг перестала идти, сети, поставленные по правилам, мокли пустыми. Стрельников слетал в Мурманск — большие сёла были связаны с областным центром самолётами, достал через "нужных" людей пол-ящика дорогого коньяку. Спустившихся с верховьев реки Витéлю и Федотова встретил заставленный стол в председательском кабинете. К середине белой ночи запели — у председателя оказался хороший голос. К утру совсем сладились, и Стрельников закричал в очки Федотову: "Н-н-на паровоз можно пускать! П-п-по вагонам! П-п-подадут". Но Витéля вдруг встал, напялил "краба" и помахал пальцем перед раздутыми ноздрями: "Закон, дорогой товарищ! Закон".

С того времени Валерий Иванович, как вспоминал о новом инспекторе, так сразу терял настроение.

— Я-то вас понимаю, ребята, — поглядел он на Федотова. С тем, чувствовал председатель, можно было договориться. — Поймите и вы меня.

Федотов закурил, бросил спичку в окно. Мясистое обветренное лицо с широким носом и словно выгоревшими глазками под очками не выражало ни злости, ни твёрдости, а было усталым и сочувствующим.

— Приятно у тебя здесь, — показал Федотов за окно.

— А он эту приятность хочет мёртвой сделать, — расстегнул Витéля сивый, ещё Люськиного детства, портфельчик. Там у него лежали бланки протоколов.

Стрельников мельком глянул на Вдовина, понял, в чём дело, и энергичней потянул в разговор Федотова.

— Приятно туристу, Евгений Кузьмич, — с некоторой обидой сказал он. — Нашему брату хозяйственнику некогда природой любоваться. Личной жизни нет. Не знаешь, от кого дети.

Вдовин коротко засмеялся.

— Придётся, Валерий Иваныч, ещё раз тебя оштрафовать. Теперь на всю катушку. Чтоб знал.

Председатель вскочил со стула, оттолкнул его и снова брякнулся на стул.

— Молодец!

— А ты браконьер! Предупреждал я тебя? Через твои ловушки ни одна сёмга на нерест не попадёт.

— Он их снимет, — сказал Федотов.

Вдовин ошпарил синим светом тучного коллегу.

— Не сниму! — крикнул Стрельников, перевесившись через стол к Вдовину. — Отвезу несколько сёмгов, куда надо, и заплачу тебе штраф.

— А-а, вон ты как!

Витéля бросил портфель на стол и вскочил навстречу председателю.

— Одноглазо смотришь, дорогой товарищ, на государственный интерес. Очень даже одноглазо.

Стрельников обомлел. Его никто ещё так не оскорблял.

— Теперь понятно, с кого берут пример эти... Мезины там всякие... или Мошников Сергей. Поймали вчера, а он лыбится, как ясный месяц. Помнишь, Федотов?

Федотов встревоженно шагнул от окна. Рыжая голова председателя угрожающе нависла над вдовинским "крабом". Стрельников дёргал губами, но от гнева не мог ничего произнести.

— Не-ет. Ты у меня штрафом не отделаешься. В суд! — топнул Вдовин. — Ещё древние... эти...

Витéля от волнения забыл, кого называл бровастый лектор. Не то боты, не то жмоты — что-то вроде этого, а кто именно, он никак не мог вспомнить.

— Короче говоря, до нас они жили... Германцы! Они и то устраивали на реках запруды с большими просветами. Чтоб могла трёхлетняя свинья перевернуться. Такая здоровая, как ты!

Стрельников, выпучив зелёный глаз, зашарил рукой по столу.

— Ээй! — поспешно встрял Федотов. — Он, конечно, виноват, но зачем ты так, Витéля!

Председатель быстро обернулся к Федотову.

— А ну брось курить у меня в кабинете! Из-за всяких тут... германцев... рак наживать. Значит, в суд? — снова навис он над Вдовиным.

— И никаких гвоздей! — твёрдо сказал Витéля. — Закон, дорогой товарищ. Закон!

Председатель опал на своё место, сплёл длинные руки на груди.

— Смотри-и, дорогой товарищ, — насмешливо передразнил он Вдовина. — Без году неделю работаешь, а скок людей назлил. Рассказывают уже кой-где.

Федотов выбросил окурок в окно.

— Давай ограничимся, Виктор Николаич, штрафом. В последний раз. А половину ловушек сними, — строго сказал он председателю. Тот сообразил, сразу же кивнул.

— Обязательно. Сей момент.

Вдовин неприязненно посмотрел на обоих.

— Ничего не могу обещать.

Федотов снова, как тогда под навесом, медленно оглядел Витéлю с фуражки до резиновых сапог и кивнул председателю.

Возле лодки он, наконец, проговорил:

— Власть что ль зудит в тебе? Аль по натуре вспыхливый?

Витéля отходил быстро. Потянулся с хрустом на тёплое солнце. Сказал миролюбиво:

— Не для себя стараюсь.

— А он для себя? В такую рамку его засунули. Какой ногой ни дрыгнет — обязательно за рамку вылезет.

— Дак ведь закон, Федотов! — удивился Вдовин.

— Закон, Витéля, это когда люди не мешают друг другу жить.

— Не бывает такого, чтоб всех устраивал закон, — сказал Вдовин. — Кто-то будет недоволен. Но он должен подчиняться, если с законом согласно большинство.

— А кто его — закон — устанавливал? Мы с тобой? Нет, власть. А власть эту мы с тобой назначали? Тоже не мы. Надо отбросить эти законы… советские… и жизнь будет хорошая.

Вдовин открыл рот, чтобы одёрнуть напарника — ему было неприятно слушать такие слова. Тем более, говорил об этом Федотов в последнее время всё чаще. Вдовин даже заметил, когда это началось. После их поездки в город на голосование. В тот раз Гаврилин велел всем приехать, чтобы участвовать в выборах президента России. Витéля не понимал, зачем нужен президент в России, если у Советского Союза он есть. Так у каждой республики появится свой, и что тогда делать с этой кучей президентов? А ещё он не мог определиться, кому отдать предпочтение. Немножко нравился неизвестно откуда взявшийся рослый, красивый мужик по фамилии Ельцин, который обещал навести порядок, сделать всех богатыми, отдать простым людям всё, что имеет власть, однако бросать разворошенный свой участок ради выборов Витéля не хотел. "Обойдутся без меня", — подумал он и даже сказал об этом Федотову, вызвав у того кривую усмешку. Но Гаврилин приказал быть обязательно, и Вдовин нехотя подчинился. Заодно решил навестить мать.

Он пробыл в городе полсубботы и воскресенье. В понедельник утром уже плыл на пассажирском катере к поморскому селу, откуда начинался его участок. А Федотов зачем-то отпросился у Гаврилина на три дня, где был — рассказывать Витéле не стал, как тот его ни спрашивал, только после этого заметил Вдовин, что напарник стал говорить о власти — и не о городской даже, а о обо всей власти — ядовито, ругать зло партократов, от которых, по его словам, жить людям становилось всё хуже.

Витéля отчасти с ним был согласен. Приехав в тот раз в город после недолгого отсутствия, увидел, как перед магазинами очереди стали длинней, сбиваться начинали ещё до открытия, а торговцы, не стесняясь, запускают в задние двери, кого им надо. В этом, как полагал Вдовин, конечно, была виновата власть. Но не вся, а та, что отвечает за работу магазинов. Вот этих людей надо было как следует наказать. Снять с работы, может даже посадить в тюрьму. А так, чтобы всех поголовно — на это он согласиться не мог. Поэтому каждый раз строго обрывал Федотова, не давая тому слишком разойтись в брани.

Хотел он приструнить напарника и теперь, но едва раскрыл рот, как сверху, от конторы, кто-то пронзительно свистнул. Рыбинспекторы вскинули головы.

— Эй, два друга — мосла! — насмешливо закричал из окна Стрельников. — С почты звонют. Деньги вам какие-то пришли.

Он навалился тощей грудью на подоконник.

— Приходите! Кой-чего найдём.

— Некогда! — крикнул Витéля, обрадованный, однако, что зарплату прислали. Деньги у обоих кончались.

— Эх, Витéля, Витéля, — подтыкнул очки Федотов. — Некогда тебе… Да запались она огнём-плóмем — наша работа — за такие деньги! Надо не об ком-то думать — об себе. Самый лучший друг человеку — он себе сам. В Америке чёрный работяга… негр, вроде наших бичей… получает 5 долларов в час. Ты их хоть видел — доллары?

— Не-а. А ты?

— Меньше ему не имеют права платить, — продолжал Федотов, не отвечая на вопрос. — Такой у них закон.

— Откуда знаешь? После выборов в Америку съездил?

— Знаю. Хорошие люди дали почитать.

— Ааа… Написать можно, чего хочешь. У нас тоже пишут — всё хорошо.

— Дак это кто пишет? Партократы! Ихние брехуны! А почитай демократов…

— Такие ж, видать, брехуны.

— И-их ты! Мы не только читали. Нам рассказывал про ту жизнь один человек. Недавно оттуда приехал.

— Какой человек? — насторожился Вите́ля.

— Как мы с тобой, — ушёл от ответа Федотов. Он хотел рассказать про доллар, про знакомство с инженером Самойловым, но, заметив, как напрягся Вдовин, решил промолчать. Хотя носить в себе острые впечатления тех дней ему было всё труднее.

* * *

Ещё неделю рыбинспекторы прочёсывали реки и озёра Вите́линого участка. Иной раз в день покрывали с десяток километров, пересаживаясь с моторки в надувную лодку, шли пешком, чтобы попасть к какому-нибудь глухому озеру в лесах. Леноватому и флегматичному Федотову такой темп сильно надоел. Задержав браконьера, он с удовольствием ругался с ним, пугал его, потом толковал о непутёвой жизни бедолаги, снова кричал, вдруг натыкался в разговоре на общего знакомого и после этого готов был тут же устроить костерок, выпить, посидеть — лишь бы никуда не ехать в ближайшее время. Но Вдовин быстро составлял протокол, бросал потёртый портфельчик в лодку. "Гляди, извиняюсь за выраженье, допрыгаешься, — скрипел он браконьеру. — Сейчас вот так, а будет вот так". И показывал решётку из пальцев.

Чем дальше, тем сильнее этот Вите́лин азарт раздражал напарника. Будь Федотов старшим, он подавил бы на Вите́лю. Или придрался: не так сделал. Но Вдовин как будто полжизни отработал в инспекции. Хитро скрадывался, чтоб захватить врасплох браконьера, припирал пойманного намертво, откуда-то знал повадки рыбьих воров и, главное, был неутомим.

Они оказались очень разными людьми. Какими бы крутыми и захватывающими ни были увлечения Вдовина, он после них с виноватинкой и новым азартом возвращался, как от закружившей его подружки к законной жене, к своему постоянному делу — слесарному.

А Федотов никакого дела толком не одолел. Был он постарше Вите́ли, однако, в отличие от Вдовина, мест переменил много. На механическом заводе работал в стройцехе. А там какое освоишь дело: то пошлют фундамент под станок бетоном залить, то заложить кирпичом дырку в стене.

На овощной базе числился плотником, но всего-навсего ремонтировал ящики. Одно время кочегарил в котельной, ушёл: мало платят. После был сторожем в школе. Перед инспекцией года полтора работал в пожарной охране. Хотя повсюду висели объявления: "Требуются…" Федотов нигде долго не задерживался. На вопрос Вдовина: "Почему?" с усмешкой ответил: "Работы надо иметь поменьше, а денег побольше".

Вите́ле такое объяснение не понравилось. Подумал, что и в инспекции, где Федотов работал второй сезон, он долго не задержится. Тем более что, судя по его поведению, напарник работой не очень дорожил. Отобранную у браконьеров сёмгу мог и Вдовин "конфисковать" для общей с Федотовым нужды. Но на другое: на снасти, вещи — у него был личный запрет. Отбирать, считал, можно только по суду. Однако Федотов тянул руки и к вещам. Однажды отнял у деревенского мужика куртку-дождевик. Лишь после вмешательства Вите́ли вернул вещь чуть не плачущему браконьеру. А после поездки на выборы забрал у браконьера неработающий приёмник.

— Зачем он тебе?

— Сгодится. В хозяйстве и таракан — скотина.

— Ну да. Если ничего другого нет.

Уставший от вдовинской гонки Федотов несколько раз звонил в инспекцию с надеждой, что отзовут: времени прошло немало. Гаврилина всё не было на месте.

Однажды в полдень пристали к селенью домов из двадцати. Тут была отдалённая бригада соседнего со стрельниковским колхоза. Вдовин решил познакомиться с бригадиром и зайти в магазин — подкупить хоть каких-то продуктов: в некоторых деревнях, благодаря работе потребкооперации, с товарами было получше, чем в городе.

К удивлению инспекторов, бригадиром оказалась дородная, на вид моложе их, женщина с красивым, скорбным лицом. Пока Вдовин разговаривал с ней, Федотов настойчиво крутил диск телефона. Наконец, инспекция ответила. У телефона был Гаврилин.

— Вы куда провалились? — закричал он, узнав Федотова. — Ищу вас по всему побережью. Только протоколы получаю.

Федотов, довольный, положил трубку.

— Всё, Витéля! Отзывают меня. Немедленно.

Не теряя времени, на полном газу, да ещё по течению быстро пронеслись вниз до стрельниковского села. Здесь они квартировали у одинокой старухи. До осени могли теперь не встретиться, а как-никак много дней прожили в одной лодке, в одних избах. На скорую руку сделали закуску. Федотову не терпелось быстрей уехать, но раньше следующего дня вроде как не получалось: надо было забросить Витéлю вверх по реке, до порогов. Оттуда Вдовин пешком должен идти до границы своего участка. Поэтому Федотов расслабился и, подняв стакан, тепло сказал:

— Давай на прощанье.

— Ты как на войну собрался.

— Всяко может быть.

— Ну, если только браконьеры меня утопят, но я таких кандидатов пока не вижу.

— Против народа идёшь, Витéля. Вроде не слепой, а не понимаешь, что кругом происходит. Партократы всё подмяли под себя. И ты с ними в одной лодке.

— Вон как! А я думал, всё это время был в одной лодке с тобой.

— Об народе надо думать, Витéля. Об народе.

Федотов сказал это и сам удивился, как легко у него вышло повторить слова Самойлова. Три дня, которые он провёл с людьми из "Народного фронта", зажгли в нём то, что давно готово было вспыхнуть, словно высохший до звона хворост.

— Этой власти не служить надо, а сковырнуть её. Другие люди должны взять власть.

— Уж не ты ли?

— А почему и нет? Я бы о народе думал.

— Но сначала о себе?

— А что в этом плохого? Сытая власть будет лучше заботиться о народе. А эта… пфу! — плюнул Федотов.

Он никогда не любил никакую власть. Правда, о своих чувствах к Большой власти помалкивал — распространяться об этом было небезопасно. Но низовую власть, особенно ту, что рядом — бригадиров, мастеров, начальников смен и цехов он не любил почти открыто. Все они занимали свои места, как считал Федотов, незаслуженно, и в действиях каждого из них он легко находил неправильности. Только говорил об этом не часто. То лень было ввязываться, то понимал, что никто особо слушать не будет. Поэтому чаще всего перебирал и смаковал недостатки ближних начальников про себя.

Он не любил власть не потому, что был бунтарь. Бунтарь — человек действия, а Евгению нравилось, находясь в какой-то внутренней расслабленности, мысленно перебирать недостатки тех, кого он считал властью, и сладостно представлять себя на их месте. Он не видел своих конкретных действий на том, властном посту, представлял себя как бы в некоей дымке, стоящим то ли на трибуне, то ли на другом каком возвышении, но обязательно вверху, а внизу — люди… люди, и все с покором смотрят на него.

Среди новых знакомых тоже оказались начальники, но они не вызвали у Федотова такой неприязни, как остальные. Эти сами отвергали власть, а значит, были сродни Евгению, и потому он чувствовал себя равным всем им.

За три дня Федотов узнал много нового, услышал такое, о чём раньше не догадывался. Узнанное как бы приподнимало его над другими. Поэтому с каждой новой порцией выпитого он смотрел на Витéлю всё более снисходительно. Так человек, внезапно допущенный до больших секретов, глядит на своего наивного знакомца, не подозревающего о скорых переменах в его и других жизнях, с некоторым величием, с жалостью к нему и даже с сожалением по поводу того, что не может прямо сейчас поделиться узнанным.

Наконец, Федотов не вытерпел.

— Ты меня спрашивал про шахтёров, которые стучат касками в Москве.

— Ну?

— Спрашивал, на чьи деньги они стучат.

— Да. Деньжищи нужны большие. Привезти целый поезд в Москву, поселить их в хороших местах — это не у нашей Мефодьевны на квартиру встать...

— Добавь шахтёрские семьи — им ведь тоже надо на что-то жить...

— И кто за всё это платит?

— Иностранные профсоюзы, — сообщил Федотов с таким видом, словно сам только что отдал шахтёрам эти "деньжищи".

— Это тебе вместе с долларами рассказали?

— Да, знающие люди из "Народного фронта".

— Выходит, разрушают наш порядок на чужие деньги?

— Какие чужие? — вскричал Федотов. — Демократы Запада помогают победить демократии у нас.

Он вспомнил сбор на квартире инженера Самойлова. Там было шесть человек. Евгения привёл туда случайно встретившийся в магазине знакомый парень — вместе работали в кочегарке. Борис Семёнович Самойлов готовил всех быть наблюдателями на выборах. Четверым дал фотоаппараты, двоим — кинокамеры. Федотов не умел фотографировать. Самойлов показал. Но при этом заметил: "Получится у вас снимок или не получится, неважно. Главное, партократы в избирательной комиссии увидят, что вы снимаете. Мы боремся за Ельцина, и они должны это знать".

После Борис Семёнович раздал всем инструкции, где было написано, как вести себя на участке, как регистрировать нарушения, как привлекать внимание людей: криком, скандалом, даже потасовкой, если кто-то нарушит избирательный закон. Инструкции тоже помогли составить и отпечатать на Западе, объяснил Самойлов. Но об этом Федотов решил не говорить Вдовину, увидев его реакцию на деньги для шахтёров. Да и вообще ему надоел этот законник.

— Эх, Витéля, Витéля! Кругом всё рушится, а ты хочешь порядок наводить.

— Потому и надо наводить, что рушится. Покосившийся дом нужно не подталкивать, а подпирать.

В этот момент в дверях избы появилась хозяйка — высокая, сухая старуха, в длинной юбке, выцветшей серо-голубой кофте и белом платке, охватившем овальное лицо.

— Голóско* бáите. Не дракýны**, а шума-та до реки.

Перед тем Федотов сказал ей, что уезжает. Она сходила в огород, нарвала огурцов и сейчас, прижимая их к груди, принесла в избу. Хотела ещё захватить грибов из погреба, но громкий разговор обеспокоил её. Прямая, как доска, с ликом непроницаемым и суровым, старуха оглядела постояльцев.

— Опеть ты, Вихтар, Евгеню казнишь. Безмилостивый, паря. Дéлите цавой-та, делите. Мяготи нету промеж вами-та.

Вдовин поморщился.

— Мы о порядке, Мефодьевна, говорим. Эт как в организме... палец наколол, он нарывает. Не лечить — пойдёт нарыв по руке. А там и гроб с музыкой. Не будем закон сохранять — всем достанется. Сейчас ты дверь веником подпираешь... Поставила веник у дверей — тебя, значит, нету. Никто

---

* Голоско баите — голосисто, т. е. громко говорите (*поморск.*).

** Дракуны — задиры, драчуны.

в избу не войдёт — такой здесь порядок… считай закон. А когда не будет закона, замком не спасёшься.

Старуха сурово выслушала Витéлю. Она, как многие, не любила инспекторов, но Вдовина — особенно. Однажды он дал ей понять, что хотя и квартирант, но человек значительный. Старуха отрезала: "Ты — руп, да подворник*, я — копейка, да хозяйка". Все местные жители, конечно, имели сёмгу, даже запасали её на зиму. Но немного. Главной рыбой, которую солили в бочках на всю зиму, была озёрная щука. Однако сёмга — этот извечный деликатес, стала опасной, и главным носителем опасности был теперь Вдовин.

Федотов взял у хозяйки огурец, откусил, макнул в солонку.

— Спасибо, Мефодевна, за приют. Мы, наверно, сейчас тронем. Не будем ждать завтрева утра. Ты как, Витéля?

— Согласен. Вечер только начинает, а там — ночь белая.

— Куды ты, паря, походишь? — спросила старуха Федотова.

— Отвезу Виктора до падуна, вернусь сюда, а утром Стрельников переправит меня к морю.

Хозяйка слегка согнула прямую спину, поклонилась Федотову.

— Приежай, батюшко, опеть. Тута-ти место для тебя есть, имушшество своё могешь оставить. Одному-ти ему неповадно станет отдуваццa.

— Не вернётся он, Мефодевна, — сдвинув брови, проговорил Вдовин. Его задело тёплое отношение хозяйки к Федотову. — Ловчее время приходит. Мырь** идёт по воде… с мутью идёт… Самый оно свою рыбу поймать.

* * *

Вдовин побыл возле порогов, наблюдая за сёмгой, которая отдавала последние силы, стремясь перепрыгнуть бурлящий водяной поток и пройти оставшиеся километры жизни до нерестилища. Затем взгромоздил на спину рюкзак, где были сложены резиновая лодка, одежда, припасы, и двинулся по берегу к верховьям реки. От порогов, как рассказывал Карнаухов, до границы участка было километров десять-двенадцать. Точно он не знал. Вдовин шёл то возле самой воды, когда это было можно, то поднимался на обрывистый берег. Дремучий лес, разорванный рекой, сдавливал её, не давая уступить ни клочка скалистой земли. Местами корни деревьев плелись по поверхности скал, а стволы гнуло в сторону реки. Вдовин хрипел, пробираясь в этом чертоломе. Искусанную комарами и натёртую мокрым воротом шею щипало; временами глаза застилали тёплые, дрожащие шарики.

На второй день, к обеду, когда Витéля хотел уже остановиться поесть, он вдруг увидал, что идёт еле заметной лесной тропинкой. Вдовин сбросил рюкзак, достал из кармана куртки влажную от пота карту. Получалось, что где-то близко деревня В. — последнее селение вдовинского участка.

Он выбрался к берегу. Река сворачивала на северо-восток. До поворота на ней никого не было.

Витéля развёл незаметный костёр, поел и снова зашагал по тропинке. Кое-где она подходила к самому обрыву. Прячась за деревьями, инспектор долго проглядывал берега.

Вдруг, выйдя в очередной раз к обрыву, Вдовин увидел неожиданно открывшиеся вдалеке дома деревни. А в полукилометре от инспектора двое мужчин время от времени взмахивали руками.

Витéля медленно присел, на карачках отполз к рюкзаку, взвалил его на спину и, согнувшись, побежал по тропинке. Расстояние он прикинул верно. Бросив рюкзак за кустами, Вдовин подобрался к обрыву, держа фуражку в руке. Осторожно выглянул. Мужчины спиннинговали прямо под ним.

Блёсны они кидали неумело — Витéля был опытный рыболов. "Сейчас "борода" будет", — подумал он о высоком мужчине в мятой шляпе, который

---

* Подворник – квартирант.
** Мырь – рябь на море.

стоял ближе к Вдовину. И точно: леска у "шляпы" запуталась, он выругался, стал сбрасывать её с катушки. Но здесь у второго — сутулого, в длинных резиновых сапогах — удилище вдруг дёрнуло, он откинул голову, както нутром крякнул и начал стремительно наматывать леску. В нескольких метрах от берега сёмга выскочила из воды, рванулась на леске в воздухе и светлой торпедой вонзилась в глубину. "От с-сука!" — просипел потрясённый Вдовин. Он хотел вскочить, однако тут у первого рыболова затрещал тормоз, и вслед за тем удилище согнулось дугой.

Завернув рыбин в мешки, спиннингисты через некоторое время полезли наверх. И лоб в лоб столкнулись с Витéлей.

— Привет, мужики! — сказал он, вставая. — Как жизнь удалая?

Мужчины отшатнулись назад, но там был обрыв.

— А ты откуда прынц, штоб тебе докладать? — хмуро спросил в мятой шляпе.

— Во! Давайте познакомимся. Ваш новый рыбинспектор. Вдовин. Виктор Николаевич.

— Мы ни старого не знали, ни нового не хотца знать, — шагнул вбок сутулый.

— Стоп! Мешочки сюда!

Витéля не успел протянуть руку, как длинный прямым ударом влепил ему в губы. Вдовин брякнулся назад, моментально вскочил и вырвал из кобуры пистолет. Во рту сразу стало горячо, губы разбухли.

— Нападение на влашть! — с яростью прошепелявил Витéля. — Щемь лет!

Он не знал, сколько дадут — ляпнул про семь лет наобум, но шевельни длинный хотя бы бровью, Витéля тут же врезал бы ему пистолетом.

— Мешощки!

Мужчины заколебались, но видя перед собой пистолет, покорно отдали мешки.

— А шпиннинги шами тащите. Да. Штоп! — вспомнил Витéля. — Ты, в шляпе! Вожьми-к вон там мой рюкжак.

Длинный набычился.

— Давай, давай! Шрок дадут — пригодитьша.

Он повёл их через деревню, спрашивая, где тут и какая есть власть. Оказалось, по дворам вместе с бригадиром отделения и колхозным зоотехником ходит председатель сельсовета. В разгаре было короткое северное лето, а людей для заготовки сена не хватало. Возле бригадирского дома Витéля нашёл представителей власти, показал удостоверение.

— На этого — протокол. А этому — шуд будет!

Пожилой бригадир тоскливо глянул на своих гостей.

— Ну, перьвой-та раз можа простим? — сказал председатель сельсовета — худощавый мужчина в светлом пиджаке. — Ваши люди здеся никогда не появлялись.

— Жакон, дорогой товарищ! Жакон! А профилактику проведу. Могу прям жавтра.

На следующий день в избу, где показывали кино, бригадир собрал людей. Вся деревня знала, в чём дело. Витéля вышел по форме: застегнутый, в резиновых сапогах и в "крабе". Снял фуражку, положил на стол.

— Шегодня, товаришши, я с многими говорил.

Губы ещё болели, Вдовин морщился.

— Шлущилась такая неприятная вещь. Оленин Алекщей пойдёт под шуд. Напарник его — Киршин Кужьма — жаплатит штраф. Баальшой штраф. А пощему? Нарушение жакона.

Вдовин вспомнил вдруг бровастого лектора, книжки, которые потом прочитал, напутственную речь Гаврилина и, шепелявя, кривясь, начал "профилактику". Он говорил о Петре I и законах древних людей, о трудной жизни сёмги и происках соседних государств. Ещё никогда в жизни Витéля не чувствовал так своей значительности, как в этой избе, где по стенам висели засиженные мухами плакаты Госстраха, планшет с выпученными от времени фотографиями киноартистов и где держалась такая тишина,

что, когда Вдовин делал паузу, слышно было поклохтывание кур под окном. Он казался себе сначала солдатом какого-то неразличимого рода войск, скорее всего мотопехоты, где Вдовин служил водителем БМП*, потом вдруг сразу увидел себя пограничником, о котором мечтал Гаврилин, и за спиной его зашевелилась Страна. Витéля был на передовой, но перед ним сидели не враги, а всего лишь недопонимающие люди, которых надо было убедить, и Вдовин со страстью делал это, всё больше влюбляясь в лица перед собой, нежнея к ним до спазмов в горле. Наконец, примеры кончились.

— Вопрошы ещть?

— Есть! — крикнул светловолосый кудрявый парень, ёрзая на табуретке. Вокруг него уже встали, загомонили. — В следующий раз подробней о Горбачёве и Ельцине. Кто они друг другу?

— Следующего раза не будет, — громко сказал кто-то. — Прибьют.

Витéля погладил "краба" на фуражке и подмигнул синим глазом.

— Будет! Шоветую в это поверить.

В избе стало тихо, и многие, глянув на инспектора, поняли, что этот плотненький, невысокий мужчина с распухшими губами — человек опасный.

* * *

Утром Вдовин накачал резинку и тронулся по течению. За первым же поворотом он хотел пристать, вернуться тайком в деревню и денёк-другой выждать. Но потом решил, что селенье первое время будет настороже и караулить нет смысла. Он поплыл вниз, иногда подрабатывая вёслами, чтобы держаться на средине. Как многие реки Кольского полуострова, эта река была могучей и стремительной. В суровых, незаселённых верховьях ревели частые пороги, но чем ниже, тем реже встречались они. Последним на этой реке был тот, у которого Федотов оставил Вдовина. Витéля время от времени опускал в холодную воду руку, прикладывал её к губам и раздумывал, как приспособиться перетаскивать моторку через порог. В эту, отгороженную естественной преградой и потому недоступную деревню, он решил наведываться регулярно и неожиданно.

Река быстро несла лёгкую резиновую лодку. Расстояние, которое Вдовин недавно одолевал часами, лодка проходила за минуты. Она обгоняла деревья, рухнувшие в воду где-то в верховьях, истерзанные о пороги стволы. Берега почти всё время были скалистые. Только местами к воде спускался лес или проплывала, вся в цветах, полянка. На одной Вдовин заметил какой-то тёмный ком. Он безразлично глянул на него, решив, что это камень, но вдруг "ком" зашевелился, и всего в нескольких десятках метров на берегу встал медведь. Было тихо. Только слышалось слабое струенье быстрой воды. Зверь и человек, не шевелясь, проводили друг друга взглядами. Инспектор настороженно, медведь спокойно, видимо, приняв лодку за плывущее дерево.

Когда полянку скрыли скалы, Витéля облегчённо снял фуражку, поднял лицо на солнце. Губы совсем перестали болеть, лицу было тепло, а по-над самой водой держалась прохлада.

Примерно через час Вдовин различил какой-то неясный шум. Он встрепенулся, глянул по сторонам. Его несло теперь быстрее. "Падун**", — сообразил Витéля.

С каждой минутой гул водопада становился всё более грозным. Скалы берега начали сдавливать реку, словно стремясь сомкнуться. Лес наверху стал неразличимой тёмной стеной. Витéля быстро заработал вёслами, выгребая к левому берегу. Там из воды громоздились валуны, зато возле самых скал не было уступа, через который по всей реке низвергался поток. Но лодку стремительно понесло прямо на водопад. В какой-нибудь сотне метров впереди вдруг вздыбилось плывущее дерево, как будто кто решил посадить его среди реки. Мгновенье оно стояло прямо и сразу же исчезло в грохоте.

---

* БМП — боевая машина пехоты.

** Падун — водопад.

Встало торчмя бревно и, сверкнув на солнце мокрым боком, кануло в пучину. Витéля похолодел. Грохот был уже так близко, что на лице почувствовалась водяная пыль. Изо всех сил он грёб к валунам, среди которых тоже бурлила и пенилась вода. В последних метрах перед водопадом лодка вырвалась, наконец, из могучего потока и оказалась среди больших округлых камней, но неожиданно резиновое дно её вспучило, словно под него подсунули огромный кулак. Течение тут же задрало борт севшей на камень лодки. Витéля молниеносно сдёрнул сапоги и выпрыгнул в мелкую воду. Поток смыл облегчённую лодку, Вдовин бросился в неё, лавируя вёслами среди камней. На берегу мелькнуло чёрное пятно от костра, возле которого инспектор следил несколько дней назад за сёмгой, и лодку вынесло на спокойный плёс. "Т-тут п-придётся п-пора-б-ботать", — дрожа от холодных ног и пережитого, пробормотал Витéля. Однако он теперь знал, где можно перетащить моторку.

Грохот падающей воды быстро удалялся. Река становилась шире; скалистые берега после водопада перешли в пологие, течение стало медленнее, и Витéля начал высматривать место, чтобы пристать и высушиться. Но лес пока шёл сплошной стеной, а небольшие полянки у воды не нравились.

Вдруг на правом берегу лес оборвался, и Вдовин увидел заросший травой косогор. На вершине его стояла избушка. "Это что такое?" — оторопел Витéля. С Федотовым они никакой избушки не видели. Лодку поднесло ближе, и Витéля вспомнил. Направляясь к порогу, они держались противоположного берега, а тот, где стояла избушка, скрадывал лёгкий туманец.

Однако не успел Вдовин обрадоваться столь неожиданной находке, как заметил возле избушки дым костра. Мгновенно в нём проснулся Инспектор. Витéля подгрёб к берегу. Высокая трава подходила к самой воде и скрывала его от избушки. Он вытащил лодку, прячась в траве, полез наверх. Когда до костра оставалось несколько метров, Витéля вскочил, заранее торжествуя, что застал браконьеров врасплох. Но перед ним никого не было. А в стороне от избушки взмахивала косой рослая женщина.

— Х-ху! — растерянно воскликнул Вдовин. Женщина резко обернулась, и Вдовин узнал бригадиршу, из дома которой звонил Федотов.

— Ой, напугали меня! Почудилось: медведь.

— Говорящий, — с холодком приподнял "краба" Витéля.

Она засмеялась, узнав рыбинспектора. Подошла, вытирая концом белого платка раскрасневшееся лицо. Женщина была красива — это Вдовин заметил ещё в тот раз. Но в избе взгляд у неё был скорбный и углы губ опущены, как при долгой затаённой печали. Теперь бригадирша смотрела весело, открыто.

— Здесь мало кто бывat, — сказала она, отмахиваясь от комаров. — Бросили тоню — старая. Мишкино самое жильё. А я вот другой год эту бережину* кошу. Не муха б да не комарь, совсем тут хорошо. Они, прокляты, таки кусацкие.

Вдовин сел у костра, стал разуваться.

— И мужики сюда ездят?

Его это интересовало на будущее.

— Да нет! Мужики теперь ленивые. Поймать рыбу можно спроть деревни — зачем реку ломать?

— Доло-о-вятца они у меня! — натужился Витéля. — От! Ёлки... Прилипли!

— Вам надо и носки снять, — сказала бригадирша, видя, как от вдовинских ног, которые он поднял над костром, идёт пар.

— Лучше другое! — вскочил Витéля. — Растирание. Внутрь.

Он сбегал в носках к лодке, принёс рюкзак. Достал фляжку с водкой. Женщина сняла с перекладины котелок, порезала Витéлин хлеб и свежепосоленную сёмгу, конфискованную им за разбитые губы.

— Со встречей, — поднял кружку Вдовин. Он вспомнил, что в тот раз не назвался. — Виктор.

Женщина мягко улыбнулась:

---

* Бережина — прибрежный луг.

— Анна.

Поев, Вдовин упал в траву подальше от костра. Тёплое солнце стояло высоко, слепило глаза. Где-то, невидимый, гудел шмель, да нудно тянули комары. Витéля закрыл фуражкой лицо. Через некоторое время пробубнил из травы:

— Этим делом надо мужику заниматься — корма-т возить.

Сказал он это без всякого интереса, занятый совсем другой мыслью. Ему вдруг захотелось как можно неожиданнее нагрянуть в верховую стрельниковскую бригаду: прижать одноглазого. Но тут Витéля вспомнил реку, её могучее течение в этом месте и, поражённый, сел.

— Деревня сколь отсюда?

— Километра четыре.

— И всё на вёслах?

Анна бросила в пустой котелок ложку, Витéлину кружку.

— Спроть воды немного тяжело. Зато домой быстро. И сено-та здесь хорошее. Па-ахнет! Муж приезжает — враз охапку в избу. Скучает в море без земного запаха.

Она прошла мимо Вдовина к реке. Высокая трава прибивала подол платья, и под тканью чётко вырисовывались крепкие бёдра. Платок Анна оставила у костра, тёмные волосы, волнистые от природы, были острижены довольно коротко, открывая сзади сильную шею. Витéля проводил взглядом её налитую здоровьем фигуру и снова упал в траву. Все женщины были, по его убеждению, только на личность разные, а нутром — на одно лицо. Едва ль не каждая считала себя обойдённой в жизни. Это у неё было не так, то — не эдак. И прежде всего — муж. Вдовин слышал такое сплошь и рядом. Разговор каждой новой подружки, хоть и немного их было за Витéлину жизнь, рано или поздно тоже сворачивал в промытое русло. У одной — муж много работает. У другой — много пьёт. У третьей ещё чего-то много, а чего надо — мало. Получалось, что каждой подружке с мужем не повезло, и будь иначе, не была бы она с Витéлей. Вдовин обижался за неизвестных мужчин, и чем дальше, тем отчуждённей относился к женщинам. Смотреть на них стал с холодной синевой, разговаривая, то и дело иронил губы. Но слова Анны неожиданно удивили его. В них ему показалась такая теплота к далёкому человеку, что Витéля беспокойно заёрзал. Услыхав приближающийся шорох травы и звяканье вымытой посуды, с пробуждающимся интересом спросил:

— В море-т он где? У Стрельникова?

Одна колхозная бригада ловила рыбу у побережья, и Витéля некоторых помнил в лицо.

— Если бы! А то в Атлантике! — приостановилась Анна. — Весной как уедет в Мурма́нск, так до зимы. За месяцы от дома отвыкнет — еле отогрею. Давень* мне на ум пало: не слуцилось ли цево? Вестей давно нету.

Витéля сдвинул с глаз козырёк. Увидел снизу тугие груди, алые, не знающие помады, губы. Ревниво пробормотал:

— Катаются, черти... А тут... трава на корню перестаивает.

Чтоб выполнить свой коварный план, ему надо было уже отчаливать. Но Вдовин ясно вдруг почувствовал, что ехать никуда не хочет. "Тэк-с. А кто нас там ждёт? — строго спросил он себя. Душа молчала. Душа внимательно прислушивалась к посвисту косы. — Тогда продляем жизнь пиратам одноглазого, — с волнением объявил себе Витéля. — Абордаж откладывается".

Он пружинисто вскочил. "Временно, конечно!" И пошёл к Анне.

До вечера они косили напеременку. Анна работала легко. Под платьем волнились упругие мышцы, щёки порозовели. А Витéля то брал выше, то чиркал косой по земле. Быстро упарился, сбросил зелёную куртку и, если б не комары, готов был снять пропотевшую рубаху. Анна с любопытством следила за ним, время от времени показывала, как надо. Самолюбивый Витéля закусывал губы, но наукой овладевал быстро. Когда Вдовин прокосил клин до леса, женщина сказала:

— На сегодня хватит. Спасибо — помогли.

---

* Давень — недавно.

Глаза у Вдовина весело просинели:

— Спасибом не отделаешься! Молоком угостишь: заеду как-нибудь. Свекровь не злая?

Она ответила не сразу, некоторое время шли молча.

— Мы одне живём.

— Это ж с кем? С ребятишками?

Анна отвернулась:

— Нету у нас... робят. Одне мы.

Вдовин похмурел, тоже было замолк, но потом не выдержал:

— Извиняюсь за выраженье, совсем или... как?

Он имел в виду, может, были да что-нибудь случилось? Не дождавшись ответа, глянул искоса на женщину. Лицо её стало скорбным, как тогда в избе, уголки губ опустились.

— Ну, мне пора ехать, — нерешительно проговорил он, когда подошли к остаткам костра. Сапоги, висевшие на палках, горловинами к теплу, высохли, нагрелись внутри. Вдовин косил в кедах и теперь мог переобуться.

— Проверю хоть к ночи реку. Самый раз... не ждут.

Сложив руки на груди, Анна следила, как инспектор переобувается. За несколько дней Вдовин опал лицом, взгляд посуровел.

— Поесть бы вам надо, — участливо сказала она. — Потом трогацца.

Вдовин и сам колебался. Он был уже полностью готов: застёгнут, подтянут. Но уходить к лодке не хотелось сильней, чем днём. За несколько недель Витéля встретил много разных людей. Ночевал с Федотовым в незнакомых избах, их угощали, но он чувствовал: забота о нём настороженная, и человек он для всех чужой.

Совсем другое уловил Вдовин в голосе Анны. Заботиться о ком-то, видимо, было для неё страстной необходимостью, и неудовлетворённая потребность в этом заметно волновала женщину. Так сладкие соки жизни распирают и томят достигшее наивысшей спелости яблоко, и кажется, самому яблоку страстно хочется, чтобы в него впились крепкие зубы. Витéля вдруг почувствовал, что шагни он сейчас от этой женщины — и что-то тонкое, напряжённо натянутое оборванно звенькнет.

— В самом деле! — решился, наконец, Вдовин. — Чего это я голодным волком кинусь?

А решившись, засуетился, снова начал разбрасывать рюкзак, выхватывал то одно, то другое, не зная, что надо в первую очередь. Анна раздула угли и повесила над огнём котелок.

Через некоторое время суп был готов. Во фляжке у Витéли осталась водка: выпивал он мало, в одиночку совсем не признавал питья. Налил женщине, потом себе.

— Ну, чтоб муж не пропадал надолго.

А у самого почему-то в груди нехорошо стало.

— Ой, допропадаецца он у меня! — воскликнула Анна. — Возьму да своих рыбаков сорганизую. Запрещу, как власть, в Атлантику нанимацца.

Вдовин поднял голову от котелка. Анна то была близко, то снова удалялась к человеку, которого он не знал, но которому уже явно завидовал.

— Нужна она тебе — эта власть. Вон на меня как глядят.

— У вас совсем другая. Безжалостная. Послали, небось?

Вдовин отрицательно мотнул головой:

— Нет, сам. Богатствов наших жалко. Думаешь, сёмги у нас навалом? Вон она идёт сейчас в реке — много её там? Штуки! Допустим, тыщи. Однако не миллионы. Я тоже думал: много.

— А откуда ж узнали, цто мало? В реке смотрели? — насмешливо спросила Анна. И тут увидела в западной стороне неба, у горизонта, сиренево-красные полоски облаков.

— Ба-а. Крáсень*. Засúверка** подует — дожжово время*** пойдёт.

---

* Красень — краснеющая часть неба.

** Засиверка — северный ветер.

*** Дожжово время — дождливое время.

Витéля пригляделся.

— Не должно бы. Если красень с вечера, рыбаку бояцца нечего. Эт если красень поутру, рыбаку не по нутру. В случай чего — вон избушка-то. Спрячешься.

— Траву жалко. А вы… всё-таки в ночь?

— Сама ж говоришь: ловят — не бояцца. Ну, я им половлю!

— Раньше не боялись. До вас. А теперь остерегацца стали. И злятца мужики. Говорят: вспыхливый вы.

— Ишь ты! Злятца. Они ещё не видали вспыльчивых. Им бы нашего старшего инспектора Гаврилина.

Витéля внезапно разгневался. Это на него ещё и злятся?! Он на них должен кобеля спустить, а им надо лежать и не отмахиваться. В какие времена появилась возможность посидеть спокойно с человеком, а вместо этого плыви куда-то стервецов ловить. Он посмотрел вслед уходящей к избушке женщине с таким пронзительным сожалением, что Анна вдруг обернулась.

— Вы… это… звали?

Она вся напряглась, ожидая. Вдовин приподнялся было навстречу ей, но тут представил, как от деревень отплывают лодки, и резко отрубил:

— Показалось.

Когда Анна ушла, Витéля посидел ещё у костра, пусто глядя на нервные пробеги жара по гаснущим углям. Потом затянул ремень с пистолетом, крепко надвинул фуражку и снова взялся за рюкзак.

Пока они с Анной сидели у костра, сиренево-красные полоски на горизонте заметно разбухли, потом в них медленно зашевелились тёмно-серые поверху и бруснично-алые снизу клубы. Словно кто-то мощно дул на них с земли, и облака, бесшумно давя друг друга, меняя краски, расползались по небу, пока не закрыли всю закатную сторону. Река внизу ещё некоторое время сталисто блестела, затем у тёмных берегов захолодели протяжины тумана. Стало свежо и на косогоре. Раздавленная сапогами трава запахла остуженно-сочно.

Вдовин последний раз глянул на избушку и спустился к реке. Густо потемневшие облака клубились теперь над самой головой. Витéля отыскал в траве деревянную лодку бригадирши, перевернул её вверх дном. Он ещё надеялся, что дождь пойдёт не скоро. Но тут по воде с шипом пробежали первые капли, затем всё стихло и, едва Вдовин подошёл к своей лодке, как с неба посеяло ровно и без перерывов. “Как бы заливень* не накрыл”, — подумал Витéля. Он скучно оглядел шуршащую реку. Ему не впервой было мокнуть, а потом отогреваться возле скрадливого костерка под густыми, запаутиненными снизу елями. Однако теперь такая перспектива приостановила его. Наверху, невидимая отсюда, стояла избушка. Вдовин почти услыхал, как шелестит по её крыше сеющий дождик, почувствовал, как обдаёт его сухая, сумеречная теплота, и, в непонятном волнении пнув мокрый борт лодки, воскликнул: “Отложим к чёрту… как он… Абордаж!”.

Избушка, подобно всем жилищам на тонях, была об одну комнату. Прямо с дождя Витéля шагнул в сухое тепло. Огляделся в сумраке единственного оконца и в нескольких шагах от себя, на топчане, увидел приподнявшееся белое плечо.

— Вы… вернулись?

Вдовин открыл рот, чтоб сообщить о дожде. Но, вдохнув пряность свядшей травы у порога, слабый запах пота от снятого платья, он уронил рюкзак и подломившейся походкой двинулся к белому пятну.

Часа через два дверь избушки снова отворилась. Бесшумно вышедший с рюкзаком Витéля придержал её, чтоб не стукнула, и, приблизив ухо к образовавшейся щели, вслушался. За дверью было тихо. Беззвучно дотаивала и кроткая белая ночь. Лишь возле вдовинского лица пронудел комар да с крыши в натёкшую лужицу цокнула дождевая капля. Дождь кончился, однако небо ещё было затянуто матовой влажной пеленой. Но и она тоньчала на глазах, как будто кто усердно протирал забелённое извёсткой стекло.

---

* Заливень — проливной дождь.

Перламутровый свет быстро набирал силу, с каждым мгновением всё дальше к лесу различимы становились прокосы, мокрые ветви кустов. Витéля дозакрыл дверь, благостно улыбнулся и зашагал вниз к реке.

* * *

На верховой стрельниковский форпост он явился, как снег в июне. Часа полтора перед этим затаённо лежал в траве, ожидая, когда рыбаки выйдут проверять ловушку. Дождался, прилип к биноклю. И только увидев, что лодки с выбранной сёмгой повернули к берегу, прыгнул в свою резиновую.

Бригадир Заборщиков — пожилой, широколицый мужчина, увидев инспектора, изумился и хотел было принять меры: выкинуть в воду часть рыбы. Но, глянув на распухшее от комариных укусов Витéлино лицо, багровые оттопыренные уши, понял, что Вдовин видел всё как есть.

— Верно говорят: глаз дёрьгат — на ветреного* гостя глядеть, — заметил он. — Давень аж слеза текла…

— Ещё наплачешься, — сумрачно проскрипел Витéля, почёсывая зудящие вздутости на шее и на щеках. — С чего начнём, дорогой товарищ? Считать сёмгов будем, а может враз за протокол?

— Цево-тако шшитать сёмгов? — взвился проходящий мимо небритый молодой тонщик**. Он легко нёс от лодки большую корзину с оглушенной рыбой. — Половина ей в реке, половина-ти, — в анбаре, — продолжал парень, открыв в озорном оскале белые мелкие зубы и вдруг совсем не зло подмигнул Вдовину. — Дядька Савва порядок-от ведает.

— Не бузи, Николай, — остановил Заборщиков и сдержанно проговорил Вдовину:

— Как знаешь, инспектор. Но рыбку-то красную, рыбку енту вон, сёмужку — не себе беру и не для жонки хороню-от.

Витéля пересчитал улов, составил протокол. Попалось больше сотни рыбин.

Часть сёмги была крупной: начинался ход “чёрной рыбы”. Но большинство попалось “тинды”***.

Теперь Заборщикову надо было столько же рыбы пропустить через ловушки. Однако легко сказать: пропустить. Людей на тоне против недавнего времени сильно поубавилось. Из всех бригад где одного-двоих, а где сразу нескольких вырвали на сенокос. Короткое северное лето покатилось под гору, и Стрельников торопился ухватить там и тут. Перед Витéлиным появлением троих рыбаков сняли и с тони Заборщикова. Чтобы помочь оставшимся, Вдовин стал выходить с ними проверять сети, работал наравне с тонщиками колотушкой, вымокая каждый раз с головы до резиновых сапог от яростных брызг, которые поднимала беснующаяся в ячеистой западне сёмга.

Но рыба неизвестно отчего стала идти хуже. А Вдовин, несмотря ни на что, неумолимо приказывал бóльшую часть её выпускать, пока не сравняется счёт. Мотодора рыбоприёмного пункта, забрав на следующий день после появления инспектора на тоне скудный груз, больше не появлялась.

Первое время степенный и покладистый Заборщиков терпеливо выносил вдовинскую помощь. На четвёртые сутки утром, поплескав в чашке парящую уху, заметил разливающей на другом конце стола поварихе:

— Цёт ты нас, матушка, закормила ущцой. Обновы-ти никакой нету.

— Подъели, Савватий Андреич, разносолы-от. Которы Дерябин завёз — подобрали. Крупки осталось — мышь на хвосте унесёт. Одне досевки****. С выходного, сказывал, будет Дерябин, а ныне какой, гляди-ка, день?

---

* Ветреный гость — приезжий человек (*поморск.*).

** Тонщик — рыбак на тоне.

*** В зависимости от времени захода сёмги в реки различают: залёдку — крупную рыбу весеннего хода; тинду (или межень) — сравнительно мелкую сёмгу, которая идёт в середине лета; “медянку” (цвет) — сёмгу более позднего времени и больших размеров, и, наконец, “покровку” (идёт на Покров). Последняя — наиболее крупная, идёт в реки с середины августа до октября. Нерестится только следующей осенью.

**** Досевки — остатки от просеянной муки.

Заборщиков снял с шеи красный платок, защищающий от комаров, вытер вспотевшее широкое лицо. Сказал задумчиво, глядя мимо Вдовина.

— Дак оно и правда — разве мог Дерябин расшытывать, што у нас работников прибавитца. Теперь заказывай на Виктор Николаича тож. До Ильина дня*, глянется мне, поживут оне у нас. А, Виктор Николаич?

— До Ильина иль нет, — уклончиво сказал Вдовин, не зная, когда этот день, — а побыть ещё придётся.

Инспектор уловил намёк на затянувшееся присутствие в бригаде и даже обиделся. В конце концов он мог бы и не помогать рыбакам. Сидел себе на берегу — ноги туркой — и в бинокль контролировал пропорцию пойманной и выпущенной сёмги. А он упирался наравне со всеми.

— Сам виноватый, Савватий Андреич. Скажи: легко отделался. Уважаю я тебя. Которы воевали — фронтовиков — уважаю.

Витéля знал, что Заборщиков парнем захватил последний год войны, был ранен в спину и, несмотря на 65 лет, оставался председательской надёжей.

— В другой раз — во будет! — и Вдовин быстро показал решётку из пальцев.

Через два дня после разговора за ухой счёт сравнялся. Но зато в уловах Заборщиков безнадёжно отстал. А главное, обстановка не сулила ничего хорошего. В последний раз поймали двенадцать сёмг. Шесть — рыбаки выпустили. Шесть привезли на дне корзины.

— Цавой-то поход ейный истошшал, — озабоченно и со злом проговорил Заборщиков, уставясь в корзину, которую Николай, ещё более заросший светлой щетиной, поставил на берегу. Все четверо тонщиков, Вдовин — пятый, обступили корзину. Молчали, глядя на скудный улов.

— Эх, бядá, — бросил один из мужиков — худой, морщинистый, с лицом, искусанным комарами.

— Бяда — не ягода. Не сжуёшь, не выплюнешь, — сказал Николай. — Пускай нам инспектор подсоветает, чем детишков будем-ти кормить.

Его взгляд встретился со вдовинским. На обычную весёлую озорноватость и намёка не было в холодных глазах небритого тонщика.

— Инспектор здеся ни с какого боку, — дипломатично вступился Заборщиков. — Санятка Мезин — вот он, похожа, за всех отдуваетца. Порато** берёт сёмужки.

Витéлю будто молнией прошибло. Как же он не догадался, почему на верховой тоне стало попадать совсем мало рыбы. Мезин — этот коротконогий пират, узнав от моториста рыбоприёмной доры, что инспектор сидит у Заборщикова, видимо, наглухо перекрыл реку ниже по течению.

— Ну, Савватий Андреич, погостил я у тебя, — торопливо сказал Вдовин, — и хватит.

В один момент он сбегал в избу, вернулся уже с рюкзаком, с наганом на боку.

— С природой ты рассчитался, — быстро говорил Витéля, сталкивая резиновую лодку в воду. — С инспекцией тоже.

Он похлопал по рюкзаку, где лежал Люськин портфельчик с протоколами.

— Но глядите у меня, робяты! — вдруг выпрямился Витéля. — Нагряну в любой миг. В случай чего — жалуйтесь Богу.

Когда он отплыл от тони, среднего роста немолодой тонщик, с лицом, кое-где заляпанным чешуёй, сказал бригадиру:

— Кольку б надо послать — да лошадú нету. Мезина упредить.

— Незацем, — спокойно ответил Заборщиков. — Там, глянетца мне, Санятка выставил кого надо.

* * *

На мезинской тоне, к удивлению Вдовина, всё оказалось в порядке. Напрасно он снова прятался в высокой траве, страдал от комаров, неотрывно следя в бинокль, как рыбаки проверяют ловушку. “Десять... двенадцать...” —

* Ильин день — 2 августа.

** Порато — много (*поморск.*).

считал про себя Вдовин выпускаемую сёмгу. Он ясно видел не только лица мужиков: напряжённые, смеющиеся, мокрые, но и фонтаны брызг, которые взбивали перебрасываемые через сети серебристые рыбины.

Когда люди вернулись на берег, тронулся к тоне и Витéля. Осмотрел свежий улов. Взято было столько, сколько Вдовин насчитал в бинокль выпущенных рыб.

— Чисто работаешь, Мезин, — с усмешкой заметил инспектор. — Ну-к, покажи накладные.

Полистал бумажки, сосредоточенно изучая уловы прежних дней. На рыбоприёмный пункт сёмги отсылалось намного больше.

— А сегодня чего так мало?

— А кто её знает, — пожал плечами Мезин, морщась от дыма сигареты. — Видать, у межени поход кончаитца.

— Странная тут у вас рыба, — сказал Вдовин. — Очень даже странная. Иль хитрая? Как думаешь?

— Не скажи, — подхватил Мезин. — Ты с ей только начал заниматца — и то обратил внимание. А мы — от уже удивляцца перестали. То, как бы сказать, дурóм валит — роетца, роетца, потом — глядь: нету.

— А может, не рыба, а ты хитрый? — перебил Вдовин. Он сузил враз посиневшие глаза. — Не ходи по ножу, Мезин. Склизнёшь — и ваших нету.

Сдвинул "краба" на бочок, поправил ремень с пистолетом и пошёл к лодке. Не доходя до неё, обернулся:

— Эт я ни к чему конкретному. К слову, извиняюсь за выраженье. Понял?

— Цево ж не понять, — после некоторого молчания сказал Мезин. — Понял... Цем дед бабку донял.

Выплюнул сигаретку в реку, последил, как понесло её течением, и засмеялся:

— Тольк деду от этого один убыток вышел. Но ты не обрашшай внимания. Я тоже, к слову.

* * *

Оставив рюкзак в избе у Мефодьевны, Вдовин с портфельчиком направился к Стрельникову. Отворил дверь в кабинет и остолбенел. Возле председательского стола сидел Гаврилин.

— Входи, входи, Виктор Николаич! — энергично замахал рукой старший инспектор. — Мы с Валерием Иванычем уже наговорились, пока тебя не было.

— Коли б не такие дела, Альберт Петрович — жить можно, — сказал председатель, продолжая ранее начатый разговор и одновременно пожимая Вдовину руку. — Вон-ти красота какая, — кивнул он в сторону окна, выходящего на реку. — Туристы к нам сповадились; тут церьква есть: старая-престарая. При Алексей Михалыче — царе, говорят-от старики, рубили церькву этую.

— Скоро одна церковь и останется, — негромко сказал Витéля, снимая фуражку. Стрельников вперил в него зелёный глаз, начал багроветь.

— Эт почему же?

Вдовин достал из портфеля протокол на Заборщикова, подал старшему инспектору. Тот быстро забегал глазами по строчкам, сразу помрачнел, на скулах выдавились желваки. Кончил читать, молча передал бумагу председателю.

— А говорите, на тонях порядок, — отчуждённо произнёс Гаврилин. — Кого мы обманываем? Народ?

— Ну, уж народ, Альберт Петрович, — возразил Стрельников. — В других местах — газеты почитаешь — не такое-от делают.

— Какое не такое! — повысил голос Гаврилин. — А кто делает, если не такие же. Страну разрушают!

Вдруг губы его посинели, глаза округлились, словно их ожгла изнутри внезапная боль.

— Браконьёр! — крикнул старший инспектор. — Надоело свободным воздухом дышать?

Стрельников побледнел. Светлые брови слились с цветом кожи, и безбровое одноглазое лицо стало похоже на маску, в которой одновременно смешались испуг, недоуменье и горечь. Глядя на него, Витéля вдруг впервые почувствовал себя очень неуютно. На миг показалось, что председательское страдание пронзило и его.

— Надо ихнее руководство за бока брать, — поспешно проскрипел он, отводя взгляд в сторону. — Которое план устанавливает. Всё им мало сёмги.

И вспомнив слова Федотова, добавил:

— В рамку его в такую засунули.

— В какую ещё рамку? — не понял Гаврилин, приходя в себя. — При чём тут какая-то рамка?

Черты худощавого смуглого лица уже разгладились, но взгляд оставался сурово-жёстким да ноздри тонкого носа всё ещё подрагивали, напоминая о прокатившейся буре.

— Нечего здесь церемониться. Не дети. Знают, что творят. Прокурору надо дело передавать.

Выйдя из конторы, Вдовин с Гаврилиным некоторое время шли берегом реки. Шли молча. Витéля притихший, несколько напуганный суровостью начальника, стеснялся заговорить первым. Старший инспектор глядел на простор реки, в текучих водах которой отражались рельефно высвеченные закатом облака, на плывущую сверху лодку и думал о чём-то таком, что заставляло его то хмурить брови, то шевелить губами, словно продолжать в мыслях какой-то разговор. Вдруг с лодки донёсся крик: "У-е-нем пе-е-да-ам О-орщикову!" Гаврилин очнулся, подался вперёд, видимо, пытаясь разобрать слова. Ничего не поняв, смущённо улыбнулся.

— Никак не привыкну к здешней речи. В городе вроде всё ясно, а на побережье выедешь — иностранец иностранцем. Чего вот он кричит? Просто так что ль орёт?

— Кричит, что утренем передаст что-то Заборщикову, — сказал Витéля. — Наверно этот, — Вдовин показал на высокого мужчину в светлой кепке, стоящего на берегу и размахивающего руками, — велит Заборщикову что-то сделать. Может, людей дать на сенокос.

— Чёрт-те что. Один русский народ, а совсем ведь разный. Утренем... Утром что ль?

Витéля кивнул. Он сам первые дни чувствовал себя здесь человеком, который пытается вспомнить что-то знакомое, быстро вылавливает *это* из глубин памяти и, радостно узнавая оживающее, никак не может понять: то ли из сна оно давнишнего, то ли из яви, настолько забытой, что её трудно отнести к собственной жизни. Город, где Витéля вырос, получил название от старинного поморского села. Столетиями село жило обособленно, пока в первую мировую войну в нескольких километрах от него не построили станцию железной дороги. Станция пробила первую брешь в обособленности поморского быта и языка. Рыбаки с карбасов пересели на паровозы; в извечные запахи моря, водорослей и мокрых сетей вошли совсем другие: запахи машинного масла, мазутных спецовок.

А станция не только пропускала поезда. Она высаживала новых людей, и чем дальше, тем больше. Разноплемённый люд строил дома, порт, заводы, и через несколько десятилетий от поморского села осталось небольшое количество бревенчатых изб, прижатых к самому заливу разросшимся городом. В поморском разговоре наравне со своими "лу́дами", "ка́ргами" и "наволо́ками" зазвучало много пришлых слов, которые, особенно для молодёжи, работающей на заводах и железной дороге, становились более привычными, чем отцовские. В новых семьях характерный быстрый говор поморов то и дело пронизывала певучесть украинского, "гаканье" южнорусского, "цоканье" вологодского наречий. "Мы вологцане — те зэ англицане. Только нареция другая", — посмеивались поморы над вологодцами, как будто сами в некоторых селениях не "цокали", как будто к ним это самое "цоканье" не пришло давным-давно из Предсеверной Руси и, перемешавшись с новгородским,

псковским говорами, не образовало своеобразный поморский язык. Однако не только в городе, но и в поморских селеньях его, чем дальше, тем быстрее, размывали волны других славянских наречий и, прежде всего — общерусского языка. Школы, газеты, радио, а затем — телевидение широким фронтом наступали на "поморьску говóрю". Поэтому даже пожилые люди, постоянно слыша общерусский язык, стали невольно уходить от прежних слов и менять старое произношение на новую речь. Уж на что традиционной была замена в говóре буквы "ч" на "ц" ("цасы" вместо "часы"), или непременное двойное "ш" вместо "щ" ("вешши" вместо "вещи"), но и это соблюдалось уже далеко не всегда. Однако стоило кому-нибудь из молодых оказаться хотя бы на некоторое время в стремительном потоке "поморьской говóри", как голос отчего языка, словно звон далёкого колокола, будил в памяти полузабытые образы и понятия.

— Сговориться с мужиками с этими, извиняюсь за выраженье, можно, — скосив синий глаз, сказал Вдовин. Старший инспектор загораживал плывущую лодку, а Витéле не понравилось, что человек тронулся из села на ночь глядя. Он подвышагнул чуть вперёд, стараясь незаметно для Гаврилина разглядеть далёкого гребца. — Сговориться — не сложно, если одни и те же дела одинаково понимать. А то мы об одном и том же по-разному толкуем. Как это — стоять у воды и не напиться, если во рту пересохло?

Он замолчал, думая о том, что неправильно кое-что делается. Сёмгу, конечно, надо беречь, но людям, которые возле неё живут, надо давать ловить на пропитание. Не на продажу, нет, а то некоторые базар открывают — вот за это спрашивать нужно, а на еду — пусть ловят. Но как отличить одного от другого — этого Витéля не знал и тяжело вздохнул.

— Устал? — спокойно спросил старший инспектор.

— Дак уставать чего? Порядок, понимаю, надо навести, а это всегда трудновато. Катиться под гору легче, чем санки на гору тащить.

— Правильно. Разболталось всё в стране. А власть не понимает… Горбачёв этот… Угробит страну… Про демократию талдычит, а не понимает, куда дело идёт.

— Мне тут один говорил, — сказал Витéля, — демократом себя определил… Законы, говорит, нынешние, надо порушить. От них все беды идут. И тогда заживём, как в раю.

— Я догадываюсь, кто так говорил, — произнёс Гаврилин. — Федотов.

Витéля промолчал, не желая выдавать бывшего напарника.

— Это глупый человек говорил, Виктор Николаич. Среди демократов много таких. Наивных до глупости. Никогда на земле не было, нет и не будет государства без законов. Законы — это как обручи у бочки. Сбрось обручи, сломай их — и развалится бочка. Также и государство. И в древние времена, и позднее, и сейчас люди сплачивают государство законами. Можно не соглашаться с тем, кто их устанавливает — маленькая группка властителей: фараоны, цезари, короли или большие собрания представителей народа, но без законов жить нельзя. Вот сейчас объявили: Россия не подчиняется законам Союза. И что началось? Бардак. А страдают от него простые люди. Или прибалты заявили: мы выходим из Союза. Но ведь есть закон на этот случай! Они на него плюнули — Горбачёв разрешил плюнуть, и всё: государство разваливается.

А те, кто называют себя демократами… вроде нашего Федотова… они же, как дети, которые попали в мастерскую взрослых. Столько инструментов, столько возможностей. Вон молоток… вон отвёртка… а вон что-то незнакомое. Возьмут, включат — и пожар устроят. А то ещё хуже: руки-ноги себе оторвут. По детской-то наивности…

Нужно вносить изменения в жизнь. Можно и законы менять. Но не кувалдой крушить! Законы — это обручи государства, — жёстко повторил Гаврилин. — Поэтому мы хотя бы на своём месте должны их сохранять.

---

* Луда – небольшой, без всякой растительности каменистый островок.
** Карга – каменистый мыс.
*** Наволок – песчаная коса.

В это время стоявший на берегу мужчина в светлой кепке направился к селу. Увидел идущих людей, притенил рукой глаза от солнца и даже ускорил шаг, как человек, которого заинтересовала предстоящая встреча.

— Привет рыбьей охране! — весело крикнул он и приподнял белую кепку, когда Гаврилин с Вите́лей приблизились. — Нашему инспектору подмога прибыла?

Схватив взглядом сухое, тщательно выбритое лицо Гаврилина, форменную фуражку, которая, судя по виду, больше висела в кабинете, чем бывала под солнцем и дождём, незаношенный в переездах китель и, сравнив это с пропотевшей курткой Вдовина, его тусклым "крабом" над потерявшим блеск козырьком, воскликнул:

— Оо, да не подмога-ти нагрянула! Жалко, жалко: такой хороший человек — наш инспектор. Нашалил цё ли, Виктор Николаич? Вы его не ругай, нацальник. Инспектора у нас все любют. Уважают. По всем тоням об его здоровьи молютца, — быстро говорил мужчина, присаживая на чёрные волосы кепку и улыбаясь с какой-то хищноватой радостью. — Только молитца негде. Дак один человек — инспектор знает его — Дерябин Иван Зосимович — предлагает церькву заново открыть. Всё одно пустая. Ну. сцастливо оставаться, товарищшы. Если нацальству нет где пожить, давай ко мне, Виктор Николаич.

— Спасибо, найдём, — сухо сказал Гаврилин. Когда мужчина отошёл, спросил у Вдовина:

— Что за клоун? Кто такой?

— Мошников.

— Мошников, Мошников, — сдвинул брови старший инспектор. Фамилия ему показалась знакомой. — Не о нём ли мне писали весной? Я ещё Карнаухова спрашивал.

— О нём, наверно, — кивнул Вдовин. — Хотя прав был Карнаухов: их тут действительно много. Что Мошниковых, что Заборщиковых... Этот — Мошников. Участковый милиционер — Мошников. Хозяйка моя, где квартирую — тоже Мошникова. Не то однофамильцы, не то одна родня. Я этого Серёгу Мошникова при Федотове жиганул штрафом. Пока не попадается. Но разговоры доходят: не бросил игрушки с законом. Надо же, как людей разболтала поблажка.

— Да-а, брат... Тут кругом свои. Одни мы, Виктор Николаич, чужие. Ты хоть и свой, но рука карающая. Это ещё хуже. А я совсем инопланетянин. Южный человек, чужак. Ну, да ладно. Побольше бы таких, как ты, и был бы на нашей земле полный порядок. Я ведь зачем к тебе приехал? Ведомственная проверка. Всех объезжаю.

Они подошли к избе, где квартировал Вдовин во время редких наездов в село.

— Хозяйка-то как, молодая? — с улыбкой спросил Гаврилин, останавливаясь у порога.

— Была, — засмеялся Вдовин. — Полвека назад.

— Нет, нет, я не буду заходить. Моторист в лодке заждался. Напоследок хочу тебя предупредить, Виктор Николаич. Звонки начались. Даже сверху. Будь осторожен. Расшевелил ты осиное гнездо. Похоже, хвост прижал, а голове стало больно.

* * *

— Потерпевший Мошников! Что вы можете сказать суду о выстрелах на реке?

В первом ряду поднялся тот самый высокий черноволосый мужчина, которого Гаврилин встретил во время поездки к Вдовину. Был он как-то по-особому красив, если бы в этой красоте не настораживала хищноватость: нос с горбинкой смахивал на клюв, брови чёрные, по-тетеревиному гнутые, на скулах, когда он ими играл, выступал злой румянец. По случаю суда Мошников надел дорогой костюм — по синему полю редкие белые полоски, который хорошо сидел на его сильной фигуре.

— Я чего могу сказать, товарищи судьи… Сначала что ль о себе? Я Мошников Сергей Александрович. Работаю в колхозе — вон у товарища Стрельникова. Как я работаю, можете у него спросить…

Сидящий на том же ряду председатель одобрительно кивнул. Перед этим, в качестве свидетеля, он пояснял суду, что ему известно о странном происшествии на реке, и вроде не специально коснулся личности потерпевшего. Трудяга Сергей, действительно, был отменный. Он тракторист, шофёр, спец по всяким моторам. Одно время был механиком на ферме. И везде работает хватко. Чёрную волну из-под кепки выпушит, серые навыкате глаза посмеиваются. Но вперится в них кто, и сразу взгляд отводит: такая холодная беспощадность в их глубине, что не приведи Бог на узкой дорожке с Серёгой встретиться. "Дракýн* он и есть дракун, — отмахивались односельчане, услышав, что Сергей Мошников опять с кем-то затеял драку или ссору. — Мушшина виднай, а дракун. Загрызёт, коль не по ево". Много лет назад сцепились Мошников и Мезин, тогда ещё в робятах, за селом, над рекой. Коротконогий Мезин достал снизу высокого Серёгу по сопатке, брызнула у того кровь. Мошников побелел, закружил возле противника, ища взглядом что-нибудь на земле. На глаза попалась, старая, обточенная временем коровья кость — острая, как кинжал. Мезин не успел шага в сторону сделать, рухнул на колени, зажимая окровавленный бок. Похоже, эта злость распаляла Серёгу и в работе, за которую, как начал докладывать Мошников суду, его неоднократно премировали в колхозе. Однако трудовая Серёгина доблесть почему-то не заинтересовала суд. Нетерпеливым взмахом руки судья остановил Мошникова:

— Это потом, потом. Если понадобится. А сейчас ближе к делу. Что вы скажете о выстрелах на реке? Вопрос вам ясен?

Мошников кивнул. Вопрос был для него, с одной стороны, ясный. Однако в происшедшем, как тогда, так и теперь, кое-что для Серёги оставалось абсолютно тёмным.

Той белой ночью, в самую её тишь и глухоту, Мошников собрался на промысел. Такая пора, когда село залито тихим застывшим светом и лишь изредка взбрёхивают, цепляя остатки сна, собаки, когда за несколько дворов слышно буханье надетых на босу ногу сапог вышедшего по нужде мужика, всегда волновала Сергея. В сумерках сеней он наощупь брал приготовленную с вечера снасть, деревянную колотушку, и рысистым шагом шёл к реке. Промысла своего Мошников особо не таил. Многие мужики прилавливали сёмгу во время "хода". Конечно, не так, как он — для продажи в районе, однако для себя — не стеснялись.

Но последние месяцы вынудили Мошникова быть осторожнее. Новый инспектор смерчем двинулся по реке. Штрафовал, уничтожал снасти, в карнауховский сарай свозил отобранные моторы. Потом разнёсся слух: несколько человек из разных селений загремели под суд. Когда Вдовин с Федотовым оштрафовали Мошникова, тот натянуто улыбнулся:

— Вы б для первости предупредили. Полсотни на дороге не валяются.

— Сейчас вот так, — кивнул Вдовин на протокол, — а будет вот так.

И показал решётку из пальцев.

— Предупреждает тебя пусть жена, — Витéля скрипуче заблеял, — когда у подружки задержисся. А нам ты гусь известный.

Пухлое лицо его вдруг окаменело, и Вдовин с яростью проговорил:

— Я т-тебе не Карнаухов. Не научила мамка, дак научит лямка.

— Намёк понял, — весело сказал Мошников. — Узкая стала наша река.

И подмигнул холодеющим глазом.

С того дня он стал выходить на промысел только когда узнавал, что Вдовин сплыл вниз. Против течения без мотора подниматься трудно, а гул инспекторской лодки скоро во всех селеньях научились различать среди множества других моторов. Накануне вечером, отдувая в ложке горячую уху, Мошников спросил у жены:

— Законник не сплывал?

---

* Дракун — драчливый, задиристый человек.

Три дня он косил на тракторе возле дальних озёр. Трава стояла высокая, сочная; Серёга умотал помощников, не давая отдохнуть до самой поздней зари. Когда всё кончили, он проверил сетки, поставленные рядом в озере, раздал людям рыбу, взяв несколько килограммов и себе.

— Не видела. Только мне и забот — твой законник ушшупанный.

Серёга засмеялся. Жена и на видных-то мужиков не обращала внимания, а мелкорослый, полненький Вдовин ей с первого взгляда не понравился. Однако Мошников уже имел возможность убедиться, что этому вроде бы невзрачному человечку палец в рот не клади: отхватит всю руку. Выезжать на промысел, не зная, где инспектор, было опасно. Серёга накинул пиджак и пошёл к реке.

Десятка полтора лодок, вытащенные из воды, разнобоко лежали на берегу. Двое мужиков — приземистый, в расстёгнутой красной рубахе Андрей Захарович Красов и жилистый, сухой Николай Зуйков — вытаскивали ещё одну: красовскую. Серёга помог. Когда закурили, спросил про Вдовина.

— Внизу, — ответил Красов. — Цевой-то долго нет.

— Может, утоп, дал Бог, — бросил Зуйков, прыгая на одной ноге и стараясь второй попасть в штанину. Наконец, попал. — Хоть бы утоп, — зло усмехнулся он. Большой рот его растянуло от уха до уха, широкий утиный нос надвинулся на верхнюю губу. Ни дать, ни взять — утка, что ещё в зуйковом детстве подметили односельчане.

— Этот не утопнет, Утя, — раздумчиво сказал Мошников.

— Надо помочь. Пульку в ствол — и нету.

— Типун тебе, Утя, на язык, — недовольно одёрнул Красов. — Мусорный он, конечно, человек, но своё дело делат. Послали его на это. Серёгета, оно б сказать, есть за што на него пульку целить. А тебе?

— Мы оба с Серёгой его крестники. Олёшка Оленин — свояк — на стройке соцьализьма задаром трудится и благодарит инспектора. Из-за проволки колючей.

— Это с верховы?

— Ну! Я слышал, и другие желают ему царствия небесного. Как, Серёнь?

— Желают. Может, где и мы встренимся. А ты б, Захарыч, переходил в доярки из рыбаков. Рассказывают, не даёт вам инспектор заработка?

— Всю жизнь хватало и теперь хватит. Их до конца-то — деньги — не огребёшь. Сколь надо-ти напечатают. А голова приделана для какой надобности? Кепку твою носить? Мы на тоне кой-кто соображаем. Ныне герой, а завтра с дырой. Тебе-т, правда, один хрен. Ты у нас везде герой, пока не пымали. Идёшь домой, Утя? Иль будете пульку целить?

В средине белой ночи, когда дворами покатилась перекличка петухов, Мошников отлез от жены. Выпил на кухне молока и, быстро бодрея от захватывающей страсти, начал торопливо собираться.

Через некоторое время сдвинутую лодку подхватило течение. Подождав, чтобы снесло за поворот (поблизости от села Мошников стал опасаться ловить), он подгрёб к берегу и развернул снасть: короткое удилище с толстой леской и блесной.

К тому времени, когда поднялось солнце, Мошников сплыл далеко от села. У него оставалось ещё одно место: за глубоко вдающимся в реку лесистым мысом. Дальше Мошников не спускался, потому что вскоре после мыса начинались дома другой деревни. Не полагаясь только на течение, Мошников усердно заработал вёслами. При свете дня блеснить было опасно. Могли тронуться рыбаки иль увидеть доярки: на краю деревни стояла ферма.

Обогнув далеко вдающийся в реку мыс, Мошников бросил рогастый якорь. Закурил, надвинул на глаза белую кепку, чтоб не слепило солнце. Пять серебристых рыбин лежало у него в лодке. Здесь он рассчитывал взять ещё пару, потом спрятать лодку и пешком вернуться домой. Серёга размахнулся, блесна чпокнула о воду. И, словно дожидаясь этого мгновенья, на противоположной стороне мыса грохнул выстрел. На реке за мысом вскрикнул какой-то знакомый голос, и тут же следом раздался ещё один выстрел.

* * *

— Значит, вы не подтверждаете слова подсудимого, что в него было два выстрела? — спросил судья. — Вы написали в заявлении, что он в вас стрелял, а подсудимый уверяет, что сначала стреляли в него. А уж потом он в вас…

— Может, и стрелял кто в него — я не слыхал, — не моргнув глазом соврал Мошников. — Река у нас шумная.

— Садитесь. Подсудимый Вдовин, а какая необходимость была *ва́м* стрелять?

Витéля встал. Он ещё больше похудел, лицо обтянулось загорелой кожей. Но синие глаза смотрели неистово.

— Необходимость, извиняюсь за выраженье, охранять природу!

С первого ряда выбросил большой палец Гаврилин: молодец! Тут же повернулся к своим, что-то сказал им. На суд инспекция явилась полным составом, обособив целый угол. Ответ Вдовина вызвал там прибойный гул. Прокурор недовольно глянул в ту сторону, но промолчал.

— Хорошо, расскажите, как было дело, — попросил судья.

Витéля вздохнул. Ему уже надоело говорить одно и то же разным людям. Однако человек с отвислыми щеками и большими залысинами внимательно смотрел через очки.

— В то утро я проверял вторую бригаду товарища Стрельникова…

— Гражданина! — крикнул председатель.

— Ведите себя нормально! — одёрнул судья. — Иначе выведем из зала. Продолжайте, подсудимый.

— Дело в том, что за этим… как он там… гражданином! — во-от такой глаз нужен, — Витéля показал глаз с тарелку. — Два раза в последнее время он грубо нарушил установленные правила лова. Нарушил закон. Но выводов для себя не сделал. Вернее, сделал выводы обратные. Рыбаки стали безобразничать скрытно, как шпионы. Поэтому я решил совсем тайно проверить его бригады и поплыл сверху только ночами…

Мошников от удивления открыл рот. Как же законник попал в верховья? Но Вдовин, действительно, спускался сверху.

В последнее время он заметил некоторые странности в делах колхоза. Вылов сёмги шёл с непонятными провалами. День за днём какая-нибудь бригада брала постоянное количество рыбы. Потом вдруг — раз — и наполовину меньше. Витéля сопоставил, что к чему, и, поражённый, понял: его визиты в бригады не являются неожиданностью. Они приходились как раз на дни половинных уловов. А это означало, что за всеми его передвижениями внимательно следят, на каждой тоне знают, когда нагрянет инспектор, и потому часть ловушек снимают, оставляя, сколько разрешено. Как это делалось, Витéля не знал, но, видимо, каждый раз по-разному. Только позднее он сообразил, что, когда они со старшим инспектором шли берегом реки, Мошников не о сенокосе предупреждал Заборщикова через уплывающего на лодке рыбака, а о его, вдовинском присутствии в селе.

Витéля потерял покой. Он извёлся, не зная, что придумать. Наконец, его осенило. Вдовин распустил слух, что сплывает вниз, на побережье. Это, мол, тоже его владения, а он привязался к одной реке и оставил всю остальную территорию без присмотра.

На самом деле побережье не вызывало у инспектора забот. Там у него появились два нештатных помощника, колхозные сейнера промышляли в основном в море, да и народ "на береге" был иной: *совестливей*.

Спустившись к морю, Вдовин выпросил у председателя тамошнего колхоза лошадь. Вроде проехать по берегу, чтоб не болтаться в "дюралькe" (осторожность, подумал Витéля, не помешает). А сам — рюкзак впереди себя — и тронулся вверх по реке.

Дорога, большей частью, шла лесом, но иногда загибала в луга или прижималась к сопкам, которые, чем северней, тем встречались чаще. До этого Вдовин видел берега только с реки и теперь изумлялся простору пустынного края. С сопок, куда он забирался, оставив на тропинке лошадь, земля

напоминала тёмное море с застывшими волнами. То тут, то там стекленели озёра; необжитые леса, перетекая с сопки на сопку, уходили к горизонту, и лишь река нанизывала ожерелье селений, всё более редких к северу. "Сколько тут людей можно расселить! — думал Витéля. — Наверно, от того, что земли много, нет у нас порядка. Но она пригодится (он вспомнил разговор с Гаврилиным) — потомкам пригодится. Без запаса, как можно жить..."

Дорога всякий раз сворачивала в деревни, но Витéля далью обходил их, ведя лошадь в поводу через лес. Только в одном месте, объезжая деревню чмакающей луговиной, Вдовин оказался на виду домов. Какой-то мужик долго провожал его взглядом со двора, однако вряд ли, подумал Вдовин, он мог угадать инспектора: небо затянула тонкая пелена, и в перламутровом свете запасмурневшего дня Витéлина зелёная куртка, наверное, сливалась с цветом луговины, а морская фуражка у поморов не редкость.

В полдень третьего дня Вдовин подъехал к Анниной деревне. Десятка два изб вразброс стояли у реки. В отличие от некоторых селений, где можно было угадать подобие улиц, здесь какой-нибудь один тёмный бревенчатый дом подходил близко к реке, а уже соседний пятился далеко назад. На зелёном пространстве между избами и берегом вперевалку телепались утки; натягивая привязанную к колу верёвку, паслась коза. Вслед вдовинской лошади, подхватывая заднюю лапу, с брёхом кинулась рыжая собака, но тут из сарая выглянул чёрно-лохматый парень и гаркнул:

— Смелый! Башку оторву!

Витéля засмеялся.

— Своих пугает.

— Не говори. Ты чёй-т на таком транспорте?

— Маскировка. А народ где? Косите?

— Косим, косим. Смелому второпе лапу чикнул. Он теперь инвалид, а я ударник труда.

Вдовин понял, что Анны дома нет. Однако, подъезжая к её избе, вдруг издалека заметил дородную фигуру в светлом платье. Анна разговаривала с женщиной, что-то ей показывала за реку.

— Здравствуйте, девушки! — спрыгнул на землю Витéля. — Кому коня на время подарить?

— Можете мне, — радостно подалась к нему Анна. — А то и Валентина не откажется.

— Валентина, если не жалко, пусть меня напоит. А коня вам. Напьюсь, да тронусь. Заждались кой-где.

Анна взяла повод, грозновато прихмурила брови, но, не выдержав, рассмеялась.

— Не опои́ его, подружница! Мышей не будет ловить. Мне вот на покосы — не то проследила бы. А лошадь возьмёте, когда надо.

Через некоторое время Витéля с рюкзаком спустился к реке, под обрывом прошёл вверх до поворота и обнял Анну, ожидавшую его у лодки. Их никто не видел. От деревни скрывал поворот, а к самой воде подходили тальниковые заросли.

С той ночи, когда Вдовин вернулся в избушку, что-то неизвестное раньше закрутило его. Словно подняла Витéлина душа нахлобученную фуражку и, открытая северному солнцу, томительно постанывала от нарастающей страсти. Как только выпадал случай, Вдовин летел на моторке к деревне, крикливо здоровался и говорил со всеми встречными, норовя оказаться поближе к дому Анны. Нашумев, помозолив глаза, возвращался к лодке и, поднявшись за поворот, ждал подругу.

На этот раз она ожидала его.

Витéля выгреб против течения и, когда оказался выше избушки, пересёк реку. Со дня их первой встречи косогор изменился. Анна выкосила всю траву — два бурых стожка стояли у леса. Только возле самой реки высокая трава была нетронута. В ней они прятали лодку.

Витéля выпрыгнул, подал руку женщине. Она мягко улыбнулась, пожала руку нежней, чем всегда. Не отпуская рук, пошли вверх по косогору.

* * *

После первого раза внутри избушки кое-что переменилось. В следующий приезд Витéля привёз в моторной лодке доски, гвозди, инструмент. Был он, как увидела Анна, "рукастый". Мужа сколько ни просила слéги возле огорода поправить, пришлось самой делать. А этот быстро сколотил столик, две скамеечки — не сидеть же под дождём на улице! Поправил на всякий случай печку: вдруг придётся поздней осенью приезжать. Проверил: горела хорошо. Возле неё натянул верёвку — уезжая, Анна развешивала постельное бельё. На одной стене сделал вешалку: топориком узорчато обработал доску, набил в неё гвозди.

Едва вошли в избушку, Вдовин обнял Анну. Она прижалась к нему. Анну нисколько не беспокоило, что Витéля был немного ниже её: она этого не замечала. А вот то, что при одном лишь вспоминании о нём ей становилось жарко, это женщину удивляло. Никогда прежде такого не случалось. Да и был-то Витéля всего второй мужчина в её жизни.

В избушке, из-за маленького оконца, держался слабый полусвет. Но даже будь его меньше, они всё равно разглядели бы каждую складочку на лице близкого человека, потому что ни у него, ни у неё дорогое лицо не уходило из памяти. Анна не чувствовала тяжести тела Виктора, сама подавалась навстречу его губам, смотрела широко раскрытыми глазами в сочную, словно кипящую, синеву его глаз и чувствовала, как подкатывает, лишь с недавней поры узнанное, ощущение сладостного взрыва. Она вскрикнула, и в тот же миг зарычал Витéля.

Ещё какое-то время они лежали рядом. Вдовин гладил плечо Анны, легонько прижимал женщину к себе. Расслабленно проговорил:

— Привёз хорошей колбасы. Встречу отметим… Ведь целую неделю не виделись…

— Мне нельзя, Витя.

— Чего нельзя?

— Выпивать.

— Да какая у нас с тобой выпивка? Оба как воробьи пьём.

— Нисколько нельзя.

Она приподнялась на локте, с волнением сказала:

— У меня будет ребёнок, Витя.

Витéля вскочил.

— Это точно? Сама поняла?

— Не только.

Сначала её насторожила задержка месячных. Но не напугала. В первые годы жизни с мужем такое было два раза. Потом всё проходило, вызывая сначала недоумение, а затем нарастающее раздражение мужа.

— Ты бы, Анька, с подружницами потолковала. Почему у тебе не получаетца…

— Стыдно, Егор, об таком говорить. Это как бы на мужа жалицца.

— Како на мужа! На себя, на себя! Ты пустоцветка!

С того раза Егор стал постоянно корить Анну этим обидным словом. Она лаской встречала его с моря — с мая по сентябрь, иной год дольше он был в Атлантике, и старалась растеплить мужа. Но через какое-то время Егор начинал сердиться, косо глядел на жену и в сердцах бросал: "Пустоцветка ты… Зачем я тебя в жонки взял…" Сначала неуверенно, потом всё твёрже стал заявлять о разводе.

Анна тихо плакала: на люди выносить семейные обиды у поморов было не принято, и, хотя нравы и привычки сильно изменились, порушились, она принимала беду только на себя.

Выросла Анна тоже в деревне, но совсем в другом месте: на Летнем берегу* Белого моря. Сюда прислали после техникума. Дома осталась мать, по-поморски "мамушка", и два старших брата. Отца "взяло море"**, когда он очередной весной ушёл добывать бельков — детёнышей тюленя.

---

* Летний берег – южный, архангельский берег Белого моря.

** Поморы никогда не говорили "утонул", "погиб". Было одно выражение: "Взяло море".

Егор был старше Анны на семнадцать лет. После смерти первой жены недолго повдовел и взял красивую молодуху. С той женой у него не было детей, с этой — тоже. Но винил он не себя. Анна замкнулась, в постели была как в колодках, ласкового слова не слышала, и сама стала деревенеть.

А первая ночь с Витéлей словно все путы порвала. Они оба как сбесились, и это сумасшествие повторялось при каждой новой встрече.

Через некоторое время Анна почувствовала в себе какое-то странное набухание. Будто что-то начало вливаться в неё и распирать всё тело непривычным давлением. Когда задержка перевалила за два месяца, Анна заволновалась. На лодке спустилась в стрельниковское село, откуда в Мурманск летал самолёт. В женской консультации немолодая врач акушер-гинеколог спокойно объявила: беременность одиннадцать недель.

Анна испугалась и обрадовалась. Испугалась: что скажет Егору? А обрадовалась, почувствовав себя настоящей здоровой женщиной.

Врач внимательно посмотрела на неё. Испуг истолковала по-своему:

— Будете делать аборт? Время-то какое пришло… поганое… Не до детей сейчас…

— Ну, цто вы? — с укоризненной улыбкой ответила Анна. — Бог такое сцастье дал.

— Счастье-то счастье, да жизнь кувырком летит.

— При всех бедах с детьми выживали и теперь выживем.

Она ещё не знала, с кем будет выживать. Егор откажется. Виктор вон как смотрит: не ожидал.

— Мне подтвердили в женской консультации, — сказала Анна. — У меня будет ребёнок.

— У нас… У нас будет ребёнок, Анюта.

Вдовин помолчал и вдруг решительно заявил:

— Выходи за меня замуж!

Анна растерялась:

— А как же Егор?

— Ты знаешь: у меня тоже есть. Но у нас с ней жизни не продольные, а поперечные. Всё поперёк. Я беру тебя, Анюта. Пойдёшь?

Анне стало жарко. Только его — этого сурового и нежного мужчину, она хотела видеть и чувствовать рядом. Когда он подходит сзади, целует в шею, раздвигает носом волосы, взволнованно дышит, и она чувствует своей кожей это тёплое дыхание, сердце, словно хочет куда-то убежать. И Анна забывает всё — заботы и проблемы дня, чьи-то косые взгляды. Пусть осуждают. Пусть взбеленится Егор — он давно грозит ей разводом, слова доброго не скажет — всё, как собаку: Анька да Анька.

— За вагана выду взамуж, убежу — не буду жить, — нараспев, озорно произнесла она.

— Кто такой ваган? — насторожился Витéля.

— Приезжий целовек. Так у нас в цастушках пели.

— У меня не убежишь! — хвастливо, но в то же время твёрдо заверил Вдовин.

Вечером, когда в маленькое оконце ударил солнечный свет, они вышли из избушки. Серенькая пелена, которая два дня затягивала небо, кое-где протёрлась; сквозь неё, как сквозь истлевшую ткань, стала просвечиваться голубизна, а на западе полыхал уже совсем чистый, алый закат.

— Отвык ты от домашнего, Витя. Спуститца ба ко мне.

— Не получится. Снизу привезу человека, он лошадь заберёт. Тогда решим, как будем жить дальше. Сейчас надо циклопа проверить. Они думают, меня можно обдурить.

— Боюсь я, Витя, за тебя. Мужики всяко говорят. Мы привыкли, что река наша. Как без рыбы на реке жить?

Вдовин помрачнел, вспомнив лицо Стрельникова, когда на него закричал Гаврилин — испуганное, растерянное, злое. Он не оправдывал председателя и его людей, но в то же время уверенность в правоте собственных действий вдруг скукожилась, из чёткой и ясной стала какой-то расплывчатозыбкой. Где его место в это смутное время? Против кого он? Выходит,

и против Анны? Но Анну он ни в коем случае не хотел терять. Особенно сейчас. Ему захотелось сидеть рядом с ней долго-долго, сидеть в тёплой сумеречной избе, глядеть на огонь печки, слышать, как посапывает ребёнок — их с Анной ребёнок — и никуда не уезжать от всей этой тихой благости. Днём заниматься с моторами — Вдовин даже почувствовал зуд в руках: так они соскучились по металлу, по прохладной солярке, а вечером гладить её загорелую сильную руку, пропускать между пальцами красивые волосы, заглядывать в тёплые карие глаза. Но вместо этого надо ловить нарушителей закона. Закона той страны, которая, судя по событиям в Москве и Ленинграде, уже не способна была спасать даже себя.

Витéля накачал свою лодку. Привязал её к Анниной, деревянной, и они поплыли вниз. Не приставая к деревне, Вдовин перебрался к себе.

Он долго плыл по течению, изредка подправляя лодку вёслами и вглядываясь в берега. Ночи стали густеть, а река то и дело круто поворачивала.

Ближе к середине ночи Вдовин разглядел на берегу чёрное пятно избушки. Это была тоня верховой бригады Заборщикова. Чтобы скоротать время до утра, Витéля пристал к скалистому берегу. Вытащил лодку, сел, прислонившись к скале. Опустил голову на колени и задремал. Близко струилась слабо различимая река. Глубинная стылость скалы знобко холодила спину. Через некоторое время Витéля продрогло очнулся, вскочил на ноги и полез на скалу. Отсюда избушка в бинокль была хорошо видна. Вот из неё вышли четверо мужиков, столкнули две лодки и поплыли проверять ловушки. Вдовин ясно видел их лица, брызги воды, которые поднимала беснующаяся сёмга. Инспектор взволнованно следил за рыбаками. Если пройдут дальше середины реки, значит, ничему он их не научил.

Однако лодки дошли до средины, подержались немного там и повернули к берегу. “Вот так, дорогой товарищ Заборщиков! — весело подумал Витéля. — Понял, что закон нарушать нельзя”. Довольный, он скатился со скалы и, пока в избушке готовили завтрак, быстро сплыл за поворот реки. Там снова пристал, поднялся в лес, сделал на костерке завтрак, отоспался и, едва вкрутую загустели сумерки, тронулся дальше.

Ночью, держась на осторожном расстоянии от берега, Витéля доплыл до главного колхозного села, где жил председатель и где квартировал сам инспектор. В мире и в селе было тихо. Только где-то слабо пупукал невидимый движок. Когда лодка оказалась на траверзе колхозной конторы, Вдовин язвительно улыбнулся и, приподняв фуражку, подмигнул в темноту: “Спи спокойно, дорогой товарищ!”

Избушка мезинской бригады стояла на том же берегу, что и село. Берег тут был пологий и лес довольно далеко отходил от воды. В другое время это могло бы осложнить наблюдение за тонёй. Однако инспектор знал, что вся бережина между лесом и рекой оставалась некошеной: у Стрельникова руки не доходили. В траве Витéля и решил спрятаться. Поэтому, как только он различил тёмное пятно избушки, так сразу же погрёб к берегу.

По пояс трава была сухая, не росная. Вдовин протащил лодку подальше в траву и лёг в неё, скрестив руки на груди. Спать не хотелось, да и времени оставалось мало. Витéля чувствовал это по остылости воздуха и слабеющему мерцанью холодных звёзд. Когда-то он мог различать их порядочно и даже знал некоторые по именам. В школе его прихватила страсть: обучиться на астронома. Витéля начал читать специальные книги, привязанно ходил за молчаливым, постоянно углублённым в свои думы учителем Андреем Павловичем. Потом всё прошло, и теперь Вдовин угадывал лишь Большую Медведицу да Полярную звезду. Он нашёл их взглядом. Ковш Медведицы предрассветно запрокинулся, а неподалёку от него Витéля вдруг увидал незнакомую звезду, которая крупно переливалась зеленоватым светом. Вдовин пригляделся к ней и даже хмыкнул от удивления. Звезда напоминала стрельниковский глаз. Казалось, председатель завис над тёмной землёй, наверное, даже время от времени взмахивает невидимыми крыльями-руками, чтоб распластанно висеть там, в высоте, но сизая темь закрыла всё его тело, лицо, и только зелёный глаз смотрит из бездны, то зажигаясь насмешливо, то вспыхивая гневом, а то вдруг устало притухая. “Тоже не сахар во

рту, — снова подумал Витéля о председательской жизни. — Корма не заготовил… Сёмга в план не лезет. И я поперёк дороги. Устанешь тут", — сочувственно подмигнул он зелёной звезде. "Интересно, каким я ему кажусь с той высоты?" Вдовин не заметил, что начал думать о звезде, как действительно о председательском глазе. "Наверно, и не разглядишь ты меня, Валерий Иваныч…" Витéля вдруг увидел себя как бы с того далёкого расстояния и ужаснулся своей песчинковой малости. Была огромная земля, на которой он лежал, были бескрайние волны лесов, тяжёлый поток, стремящийся в ночи к морю — всё это было большое, вечное и лишь сам он всё быстрей и быстрей уменьшался, пока не превратился в едва различимую пылинку. Некоторое время она ещё подержалась и, наконец, слабо мерцнув, исчезла совсем. "Миг ведь один: наша жизнь, — потрясённо подумал Витéля. — А мы его, к тому ж, друг другу укорачиваем. Жить бы, сколько вон она, тогда можно кусаться. Какое-то время кусаться… Потом мирно жить…"

Неожиданно с реки донёсся негромкий всплеск. Вдовин настороженно привстал. Глазом река отсюда была плохо различима, а бинокль лежал в рюкзаке. Витéля подождал: не повторится ли звук, однако тишину больше ничто не нарушило. "Уже мерещится, ёлки с палкой", — подумал он и снова лёг в лодку. Взгляд опять наткнулся на зелёную звезду. Но теперь, когда всплеск вернул Вдовина к реальности и напомнил, зачем он здесь лежит, звезда вызвала раздражение. "Устал он, гляньте на него! — подумал инспектор о председателе. — В рамку его засунули… Сам не лезь! Так можно чего хочешь оправдать…"

Вдовин не заметил, как звёзды в вышине помельчали, воздух стал совсем холодным, а с травы, когда он нечаянно задел её рукой, сыпанула роса. Пора было занимать позицию: в бинокль избушка виделась совсем отчётливо и между расплывающимися клочьями тумана стала различима чёрно-глянцевая река.

Через некоторое время из избушки вышел мужчина. Зевая, пристроился к углу, потом отошёл, застёгиваясь на ходу, и стал глядеть вверх по реке. "Ждём товарища инспектора?" — злорадно подумал Витéля, следя в бинокль за рыбаком. Тот постоял и ушёл в избушку. Вскоре оттуда появился Мезин, а за ним остальные.

Пока рыбаки садились в лодки, бригадир смотрел вверх по течению. "Странно, — с некоторым беспокойством подумал Вдовин. — Кого они ждут сверху? Неужели кто разгадал мой манёвр или увидел?" Но тут в сетях забилась одна рыбина, потом другая, и Витéля поспешно встал с колен на ноги. В мыслях у него теперь был один вопрос: пройдут или не пройдут лодки середину реки? Если пройдут, то ловушками снова перекрыта вся река и тогда… Что будет *тогда*, Вдовин представил с беспощадной ясностью. Теперь сам Гаврилин не смог бы удержать его от расправы. Стрельниковские пираты двинулись не только против Вдовина. Они пошли против самого Закона пусть разрушаемой, но всё ещё существующей страны, и потому люди в лодках сразу как бы уменьшились, глядеть инспектору на них стало неприятно, и он, уже не считая нужным соблюдать осторожность, выпрямился во весь рост. Лодки, догнав одна другую, некоторое время держались на средине реки. Но вот та, в которой сидел Мезин, круто развернулась и пошла к берегу. Витéля рухнул в траву. Это была победа, но вместо торжества Вдовин вдруг почувствовал неясную тревогу. "Странно всё это, — думал он. — Неужели горбатый до могилы исправился? Но тогда кого Мезин ждал сверху? Нет, надо будет сделать ещё один тайный налёт. Что-то быстро чёрт перековался в ангела…"

Когда рыбаки скрылись в избушке, инспектор надел рюкзак, подхватил надутую лодку и, пригнувшись в высокой траве, пошёл к тому месту, где лес снова выходил к реке. Быстро пересёк реку и поплыл дальше, прижимаясь к самому берегу. Однако тревожная мысль не покидала его. Кого ждали сверху на мезинской тоне? — думал Вдовин. — Мотодору за уловом? Но она приходит позже. Или бригадир посылал с вечера за продуктами? А может, ждали его? — вдруг оцепенел Витéля. Это было невероятно. Кто-то увидел

его. Но где? Значит, к последней бригаде надо подбираться ещё осторожней.

Инспектор решил остановиться как можно быстрей, чтоб никто не заметил на реке. А сделать это он надумал сразу за лесистым мысом, который показался впереди. Вдовин отгрёб к середине, чтоб течение обнесло мыс, и бросил вёсла. Река плавно несла лодку. До мыса оставалось совсем немного, когда Витéле вдруг невероятно захотелось расправить уставшие ноги и спину. Подвигавшись туда-сюда, он с маху откинулся на дно лодки. В тот же миг с мыса оглушительно полыхнул выстрел.

— В Христа-спасителя! — инстинктивно заслонил голову рукой Вдовин, ещё не поняв, в чём дело. — Эй, кто стреля…

Он не успел выкрикнуть последнее слово, как на мысу снова туго грохнуло, и следом раздался звук, словно кто-то ударил палкой по надутой камере. Пуля ожгла борт лодки и булькнула где-то рядом. Послышалось шипенье выходящего воздуха. Витéлю в один миг обдало холодным потом. Он цапнул вёсла и, ожидая каждое мгновенье нового выстрела, отчаянно заработал ими. Лодка вырвалась дальше мыса, и тут инспектор увидел врага. На деревянной лодке к берегу спешил человек в белой кепке.

— Сто-ой! Стой, стрелять буду! — заорал Витéля и выхватил из кобуры пистолет. Но человек только сильней замахал вёслами. Бросив оружие между ног, приналёг и Витéля. Его лёгкая лодка неслась быстрей деревянной, но выходящий воздух делал её всё более неуклюжей. Полуобернувшись назад, чтоб не пропустить момент, когда враг поднимет ружьё, Вдовин грёб частыми рывками. Вдруг что-то в человеке ему показалось знакомым. Витéля подразвернул лодку и обрадованно завопил:

— Сто-ой, Мошников!

Серёга от неожиданности выпустил вёсла. “Сейчас иль стрелять будет, иль выбросит ружьё”, — мелькнуло в мыслях у Вдовина. Едва он подумал об этом, как Мошников быстро нагнулся, протянул руку вниз. Витéля мгновенно схватил пистолет и нажал курок.

* * *

— Вы понимали, Вдовин, что можете ранить человека или даже убить его? — спросил судья, когда инспектор кончил рассказывать.

— Так я ж сначала не в него! Я в воздух. А он, браконьер, не захотел останавливаться.

— Прошу суд обратить на это особое внимание, — энергично заметил прокурор. — Подсудимому, судя по всему, никогда не объясняли (он жёстко глянул в сторону Гаврилина), что браконьерство считается лишь тогда, когда оно документально доказано.

— А какие ещё нужны доказательства? — удивился Витéля. — Он чуть в меня сёмгами не попал.

Выстрелив вверх, Вдовин ждал, когда Мошников поднимет ружьё. Но вместо этого в воду одна за одной полетели четыре рыбины. Тем временем разогнавшаяся деревянная лодка ткнулась в берег, а резиновая Витéлина совсем обмякла, готовая вот-вот набрать воды.

— Лови, морда! — закричал Серёга и, размахнувшись, бросил последнюю сёмгу в инспектора. Брызги обдали Вдовина. Он на миг зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что Мошников уже опёрся о борта, готовясь выскочить на берег. От обиды у Вдовина перехватило дыхание. Он выбросил руку с пистолетом и снова нажал курок. Серёга ошалело вскрикнул, прыгнул на траву и тут же упал, как споткнулся.

— Мы можем верить только фактам, — строго сказал прокурор. — А их нет. Нет резиновой вашей лодки. Может она утонула от того, что вы её сами порвали чем-нибудь. Нет и деревянной лодки потерпевшего. Как доказать, что в ней была рыба?

— Дак он её сам утопил! — воскликнул поражённый Вдовин. Получалась какая-то чертовщина. Неужели прокурор, призванный соблюдать Закон, не верит ему — человеку, Закон охранявшему?

— Неправда это! — быстро сказал Мошников. — Она уплыла, когда я упал. Он мне калбук отстрелил. Сапог был новый, а теперь без калбука — кто он? Просто инвалид — без калбука-то. А он…

— Каблук у вашего сапога, — тихо поправила женщина — народный заседатель, видимо, не выдержав подозрительных Серёгиных причитаний по поводу сапога-"инвалида". — Новый прибить — и вся работа.

— Это как сказать! А он тут про лодку… Он — власть! Ему, знацит, можно всё говорить?

Вторым выстрелом Серёгу так садануло по пятке, что ему показалось: оторвало ногу. Он сгоряча прыгнул и сразу упал. Однако мгновенно перевернулся, сел и хищно оскалил зубы, готовый, тем не менее, поднять руки, если инспектор снова направит оружие. Но над водой виднелась только голова законника в фуражке и поднятая рука с поднятым вверх пистолетом. Смятая резиновая лодка с рюкзаком почти вся погрузилась в воду и уплывала вниз. Серёга вскочил, хромая, кинулся к своей лодке и выдернул весло. Вдовин рванулся вбок, фуражка свалилась, и Мошников увидел, как брошенное им весло пронеслось рядом с белобрысой головой инспектора. Витéля захлебнулся, синие глаза выперли из орбит. Спасая пистолет, Вдовин пытался удержаться на поверхности одной рукой. Но мокрая одежда и полные воды сапоги смертно топили. Видя, что первым веслом промахнулся, Мошников вырвал второе и бросил его в ненавистного человека. От страха снова дрогнула рука. Весло прошло ещё дальше головы инспектора. Тогда Мошников шагнул в воду, навалился на лодку и перевернул её. Рубить концы надо было полностью. На солнце сверкнуло смолёное днище, и лодка канула в быстрой воде. И тут он увидел прямо на него направленный пистолет.

— Сдаюсь! — заорал Серёга, пятясь из реки. — Сдаюсь! Не стреляй!

— Кинь ремень! — захрипел, теряя последние силы Витéля. — Куда, гад?

Почувствовав под ногами не дно реки, а берег, Мошников отпятился назад и прыгнул в сторону.

— У меня вопрос к потерпевшему. Можно? — услыхал Вдовин. Молодой человек: худощавый, высоколобый, в очках, с тонкими губами обращался к судье. Это был адвокат. Витéля не собирался брать никого для своей защиты: слишком ясным было для него двойное нарушение закона — стрельба по нему, инспектору, и браконьерство. Но Гаврилин настоял. "Закон, что дышло", — неожиданно мрачно сказал он, и губы его посинели от ярости. Вдовин рассказал адвокату чуть ли не всю жизнь. Умолчал только про Анну. Молодой человек съездил на вдовинский участок, с кем надо, по его словам, встретился, переговорил. "Дело будет наше, — сказал адвокат. — Заговорщики потерпят фиаско". Однако, к удивлению Вдовина, эта "фиаска", как он назвал её Анне, вроде бы поворачивалась не туда.

— Спрашивайте, — кивнул судья.

— Скажите, Мошников, что вы делали так рано утром на реке?

Серёга насторожился. Вражеский защитник кинул наживку с большим крючком.

— Катался.

— То есть, как катался? У вас что: был выходной день? Или вас отпустил председатель?

— Никто не отпускал. К братану надо было ездить.

— Так вы катались или к брату ехали?

— От целовек! — вспылил Мошников, но тут же взял себя в руки.

— К братану плыл. Выходит, катался.

— Ещё вопрос можно? — спросил адвокат судью. Тот снова кивнул.

— Скажите, Мошников, вас штрафовал инспектор Вдовин за браконьерство?

На щеках у Серёги от гнева выступили красные пятна. К чему этот-то вопрос? О мысе надо говорить. А с мыса он не стрелял.

— Штрафовал. Ну и цто?

— Прошу суд отметить, что потерпевший — назовём его так — уже был известен Вдовину, как злостный браконьер. Это не домыслы, как тут считают некоторые, а документально доказанный факт. Вот протокол. Прошу приобщить к делу. А теперь, если можно, вопрос свидетелю Стрельникову.

— Можно.

— Валерий Иванович, вот вы нам здесь характеризовали потерпевшего Мошникова. Хорошо отрекомендовали, — адвокат чуть заметно усмехнулся. — А как вы сами относитесь к инспектору Вдовину? Личное ваше мнение? Всё же какое-то время, — тонкие губы молодого человека снова тронула усмешка, — скажем так, работаете бок о бок.

Адвокат знал, что Вдовин дважды штрафовал председателя за браконьерство, но решил пока об этом не говорить.

Стрельников разогнул длинное тело, как складной метр распрямил. Скосил зелёный глаз в сторону человека, который зло передёрнулся на отдельном стуле, изображавшем скамью подсудимых. "У-у, дьявол неукротимый! Искипелся весь, аж мясо к костям присохло, а мира не просит", — с прежней неприязнью и в то же время с каким-то новым чувством, похожим на уважение, подумал Валерий Иванович.

Когда он узнал о стрельбе на реке, то поначалу струхнул и расстроился. Не хватало ещё задержания колхозника с применением оружия. В верхах могли что угодно пришить. Страна хоть и трещала по швам, но начальство на своих местах оставалось. Однако встретив участкового милиционера Виктора Мошникова, не то двоюродного племянника, не то троюродного брата Серёги — в родственных связях поморов не разобрался бы ни один следопыт, Валерий Иванович кое-что понял. Оказалось, милиционер не нашёл на мысу никаких следов. "Скажи, не искал, — насмешливо подумал председатель. — Тоже мне — расследователь. Не ангел же стрелял!" (Что в инспектора стреляли, Валерий Иванович не сомневался, но вслух об этом говорить не стал). Как объяснил милиционер, канули в пучине реки и обе лодки, по которым можно было что-то установить. Оставалась стрельба Вдовина просто так, за будь здоров, а это, смекнул председатель — опасное преступление. "Если не осудят, — подумал он, — то хотя бы припугнут. Тогда этот припадочный (так про себя Стрельников называл Гаврилина), должен будет убрать Вдовина. Ведь совсем жизни законник лишил..."

После второго штрафа Стрельников собрал бригадиров.

— Попадётесь — сами распахивайте карманы. Мне за вас в тюрьму идти не хотца. Но план штоб был. Он не мне одному нужон. Будет план — подкинут нам денег. Помогают умеюшшим людям, а ленца́м, которы у́хи скребут, — во!

Он показал кукиш.

— Однем словом, глядите за Вдовиным, как за жонками своими. Кто увидит — сей момент передать дальше.

С того дня все передвижения инспектора стали под контролем.

Но в последний раз Стрельников сам спутал карты своим подчинённым. Когда Вите́лю негласно проводили до устья реки, он через некоторое время позвонил председателю-соседу. В разговоре о том о сём, как бы между прочим, спросил про Вдовина. "Уехал, — ответил сосед. — Берег осматривать. Я ему лошадь дал".

Это окончательно успокоило Валерия Ивановича. Ему оставалось немного, чтобы чуть-чуть перевыполнить план. Особо зарываться теперь Стрельников не хотел: надоело висеть на ниточке над пропастью. И вдруг к председателю домой — он как раз обедал — прискакал гонец. "Валерий Иваныч, Вдовина видели! К верховьям на лошаде́ проехал. Сторожко ехал! Слава Богу, Гавкунов Семён вышел во двор по нужде и как раз Вдовина увидал".

Председатель бросил ложку в тарелку. Брызги супа упали на штаны, расплылись по ним жирными пятнами. Стрельников выругался и заорал на удивлённого вестника, чтобы он — раззява — "сей же момент" летел на моторке по тоням с предупреждением.

В тот миг Валерий Иванович, дай ему волю, своими руками утопил бы маленького плотненького человечка, перегородившего колхозу путь к благу. Но сейчас, глянув на похудевшее, осунувшееся лицо Вдовина, на вылинявшую фуражку с тусклым "крабом", которую Вите́ля нежно гладил на коленях, Стрельников неожиданно почувствовал какую-то трещинку в своём обычном отношении к инспектору. "В чём же эт он виноват? — подумал

вдруг Валерий Иванович. — В своей такой работе? Однако он её делает, как по закону надо. Поставь меня туда, и я так должон буду делать. Его на моё место поставь — я буду его так же ловить. Мы друг друга будем ловить, пока вверху не разберутся, где середину палки найти и как на обоих концах поровну висеть. Что от реки осталось? План, план… Они там вверху разве не знают, сколько сёмгов берём, сколько её остаётся? Так нет, давай им больше… А сёмга — не болты. Для тех железа больше привёз — и точи больше. Хоть три плана… Это вам не река живая. Тут надо с ложкой, а мы по сей день с поварёшкой…"

— Я, может, непонятно сформулировал свой вопрос? — напомнил адвокат. — Личное ваше мнение…

— Не пойму, какое это имеет значение для данного дела? — встрял прокурор, но судья не отреагировал.

— Если надо, я скажу, — ответил Стрельников. — С мыса, похожа, стреляли. Я этого не утверждаю, но могли. Скорей всего не наши, — на всякий случай добавил он. — Очень уж товарищ Вдовин круто повёл дело (председатель не заметил, что назвал Вите́лю товарищем). Надо иногда разобраться, откуда идёт нарушение правилов рыболовства. А он сразу: цап-царап!

Стрельников дипломатничал изо всех сил. С одной стороны, ему не хотелось говорить, что расследование шло никудышно. Верней сказать, не было никакого расследования. Но начнись оно — и неизвестно, куда кривая выведет.

С другой стороны, ныла, как царапина, появившаяся трещинка. Браконьерил, конечно, Серёга — председатель знал это не хуже других в селе. Однако выйдет сейчас Вдовин из суда, и снова прощай нормальная жизнь. Поэтому Валерий Иванович опять помрачнел.

— Суровый он очень — этот наш инспектор. Можно сказать, злой человек. И всё твердит: "Закон, дорогой товарищ! Закон". Законом надо пользоваться осторожно. Как, к примеру, пистолетом. Вот чего я могу вам сказать.

* * *

Из судейского здания инспекция выплеснулась валом, прорвавшим плотину. Напереживались мужики и теперь, кто курил, жадно задымили. Ветром дым нанесло на Вдовина. Он поморщился, махнул рукой у носа. Было зябко. Маленькие, будто взрывом размётанные облака, быстро неслись по небу, то и дело закрывая солнце. Холодно блестели лужи. Порывы ветра время от времени кособочили берёзку во дворе судейского дома, надувая жёлтым парусом её листву. Вдовин запахнул куртку. В суде он вспотел и теперь, остывая, снова почувствовал недавнюю слабость и ломоту.

— Ну, бутылка с тебя, Виктор Николаич! — весело приобнял Вдовина широкоплечий лет двадцати пяти парень, с круглой стриженой головой и серыми, навыкате глазами. Он недавно поступил в инспекцию, и Вдовин мало знал его. Известно было, что Андрей Сыромягин — так звали парня, был десантником, служил сверхсрочно. После побоища в Тбилиси, в апреле 89-го года, когда на безоружных солдат напала толпа подготовленных головорезов, его ударили ножом в спину. Солдат долго лежал в госпитале, а выздоровев, сразу комиссовался. За работу в инспекции взялся основательно и, как рассказал Вите́ле Гаврилин, через полмесяца после прихода, один повязал троих браконьеров с оружием.

— Уделал их адвокат, — всё так же с весёлой улыбкой продолжал Сыромягин. — Распластал, как сёмгу… только что не посолил… А этот, собака — прокурор! — чёй-то он на вас, Альберт Петрович, удочку закинул?

У старшего инспектора дёрнулась щека.

— Узнал откуда-то, что меня также судили. У Вдовина обошлось, а мне браконьёры подстроили.

Ноздри его тонкого носа раздулись и побелели.

— Тут сёмга, а на Каспии осётр. Банда, которую мы накрыли, таких "шишек" кормила, каких вы в глаза не видели. Три года мне сначала дали.

— И вы их… это… отсидели? — спросил в наступившей тишине Карнаухов.

Лицо Гаврилина перекосило.

— Москва им всё поломала. До Верховного суда обращался.

— Вот он, какой закон, — растерянно сказал Вдовин, думая не столько о Гаврилине, сколько о себе. Он был потрясён и даже к оправданию в суде не знал, как относиться. Удовлетворён был, конечно, что прокурору, который требовал посадить Витéлю, адвокат и судья с народными заседателями, по словам Гаврилина, "дали в зубы". Но всего лишь час назад его могли приговорить к тюремному сроку. И это его, почитающего Закон больше, чем родню и друзей! А, главное, кто?

Когда заговорил прокурор, Витéля сначала ничего не понял.

— Нам надо отказаться от карательных законов советской власти по отношению к простым людям. Кому принадлежат природные ресурсы? Народу. А ему не дают пользоваться этими дарами в полной мере. То есть, попирают основные принципы демократии, которая говорит: все равны и все имеют равные права. Пусть люди берут, сколько хотят! Пускай, сколько им надо, ловят рыбы, бьют зверя, добывают другой дичи. Также и с остальными природными богатствами! Вот какие законы должны быть, а не те, к которым нас пытаются вернуть в этом суде. Подобная попытка недавно уже была. Я, имею в виду хунту заговорщиков под кличкой ГКЧП. Но народ отверг этих людей. Они потерпели поражение, как раз потому, что хотели, путём государственного переворота, сохранить прогнившую власть и её законы. Демократия победила!

Витéля слушал, недоумевая. Человек в синем мундире в его представлении, должен был выражать позицию государства. А что ж это за позиция: уничтожать общегосударственные ресурсы подчистую? Да такого в нормальном мире нет нигде! О чём он говорит — этот пузан?

Но когда прокурор назвал какую-то статью и бухнул: требую для Вдовина лишения свободы, Витéлю прошиб липкий пот. Этого он не мог даже в жутком сне представить. Его дважды чуть не убили, и он же виноват? Потерявший соображение Витéля хотел плюнуть в сторону мужчины в надутом, словно футбольный мяч, синем мундире, но во рту было сухо. Язык царапал нёбо, и губы окаменели.

Потом встал адвокат — худощавый молодой мужчина, в тонких, золотистых очках, светловолосый, в голубом костюме и без галстука.

— Четыре месяца назад вы говорили совсем другое, Виктор Викторович! — с усмешкой сказал он. — В процессе над браконьером Зуевым требовали именно ему трёх лет колонии. Однако сейчас поменяли свои убеждения на прямо противоположные. Почему?

— Потому что новая, демократическая власть отбрасывает прежние законы. И я готов служить ей. Служить демократии.

Прокурор уже давно работал в этом небольшом городе, и ему надоело здесь прозябать. Он считал, что заслуживает более высокого поста, но в областной прокуратуре не замечали его способностей. Теперь надежда была на новую власть.

Адвокат осуждающе покачал головой и заговорил.

— Менять свои привязанности так же легко, как это делают девицы определённого поведения, личное дело любого гражданина. Может, душевный удар разбил человека. Может, засветила выгода. Хуже, когда это делают публичные люди. Вчера они внушали обществу, тому самому простому народу, что надо идти налево, а сегодня говорят, что путь к счастью — это дорога направо. Как им после этого верить? Тем более, что их новые призывы грозят большой бедой этому самому простому народу.

Что такое: "Пусть берут, сколько хотят"? Вся история человечества показала: если не регулировать изъятия из какого-нибудь природного ресурса, очень скоро от него ничего не останется. Исчезнет ресурс!

Но это одна сторона дела. Призыв: брать, кому что захочется, открывает дорогу к глобальному расхищению общенародных богатств. Определённые группы лиц, путём сговора, опираясь на предлагаемое беззаконие, могут

взять себе в собственность не две-три сотни рыб, а все реки с их содержимым, не одного-двух лосей, а миллионы гектаров лесов вместе со всем животным миром, а заодно и древесиной. А там недалеко и до других богатств: нефти, газа, золота… Простым людям, о которых вроде бы заботится уважаемый Виктор Викторович, останется только с завистью, а потом с ненавистью смотреть на богачей. Ведь они взяли, что захотели. И никто, никакими законами их в этом не ограничивал.

Поэтому работа рыбинспектора Вдовина — государственная работа. В интересах как раз простого народа.

Эти слова немного приободрили Витéлю. Добавили надежды характеристики: от начальника депо и председателя профсоюзной организации, которые вслух прочитал адвокат. Витéля слушал и удивлялся — написано вроде о нём, а звучало, будто о другом человеке: честный, надёжный товарищ, профессионал высокого класса. Выступили свидетели: из депо мастер Антипов, от инспекции Гаврилин и Федотов. Евгения Витéля не звал. Его пригласил адвокат. Федотов сначала сел в стороне от инспекторов. Но, рассказав о принципиальности Вдовина, о его ставших широко известными словах: "Закон, дорогой товарищ! Закон!", о неутомимости бывшего напарника, Федотов пересел поближе к своим прошлым коллегам.

После совещания с заседателями судья объявил, что состава преступления в действиях Вдовина суд не установил, а насчёт выстрелов с мыса дело направляется на новое расследование.

— Вот на это ты не надейся, — махнул рукой Федотов. — Никто такой ерундой сейчас заниматься не будет. Когда мы свои законы создадим, тогда будет порядок.

— А если они не понравятся людям? Как тебе советские законы… Соберутся люди и захотят сковырнуть вашу власть.

— Пусть попробуют! Мы церемониться не будем. В отличие от тех… с трясущимися руками из ГКЧП. Власть надо твёрдо держать в руках. Сейчас проведём чистку: кто идейно готов быть на стороне путчистов (Федотов недобро посмотрел на стоящего рядом Гаврилина), с теми отдельный разговор. А кто случайно оказался на той стороне… как ты… таких, может быть, простим.

— Я не случайно, — закашлявшись, произнёс Вдовин. — Сознательно.

— Ты ещё не понимаешь, кому служил. Приходи завтра к пяти в горком партии. Увидишь людей новой власти.

Федотов засмеялся:

— В бывший горком, бывшей партии.

Витéля неопределённо пожал плечами и, попрощавшись с обоими: с Гаврилиным за руку, с Федотовым — кивком, пошёл за остальными к выходу из судейского двора.

И тут за редким штакетным забором увидел стоящую мать. Он скоренько засеменил к ней. Перед судом заглянул домой. Всё там было, как несколько месяцев назад. Посреди кухни на подножке стоял мотоцикл без переднего колеса. Только корытце с соляркой мать вынесла в сени. Солярка высохла и болты-гайки покрылись чёрной грязью, липкой даже на вид. Люська один раз привела внучку к бабке — это вскоре после Витéлиного отъезда — и больше не появлялась.

— Ты была там?

Вдовин показал на здание суда. Он не заметил мать — наверное, притаивалась на задних рядах. Народу было много — Витéлю в городе знали, да и не каждый день судят не браконьера, а рыбинспектора.

— А где ж мне быть, когда такой причудник уродился, — печально сказала мать. — Христом Богом прошу, Витька! Брось ты эту заразу — работу. Посодют тебя, сынок. Али цево хуже — убьют. Зацем она тебе: людей ловить? Не поп, дак не лезь в ризу*.

— Опять двадцать пять.

Витéля закашлялся.

— Вот-вот. Цево бухашь-та? Пойдём домой, Витька, пойдём. К Люське сходишь, она обдумаетца. Доцка при живом отце сирота.

---

* Риза — верхняя одежда священника, надеваемая перед началом службы.

— Некогда, мам, — вяло проговорил Витéля. — Несколько дней участок без глазу.

Мать всплеснула руками, уронила их на худые бёдра.

— Да за што ж ты меня, Господь, наказал? Люська разводиться собралась. Насовсем! Ты хоть понимаешь, али нет? Ох ты, Господи Боже мой, за што ж ты мне такую мученью сготовил? Не сын, а наказанье Божье. Зима скоро, а возле избы дрова не пилёные.

Витéля помрачнел. Ему стало жалко мать. Она редко плакала у него на глазах, была сдержанной до суровости, обычно страдала молча, сжигая муки в себе, но тут голос у неё дрогнул, и сын почувствовал близость слёз.

Они рано остались вдвоём. Хотя мать иногда говорила, что "отец ранетый был, за такого причудника воевал", на самом деле в момент ранения старшина морской пехоты Николай Вдовин ещё ни о жене своей будущей, ни о сыне не подозревал. Когда немецкая автоматная очередь прошила его наискосок — от левого колена до правого низа живота — Вдовину-старшему шёл двадцать второй год. О Победе он узнал в сухумском госпитале, где страдал не только от ран, но и от тоски по северному своему Поморью.

Витéля родился через восемь лет после войны, а когда заканчивал второй класс, умер отец. Достали раны и тяжёлый рыбацкий труд. Во время весенней путины мотобот бросило на песчаную косу — наволóк, бригадир Вдовин остыл в ледяной воде, и вскоре его похоронили на каменистом кладбище.

— Ты... эт... не моргай, не моргай, — дотронулся он до материного плеча. — Мне, наверно, отгулы положены — надо спросить у Гаврилина. А Люська — чего Люська? Она чуть что — подол задерёт — и к матери. Поперечные наши с ней жизни, не продольные. Ты иди домой. Я в инспекцию схожу, поговорю с Гаврилиным.

Он помолчал, насупился.

— Думать надо. Думать... А то лезем, в самом деле, из шкуры... Скоро свою снимем. А кому эт надо?

* * *

На следующий день, с утра, Вдовин взялся споро кроить бензопилой "Дружба" кривые берёзовые стволы на чурки. Потом колол их, складывал дрова в поленницу под навесом. Временами горло начинало саднить и Витéлю — до пота, до хрипоты — охватывал кашель. Он отдыхивался, остывал и снова брался за топор.

Закончив с дровами, поставил на мотоцикл колесо, выкатил машину в сарай.

К пяти часам пришёл в горком. В зале заседаний мест на сто пятьдесят возле первого ряда сгрудилась небольшая кучка людей. Кое-кто стоял, но большинство сидели. Одни — демонстративно по-хозяйски, другие — наоборот, не очень уверенно вжимались в кресла, словно случайно заняли чужие места. Федотов увидел Витéлю, замахал руками:

— Входи, входи! Господа! Это Вдовин Виктор Николаич.

И так легко у него получилось произнести слово "господа", что Витéля изумился: будто всю жизнь Федотов только и называл людей таким образом.

— Знаем, — сказал черноволосый мужчина с физиономией бульдога, сидящий неподалёку от Федотова. Витéля посмотрел на его приплюснутый нос, на обвислые щёки, пытаясь вспомнить, кто такой. Не припомнил, но на всякий случай кивнул.

Пока шёл к Федотову, оглядел группку. В ней в основном были мужчины. Женщин только две. Одна — с лицом замкнутой богомолки: бледным, не знающим никакой косметики, с сине-фиолетовыми губами и белесыми бровями. Однако взгляд её холодных светлых глаз совершенно не соответствовал смиренному облику: был злым и требовательным. Другая женщина, словно специально была подобрана в качестве антипода первой: смуглое лицо, грубо выкрашенные в чёрно-каштановый цвет прямые волосы, лихорадочно горящие чёрные глаза. Она восторженно глядела на среднего роста, округлого

мужчину, который, стоя перед всеми, раскручивал с древка российский трёхцветный флаг.

— Мы с вами, господа, являемся не просто свидетелями великого события, — говорил он. — Рушится тоталитарная советская система. Мы — участники исторических дел.

— Кто это? — спросил Вдовин Федотова, садясь рядом.

— Наш лидер — Борис Семёнович Самойлов.

— Один из лидеров, — громко заявил услыхавший Федотова мужчина, похожий на бульдога. — Демократия и культ личности не совместимы.

— Это он тебе рассказывал про доллары и всё остальное? — тихо спросил Витéля.

— Да. Большой человек.

В этот момент Самойлов выразительно поглядел на "бульдога" и заявил:

— Правильно, Геннадий Петрович! У нас коллективная форма принятия решений. Вот коллектив поручает вам заменить красный советский флаг на российский триколор. Я верно передаю ваше мнение, господа?

"Господа" одобрительно загомонили. Особенно эмоционально выражала свою поддержку темнолицая, как мулатка, женщина. Она хлопала в ладошки, привскакивала с места и, казалось, готова броситься к Самойлову, чтобы обнять его. Вдовин понял: коллективом здесь является Борис Семёнович.

— Кто эти люди? — спросил он Федотова.

— Ядро новой власти. Но нам нужны такие, как ты. Иди к нам, Витéля! Начальником милиции.

— А может, уж сразу начальником города? — с насмешкой спросил Вдовин. — Всё равно у меня ни того, ни этого уменья нет.

— Оно и не нужно. Смотри: в Москве и Ленинграде власть берут люди без уменья.

— А если те из прежних, кто пока стоят у власти, начнут сопротивляться?

— Не начнут. Понимают, что к чему. Мы кто? Мы — кипящая уха. А они — пена. Что делают с пеной? Выбрасывают.

— Господа! Идёмте менять символы власти! — громко призвал Самойлов. — Поднимем новый флаг. Берите, Геннадий Петрович! Лестницу уже принесли.

Черноволосый неохотно взял палку с трёхцветным полотнищем: он ещё не привык подчиняться Самойлову. При выходе образовалась толчея: на улице стоял фотограф, который должен был запечатлеть торжественный момент смены власти, и каждому захотелось оказаться первым среди участников великих дел.

— Они все, как мы с тобой, беспартийные? — спросил Вдовин.

— Большинство были в партии. Но отреклись от неё.

— А-а-а! Тогда понятно... Так же продадут и вас.

К вечеру мать испекла пироги. Сын стал редким гостем — хотелось придержать его. Сухое материно лицо трогала едва заметная улыбка — после разговора у суда затеплилась надежда: может, Витька бросит дурную работу и вернётся домой?

Отмяк и Витéля. С усердием налегал на пироги. "Права Анюта, права. Отвык я от домашнего", — подумал он, по давней привычке выедая сначала начинку: тёмную чернику, оранжевую морошку и алую бруснику.

Вспомнив Анну, заколебался: сказать — не сказать? Решил сказать. Но начал с вывертом.

— Значит, Люська надумала совсем разводиться?

— Совсем, совсем. Да и какáя жена вытерпит такую жисть? Эту твою работу, — она хотела сказать: "поганую", но побоялась обозлить сына, — не людскую?

— Есть женщины, есть, — раздумчиво проговорил Витéля. — Любую трудность вынесут... если душевно привязаны.

Он помолчал и, как в холодную воду прыгая, объявил:

— А если я новую жену привезу — примешь?

От изумления мать остановилась посреди кухни и онемела. Потом её прорвало:

— Иль очумел там совсем? При законной-та жене новую брать! Да ты ту́рка што ль многоженец?

— Ладно, ладно! — остановил мать Вите́ля. — Там ещё ничего не известно, а ты уже… причитать.

Подошёл к матери, погладил плечо.

— Она — хороший человек, мам. Если согласится, тебе понравится. Сразу привезу.

Хотел сказать: на руках принесу — несмотря на невеликий рост, Вите́ля был силён, как штангист-тяжеловес, однако говорить раньше времени поостерёгся. Всего лишь добавил:

— Главное, чтобы решилась.

* * *

Пока пассажирский катер выходил из узкой горловины залива, на верхней палубе толокся кое-какой народ. Вите́ля сидел на скамейке, вжав голову в плечи и обхватив себя руками, чтобы согреться. Кашлять он стал надрывней, к тому же появилась ломота, которая исходила как будто из костей и с ноющим теплом растягивала мышцы.

Мимо Вдовина процокали каблучками несколько хорошо одетых девушек. Подошли к стоящему на носу бородатому мужчине в кожаном коричневом пальто. Он что-то стал говорить им. Девчата весело, но внимательно слушали. "Студентки с преподавателем. Едут записывать поморскую речь". — решил Вите́ля, которому не раз рассказывали в разных селеньях о таких экспедициях.

Гладкая поверхность залива незаметно осталась позади. Море стало взъерошиваться. Залив, по-поморски "губа", расширился, правый берег круто пошёл в сторону, а ближний левый, вдоль которого с волны на волну нырял судёнышко, затянула сизая пелена. Тихая, защищённая сопками, часть залива кончилась, и холодный ветер порывами налетал из "губы".

На скамейку, рядом с Вите́лей, осторожно присел Стрельников. Поздоровался. Вите́ля ответил и тут же начал кашлять.

— Спустился ба вниз, — сказал председатель. — Там теплей.

— Штой-то ты об моём здоровье озаботился, Валерий Иваныч?

— Дак ведь человек ты. Работаем вместе, как сказал адвокат. И на одной земле живём.

Председатель поглядел на море, с тревогой покачал головой:

— Ветёр губной, дак не рыбной. Гляди, какой взводень* поднял.

Волны, сначала тугие и округлые, как желваки на скулах просыпающегося великана, быстро росли. Вершины их остре́ли, и ветер, срывая белую водяную кипень с вершин, вдобавок к холоду, обдавал ещё и влагой.

— Успеешь взять своё. Та сёмга, котору ветер в море отгонит, хоть поживёт ещё.

Стрельников помрачнел, сдвинул светлые брови.

— Ты думаешь, лично мне она нужна — эта сёмга? Да я её на столе видеть не могу! Как тот мужик… таможенник, кажись… помнишь кино "Белое солнце пустыни"? Видеть не мог чёрную икру — так и я сёмгу.

Катер причаливал к прибрежным деревням, быстро высаживал людей и немедленно трогался дальше. После остановки в селенье, которое стояло на берегу моря и одновременно в устье большой реки, сошли Стрельников с Вдовиным. Им от моря до своего села надо было добираться рекою. Поэтому Валерия Ивановича ждал катер, на котором председатель колхоза и рыбинспектор помчали вверх по реке.

Когда прибыли на место, уже стемнело. Вите́ля плохо держался на ногах. Тем не менее, отказался от предложения председателя сначала зайти в медпункт, а потом — к хозяйке.

---

* Взводень — высокие волны.

— У меня есть аптечка. Там всё, что надо.

Увидав Витéлю, старуха хозяйка обрадовалась.

— С приездом, паря. А то у меня рот завонял. Не проветриватца. Сижу одна. Слова сказать некому.

Однако увидев состояние квартиранта, встревожилась.

— Ой, да тебе неможетца.

— Простыл я, Мефодьевна. Но у меня есть таблетки. Выпью — пройдёт.

— Каки таблетки! Ложись, ложись на свою постелю.

— В баню бы мне.

— В баню не можно. У нас свои лекарствы.

Витéля лёг и как поплыл куда-то. Мефодьевна для начала дала чай с малиной. Потом нарезала чёрную редьку тонкими пластинами, положила в банку, засыпала сахаром. Не сильно помяла. Образовался сок. Его стала давать Витéле каждый час по столовой ложке.

— Это от кашля тебе.

При этом не переставала поить чаем с малиной.

— Потеть, батюшко, надо, потеть. Дай-ко ноги-ти подтыкну, — сказала хозяйка, подворачивая одеяло под ноги Вители. — Бог дал болезнь, даст и подмогу.

Она хлопотала: сухая, высокая, казалось, заденет за что-то рукой и раздастся звук, как от лёгкого удара по высохшему дереву. Но лицом была уже не такая суровая, какой была, когда Вдовин провожал Федотова. Теперь выцветшие голубые глазки смотрели заботливо, с переживанием за Витéлю.

А он то проваливался в какую-то жаркость, то выплывал из забытья, улавливая не всё, происходящее вокруг, а отдельные детали. Однажды, лёжа с закрытыми глазами, услыхал негромкий бабкин голос:

— Царь лесной, царь земной, царь огненнóй, заговори у раба Божыя Вихтора все шшипóты*, все ломоты, все досады, все болезни.

Витéля мысленно улыбнулся, шевельнул рукой под мокрым от пота одеялом. Мефодьевна увидела, погладила одеяло.

— Сейчас ишшо одно хорошее лекарство дам. Мы им завсегда хворобых пользуем.

Подала стакан с какой-то мутноватой жидкостью

— Это что такое? — слабо спросил Вдовин.

— Пей, пей. Сосновые почки.

Витéля выпил горький отвар. Откинулся, закрыл глаза.

— Поспи, паря. А я ишшо поколдую.

Выздоровление пошло быстрее, но всё равно слабость держалась. В уборную еле доходил, а вернувшись, падал на кровать и забывался. Как-то днём услыхал, как Мефодьевна кому-то говорит:

— Два дни лёжкой лежал. Не мог подняцца. Кóлотье** сильно было. На ум пало: не дай Бог стрéльё*** пошло. А ты ему кто будешь?

— Вроде как жонка.

— Мушшина без жонки, как голова без шапки. Он можа и безмилостивый потому, как жонки рядом нету.

Витéля открыл глаза и сердце заколотилось. В избе стояла Анна.

— Анюта…

— Лежи, лежи, Витя! Бабушка говорит: тебе легче стало.

Она придвинула табуретку к кровати, положила руку на обросшее светлой щетиной лицо Витéли. Мефодьевна вежливо вышла из избы.

— Как ты попала сюда?

— Это не трудно, когда хочешь человека найти.

Ни Анна, ни Витéля даже в мыслях не произносили слово “любовь”. Они, как миллионы других людей, и объяснить бы не смогли, что такое ЛЮБОВЬ. Желание видеть всё время рядом дорогого человека? А почему он дороже, чем другие? Вроде такой же, как все. Но это всего лишь вроде.

---

* Щипоты — сильные пощипывания, вызывающие боль.

** Колотье — ломота в теле.

*** Стрельё — воспаление лёгких с мучительным, болезненным кашлем.

Другие глаза, другие губы, другой нос… И почему от его голоса, от прикосновения руки начинает сильнее биться сердце, а потом оно же замирает чуть ли не до остановки, когда этот человек обнимает?

Анна знала, чем закончился суд. Витéля позвонил ей из инспекции. Сказал: приедет на свою "базу" в стрельниковском селе и сразу проскочит к ней. Но день проходил за днём, а дорогого человека не было. Может, его задержали в инспекции? Она позвонила Гаврилину. Тот сказал: уехал Виктор Николаевич к себе на участок. Подождав ещё, позвонила председателю колхоза. Стрельников объяснил, что Вдовин сильно заболел. Анна на моторке понеслась вниз по реке.

Когда Мефодьевна закрыла дверь, Витéля приподнялся на локте, а другой рукой попробовал обнять Анну. Но она почувствовала: ему трудно.

— Ложись, Витя.

Сама приблизила своё лицо к его лицу, губами коснулась небритой щеки. Витéля притянул женщину, поцеловал. Ему никогда и никого не было так приятно целовать: ни Люську, ни проходящих подружек.

— Анюта! Ты мне тогда не ответила: пойдёшь за меня замуж? Я этого хочу. Очень…

— И я хочу. Но надо как-то решать с Егором. Он скоро приедет.

— Вот и хорошо. Разберёмся.

Анна посмотрела ему в глаза. На исхудавшем лице они светились радостью.

— Глаза у тебя, Витя, как два синих кусочка неба. В конце апреля такое бывает.

— Вот и дети будут — один с твоими, тёплыми, вторая — с моими, прохладными.

— Ты уже на двоих нацелился?

— Это — минимум. А надо — три-четыре…

* * *

Егор позвонил из Мурманска. Сказал: жди, вылетаю. Когда звонил, хотел со смешком повторить слова некоторых товарищей, которые ещё из моря дают домой такую радиограмму: "Скоро буду. Выбрось из пепельницы окурки". Дескать, чтоб следов любовника не осталось. Но то радиограмма, а тут живой разговор. Егор соскучился по Анне. Однако только как по женщине: столько месяцев жонки не видал. Другие, кому повезло, разговлялись с буфетчицей, с обработчицами рыбы на рыбоприёмном судне. "Кому моя пустоцветка нужна?" — думал он, то желая быстрей её увидеть, то закипая от раздражения.

Приехав, первым делом стал обнимать. Но Анна сторонилась, сжималась, наконец, выговорила: "Нельзя мне, Егор. Низ живота болит".

Егор разозлился, снова обозвал пустоцветкой, да ещё гнилой.

— Зачем я тебя только взял? Брошу.

Анна побледнела:

— Это я тебя брошу! Прямо сей день!

— Ах так? Давай отчаливай.

Анна собрала вещи. Когда Егор пошёл по соседям, позвонила в стрельниковскую контору. Председатель оказался на месте.

— Валерий Иваныч! Скажите Виктор Николаичу: звонила Анна. Передайте: она готова.

— К чему готова? — с любопытством спросил Стрельников.

— Он знает.

После приезда Анны к больному Витéле он стал здороветь не по дням, а по часам. Пришедший к Мефодиевне председатель удивился: в избе сидел прежний здоровяк, только похудевший и с каким-то необычно добрым взглядом.

— Тебе звонила Анна. Говорит: она готова.

Собравшись на реку, чтобы отправиться в Аннину деревню, Вдовин усадил хозяйку за столом для разговора.

— Спасибо тебе, Прасковь Мефодевна, за лечение. И вообще: за всё тебе большое спасибо. Я вот тут деньги тебе оставляю: за три месяца вперёд.

— Зацем так далёко? Али собрался уходить?

— Собрался, Мефодевна. Не нужен новой России закон. А значит, и я ей не нужен.

Витéля вошёл в избу Анны, когда пьяный Егор пытался повалить её на кровать. Она отталкивала его, изворачивалась, выкрикивала: "Уйди!".

— Что тут происходит? — строго гаркнул Вдовин. Он был полностью готов к дальней дороге: одет по форме, с пистолетом на боку — фуражку с "крабом" снял, когда входил в избу.

— Это ишшо кто такой? — отпустив Анну, уставился Егор на Вдовина.

— Давай по-хорошему, Егор, — сказал Витéля. — Тебе Анюта не нужна, а мне — так очень.

— Анюта? — пьяно пробормотал Егор. — Эта корова — Анюта?

Он снова направился к Анне, толкнул её и размахнулся, чтобы ударить в живот. У Витéли на миг остановилось дыхание. Среди его различных увлечений был период бешеной влюблённости в борьбу самбо. Не одного товарища потерял он тогда из-за желания показать приёмы, а машинисты, как только Вдовин заговаривал про самбо, сразу заявляли: только без показа, нам руки для работы нужны.

Витéля подскочил к рослому Егору, перехватил его руку и так выкрутил её, что мужик взревнул от боли.

— Ты куда, стервец, наметился бить? — в ярости крикнул Витéля. — В человеческую жизнь!

Уже одного приёма было достаточно, чтобы Егор отвалился от Анны. Но озверевший Витéля отпрыгнул на шаг и с разбега ударил головой в солнечное сплетение Егора. Тот сразу рухнул и затих.

— Витя, Витя! Ты его убил!

— Нет, Анютик. Очухается скоро. Хотел по ребёнку нашему... Ты всё собрала? Только одежду свою возьми. Остальное брось.

Анна показала на небольшую сумку.

— У меня тут, Витя, цайная кружка и ложка цайная. Любимые. Ишшо из маминого дома привезла.

— Их возьми. Всё другое оставь в прошлой жизни.

Мать встретила сына и женщину с ним без скандала. Поняла: если начнёт ругать обоих, сын уйдёт к кому-нибудь на квартиру. Да и понравилась ей Анна. Душевная, мягкая в обращении. Сразу назвала мамой. Только спросила перед этим: не будет ли возражать? А главное, сын заявил, что уходит со своей работы. Эта радость приглушила беспокойство о Люське с внучкой. Разберутся. Разводы стали обычным делом, не то, что раньше. Да и Люська тоже хороша, чуть что — бежит к матери, несколько раз собиралась разводиться. Не дорожит мужем, а Витька — не такой уж плохой: не курит, не пьёт, как другие, руки золотые; когда захочет — любую вещь починит.

Анне Витéлина мать тоже понравилась. Сдержанная, немногословная, видно, что переживает за сына. А как может быть по-другому? Тот, кого я ношу, думала Анна, когда вырастет, разве будет мне безразличен?

Витéля, когда вёз Анну к себе домой так же, как она, был "на нервах". Надеялся, что мать поймёт его и примет молодую женщину по-доброму. Но если уж встанет на дыбы, они уйдут на квартиру. Знакомых много, особенно среди деповских.

Вспомнив про депо, про свой механический цех, Вдовин аж вспотел от горячего волнения. Вот где настоящая жизнь, вскипел мыслью он, вот где настоящие люди. И не откладывая на какие-то дальние дни, вскоре после приезда пошёл в депо.

Мастер Антипов, увидев Вдовина, добродушно прищурился.

— Ты как к нам: в гости иль насовсем?

— Насовсем, Сергей Иваныч. Хватит, послужил закону, пока он нужен был. Теперь, извиняюсь за выраженье, обручи сбросили и всё развалилось.

Про какие обручи сказал Витéля, мастер не понял. Зато слова о возвращении обрадовали его. Антипов расплылся в широкой улыбке.

— Вот это правильно! Бардак, конечно, везде полный — демократия, ети её… И нашу "железку" стал доставать. Но без железной дороги никакая власть не протянет. Вернее, как это говорят, протянет… Только ноги.

Из депо Вдовин пошёл в рыбинспекцию. Автобусы ходить почти перестали, через полгорода пришлось идти пешком. Проходя мимо бывшего горкома партии, увидел трёхцветный российский флаг, который на его глазах вешал, вместо красного, мужик, похожий на бульдога. Витéля так и не вспомнил его. Из дверей горкома вышли несколько человек. "Где-то здесь болтаются и Самойлов с Федотовым", — подумал он равнодушно, и сам удивился тому безразличию, с каким отнёсся к новой власти.

В рыбинспекции был один Гаврилин.

— А где же все? — спросил удивлённый Вдовин. Не было гаврилинского заместителя, даже секретарши Веры не было.

— Перестали деньги давать. Люди уходят, — невесело сказал Гаврилин. Помолчал. Внимательно посмотрел на Витéлю.

— А ты как, Виктор Николаич? Уходишь или остаёшься?

— Ухожу, Альберт Петрович. Старая власть померла, а новой служить не хочу. Слыхали, что прокурор говорил? Демократия! Никаких законов не надо насчёт природных ресурсов. Бери, кто что хочет и сколько может.

— Ну, я думаю, прежняя власть кое-где ещё может посопротиляться.

— Нет, Альберт Петрович. Власть с дрожащими руками — это не власть. Это, извиняюсь за выражение, половая тряпка, об которую будут вытирать ноги. И не только большие, но и маленькие.

— Уходишь-то куда?

— В депо. К своему слесарному делу.

— А страна, значит, пусть к гибели идёт?

— Страны уже нет, Альберт Петрович. Разбегаются.

— Россия осталась. Хотя бы её надо спасать.

— Россия пошла за федотовыми и самойловыми. Сейчас их праздник, а я не хочу с ними выпивать. Есть дом, жена, хорошее дело… Сын будет. Меня не тронут, и мне они до лампочки.

— Вот так вы все и рассуждаете. Забились каждый в свою нору, и даже нос не высовываете. Боитесь: отдавят… Меня не трогают… Тронут, да ещё как! Взвоете, да будет поздно.

— Посмотрим, как поведёт себя новая власть. А то ведь и поднимемся.

— Нет, Виктор Николаич, подняться вам не дадут. Учтут опыт… — Гаврилин округлил глаза, зло сплюнул в сторону, — паскудный опыт горбачёвской власти… Вот кого надо первого повесить! Отрубят не только трясущиеся руки, но и головы.

— Народ долго не будет молчать.

— Ты про какой народ? — насмешливо спросил Гаврилин. — Если про русский, то это весьма молчаливый народ. Оглянись назад! Что только с ним ни вытворяли, а он столетиями молчал. Ему нужен вождь, палка и какая-нибудь идея впереди. Тогда он поднимается… Себя не жалеет… Вот сейчас ему подсунули идею: демократия, как на Западе. Она сделает жизнь счастливой, как на Западе. На самом деле эта идея — настоящая "фомка", воры-медвежатники ею сейфы вскрывают. А те, кто всучают — их цель: развалить Россию. Или обокрасть её. Вспомни слова адвоката. Сговорятся, разграбят все наши богатства, и останемся мы с голой задницей. Зато демократической.

— Как же вы хотите бороться против этого?

— Вот видишь, ты уже отделяешь себя от меня и других, которые не согласны. Не знаю пока… Но что-то делать надо.

— Нет, Альберт Петрович, я выбываю.

Витéля душевно улыбнулся:

— У меня жена, — он хотел сказать: хорошая, дорогая, но постеснялся. — Скоро ребёнок будет. Вот его я научу, как и с кем бороться. Когда вырастет, люди уже поймут, что за власть нас сейчас захватила. Поэтому не обижайтесь… На меня… На народ русский… хотя он, действительно, без начальника и палки неподъёмный. Так что, извиняюсь за выражение, поживём — увидим.

ВИКТОР КОВРИЖНЫХ

ВСЁ ПЕРЕСТРОИЛИ В РУССКОМ КРАЮ...

ВОСПОМИНАНИЕ

Везёт мне: я родился и живу!
На родине. У счастья на примете,
кошу с отцом на пасеке траву,
и жить мне очень нравится на свете!

Звенит коса, и дудочка поёт
на все лады с кузнечиковым звоном.
И ласточки стремительный полёт,
как чей-то взгляд, скользнул по небосклону.

Какой судьбы искать в стране иной,
коль здесь по мне и солнце, и просторы,
и синь реки с небесной глубиной,
и жителей доверчивые взоры.

Теченье дней исполнено забот,
и помыслов высоких, и отваги.
Здесь ангел в роще Заячьей живёт,
и чёрт живёт за мельницей в овраге!

КОВРИЖНЫХ Виктор Анатольевич родился в 1952 году в посёлке Старо-Бачаты Беловского района Кемеровской области. Автор поэтических сборников "Я, наверно, родился не зря...", "Непонятно куда мы спешим...", "Зелёная дудка", "По токовинской дороге" и "Избранное время". Член Союза писателей России. Живёт в селе Старобачаты Беловского района.

...Горит над огородами звезда...
А самая желанная, родная
живёт в кирпичном доме у пруда,
о наших судьбах ничего не зная...

СТАРОБАЧАТЫ

Всё перестроили в русском краю,
только не трожьте деревню мою.

Тихие улочки старых Бачат,
ветры степные полынью горчат.

В купах черёмухи и тальника
белую лебедь качает река.

Щука с Емелей и Чёрт с Водяным
мирно живут за окошком моим.

Яви и вымысла зыбкая грань.
Здравствуй, лесная моя глухомань!

Милая родина, вечности птах,
здесь лишь воскресну листвой на кустах!

Тешьтесь вы — Господи! — в вашем раю!..
Только не трожьте деревню мою.

Не растопчите надменной стопой
кроткий колодец с воскресной водой...

Белая лебедь томится во мгле.
Трудно не петь мне на этой земле...

СТАРАЯ КУЗНИЦА

Копоть и сажа погасших огней.
Вход занавесил подрост тальниковый.
Не оседлать здесь воскресших коней —
ржой изошли стремена и подковы.

Звон наковальни полынью сокрыт,
зябко несёт из дверей пустотою.
Так просветлённой прохладой сквозит,
будто под кузней — колодец с водою.

Льются протяжно сквозь щели лучи
светом вечерней щемящей печали.
Словно наивного счастья ключи,
счастья, которое не доковали.

Полуистлевшие спицы колёс,
мохом покрыты венцы и стропила.
Ветхую крышу прошила насквозь
жгучим дремучим побегом крапива...

В полночь под лай деревенских собак
скорбная тень кузнеца оживает.

Тяжко вздыхает и курит табак,
в горне остывшем золу разжигает.

Глухо меха проворчат, и огни
вспыхнут на время и тут же погаснут.
Словно хотел озарить наши дни,
но убедился, что это напрасно...

В ЗАБРОШЕННОМ ХУТОРЕ

Погасших окон выцветшие ставни,
глухой заплот, поваленный в осот.
И — тишина, как будто слово тайны
сейчас Господь с небес произнесёт.

Покажется, что жизнь людей былая
из этих мест бесследно не ушла,
как память сокровенная, живая
здесь в тишину незримо проросла.

И ощутишь ознобно чьи-то взоры,
лишь дунет ветер, травы шевеля,
и оживут обрывки разговоров,
мельканье лиц и запахи жилья.

Здесь постоять, как заново воскреснуть
с щемящим чувством грусти и вины.
Всплакнёт ли птица над судьбой окрестной
и снова станет частью тишины...

* * *

Никого не ищи, не зови
средь крапивы у ветхих заборов.
Зябко двери скрипят, и в крови
бродит ветер осеннего бора.

Словно прошлой войны сквозняки
прилетели тревожно к воротам.
Взмыли чёрные вдовьи платки
и растаяли за поворотом...

Это было совсем не со мной,
но осталось наследственно в генах:
плач вдовы над осенней волной —
леденящим предчувствием в венах.

Будто в мире остался один!
И всплывёт над дворами пустыми
из глухих позабытых глубин
озарённое памятью имя.

Словно воля неведомых сил
правит кровью моею с рожденья,
чтобы я ничего не забыл
и других не обрёк на забвенье...

МАРИНА ШАМСУТДИНОВА

РОССИЯ – СКИТ

ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Семь миллионов неизвестных
В войне загинувших солдат,
Чьи мамы, дочери, невесты
При жизни попадали в ад.

Почёта нет — одно бесчестье.
А вдруг продался он врагу?
Пособий, похоронок, пенсий
Им не видать в своём гробу.

Горит огонь неугасимый.
Давно он в воинском раю.
На поле боя хлеб озимый,
Где прадед принял смерть свою.

В кровавом, лютом сорок первом,
Семнадцатого сентября.

ШАМСУТДИНОВА Марина Сагитовна родилась в 1975 году в Иркутске. В 2003 году окончила Литературный институт им. М Горького (мастерскую Станислава Куняева). Автор шести книг стихотворений: "Солнце веры" (2003), "Нарисованный голос" (2007), "Дань за 12 лет" (2010), "Стихи" (2011), "Русская сказка" (2015), "Правда" (2016). Печаталась в журналах "Наш современник", "Сибирь", "Созвездие дружбы", "Первоцвет", "Огни Кузбасса", "Московский вестник", "Викинг", "Крым", "Литературная Вена" и др. Лауреат поэтической премии им. Юрия Кузнецова за 2010 год (журнал "Наш современник"). Член Союза писателей России, Союза писателей Крыма, Академии поэзии.

Он доброволец — это верно,
Сам напросился, говорят...

Укрепрайон под Ленинградом,
Тот первый и последний бой,
Где все легли друг с другом рядом,
Где все легли, прикрыв собой...

ПРАДЕД ПЁТР

Суставов Пётр Андреевич в июле был призван и погиб 7 августа 1941 года. Прошёл через приёмно-распределительный батальон Ленинградского ВПП.

Мне кажется, что ты ещё живой,
Что я, ведя по скайпу переписку,
Могу вернуть с войны тебя домой.
Лет семьдесят идёшь, а путь не близкий.

Пусть у тебя ни мамы, ни отца —
Все умерли, остались только внуки.
Тебе лишь тридцать, с милого лица
Стираю копоть, мою с мылом руки.

Мне кажется, что ты ещё живой,
Таких в бою не оглушить оглоблей.
Всю жизнь свою зову тебя домой.
Мой прадед, Пётр, воскресни! Ну, попробуй!..

* * *

Что от Бога, что от дьявола
Только стали понимать...
Как расцветка одеялова,
Эта новенькая рать...
Кем Европа перекрашена?..
Новым молится богам...
Нападать хотят, по-вашему,
Защищаться снова нам?
По походу по крестовому
Заскучали вы, поди?
Мы ответим по-простому,
По-простому, Господи.
Снова тянут одеяло,
Землю рубят на куски.
То не Божие, то дьявола —
Божьим брать его в тиски.

* * *

Крым — это сердце в груди у России.
Россия — сердце в груди Земли.
Чьими руками такими косыми
Вырвали сердце, кордон провели?
В чёрном чаду, в городке палаточном
Лечили сердечную недостаточность.

Крым — это сердце, а мост — артерия,
Если хотите — сердечный шунт,
Чтоб не достала ничья артиллерия,
Трудятся тысячи тысяч рук.
Встала Россия — пролёты срастаются,
Выпила словно живой воды.
Ну, а кусаки — они кусаются.
Мост — лишь тире у последней черты...
Сколько бы в голос ни голосили,
Бьётся наш Крым в груди у России!

РУССКИЙ ДОПИНГ

Это в нашей крови,
В каждом шарике гемоглобина.
Позаразней ОРВИ
И лечебней, чем белая глина.
С ним не страшно в бою,
Одному против целого войска.
Ты попал в западню,
Но ни тени в душе беспокойства.
Иностранные львы
Похоронены в русском подзоле.
Поворот головы
На снегу каменеющей Зои.
Не сдавали герои
Анализов крови на допинг,
Не мозолил мельдоний
Глаза, как прозападный троллинг.
Отмените итоги
Всех русских великих сражений.
Почему наши боги
Не знали в бою поражений?
Потому что за други своя
Смерть красна на миру,
Ближе к телу рубаха у труса,
И я весь не умру...
Край кровавый передний,
Предсмертной агонии вздох.
Кто на небо последний?
Там встретит мой допинг — мой Бог.

БОГАТЫРША

Величественна на коне былинном,
Ты тоже женщина, красава-богатырша!
В холодном поле жёлтом и полынном,
Не ветер воет — ледяная крыжа.

Тебе бы стать поменьше, скажем, вдвое,
Прижавшись к крепкому плечу мужскому.
Но не родился на земле тот воин,
Чтоб ровней быть, — и ты уйдёшь к другому.

Он встанет на пуанты и котурны,
Тебе подаст с дороги чай с малиной.
Они наивны и миниатюрны,
А ты в походе, на коне былинном.

Сбежит и этот — переплавит латы
На сто колец и дюжину серёжек
И будет жить уныло до зарплаты,
Когда в бою ты вырвешь меч из ножен.

РОССИЯ — СКИТ

Россия — скит, избушка старовера.
Страдалица за мёртвых и живых.
Пусть у кого-то пальмы и Ривьера,
А здесь съедим, коль надо, мёрзлый жмых.

Уйдёт в леса и тем опять спасётся,
Честнее воздух, чище в небесах.
На речке — полынья, на небе — солнце,
Как лик Господень в древних образах.

* * *

Подпирают и Богом, и Блоком
Всю Россию простреленным боком:
То поэт, то герой, то палач.
Тьмой её не накроет. С востока
Солнце-Пушкин над нею высоко
Освещает ей нимба калач,
Да Саврасова чёрненький грач.

КТО ДЛЯ ВАС АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ?

В октябре исполняется 65 лет Александру Ивановичу Казинцеву. Он работает в журнале с 1981 года — 37 лет. Бóльшую часть жизни. В канун юбилея редакция обратилась к нашим авторам с вопросом: "Кто для вас Александр Казинцев?"

Отвечают писатели, политики, дипломаты, философы.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

писатель

ВЕСЕННИЙ ЧЕЛОВЕК

Помню, как на форуме молодых писателей в Липках один провинциальный литератор прислал из зала записку в президиум примерно следующего содержания: если в литературе действительно нет раскола, как вы тут говорите, пусть Казинцев из "Нашего современника" и Василевский из "Нового мира" прямо сейчас обнимутся на сцене.

Все засмеялись, но несколько напряжённо. Особенно напряжённо засмеялись в президиуме, где сидели люди, которые от самого словосочетания "Наш современник" бледнели и отворачивались в сторону.

Казинцев легко поднялся, и Василевский, встав, тоже шагнул навстречу. Они обнялись. Зал зааплодировал бурно, а президиум – словно через силу, деревянными ладонями.

Это было примерно пятнадцать лет назад.

Мне кажется, я понимал тогда поступок Казинцева. Помимо того, что он не испытывал ничего плохого по отношению ко вполне себе симпатичному и даже на тот момент более-менее широкому во взглядах Василевскому, важно отметить и другое.

Такое делается – от силы. От осознания своей правоты. Казинцев был силён и был прав. За ним стояла вся русская культура. Когда это чувствуешь – тебе спокойно.

Люди, которые весьма условно могут называться "либералами", на тот момент безраздельно владевшие литературными журналами (едва ли не за единственным исключением – ага, в виде "НС"), литературными премиями, литературной повесткой и выстраивавшие литературные иерархии под себя, всё равно парадоксальным образом чувствовали шаткость своей позиции.

Достаточно было в кулуарах, в присутствии всегда будто чуть, на всякий случай, брезгливых литературных бонз сказать: "Я читаю "Наш современник". Мне нравится этот журнал", – чтоб закрыть себе путь к публикациям в нескольких других "толстяках" сразу.

Они будто бы догадывались, что оккупировали чужое и непослушное. Что если чуть отпустить вожжи, эта лошадка вывалит их в кювет.

И вожжи они не отпускают по сей день.

Однако стоическая, до странности смиренная, воистину христианская позиция ряда наиважнейших и умнейших людей России делает своё дело.

В Казинцеве мне всегда нравилась его добрая снисходительность, улыбчивость, открытость, спокойствие, последовательность. Как мягко и уверенно он излагает свою позицию и в устных выступлениях, и в отличных своих статьях.

Иной раз я заходил в "Наш современник", просто чтоб минут пятнадцать посидеть с ним в кабинете и послушать, как он немного вкрадчиво, безошибочно выбирая слова, всегда с улыбкой в голосе, говорит предельно точные вещи, всё расставляющие по своим местам.

Когда не только в голове Казинцева, но и в нашем смутном мире хоть что-то встанет на места, мы всё-таки вспомним, что было время распада и разора, когда считанные люди – Станислав Куняев, Сергей Кара-Мурза, Александр Панарин, Вадим Кожинов, Эдуард Лимонов, Александр Проханов, Владимир Бондаренко – сохраняли благоразумие. И Казинцев в этом ряду – на всех основаниях.

Разрозненное раздёрганное поколение моё – нынешних "сорокалетних", – собрало сознание воедино, не рассыпалось на сквозняках благодаря этим людям.

Благодаря этим людям возникло само словосочетание "русская весна", на которую вдруг откликнулись миллионы.

Казинцев – весенний человек.

Кажется, он, понимающий всю горестность и бессмыслицу нашей политической жизни, никогда не терял внутренней веры в том, что мы когда-нибудь справимся со всеми вызовами.

Его внешне сдержанные, но внутренне беспощадные статьи раз за разом говорили о противоположном: что шансов почти нет, что мы продали и предали слишком многое.

Но посмотришь на него самого и думаешь: да нет, дядя Саша что-то знает такое. Всё обойдётся. Вырулим.

Дмитрий МИЗГУЛИН

поэт, лауреат премии правительства России

Впервые мне довелось увидеть Александра Ивановича Казинцева в Ленинграде на встрече с редакцией "Нашего современника" во Дворце железнодорожников. Было это в 1989 году...

Это сейчас есть "Русское радио" и водка "Русский стандарт", да и вообще много чего сейчас стало "русским" по названию, а не по сути, а тогда слово "русский" было не то чтобы запретным, но как-то не особенно употреблялось. То есть все мы и наши достижения были советские и потом уже латышские, узбекские, татарские... До русских как-то не доходило. А авторы "Нашего современника" – особенно в публицистических работах – наоборот, пустили в ход русскую тему – тем более в то время была очень актуальная проблема – поворот сибирских рек в Среднюю Азию. Среди выступавших помню Станислава Куняева, Фаттея Шипунова, Михаила Антонова, Карема Раша...

Обстановка была накалена до предела, зал гудел, требовал равноправия русского народа и создания русской (российской) компартии в составе КПСС...

СМИ наутро окрестили эту встречу фашистским и антисемитским шабашем, хотя до сионистов дело не дошло.

Но это был определенный прорыв – слово "русский" зазвучало наравне с "узбекским", "украинским", "татарским" – то есть почти легализовалось.

Казинцев отличался от выступающих не только молодостью, но и каким-то внутренним спокойствием и достоинством, что на фоне ярой митинговой публицистичности и напора иных моих кумиров делало его заметной фигурой. В нем были уверенность и спокойствие.

Я в те времена учился на заочном отделении в Литературном институте на семинаре у прекрасного поэта Александра Межирова. Он, кстати, нередко приглашал нас к себе домой. Мы пили водку у него на кухне, читали стихи и слушали мэтра... Поэт был уверен, что самый главный вопрос в мире будет национальный... Так оно и вышло.

Я помаленьку варился в литературной среде, часто бывал в Москве и иногда – с оказией – передавал рукописи в редакцию журнала от моих писателей коллег – лично в руки Александру Ивановичу

Кого я только не встретил в редакционных стенах... Всю русскую литературу.

Почему-то запомнился мне Эдуард Лимонов – он был в чем-то клетчатом и желтом, а я сидел и слушал их беседы, "из чаши их бессмертье пил".

Могу уверенно сказать, что Казинцев был и остается кумиром моей литературной молодости. Именно он олицетворял для меня и "Наш современник", и русское духовное возрождение

Повторюсь – ни в нем, ни в его работах не ощущалось политического внешнего напора, или, точнее сказать, надрыва, а была какая-то внутренняя энергетика, а сам он отличался "лица необщим выраженьем".

После кончины нашей Родины мы разлетелись кто куда – кто во власть, кто в бизнес, кто в тюрьму, кто в затвор, кто в могилу...

Я перешел на классику, а бережно хранимые мной ранее архивные номера оппозиционных изданий пустил на растопку и закрутку веников, что отечески одобрил побывавший у меня в гостях в Старой Ладоге патриарх русского возрождения Станислав Юрьевич Куняев.

Ни с кем из литературного мира я не общался, нигде не печатался, а в 2001-м и вовсе уехал из Питера в далекий заснеженный Ханты-Мансийск.

Думал: тут уж культурное затишье. А оказалось все ровно наоборот.

Губернатором Югры тогда был Александр Васильевич Филиппенко – выдающийся государственный человек. Я таковыми считаю людей, не только успешно решающих текущие задачи, но и мыслящих на перспективу 20-30 лет вперед. Он и сам был высокообразованным начитанным человеком.

При его руководстве в Югре был культурный бум. Фестивали, концерты, выставки, семинары, конкурсы... Кто тут только не побывал – и Гергиев, и Михалков, и Пьер Ришар, и Кшиштов Занусси, и Сергей Соловьев, и Табаков, и Евтушенко, и Станислав Куняев...

Словом, культурное столпотворение. Здесь же, в Ханты-Мансийске, я познакомился с поэтом Андреем Шацковым – референтом министра культуры России, и там же возобновилось мое знакомство с приехавшим на какое-то мероприятие Александром Ивановичем.

Многое было сделано тогда. Был и выездной пленум Союза писателей России. Мы плыли на корабле из Сургута в Ханты-Мансийск. Помню звездную ночь, черную воду, бортовые огни – и яростный спор двух русских гениев Личутина и Куняева, закончившийся с первыми отблесками зари...

Было великолепное интервью Казинцева с губернатором Филиппенко, были совместные издания, а самое главное – наши встречи и в Югре, и в Питере, и в Москве...

Как будто вчера мы встречались на юбилее Казинцева, в Доме писателей в Москве. Наш общий друг Александр Смирнов пригласил замечательного артиста Леонида Серебренникова в качестве музыкального подарка... Прозвучали русские романсы – и Казинцев с сожалением вспомнил: а ведь мы когда то были по разные стороны баррикад...

Интересное было время. Теперь и баррикад нет. Но появилось племя людей, у которых ничего нет кроме ДОЛЖНОСТИ – ни образования, ни профессиональных навыков, ни житейской мудрости, ни знаний, ни культуры, ни совести, ни чести.

Беда пришла откуда и не ждали.

Но Казинцев это предчувствовал и предвидел. В фундаментальной работе "Возвращение масс" можно найти объяснение тому, что происходит сейчас. И тому, что ждет нас завтра

Из кумиров моей молодости Александр Иванович превратился в самого почитаемого мною мыслителя. Могу с уверенностью сказать, что Казинцев самый русский и самый глубокий философ современности. Есть авторы, превосходно и безупречно знающие историю. Они заваливают нас фактами и статистикой. Есть пламенные публицисты, реально оценивающие события сегодняшнего дня. Есть удачливые предсказатели. Но мало кому удается органически соединить три стихии – прошлого, настоящего и будущего в единое пространство Бытия и осмыслить, с молитвой, Русский Космос.

Дорогой Друг!

Многие и Благая тебе Лета. Посвящаю тебе стихи:

По пустыне ветер веет,
Веет ветер суховей.
Сорок лет водил евреев
По пустыне Моисей.

Чтобы с прошлым все простились,
Чтоб сбылось, что не сбылось,
Чтобы те понародились,
Кем быть в рабстве не пришлось.

Все мы тоже лиходеи,
Но напрасно не вини.
Мы ходили, как евреи,
Даже больше, чем они,

И брели по белу свету,
И рождалися не зря,
И узрели – по приметам
Не пророка – но царя.

Не Закхей и не Иуда,
Фараон – ни дать ни взять,
Ну и нас еще покуда
Он умеет вразумлять.

Полетят ракеты наши,
И вернется та пора,
И наварим снова каши
Мы для всех из топора,

Супостатов одолеем,
Все мытарства нипочем!
А при чем же здесь евреи?
Слава Богу, ни при чем.

Подморозило, однако,
Откатился мир ко сну,
И голодная собака
Грозно воет на луну.

Чеслав КИРВЕЛЬ

профессор

СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВДЕ

Александру Ивановичу Казинцеву – 65. Его биография – это путь поэта, критика, публициста, организатора редакционной работы журнала “Наш современник” – бесспорно одного из лучших периодических изданий Советского Союза и постсоветской России. Сотни публикаций и ряд серьезных книг – этот промежуточный итог творчества значим, прежде всего, содержанием, позицией, исключительной честностью автора перед читающей аудиторией и осознанной ответственностью перед временем и людьми. В одном из интервью на вопрос “Что кажется вам неприемлемым в художественном творчестве?” А. И. Казинцев ответил: “Ложь. В том числе полуправда, бессознательная ложь, самообман и т. п.”. Думается, в поиске правды и борьбе за подлинное в художественном слове, в понимании читателями высот литературного мастерства, в отражении сущности бурных событий последних десятилетий в мире и стране, в сложной редакционной деятельности – кредо многогранного творчества юбиляра.

Читаешь ли его стихи, написанные в пору молодости, открываешь ли литературно-критические работы, перелистываешь ли публицистические статьи и книги последних лет – замечаешь ещё одно удивительное умение автора – останавливать время, проникать в самые глубины чувства, образа, события.

Вот стихи, написанные в 1976 году, пронзительно запечатлевшие переживание, рожденное образом и слившееся с ним в единое целое.

Что делать мне — дождливый воздух пуст,
такой щемящий и такой прозрачный,
как тот вишневый невесомый куст,
вчера расцветший у ограды дачной.

А дождь прошел, и все сады в цвету,
и брезжит вечер в лепестковой гуще,
как будто въяве видишь пустоту,
объемлющую этот рай цветущий.

Вот осознанное выражение миссии литературного критика: "...Читатели нуждаются в энергичном комментарии даже тогда, когда стоят перед творением бесспорным".

И, наконец, основное содержание творчества последних десятилетий – публицистика. Став в журнале "Наш современник" ещё в 1991 году автором рубрики "Дневник современника", А. И. Казинцев не просто укрепил стержневую миссию, осуществляемую изданием, которому отдал большую часть жизни, но реализовал уникальный проект, значение которого ещё предстоит осмысливать.

С одной стороны, в статьях (числом более 140) и замечательных книгах "Новые политические мифы", "Россия над бездной. Дневник современника 1991–1996", "На что мы променяли СССР? Симулякр, или Стекольное царство", "Возвращение масс", "Имитаторы. Иллюзия "Великой России", "Поезд убирается в тупик" было запечатлено множество уникальных фактов, отражающих важнейшие тенденции в жизни современного общества в различных его срезах: и драматические метаморфозы масштабных социальных трансформаций постсоветского пространства, и противоречия в национальных и межцивилизационных отношениях, и глобальные тренды и векторы, предвосхищающие возможные повороты мировой истории. Здесь автор предстает не просто как вдумчивый аналитик-трибун, но и как зрелый политический и социальный философ, способный к глубоким обобщениям и проницательным прогнозам. Действительно, в работах А. Казинцева ставятся вопросы, исследование которых сопровождается проблематизацией и уточнением содержания важнейших философских категорий – морали, нравственности, справедливости, истины, идеала, направленности и смысла исторического процесса. В его текстах появились и парадоксальные оригинальные понятия, к примеру, "архаическая модернизация", "антагонистический симбиоз", привлекающие своей бесспорной неординарностью как смыслообразные опоры новых моделей социального развития. Ход рассуждений автора, блестящее владение словом, искусство аргументации покоряют читателя и вовлекают его во вдумчивое переосмысление стереотипов, долго и изощренно вбивавшихся в массовое сознание хозяевами и слугами господствующего информационного дискурса. В обобщениях высвечивается проникновенная рациональная интуиция, связывающая событийное и глубинное, прошлое, настоящее и будущее, локальное и глобальное. И за всем этим стоит избранная автором в качестве собственной мировоззренческой позиции любовь к человеку, свойственная уникальной славяно-русской философской традиции, направленной на поиск Абсолютного Добра. Стремление защитить человека, прежде всего русского человека, от бездуховности и непонимания причин происходящих событий, боль за свою Родину – Россию и тревога о её судьбе, прочерчивание новых контуров справедливого устройства социума, альтернативного современному капитализму, разрушающему природу, человеческую сущность и последние нравственные устои, – вот основные темы Александра Казинцева, живое дело которого многие годы находит отклик у благодарного читателя, собирает, как думается, всё более широкий круг единомышленников не только в России, но и далеко за её пределами.

Отдельно хочется поблагодарить юбиляра за внимательное и уважительное отношение к народу и социально-политическим особенностям современной Беларуси, редко встречающееся ныне стремление увидеть положительное, достойное доброго слова в жизни ближайшей России по духу страны. Территория поиска правды, на границах которой стоят такие воины, мастера слова, мыслители-патриоты, никогда не будет сдана.

г. Гродно, Республика Беларусь

Николай РЫЖКОВ

член Совета Федерации РФ

ОДИН ИЗ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА

Незаурядный талант писателя, принципиальность, высокие деловые и личные качества снискали А. И. Казинцеву заслуженное уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с ним. Я уважаю гражданскую позицию Александра Ивановича, любовь к Отчизне, к уникальным и неповторимым традициям нашего народа.

Казинцев прошёл интересный жизненный путь: от аспиранта факультета журналистики Московского государственного университета до заместителя главного редактора журнала "Наш современник" – журнала писателей России, трибуны виднейших политиков с активной патриотической позицией. На протяжении 30 лет он является одним из вдохновителей журнала. Впечатляющей хроникой русской трагедии стал "Дневник современника", в котором, начиная с 1991 года, Казинцев анализирует самые актуальные проблемы национальной жизни.

Александр Иванович начинал как поэт, получил известность как литературный критик, публицист. Его материалы наполнены огромным количеством фактов и цитат. Он не замалчивает самые острые темы и выносит их на всеобщее обсуждение с известными политическими деятелями. Под его пером множество разрозненных сообщений превращаются в единую картину.

Много лет мы с Александром Ивановичем знаем друг друга, и я ценю тот высокий уровень отношений, который сложился между нами, его постоянную помощь в качестве помощника в моей парламентской деятельности и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Казинцев является самым активным и глубоко думающим представителем творческой интеллигенции в Попечительском совете мемориального комплекса "Прохоровское поле", увековечивающего память о Великой Отечественной войне. Особо хотел бы отметить его личный вклад в деятельность Совета.

От всей души желаю уважаемому Александру Ивановичу и его близким доброго здоровья, счастья и благополучия, сил и энергии в деле служения России.

Виктор КОЖЕМЯКО

член редколлегии газеты "Правда"

ВЕРНОСТЬ И МУДРОСТЬ

Дорогой Александр Иванович!

Именно это возникает в моём сознании прежде всего, когда я начинаю думать о Вас: верность и мудрость. И так сложилось, признаюсь, с первых наших встреч.

А помню я Сашу Казинцева ещё юным, румяным, но уже тогда не мог не заметить тех драгоценных свойств натуры Вашей, о которых сейчас заявил.

Разумеется, Станислав Юрьевич Куняев сделал наиточнейший выбор, определив Вас своей правой рукой в журнале. Лучшего не представляю. Говорю столь уверенно, потому что имел возможность достаточно продолжительное время

наблюдать Вас в работе, и отношение Ваше к организационно-редакторским обязанностям видится мне исключительно ответственным, почти идеальным.

Но, конечно же, крайне важно при этом, что каждодневный тяжкий пресс организационных забот по выпуску журнала не отбил у Вас постоянного стремления к своему основному творческому призванию, которое и привело Вас чуть ли не со студенческой скамьи в "Наш современник". Счастливый Вы человек! Так рано и правильно угадать своё место в жизни... Нет, далеко не каждому такое дано. А вот Вы – сразу, как говорят, в яблочко: бесконечно любимая литература, страстное желание разбираться в глубинных таинствах её и доносить свои открытия до людей, а самое главное – трибуна, с которой всё это Вы можете отменно делать: "Наш современник"! Единственный и незаменимый для Вас, которому, я думаю, Вы будете верны до конца жизни.

Ведь до того, как мы встретились и познакомились лично, я хорошо знал Вас по журнальным публикациям. Меня к ним притягивало, многими из них восхищался. Получая свежий номер "Нашего современника", всегда искал в первую очередь Станислава Куняева, а затем Александра Казинцева (позднее к этому приоритетному началу присоединится и Сергей Куняев).

Вы восприняли уроки Вадима Валериановича Кожинова, от которого я слышал о Вас много добрых слов. Причём восприняли не только как литературный критик, исследователь словесности, но и как исследователь жизни, публицист особого, кожиновского толка. Ваши актуальнейшие циклы "Симулякр", "Возвращение масс", "Поезд убирается в тупик" и другие составили существенный раздел в истории отечественной публицистики. Это кропотливое, зоркое и так интересно написанное осмысление сложных процессов, определивших современную Вам жизнь на рубеже XX и XXI столетий. К этим капитальным Вашим работам будут ещё обращаться и обращаться!

О себе могу сказать: счастлив, что мне по-журналистски удалось поработать с Вами для "Правды" и "Советской России". Это были опять-таки очень актуальные разговоры о происходившем вокруг, о Солженицыне или вот совсем недавно – "Что же читать сегодня?" Как и к Станиславу Юрьевичу, обращаюсь к Вам обычно по самым острым вопросам, волнующим многих. И Вы никогда не подводите, несмотря на сверхзанятость свою.

Да, случаются и несогласия у нас, бывают и расхождения. Но всё это творчески и во благо дела. Спасибо Вам великое. Представляю, какое грандиозное спасибо говорят Вам десятки Ваших учеников – молодых писателей, с которыми Вы находите время и силы "возиться", пожалуй, как никто другой в нынешнее время.

Благородство раздражает кое-кого. Вас тоже не раз пытались кусать, несправедливо и подчас изощрённо зло. Желаю выдержки, терпения, сохранения достоинства.

Жизнь продолжается. Дела продолжаются. У Вас юбилей – 65. А сколько предстоит ещё совершить! Сердечно поздравляя Вас, желаю здоровья и сил для новых свершений. И оставайтесь, пожалуйста, столь же уникально верным главному делу, которому служите, и столь же редкостно вдумчивым, мудрым при осуществлении его.

Евгений СТЕПАНОВ

поэт, главный редактор портала "Читальный зал"

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ: ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

Александр Казинцев – уникальное явление нашей литературы и литературного процесса. Острый публицист, глубокий литературовед, замечательный поэт, один из основателей литературной группы "Московское время", редактор, который около 40 (!) лет работает в журнале "Наш современник".

Для меня Казинцев – прежде всего, поэт. Я впервые прочитал его стихи много лет назад в альманахе "Поэзия". И сразу обратил на них внимание. Даже удивился: такой известный публицист пишет хорошие стихи. Это огромная редкость. Потом я печатал стихи А. Казинцева в альманахе "День поэзии", который выпускал как издатель в 2017 году, в еженедельнике "Поэтоград" – в рубрике "Выдающийся поэт России".

Не так давно в журнале “Юность” (№ 1, 2015) вышла подборка ранних стихотворений Казинцева (они размещены, в частности, на портале “Читальный зал”). Очень высокий уровень!

Вот это стихотворение, “Удивительно пахнет дождем...”, на мой взгляд, шедевр. Казинцев развивает традиции Тютчева и Фета, Случевского и Полонского. Это философская лирика, которая глубоко символична и метафорична. За каждой строкой – целые пласты ассоциаций и смыслов.

* * *

Удивительно пахнет дождем —
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.

А зима бесконечной была,
опостылело это убранство —
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.

Девять месяцев — гипсовый гнёт,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год
и земля под снегами умрёт,
не всосав животворную влагу.

А теперь — до ростка, до комка
глинозёма — всё дышит весною,
и течёт как ночная река
в отраженьях асфальт подо мною.

И безумный, казённый, любимый
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли, —
всё омыто прозрачной водою,
всё омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

Нежное, мудрое, чистое стихотворение. И, что очень важно, профессионально сделанное, опрятное. Нет здесь неточных, неряшливых рифм, нет нашествия офисной и обсценной лексики. Но есть душа и свой голос, и приятие мира, и взгляд, устремленный в будущее.

Александр Казинцев встречает свой юбилей в расцвете творческих сил. Он много сделал для России, для русского самосознания, он состоялся как большой публицист и большой художник.

Многая лета!

Александр КОЛПАКИДИ

публицист, главный редактор издательства “Алгоритм”

“КАПЛЯ ПРАВДЫ МИР ПЕРЕВЕСИТ”

Много лет Александр Иванович Казинцев остается олицетворением и душой “Нашего современника” – журнала, который хранит и развивает русскую культуру и противостоит космополитической либеральной орде. Это больше, чем журнал. “Наш современник” – кафедра и лаборатория, в которой предвосхищались и разрабатывались те немногие здоровые явления, которые

возникли в последние годы в современной России. В самые мрачные ельцинские годы Казинцев предсказывал необходимость возвращения к патриотическим ценностям. Уважительное отношение к государству, любовь к истории России во все её периоды – всем этим проникнуты статьи и выступления выдающегося публициста.

Все годы своей работы в журнале Александр Иванович Казинцев пытался взывать к разуму русского народа. И не его вина в том, что слишком мала аудитория читателей журнала по сравнению с народной массой. Народу лгут допущенные "в телевизор" пропагандисты олигархата, а проницательные размышления Казинцева, как и других авторов, доходят до 1% населения. Но подчас, как говорится в пословице, "Капля правды весь мир перевесит". Это утешает и вдохновляет.

Казинцев далёк от иллюзий – даже самых расхожих. Он видит, что "великая Россия" современных телепропагандистов – это фикция, но его выступления об этом, увы, мало кому известны. Их вычёркивают из "повестки дня", а общество приучают к пропагандистской сладкой полуправде.

Как политический писатель, Казинцев полагает современную проолигархическую политику антисоциальной, а российское общество – больным. Русские являются в нём дискриминируемым большинством.

В годы перестройки молодой Александр Казинцев принимал участие в популярной телепрограмме "Пресс-клуб". В этой программе, в самое антисоветское, гнилое, либеральное время, он в одиночку отстаивал народно-патриотическую позицию, буквально героически переносил насмешки и издевательства, нёс слово правды.

Трудно было идти против течения накануне распада Советского Союза. А книга Александра Казинцева "Новые политические мифы", вышедшая в 1990 году, стала убедительным предостережением против общественного суицида.

Александр Казинцев – тонкий знаток русской литературы, её ценитель и популяризатор. В наше время, когда наследие русской классики в лучшем случае замалчивается, а народу навязываются примитивные потребительские ценности, любить и понимать литературу – это не только важное, но и опасное дело. Казинцеву удалось перенять лучшие родовые черты русской словесности: искренность, благородство, неравнодушие к судьбам родного народа. А подлинное возрождение России возможно только под знаменами Ломоносова и Пушкина, Тютчева и Толстого, под знаменами лучших писателей советского времени, которых открывает нам журнал "Наш современник".

В рубрике "Дневник современника", которую четверть века ведёт Казинцев, он блестяще анализирует не только внутреннюю ситуацию в России, но и процессы, происходящие по всей планете (в Европе, Америке, на Ближнем Востоке). Ценность этого Дневника с годами только увеличится. Он – как объективное свидетельство мыслящего человека нашего времени – станет обязательным чтением для политологов и историков будущего.

Как говорил сам Казинцев, "подлинный патриотизм требует самопожертвования. Патриотизм ставит служение Родине выше личных интересов человека" ("Патриоты и бюрократы, или Почему патриоты проигрывают" ("Наш современник" № 11, 2015). Его плодотворная жизнь в литературе подтверждает точность этого принципа.

Алексей ТАТАРИНОВ,

профессор

ПРИСУТСТВИЕ КАЗИНЦЕВА

Казинцев для меня – важнейший участник кубанских конференций: Кожиновских (2002–2013), Селезнёвских (с 2014), Лихоносовских (с 2017) чтений. С виду мягкий и неторопливый, А. И. Казинцев, взяв микрофон, нацеливается на аудиторию с охотничьим азартом и начинает выстраивать в своих всегда подготовленных речах *сюжет борьбы*, тот *героический эпос*, который и представляется мне большим завоеванием "Нашего современника".

Присутствие Казинцева (например, на указанных конференциях) совершенно необходимо. Когда он говорит – всегда преображается. За праздничным столом многие патриотически настроенные участники конференции соединяются с Дионисом, черпая в чаше временное лекарство от национального пессимизма. Здесь Казинцев – не главный. Словно и не видно его, да и стол покидает одним из первых. Слишком много в нем аполлонической структурности и душевной трезвости. И хорошо, что много. Часто московские гости Армавира и Краснодара, вакхически пляшущие в вечерней мысли, на дневных заседаниях, за трибуной бледны речами – и потому, что просто лень подготовиться. Казинцев никогда не позволяет халтуре состояться. Для него национализм и патриотизм – действие, а не вялая риторика бесхребетного самообожествления. Да, и такая ложная вертикаль встречается в среде идейных людей. Ибо не каждый наш *мастер словесности* – мастер.

Что еще по-настоящему интересно мне в мысли Александра Казинцева?

Его метод. В первой книге "Лицом к истории" (1989) Казинцев уже владеет им в совершенстве: историософия, литературная критика, политическая аналитика синтезированы в едином движении – раскрыть смыслы настоящего, показать перспективы (чаще всего печальные) тех клубящихся тенденций, которые воодушевленными массами эпохи Перестройки воспринимаются как освобождение. Наш автор заставляет читателя увидеть, что на смену коммунизму идет "тоталитаризм, зреющий и цветущий в обществе потребления". А ещё он хочет, чтобы русский человек, посмотрев на свою недавнюю историю, увидел не катастрофу большевизма или сталинизма, а чудо выживания народа в невыносимых условиях, всё-таки состоявшуюся радость спасения души.

Христианин Казинцев никогда не злоупотребляет православной риторикой, не позволяет себе вместе со многими ровесниками и старшими товарищами превратиться в сварливую, всегда недовольную мрачную *бабушку*, жонглирующую цитатами из Писания ради бумажной победы над теми, кого пока нельзя победить в самой жизни. Мне кажется, что Александр Иванович – глубоко верующий человек, знающий о важном духовном правиле: глубина эта тем серьёзнее, чем меньше слишком земных слов посвящены её описанию. В книге "Возвращение масс" (2010) им написано: "Страшный суд – это торжество справедливости". Этого достаточно. Пусть будет так.

Называя себя русским националистом, Казинцев показывает, что значит это признание в границах духовно-культурной программы. Неоднократно наблюдал в аудиториях, как А. И. рассуждает о газете "Завтра", делая акцент на разногласиях. С одной стороны, конечно, вместе – на одном русском корабле: многие романы Александра Проханова опубликованы в "Нашем современнике". С другой стороны, Казинцев сообщает, насколько не близки ему постоянные опыты "Завтра" с расширением спектра союзников и поиска общих платформ с врагами наших врагов. Евразийство и неосталинизм, специальное, возводимое в миф соединение Гагарина с Серафимом Саровским, русского коммунизма со средневековым христианством, гностицизма с пафосом наращивания производственных мощностей... Диалог с исламом, контакты с прогрессивным иудаизмом, дружественные движения в сторону КНДР... "А Россия как же во всём этом котле останется?" – так и слышу возможные претензии заместителя главного редактора "Нашего современника". – "Зато империя наша будет, огромная духовная АнтиАмерика – Евразия". – "Нет, на надо Евразии, меня интересует судьба русского народа. Растворится он в этих глобальных синтезах".

Александр Иванович без устали координирует создание (и что не менее важно, помогает другим пишущим) светской агиографии, масштабных литературных житий *наших современников* – Вадима Кожинова, Юрия Селезнёва, Юрия Кузнецова. Уверен, если мы обоснуем силу ими сказанного, созданного в жанрах кузнецовской лирики, селезнёвской критики, кожиновский теории словесности и историософии, – литература не проиграет и Россия выстоит.

Как следствие, ещё один тезис. Казинцев сейчас не доверяет литературе, способной утешиться высокими фантазиями. Но не знаю другого журнального стратега наших дней, который так заботится о будущих литературных победах, о тех, кого мы называем "молодыми традиционалистами". Это Андрей Антипин, Елена Тулушева, Андрей Тимофеев. Поэтикой хорошего качества дороги они А. И. Казинцеву? Да. А ещё чем? Своей простой сверхлитературностью, отсутствием эстетических поз и перформансов, присутствием биографии,

а главное – произрастанием вещества добротной прозы из далеко не всем заметных драм наших дней.

В интервью последних лет А. И. разными словами говорит о том, что можно назвать отсутствием победы. Читатель "Нашего современника" стареет, тираж журнала падает, выступления проходят перед аудиторией, которая ни тебя, ни твоих текстов не знает. Осенью 2013 года на последних Кожиновских чтениях Казинцев не только сообщил о "нас – неудачниках", но и подчеркнул, что "неудачники интереснее победителей". "Дон Кихот", "Король Лир", "Гамлет", "Фауст", по его словам, "дневники неудачников".

Сложная это проблема. Она касается не только Александра Ивановича, но и учителей, вузовских преподавателей литературы, филологов, критиков, сотрудников немодных изданий, посвящённых словесности. С позиции культа успешности, измеряемого деньгами, числом просмотров и вниманием телевизионных камер, наверное, это поражение. Вот только кто из играющих по-настоящему на этом поле согласится променять его на другую судьбу! Не из слабости и эгоизма. Дело в другом. Если на этом зигзаге истории стремление изменить силами литературы жизнь русского человека к лучшему кажется донкихотством, это не значит, что всё совсем плохо. Дон Кихоты нужны, чтобы мир не закис. Их победы – в присутствии, а не в рационально собранных фактах и доказательствах состоявшихся побед. Уж точно не золотые монеты мы пересчитываем и не задавленных противников.

Завершу еще одним эпизодом. Посмотрю на А. И. глазами своей жены – Оли Татариновой. Она очень хотела написать сама, да двое наших маленьких детей... Ежеминутная практическая *филология* бытового действия...

Так вот, 2010 год, ранняя осень, очередная конференция под управлением Юрия Павлова переехала из Армавира в Пятигорск. Находимся возле памятника на месте дуэли Лермонтова. Нет солнца, маленький дождь. Все разбились по дискуссионным группам. Конечно, фотографирование. Под деревом, с зонтом одиноко стоит Александр Иванович – словно пауза, созданная им в разгар очередного риторического огня, – необходимость подзарядки от тишины и насыщенного чувствами молчания. Вроде бы его немного жалко – дождь всё-таки, рядом купаются в суете коллеги, достигшие самой простой формы соборности – громкой речевой деятельности. Александр Казинцев один, он улыбается, без оценок и намеков. Видно, что им не потеряно желание быть добрым и верить, что жизнь – счастье.

...И ощущение того, что с Лермонтовым в тот пятигорский момент говорит именно он, а не шумные соратники, обсуждающие судьбу гения намного ближе к памятнику.

г. Краснодар

Юрий КОЗЛОВ,

писатель, главный редактор журнала"Роман-газета"

Александр Казинцев – уникальная личность. Он воплотил в себе лучшие черты русского литературного (с пушкинских времён) работника: поэта, критика, литературоведа, преподавателя, публициста, редактора. Его авторитет в профессиональном сообществе подтверждён энциклопедическими знаниями, глубоким и объективным взглядом на обсуждаемые проблемы, блистательным литературным стилем. Казинцев убедителен, тактичен и доказателен в своих трудах. Его спокойный и уверенный патриотизм – без ненужного надрыва и лишних эмоций – сродни патриотизму Пушкина, гармонично сочетавшего любовь к Родине с любовью к мировой культуре.

Казинцев не "забронзовел" за десятилетия работы в журнале, не утратил живого интереса к людям, в особенности, к молодым талантливым авторам. 65 лет – промежуточный юбилей, время мудрости и бесстрашия в отстаивании того, во что веришь. Вперёд, дорогой Александр Иванович! К новым свершениям и новым победам!

Роман СЕНЧИН,

прозаик

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

Знакомы мы давно, но близки стали в последние годы. Благодаря поездкам по России и, как мне кажется, схожему взгляду на то, что происходит со страной, русским миром. Наш взгляд непопулярен, но Казинцева никогда не смущало несоответствие конъюнктуре...

Помню его выступление на мероприятии с пышным названием "Второй Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора" (так, все слова с заглавной буквы, он назывался в официальных бумагах). Это было в декабре 2013-го. Разные думские начальники, общественные "звёзды" сразу повели тот Форум по пути поношения несогласных, пресловутого Запада, но Казинцев сорвался с места и заговорил о том, как русских людей выдавливают с обжитых территорий России, как гибнет русская культура и русский язык...

И следующие выступающие продолжили эту болезненную, тяжёлую, но важную тему. Причём говорили в основном жители Ставропольского края, республик Северного Кавказа, в том числе и представители так называемых титульных народов. Это были горькие рассказы об одичании огромных пространств, и слышалась тревога, что, когда русская культура будет выдавлена совсем, наступит мрак средневековья... Мне как человеку, выросшему в национальной автономии в составе России, эта тревога была очень понятна... К сожалению, на следующий день на форуме снова зазвучали бравурные речи.

А потом произошли события 2014 года, и тема русского мира приобрела совсем другой смысл... Александр Иванович один из немногих, кто продолжает говорить о сужении русского мира внутри России.

В 90-е я читал "Дневник современника" в "НС", в нулевые, когда стал изучать современную литературную критику, прочитал многие статьи и рецензии Александра Казинцева, не так давно открыл его как поэта. Сейчас у него новое дело – сплочение молодых русских писателей из разных регионов страны.

Это не идеализаторы, а настоящие реалисты, правдивцы (по слову Ильи Репина). Очень хорошо, что, во многом благодаря Александру Ивановичу, они обрели площадку для публикаций своей прозы, своих стихотворений и статей – журнал "Наш современник".

Здоровья вам, Александр Иванович! Не теряйте присутствия духа, твёрдости, что всегда чувствуется в вас, несмотря на ту деликатность, что присуща настоящему русскому интеллигенту и коренному москвичу.

Юрий ПАВЛОВ

критик, главный редактор журнала "Родная Кубань"

ТЕМПЕРАМЕНТ БОЙЦА

Александр Иванович Казинцев занимает особое место в моей жизни с начала 1980-х годов. Он – один из моих учителей. На статьях молодого Казинцева-критика я учился этому нелегкому "зоиловскому" делу.

Логичное и аргументированное мышление, яркий, живой, образный русский язык, независимость позиции, позволяющая не соглашаться с самыми высокими авторитетами, энциклопедическая образованность, при внешнем спокойствии редкий темперамент бойца, верность в служении русскому делу – вот только некоторые черты, за которые я ценю и люблю Александра Ивановича Казинцева.

Александр Иванович очень добрый, чуткий человек и редактор, что среди пишущей, газетно-журнальной братии редкое явление. Он помог найти свою дорогу в литературе многим и многим прозаикам, поэтам, критикам, публицистам.

Без Казинцева, уверен, не сложилось бы столь достойно судьба "Нашего современника" – лучшего русского журнала последних пятидесяти лет.

Долгие лета Вам, дорогой Александр Иванович! И новых критических, поэтических, публицистических, редакторских свершений!

г. Краснодар

Анатолий АВРУТИН

поэт, главный редактор журнала "Новая Немига литературная"

МОЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

С Александром Казинцевым мне довелось лично познакомиться в 2006 году, когда делегация писателей из России прибыла на съезд за год до того воссозданного Союза писателей Беларуси, первым секретарем Правления которого я тогда работал. По долгу службы встречал на вокзале высоких гостей. Прекрасно помню, как из вагона вначале почти выпрыгнул по-мальчишески спортивный главред "Нашего современника" Станислав Юрьевич Куняев, а следом за ним степенно ступил на гостеприимную белорусскую землю и его заместитель... Поздоровались, по-братски обнялись... А потом, вне рамок съезда, были многочисленные встречи руководителей лучшего журнала России с работниками телевидения, студентами БГУ, просто с рядовыми читателями. На одной из таких встреч, проходившей на филфаке Белгосуниверситета, мы оказались рядом... Александр Иванович больше отмалчивался, но уж когда вступал в разговор, сразу становилось понятно – перед нами профессионал высочайшего класса, прекрасно знающий русскую словесность, с тонким вкусом и острым чутьем на настоящие дарования...

Позднее мы встречались не раз, много часов провели в телефонных беседах, во время которых Александр Иванович непременно интересовался положением дел в литературе Беларуси. И не просто интересовался – каждый год он готовит белорусский выпуск журнала "Наш современник", где в переводе на русский можно познакомиться с произведениями Миколы Метлицкого, Михася Позднякова, Владимира Соломахи, Георгия Марчука и других известных писателей...

Во многом благодаря энтузиазму А. Казинцева постоянными авторами "Нашего современника" стали русскопишущие авторы из Беларуси: Светлана Евсеева, Валентина Поликанина, Тамара Краснова-Гусаченко, Елена Крикливец, Татьяна Лейко... Да и автор этих строк вот уже который год обнаруживает свое имя практически в каждом "белорусском" выпуске... Замечу, что, во многом именно благодаря публикациям в популярном русском журнале, упомянутые авторы получили немалую известность на российских литературных просторах. Но вначале нужно было их имена открыть, убедиться в том, что творчество этих прозаиков и поэтов действительно достойно внимания широкой аудитории, благословить их произведения в печать... Трудно даже представить, скольких трудов стоило бы моим коллегам "пробиться", не окажись рядом Александр Иванович Казинцев, не протяни он белорусским коллегам руку поддержки...

Замечу, что когда только начинали выходить в "Нашем современнике" белорусские выпуски, Постоянный комитет Союзного государства выделял на их издание определенные средства. Сегодня финансирование, увы, прекращено, и остается только дивиться тому, что Александр Казинцев даже в такой ситуации продолжает живо интересоваться новыми дарованиями из Беларуси. Год назад в журнале благодаря его участию появились стихи даровитого витебского поэта Николая Наместникова, совсем недавно стихи Татьяны Жилинской и совсем юного, девятнадцатилетнего Ильи Поклонского...

Так интересоваться поэзией способен только поэт. Александр Казинцев и есть поэт по духу и призванию, только по каким-то причинам оставивший (надеюсь, всё же на время) собственное поэтическое творчество. Во всяком случае, написанное им три-четыре десятилетия назад и сегодня выглядит совершенно современным, что является вернейшим признаком того, что перед нами настоящее...

С юбилеем, дорогой Александр Иванович! Ждём ваших новых произведений и будем рады представить на ваш строгий суд свои.

г. Минск

Вольфганг ГРАБОВСКИ

заместитель председателя Совета старейшин Левой партии Германии

Дорогой Александр Иванович!

Поздравляю Вас с 65-летием и искренне желаю здоровья и бодрости духа.

Когда люди в Вашей стране и за рубежом, а их было немало, оказались в отчаянном положении и почти не видели выхода из того хаоса и неразберихи, которые возникли в результате действий Горбачева и Ельцина, Вы подняли свой голос и вселили надежду на возрождение сильной России. Сегодня Россия вновь заняла место, отведенное ей историей, и охладила пыл тех, кто стремится к достижению корыстных целей на мировой арене.

И здесь, в Германии, многие люди с доверием и надеждой смотрят на большую интересную страну и её граждан. Просчитались властные элиты в Германии, уже уверовавшие было в то, что с Россией покончено, что её загнали в угол. А именно это было целью пресловутой политики "Drang nach Osten".

Немцы, в своем большинстве, не хотят войны с Россией, они желают дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Я благодарен Вам за то, что эта высокая цель вдохновляет и Вас.

Позвольте мне сердечно обнять Вас и пожелать новых успехов в Вашей творческой работе.

г. Берлин

Владимир РОДИН

дипломат

ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ

Дорогой Александр Иванович! Поздравляю Вас с 65-летием! Вы родились под знаков Весов – в очень хорошей компании: Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Сергей Есенин. Говорят, что Весы интеллектуальны, обладают острым аналитическим умом, рассудительны и спокойны. Интуиция и хороший вкус помогают Весам добиться больших успехов в разных областях искусства.

Хорошо помню, как я впервые пришел в уютный особнячок на Цветном бульваре и зашел в Ваш кабинет. Из-за стола, навстречу мне, поднялся высокий, статный мужчина с каштановой гривой волос и добрыми глазами. В беседе посоветовал "пахать свое поле" на германском направлении, "где у Вас не будет конкурентов"

Уходя, я подумал: ну, философ, публицист, писатель; но, откуда у него столько обаяния, уменья расположить к себе собеседника?

Не вдруг и не сразу стал я автором "Нашего современника". Но мне повезло: Александр Иванович – редактор от Бога! Если он прошелся по материалу, то там – после публикации – комар носу не подточит. Но к авторскому тексту – бережно!..

Высоко ценю Вас, Александр Иванович, не только, как редактора. Глубоко уважаю Вас за Вашу любовь к России, русскому народу, русской культуре. Когда наша страна, в лихие девяностые, попала в беду, Вы – с открытым забралом! – выступили против её недругов. "Наш современник" оказался на острие жарких дискуссий о причинах развала СССР, поисках России, её историческом предназначении; её роли в упрочении мира, борьбе с мировым злом, а ныне – с международным терроризмом; строительстве нового миропорядка без санкций и торговых войн. В разделе публицистики можно всегда почерпнуть весомые аргументы для бесед с политиками зарубежных стран, споров с фальсификаторами истории.

Меня подкупает Ваша смелость говорить правду о современной обстановке в России, в частности, о либеральной контрреволюции и её разрушительных последствиях для нашей страны. Когда наши либералы запели дифирамбы Горбачеву и Ельцину, автор этих строк задал себе такой вопрос: почему великий русский народ приводит к власти людей без царя в голове, неспособных обеспечить безопасность и благосостояние нашего народа?

А Вы мне ответили: в силу известных исторических обстоятельств, русский народ перестал быть хозяином в собственном доме! И опубликовали этот взрывоопасный материал в "НС"!

Ваш журнал показывает всему миру светлую душу русского народа, великого в ратном деле и труде, великодушного к поверженному противнику, отзывчивого на чужое горе (Сирия). И это не просто слова. Вот что говорил Пушкин об отношении России к побежденной Франции, напавшей на нашу страну в 1812 году: "В Париже росс! – где факел мщенья?// Поникни, Галлия, главой! // Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья // Грядет с оливою златой" ("Воспоминания в Царском селе").

А разве не так поступил советский народ с побеждённой в 1945 году нацистской Германией, вероломно напавшей на нашу страну? Мы протянули руку примирения немецкому народу и почувствовали в ответ крепкое рукопожатие немцев, граждан ГДР: "Спасибо! Ваша Победа – наше Освобождение!" Именно ГДР взяла на себя искупление вины немцев перед советским народом.

Благодарен Вам, редакции за то, что щедро предоставили страницы журнала советским дипломатам-германистам – Юлию Квицинскому и его соратникам. Не случайно, что к Вам потянулись и наши немецкие друзья-политики. И среди них – Ваши авторы Вольфганг Грабовски, Петер Андерсен, Ханс Шумахер.

Вы выдвинули интересную концепцию возвращения в большую политику народных масс. Сегодня мы видим, что Вы оказались провидцем. Народ Крыма поднялся, чтобы воссоединиться с Россией. А всенародная акция "Бессмертный полк", прокатившаяся по России и другим странам? Но массами можно ловко манипулировать – "цветные революции" в Грузии, на Украине. Возвращение России на мировую арену в качестве суверенной державы, рост её международного авторитета вызвал панику в американском истеблишменте, ярость от бессилия изменить ход истории. Англосаксы развязали экономическую и психологическую войну против России. Перед лицом крупных военных и дипломатических успехов России в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке, американцы решили повторить "удачный опыт" перестройки в СССР. Они обрушили шквал санкций на нашу страну с целью "поднять средний класс" на борьбу с Путиным. И метят они в наше слабое звено – экономику. Проблемы нашей экономики постоянно обсуждаются в разделе публицистики.

Александр Иванович, не умаляя Ваших личных качеств, хотел бы все же сказать, что своими успехами в любимом деле, Вы в немалой степени обязаны Вашей очаровательной жене Нине Алексеевне. Она стала Вашим верным союзником и советником во всех Ваших начинаниях! А на её-то вкус можно положиться!

Желаю Вам здоровья и много счастливых лет жизни! Врачи говорят, что активная творческая работа продлевает жизнь человека.

Лидия СЫЧЁВА

прозаик, главный редактор журнала "Молоко"

ДЕЙСТВУЮЩИЙ

Моё сотрудничество с журналом "Наш современник" связано в основном с именем Александра Ивановича Казинцева – писателя, публициста, общественного деятеля и просто "литературного человека".

В России не так много изданий русского направления. В основном они сосредоточены в провинции и, в силу своей зависимости от местного начальства, яркой публицистики по острым вопросам позволить себе не могут. В Москве свободы больше. Но здесь другая беда – почти полное господство космополитов и русофобов.

Что ж, "чем темнее ночь, тем ярче звёзды". Журнал "Наш современник" – русский журнал. Сергей Викулов и Станислав Куняев, Ольга Фокина и Юрий Бондарев, Валентин Сорокин и Виктор Лихоносов, Сергей Куняев и Андрей Воронцов, Юрий Козлов и Юрий Павлов, Игорь Шумейко и Андрей Антипин, Владимир Крупин и Сергей Козлов, Вячеслав Щепоткин и Сергей Кара-Мурза,

Михаил Тарковский и Виктор Боченков, Александр Щербаков и Иван Евсеенко – и многие, многие другие имена, русские голоса, всё это – мой "Наш современник".

И, конечно же, журнал невозможно представить без Александра Казинцева. Будучи заместителем главного редактора, он ведёт отдел публицистики – самый "горячий", и, пожалуй, самый мощный среди современных журналов.

Публицист – чернорабочий культуры, разведчик будущего, хранитель прошлого. Публицист не имеет права быть теплохладным аналитиком, изощрённым манипулятором, транслятором "железобетонных догм". Думать и действовать по-русски! Побеждать, убеждая – вот задача наших дней.

Редакторское дело требует многих качеств – литературного вкуса, интуиции, чутья, умения ладить с авторами (каждый из них – наособицу). Надо быть одновременно бойцом, политиком, дипломатом, медийной фигурой и человеком, приятным в общении. Нужна высокая работоспособность и готовность откликаться на новые идеи. Нужна мудрость компромисса и твёрдость позиции. Нужно убеждать и наставлять, вдохновлять и утешать.

Этими достоинствами Александр Иванович Казинцев наделен сполна. Мою статью "Гей, культура!" отказались публиковать несколько патриотических СМИ – не хотели ссориться с затронутыми в ней фигурами. Работа была напечатана в "Нашем современнике", и я искренне признательна редакции за принципиальность и гражданскую смелость. Когда у журнала центр мира – Россия, заботы страны, жизнь народа, то это чувство передаётся каждому автору и читателю.

Именно из статей, написанных специально для отдела публицистики "Нашего современника", совершенно естественно, как цветок в палисаднике, выросла моя новая книга "Мы всё ещё русские". Так что влияние на мою творческую судьбу Александра Казинцева – очевидно.

Раздумывая над этими праздничными заметками, я вдруг поняла, что ничего не знаю об Александре Ивановиче как о человеке – ни его вкусов, ни пристрастий, ни привычек. Всегда я его видела действующим – в трудах и заботах. Его книги, статьи, выступления – масштабны, под стать делу, которому он отдал десятилетия своей жизни. И такая верность не может не подкупать. Она заслуживает и уважения, и подражания.

Андрей ШАЦКОВ
лауреат премии правительства России,
главный редактор альманаха
"День поэзии — XXI век"

ПОЭТИЧЕСКИЙ "ПОБРАТИМ"

Что я знал про Казинцева: публицист, мыслитель, добрейшей души человек с большим русским сердцем. А далее, согласно всё знающей Википедии: "...С 1981 года после знакомства с В. Кожиновым стал сотрудником журнала "Наш современник"... Автор шести книг и около 200 публикаций в журналах... Секретарь правления Союза писателей России. Лауреат литературных премий..." и прочая и прочая. Подаренную лично им книгу "Возвращение масс" (М., 2010) одолел, хотя и не сразу, гордясь, что у меня есть такие высокоинтеллектуальные знакомые.

Но главное я узнал в 2013 году, когда Саша, не имеющий ни одной поэтической книги, признался мне в своей любви к стихам, а также, что он дважды печатался в "старых" альманахах "День поэзии", и предложил мне свою помощь по редактированию сборника, после чего сразу же коллегиально был включён в состав редколлегии. А в 2014 году в "Дне поэзии" вышла его подборка со знаменитым "Сказанием о Коловрате", стихотворением необычайно близким мне по духу и по содержанию. Так мы и стали поэтическими "побратимами", стараясь "держать" наш уже 60-летний альманах на уровне, хотя бы не уступающем прежним, доперестроечным временам. Совместные поездки в Ханты-Мансийск, Воронеж, Петрозаводск, Петербург с заветным "Днём". Сколько пожатых рук, сколько добрых глаз людей, уже начинающих забывать о настоящей поэзии!

Поздравляя своего коллегу с юбилеем, я прошу только одного, чтобы он совсем уж не забросил стихи, ибо время безжалостно и неумолимо для нас и поэтическое пространство съёживается, как шагреневая кожа. Долгих и новых Вам "Дней", Александр Иванович!

Елизавета МАРТЫНОВА

поэт, главный редактор журнала "Волга — XXI"

ПОМОГ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

Александр Иванович Казинцев – это человек, который помог мне поверить в себя. Для меня огромной радостью и событием стала публикация моей подборки в "Нашем современнике" в 2007 году, которую Александр Иванович составлял.

Дело, прежде всего, во внимании: Александр Иванович очень внимательно относился ко всем молодым писателям, пришедшим в семинар "Нашего современника". И при этом, при всей благожелательности – критично. На семинарах Форума молодых писателей России он помогал нам учиться не только у других поэтов, в том числе у своих сверстников, но и у самих себя, на том, что оказалось удачным: такой вот момент положительной критики.

Александру Ивановичу важно не только то, что можно взять для публикации у молодого писателя, а важен сам человек, личность автора. И это действительно важно: литература растёт из жизни.

Александр Иванович умел так организовать работу в семинаре "Нашего современника", что в течение Форума (я могу судить по Форумам 2006–2012 годов) к нам приходили поэты и прозаики из других мастер-классов, и не один человек, а много. И на занятиях царила светлая, праздничная, творческая атмосфера. Благодаря этим семинарам я познакомилась с замечательными молодыми поэтами – Марией Знобищевой, Русланом Кошкиным, Кариной Сейдаметовой, Ильёй Недосековым и многими другими участниками Форума. Я думаю, что тот дух, та атмосфера, которые были тогда, без А. И. Казинцева не смогли бы проявиться – было бы совсем другое (мне есть с чем сравнивать после посещения самых разных литературных студий и мероприятий).

Для меня воспоминания о семинарах, руководителем которых был Александр Иванович, – это то, что поддерживает в жизни, в работе, в написании стихов. Когда у меня были какие-то неприятности или неудачи, я знала, что могу позвонить в редакцию "Нашего современника" А. И. Казинцеву или написать письмо, чтобы поделиться и услышать совет.

С удовольствием вспоминаю прогулки нашего семинара в окрестностях "Липок", где Форум проводился. Иногда смотрю фотографии нашего семинара и могу вспомнить, кто в тот момент и о чём говорил.

Уроки Форума мне очень помогли, когда я стала редактором журнала: знаю, что писатели нуждаются в сочувствии и понимании. Особенно те, у которых что-то получается. И автору ведь важно не просто текст для публикации предложить, ему необходимо человеческое отношение.

Всегда помню слова Александра Ивановича о том, что "критика – это искусство понимания".

А ещё Александр Иванович Казинцев для меня очень хороший поэт. Я и публицистику его воспринимаю как поэзию. С удовольствием читала его стихи в журналах (искала и нашла и в современных изданиях тоже), читала и слушала рассказы о "Московском времени", о Тарковском. Помню, на семинаре 2006 года в "Нашем современнике", произошло такое интересное совпадение – когда спрашивали о любимых поэтах, среди других имён я назвала Арсения Тарковского, а Александр Иванович рассказал о своём знакомстве с ним.

Я поздравляю Александра Ивановича Казинцева с наступающим юбилеем, желаю ему здоровья, новых книг, понимающих авторов и читателей, и, конечно, удачи его журналу.

г. Саратов

Андрей ТИМОФЕЕВ

прозаик, председатель Совета молодых литераторов

До двадцати восьми лет я совершенно не интересовался современным литературным процессом и знал Александра Казинцева как представителя “Нашего современника” 80-х, одного из героев легендарного мифа неопочвенничества, где он “осаждал Трою” вместе с Вадимом Кожиновым, Михаилом Лобановым и Юрием Селезнёвым. Иногда ещё мне попадались отдельные части “Поезд убирается в тупик” и “Возвращения масс”.

Подсознательно я всегда ощущал “Наш современник” “своим” журналом, но будто специально оттягивал процесс знакомства, не спешил предлагать тексты – навстречу “своему” идти всегда страшно, слишком велик страх неудачи. И поэтому, даже когда я первый раз поехал в Липки, специально подался в семинар “чужого” “Нового мира”, но всё-таки запланировал сходить в “Наш современник”, чтобы поглядеть и, так сказать, присмотреться. Но, видимо, семинар журнала закончил тогда работу раньше, потому что, заглянув в нужный холл в последний день, я нашёл только пустые стулья. Хотя Александра Ивановича Казинцева и Сергея Станиславовича Куняева, конечно же, видел на официальных мероприятиях форума и наблюдал за ними. И не мог не заметить, что они сидят, как бы отделённые от других мастеров невидимой стеной враждебности. Этой враждебности они не смущались и отстаивали своё, что внушало мне уважение. Однако если Сергей Станиславович ввязывался в неравный бой с открытым забралом, обречённый на трагическое поражение во враждебной среде, то Александр Иванович действовал иначе: за мягкой, витиеватой речью чувствовался человек, уверенный в себе и в хорошем смысле хитрый, которого поди победи просто так, и это вызывало у меня мстительное удовлетворение от сознания силы “своих”.

Но самое удивительное ждало меня впереди... Когда я всё-таки пришёл в журнал, стыдливо озираясь по сторонам, и шагнул в кабинет к Казинцеву, тот принял меня неожиданно радушно и вдруг сам заговорил о моём рассказе, который он собирался печатать. И я был поражён тем, что ты ходил где-то рядом, присматривался, а о тебе, оказывается, всё знали и держали в голове твой рассказ, и тут же объяснили его достоинства и недостатки – это был урок настоящего профессионализма.

Здесь заканчивается история моего отношения к Александру Казинцеву как к критику, публицисту и одному из лидеров русского направления и начинается история личных взаимоотношений с Александром Ивановичем как с человеком. История, которая вместила и неожиданное приглашение к нему на дачу для работы над рукописью первой повести, и требование сократить следующую повесть в два раза, воспринятое мною тогда чрезвычайно болезненно, и долгие оживлённые разговоры о литературном процессе, и совместную радость за попадание “наших” авторов в списки тех или иных премий. И, конечно же, его настойчивые упрёки за мои “идеалистические” порывы, за ожесточённые споры с поколением “нового реализма”, за стремление мерить всех самой высокой мерой при максимальной лояльности по отношению к своему поколению “нового традиционализма”.

И если Михаил Петрович Лобанов, у которого я учился в Литературном институте, показывал мне, каким до́лжно быть в литературе, задавал планку невероятно высокого Идеала, которому нельзя соответствовать в полной мере, а лишь стремиться всей душой, то Александр Иванович Казинцев учил, как жить в литературе человеку со своими “неидеальными” устремлениями и страстями – как, не будучи великим и непогрешимым, выплавленным из фронтовой стали, всё же ни на минуту не ослабить борьбу и положить жизнь во имя того, что для тебя свято. Как не бояться идти туда, где находятся твои идейные противники, и делать дело, не боясь “запачкаться”. Как по-настоящему работать, например, с теми же молодыми – буквально за несколько лет Александру Ивановичу удалось объединить вокруг “Нашего современника” наиболее талантливых представителей только входящего в литературу поколения, дав им возможность звучать на страницах легендарного журнала.

В лицемерном и агрессивном литературном мире нелегко найти людей, которым можно доверять. И то, что ты в любой момент можешь позвонить Александру Ивановичу и услышать мягкий вкрадчивый голос, а потом поговорить о том, что волнует тебя в настоящий момент, согревает и придаёт силы.

ГЕОРГИЙ ЦАГОЛОВ
доктор экономических наук

“ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА” ПРОТИВ КРЕМЛЁВСКОГО НОСТРАДАМУСА

Майские указы президента, предусматривающие экономический рывок и продолжительную безбедную жизнь, вселили светлые надежды в россиян. Но, как оказалось, ненадолго. Истекшее лето баловало хорошей погодой, но не событиями внутренней и международной жизни.

Тревожное лето

В разгар футбольного мундиаля из недр экономического блока правительства пришла возмутившая десятки миллионов граждан весть о намерении увеличить возраст выхода на пенсию – на пять лет для мужчин и на восемь для женщин. Тут же последовало чреватое скачком цен решение поднять до 20 процентов с начала следующего года НДС. Вскоре оно было одобрено и подписано Путиным. 29 августа президент заметно смягчил условия изначально предлагавшейся пенсионной реформы, сократив выход на пенсию для женщин на 3 года и внеся ряд других существенных корректив, но это не поколебало протестные настроения и акции в обществе.

Обострение отношений с Западом и планы ужесточения санкций со стороны США нанесли удар по рублю, что неизбежно влечет за собой новый рост дороговизны. По сути, нам объявили войну и, как справедливо замечают многие, пока лишь экономическую. Необходимость мобилизации общества перед растущей внешней угрозой и нарастающими внутренними проблемами не вызывает сомнений. Но все ли согласны идти на это?

Горстка российских миллиардеров сконцентрировала треть всего национального богатства. Ни при каких обстоятельствах они не желают чем-либо поступаться. В расколотом и всё более поляризующемся обществе зреют гроздья гнева, чреватые социальным взрывом с непредсказуемыми последствиями. Похоже, что и во властных структурах находятся те, кто понимает опасность происходящего и ратует за недопущение худшего.

Инициатива из Кремля

В июле помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов покусился на “святое”. Нет, он, конечно, не предложил национализировать захваченные с помощью “залоговых аукционов” и иных приватизационных уловок крупнейшие российские предприятия, принадлежавшие

некогда всему народу, а ныне находящиеся в частной собственности олигархов. В письме своему шефу помощник рекомендовал изъять лишь 513,7 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний. Он пояснил, что благодаря внешней рыночной конъюнктуре и ослаблению рубля этим корпорациям "принесло ветром" более 1,5 трлн руб., при том, что налоговая нагрузка в этих отраслях в четыре раза меньше, чем, скажем, в нефтегазовой – 7% против 28%.

Белоусов напомнил, что в 2016 году уже был предпринят ряд мер по изъятию в федеральный бюджет дополнительных доходов нефтегазовых компаний. А теперь пора сосредоточить внимание на других ресурсных отраслях. Он заметил, что это мировая практика, а вырученные средства могли бы пойти на выполнение майского указа президента, насчитывающего около 150 национальных целей и стратегических задач, из которых почти половина приходится на области инфраструктуры, образования и здравоохранения. Ознакомившись с письмом, Путин в конце июля поставил резолюцию "Согласен". Официально комментировать документ с такой резолюцией первое время никто не решался. Но позже выяснилось, что это означало добро на экспертную проработку вопроса в правительстве.

В списке Белоусова оказались "Норникель" Владимира Потанина, "Северсталь" Алексея Мордашова, "АЛРОСА" и "СИБУР" Леонида Михельсона, "Полюс Золото" Сулеймана Керимова, "Металлоинвест" Алишера Усманова, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина, "Евраз" Романа Абрамовича, "Уралкалий" Дмитрия Мазепина, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова, Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко, "Мечел" Владимира Зюзина, "ФосАгро" Андрея Гурьева и "Акрон" Вячеслава Кантора.

В штыки

Реакция олигархов была вполне ожидаемой. Первым в бой ринулся Владимир Лисин, хозяин НЛМК, ныне богатейший из россиян. В письме Белоусова на Лисина приходилось свыше 20 млрд рублей возврата в федеральный бюджет. Сперва он отшутился анекдотом про глупого зайца, покупающего рубль за рубль двадцать и радующегося мощным оборотам. На это Белоусов напомнил о принципе "делиться надо", ранее именно так сформулированным ельцинским министром финансов Александром Лившицем. Лисин отреагировал от имени всей ассоциации "Русская сталь", президентом которой является, и которая объединяет помимо его корпорации также "Северсталь", "Евраз", ММК, "Мечел". Он без обиняков назвал предложение президентского помощника "поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов надо заплатить".

А владелец "Северстали" Алексей Мордашов, на которого приходилось 43 млрд рублей возврата в федеральный бюджет, незамедлительно обратился к министру промышленности Денису Мантурову с просьбой отказаться от изъятия сверхдоходов, иначе "ни о каком росте в чёрной металлургии, да и вообще в нашей экономике, говорить не придётся". Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), руководимый несменяемым Александром Шохиным, пошёл ещё дальше и сочинил обращение к Путину, где выразил беспокойство, что инициатива Белоусова "не способствует повышению конкурентоспособности и негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны". С этим солидаризировалась Счетная палата в лице её главы Алексея Кудрина: "Эта инициатива недостаточно проработана и подготовлена. Сегодня такого рода предложения приведут к уменьшению инвестиций и к нарушению доверия".

Принадлежащие Алишеру Усманову "Коммерсант" и "Газета.Ru" подхватили эстафету. Последняя окрестила предложение Белоусова "ударом в спину": "В то время как российский фондовый рынок и вместе с ним рубль не могут "отдышаться" от санкционных ударов со стороны Америки и пребывают в шоке от ещё предстоящих, последовала внезапная "атака с тыла". Далее интернет-издание сравнило идею Белоусова с большевистской продразвёрсткой времён "военного коммунизма", когда у крестьян, которых на глазок определяли, как "зажиточных", изымали зерно на нужды революции. "Так что, судя по этому критерию, у нас наступают времена "военного госкапитализма".

Под угрозой оказывается и сложившийся баланс элит, и политическая стабильность", – верещало электронное СМИ, запугивая читателей тем, что "многие или все инвестиционные программы металлургов и химиков могут пойти под нож, а вместе с ними рабочие места, зарплаты и те же налоги".

13 августа газета "Ведомости" выступила с пространной передовой статьей под заголовком "Налоговое пекло". На первой странице издания было помещено пугающее фото огненной лавы с надписью: "Перед добросовестными налогоплательщиками из передельных отраслей экономики разверзлась пропасть". В ней повествовалось о суммарных потерях капитализации фирм, входящих в "список Белоусова", на Лондонской, Нью-Йоркской и Московской биржах и утверждалось: "Если цель – добить последние отрасли в стране и бессмысленно потерять ещё немного денег, план помощника президента хорош". А один возмутившийся собеседник информационного агентства "Рейтерс" заявил: "Осталось ещё только изъять у граждан доллары".

К воинственному хору мгновенно присоединились эксперты либерального толка из Высшей школы экономики и других привилегированных учреждений. Так, политолог Михаил Корягин увидел в предложениях из Кремля "системные опасности": "Изъятие сверхдоходов у частных компаний в пользу государства меняет капиталистические правила игры. Большинство экономистов уже заявили, что этот шаг разрушает основы рыночной экономики, а следствием этого разрушения станет постепенное усиление командно-административных инструментов управления". Нашлись и те, кто охарактеризовал подход Белоусова как "экономически безграмотный". С этим уж точно никак нельзя согласиться.

"Нострадамус"

Андрей Рэмович Белоусов родился в 1959-м в семье видного советского и российского экономиста Р. А. Белоусова и уже в детстве видел дома много выдающихся учёных. Он с отличием окончил экономический факультет МГУ, где слушал блистательных профессоров легендарной в то время кафедры политической экономии, находился в тесных творческих контактах с такими знаковыми фигурами, как академики А. И. Анчишкин и Ю. В. Яременко. Работал в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ), а затем перешёл во вновь созданный Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) АН СССР. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Белоусов зарекомендовал себя глубоким экспертом, выпускал аналитический журнал по экономике. Входил в состав коллегии Министерства экономики и являлся консультантом ряда премьеров, в том числе Е. М. Примакова. В 2000 году основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на базе которого в 2005 году опубликовал доклад "Долгосрочные тренды российской экономики: сценарии экономического развития России до 2020 г.". В нём Андрей Рэмович спрогнозировал экономический кризис 2008 года, указал на возможный спад экономики в 2011–2012 годах и сбой системы государственного управления в 2015–2017-м. Предсказания аналитика сбылись, его даже стали величать "Нострадамусом".

В 2006 году он перешел на государственную работу и занял должность заместителя министра экономического развития. Вскоре получил почётное звание "Заслуженный экономист РФ". В 2008 году Путин назначил Белоусова директором департамента экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. Там Белоусов отвечал за вопросы, связанные с формированием бюджета, государственными инвестициями, улучшением делового климата. При нем были созданы Агентство стратегических инициатив, запущена так называемая "Национальная предпринимательская инициатива", нацеленная на совершенствование условий ведения бизнеса в России.

В 2012 году его назначили министром экономического развития РФ, а через год утвердили помощником президента РФ по экономическим вопросам. В экономическом сообществе его считают весьма авторитетным учёным, придерживающимся прогрессивных, хотя и не радикальных взглядов. Называют "правой рукой" Путина.

По мнению Telegram-канала "Незыгарь": "Белоусов удивительным образом мог остаться во власти, минуя представительство в либеральном финансово-

экономическом блоке, основанном ещё Гайдаром и младолибералами 90-х. Он – представитель школы советского Госплана... При этом за Белоусовым остается слава лучшего экономического прогнозиста России".

Кому помешают 8 миллионов долларов в день?

О запредельных барышах фигурантов "списка Белоусова" заговорили задолго до него. Даже постоянно поющее гимн мировому и отечественному капиталу русскоязычное издание журнала "Форбс" в статье "Золотые металлисты" в мае этого года следующим образом комментировало перестановки на деловом Олимпе: "Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на $25 млрд, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106... Как и в прошлом году, лучшие результаты показали "металлурги" – рейтинг возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (состояние $19,1 млрд), а второе место досталось владельцу "Северстали" Алексею Мордашову ($18,7 млрд). В первую десятку вошли ещё три представителя отрасли: совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин (№ 6, $16,9 млрд), акционер "Русал" Виктор Вексельберг (№ 9, $14,4 млрд) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов (№ 10, 12,5 млрд)".

Уточним, что Лисин за последний год "заработал" $3 млрд, т. е. по $250 млн в месяц, или свыше $8 млн в день! От $1 млрд до $ 2 млрд "потяжелели" Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов и Виктор Вексельберг. Заметим, что вся искомая Белоусовым сумма для пополнения бюджета за счёт сверхдоходов 14 компаний составляет в долларах лишь 7,5 млрд.

В своё время участники списка Белоусова задарма присвоили самые лакомые куски государственной собственности. Почему же сейчас – в столь тяжёлый момент! – не прийти на помощь и не поделиться со страной, ограбленным в свое время народом? Тем более что сверхдоходы свалились на них без их участия – цены на мировом рынке на их товары взлетели вверх, а свою продукцию они в основном реализуют за твердую валюту. И вследствие обесценения рубля выручка в долларах принесла еще большие суммы в рублях. Благодаря девальвации национальной валюты, например, НЛМК сократил ежемесячный фонд оплаты труда в два раза. В год получается чистой экономии только на рабочих порядка $400 млн. Но нет, они не хотят пойти на уступки. Их, видите ли, заботят "инвестиции".

Их инвестиции

Ни для кого не секрет, что большинство хозяев крупнейших российских корпораций предпочитают уклоняться от вложений в производственную сферу и предпочитают гнать миллиарды в офшоры, так что деньги оказываются в иностранных банках. Как недавно писало одно издание: "От финансовых потоков, генерящихся на трофейных советских активах, российские олигархи открыто уже одурели. Это если говорить предельно цинично. Деньги не вкладываются, как правило, ни в производство, ни в природоохранные мероприятия, ни в людей. Зато они бодро тратятся на бизнес-джеты, виллы, частные острова, мега-яхты, да и просто исчезают где-то в недрах западных офшоров. Денег так много, что некоторые устают и надрываются в скупках вышеуказанных излишеств".

Так о каких же инвестициях идет речь?

Не о том ли, что Усманов желает купить третью по счёту яхту? Ведь две у него уже есть. Одну под названием "Она" длиной в 110 метров он приобрёл за $210 млн в 2008 году. Другую – "Дилбар" (по имени матушки) – выстроил в 2016 году за $550 млн. Её длина – 156 метров. Самая вместительная в мире среди яхт, гросс-тоннаж – 15 917 т. Судно может двигаться с крейсерской скоростью 42 км/ч. На ней размещен самый крупный в мире яхтенный бассейн и самая мощная дизельная электростанция. Общая площадь внутренних помещений – 3,8 тыс. кв. м. Длина электропроводки на судне превышает 1100 км. На "Дилбар" две вертолётные площадки, кинотеатр, лифт, на ней могут одновременно находиться до 40 гостей.

По три яхты уже имеет Владимир Потанин и Олег Дерипаска, по две Андрей Мельниченко, Аркадий Ротенберг и Роман Абрамович. Хозяин "Суэк", "Трубной металлургической компании" (ТМК) и "Еврохима" Мельниченко в 2008 году построил в Германии яхту за $255 млн – "Motor Yacht A" длиной в 119 метров. Этого ему показалось мало, и в 2015 году он там же отстроил за $425 млн вторую – "Sailing Yacht A", длиной в 142,5 метра. Лодка имеет шесть палуб, а её мачты выше Биг-Бена (более 100 м). Водоизмещение – 12 700 тонн. Самый крупный построенный за последние 20 лет военный корабль имеет вдвое меньшее водоизмещение. Одна из яхт Абрамовича – красавица "Eclipse" – и того круче: длина 162,5 метра, а экипаж в 70 человек. Она обошлась бывшему губернатору Чукотки в $460 млн.

"Флот российских миллиардеров огромен, – констатирует июльский выпуск "Форбс", – более 40 только идентифицированных яхт, оценочная стоимость составляет $5 млрд... Эта флотилия сопоставима с военным флотом таких стран, как Франция или Великобритания. Большинство миллиардеров предпочитают скрывать владение лодками в целях конспирации и налоговой оптимизации, поэтому они ходят под флагами Британских заморских территорий – например, Бермудских и Каймановых островов". Помимо яхт у флотоводцев есть весьма дорогостоящие спортивные клубы, дворцы на Лазурном берегу Франции, в фешенебельных районах Парижа и Лондона. Как видно, имеется и жажда всё это постоянно приумножать.

Близорукость

Во времена великого кризиса 1930-х годов один из богатейших тогда американцев Джозеф Патрик Кеннеди, отец будущего президента США Джона Кеннеди, сказал, что готов отдать половину своего состояния ради того, чтобы вторая половина осталась неприкосновенной. Кеннеди-старший был дальновидным бизнесменом. Увы, наши олигархи, похоже, куда более близоруки, и их алчность грозит обернуться трагическим исходом. Осознавая это, наиболее прозорливые представители элиты подчас делают робкие шаги навстречу интересам народа. Но правят бал всё же другие.

10 августа предложение Белоусова "для проработки" направили в 5 профильных министерств (финансов, экономики, промышленности и торговли, природы и энергетики). Тесно связанные с капиталом и "денежными мешками", они, естественно, через несколько дней дали отрицательные заключения. 17 августа СМИ информировали, что "против "плана Белоусова" по изъятию миллиардов выступили бизнесмены и министры".

Белоусов не дрогнул и пригласил руководителей 14 компаний, у которых хочет изъять сверхдоходы, на встречу 24 августа. На совещании он планировал объяснить свою позицию, услышать аргументацию компаний и альтернативные предложения, чтобы "прийти к компромиссу".

Путин от участия в этой встрече дистанцировался, о чём сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: "Президент не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства".

21 августа "Ведомости" известили, что первый вице-премьер Антон Силуанов "заступился за бизнес". Его Минфин вынес вердикт: "В случае повышения налоговой нагрузки бизнес и экономику ждут падение инвестиций и капитализации компаний. Внезапное изъятие большей части дополнительных доходов у экспортно ориентированных компаний подорвёт доверие бизнеса к политике правительства". Газета также информировала и о том, что "повестка встречи изменилась – на ней будет обсуждаться не вопрос изъятия прибыли, а создание условий для инвестиций". Тогда же питомец "Вышки", нынешний глава Минэкономразвития Максим Орешкин отчеканил: "Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято, там такие меры не предполагались, поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения". Крупный чин из МЭР добавил: "Сейчас прорабатывают план по развитию инвестиционного климата по поручению Путина. Инициатива Белоусова полностью противоречит пунктам данного плана".

Кто в доме хозяин

Исход "совещания" был заведомо предрешен. Оно проходило не в Кремле, а на площадке денежных тузов – штаб-квартире РСПП. Андрей Рэмович требовал, чтобы присутствовали именно реальные владельцы, а не управляющие. Однако пришли только 4 совладельца, а наиболее крупные – Лисин, Потанин, Мордашов, Усманов, Рашников, Михельсон – были представлены наемным топ-менеджментом. Как заметил один комментатор: "раз позвал не Папа, то отправим им своих сподручных на встречу". Упоминавшийся глава РСПП Шохин услужливо шантажировал: "Потери фондового рынка страны из-за возможного повышения фискальной нагрузки на компании горно-металлургического и химического комплекса в рамках инициативы Белоусова оцениваются в 3 трлн рублей", говорил об угрозе дефолта и том, что "компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности".

Наконец, Силуанов с торжествующим видом заявил: "Налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась и с РСПП, и с предприятиями. Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний, и изыматься они не будут. Каких-то изъятий и перераспределения не предполагается. Они будут лишь инвестироваться самими компаниями в удобные для них проекты. Государство лишь поддержит, поможет, подскажет интересные для компаний направления вложения этих средств, создаст необходимые механизмы с учетом инструментария, который есть у государства". А Шохин к тому добавил: "Мы не обсуждали само письмо об изъятии доходов, мы обсуждали план совместных действий власти и бизнеса по активизации инвестиционных планов компаний... Мы договорились о том, что будем искать и эффективные инструменты, и определять перечень таких проектов с тем, чтобы заинтересовать бизнес в реализации этих проектов, но не в ущерб интересам развития самих компаний".

В итоге мысль об изъятии доходов была отвергнута и принято решение создать специальную рабочую группу, которую возглавят заместитель председателя правительства, министр финансов А. Силуанов и шеф РСПП А. Шохин. В нее войдут и хозяева "компаний, имеющих экспортно-сырьевую направленность". Группа займется "выбором привлекательных для бизнеса социальных проектов для инвестиций". Сумма "добровольных инвестиций" зависит от тех проектов, которые выберет рабочая группа. В конце ноября она представит окончательный план. Белоусову только и оставалось сказать: "Я думаю, и обществу будет интересно, и правительству интересно смотреть на то, насколько бизнес готов подставить плечо под реализацию такой общественной повестки", добавив, что "уклонисты" получат "как минимум общественное осуждение". На это Шохин съязвил: "Главное, что уклонистами не будет заниматься Следственный комитет". Словом, гора родила мышь...

"Главный итог – со своей экзотической идеей Белоусов оказался в изоляции, – писал телеграмм-канал Bunin & Co. – Судя по тому, что встреча с участием первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлилась меньше часа, особых дискуссий на ней не было. Похоже, мероприятие было призвано поставить точку в этой неожиданной и вызвавшей непривычно решительную реакцию бизнеса истории... В любом случае рискованная игра обернулась сильным ударом по его (Белоусова) репутации".

А ведь Белоусов предложил лишь поделиться сверхприбылями и не предлагал национализацию минерально-сырьевой базы и ключевых отраслей экономики, что могло бы пополнить не карманы плутократии, а федеральный бюджет. Вкупе с введением прогрессивной шкалы подоходного налога это дало бы мощный толчок развитию экономики страны. И в таком случае не надо было бы ни повышать пенсионный возраст, ни НДС.

Инициативу кремлевского Нострадамуса цинично растоптали, заменив ничего не значащими обещаниями. Против выступил объединённый фронт олигархии. Её "железная пята", описанная Джеком Лондоном 110 лет назад, получила прочную прописку в современной России. Кремль капитулировал перед Его Величеством КАПИТАЛОМ. Идея изъять у олигархов сверхприбыли закончилась пшиком. Участь предложения Белоусова – лакмусовая бумажка, чётко показывающая, кто в доме хозяин.

P.S. 6 сентября руководители компании из "списка Белоусова" и ряд других крупных предпринимателей, пожелавших подключиться к участию в "выборе привлекательных для бизнеса социальных проектов для инвестиций", прибыли на первое совещании в РСПП, чтобы представить предварительные намётки в свете решения августовского совещания. Среди них были совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, владелец ММК Виктор Рашников, ведущий акционер ТМК Дмитрий Пумпянский, владелец "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "Полюса" Павел Грачев, президент СУЭК Владимир Рашевский, глава группы "Илим" Захар Смушкин, гендиректор "Россетей" Павел Ливинский, гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев. Правительство представляли первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин.

Присутствовавший на встрече корреспондент ТАСС на следующий день информировал, что поскольку "компании отбились от наезда Кремля", речь на встрече "шла не об изъятиях, а о предоставлении им льгот". Правда, представитель "Металлоинвеста" Андрей Варичев все же на всякий случай спросил, правильно ли он понимает, что тема об "изъятии сверхдоходов" исчерпана? Помощник президента РФ ответил репликой – "Ну зачем вы так, Андрей" и разъяснил, что "компаниям предлагают вкладывать дополнительные доходы в российскую экономику". Выступая по итогам встречи, Силуанов также сообщил, что государство не планирует "ничего отбирать" и "даже, наоборот, мы хотим помогать компаниям успешно инвестировать", добавив, что "никакой полемики на встрече по этому поводу не было".

Некоторые участники встречи торжествующе заявляли, что представленные проекты суммарно намного превосходят указанную прежде величину изъятий из сверхдоходов. Никто не говорил о том, что все эти проекты сулят дополнительные прибыли корпорациям и касаются лишь сфер инфраструктуры, цифровой экономики и экологии. Ни один из них не направлен в сферы здравоохранения и образования, предлагавшиеся в качестве основополагающих в том случае, если бы был реализован первоначальный замысел Белоусова.

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ
член Совета Федерации

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

Со времени бурных “перестроечных” лет конца 1980-х годов прошло почти тридцать лет. Три десятка лет мы идём тернистым путём политического и экономического кризиса.

Цена этих преобразований в жизни общества слишком высока. Мы потеряли мощное государство – СССР – и едва не лишились уже новой Российской Федерации. В 1990-е годы потеряли своё политическое лицо, а затем, приобретя его вновь, подвергаемся многолетнему остракизму со стороны Запада под руководством США.

В экономической сфере положение по-прежнему сложное. Сознательное разрушение в 1990-х годах основ многофункциональной промышленности не могло не сказаться на комплексном развитии экономики. Практически такая же ситуация сложилась в науке, да и социальная жизнь оставляет желать лучшего.

Даётся ли каким-либо образом реальная оценка происходящему в стране? Ведь для того, чтобы лечить, нужно иметь правильный диагноз. Об этом очень доходчиво написал главный редактор журнала “Форбс”:

“Поразительная неспособность экономистов и политических лидеров оценить, чем сегодня болеет большинство экономик, и назначить правильное лечение удручает и свидетельствует об их твердолобом отказе изучить факты и о глубинной эмоциональной приверженности фальшивым идеям. Это также показывает их умственную лень”.

Реальному положению экономики страны мной будет уделено внимание отдельно. В данной же части хотелось бы остановиться на фундаментальных вопросах экономического развития России в новых рыночных условиях.

В конце 1980-х годов в Советском Союзе развернулись политические баталии по вопросу дальнейшей экономической модели. Несмотря на то, что обсуждение этой проблемы проходило с экономических позиций, тема стала своеобразным оружием в развернувшейся в стране политической борьбе. Экономика стала заложницей политики.

Старшее поколение помнит эти не прекращавшиеся битвы. Правительство СССР немедленно записали в разряд замшелых консерваторов, не понимающих веяния времени. Появилась фантастическая программа “500 дней”, которая стала рычагом в политической борьбе.

Предложения Совета Министров СССР о постепенном, эволюционном реформировании существовавшей экономической модели подвергались жесточайшей критике. Все наши предупреждения о явно пагубных радикальных действиях объявлялись консервативными, не отвечающими духу времени.

Продолжение. Начало в № 7, 8 за 2018 год.

Прошло три десятилетия. И я всё чаще и чаще задумываюсь: что же мне сейчас, радоваться или печалиться? Радоваться тому, что мы оказались правы, о чём свидетельствует жизнь новой России, начиная с "лихих девяностых", или печалиться о том, что наши предложения были тогда бездумно отвергнуты со всеми вытекающими последствиями. По-видимому, нам придётся выпить всю горькую чашу до дна.

Хочу напомнить, что создание специальной группы в ЦК КПСС в начале 1983 года было инициировано Генеральным секретарём ЦК КПСС Ю. В. Андроповым. Это он, выступая на Пленуме партии, проронил: "Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живём".

Перед группой, в которую вошли М. С. Горбачёв, В. И. Долгих и Н. И. Рыжков, была поставлена задача тщательно разобраться с плюсами и минусами действовавшей в то время советской экономической системы и дать рекомендации по её реформированию. При этом особо было отмечено, что учёными страны написано и опубликовано множество книг и статей по данной проблематике, а на государственном уровне нет в этом отношении никакой позиции.

Положение действительно было именно таким. Складывалось впечатление, что наука, в том числе и экономическая, с одной стороны, и реальная экономика – с другой жили каждая сама по себе, в разных плоскостях.

Задачей нашей группы было совместными усилиями учёных и практиков разобраться, прежде всего, во всех предложениях, а затем разработать рекомендации для руководства страны.

Нынешнее положение повторяет ситуацию, сложившуюся в 1980-х годах. Но только сейчас не существует специального органа, который бы занимался разработкой предложений по изменению курса развития экономики. В то же время уже совершенно очевидно, что взятый на вооружение прозападный либерально-монетаристский курс себя не оправдал. "Съев" за прошедшие годы советский задел, страна затопталась на месте.

Уже в течение нескольких лет экономический кризис держит государство в тисках. В 2017 году развитие экономики завершилось с очень небольшим плюсом, что совершенно не удовлетворяет растущие потребности социально-экономической жизни страны.

В настоящее время самостоятельно стали разрабатываться рекомендации по реформированию экономики. Появилась программа Столыпинского клуба, разработанная под руководством Б. Ю. Титова; правительственная – которую никто не видел; рекомендации Совета Федерации. Особо следует остановиться на "деятельности" бывшего министра финансов А. Л. Кудрина. Заниматься этим делом ему поручил В. В. Путин, поставив его во главе Центра стратегических разработок. Если об упомянутых мной выше программах практически никто не знает, то все "новеллы" Кудрина немедленно попадают в СМИ.

Мы наивно думали, что этот Центр будет площадкой для обсуждения всех – подчеркиваю – всех предложений в целях выработки единой программы для руководства страны. Не тут-то было! Этот орган – "монополия" только одного человека, "лучшего министра финансов мира" (а получил он это зарубежное признание в своё время после того, как Россия стала закупать в огромных масштабах ценные бумаги США под 1,9 процента годовых). Всё это происходило в "тучные" годы, когда стоимость одного барреля нефти зашкаливала все возможные пределы. Вот что делалось вместо того, чтобы эти финансовые ресурсы направлять на модернизацию производительной базы страны, развитие инфраструктуры и т. д.

Чем это закончится – неизвестно. Состоится ли всё-таки обсуждение программ модернизации экономики – никто не знает. Может быть, будут приняты именно проекты Кудрина? Горе будет нам! Или "всё само собой рассосётся"? Но вряд ли, этого уж точно не случится!

При формировании правительства в мае 2018 года этот "непотопляемый специалист" получил высокую должность руководителя Счётной палаты. Имея официальный статус, он теперь официально проводит свои идеи в жизнь. Уже через 2-3 месяца в стране стали обсуждать некоторые его идеи – радикальные изменения в пенсионной системе, увеличение налогов (НДС), создание крупных агломераций как источника роста экономики и т. д. А может быть, пост главы Счётной палаты – это ступень для более высокого поста в государстве?

Создавшееся ныне положение с рассмотрением предложений по реформированию экономики я сравниваю с системой, созданной 30 лет назад. В созданную специальную Комиссию Совета Министров СССР по реформированию экономики входили известные учёные, академики, экономисты, доктора наук, специалисты в различных областях – в сфере промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и т. д. Возглавлял эту Комиссию академик Академии наук СССР Л. И. Абалкин.

Работая над предложениями по реформированию экономики, Комиссия тщательно изучала действующие экономические модели многих стран, анализировала основные работы по данной тематике и предложения учёных с мировым именем.

Безусловно, члены Комиссии владели научным опытом и теорией различных экономических школ мира. Располагая теоретическими знаниями и обладая реальным опытом проведения реформ в других странах, они вносили в Правительство конкретные предложения. Правительство же регулярно заслушивало их, участвовало в обсуждении, иногда очень жарком, и принимало то или иное решение.

Я полагал, что нечто подобное будет создано и сейчас. Но, к сожалению, оказалось, что это всего лишь мои наивные мечты.

Тем не менее, возникает вопрос: каким научным потенциалом – прошлым и нынешним – мы располагаем для выработки необходимых для нашей страны предложений по осуществлению социально-экономических перемен? Это не праздный вопрос. Мы обязаны знать имена тех учёных, которые, используя свои знания, работают над подготовкой предложений по созданию такой экономической модели, которая соответствовала бы современным достижениям в мире и которая позволила тем странам, у которых она уже создана, в сравнительно короткие сроки достичь серьёзных успехов в их социально-экономическом развитии.

Учитывая, что предложенная Советом Федерации концепция реформирования экономики направлена на вывод страны с "затухающей кривой" экономического развития, позволю себе подробно остановиться на том, что она собой представляет, на её сути и философии.

Прошло почти тридцать лет с того времени, как была осуществлена "шоковая терапия" – ельцинско-гайдаровская экономическая модель, созданная по лекалам "Вашингтонского консенсуса".

Что же произошло за это время в мире?

Мировая практика демонстрирует новые формации, совмещающие в себе преимущества предыдущих систем и сводящие к минимуму их пороки. К несомненным успехам Китая относится плодотворный симбиоз плана и рынка, социализма и капитализма. Там сформировалось конвергентное, или интегральное общество. Дэн Сяопин и его соратники не разрушали плановое хозяйство, а проводили в нём демократические преобразования и добавляли к нему рыночные регуляторы. Результат – 40 лет подряд страна развивается без кризисов, темпы роста высокие. Средняя продолжительность жизни китайцев достигла 75 лет.

Глава КНР Си Цзиньпин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, заявил, что всякая процветающая экономика, помимо "невидимой руки" рынка, должна использовать "видимую руку" государственного управления. В докладе секретаря ЦК КПК профессора Янг Джинхайя на Первом международном марксистском конгрессе в Пекине в 2015 году говорилось: "Суть китайского пути состоит в нахождении правильного баланса между социализмом и капитализмом. В экономике это означает установление разумных пропорций между административными и рыночными отношениями..."

Вьетнам, некогда беднейшее государство, последовал китайскому примеру. Централизованное планирование у них не ликвидировали, а сделали более гибким. План и рынок совместили друг с другом.

В Индии наряду с рыночными регуляторами действует и плановый. Плановая комиссия Индии, возглавляемая премьер-министром страны, определяет стратегические цели развития, реализуемые посредством пятилетних планов, носящих преимущественно индикативный характер. Темпы роста экономики Индии в последнее время не уступают китайским, а иногда даже превосходят.

На постсоветском пространстве интеграционные тенденции явно обнаруживают себя в Белоруссии и Казахстане. Лидеры обоих государств не скрывают,

что при проведении преобразований они руководствуются идеями ленинского нэпа и китайских реформаторов.

Учитывая, что китайцы добились значительного социально-экономического прогресса благодаря проводимым ими реформам, я позволю себе использовать материал доктора экономических наук, профессора Э. П. Пивоваровой, опубликованный ею в статье "Суть китайских реформ":

"Во-первых, КНР не тратила много сил на разрушение и критику прошлого, а сосредоточила их на созидании нового.

Во-вторых, китайские реформы сразу обернулись лицом к нуждам населения. Задачи обеспечения его продовольствием и товарами широкого потребления стали главными в деятельности вновь создаваемых хозяйственных структур. Это обеспечило общенародную поддержку реформ уже на первых этапах.

В-третьих, руководство страны не стало осуществлять реформы по каким-либо чужим рецептам, а, изучив существующий свой и зарубежный опыт, пришло к выводу о необходимости исходить из особенностей своей страны и решительно встало на путь "строительства социализма с китайской спецификой". Последний требовал серьёзного учёта такого основополагающего исходного фактора, как громадность населения при крайней ограниченности ресурсов страны.

В-четвёртых, в КНР не было обвальной либерализации, а главным методом стало поэтапное, апробированное экспериментом продвижение к рынку, переход от малого к большому, от частного к общему, постепенное, но решительное расширение масштабов реформы и углубление её. Этот метод получил здесь образное название "переходить реку, нащупывая камни".

В-пятых, создание субъектов рынка осуществлялось в КНР не путём разрушения существующих государственных структур, а главным образом путём заполнения имеющихся брешей, то есть с первых шагов реформа работала на уменьшение дефицитности экономики страны. Для этих целей не только мобилизовались внутренние резервы, но и активно привлекались зарубежные капиталы.

В-шестых, стимулируя хозяйственную инициативу на микроуровне, китайское руководство не выпускало из поля зрения макроконтроль и в периоды опасного нарастания несбалансированности экономики принимало дополнительные меры по его усилению.

В-седьмых, практика уже первых лет реформ показала, что самый естественный путь к рынку – это развитие многообразных по формам собственности типов хозяйств (коллективных, единоличных, частных, совместных китайско-иностранных). Оно не только обеспечивало быстрый рост субъектов рынка, но и, меняя структуру народного хозяйства по формам собственности, корректировало структуру инвестиций и производства в направлении приближения её к реальным потребностям народа".

А что же Россия?

В выработке принципиальных научных подходов принимало и принимает участие значительное число отечественных учёных. К ним, в первую очередь, следует отнести экономиста-международника академика О. Т. Богомолова, ныне покойного. Он неоднократно доводил свою позицию до высшего руководства страны. И если к его советам не прислушивались в политических верхах, то это не его вина, а их беда. По-видимому, главными консультантами руководителей страны являются учёные и специалисты, придерживающиеся отживших (и не только у нас) постулатов "Вашингтонского консенсуса". Наверное, справедливо гласит народное изречение: "Им есть, куда бежать, а нам есть, где умирать!" Мудрость мудростью, а такое может случиться, если мы не найдём в себе волю трезво оценить создавшееся в стране положение и всмотреться в своих соседей, о чём был разговор выше.

Есть и другие учёные, не равнодушные к судьбе своей Родины. Особо выделю С. Ю. Глазьева, Г. Н. Цаголова, преуспевающих в поиске третьего пути совершенствования политической и экономической жизни моего Отечества, пути, над смыслом и сутью которого я думаю многие годы.

Обсуждение темы роли государства в развитии экономики в отечественной экономической политике усугубляется тем, что нашу науку упорно и последовательно подталкивают к ориентации на зарубежные позиции, а зарубежное признание теперь напрямую влияет на престиж учёного, финансирование, выделение грантов. Россию в нынешних геополитических условиях за рубежом

не жалуют. Зарубежная же экономическая позиция находится в прямой зависимости от политики своих правительств и элит.

Можно ли представить себе ситуацию, чтобы иностранные государства финансировали свои институты, работающие в интересах России? За рубежом в последнее время опубликован ряд работ по российской экономике, в которых в числе главных доказывается мысль, что темпы экономического роста находятся в обратной зависимости от степени участия государства в экономике: "Больше государства – ниже рост".

В то же время в довольно популярном американском учебнике по макроэкономике, в числе авторов которого значится известный нам Дж. Сакс, есть специальный раздел по государственному сектору. В нём признано и зафиксировано следующее: "С начала XX века общие государственные расходы во всём мире увеличились. Во многих промышленно развитых странах по сравнению с 1938 годом произошло удвоение доли государственных расходов в ВВП. В Нидерландах, например, доля государственных расходов по отношению к объему ВВП в течение 50 лет почти утроилась. Во Франции она более чем удвоилась, а в Соединённых Штатах – удвоилась".

Экономисты псевдолиберальной ориентации, ничем не опровергнув доводов отечественных экономистов о несостоятельности и ошибочности этих выводов, в последнее время взяли на вооружение мифическую цифру, что на долю государства приходится 70 процентов российской экономики. Откуда берётся эта цифра, если по официальной статистике в государственной собственности после тотальной приватизации осталось основных фондов – менее 20, а занятых в госсекторе – менее 30 процентов?

Создаётся парадоксальная ситуация: в государственном секторе используется около 30 процентов занятых и на их долю приходится 70 процентов ВВП! Исходя из этого, можно было бы сделать вывод о высокой эффективности государственного сектора. Но авторы стремятся сделать совершенно другие выводы. По их мнению, если вычесть 70 процентов "неэффективной" государственной доли в экономике, на долю "эффективного" частного бизнеса остаётся лишь 30 процентов. В этом они видят основные беды российской экономики.

Ангажированные участники дискуссии не остались в одиночестве. Подключились и правительственные структуры. "Государство и госкомпании контролируют 70 процентов российской экономики. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала государство главным врагом конкуренции". Виновник указан, необходимо принимать решение о "второй волне" приватизации!

Подобный заход в новый приватизационный процесс за прошедшие годы не единственный. На это раз он несёт в себе дурно пахнущий "научный подход". Ставится задача приватизировать оставшиеся у государства предприятия оборонного комплекса и инфраструктурных монополий. Хочу напомнить, что при массовой приватизации было приватизировано 97 процентов предприятий. И что же мы получили? Где технологический и экономический прогресс на основе огромного частного рынка? Надо ли напоминать о том, что в 1990-е годы страна оказалась на краю пропасти и мы до сих пор не можем покончить с экспортно-сырьевой моделью, об "исчерпанности" которой правительство говорит уже более 10 лет?

И всё же возникает вопрос: откуда появились эти цифры? Как стало известно, в методике расчёта ФАС мифических 70 процентов нет. Зато теперь уже ясно, что данные по этой проблеме есть в МВФ.

Если подойти с объективными расчётами в части определения роли государственной собственности в экономике, то её структура в разных странах формируется под влиянием конкретных исторических причин. Приватизаторы России ссылаются на то, что в США, например, доля государственной собственности не велика. Отсюда делается вывод, что для того, чтобы быть развитой страной, надо всё доприватизировать, в том числе учебные заведения, учреждения культуры и т. д. Но если в собственности видеть поток, которым распоряжается государство в социальных интересах, то окажется, что государственная собственность в США составит около половины ВВП. Имея в распоряжении ресурсы такого масштаба, государство может проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику.

В постсоветской России ещё по-настоящему не сформировалась система, которая существует в развитых странах мира. В условиях коррупции, высокой доли теневой экономики, "олигархизации" и т. п. приватизация является

экономически и социально не эффективной, поскольку её результаты направлены на усиление указанных негативных тенденций. Учитывая эти реальности, России, на мой взгляд, следует укреплять государственную собственность.

Специалисты по экономике единодушны в том, что носителями этого абсурдного мифа являются не учёные, а идеологи "Вашингтонского консенсуса", который в последующем переместился в научную область. С начала 2017 года этот нелепый миф приобрёл академическое имя. К сожалению, автором его стал уважаемый в стране академик А. Г. Аганбегян. Это даёт основание Федеральной антимонопольной службе в своём очередном докладе о состоянии конкуренции доложить: "По оценкам экспертов, по итогам 2015 года вклад государства и государственных компаний в ВВП Российской Федерации может составить около 70 процентов, тогда как в 2005 году эта доля составляла около 35 процентов".

Почему этот миф появился именно сейчас? Хорошо знакомый нам по временам развала советской экономики с её плановой системой, едва ли случайно он появился с мощнейшей поддержкой, в том числе и с научной, именно сейчас, на нынешнем переломном этапе жизни нашей страны. По-прежнему идёт борьба вокруг системного вопроса – вопроса о собственности – в командных высотах нашей экономики.

Временно отвлекаясь от анализа мифических данных, хотел бы ещё раз остановиться на вопросе эффективности различных форм собственности. Как показало историческое развитие, государственная форма капиталистической собственности стоит гораздо выше частной формы. В то же время эффективность каждой формы собственности зависит от того, насколько передовой является её организация, в какой степени она отвечает законам централизации и концентрации капитала, увеличения его технологического состояния.

Промышленно развитые страны в настоящее время вышли на ступень вертикально интегрированного строения общественного воспроизводства. На этой основе там организованы все главные формы собственности. Поэтому хоть частная, хоть государственная формы капиталистической собственности в США на порядок эффективнее, чем частная или государственная в постсоветской России. Поэтому бессмысленно ратовать за приватизацию или ренационализацию, если будет существовать старая производственная система.

Весь мирохозяйственный опыт, в том числе и опыт Советского Союза, говорит об этом – как успешный, так и неудачный. Вместе с индустриализацией СССР в 1930-х годах были получены наиболее передовые для своего времени организационные формы производства. Но три десятилетия спустя, в 1960-1970-х годах они перестали быть передовыми, поскольку не реформировались. В то время организационную революцию несло уже межотраслевое строение производства – вертикально интегрированное, исключающее извлечение прибыли из промежуточного производства.

Этот вызов эпохи сумели распознать в США, но не сумели в СССР. Отраслевое строение, рождённое в 1930-х годах, в течение трёх десятилетий ведущее экономику с её плановой системой на вершину развития, с 1960-х годов начало отбрасывать её назад, к отсталости и отторжению от научно-технического прогресса.

Несколько слов о госкапитализме. Госкапитализм является исторически высшей и последней стадией эволюции капитализма. Он отрицает частный капитализм, частный капитал и класс частных собственников. При госкапитализме власть и собственность принадлежат совокупному деперсонифицированному капитализму, а рынок труда и капитала функционирует в качестве планово-централизованного.

Ничего подобного в России нет. У нас царит полная противоположность госкапитализму, страна отброшена к самой низкой и отсталой стадии капитализма. Даже созданные госкорпорации с их органическими недостатками подвергаются жесточайшей критике неолиберальными членами правительства и околоправительственными учёными и специалистами. Уже неоднократно раздавались призывы ликвидировать их, передать в частные руки.

Отсталая экономическая система современной России лишь удаляет её от высшего капитализма и госкапиталистической стадии, обрекая её на нарастание системного кризиса, деиндустриализациию, массовое обнищание населения и его вымирание.

В реальной жизни число хозяйственных укладов значительно больше. Они не исчерпываются государственным и частным. Существует ещё совершенно

особый – олигархически-компрадорский. Именно он господствует в постсоветской экономике, захватив контроль над ней, и именно он ответственен за то, что хозяином положения в пореформенной России является зарубежный капитал.

Олигархически-компрадорская система, сформированная в период антисоветских реформ 1990-х годов, настроенная на превращение российской собственности в иностранную или оффшорную, приняла вид экспортно-сырьевой модели. По данным за 2016 год, в общей массе зарегистрированных организаций количество государственных составило 1 738 единиц, а иностранных – в 5,6 раза больше, или 9 712 единиц.

Что же происходит в банковской системе? Если на минутку поверить в мифические 70 процентов госсектора, то тогда и банковская система должна на 70 процентов быть государственной. Согласно же отчётным показателям, в среднем за период 2015–2017 годов доля государства в банковской системе не превысила 6,5 процента, то есть удельный вес государства в банковской системе в 10,8 раза меньше пресловутых 70 процентов. Напрашивается вывод о том, что банковская система и народное хозяйство живут отдельно, сами по себе. Парадокс, да и только!

В то же время доля иностранного капитала в банковской системе страны в среднем в эти же 2015–2017 годы составила 45,5 процента, что в 7 раз выше, чем доля государства.

Уже давно наукой доказано, что поистине будет беда, если частный капитал берётся вершить дела государства. Современная Россия попала в беду системного кризиса из-за того, что позволила компрадорскому капиталу командовать государством, государственным сектором и всем социально-экономическим строем. К примеру, совершенно очевидно, что экспортно-сырьевая модель в стране сформирована в интересах компрадорской экономической системы. Кто же воздвиг стену между добычей сырья и обрабатывающей индустрией? Что же разрывает единую технологическую ниточку на части, на разрозненные звенья? И таких вопросов много. Ответ один: компрадорская форма капиталистической собственности и построенная на её основе олигархически-компрадорская система. Этим и объясняется деиндустриализация нашей страны, которая проводится у нас уже многие годы.

В этом ей активно помогает Запад. Начиная с 1990 года делается всё, чтобы уничтожить конкурентоспособные перерабатывающие отрасли народного хозяйства – мы не должны быть им конкурентом.

Можно привести массу примеров, когда наши предприятия прекратили своё существование. Например, мой родной "Уралмаш". Где он? От него остались, как говорят в металлургии, лишь "следы". В то же время наша металлургия живёт и здравствует. И здесь причина ясна. Пусть Россия уродует свою землю, добывая руду, заливает поля отходами от переработки руды, выбрасывает в атмосферу миллионы тонн металлургических отходов, поставляет на Запад металлургические заготовки, которые там без всякого вреда людям и природе переделают в чистый металлопрокат и используют при производстве машин, приборов и различной бытовой техники, которая затем большим потоком будет направлена в Россию.

Западу, говоря объективно, никакая Россия не нужна: ни советская, ни антисоветская, ни социалистическая, ни капиталистическая. Его интерес – это раскол и разделение России, уничтожение её как централизованного федеративного государства. В лучшем случае – это оставить большое число мини-государств, с которыми можно не считаться и делать что угодно, в том числе и брать у них всё, что нужно Западу. Опыт у них в этом деле большой – взять ту же Югославию. Что, мир вздрогнул от страшного бесчинства – разгрома единого федеративного государства? Вся Европа, как по команде, обрушила военную мощь на суверенную державу. С нами они мечтают тоже разделаться, но поступить по-иному, потому что знают нашу способность защищать Родину, особенно в её тяжёлую годину. Пример тому – Наполеон, Гитлер и пр. Но вот "разложить" нас экономически, идеологически, нравственно – к этому они и стремятся. И только поэтому я уделил так много внимания теме роли государства в социально-экономической жизни России.

Анализ постсоветской реальности помогает найти и способ защиты нашей страны, так как на компрадорском пути, при господстве компрадорской системы Россия беззащитна. Существует один выход: переход от компрадорского

разрушения к суверенному созиданию и социально-экономическому подъёму. Могильщиком компрадорского капитала может быть только отечественный промышленный капитал. Для этого его необходимо сделать господствующим.

Рецептов создания новой, интегрированной экономической системы несколько – это, в том числе, и ренационализация. При взятии политическим руководством России такого курса потребуется тщательное изучение положения страны в этом вопросе и выработка реальных предложений по его осуществлению.

Вопросу стратегического планирования в нашей стране следует уделить особое место в наших размышлениях. Но сейчас, говоря о судьбе нашего государства в русле поднимаемых вопросов, нужно сказать, что вопрос о планировании есть вопрос о плановом формировании и плановой организации движущей силы развития России и её новой наукоёмкой индустриализации.

Об этом говорят многие известные учёные мира. Вот мнение Нобелевского лауреата П. Самуэльсона: "Обогащённая государственным планированием и макроэкономическим контролем, экономика сможет лучше функционировать, чем капитализм прошлой эпохи или коммунизм".

Не менее известный экономист Д. Стиглиц отмечает: "Существует проблема взаимодействия между частными фирмами, которые часто ведут к чрезмерным инвестициям в одну отрасль и недостаточным – в другую. Государство при таком подходе находится в наилучшей ситуации для планирования развития отрасли. Такие отношения были особенно важны для слаборазвитых стран и для отраслей, требующих серьёзных капиталовложений". И добавляет: "Почему государственные предприятия должны вести себя иначе, чем частные?"

Другими словами, формы собственности особенно не влияют на стиль управления и, следовательно, на эффективность производства. Только в одном случае дивиденды достаются небольшим группам людей, а в другом – всему обществу.

Нельзя не вспомнить и нашего соотечественника, лауреата Ленинской премии В. В. Леонтьева, который не уставал обосновывать необходимость сочетания плана и рынка. В одной из бесед со мной Василий Васильевич сравнил экономику с парусным судном. При этом он сказал, что американский корабль имеет мощное парусное оснащение и маленький руль, а советская экономика, по его мнению, малые паруса и очень большой руль. Вот если появятся люди, которые найдут их требуемое сочетание, то этим людям нужно будет обязательно присвоить Нобелевскую премию!

Подводя итог этого раздела публикации, хочу сказать, что альтернатива превращения нашей страны в высокоразвитую индустриальную державу определилась окончательно: либо дальнейший компрадорский путь с тяжелейшей для страны судьбой, либо неоиндустриальный путь и быстрый подъём. У сторонников компрадорского пути ничего равноценного и равновеликого неоиндустриализации нет. Вот отсюда и появляются небылицы и "страшилки" о 70 процентах государственной собственности. Им нужен новый всплеск передела оставшейся государственной собственности и, самое главное, оправдание создавшегося ныне критического положения в экономике страны, так как оно может оправдать их тупиковый путь в отечественной экономике.

Но в конечном итоге, как уже было сказано, на карту этих карточных шулеров поставлена судьба нашего государства. Цена слишком велика. Мы живём сейчас под развалинами Советского Союза. Неужели мы позволим повторить это ещё раз для уже нового поколения наших соотечественников?

Заканчивая эту часть публикации, хотел бы сказать, что затронутая в ней тема весьма актуальна для жизни людей и государства. К сожалению, у нас в широком обиходе ещё бытует мнение, что частная собственность более эффективна и что она больше даёт в конечном итоге человеку. Однако приведённый выше анализ, основанный на опубликованных работах наших учёных, показал, что это далеко не так. Но тем не менее, споры продолжаются, да и учёные имеют на это свой взгляд, свою точку зрения. Наша задача состоит в том, чтобы тщательно изучить эти предложения и выбрать для реализации только те из них, которые могут дать обществу то, что люди должны получить в нашей быстротечной жизни.

И в заключение, подводя итог некоторых моих размышлений о роли государства в экономике, следует сказать, что проблема эффективности государственного управления существовала всегда. В конце 1970-х годов Европа

и США были в поиске модели государственного устройства, оптимальной в новых исторических условиях. В России этот поиск завершился крахом Советского государства и "шоковой терапией" 1990-х годов.

Начавшийся в 2008 году экономический кризис, названный "Великой рецессией", обнажил одно из ключевых противоречий современного мира – между государственным суверенитетом и глобальными масштабами современной экономики. Сегодня около половины мирового промышленного производства и две трети внешней торговли приходится на долю транснациональных корпораций. Это неизбежно всё более ограничивает способность современных суверенных государств влиять на экономику.

Реальность такова, что во многих странах экономика перестала быть исключительно национальной и вышла из-под контроля национальных государств. В воздухе настойчиво витает идея создания мирового правительства, которое, безусловно, несёт прямую угрозу суверенитету независимых государств.

Кто станет во главе этого глобального мирового правительства, гадать особо не приходится. США не только стремятся к этому, но и громогласно об этом заявляют. И это не только слова – Штаты становятся сегодня мировым дирижёром и в экономике, и в политике.

Не этим ли объясняются все мыслимые и немыслимые санкции, запреты, "чёрные списки" и т. д., и т. п., обрушивающиеся в последнее время на нашу страну, как из рога изобилия? И здесь также не нужно гадать о причинах подобного. Мы просто не вписываемся в мировую систему, создаваемую США. В этом-то и кроется основная причина. Не было бы Крыма и Донбасса – появились бы иные "весомые" причины, нарушающие жизнь американца, который даже не знает, где находятся эти "нехорошие дяди", угрожающие Америке!

К сожалению, история плохо учит нынешних политиков. На "жирный пирог" – Россию – в течение веков с вожделением устремляли не только взгляд, но и применяли по отношению к ней агрессивные действия многие претенденты. Но каждый раз они получали достойный отпор. Казалось бы, уже давно пора им уяснить себе менталитет нашего народа – в обычной обстановке он спокоен и расслаблен. Но стоит появиться внешней опасности – и это уже совершенно иные люди!

Вот это свойство нашего народа и передаётся по наследству из поколения в поколение. И любителям лёгкой наживы и мирового владычества следует всегда об этом помнить!

В представляемой читателю публикации мной неоднократно говорилось, что наша страна была в ожидании, что перед выборами главы государства будет организовано глубокое изучение создавшегося положения в социально-экономической жизни страны и будут рассмотрены разработанные варианты необходимых изменений в потерпевшей фиаско либерально-монетаристской модели, взятой Россией на вооружение по рекомендации Запада в 1990-е годы. Как известно, их было несколько.

Однако то, чего мы ожидали, не произошло. Следующее ожидание – после выборов Президента страны. Результат – такой же. Всё встало на свои места в мае 2018 года, когда было сформировано "новое-старое" правительство. Стало совершенно очевидно, что структура правительства и его персональный состав будут продолжать развивать существующую социально-экономическую модель.

Долгожданное ожидание перемен закончилось тем, что в июле 2018 года появился проект "Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года". Этот документ разработан Министерством экономического развития страны. По распоряжению заместителя Председателя Правительства РФ документ для ознакомления и выработки к нему отношения направлен в Совет Федерации и руководителям регионов страны.

Итак, представленный проект по замыслу должен чётко сформулировать стратегию и тактику развития государства на этот период. Однако ознакомление с проектом не даёт чёткого ответа на вопрос, какими стратегическими методами будет осуществляться необходимое развитие нашего государства в этот период.

В данном проекте нет чёткой позиции Министерства экономического развития РФ, не обозначена роль данного министерства в развитии России до 2025 года. Нет ясности, каким образом будет осуществляться эта работа,

ничего не говорится о порядке и методах разработки годовых и на более длительное время программ развития страны: порядок их разработки, обсуждения и рассмотрения в Правительстве РФ и в Парламенте страны.

В этом отношении в проекте Стратегии белое пятно. Создаётся впечатление, что и в дальнейшем консервируется положение о том, что в стране разрабатывается и утверждается только государственный бюджет. Принятый ещё четыре года тому назад Закон о стратегическом планировании остаётся только на бумаге. Таким образом, создаётся представление, что в период до 2025 года нам не следует ожидать каких-либо существенных изменений в стратегии и методах развития страны.

В проекте Стратегии нет чёткого понимания, что динамичное развитие страны будет зависеть от уровня социально-экономического развития регионов России. Если 250 лет тому назад М. В. Ломоносов говорил, что "могущество Российское прирастать Сибирью будет", то сейчас он бы сказал, что богатство и мощь государства Российского будет прирастать регионами нашего Отечества.

Россия является в этом отношении уникальным государством. В настоящее время, как известно, число субъектов Российской Федерации равно 85 единицам. Такая раздробленность не имеет аналогов ни в одной другой стране мира. К примеру, в Бразилии – 26 штатов и 1 федеральный столичный округ, в Китае – 2 провинции, 6 городов центрального подчинения и 13 уездов, в Индии – 29 штатов, 6 союзных территорий и один национальный столичный округ, в США – 51 штат.

При этом численность населения в этих странах соответственно: в Бразилии – 209 млн человек, в Китае – примерно 1 млрд 400 млн человек, в Индии – 1 млрд 350 млн человек, в США – 325 млн человек. У нас, как известно, – 146 млн человек.

Безусловно, большое количество субъектов Российской Федерации, наши необъятные просторы требуют особых методов их развития. Но в отношении регионов в проекте Стратегии всё ограничивается общими рассуждениями и пожеланиями. Абсолютно нет конкретных предложений по системе и методам развития регионов. Они в этом отношении остаются в одиночестве со своими проблемами, их решением и перспективами развития. В проекте Стратегии взят простой набор предложений из различных программ развития экономики страны. В целом в основе своей они вызывают удивление. Складывается впечатление, что роль Министерства экономического развития РФ только в этом и заключается, как в универсаме со множеством товаров для покупателей.

Закон о Стратегическом планировании 2014 года в этом документе только упоминается, но абсолютно не предлагается чёткой системы экономического развития регионов с участием Минэкономразвития и других федеральных министерств и ведомств.

Можно какую угодно давать оценку Министерству финансов РФ, но в его деятельности существует чёткий порядок, когда финансовые проблемы рассматриваются обязательно по каждому региону страны. А делает ли это Министерство экономического развития РФ? Нет!

При разработке развития регионов страны вносились предложения, которые, на мой взгляд, должны были заложить в проект Стратегии.

В первые годы создания Госплана страны нашим соотечественником В. В. Леонтьевым была разработана теория материальных отраслевых и межотраслевых балансов как основа развития страны, в дальнейшем её автор был удостоен Нобелевской премии. И эта теория неуклонно выполнялась Госпланом все годы Советской власти.

На мой взгляд, проект Стратегии должен иметь основные итоги таких балансов, которые служили бы ориентиром для принятия решений регионами о своём развитии, а именно: необходимый объём продукции страны в металлургии, машиностроении, топливе, сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, транспорте, энергетике и т. д.

Далее. Мир вступил в шестой технологический уклад своего развития. Он в корне меняет многие наши взгляды на вопросы использования новейших технологий и материалов. Было бы целесообразно в проекте Стратегии иметь перечень реальных мировых и отечественных разработок, которые могли быть заложены в планы экономического развития регионов. Это и нанотехнологии

(пора бы уже опубликовать разработки этой компании), материалы на биологической основе, новейшие физические технологии и т. д. В проекте Стратегии об этом ничего не сказано, в то же время у нас сейчас имеется Министерство науки и высшего образования РФ, Российская Академия наук. Надо вовлечь регионы в создание необходимых мощностей новейших разработок мировой и отечественной науки. А где 25 млн высокотехнологических рабочих мест? Какова их роль в развитии страны до 2025 года?

Далее. Министерство экономического развития РФ, по моему твёрдому убеждению, обязано с каждым регионом обсудить предложения по его развитию, в том числе методы финансирования (госбюджет, софинансирование, региональное финансирование, частные инвестиции и т. д.).

Должна быть поставлена задача до 2025 года изменить создавшееся положение, когда из 85 субъектов Федерации только 12 являются самодостаточными, а 73 – дотационные. В этот период вряд ли можно добиться полной ликвидации дотационных регионов, но необходимо заложить основу для полного решения этого вопроса до 2030 года.

Несколько отдельных замечаний по проекту Стратегии. В первую очередь, в ней не говорится об изменении экономической модели страны. Уже всем ясно, что действующая либерально-монетаристская модель экономики, взятая на вооружение в 1990-х годах, себя не оправдала. Многие учёные и специалисты страны, в том числе и Временная комиссия Совета Федерации, вносили предложение взять на вооружение модель конвергенции рыночных принципов и необходимого государственного влияния. По этой системе развивается Китай уже 40 лет и практически приблизился к экономике США, а по развитию высокотехнологичного производства по итогам прошлого года он почти достиг уровня США. Подобным путём идёт Вьетнам и другие страны, а Индия имеет темпы развития на уровне китайских. Об этом направлении развития экономики ничего не говорится в проекте Стратегии. Экономическая модель сочетания рыночных принципов и государственного влияния, которая одобряется многими специалистами страны, остаётся невостребованной. На что мы рассчитываем? На повторение либеральной экономики, которая, как уже говорилось выше, полностью себя исчерпала?

Ещё одна проблема, которая вызывает тревогу. Речь идёт о создании определённого количества агломераций как движущей основы развития экономики регионов и страны в целом. Это предложение в своё время озвучил А. Кудрин вместе с институтом экономики города.

В памяти народной до сих пор осталось предложение Т. И. Заславской о “неперспективных” деревнях. Были уничтожены тысячи деревень. Нечто подобное может произойти сейчас, если народ из деревень, посёлков и малых городов ринется в крупные агломерации. Нам что, нужна опустошенная Россия? На наш вопрос В. И. Матвиенко сообщила членам Совета Федерации, что Президент страны В. В. Путин категорически возражает против этого предложения. В то же время этому вопросу в Стратегии уделяется большое внимание. Как это понимать?

В Стратегии подчёркивается, что, кроме агломераций, необходимо также создание объектов опережающего развития. И снова вместо комплексного развития всего региона делается упор на точечные элементы.

Подводя итог моего отношения к проекту Стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года, можно сделать твёрдый вывод, что этот документ не может быть принят не только в целом, но и за основу. Он ничего не даст стране для её будущего.

Для выработки реальной Стратегии нужно подключение ведущих специалистов и учёных, изучение разработанных программ по развитию экономики страны. Нужно провести также рассмотрение всех вариантов нашей будущей жизни и губернаторами, и руководителями регионов.

Без глубокой проработки этой проблемы этот проект останется образцом некомпетентности людей, которые обязаны болеть о судьбе своей Родины.

Вот так закончились наши ожидания необходимых перемен в нашей стране. Но мы не теряем надежды, что рано или поздно перемены в стране произойдут. Мы не можем её оставлять в таком положении. Лишь бы не было поздно!

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ КАК ФАКТОР СИЛЫ

Из книги М. Г. Делягина "Человечество за порогом: Темные века или новый коммунизм?"

Взлет в мировые лидеры Британии и сохранение ее исключительной, глобальной роли (признаком чего служит даже пресловутый *Brexit*) – урок всемирно-исторического значения.

Эта страна (в отличие, например, от России) никогда не располагала исключительными ресурсами. Уголь был значим, но не более. Еще в начале XVIII века она не обладала ни колониальной мощью Испании, ни военной – Франции, ни экономической – Нидерландов; подорванная полувеком революций и войн, политически нестабильная и раздираемая религиозными конфликтами, она была просто бедна. За счёт чего же она менее чем за век обрела могущество, стала "владычицей морей" и пионером промышленной революции?

Ключевыми факторами успеха Британии стали развитие науки и демократизм власти, позволивший применить её достижения.

Истребление элит и открытый характер их пополнения

Источник **внутренней демократичности** власти (не мешавшей абсолютной жестокости к социальным низам) – война Алой и Белой розы (1455–1487 годы), вспыхнувшая сразу после поражения Англии в Столетней войне. Беспощадное уничтожение противников привело к тому, что, как во Франции после Ватерлоо, воевать стало некому. Английская аристократия истребила друг друга и разорила страну. Погибли почти все принцы крови обеих боровшихся династий, почти все аристократы, рыцари и служилое сословие в целом. Общее число убитых оценивается в 105 тыс. чел. – около 3,75% населения Англии.

Богатства истребленной аристократии и рыцарства достались в основном торговцам (в том числе небольшой части рыцарей, уклонившихся от войны ради выживания и занявшихся торговлей, и разбогатевшим на спекуляциях крестьянам), которые стали покупать дворянские и аристократические титулы. *Как писал в 1701 году руководитель английской разведки Даниэль Дефо, автор "Робинзона", в поэме "Чистопородный англичанин": "При чем тут рыцари – их нет у англичан! Бесстыдством, золотом тут куплен пэров сан!"* Эта наиболее умная часть общества (кровопролитная война оказалась мощным инструментом социального отбора) стала опорой династии Тюдоров; нынешняя аристократия – в основном их потомки.

Истребившая сама себя старая феодальная знать не могла противостоять формированию абсолютизма, который был по сравнению с ней прогрессивной организацией власти. В результате переход к нему произошел быстрее и проще, чем во Франции или Испании. Абсолютизм опирался на мелких и средних дворян (в том числе бывших торговцев), сражавшихся в войне не за убеждения и даже не против врагов, а за покровительство "своего" лорда-протектора, – на место которого после самоистребления феодальной знати пришел король. Поэтому влияние парламента, большинство в котором составили такие дворяне, снизилось, а власть короля окрепла.

Следствие войны Алой и Белой розы – развитие такого важного фактора конкурентоспособности, как спецслужбы. "Секретная служба... получила не виданное прежде развитие... Генрих VII Тюдор... чувствовал себя... непрочно на престоле. Чтобы иметь исчерпывающую информацию о... своих врагах, он создал... разведывательную организацию... Люди... на секретной службе... делились на четыре группы. Первая... – секретные агенты, которыми обычно были резиденты (английские дипломаты и купцы[1]), занимавшие... высокое положение в... стране или области, где они проживали. Ко второй... принадлежали "информаторы" – ...люди из низших слоев общества, нанимаемые для добывания... определенных сведений. Третью... составляли профессиональные разведчики, которым поручалось... следовать за определенными людьми, выявлять их связи, если нужно – организовывать их похищение. К четвертой группе относились профессиональные шпионы... прикрывавшиеся какой-либо респектабельной профессией... дававшей предлог для переезда... и обеспечивавшей... доступ в круги, которые обладали нужными сведениями"[2].

Но главное следствие войны Алой и Белой розы – **жесточайший дефицит элиты** в целом, создавший в Англии уникальный социальный механизм: мелкое и среднее сельское дворянство (джентри), в отличие от континентального, было открытым сословием, пополнявшимся из купцов и богатых крестьян. Торговцы, более всех выигравшие от войны, не в порядке исключения и с нарушением правил, а открыто, законно и массово пополняли ряды дворянства.

Таким образом, опираясь на мелкое и среднее дворянство, абсолютизм опирался тем самым и на купцов, и на разбогатевших крестьян, расширив свою социальную базу до непредставимых на континенте масштабов. Это обеспечило внутренний демократизм английской элиты – и, соответственно, ее эффективность.

Форсировало это и развитие рынка, так как новое английское дворянство вырастало из него (пусть даже и в форме спекуляций на выморочном послевоенном имуществе) и было вскормлено им, а не враждебно противостояло ему (в отличие от континентального).

При этом, пусть и с кардинальным персональным обновлением, в Англии сохранилась **аристократия** как социальный механизм – значимый и устойчивый **слой, ассоциирующий себя со своей страной, связывающий с ней будущее своих потомков, свободный от изнуряющей и развращающей борьбы за выживание** (пусть даже и социальное, а не физическое).

Эти качества превращают аристократию в стратегический фактор конкурентоспособности, единственный социальный механизм, гарантирующий общество от саморазрушения из-за возникновения олигархии с её самоубийственным эгоизмом.

"Новое дворянство" как локомотив капитализма

Лишённое всякой сдерживающей силы (феодальная аристократия была истреблена, а островное положение и бедность Англии гарантировали от внешнего вторжения), развитие капитализма приобрело зверский характер, форсировав процесс "огораживания". Богатые землевладельцы (те самые джентри) сгоняли крестьян с земли, превращая её в огороженные пастбища для овец. Продавать шерсть в Нидерланды, а затем на суконные мануфактуры Англии было выгоднее, чем зерно, и "овцы съели людей"; для увеличения масштабов пастбищ крестьян выгоняли и из домов.

Впрочем, зверства "огораживания" сильно преувеличивались, в том числе современниками. После разрухи, вызванной чумой 1348-1349 годов и войной

Алой и Белой розы, Англия лежала в руинах, и еще в 1520-х годах "земли было больше, чем людей"; общий дефицит земли появился лишь в 1550-е годы; было огорожено (выведено из долевого владения в частную собственность отдельных владельцев) около 45%, а за весь XVI век огородили еще не более 2,5% всех английских земель.

Конечно, болезненность "огораживаний" могла быть качественно усилена тем, что с развитием капитализма им подвергались наиболее плодородные, близкие к рынкам сбыта и населённые земли (так что на 2,5% земель могло собираться 10% урожая и жить 20% крестьян, а то и больше). Кроме того, с земель сгоняли незаконно занявших их за годы разрухи, которые возделывали их иногда поколениями, — и этих сквоттеров никто не считал.

Однако более важным фактором обнищания стал поток серебра после открытия Америки Колумбом, который обесценил его во всей Европе и привел к "революции цен"[3]. Так, за 1510–1580 годы в Англии цены на продовольствие выросли втрое, на ткани — в 2,5 раза, что обогатило торговую буржуазию и "новое дворянство" при разорении крестьян и не занимавшихся спекуляциями или созданием производств землевладельцев, чьи доходы были фиксированы[4]. Это объясняет то, что земельная собственность джентри росла в том числе за счет собственности крупных лордов, и именно джентри стали главными выгодоприобретателями распродажи имущества секуляризованных в XVI веке монастырей.

Таким образом, капитализм развивался не только через "огораживание", но и недооцениваемую "инфляционную революцию", которая не менее эффективно разоряла крестьянство.

Когда вызванное этим массовое бродяжничество стало проблемой, за него ввели смертную казнь, обеспечив приток крайне дешёвой рабочей силы на мануфактуры и в поместья новых дворян, а затем и на флот, несмотря на его каторжные условия. (Правда, часть бродяг гуманно загнали в работные дома, создав крайне пригодившееся после изобретения паровой машины разделение сложного труда на простейшие операции, но, несмотря на создание первого работного дома в Брайдуэлле еще в 1556 году, распространение в Англии они получили лишь после 1631 года). Общее число казнённых за бродяжничество в XVI веке оценивается в более чем 160 тыс. чел. — в полтора раза больше числа убитых в войне Алой и Белой розы.

Длительное беспощадное подавление бедных, истребление асоциальных не по своей вине элементов, поощрение и защита богатства стали методами социальной инженерии, сформировавшей английский национальный характер — законопослушный, упорный, патриотичный, гордящийся властью, уважающий права соотечественников и отрицающий права остальных. Этот характер стал самостоятельным фактором конкурентоспособности; он хорошо иллюстрирует применительно к нации притчу об английском газоне, который надо подстригать каждый день 300 лет подряд.

В результате развития капитализма при отсутствии феодальной реакции английское крестьянство было уничтожено как класс, деревня форсированно перешла на капиталистические рельсы, но главное — сложился открытый характер формирования элиты, при котором успешные торговцы и богатые крестьяне становились дворянами. *Естественно, по мере их укрепления возник объективный конфликт с абсолютизмом, увенчавшийся Английской революцией 1640–1660 годов, главной движущей силой которой стало имеющее прочный экономический фундамент "новое дворянство" — джентри.*

Банкирские дома как ускоритель прогресса

"Новое дворянство" вступило в союз с банкирскими домами, финансировавшими торговлю и занимавшимися обменом денег и ростовщичеством. Они возникли в итальянских городах-государствах, прежде всего Венеции (а также в Генуе и Ломбардии); уже в первой трети XIII века они, как отмечал А. И. Фурсов, "опутали долговой сетью значительную часть Европы", разжигая для последующего финансирования самые разнообразные войны. Из-за укрепления Османской империи, перекрывшей сухопутный путь в Индию, прорыва в последнюю Португалии через Индийский океан и открытия Нового Света они стали переносить свою деятельность в Западную Европу — вслед за переходом туда центра деловой активности.

В 1582 году венецианская аристократия приняла решение об установлении своего контроля за Голландией, которая была одним из новых формирующихся "центров силы" Европы (альтернативные проекты предусматривали в качестве источника приложения сил Испанию). Вместе с еврейскими купцами венецианцы открыли амстердамскую биржу, а в 1609 году амстердамский Wisselbank, который, как отмечал А. И. Фурсов, "контролировался 2 тыс. депозитариев и был главным в Европе до первых десятилетий XVIII в. ...когда пик Голландии в мировой торговле остался на полстолетия в прошлом".

Венецианцы первыми признали Голландию в 1619 году, но начавшаяся годом ранее Тридцатилетняя война показала её уязвимость. Кроме того, венецианцы вынуждены были конкурировать в Голландии с опередившими их евреями-маранами (криптоиудеями), бежавшими туда из Испании и Португалии в конце XVI века.

А. И. Фурсов указывал: "Единственной альтернативой Голландии была Англия – мало того, что остров... но государство с... потенцией превращения в ядро североатлантической мир-экономики. К тому же... Англия была уже подготовлена венецианцами в качестве запасной площадки – они работали над этим с конца 1520-х годов...".

Венецианские финансисты (вместе с еврейскими банкирскими домами, в которых они со временем растворились) во многом сформировали английскую элиту, оплодотворив косную и некультурную среду "новых дворян" богатейшей и изощрённейшей политической и интеллектуальной традицией Венеции (и иудаизма).

О глубине преобразования ими (и объективными требованиями того периода истории) Англии свидетельствует стремительное и драматическое изменение английского языка, за какие-то сто лет превратившегося из богатого и изысканного языка Шекспира в идеально упрощенный язык торговли и управления.

Финансисты использовали в Англии (как и везде, как и всегда) имевшуюся власть, делая при этом особую ставку на способные сменить её под их контролем перспективные политические силы. Поэтому в Английской революции 1640–1660 годов они поддержали парламент, бывший оплотом джентри (тем более что Елизавета I взяла под полный контроль чеканку монет и в целом денежное обращение, вызвав неприятие финансистов). Оплачивая Кромвеля в ходе гражданской войны, финансисты после его победы взяли под контроль всю хозяйственную жизнь Англии.

В частности, они захватили квадратную милю в центре Лондона и добились ее особого статуса. И сегодня "Лондонский Сити... имеет... признаки суверена над... властями Великобритании. Премьер-министр Великобритании должен в течение десяти дней приехать в Сити, когда Корпорация Сити... просит его о встрече. Если в Сити хотят видеть монарха, то он должен явиться в течение недели. Ежегодно министр финансов выступает в Гилдхолле (здание ратуши) и резиденции лорд-мэра, где он отчитывается... как служит интересам финансов. Британский монарх может попасть на территорию Сити только с разрешения лорд-мэра. Порядок въезда на территорию лондонского Сити выглядит так. На границе Елизавету II ожидает лорд-мэр Сити с полицейскими, оруженосцем и жезлоносцем. После преклонения перед Жемчужным мечом (Pearl Sword) королева может въезжать в город"[5].

От союза монархии и джентри – к союзу парламента и купцов

Экономическое процветание Англии в первой половине XVII века было неустойчивым, так как после запрета вывоза необработанной шерсти опиралось на единственный предмет экспорта – шерстяные ткани (составлявшие более 80% экспорта). Английские купцы нуждались в защите от голландских конкурентов, правительство – в повышении налогов; результатом стало усиление протекционизма.

Навигационные акты, издававшиеся с 1651-го по 1673 год (то есть и при республике, и после Реставрации, которая не мешала бизнесу), устанавливали, что импорт может доставляться в Англию только напрямую из страны-производителя и только на её либо английских кораблях. Это выводило за рамки английской торговли флот и порты Голландии. Нужные Европе колониальные товары (включая табак и сахар) шли в Англию, – соответственно, и колонисты

покупали всё необходимое на её рынках. Это сделало английских купцов посредниками между колонистами и европейцами, обеспечив им сверхприбыли искусственно созданной монополией.

Голландцы безуспешно пытались защитить выгодную им свободную торговлю в морских войнах 1652–1654 и 1665–1667 годов. В войне 1672–1674 годов Карл II, заручившись в обмен на поддержку католицизма союзом Людовика XIV, заставил Голландию защищаться. Голландия начала стагнировать, а Англия бурно развивалась (за первые 40 лет XVII века обороты её внешней торговли выросли вдвое, а за столетие вдвое увеличились число её кораблей и таможенные доходы) и заняла место Голландии в качестве торгового лидера Европы (став лидером и в работорговле).

Бурное развитие капитализма в силу уничтожения остатков феодальных ограничений продолжалось и после Реставрации Стюартов: Карл II вернулся в другую страну и не пытался её переделать (кроме заигрываний с католицизмом, которые дали ему союз с Францией против Голландии и субсидии от Людовика XIV, позволившие в конце правления отказаться от налогов, сбор которых регулировался враждебным ему парламентом). Сложившиеся в середине 1670-х в английской элите тори (сторонники монархии и англиканства) и виги (сторонники парламента и протестантов), борясь друг с другом, были объединены неприятием католиков и французов, а значит – и настроений Карла II. Это единство позволяло им избегать войны, что стало большим шагом к **цивилизованному устройству государства, не ослабляемого, но** лишь **усиливаемого внутриполитической борьбой**.

Ставший королем после отравления Карла II ртутью в ходе алхимических опытов его младший брат Яков II ("весёлый король" Карл II, только признавший 14 внебрачных детей, не оставил законных наследников) восстановил против себя Англию за рекордные три года: народ возненавидел его за политику восстановления католицизма, элита ("новое дворянство" и финансисты) – за жёсткий курс на построение абсолютизма по французскому образцу.

Виги и тори объединились против Якова II, но нового Кромвеля не нашлось, и банковские дома профинансировали "Славную революцию" 1688 года – интервенцию Вильгельма Оранского и госпереворот. Его результатом стал Билль о правах 1689 года, помимо перечисления гражданских прав англичан объявивший вне закона любой абсолютистский режим, каким была и монархия Стюартов. Билль означал переход Англии к конституционной монархии, в которой король подчиняется законам, издаваемым парламентом, и является лишь первым чиновником государства.

Подход вигов победил, но это стало возможным только благодаря поддержке тори (получивших в качестве компенсации главенство англиканства). Результат Славной революции стал компромиссом для англичан; основанное на экономическом интересе единство элиты укрепилось, включая партнерство между парламентом и купцами, – и оказалось направлено против Франции. *Через сто лет оно сокрушит Францию, прямо организуя Великую революцию и направляя её через разветвленную сеть тайных обществ и скрытого финансирования.*

Тривиальный госпереворот в ходе интервенции зовётся революцией (да еще и Славной) не только из-за стремления к самовозвеличиванию и даже не из-за окончательного перехода от абсолютной монархии к парламентской. Её фундаментальным результатом стало окончательное формирование сохранившегося до наших дней одного из фундаментальных факторов британской конкурентоспособности: **патриотического единства управленческой и коммерческой элиты, достигаемого**, несмотря на все внутренние конфликты, **общим стратегическим интересом, основанным на использовании государства как своего инструмента во внешней конкуренции**.

Осознание этого единства само по себе явилось мощным стабилизирующим фактором, способствующим систематическому **компромиссу** во внутриполитической борьбе и **урегулированию внутренних конфликтов организацией внешней экспансии**.

Созданное Славной революцией новое качество английской элиты проявилось уже через несколько лет в неожиданной, но фундаментальной для новой эпохи финансовой сфере.

Банк Англии как первый частный центральный банк мира

Славная революция, обеспечив единство элиты, создала необходимые предпосылки для глубочайшего преобразования финансовой системы, в результате которого купцы и лендлорды с охотой стали кредитовать правительство, контролируемое ими через парламент, а королевский долг стал национальным и превратился в локомотив развития страны. (Во Франции одалживать королю деньги было рискованным, что ограничивало кредит – этот двигатель экономики – и способствовало её поражению в борьбе с Англией.)

Разумеется, оборотной стороной этого стали сверхприбыли финансистов. Кредитуя торговлю, они стремились к её росту; когда же способствовавшие ему меры вели к столкновениям (вроде англо-голландских войн, спровоцированных Навигационными актами), они с удовольствием финансировали и войны, используя кредитование государства для расширения своего влияния на него.

Так, в 1690 году победители в Славной революции – Вильгельм III Оранский и парламент – взяли большие займы под высокие проценты для войны со сторонниками Якова II в Ирландии и с Францией – в Северной Америке. Денег в казне просто не было, как обычно бывает после революций, да ещё славных.

Девятилетняя война (1688–1697) между Францией и созданной Вильгельмом Оранским Аугсбургской лигой после превращения последнего в Вильгельма III потребовала участия Англии – тем более что Яков II бежал к своему покровителю Людовику XIV, который сразу же начал военные действия против Англии и Голландии.

Славная революция (как и мир, быстро заключенный Австрией – тогда Священной Римской империей – с Османской империей) изменила соотношение сил не в пользу начавшей войну Франции, но финансисты с обеих сторон, стремясь закабалить свои государства, исключили возможность мира.

Новые деньги для ведения активных боевых действий понадобились Англии уже в 1693 году, но финансисты отказали в них ради качественно нового уровня своего влияния: создания частного банка в качестве центрального и установления этим своего контроля за всеми финансами общества. Ситуация была настолько отчаянной, что для поиска денег создали специальный комитет палаты общин.

Предложение шотландца Уильяма Петерсона о создании Английского банка для эпохи государственно-частных компаний, когда классическое государство только начинало формироваться, не было чем-то выходящим из ряда вон: финансисты предложили королю и парламенту в своей сфере принципиально тот же механизм, который купцы уже давно использовали в торговых компаниях.

Новизна заключалась в двух факторах.

Прежде всего, объектом деятельности была не торговля с дальними странами, а финансирование государства. Обязательства частного банка были обеспечены государством (собираемыми им налогами и его вкладами в банке) и выпускались для оплаты долга правительства. Парадокс (и **смысл частного центрального банка**) заключался в том, что **любое обязательство (банкнота) Банка Англии** с момента выпуска **являлось** в конечном счете **долгом правительства** перед её держателем, – **а выпускаться она могла и без согласования с правительством**. Требование сделать банкноты Банка Англии полноценным платёжным средством, объективно конкурирующим с монетами, которые чеканило правительство, последнее поначалу отвергло с формулировкой "это зашло слишком далеко", – но деваться было некуда. Правда, банкноты Банка Англии обладали крупным номиналом, недоступным для большинства населения, так что их появление заметила только элита.

Второй фактор новизны заключался в смене характера государства. После Славной революции оно уже отделилось от короля; сказать по примеру французского соседа нормальное для абсолютизма "государство – это я" было уже невозможно. Поэтому вхождение короля в учредительный капитал, по инерции, возможно, ещё воспринимавшееся современниками как естественное участие государства в "государственно-частном партнерстве", на деле было участием частного лица, пусть даже и исключительно влиятельного.

Таким образом, приватизация государства нового типа, – *le stato* Макиавелли (юридически оформленного Вестфальским миром более чем через

столетие после осознавшего его становление гениального флорентийца), отделённого от королевской семьи и представляющего собой общественный, а не частный институт, — в Англии произошла практически в момент его создания.

И **стала одним из факторов его будущего могущества, поскольку приватизаторы воспринимали себя как неотъемлемую часть Англии и её владельцев**, не имея и не приобретя за последующие века иной идентичности, кроме английской (несмотря на свой, вероятно, пестрый этнический и даже конфессиональный состав).

Банк Англии — первый в мире частный[6] центральный банк — был создан в 1694 году для финансирования войны с Францией точно так же, как ФРС в 1913 году был создан для финансирования Первой мировой войны. Но, если для американских финансистов XX века раздуваемая ими война была инструментом завоевания господства не только над США, но и над всем миром и представляла поэтому самостоятельную ценность, их английские предшественники использовали её в более скромных целях: лишь как способ загнать английское государство в безвыходное положение и захватить экономическую власть в Англии[7].

Начало деятельности Банка Англии ознаменовалось провалом: для оплаты долга правительства он сразу выпустил новых денег на 760 тыс. фунтов стерлингов. Это вызвало скачок цен; за два года Банк Англии утратил платёжеспособность, что создало хаос в денежном обращении. Свободный обмен его обесценившихся банкнот на серебряные монеты создал огромные возможности спекуляций.

Денежное обращение было нормализовано титанической деятельностью Ньютона на посту руководителя Монетного двора, но утрата платёжеспособности Банка Англии создала угрозу конкуренции.

Уже в 1696 году, когда проблемы управляемого вигами Банка Англии стали очевидны, тори попытались учредить *National Land Bank* с аналогичными в принципе функциями. Будучи землевладельцами, они, похоже, предполагали вносить в капитал реальный актив — землю, но, по-видимому, не знали ни о скрытом участии короля в Банке Англии (что обеспечивало его политический союз с вигами), ни о фиктивности его капитала, что делало его чисто спекулятивным и оттого более мощным в краткосрочном плане предприятием.

В силу заинтересованности короля в Банке Англии (и союза финансистов прежде всего с вигами) попытка тори не увенчалась успехом, и уже в следующем году Банк Англии закрепил свою монополию: парламент запретил создание новых крупных банков и ввёл смертную казнь за подделку банкнот Банка Англии.

Исаак Ньютон как подлинный отец Британской империи

Как отмечено выше, создание частного Банка Англии, монополизировавшего операции с госдолгом, вначале даже усугубило проблемы денежного обращения. Помимо временной утраты контроля за госдолгом, вызванным его переходом в частные руки, либерализация и общее ослабление власти после Славной революции способствовали усилению порчи монеты (не говоря о также процветавшем банальном фальшивомонетничестве), что стало самостоятельной причиной финансового кризиса.

Основой денежного обращения был серебряный шиллинг крайне низкого качества чеканки. Отсутствие ребристого ободка делало массовым срезание части монет для переплавки. Это каралось виселицей, но режим был слишком слаб, чтобы выявлять и наказывать вредителей, счет которых шел как минимум на тысячи.

Борясь с этим, правительство ещё в 1662 году начало чеканить высококачественные полновесные монеты, в том числе с надписью на ребре, что не давало обрезать их, — но их в силу сложности производства было немного, и из-за невозможности обрезки, что гарантировало полноценность, их либо сразу прятали, как сокровища, выводя из обращения, либо переплавляли в серебряные слитки и вывозили в Амстердам и Париж[8] (так как из-за порчи монеты серебро в виде товара было дороже, чем в виде английских монет)[9].

В результате в обращении оставались лишь обрезанные монеты все более низкого качества, что создавало угрозу коллапса торговли и производства.

Маколей в "Истории Англии" называл массовую порчу монет, затрагивавшую интересы всех слоёв, злом хуже любой измены. Падение качества денег стало одной из причин начавшихся в 1694–1695 годах массовых банкротств. По оценке Ньютона, к началу Великой перечеканки около 12% серебряных денег в обращении было фальшивыми (что составляло до 10% всех используемых денег[10]), а у оставшихся было срезано около 48% их общего веса[11].

Страна с предельно расстроенным денежным обращением вела войну с Францией, где укрылся свергнутый Славной революцией король Яков II; казавшаяся реальной перспектива его возвращения с последующими тотальными репрессиями вызывала всеобщий ужас.

Для спасения Англии надо было оздоровить денежное обращение, чем занялись четыре человека, сочетание которых демонстрирует уникальность английской политической культуры[12]: ученик Ньютона Чарльз Монтегю (граф Галифакс), внесший билль о создании Банка Англии и назначенный после этого канцлером казначейства (министром финансов); Джон Сомерс – глава партии вигов, с 1697 года – лорд-канцлер Англии; Джон Локк – врач, философ, теоретик парламентаризма, с 1696 года – комиссар по делам торговли и колоний; Исаак Ньютон – автор великих "Математических начал натурфилософии".

С министром финансов и одним из политических лидеров всё ясно, но как оказались среди денежных реформаторов философ и учёный? Почему правительство Англии обратилось за советом об оздоровлении денежного обращения к никак не связанному с ним ранее Исааку Ньютону?

Прежде всего, причина – описанная выше внутренняя демократичность английской элиты, проявившаяся в том числе в существовании Лондонского Королевского общества по развитию знаний о природе (далее – Королевского общества; Локк был его секретарем, Чарльз Монтегю – президентом в 1695–1698 годах, уступив этот пост Сомерсу, занимавшему его в 1698–1703-м) и в приглашении в него пусть и блестящего, но не знатного, не богатого и не обладающего личными связями Ньютона *(который, впрочем, позже стал его президентом, сменив Сомерса в 1703 году и пробыв на этом посту почти четверть века, до самой своей смерти в 1727 году)*.

Но такое приглашение было вызвано и необычным, исключительным положением науки в тогдашнем английском обществе.

Англия: исключительная роль науки

В результате страшных и длительных социальных катаклизмов все общественные институты Англии, особенно в эпоху Реставрации, безнадежно скомпрометировали себя. И королевская власть, и церкви (и англиканская, и протестантская, и католическая), и аристократия, и суды, и парламент, и представители "третьего сословия" (выражаясь французским политическим языком конца следующего столетия) многократно публично и откровенно лгали, предавали и совершали все неблаговидные действия, какие только можно представить, – и потому не годились на роль арбитра в столкновениях интересов внутри общества.

В результате таким арбитром стали учёные как сословие, сочетающее интеллект с определённой независимостью, вызванной оторванностью от политической и хозяйственной жизни *(традиция использования учёных в госуправлении восходила ещё к Фрэнсису Бэкону, ставшему старшиной юридической корпорации в 1586 году, генеральным прокурором в 1613-м, лордом-хранителем Большой печати в 1617-м и занимавшему высший пост государства – лорда-канцлера – с 1618-го по 1621 годы)*.

Обращение власти к авторитету учёных было исключительно важным для формирования общественной морали и как признание властью наличия объективной истины и самостоятельной ценности знаний. Более того: "современники Ньютона воспринимали научные достижения учёных не... столько как... умножение... знаний... сколько как доказательство способности человека установить на Земле такой же незыблемый порядок, какой учёные уже обнаружили на небе. Не удивительно поэтому, что многие английские государственные деятели этой эпохи серьёзно интересовались наукой, а учёные... нередко назначались на высокие посты, внося в политическую жизнь... открытость обсуждения, глубину анализа, смелость и новизну подходов..."[13].

Лондонское королевское общество, созданное в 1660 году и уже в 1662 году утверждённое королевской хартией, – живое воплощение этой тенденции и действенный инструмент её использования властью. Его форма – частная организация, существующая на субвенции правительства, – выражает уникальное организационное сочетание государственных и частных начал, ставшее одним из важнейших факторов британского превосходства.

Девиз Королевского общества – латинское *Nullius in verba* ("ничего со слов"), – означая необходимость научных доказательств любого утверждения и недостаточность традиционных не только для средневековой схоластики ссылок на авторитеты, выразило потребность новой эпохи в новых, научных источниках истины.

К тому моменту, когда правительство обратилось за советом к 52-летнему[14] Ньютону, казалось, он "уже всё совершил: с разработки дифференциального и интегрального исчисления прошло тридцать лет, с теории света и цвета – двадцать, с публикации законов механики и закона всемирного тяготения – почти десять"[15].

Его "основным достижением... стало объединение законов планетарного движения Кеплера, законов падения тел Галилея, концепции инерции, развиваемой Галилеем и Декартом, и... собственной концепции гравитации в единой физико-математической системе... 20 лет прошло, прежде чем Ньютон убедился в своей математической правоте... В 1687 году он сформулировал свою теорию притяжения и движения тел и описал её в эпохальном труде "Математические начала натуральной философии", обычно известном по своему латинскому названию "Принципы" *(Principia).* Она продавалась по 5 шиллингов за копию.

Ньютон соединил вместе математические, астрономические и механические открытия века... Его описание Вселенной не требовало исправлений в течение целого века, а физика продолжала работать... до века Эйнштейна. "Принципы" были признаны произведением искусства... В отличие от Галилея, вокруг Ньютона поднялась шумиха. Он был посвящён в рыцари и избран членом Королевского общества..."[16].

Таким образом, к моменту обострения денежного кризиса авторитет Ньютона был исключительным: он был самым уважаемым и известным учёным не только Англии, но и всего тогдашнего мира.

Ключевая проблема денежного обращения была проста: кому платить за замену порченой монеты на полновесную? В прошлую перечеканку XVI века казна брала на себя расходы по перечеканке монет, а сами они менялись по весу, то есть по стоимости сданного серебра. Это казалось логичным: государство не должно платить за нарушения закона подданными, и, раз в нормализации экономики заинтересовано общество, то и платить должно оно. Но та перечеканка обернулась разорением населения: после обмена человек получал в 1,5–2 раза меньше, чем сдавал, – а долги и налоги оставались прежними. В результате обобранное население с удвоенной энергией бросилось портить уже новую монету.

Революционное решение Ньютона, поддержанное Монтегю, заключалось в оплате перечеканки правительством: деньги менялись по номиналу, и даже обрезанные до половины своего веса шиллинги менялись на полновесную новую монету один к одному, – и уже в конце 1695 года парламент принял закон, потребовавший в течение месяца сдать в казну всю старую (до 1662 года выпуска) наличность – монеты ручной чеканки.

Обмен обошелся в 2,7 млн фунтов стерлингов – почти полтора годовых доходов казны[17], основную часть которых пришлось одалживать у английских и голландских банкиров и купцов, заинтересованных в стабильности фунта стерлингов. Монтегю прославился прогрессивностью и гуманностью, отказавшись от восстановления налога на печные трубы (введенного в 1660 году и отменённого в 1684 после вызванного отказом от них Лондонского пожара) в пользу введения налога на окна (из-за дороговизны стекла бывшего налогом на богатых). *"Чтобы оценить смелость реформаторов, можно вспомнить, что... в 1992 году... Гайдар заявил, что компенсация обесцененных вкладов потребует суммы, равной доходу бюджета за 6 кварталов. Величина... произвела на депутатов огромное впечатление, но именно такую сумму... государство выплатило англичанам в конце XVII века"*[18].

Перечеканка монет за счёт государства простимулировала спрос и показала справедливость новой власти: она не стала наказывать всё общество за

ошибочную политику предшественников (даже ценой прощения множества невыявленных мошенников).

Логично, что автора идеи назначили её исполнителем. Возможно, при назначении Ньютона играло роль и то, что, несмотря на славу, он жил скромно (после уплаты налогов, покупки научного оборудования и книг на жизнь ему оставалось, по оценкам, 500–1000 фунтов стерлингов в месяц в ценах 2018 года[19]), болел[20], – и высокопоставленные друзья искренне думали, что нашли ему синекуру[21].

Но результат оказался прямо противоположным.

Обмен, едва начавшись, был сорван (что вынудило впервые в Европе выпустить в обращение кредитные билеты): Монетный двор не обеспечил чеканку нужного объёма денег. Это было невозможно в принципе, – но ситуацию усугубило полное разложение работников, вызванное бездельем его директора Нила (его связи были так сильны, что отправить его в отставку, заменив на Ньютона, удалось лишь в 1699 году). В Монетном дворе царили пьянство и воровство; нормой были дуэли, чеканы порой продавали фальшивомонетчикам.

Сразу после назначения хранителем Монетного двора (должность, вообще не предусматривавшая властных полномочий) Ньютон добился от парламента диктаторских прав, вплоть до создания своей тюрьмы и сыскной полиции[22], а также получения прокурорских полномочий и статуса Главного обвинителя короны по финансовым преступлениям[23].

Переселение в Тауэр позволило работать почти круглосуточно (тогда Ньютон спал не более 4 часов в день). Помимо обеспечения дисциплины и войны с фальшивомонетчиками (великий учёный добился осуждения более ста и казни 28 из них, причем легендарному Уильяму Чалонеру по его настоянию на виселице повесили на грудь медные матрицы, которыми он подделывал популярные тогда лотерейные билеты[24]), он вникал во все технологические и организационные тонкости производства. Совершенствование технологий, открытие 5 временных монетных дворов в других городах и строительство передвижных машин для чеканки денег, удовлетворявших потребность в них "на местах" наибольшего дефицита, позволило в кратчайшие сроки нарастить выпуск денег почти в 10 раз.

Установленные им порядки были так эффективны, что английское государство достигло установленного Ньютоном уровня контроля и управляемости, по оценкам, лишь в середине XIX века! В Монетном же дворе они сохранились, по крайне мере, частично, на протяжении почти четверти тысячелетия. *Так, когда в 1936 году архивы, связанные с управлением Ньютоном Монетным двором (обнаруженные в 20-х), попытались выставить на аукцион в Лондоне, они были засекречены, так как содержащиеся в них сведения о правилах работы Монетного двора могли помочь немецкой разведке.*

Ньютон спас Англию менее чем за два года, ликвидировав катастрофический дефицит монет к концу 1697-го[25]. Но созданный им лучший в мире Монетный двор стал не нужен: огромные (и крайне дорогостоящие) производственные мощности лишились загрузки.

Выходом стала чеканка серебряных монет для международных торговых компаний, прежде всего Ост-Индской, именно тогда остро нуждавшейся в большом количестве серебряных денег. Небольшие заказы такого рода Монетный двор выполнял и раньше, – но Ньютон, чтобы спасти его и обеспечить масштаб работ, добился установления цены серебра почти на 10% ниже среднеевропейской.

Сугубо конъюнктурная поначалу (по-видимому) политика, вызванная стремлением просто поддержать загрузку мощностей и спасти кровью и потом налаженное производство (не говоря о головокружительных личных доходах), крайне удачно вписала Англию в тогдашнее мировое разделение труда. Уже в 1699 году это было осознано великим ученым и его учеником – канцлером казначейства Монтегю – и стало основой финансовой стратегии Англии.

Индия, Китай и в целом страны Востока тогда торговали с Европой в основном за наличное серебро, бывшее (благодаря наибольшей распространённости из всех драгметаллов) главной мировой валютой. Для прорыва на рынки Востока и закреплении на них, для установления контроля за торговыми путями надо было щедро платить серебром, и несколько компаний-монополистов, сосредоточивших ко времени Великой перечеканки в своих руках основную часть мирового торгового капитала, испытывали постоянную нужду

в серебре, особенно в высококачественной монете. Монетный двор Ньютона, удовлетворяя их жажду (да ещё и по льготной цене, да ещё и быстро, и практически в любых объёмах), привязывал их к английской экономике. За поставку монет на льготных условиях эти компании стали предоставлять Англии льготные кредиты, обеспечившие быстрый рост её хозяйства (дополнительным фактором относительной дешевизны кредита стало поддержание дешевизны серебра).

Аналогичный вывоз серебра в торговле с Востоком и ранее использовался Венецией, Антверпеном и Амстердамом, пусть и в сравнительно небольших масштабах. Ньютон использовал старый опыт венецианских банкиров, перенесших свою активность через Голландию в Англию, в качественно новых условиях: когда мощные торговые компании, наличие свободных капиталов в Европе и уникальный баланс сил в английской политике позволили ему превратить госдолг в мотор форсированного экономического развития.

Таким образом, Ньютон поставил на службу Англии и её прогрессу, включая создание ёмкого внутреннего рынка и необходимое полноценному государству преодоление разрыва в уровне развития между центрами торговли и остальной страной (задача, решённая тогда только Англией, а в большинстве стран не решённая и сейчас!), энергию и мощь всего мирового торгового капитала. Дешёвый кредит, породив беспрецедентную деловую активность, не только преобразил страну, но и обеспечил беспрецедентно высокие налоги – около 20% ВНП. *(В других европейских странах предельным налоговым бременем, грозящим социальными катастрофами, считалось 10% ВНП; попытка достичь его стала в конце XVIII века роковой для Франции. Англия же без труда собирала почти ту же сумму налогов, что и Франция с в 2,5 раза большим населением[26].)*

Именно за создание этого механизма, когда его эффект стал очевиден – в 1705 году, – за заслуги перед государством Ньютон был возведен королевой Анной в рыцарское достоинство.

Быстрый рост экономики позволил Банку Англии начать регулярный выпуск гособлигаций, по которым пунктуально выплачивались постоянные проценты (в среднем 5% годовых).

Спецификой стремительно растущего английского госдолга стало идеально точное обслуживание, – вероятно, вызванное тем, что король и верхи политической элиты как тайные совладельцы Банка Англии оказались на стороне кредитора, а не заёмщика, которым являлся обладавший повседневной властью парламент. Отказ короля от абсолютной политической власти (в результате Славной революции) сопровождался захватом им (при учреждении Банка Англии) части власти экономической: так "система сдержек и противовесов" в политике получила аналог в экономике. Знать, уступив торгово-финансовому капиталу весомую часть политической власти, захватила в обмен часть власти экономической и вместо борьбы с капиталом слилась с ним в единый властно-хозяйственный механизм.

Это слияние было подготовлено внутренним демократизмом английской элиты и стало основой британской мощи: энергию, которую другие нации растрачивали на внутреннюю борьбу за власть, англичане смогли направить вовне, на расширение своего влияния.

Точность и безусловность обслуживания английского госдолга перевела его в качественно новое состояние, при котором он стал самым надежным объектом вложения средств для капиталов всей Европы и тем самым для Англии – самостоятельным источником развития, влияния и богатства. Резко расширив бюджетные возможности Англии, он обеспечил её подавляющую мощь.

Уже к середине XVIII века он достиг астрономических 140 млн фунтов стерлингов и стал самым большим в мире, вызывая (как сейчас госдолг США) ужас публицистов (которые начали осознавать его значение лишь к концу века) и энтузиазм кредиторов. *Так, когда в 1782 году после поражения в войне с североамериканскими колониями Великобритания попросила у ведущих банкирских домов Европы заём в 3 млн фунтов, ей немедленно предложили 5 млн.*

Тогдашнее мировое разделение труда выглядело как извлечение странами Европы серебра из Нового Света и обмен его на Востоке на товары. Англия смогла занять уникальное положение объекта вложения всех свободных капиталов мира и получать неограниченный кредит. Последний сыграл ключевую

роль в её стремительном техническом перевооружении в ходе промышленной революции: паровые машины мог строить кто угодно, а вот средства на оборудование ими множества фабрик были только у Англии[27].

Систематическая недооценка серебра по сравнению с золотом (для наращивания торговли с Востоком, требовавшим серебро) вела к тому, что в Англию для перечеканки в английскую золотую монету ввозилось золото (поток которого хлынул и так после установления Англией благодаря Лиссабонскому договору 1703 года фактического контроля над Португалией и её золотыми рудниками в Бразилии), а вывозились серебро и серебряные монеты. Так сложилась биметаллическая система с преобладанием золота над серебром; английский фунт стерлингов стал первой валютой новой Европы, основанной на золотом стандарте, и затем увлёк за собой весь мир.

Однако будущее этой системы, как и в целом будущее Великобритании, было отнюдь не безоблачным.

Достаточно вспомнить потерю североамериканских колоний: проживший в Лондоне почти 17 лет Бенджамин Франклин[28], отстаивая их интересы и протестуя против чрезмерного налогообложения, имел несчастье объяснить представителям Банка Англии их расцвет использованием собственной валюты – "колониальных расписок", – которые выпускались в строгом соответствии с потребностями хозяйства. В результате в 1764 году парламент Великобритании "Законом о валюте" запретил колониям выпуск своих денег и обязал выплачивать все налоги только золотыми и серебряными монетами. Франклин писал: "...За один год... эра процветания закончилась... Улицы городов заполнились безработными". К 1775 году британская система налогообложения обескровила колонии, изъяв из них все золотые и серебряные монеты и поставив их перед выбором между гибелью и восстанием; это привело к возникновению США.

Стоит отметить, что в июне 1776 года Людовик XVI предоставил своему агенту, великому драматургу Бомарше 1 млн ливров на финансирование войны повстанцев Северной Америки против Великобритании. Так что финансирование и, вероятно, разжигание Англией Великой Французской революции была лишь ответным ударом, – ещё раз подтвердившим чеканную формулу Макиавелли: ***несмертельный удар смертелен для того, кто его наносит****.*

С 1797 года война с Францией (Англии быстро пришлось противостоять Наполеону в одиночку) породила обесценивающийся бумажноденежный стандарт, сохранявшийся до 1821 года.

Но, несмотря на эти и другие кризисы, пирамида госдолга Англии, во многом созданная Ньютоном, наряду с симбиозом аристократии и предпринимателей, обеспечивающая её могущество и опиравшаяся на него, продолжала эффективно функционировать и рухнула лишь в XX веке – вместе с Британской империей.

Вероятно, подобные общественные организмы, опирающиеся на общность интересов и патриотизм влиятельных элементов общества, госдолг как средство привлечения свободных капиталов всего мира, а также науку и разведку, обеспечивающие разумность управления, могут погибать лишь по внешним причинам, под ударами более эффективных и мощных конкурентов.

Частные школы: основы социальной инженерии

Необходимое условие жизнеспособности любого организма – воспроизводимость, способность продолжать себя в следующих поколениях. Социальный организм обеспечивает это условие воспитанием своих членов и подготовкой управленческих кадров (невнимание к формированию последних означает быструю смерть, что показал, в частности, пример просуществовавшей лишь три поколения советской цивилизации).

Особенно высоки объективные требования к качеству госуправления (и, соответственно, к подготовке кадров для него) империй, объединяющих разнородные территории, по-разному откликающиеся на одни и те же управленческие импульсы.

Опираясь на богатый опыт религиозного образования, Британская империя решила эту задачу созданием специфической системы воспитания элиты, включающей частные школы и университеты для элиты. Основанная на них подготовка имперских управленческих кадров стала важнейшим фактором

британского превосходства над остальным миром и одним из высочайших достижений социальной инженерии Запада[29].

Ключом к этой системе стали частные школы-пансионы, куда сдавала своих детей английская элита и которые в конце XIX века, в период расцвета империи, считались ее представителями "главным достижением империи и её фундаментом".

По сути, дети элиты в интересах империи изымались из семей и навсегда становились в них лишь редкими гостями, приезжающими на каникулы. Это делалось без насилия, абсолютно добровольно – просто потому, что являлось категорическим условием сохранения их социального статуса.

В частных школах, как и в университетах, детям и студентам не давали знаний, имеющих практическое значение. Под видом бесконечной зубрежки латыни и разнообразных схоластических предметов в них вырабатывалось автоматическое, нерассуждающее послушание руководству, трудолюбие, упорство и дух соревнования. Все признаки критического мышления беспощадно выжигались, равно как и чувствительность, способность к сопереживанию, гуманизм и другие качества, противопоказанные колониальным администраторам.

Об уровне психологического насилия, которым детей превращали в "эффективных менеджеров", свидетельствуют воспоминания второй жены Дж. Оруэлла, Сони Броуэлл: "единственная цель – целиком и полностью властвовать над каждый вздохом и каждым помыслом... Каждый ребёнок в отдельности должен быть управляем, все потаенные уголки детских душ надлежит найти и раскрыть; а для этого следует убивать в них в зародыше любую веру в то, что люди способны приходить на помощь друг другу...

Все, кто через эту школу прошёл, безошибочно распознают её друг в друге. Словно члены некоего тайного братства, они обнимают друг друга, забывают на миг зло, что им причинили, и осторожно, робкой лаской пытаются хоть немного успокоить свою боль..." (рецензия Сони Броуэлл на книгу Роже Пейрефитта "Особенная дружба"[30]).

Несмотря на наличие неизбежного брака (о чём свидетельствует приведенная цитата, автор которой сохранил способность чувствовать), частные школы и, далее, элитные университеты представляли собой конвейер, обеспечивающий детям элиты ликвидацию эмоций, глубокую социализацию в своей среде, развитие административного интеллекта и укрепление физического здоровья.

С этого конвейера и по сей день сходят одинаковые энергичные молодые люди, свободные от содержательных знаний, но спаянные в единую касту и преисполненные единственными оставленными им чувствами – всепоглощающей преданностью (термин "лояльность" непозволительно слаб) короне и друг другу, а также глубочайшим собственным превосходством по отношению ко всем остальным.

Элитное образование Британии обеспечивало создание и воспроизводство монолитного социального слоя, резко отделённого от остального общества и даже собственных семей[31]. Этот слой с пренебрежением и презрением относился ко всем управляемым, в том числе и согражданам: их интересы для него существовали лишь в той степени, в которой могли создавать ту или иную проблему для эгоистических интересов элиты или её представителей.

Разумеется, в частных школах для мальчиков был широко распространены гомосексуализм и педофилия: старейшая и наиболее уважаемая школа, в конце концов, была даже закрыта по этой причине – правда, уже в 70-е годы. Помимо использования гомосексуальности как инструмента формирования обособленной от общества и жестокой элиты, важным было то, что до 1967 года гомосексуализм в Британии считался уголовным преступлением[32]. Соответственно, элитарных носителей этой ориентации дополнительно сплачивало сознание общей преступности, страх перед наказанием и, главное, ощущение своей сверхчеловечности, то есть способности и права пренебрегать общепринятыми нормами, включая мораль и закон.

Непосредственной причиной деградации и исторического поражения Британской империи стала, скорее всего, деградация управляющего слоя из-за пренебрежения системы образования содержательными знаниями[33], что по мере усложнения технологий создало перманентный конфликт между специалистами и управленцами, подобный наблюдавшемуся в Советском Союзе.

* * *

В последней трети XIX века немцы, соревнуясь с Великобританией и отстаивая свои интересы в противостоянии обслуживающему её нужды либерализму, создали науку, в том числе об обществе, как фактор национальной конкурентоспособности. Но англичане прошли этот путь раньше – ещё в конце XVII века, что и стало одним из факторов британского превосходства и британской конкурентоспособности, далеко пережившей Британскую империю и по наши дни оказывающей огромное влияние на глобальную политику и экономику.

Развитие банкирских домов, перешедших из Венеции в Англию и на рубеже XIX и XX веков вступивших в союз с молодым американским капиталом, привело с началом глобализации к возникновению качественно нового субъекта мировой истории – глобального управляющего класса.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Возможно, именно с того времени всемерное и безоговорочное сотрудничество со спецслужбами и стало неписаной, но непререкаемой нормой поведения практически любого английского джентльмена – и важным фактором британской мощи.

[2] Черняк Е. М. Пять столетий тайной войны. Из истории секретной дипломатии и разведки. М.: Международные отношения, 1991.

[3] "В XVI в. из-за огромного наплыва серебра из Южной Америки цены на основные продукты выросли в среднем по Европе в 3-4 раза... Экономику Испании – главной колониальной державы того времени – этот поток серебра... разорил, превратив воинов, крестьян, ремесленников в авантюристов, бездельников и мотов, чьи легко доставшиеся деньги обогащали не собственную страну, а нидерландских купцов" (Менцин Ю. Л. Монетный двор и Вселенная. Ньютон у истоков английского "экономического чуда". Великая Перечеканка, или Монетаризм по-английски. Ньютон и Маркс. Загадка золотой гинеи. Государственный долг Англии и промышленная революция. У основания английской "финансовой пирамиды". // Вопросы истории естествознания и техники. 1997. № 4.)

[4] Хилл Кристофер. Английская революция. М.: Издательство "Иностранная литература", 1947.

[5] Маслов В. На поклон банкирам в лондонский Сити. ИЦ Aftershok, 1 ноября 2015 года. https://aftershock.news/?q=node/345604&full.

[6] После национализации лейбористами в 1946 году, после войны, Банк Англии стал "публичной корпорацией" – некоммерческой организацией, обеспечивающей не прибыль, но предоставление обществу необходимых ему услуг. Акционерный капитал был передан Казначейству, а его бывшие владельцы получили компенсацию в виде гособлигаций, по сумме вчетверо превышавших номинальную стоимость акций.

[7] Признаком качественного усиления финансового капитала стало создание уже в следующем, 1695 году Лондонской фондовой биржи – вторичного рынка торговли уже выпущенными акциями (тогда в Англии имелось 137 акционерных обществ).

[8] Вывоз серебра в Париж не замедлялся даже во время войны с Францией.

[9] Ефимов Артем. Исаак Ньютон и "Великая перечеканка 1696 года". №1, 8 августа 2017.

[10] Там же.

[11] Roseveare H. The Trasury 1660-1870. The foundations of control. London, 1973.

[12] https://sobiainnen.livejournal.com/49288.html.

[13] Менцин Ю. Л. Монетный двор и Вселенная. Ньютон у истоков английского "экономического чуда". Великая Перечеканка, или монетаризм по-английски. Ньютон и Маркс. Загадка золотой гинеи. Государственный долг Англии и промышленная революция. У основания английской "финансовой пирамиды". // Вопросы истории естествознания и техники. 1997. № 4.

[14] Средняя продолжительность жизни в Европе составляла тогда 35 лет; правда, её сильно занижала младенческая и женская смертность, а также низкая продолжительность жизни простых людей. Мужчина-аристократ, доживший до 21 года, еще в первой половине XVI века жил в Англии в среднем до 71 года (и даже в XIII веке – до 66 лет).

[15] Ефимов Артем. Исаак Ньютон и "Великая перечеканка 1696 года". № 1, 8 августа 2017.

[16] Данн Ричард. Эпоха религиозных войн 1559–1689.

[17] Эти расходы за несколько лет полностью компенсировал прирост налогов с возраставшего благодаря нормализации денежного обращения товарооборота.

[18] Менцин Ю. Л. "Закон испорченной монеты". "Независимая газета" 7 ноября 2015 года.

[19] Шаров К. С. Исаак Ньютон как финансовый чиновник. "Экономическая история" https://cyberleninka.ru/article/v/isaak-nyuton-kak-finansovyy-chinovnik.

[20] Незадолго до назначения хранителем Монетного двора Ньютон "пережил тяжелую нервную болезнь: депрессия, бессонница, расстройство пищеварения, приступы паранойи, – *вероятно, последствия отравления ртутью при алхимических опытах или самолечении". (Ефимов Артем. Исаак Ньютон и "Великая перечеканка 1696 года". N+1 8 августа 2017 https://nplus1.ru/blog/2017/08/08/tao-physics)*

[21] Так, Монтегю писал Ньютону 19 марта 1695 года: "...эта должность не потребует... больших затрат времени и сил, вы сможете работать столько, сколько захотите сами" [Westfall R. S. The Life of Isaac Newton. Cambridge, 1993].

[22] Занимавшейся расследованиями финансовых нарушений и преступлений по всей стране и ставшей, таким образом, предтечей современной финансовой полиции.

[23] 16 июня 1696 года приказ лорда Казначейства дал Ньютону право получать сверх жалованья (как директору Монетного двора) определенный процент с каждой отчеканенной монеты, – хотя, конечно, его рвение в ходе перечеканки и последующей денежной экспансии определялось далеко не только этим [Craig J. Isaac Newton and the counterfeiters // *Notes and Records of the Royal Society*. Vol. 18. 1963].

[24] Т. Левенсон. Ньютон и фальшивомонетчик. О том, как величайший ученый стал сыщиком. М.: Корпус, 2013.

[25] К 1700 году, за 4 года под руководством Ньютона было отчеканено монет более чем на 5,1 млн фунтов стерлингов – в полтора раза больше, чем за предшествующие 35 лет с начала машинной чеканки в 1662 году (3,3 млн фунтов). Из оборота было изъято около 95% фальшивой и бракованной серебряной наличности [Craig J. Isaac Newton and the counterfeiters // Notes and Records of the Royal Society. Vol. 18. 1963].

[26] Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. М., 1992.

[27] Менцин Ю. Л. "Закон испорченной монеты". "Независимая газета" 7 ноября 2015 года, Менцин Ю. Л. Засекреченная встреча Петра I и Ньютона. НГ. 12 октября 2016.

[28] В 1724–1726 годах работал и учился в типографиях Лондона, в 1757–1770 годах представлял интересы сначала Пенсильвании, а потом ещё трёх североамериканских колоний в Британии.

[29] О не менее выдающихся и изощренных плодах социальной инженерии других цивилизаций, – например, Османской империи, – мы знаем непозволительно мало.

[30] Цитируется по: А. В. Багаев. "Презумция лжи". М., Товарищество научных изданий КМК, 2017.

[31] В Оттоманской империи похожий результат достигался созданием сословия янычаров из детей, похищенных из семей и не помнящих своих родителей и своей культуры.

[32] В Шотландии уголовное наказание за гомосексуализм было отменено лишь в 1980 году, в Северной Ирландии – в 1982-м, на заморских территориях – с 1983-го (остров Гернси) по 2001 год (когда гомосексуализм декриминализовало большинство таких территорий: Ангилья, Британские Виргинские острова, Монтсеррат, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Теркс и Кайкос).

[33] Самый яркий пример пагубности для элиты бегства от содержательных знаний дала стремительная деградация российской армии после восстания декабристов. Страшась образования как источника неблагонадежности, Николай I практически прекратил содержательное обучение офицеров даже сугубо воинским дисциплинам, что стало одной из причин катастрофического поражения Российской империи в Крымской войне, на основном театре военных действий которой её армии противостоял всего лишь англо-франко-турецкий экспедиционный корпус. Правда, в Англии наблюдались схожие проблемы: средневековая практика продажи офицерских патентов была прекращена именно в результате осмысления итогов Крымской войны.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
писатель, лауреат премии Ленинского комсомола

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

1

Как непросто это и как неловко – соединить радость и надежду, удачу и победу с грянувшей вдруг бедой и предательством, с безнадёжностью, но и противлением всё-таки, духовным несогласием в единении с простой мыслью – родина-то у нас одна. Да и всё это к отметке совершенно невероятной – 100-летию комсомола, которое следует за оболганным 100-летием Октября.

Что в этом бедламе каждый из нас? Личность или песчинка в океане – безмолвная, движимая волнами, которые не спрашивают тебя о твоих соображениях... или "тварь безответная", которая всегда будет повторять то, что выкрикивают вздорные фальшивомонетчики "новых" истин?

Но, может, подводя итоги – а их следует подводить каждому, да и делает это всяк по-своему, – стоит просто спросить: а что сделал лично ты? И все ли, что мог, сделал? И чем, какими путами был повязан, чтобы оправдать перед отжитой жизнью несодеянное – насколько замысел был неисполним в силу неодолимости препон, и что может быть услышанным оправданием за неисполненный замысел?

Подлиннее всего, наверное, исповедаться самому перед собой, – не боясь при этом ни осуждений, ни укоров со стороны.

2

Я вступил в комсомол в 1950 году, семиклассником, тогда каждого "испытывали" в комитете школьной организации, спрашивали устав, задавали иные вопросы, и там зачем-то сидела седая старушка, наш завуч, – Мария Николаевна Шельпякова, награждённая за учительствование в войну орденом Ленина. Почему-то меня посадили сначала рядом с ней, и тут она наклонилась ко мне и вдруг спросила шёпотом: "У тебя больное сердце?" Я удивился, мотнул головой, но она продолжила: "А то у тебя жилка на шее так бьётся!"

Наверное, я просто сильно волновался, но вопросы по уставу оказались совсем простыми, потом в райкоме нам вручили билеты. Какое-то время я был комсоргом класса, но, подрастая, жил вовсе не комсомольскими интересами, но зато шесть (!) раз в неделю ходил в спортивные секции, занимался лёгкой атлетикой и лыжами, и меня избрали физоргом школы. Дело было, конечно, в учителе физкультуры – его имя Николай Константинович Сычугов, и мы круто развернули дело. Школа была мужская, некоторых ребят корёжило послевоенное недоедание и дурное окружение, но мы, используя мальчишечье самолюбие и жажду самоутверждения, сделали так, что все, без исключения, были включены во что-то спортивное. Две команды по 30 человек на

ежегодной городской эстафете! Своя команда по русскому хоккею. Команда по боксу. Общешкольные соревнования по шахматам и шашкам. Массовая запись в секции детских спортивных школ. И результат — наш 10-классник Женя Брагин устанавливает на Всесоюзном первенстве рекорд Советского Союза по бегу на 800 метров для юношей.

Пацаны, пару лет назад подчинённые местной шпане, вдруг отрекались от хулиганского мира и вступали в секции, пусть даже бокса, но спорт не вооружал их умением драться, а ставил на своё место. Те, кто недавно провоцировал меня на "косалку", безоговорочно подчинялся моим почти что приказам при, например, расстановках в эстафетах. Мой класс заканчивал школу в 1953-м, и прежде хватало в нем неподчинения, доходившего до бесовства, но за два года до аттестата вдруг неведомо откуда-то — и я думаю, через спорт и возникшее чувство командности — народ стал буквально хвататься за учёбу. Всякий чувствовал, что детство позади, пора отвечать за себя, и как же, например, мы метались по городу в поисках учебника по математике Ларичева — там были задачи по всем разделам математики для поступления в вуз.

И мои дружки, в прошлом хулиганы, матерщинники и задиры, поступили в вузы с первого захода (кроме троих). Один мечтал стать киномехаником и стал, хотя увлекался астрономией. А все остальные, кроме меня, гуманитария, оказались в университетах Москвы и Ленинграда — военно-механическом, институте инженеров железнодорожного транспорта, горном... Командность, стремление победить в спорте привели к победам личным, и я был просто одним из всех. Кстати, коллективный наш, с тремя моими приятелями, областной рекорд 1952 года (малая шведская эстафета для мальчиков) не улучшен до сих пор! И опять же — он был именно общий, и вот это общее было главной сутью того, нашего, времени.

Стоял ли за этим комсомол? В то время, в моем городе и на моих, так сказать, "рубежах", конкретно, может быть и не стоял. Он был фоном. Но фоном государственническим, который для всех — или для большинства — открывал возможность состояться в жизни.

Из нынешнего, сильно изменённого мира, хочу заметить: одним из способов внушения уверенности во всяких новых поколениях требуется не засилье развлечений, ручных действий и пусть даже умственного напряжения, вроде гаджетов, а засилье бесконечного контактного общения, которое даёт только юношеский спорт.

Не спорт высших достижений — он явится сам по себе из высоких результатов, — а сотни тысяч доступных и бесплатных детских и юношеских спортивных школ, с миллионами детских команд по всем видам спорта. Шесть дней в неделю, когда я после уроков бежал на секцию, не позволяли погибать в безделье, ерунде, дурных выдумках.

А ещё мы много читали. Не буду здесь говорить об этом, потому что в результате этого и сам стал писателем. Но книги с высокими духовными установками в скрепе со спортом сформировали грамотное и деятельное послевоенное поколение, на которое немало чего легло.

3

Уральский университет имени М. Горького, куда я поступил на отделение журналистики, тоже не стал для меня "школой" комсомола, хотя я был знаком с первым секретарём нашего райкома Юрием Мелентьевым. Тогда он ещё учился в аспирантуре истфака, а вырос в директора главного издательства комсомола "Молодая гвардия", замзава агитпропа ЦК партии и министра культуры РСФСР.

Так вот — комсомол в нашем университете поник и был незримо бит за реакцию на закрытое письмо по поводу культа личности Сталина. Свердловск был далековат от столиц, и студенты, услышав в закрытом письме поток обвинений в адрес только что искренне любимого вождя, задали простецкий вопрос: а где были вы, соратники Сталина, сейчас спрятавшиеся за "закрытое письмо"? Спустя десятилетия я написал и опубликовал роман "Оглянись на повороте, или Хроники забытого времени", который презентовал, в том числе, в Екатеринбурге. В нём я обозначил вопросы, так и не нашедшие ответа до сих пор — в силу вечного, наверное, не увядающего в любые эпохи, всякий раз измененного, но всё того же неугасающего волюнтаризма.

4

В родном Кирове, куда вернулся после университета, я совершил (или со мной совершилось) несколько событий. Первое – я женился на комсомолке и первом дикторе Кировского телевидения Лилии Александровне, у которой в 1941 году погиб на границе отец-офицер, а в 1945 году мать. На эту тему я напишу повесть "Голгофа", а "Мосфильм" снимет картину "Карусель на базарной площади", где главные роли сыграют Регимантас Адомайтис и Сергей Гармаш, – но дело в другом. Дело в том, что эта девочка стала моим духовным тылом, олицетворением совести и доброты. И это именно то, что требовалось для становления мужчины.

Второе – я столкнулся сразу с 50 малышами-сиротами, которых привезли из районного детдома и передали в школу-интернат. От имени газеты и по её поручению я участвовал в "благодеянии", когда ребят добрые взрослые разобрали по домам, но потом доброта сникла, и дети, за исключением двоих, усыновлённых, вернулись в интернат.

Мне понадобилось 20 лет, чтобы не просто исследовать, но исстрадаться этой бедой. В Кирове, да и разъезжая по Сибири и Дальнему Востоку, я обошёл множество сиротских заведений. Во мне складывались два вектора: литературный, – осмысливал повесть, получившую потом название "Благие намерения", и организационный – требовалось довести проблемы современного, "невоенного" сиротства до сведения властей и изменить эту систему.

Третьим краеугольным событием стало моё утверждение главным редактором областной молодежной газеты "Комсомольское племя".

5

Здесь я встретился и подружился с человеком, имя которого, увы, комсомол подзабыл. Его зовут Виктор Тимофеевич Дувакин. Он был секретарем райкома партии, в области начались перемены, и его избрали первым секретарем обкома комсомола. Не только он, но и парторганы готовили обновления всесторонне, и всех не устраивала "молодежка". Декабрьским утром 61-го меня вызвали в обком партии, вечером я уехал в Москву, там меня разглядывали, в том числе легендарный потом антагонист советской власти, а в ту пору секретарь ЦК Лен Карпинский – утром следующего дня я был уже на областной комсомольский конференции, где утвержден редактором и избран членом Бюро обкома.

Виктор Дувакин был самодостаточный убежденец, человек, намного старше своих коллег равного уровня. И буквально через несколько месяцев, после мартовских выборов в Верховный Совет СССР, во время которых к нам приехал избираться Сергей Павлович Павлов, первый секретарь ЦК комсомола, Дувакина стали готовить в секретари ЦК по селу.

Своей основательностью, правдивым знанием русского села, отсутствием суетности и подобострастия он покорил Павлова. Мне, как редактору, Дувакин доверял безгранично, а с "ляпами" (у кого их не бывает) я приходил к нему сам. Однажды газета вышла без всеобщего девиза "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" (потеряли верстальщики, раньше ведь газеты верстались в металле). Я пришел к нему, протянул экземпляр газеты, пошутил, вроде "Повинную голову топор не сечет". Он глядел, глядел на первую страницу, ничего не понял и ничего не нашёл, пришлось указать на отсутствующее. Он чертыхнулся. Посмотрел пристально на меня. "Кто заметил?" – "Ну, я, неизвестно даже почему, ещё один-другой из наших сотрудников". Дувакин помолчал и предложил: "Самим распространяться не надо. Ну, а если сверху позвонят – отсылай ко мне". Никто больше этого прокола не разглядел. Даже цензура. Впрочем, она тоже должна была бы за такое отвечать, но кому охота?

Дувакин, пожалуй, и разбудил во мне уже взрослое, не комсомольское, отношение к комсомолу. В командировках по районам я был вместе с ним раза два-три, и всегда он на глазах у меня достигал предметной цели. Его встречали первые секретари райкомов партии. Чаще всего он смотрел, ходил, спрашивал и добивался чего-то вместе с ними. Это было разумно, без всяких конфликтов, но с всегдашним установлением сроков. А что за дела? Коммуна молодых животноводов в одном районе, пренебрежительное отношение к ученикам и ученицам главы роно, ну и детские дома, когда я с ним, он не

обходил. Тут же выделял деньги из комсомольского бюджета, знакомился с людьми искренне, будто с родней, забытой, но найденной. И связи с ними потом продолжались.

Это длилось недолго. Дувакина избрали секретарем ЦК в мае 62-го, на XIV съезде.

6

Газета наша делалась дерзко, остро, её тираж за несколько месяцев вырос до 40 тысяч (с 10). Сразу после визита С. П. Павлова к нам приехала из Москвы целая бригада, которая выпустила записку об опыте редакции (я её до сих пор не читал), а когда в Москву забрали Дувакина, мне то справа, то слева стали сообщать, что и меня готовятся забрать в златоглавую.

Но Дувакин ничего не говорил, да и я никуда не рвался. И вот тут уже отдел пропаганды (а именно Валерий Ганичев) стал предлагать мне инструкторскую должность. Уехал я, правда, из Кирова в прямо противоположном направлении – в Новосибирск, собкором "Комсомольской правды" по Западной Сибири. Вместе с женой и маленьким сыном. Лиля не побоялась сменить свое звёздное положение на роль детского библиотекаря. Судьба, правда, быстро исправила эту ошибку, её скоро пригласили в телестудию, а когда меня забирали в Москву, всячески уговаривали со мной не уезжать.

Полуторагодовая командировка в Новосибирск занимает в моей жизни важную строчку. Ярослав Голованов, громкоголосый справедливец из отдела науки, кричал на редколлегии, где меня утверждали: "Ты будешь собкором по науке! У нас полно умельцев по селу, по рабочей молодёжи, по комсомольской жизни, а по науке ни одного! Газете надо восстановить отношения с Академгородком!" Тогда эти отношения хромали, и я занялся их восстановлением. Горжусь до сих пор, что был знаком с основателем Сибирского отделения Лаврентьевым, ядерщиком Будкером, генетиком Беляевым, математиками Ляпуновым, Векуа, Соболевым, археологом Окладниковым – кто поминает в столицах их нынче?

А Юра Журавлев, мой ровесник, в те дни моего собкорства получивший Ленинскую премию в одной из сложнейших, да ещё и закрытых отраслей математики! Его избрали в ЦК комсомола, и он был его неболтливым украшением – молодой человек, добившийся сверхпобеды! Позже он станет академиком.

Тогда же я познакомился с ещё одним будущим академиком Анатолием Деревянко, позже он будет секретарем ЦК комсомола по пропаганде – зачем это выдающемуся знатоку археологии, думал я, и лишь иногда спохватывался, когда он прилюдно говорил о чём-то. Это была речь человека из другого мира: другое построение фраз, аргументация, словарь, наконец. Комсомол приближался к высоким сферам науки, а она украшала комсомол, и хотя это не вылилось всё-таки в сложную систему, попытки происходили. Новосибирские же эксперименты системы НТТМ (научно-техническое творчество молодежи), закамуфлированное под комсомол предпринимательство (денежно успешное!), завершились скандалом с кучами неучтенного нала, но к науке отношения не имевшего. Так называемые коммерческие инновации, из которых в Москве чуть позже вызрел Ходорковский и другие молодцы от бизнеса, в Сибири провалились. Моё сознание не способно признать их частью комсомола.

Комсомол происходил от Павки Корчагина – Николая Островского, от молодогвардейцев, от героев Брестской крепости. А в Сибири 60-х годов их последователи жили рядом.

Навсегда в моем сердце Али Алиджанов, перенёсший туберкулёз, заработанный на изысканиях, но воспрявший – тогда секретарь комсомольской организации и главный инженер проекта "Сибгипротранса", позже – директор этого института, проектировавшего все железные дороги от Урала до Тихого океана, а ещё позже – мэр Новосибирска. А тогда я написал о нем "распашной" очерк в большом формате прежней "Комсомолки" – два подвала, только сверху, так называемый "чердак". Вдруг звонит главный редактор "Комсомолки", мой начальник Юрий Воронов, мальчик блокадного Ленинграда, потом – большой поэт. Говорит: "Сейчас позвонил Павлов. Сказал: "Вот так надо писать о комсомоле". Не радоваться нельзя. Но дело – я всегда это

старался отличить от всего другого – было не в "писать", а в "жить" и "делать". Алиджанов был таким до конца.

Там же, в Сибири, явилось такая практика – воинские эшелоны новобранцев возглавлял комсорг обкома – им был Володя Саваков, тогда – завотделом военно-патриотического воспитания, много лет спустя – помощник Предсовмина СССР Н. И. Рыжкова. Его приключения в ранге комсорга эшелона я переплавил в повесть, мной самим разок напечатанную и забытую. Но вдруг Свердловская киностудия ставит по ней фильм "Воинский эшелон" (сценарий Валентина Черных). Опять – отвага, мужество, жизнь, где подвиг соседствует с простотой и смехом.

Бывал я и на Запсибе, к примеру. Слыхивал про легендарного бригадира монтажников Николая Петровича Шевченко. И вот в Белгородской больнице, где я недавно оказался, подходит ко мне громадный человек и говорит: "А я вас знаю! Я – Шевченко". Может, кто-то что-то не поймет, но имена подлинных героев, и не только комсомола, знали все, кто хотел знать и верить в свою собственную жизнь. Только сейчас выяснил: Шевченко из Новокузнецка направили в Старый Оскол, где он построил гигантский комбинат, был там первым секретарем горкома партии, затем председателем облисполкома, а орден Ленина получил на Запсибе, мальчишкой. Имя легендарного монтажника мартенов знала вся Сибирь.

7

Я так жадно вцепился в собственную память о короткой жизни в Сибири, пожалуй, потому, что тогдашнее её дыхание оставляло совсем другой след в душе, лишенной коммерческих помыслов, жадности, рвачества и других подлых, разрушительных, но сущностных по нынешним временам ценностей. Вот досрочно построить домну – да! Провести новую дорогу – да! Открыть месторождение газа в Уренгое – да! И хотелось не только мне, к примеру, а всей стране, чтобы для детей в Уренгое, который только начинался, а народ жил в строительных "бочках", скорее построили библиотеку. И "Смена", где меня утвердили главным редактором после тяжелой операции, построила там одну за другой аж две библиотеки – для молодых строителей и для детей и юношества, и обеим власть присвоила имя "Смены". Они до сих пор существуют, теперь в жилых домах, а тогда рабочие их собирали из деревянных панелей, которые сконструировали в родном мне Кирове, и для меня это тоже была радость. При этом моего звонка начальнику Генштаба Николаю Васильевичу Огаркову – пусть я и был главным редактором "Смены", которая много писала о нашей армии – оказалось достаточным, чтобы нам, молодежному журналу, и раз, и два выделяли целые эскадрильи военно-транспортной авиации для перевозки воздухом и самих стен библиотек, и книг для них, собранных читателями, и всякого библиотечного оборудования. Правда, во второй раз он сказал мне, обращаясь на "ты", как к родному:

– Понимаешь, ведь я в Афган даже воду самолетами вожу.

Вот что за времена это были. Я ему ответил, что понимаю, но ведь дорог в Уренгой нет. И все состоялось, как в сказке. И я этим "ты" горжусь по сей день – это не солдафонство было, нет, не грубость, напротив, признание меня своим, делающим дело, общее с заботами маршала Огаркова, а значит, и армии.

"Смена" считалась журналом рабочей молодежи, и мы не могли не писать о тех, кто по призывам партии, по путевкам комсомола и просто по совести своей ехал в Сибирь и на Дальний Восток, чтобы Родине помогать. Мы выпускали целевые номера, посвященные Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнему Востоку, создавая систему молодежного целеполагания, осмысленности выбора жизни теми, кто ехал туда и работал там. И в голову нам не могла тогда пробиться идея, что осваивать эти земли можно за бесплатный гектар, которым тебя одарят облеченные таким правом...

Я горжусь тем, что целая группа наших "журналюг" – "сменовцев" во главе со мной получила медали "За строительство Байкало-Амурской магистрали", что меня позвали сварить "красный" стык газопровода Уренгой – Западная Европа за построенные там библиотеки.

8

Но отодвинув на время эту могучую практику живого комсомола, хочу вписать несколько фраз о деле не менее могущественном и незабываемом.

Приехав в Москву, я привёз с собой из Сибири разработанную идею: собрать молодые литературные силы тех мест и выпустить книжную библиотеку "Молодая проза Сибири". В 50-ти томах.

Список авторов, действительно молодых, был наготове, идея – объединить написанное о Сибири новым писательским племенем – наиважнейшая. Павлов идею одобрил, в Госкомиздат РСФСР ушло письмо за подписью секретаря ЦК ВЛКСМ А. И. Камшалова. Через пару дней меня ищет по телефону Иван Григорьевич Падерин – писатель, сибиряк, а в ту пору еще и работник того самого комиздата, куда ушло письмо.

Реакция одна: полный восторг. Большой ЦК уже одобрил. Давайте редколлегию, совместное решение, издательские расчёты, главного редактора издательства уже вызвали в Москву. Предлагалось исполнить проект за 5 лет – по 10 томов каждый год. Обернулось сроком в 10 лет по 5 книг. Прочитано самое малое 250 рукописей. После завершения проекта, где я, по должности, сначала был рядовым членом редколлегии, а завершил библиотеку её главным редактором – но не это главное, – я ощутил идейное завершение смысла соединения Сибири, её истории на всех этапах, живой, на глазах создающейся литературы и молодой крови эпохи, то есть комсомола.

Всё это слилось в единый, высококачественный проект, где присутствовали и народы, населявшие Сибирь, их родовые признаки, и история освоения этой земли русскими первопроходцами, и великая индустриализация, и революция, и пришедшая туда наука и, наконец, молодой порыв современного созидания, который, конечно же, инициировал комсомол.

Я давно знаю и люблю Игоря Ильинского, теперь серьезного ученого – политолога и социолога, лучшего теоретика – да и практика – мира молодёжи. Мы познакомились в Новосибирске, когда я собкорил, а он был первым секретарём райкома комсомола. Редакция поручила мне организовать статью о практике комсомольской жизни, мне рекомендовали Игоря, и он, для меня совершенно неожиданно, отгрохал острую, проблемную и конструктивную статью, которую "Комсомолка" напечатала мгновенно. Её прочитали и тут же забрали Ильинского в Москву. И кем? Ответственным организатором по Всесоюзным ударным комсомольским стройкам Сибири! Конечно, Игорь пахал не в одиночку. Но он буквально не вылезал со строек Братской, Ангарской, Саяно-Шушенской ГЭС. Без представителя ЦК там не решалось ни одно хоть сколько-то важное дело, особенно, когда речь шла о судьбах молодых людей.

Лишь многие годы спустя, я узнал от Игоря его собственную историю. Кто он? Коренной ленинградец, маленький блокадник. Когда это стало возможно, его вместе с сестрёнкой, братом и мамой вывезли из Ленинграда и доставили в Новосибирск. Но и отсюда-то отправили в глубинку, в дальнюю деревню, поселили в рассыпающийся домишко. Холодно, голодно, работы нет, лишь жалкие денежные подаяния, которых не хватало на еду. Отец – офицер, воюет. Мать написала ему отчаянное письмо. Отец обратился к Сталину. И вот однажды в деревню эту, куда не добирался никакой иной транспорт, на коне скачет офицер. Спрашивает правление колхоза, врывается туда, кричит там что-то, выбегает, вскакивает на коня, выхватывает револьвер и стреляет в воздух, и раз, и два! И уезжает. На крылечке появляется убогий деревенский начальник с подручными, бегут к избушке, где обитает эвакуированная семья, и начинают перетаскивать их горький скарб в другую избушку, получше. Оказалось, прискакал офицер из военкомата, сам-то раненный на фронте, и в два счёта навёл порядок! Отец Игоря погиб на фронте, брат умер в этой эвакуации, сестра дожила до седых годов, а он, сквозь ударные стройки и терпеливые труды, вырос в доктора наук, ректора Московского гуманитарного университета, в прошлом – высшей комсомольской школы. Лучший в стране знаток проблем молодёжи, социолог, философ. Дитя войны в высоком смысле слова! Игорь и прозу об этом сам написал. Жаль, поздновато, "Молодая проза Сибири" ушла в историю. Но вот именно так, в соединении с трудом, нравственными установками, с верностью Отечеству, служением ему и слиянием с другими людьми, другими усилиями и иной, но такой же самоотверженной, работой рождалось единство молодых сил по имени комсомол.

Именно вот так в те годы издавалась, а главное, писалась наша 50-томная "Молодая проза Сибири", столь нужная тем, кто осваивал Сибирь. Растянувшееся на целых десять лет издание этой солидной серии именно этим сыграло нежданно позитивную роль, потому что в неё "успели" войти романы и повести молодых писателей о молодых же героях того самого современного строительства.

Материальный труд сливался с духовностью, и одно служило другому, соединяясь в действующее, а не потребляющее государство, выстроенное народом в буквальном смысле. Сделать это могли люди, верующие в цель. И мы, те, кто был тогда в управленческом, или даже исполнительском ряду комсомола, жили именно этими, духовными, а не собственническими интересами.

Собственничество было делом постыдным.

9

Довелось мне, недолго работая в аппарате ЦК, принять участие и ещё в одном историческом деле. В 1966 году С. П. Павлов решил учредить премии Ленинского комсомола, а мне, как инструктору отдела пропаганды, поручили подготовить все главенствующие документы.

Они "вылизывались" коллективно, такая существовала практика, ну, а имена лауреатов нам в отдел спустили сверху. Всё оказалось в десятку! Список был недлинным, но совершенно уверенным и надёжным: музыка – А. Пахмутова и Н. Добронравов, литература – В. Чивилихин и грузин Н. Думбадзе, кино В. Жалакявичюс за фильм "Никто не хотел умирать", театр – Киевский ТЮЗ, спектакль "Молодая гвардия". А посмертно и первому – Николаю Островскому. И денежная часть премии была равна Государственной премии СССР! По крайней мере, это сделать позволили "высшие слои атмосферы" один, первый, раз.

Сама эта награда, существовавшая до слома Советской власти и комсомола, сложилась в объективную систему формирования художественной элиты, служившей народу, а не его "заклятым" друзьям. Если громадные, подчас именно "великие" стройки соединяли миллионы людей труда, то премия формировала взгляды и идеологию творческой интеллигенции. И это ей удалось! Сотни и тысячи деятелей культуры разных народов, а потом и учёных, соединяли воедино советскую культуру – со своей верой в народ, верой в честь и достоинство всех перед всеми. А что и кого соединяет теперь? Деньги под мнимыми девизами лукавых "общественных" премий, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу?

10

В 1976 году я был удостоен премии Ленинского комсомола, а в 1980-м Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Решающую роль в присвоении первой премии сыграл председатель Союза писателей СССР Георгий Мокеевич Марков, второй – первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов.

Пишу об этом с душевной им личной благодарностью, потому что эти две премии стали для меня как два крыла для птицы. Я, получалось, набирал высоту, совершенно не думая об этом. Но в один прекрасный миг уровень общественного авторитета совпал с моими давними печалями о сиротском мире. И помог им.

Я ходил к очень многим, предлагая сделать что-то серьёзное для изменения жизни ребят с такой судьбой. У кого только не был! Встретился один на один с министром просвещения СССР М. А. Прокофьевым. Не пробивалось!

Но вот генсеком ненадолго становится К. У. Черненко. А первым помощником у него бывший работник ЦК комсомола, мой приятель Виктор Прибытков, которому я не раз жаловался на эту истинно национальную беду. И вдруг Виктор звонит мне и говорит: "Неси скорее свою записку!" После того как я её тут же написал, снова звонит: "Поздравляю! Дано поручение готовить Постановление ЦК и Совмина СССР. Поручено Алиеву!"

Скажу только, что Гейдар Алиевич Алиев выполнил эту работу блестяще. В 1985-м появилось первое постановление, перевернувшее сиротский мир.

Через два года, став Председателем Совета Министров СССР, Николай Иванович Рыжков позвал меня в Кремль, встретил на пороге своего кабинета вместе с женой Людмилой Сергеевной, и я 3 часа 40 минут рассказывал им о положении детей в СССР. 31 июля 1987 года меня позвали выступить на заседании Политбюро при рассмотрении проекта нового постановления по сиротству. Потом мне шепнули: "Еще ни один писатель не выступал на ПБ по вопросам, литературы не касаемым".

Комсомол в документе упоминался мельком. И если он исчез в ближние годы, то Детский фонд, сначала Советский, а теперь Российский – живёт и трудится, следуя идеям святости трудного детства – идеям и божеским, и светским, и советским, чему все годы своей жизни верой, правдой и самим смыслом своим следовал комсомол.

11

Получилось как-то не вполне скромно. Написал о себе, но не обо всём комсомоле. В то же время, надо ли мне судить о таком гигантском и историческом деянии и пространстве, как большой комсомол и его достойные дети.

И всё-таки за всё, чего добился и не добился, за всё, что сделал и не сделал, я благодарен и комсомолу, и всему нашему тогдашнему государству, пусть это и звучит высокопарно.

Это тогда передо мной раскрывались двери, это тогда мне предлагали – иди вперёд и добьёшься, это тогда, хотя и не всегда, и не всюду, и не у всех, я мог быть и стал услышанным.

Посчитаю: я вступил в комсомол в 1950-м. Значит, из 100 возможных лет – 68 я если и не числюсь, то полагаю себя верным ему. Как и верным Родине и делу, которому служу во всех своих обязательствах. Из этих 68 двенадцать лет был членом ЦК ВЛКСМ. До ухода в Детский фонд из "Смены" был председателем совета творческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Дважды выступал на съездах комсомола.

Так как же я должен думать о комсомоле?

Кто я сам-то для него?

Скажу просто – <u>свой</u>!

Точнее: свой среди своих.

ИВАН ПОЛОЗКОВ
народный депутат РФ

ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ!

К 25-й годовщине расстрела Дома Советов

К середине 1993 года большинство народных депутатов окончательно утратило доверие к Ельцину. Их настрой формировало катастрофическое положение дел на местах. Повсеместно всё разворовывалось невесть откуда возникшими шустриками типа Гусинского, Березовского, Абрамовича... Производство по всей стране прекратилось, работы ни в городе, ни в деревне не стало, зарплаты, пенсий, стипендий люди не получали годами. Многие голодали и не видели просвета. В окружении Ельцина зрела паника, высказывались самые коварные предложения по нейтрализации растущего протеста масс. Обращали его внимание на этот беспредел и зарубежные кукловоды.

11** сентября 1993* года Ельцин собрал Черномырдина, Бурбулиса, Филатова, Грачёва, Ерина, Куликова, Галушко, Козырева... Они договорились 19 сентября в воскресенье, когда депутаты разъедутся по избирательным округам, а аппарат будет отдыхать, подтянуть силы омоновцев и солдат и блокировать Дом Советов, упразднить Съезд народных депутатов, распустить Верховный Совет. Кто-то из присутствующих на этом сговоре проинформировал Хасбулатова, который тут же собирает Президиум ВС и объявляет аппарату ВС и депутатам ***18 и ***19*** сентября рабочими днями. Дом Советов в эти дни напоминал растревоженный улей. Тихий захват "Белого Дома" не состоялся.

Вечером ***19*** сентября Руслан Имранович собрал совещание депутатов, не выехавших к избирателям, где заявил: "Завтра Ельцин подпишет ряд документов, которые перечеркнут все наши демократические преобразования, а с ними и все надежды на лучшее. В стране будет введен режим единоличной и неограниченной власти. Зарубежные советники и местные клевреты подталкивают его к роспуску Съезда народных депутатов и упразднению Верховного Совета. Поскольку эти меры входят в исключительную компетенцию Съезда народных депутатов, мы должны определиться с внеочередной сессией Верховного Совета, который должен созвать чрезвычайный Съезд. Многие депутаты, – продолжил Хасбулатов, – выехали на места. Окружение Ельцина специально выбрало это время... Давайте обменяемся мнениями".

Все присутствующие были единодушны в том, что если Ельцин решится и на этот антиконституционный шаг, то пойдёт до конца, вплоть до самых жестоких и кровавых последствий, ибо тяжесть совершаемого деяния беспрецедентна. Поэтому Верховному Совету надо быть готовым к самому худшему. Первый заместитель председателя ВС Ю. М. Воронин в итоге произнёс: "Съезд собрать будет нелегко. Депутатов надо оповещать срочно. Не исключено, что будет дана команда всячески задерживать их выезд с мест. Надо

подтянуть, прежде всего, товарищей из прилежащих к Москве регионов. Действовать надо будет аккуратно, без лишнего звона. Из аппарата к этому делу придётся привлекать не всех". Хасбулатов поблагодарил присутствующих и попросил держать связь с Ворониным и секретарём ВС Виталием Сыроватко. Ельцин ждать себя не заставил.

21 сентября 1993 года он объявил по телевидению, что им подписан указ "О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Первая строка в этом опусе гласит: "В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая государственной и общественной безопасности страны". И далее: "Прямое противодействие осуществлению социально-экономических реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики всенародно избранного Президента Российской Федерации... со всей очевидностью свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете... открыто пошли на прямое попрание воли российского народа.." И далее в том же духе. Всё с точностью до наоборот. Виноваты все, только не он. В этом документе проявилась истинная сущность буржуазно-либеральной диктатуры: сплошная ложь, подмена понятий, где зло выдаётся за добро, а чёрное преподносится белым.

По всей России этот Указ был воспринят с тревогой. В Доме Советов всё пришло в движение. Энтузиазма добавил Конституционный суд. В тот же вечер своим заключением он объявил этот Указ антиконституционным и юридически чётко добавил: в соответствии со статьёй 121 (6) Конституции РФ Ельцин этим Указом отстранил себя от занимаемой должности и дал основания для привлечения его к уголовной ответственности.

В 22 часа 30 минут того же дня по телевидению выступил Председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов. Ссылаясь на заключение Конституционного суда, он объявил, что Ельцин своим Указом № 1400 совершил государственный переворот, а этот указ назвал преступным. Находящимся в здании ВС депутатам официально была дана команда созывать депутатов на чрезвычайный Съезд. Президиум ВС перешёл на работу в непрерывном режиме. Им оперативно и своевременно было подготовлено решение "О приостановлении Указа № 1400", "О немедленном прекращении полномочий Президента Российской федерации Б. Н. Ельцина", "О созыве 22 сентября чрезвычайной сессии Верховного Совета РФ", поручение вице-президенту РФ Руцкому приступить к исполнению обязанностей Президента, текст "Обращения к гражданам России" и ряд других необходимых для того случая документов.

22 сентября в 0 часов 15 минут открылось заседание Верховного Совета РФ. Оно приняло все документы, подготовленные Президиумом ВС, и они таким образом получили силу Законов РФ, обязательных для всех без исключения граждан России, в том числе и для её Президента. 82 субъекта Российской Федерации из 88 поддержали решения Верховного Совета. Ельцин от такого поворота событий запил. В его команде воцарился страх и разброд. Председатель правительства Черномырдин и руководитель аппарата Президента Филатов стали лично обзванивать глав регионов и их силовых структур. Они умоляли их поддержать Ельцина.

Верховный Совет, к сожалению, никак не отреагировал на эти и другие противоправные действия. Вместо привлечения к ответственности за понуждение к невыполнению законов, он как и и. о. Президента России Руцкой ограничились словесной перепалкой. Зато со стороны Ельцина карательные меры посыпались как из рога изобилия.

22 сентября им издаётся Указ № 1410 "О присвоении Руцким А. В. полномочий Президента Российской Федерации", которым все действия вступившего в должность Президента России Руцкого объявлялись незаконными. Изданием этого указа Ельцин ещё раз продемонстрировал, что законы для него не писаны, власть он никому отдавать не намерен и отвечать за свои противозаконные действия не собирается.

Ранним утром ***23*** сентября министр внутренних дел Ерин, командующий внутренними войсками Куликов, министр обороны Грачёв начали стягивать к центру Москвы подразделения милиции, войск МВД и министерства обороны. Ельцин подписывает распоряжение о передаче охраны Верховного Совета МВД России и приказывает Ерину "взять под охрану здание бывшего Верховного Совета Российской Федерации и находящиеся в его ведении объекты, изъять огнестрельное оружие у лиц, принимающих участие в охране Дома

Советов". Далее последовали Указы об ответственности лиц, противодействующих мерам Ельцина или отказывающихся выполнять его указания, другие акты, развязывающие руки палачам и мародёрам. Черномырдин тут же подписывает подобные распоряжения Правительства.

23 сентября издаётся Указ № 1435 "О социальных гарантиях для народных депутатов РФ созыва 1990–1995 годов". В нём перечисляются очень заманчивые льготы тем депутатам, которые покинут здание Верховного Совета. То был явный расчёт на то, что многие из депутатов позарятся на щедрые посулы. Произойдёт, таким образом, самороспуск Съезда. Ответственность у команды Ельцина за все деяния в таком случае снимается сама собою. Но авторы этого Указа просчитались. Фракции "Коммунисты России", "Аграрный Союз", "Россия", "Отчизна", "Смена" явились на Съезд почти в полном составе.

23 сентября 1993 года открылся чрезвычайный Съезд народных депутатов. На повестке дня один вопрос: "О политическом положении в Российской Федерации в связи с совершённым государственным переворотом". В отличие от всех других съездов повестка дня и порядок работы были утверждены без затяжных дискуссий. Постоянные бузотёры-разрушители сняли с себя "демократические" маски. 109 из них дружно перекинулись в стан Ельцина, а многие ещё до этого съезда перешли на "хлебные" должности в Правительстве.

Открывая Съезд, Руслан Имранович заявил: "Вечером 21 сентября Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин совершил государственный переворот". И далее изложил суть Указа Президента "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", Обращения Ельцина к гражданам России, постановлений Правительства по исполнению его решений и других принятых к этому времени документов, в которых объявлялось о прекращении деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета страны и граждане России обязывались исполнять его противоправные деяния.

Принятые Ельциным документы докладчик расценил как "единоличную ликвидацию всех ветвей власти, концентрацию в своих руках никем не контролируемых и никому не подвластных полномочий, несравнимых ни с одной диктатурой в мире. Эти единоличные действия Президента коренным образом меняют суть государства и статус основных её структур, берут под личный контроль деятельность всех ветвей власти. Это конец всех демократических процессов, в которые поверили наши сограждане".

Далее Руслан Имранович рассказал, как и почему развивалось противостояние Верховного Совета и Президента, и подробно остановился на подлинных замыслах Ельцина, расценив их "как попытку уйти от ответственности за содеянное, начиная с первого дня правления, спасти агонизирующий режим и его воровскую верхушку, которая ограбила 90 процентов населения, доведя его до обнищания, столкнуть людей в дикий криминальный рынок, лишив их всякой социальной защиты". Впервые второе высшее должностное лицо государства, облечённое законотворческим правом, откровенно и честно заявило, что действия Ельцина – это "предательство национальных интересов, желание иметь вердикт Запада на своё дальнейшее существование по осуществлению разрушительных реформ, подчиняющих нашу экономику международным финансовым и промышленным воротилам в качестве сырьевого придатка". И Хасбулатов перечислил меры, которые в этих целях уже осуществлены.

Кроме "шоковой терапии", "грабительской приватизации", многих других мер психологического террора населения, Хасбулатов причислил к разрушительным действиям ельцинистов "августовские события путчистов", назвав их "артподготовкой к нынешнему наступлению". Таким образом, правящий режим сознался в том, что и ГКЧП, и все другие действия были делом его воли и осуществлялись они ради целей развала страны и её порабощения инородцами. Руслан Имранович особо выделил изощрённость, коварство, лживость, мелочность, обман и авантюрность действий Ельцина, Гайдара, Черномырдина, Козырева и их сатрапов ради личной власти, назвав их деяния преступными, от которых идут все беды России. Далее докладчик особо обратил внимание на то, что делается это всё в угоду правящей клике США и мировым финансовым мошенникам, и предложил основательные и конкретные меры по приостановлению курса развала России.

Исполняющий обязанности президента России Александр Руцкой в своём выступлении подтвердил оценки действий Ельцина, данных Верховным

Советом, и клятвенно заверил, что он сделает всё для наведения порядка в стране, привлечения преступников к ответственности.

На волне этих оптимистических выступлений первых лиц государства Съезд приступил к работе. Из 941 депутата, имевшегося в наличии на этот день, в зале присутствовало 638, что составляло 68 процентов. Таким образом, Съезд, как Высший орган власти Российской Федерации, был правомочным решать все вопросы государственной жизни.

Явившиеся на это заседание депутаты как нельзя лучше подтвердили расклад политических сил, который давали политологи по итогам выборов депутатов в 1990 году. По их определению, из 1038 народных избранников либерально-космополитическое крыло, именовавшее себя "демократами", составляло треть. В их числе наибольшую активность проявляли лица, ранее судимые за антисоветскую деятельность, дети и внуки обиженных в разное время советским государством, всякого рода неудачники с неудовлетворёнными амбициями, и иные люди, по разным причинам ненавидевшие коммунистов и созданную ими социалистическую систему жизнеустройства. Кто-то из них был ранее сориентирован на западные либерально-буржуазные ценности, кто-то поддался лжи и посулам организаторов "перестройки", а многие в силу своего невежества и беспринципности готовы были служить любым разрушителям страны, дабы показать себя. Сгруппировавшись ещё до начала совместной работы, они уже на Первом съезде проявили себя спаянной, напористой и весьма наглой силой, добивающейся своей цели любыми средствами.

Представители зарубежных центров, которые до этого уже открыто работали с подобного рода народными депутатами СССР, объединившимися в "Межрегиональную депутатскую группу", без особых усилий нашли подходы к этой части народных депутатов России и умело направляли их деятельность. И вот теперь эта группа депутатов либо разбрелась по "хлебным" местечкам в правительственных кругах и влилась в ряды хищных приватизаторов и грабителей народного добра, либо переметнулась в команду узурпатора Ельцина.

Вторую треть народных депутатов в политологии с давних пор принято считать "болотом". В ней было немало интересных, образованных и активных людей, искренне желавших реформирования очевидно отстающих от запросов времени догм и порядков, обюрократившейся системы власти и бытовых норм жизни нашего народа. Многие из них поддались как на ложные уловки "перестройщиков", так и на злобные выпады антикоммунистов. Потребовалось три с лишним года для того, чтобы абсолютное большинство этой части депутатов разглядело сущность перехвативших в стране власть антисоветчиков и всякого рода русофобов, готовых ради корыстных целей служить нашим извечным недругам, мечтающим об удушении России. В те дни октября 1993 года "болото" почти в полном составе явилось на десятый чрезвычайный Съезд народных депутатов России. Вместе с коммунистами, которые, начиная с первого Съезда, по численности и по убеждениям устойчиво составляли треть депутатов, "болото" готово было остановить разрушение страны, консолидировать российское общество и определить перспективу его дальнейшего развития.

Такой расклад политических сил на Съезде обеспокоил зарубежных эмиссаров, которые заполнили к тому времени все основные структуры ельцинской власти. Наиболее значимых из их руководителей начали вызывать в посольства США, Англии и Германии для поднятия духа, консультаций и обещаний заботы о них и их семьях. Многие из побывавших в те дни в западных миссиях начали умолять Ельцина пойти на самые жестокие меры подавления Съезда и всячески помогать ему в этом преступном деле.

В момент открытия Съезда народных депутатов министр внутренних дел Ерин и начальник ГУВД по г. Москве Панкратов осуществили его полную блокаду. Около двух тысяч милиционеров и солдат внутренних войск тремя плотными кольцами окружили территорию Дома Советов и его округу. В 20 часов по распоряжению первого заместителя Черномырдина В. Ф. Шумейко министр энергетики Шафраник отключил Дом Советов от систем света, водоснабжения, отопления и всех видов связи.

Только ***24*** сентября Съезд народных депутатов назначил министром обороны России В. А. Ачалова, министром безопасности Баранникова В. П., министром внутренних дел Дунаева А. Ф. Начало кое-что предприниматься по организации защиты здания Дома Советов. Руцкой обратился к собравшимся

вокруг здания и толпившимся в разных уголках округи с призывом стоять до победного конца, пообещав объявить всероссийскую стачку, и заявил, что на защиту "Белого Дома" подходят многие воинские подразделения, мобилизованные им.

Назначенные Съездом министры – генералы, известные в Советском Союзе. Они служили на высоких должностях, с которых ушли в депутатский корпус и тем самым утратили связь с действующими частями. Это существенно понизило их возможности, что было незамедлительно использовано командой Ельцина, которая установила связи непосредственно с командирами боевых частей. Мэр Ленинграда Собчак для подкрепления душителей демократии прислал около двух тысяч омоновцев. Из Северной Осетии было переброшено более двух тысяч омоновцев и солдат срочной службы. Из Саратова в Москву был перебазирован ряд воинских подразделений и состав училища МВД. Подтянуты были силы из подмосковных мест. Причём ударные части ряда этих подразделений были срочно укомплектованы руководящим составом из офицеров и сверхсрочников, засидевшихся в должностях и званиях, над которыми висела угроза демобилизации по профнепригодности. Все эти факторы тогда в решающей мере сработали в пользу душителей демократии.

Заседания Съезда проходили при свечах, иногда в потёмках. Вечерами депутаты собирались в зале Совета национальностей, который располагался внутри комплекса зданий и тем самым был безопасным от обстрелов. Многие депутаты проявляли свои таланты: читали стихи, пели, рассказывали забавные истории. В общем, коротали время. Продукты питания тем временем были на исходе. Проблему с водой смягчил шофёр аграрного комитета. По каналам подземных коммуникаций он принёс электропроводку и монтёрские когти и в потёмках ночи подключился к уличному осветительному столбу. Кипячение воды в графинах, наполненных водою из сливных бачков, значительно облегчило участь блокадников. Проявили смекалку и многие московские подростки. Они расторопно освоили подземные ходы и все дни доставляли лекарства, продукты, красные знамёна, мегафоны и многое другое.

Завидной была в те дни спайка и оптимизм депутатов и их защитников, разных по возрасту, образованию и роду деятельности. Они не рассчитывали на здравый смысл или гражданскую ответственность Ельцина. Для большинства из них вопрос сводился к патриотическим принципам жизни, к непоколебимости собственных убеждений, к русской национальной совести. Эта вера укрепляла их стойкость и поднимала настроение.

3 октября день был ветреным и прохладным. К полудню в окнах Дома Советов послышались шум, вопли, призывы. Из-за зданий мэрии и от гостиницы "Украина" навстречу друг другу двигались нескончаемые потоки людей. Большими группами они пробивались из всех переулков Красной Пресни. По мере приближения этой массы цепи омоновцев и солдат стали редеть. Когда колонны приблизились к площади, из окон верхних этажей мэрии и гостиницы "Мир" одновременно раздались выстрелы. Послышались крики, люди шарахнулись в подъезды и дворы прилегающих домов. Раненых они увлекли с собою. Более десятка трупов осталось на мостовой.

Но остановить те нескончаемые потоки людей было уже невозможно. Цепи окружающих мгновенно растворились. Через задний двор мэрии в разные стороны разбегались засевшие в здании омоновцы. Колонны тем временем с рёвом и гвалтом заполнили двор Дома Советов и его округу. На открытый подиум вышли Руцкой, Хасбулатов и другие руководители ВС. Они были встречены шквалом приветствий. Их выступления воодушевляли толпу. Она была готова на любые действия. Рядом с автором этих строк оказался писатель В. И. Белов. На вопрос, почему он такой грустный, Василий Иванович тихо ответил: "Чему же тут радоваться, Россию опять омыли кровью". Немного помолчав, добавил: "Кончится всё это очень плохо".

Кто-то из ораторов предложил организовать трансляцию митинга по телевидению. Генерал Макашов, без устали маячивший с мегафоном в руке, тут же бросил клич садиться по машинам, брошенным омоновцами перед мэрией. Многие ринулись туда. Три машины разбили стеклянные двери, и люди рванулись в здание. Не успевшие покинуть мэрию омоновцы встретили штурмующих автоматными очередями. Там оказалось много убитых и раненых.

Цепочка машин, с переполненными людьми кузовами и Макашовым во главе, двинулась в Останкино. Вслед за машинами "на захват вражеского

телевидения" ринулось много желающих. Их движение возглавил генерал-лейтенант Б. В. Тарасов.

В огромной массе людей вокруг Дома Советов можно было отыскать посланцев из всех регионов России. Все они добровольно приехали в столицу спасать Россию "от узурпатора и кровососа Ельцина", "от колонизации нас американцами", "от вторжения недобитых нашими отцами фашистов"... Раздавались тогда в толпе и более откровенные высказывания.

Поздно вечером из Останкино стали возвращаться люди. Многие рассказывали, что их подход к зданиям телецентра был остановлен пулемётными очередями из окон зданий, залпами гранатомётов и пушек с танков и БТРов, замаскированных в округе. По свидетельству очевидцев, расстрелянных в упор и смятых шараханьем толпы было очень много.

Ближе к ночи ***4*** октября депутатов созвали на заседание. Все собравшиеся проявили решимость оставаться на местах и выполнять свои обязанности. В этот вечер приняты были многие ответные правовые меры на Указы Ельцина. Тот в свою очередь принял Указ "О дополнительных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в городе Москве" и "Обращение к гражданам России", а также приказ Коменданта Москвы об ужесточении блокады Дома Советов.

На то обращение Ельцина следует обратить особое внимание. Оно шокировало своей ложью, подлостью и цинизмом. Начал он его словами: "В столице России гремят выстрелы и льётся кровь. Свезенные со всей страны боевики, подстрекаемые руководством Белого Дома, сеют смерть и разрушения... Мы не готовились к войне. Мы надеялись, что можно договориться, сохранить мир в столице. Те, кто пошёл против мирного города и развязал кровавую бойню – преступники... " Дальше шли угрозы и заявление, что он пойдёт напролом. И это в то время, когда ни одного выстрела не раздалось тогда со стороны защитников народной власти. Ни одному арестованному депутату или защитнику ни в то время, ни потом не было предъявлено обвинения в применении в те роковые дни оружия. И это ещё одна мерзкая и коварная ложь Ельцина и его подельников, красноречиво раскрывающая сущность буржуазного либерально-рыночного режима власти, внедрённого в нашу жизнь.

Ночь на ***5*** октября в здании Дома Советов и его внутреннем дворе была предельно тревожной. Напряжённо ожидалась развязка. На рассвете все вскочили со своих мест от шума бронетехники, орудийных залпов и пулемётных очередей. Четыре боевых машины пехоты, рассеявшие цепочку безоружных защитников, дежуривших по периметру ограды, буквально утюжили двор, без разбору поливая всё непрерывными очередями из пулемётов. Те защитники, что отдыхали у тлевших костерков, ринулись в разные стороны, столпились у дверей. Не успевшие уклониться оказались под градом пуль.

Многие депутаты ринулись во двор. Коридоры здания были изрядно задымлены вонючей гарью, залиты водой из систем отопления и засыпаны битым стеклом. Выстрелы прямой наводкой из танков, цепочкой расположившихся вдоль Смоленской и Краснопресненской набережных, изрядно покорёжили верхние этажи Дома Советов. Внизу, в просторном холле двадцатого подъезда суетилось много народа: одни на коврах и дорожках заносили трупы и раненых, другие оказывали им помощь, третьи в панике бегали из угла в угол. Длилось это побоище более часа. Двор и прилежащая округа затем опустели, цепи блокады были перенесены к Садовому кольцу.

В середине дня депутатов пригласили на заседание Съезда. Ход его прервали двое незнакомых депутатам лиц. Старший представился командиром специального подразделения "Альфа" полковником Сидоровым. Он объявил, что им поступил приказ занять здание Дома Советов и очистить его от людей. "Этот приказ, – твёрдо заявил он, – мы выполним. Опыт у нас есть. Чтобы не допустить жертв, мы просим вас проявить благоразумие и выполнять все мои команды. Выходить из здания следует организованно, небольшими группами в сопровождении наших товарищей. У выходов из здания будет транспорт, мы развезём вас до метро и автобусных остановок. Безопасность каждого депутата и пришедшего поддержать вас гарантируем. Тот, кто попытается выйти самостоятельно, имейте в виду, в зданиях гостиницы "Мир" и прилегающих к Дому Советов находятся снайперы, они не наши. У них фотографии депутатов, стрелять будут на поражение". Закончил он свою речь словами: "Вам даётся два часа, примите верное решение. Не усугубляйте проблему".

Депутатов прорвало. Развернулись бурные дебаты. К трибуне подошли Хасбулатов и его замы. Руслан Имранович объявил, что он и члены Президиума ВС согласятся с любым решением, которое примут сидящие в зале, но настоятельно попросил подумать о последствиях. О том, что происходит в Москве и регионах России, никто ничего не говорил, хотя Москва в эти часы повсеместно бурлила и большие толпы народа, возбуждённого злодеяниями Ельцина, готовы были двигаться на выручку депутатов.

Около 16 часов в зале вновь появился полковник Сидоров. К этому времени у депутатов созрело решение покинуть зал. Десятка полтора стройных молодых ребят, вошедших в зал с полковником, группировали депутатов, сотрудников и защитников ВС и направляли в разные стороны здания. Автор этих строк оказался в группе, которую пустили через балконную лестницу зала палаты национальностей. На выходе в центральный холл меня выхватил из колонны здоровяк и поволок к центру. Там стояли человек шесть в штатском.

– Вот он, Полозков, – доложил мой конвоир. Самый высокий из них, стоявший посредине, очень похожий на Коржакова, приблизился и остервенело сорвал значок депутата с лацкана моего пиджака. Затем обшарил карманы, вытащив депутатское удостоверение и остальные документы, и передал подбежавшему к нему юнцу.

– Туда его, – указал этот громила пальцем в левое крыло здания. Один из сопровождающих буквально втолкнул меня внутрь кабинета. Там уже находились генералы Дунаев, Ачалов, Баранников, Тарасов и Колтунов. Здесь нас продержали недолго. Вошедший "вежливый" молодой человек предложил следовать за ним. Он подвёл нас к выходу с северной стороны здания, открыл узкую дверь заднего люка БМП, подогнанной вплотную к дверному проёму. Высадили нас во дворе какого-то опустевшего предприятия. В центре стояла группа людей. Среди них я узнал лишь начальника управления КГБ по Красноярскому краю генерала Сафонова.

Мне было велено пройти в крайний автобус. Там уже сидели генералы Тарасов и Колтунов, депутаты Евгений Тарасов, Михаил Челноков, Юрий Сидоренко и Александр Вешняков. Кроме них в салоне располагались старший лейтенант и три солдата с автоматами и собакой. Не успел я ещё усесться, как меня вызвал генерал Дунаев. Отведя в сторону, он сказал: "Всех нас везут в Лефортово. В дороге будьте внимательны, автобус могут обстрелять снайперы. Если до Лефортово доедем живыми, значит всё будет в порядке". Он стиснул меня в своих могучих объятиях, а затем помог сесть в автобус. Ачалова, Баранникова и Дунаева рассадили по легковушкам, которые в сопровождении милицейских машин выехали со двора. Тронулся и наш автобус.

Дворами мы выехали на Садовое кольцо. При подъезде к пересечению с улицей им. Горького с чердаков домов, стоящих с левой от нас стороны, раздались пулемётные очереди. Мы дружно распластались по полу. Посыпались стёкла автобуса, машину кинуло в сторону. Двигавшаяся за нами машина врезалась в наш автобус. Движение оказалось перекрытым. Пули продолжали чиркать по асфальту. Навстречу нам в сторону Дома Советов двигалась огромная толпа людей с красными знамёнами и транспарантами.

– Надо остановить их перед мостом, здесь их расстреляют, – крикнул генерал Тарасов и попытался выйти из автобуса. Старший лейтенант преградил ему дорогу. Солдаты вскинули автоматы. Толпа в этот миг остановилась, об опасности её, видимо, кто-то предупредил. Мы решили двигаться назад. Там была дана команда везти нас в Лужники.

В Лужниках нас высадили у Ледового дворца. Начальник тамошнего отделения капитан милиции и человек пять его сопровождающих провели нас внутрь и усадили в кресла. Слева и справа расположились по несколько милиционеров и солдат с собакой. На противоположных трибунах сидели десятка три таких же как мы, в сумерках разглядеть их было невозможно. Ясно было одно: Лужники заранее были подготовлены для приёма задержанных депутатов и их сторонников. По типу и подобию государственного переворота в Чили, осуществлённого в своё время американскими спецслужбами. Всю ночь нас вызывали на допросы, предварительно "откатав пальчики". Вели допросы курсанты старших курсов милицейских училищ Москвы и Саратова. Под утро пришёл прокурор района Парфёнов. Извинившись, он предложил перейти в другое место. Комната, куда нас поместили, была длинной, без окон, но тёплой.

– Здесь вы будете под особой охраной, мало ли, что может произойти. Нам приказано следствие не форсировать, – заявил прокурор Ленинского района Москвы.

На третьи сутки рано утром меня вызвали к тому же прокурору. Тихим голосом он спросил, есть ли у меня где укрыться, лучше в Подмосковье. "Мы вас выпускаем, но передвигаться по Москве вам опасно, охотятся на вас. Мой товарищ, недавно смещённый с должности начальника районного отдела милиции, отвезёт вас куда скажете. Остальных предупредите об осторожности, они тоже все под прицелом". Полковник милиции в отставке на своей старенькой "Волге" отвёз меня к скульптору Валентину Чухаркину на дачу. Через несколько дней жена передала мне три повестки на допрос. Начались нудные дни "подследственного, подозреваемого в попытке захвата власти", затянувшиеся на несколько месяцев.

События тех дней мне снятся до сих пор. Часто вспоминается необычайная работа того последнего Съезда народных депутатов России. Все без исключения избранники, оставшиеся верными наказам своих избирателей, трудились сутками, согласованно и предельно ответственно, проявляя необычайную заботу друг о друге. Поистине, беда на Руси всегда сплачивала русских, делала добрее и милосерднее!

Не могу без трепетного волнения вспоминать многие трогательные и забавные эпизоды той блокадной поры. Поделюсь лишь одним, на первый взгляд мелочным и сугубо личным, но по сути своей раскрывающим облик русского человека. Молодая и красивая Мария Сорокина, журналист из Липецка, в своё время за необоснованную критику первого секретаря горкома партии исключалась из КПСС. Она много раз обращалась в различные инстанции с просьбой разобраться в её конфликте с местной властью. Мне, куратору Липецкой парторганизации в ЦК, было поручено рассмотреть её жалобы. На работе и в партии её восстановили, но со строгим партийным взысканием. Это решение её не удовлетворило, и, когда начались выборы народных депутатов, она использовала свою обиду сполна. Ельцина она поддерживала активно и напористо, как борца за справедливость и поборника демократии. Особенно, когда была его доверенным лицом на первых президентских выборах в России. И он проявлял к ней благосклонность. При каждой встрече на съездах Мария Ивановна непременно и с гневом выговаривала мне свои обиды. В общем, была не только моим личным идейным противником, но и ненавистником КПСС, советской власти и всего остального, что у нас было. Но время действительно лучший лекарь, а разрушительные, антинародные и личные безобразные деяния Ельцина образумили Машу Сорокину. И не её одну.

В дни блокады в тёмном зале мы обсуждали текущие дела. Я, угнетённый приступами стенокардии, полулежал в кресле. Из мучительной полудрёмы меня вывело прикосновение руки. Оглянулся, рядом Сорокина. Я попытался привстать. Она заботливо усадила меня в кресло.

– Вам, Иван Кузьмич, плохо. Возьмите, это нитроглицерин, на всякий случай, – тихо сказала Мария Ивановна, протягивая мне бумажный пакетик. И ещё, – застенчиво произнесла эта несгибаемая женщина, – подкрепитесь немножко. И протянула мне ломтик куриного мяса, завёрнутый в чистый листок бумаги. Больше у нас ничего не осталось, – извиняясь, произнесла она.

Ком горькой обиды на себя, на коллег моих, так бездарно позволивших вогнать в метания и безысходность не только Машу Сорокину, но и всех наших соотечественников. И в то же время волна тёплой благодарности и непоколебимой веры непременно в лучшее, навеянные этим простым человеческим поступком, полным нежности и благородства истинно русской женщины, заполнила все поры моего тела и души.

С того момента минуло четверть века. Наша повседневная жизнь своими реалиями неумолимо напоминает о самых разнообразных и трудно объяснимых фактах нашей жизни каждый день. И непременно пробуждает вопрос: "А почему произошло это опять у нас и так варварски, кроваво и разрушительно..?"

Мне кажется, что ближе всего к ответу на подобного рода вопросы подводит другой эпизод, случившийся в те роковые дни и тоже сотрясающий душу и тело, но зарядом совершенно иного свойства.

Я имею в виду выступление Валерии Новодворской, тоже женщины с российскими корнями и российским гражданством, но с совершенно иными, чем у Марии Сорокиной, и душой, и чувствами, и совестью, и нравами. Эта ярая

“правозащитница” говорила тогда на весь мир: “Я желаю тем, кто собрался в Белом Доме, одного: смерти! Я жалела и жалею только о том, что кто-то из Белого Дома ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь... Они погибли от нашей руки, от руки интеллигентов... не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших коммандос – омоновцев. Они исполняли приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами... Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение”.

Эти откровения неистовой ельцинистки тут же опубликовал тогда в журнале “Огонёк” её единомышленник Виталий Коротич, сославшись на то, что статья эта написана от имени 42 русских интеллигентов, которые 5 октября 1993 года обратились с письмом к Ельцину. Обращение подписали А. Адамович, Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, А. Борщевский, Б. Васильев, А. Гельман, Д. Гранин, Ю. Давыдов, А. Дементьев, Р. Казакова, С. Каледин, Ю. Карякин, Я. Костюковский, Т. Кузовлева, А. Кушнер, Ю. Левитанский, А. Нуйкин, Б. Окуджава, А. Приставкин, Ю. Черниченко, М. Чудакова и другие.

Эти “русские интеллигенты” обозвали истинных патриотов и защитников демократии “красно-коричневыми оборотнями”, “ведьмами”, “хладнокровными палачами”, “убийцами”... Своей разъедающей наше общество ядовитою слюною они испачкали таких чистых тружениц и красавиц России, как прокурор Светлана Горячева, селекционер Тамара Пономарёва и искусствовед Вера Бойко, как славная дочь корякского народа поэтесса Нина Солодякова, чукчанка врач Майя Эттырынтына, немка директор совхоза из Кургана Ольга Чистых, марийка председатель колхоза из Саратова Зоя Ойкина, а заодно с ними и космонавтов дважды Героя Советского Союза Виталия Севастьянова и Героя СССР Андрияна Николаева, известного судью из Подмосковья Юрия Слободкина, журналиста из Брянска Юрия Лодкина, священнослужителя из Твери Алексея Злобина, рабочих Наталью Площенко и Александра Бира, Председателя Верховного Совета Карелии Виктора Степанова и блистательного педагога из Курска Ивана Болотова и многих, многих других истинных сынов и дочерей нашего народа, изо дня в день трудившихся в городах и весях необъятной России на благо нашего Отечества. Обесчестили эти “русские интеллигенты” их только за то, что они, увидев смертельную опасность для страны, в очередной раз нахлынувшую от наших извечных недругов, сплотились и грудью встали за порядок и справедливость, дружно сказав решительное нет разрушителям и мерзким пачкунам.

К этим чистым и праведным патриотам так называемые “русские интеллигенты” присоединили таким образом и сотни убиенных добровольцев, пришедших по зову сердца защищать от варваров и мародёров народную власть. В свойственной манере нечестивцев они перепутали всё и вся. Как будто не тела тех сотен честных патриотов, добровольно пришедших на защиту российской демократии, раздавленных гусеницами танков и расстрелянных пулемётными очередями в те октябрьские дни и ночи, скрытно увозили от Дома Советов в закрытых машинах и баржах по реке Москве неведомо куда и тайком сжигали в крематориях столицы и Подмосковья, а трупы истинных виновников и палачей Ельцина, Грачёва, Ерина, Черномырдина, Гайдара, Козырева и других властолюбцев, учинивших кровавую бойню.

Своими призывами: “Борис Николаевич, раздавите эту гадину”, то есть избранную всем нашим народом власть, эти зловещие демагоги не дают и не дадут покоя всем думающим о судьбах нашей страны и её народов, и никогда не посеют семени примирения, несмотря ни на какие зовы власти о “толерантности”, “единстве общества”, “гражданском согласии” и директивном “патриотизме”...

Простить те злодеяния, как и те бесчеловечные вопли, невозможно. Ибо они не из русского мира, собравшего своими благостями почти двести разноплеменных народов в единую братскую семью равных и достойных. Они из мира разрушителей, сатанистов. Над ними нужен суд. Суд права, суд истории, суд нашей национальной совести.

К 195-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова

МИХАИЛ ЧВАНОВ

КТО ТЫ, ИВАН АКСАКОВ?

8 октября нынешнего года исполнилось 195 лет со дня рождения русского поэта, писателя и публициста, общественного деятеля, лидера движения славянофилов в России Ивана Сергеевича Аксакова. Жизнь, политическая деятельность и литературное творчество этого человека представляют нам яркий образ русского национального мыслителя и борца за возвышение и просвещение русского народа. Иван Сергеевич в течение своей жизни был и рачительным государственным служащим и незаурядным поэтом, острым публицистом и известнейшим издателем национально-патриотических по своему духу газет и журналов, многие из которых подвергались преследованию и запрещению со стороны властей. Признанный во всём славянском мире Иван Сергеевич Аксаков был даже выдвинут болгарскими патриотами на пост царя Болгарии после освобождения этой страны от османского ига. Но все мысли и все труды И. С. Аксакова были обращены только к благу русского народа, способного сплотить вокруг себя всё великое общеславянское море. Отмечая юбилей И. С. Аксакова, мы видим, что задачи, поставленные им ещё в веке XIX, также актуальны и в веке XXI, когда славянский мир разобщён враждебными ему силами. Сплотить его — вот задача, переданная нам из прошлого нашим великим славянофилом. Но "...возможен ли ныне сколько-нибудь реальный славянский союз?" — задаётся вопросом писатель Михаил Чванов в предлагаемой вниманию читателя статье.

Нужно какое-то новое слово современному миру, – наше старое слово его уже не берёт, новое, – которое было бы логически связано со старым; но секретом этого нового слова я, очевидно, не обладаю...

И. С. Аксаков

Ты не можешь себе вообразить того озлобления, которым преисполнены против тебя... Каждый из них считал и считает не только священным долгом, но и величайшим наслаждением тебе сделать какую-нибудь пакость.

И. Д. Оболенский – И. С. Аксакову

Прошел великий муж по Руси – и лёг в могилу. Ни звука при нём о нём, карканьем ворон он встречен и провожен. И лёг, и умер от отчаяния, с талантом необыкновенным. Теперь, очевидно, есть феномен, но не сила.

К. Н. Леонтьев

Ни одна из надежд, ни одно из задушевных желаний Аксакова не имеет впереди себя ясного будущего...

Н. Н. Страхов

С этих горьких цитат я начинаю **слово о великом печальнике Земли Русской**, о великом печальнике многострадального славянства, определённого давно уже тайным мировым правительством на жертвенное ритуальное заклание. Можно было, конечно, подобрать цитаты более оптимистические – о великом значении И. С. Аксакова для отечественной общественной мысли, для всего славянства, и это будет соответствовать действительности, но если мы хотим правды, то её определяют, как это ни горько, именно приведённые цитаты.

Он был сыном великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, а вспоминать Ивана Сергеевича нам нужно по горькой и трагической необходимости нашей русской, нашей всеславянской, а значит, и вселенской беды, потому как и через сто с лишним лет после его смерти **Россия, всё славянство стоят не просто перед теми же, а перед гораздо более страшными, без преувеличения сказать, теперь уже конечными, задачами и пропастями**, о которых он тогда, – когда ещё было не поздно! – предупреждал.

Может быть, он вообще напрасно пытался соединить несоединимое, ведь ещё в древности мы то разбежались на западных, восточных и южных славян, и это судьбоносное для всей последующей славянской и мировой истории событие отчего-то осталось для нас покрытым мраком и тайной? И, может, мы сегодня, будучи в плену его обаяния, по инерции пытаемся склеить черепки давно разбитой или даже никогда не существовавшей чаши? Или он всё-таки приходил неслучайно и в самое время, – каждый, наверное, приходит только в своё время, ибо Бог знает, когда нам приходить, – но мы по своей русской, славянской сути, доброте-безалаберности: "Авось пронесёт..." – не захотели его услышать?

И потому – это не его, это наша общая русская, всеславянская вина и беда, которой нет прощения, – несомненно, повлияв на ход, по крайней мере, европейской истории, он стал, увы, только феноменом, но не силой. Потому что по большому счёту никто не поддержал его. Старшие славянофилы к тому времени уже ушли, сражённые что ни на есть самыми народными болезнями: чумой, холерой, к тому же они по понятным причинам занимались исключительно теоретической стороной дела. Младшие ещё не пришли, а когда пришли, тоже больше теоретизировали, не говоря уже о том, что их было мало, а позже **в русской, славянской истории уже не было величины, сколько-нибудь равной Ивану Аксакову**, особенно в области практического применения общеславянской идеи.

Не просто никто не поддержал великого славянофила, но, как это ни парадоксально, **официальная российская власть вместе с Государем относилась к нему с бóльшей опаской, чем к стремительно нарождающейся революционной заразе**. Это дома, в России! А братья-славяне, благодаря ему получившие национальную и государственную независимость, кажется, вообще забыли его. Мало того, ещё стали коситься в сторону России, подозревая её в какой-то хитрости, в результате тоже нахлебались горя и крови, но так до сих пор, кажется, ничего и не поняли.

Не случайно Ф. М. Достоевский, чуть не единственный в то время единомышленник И. С. Аксакова в русском и славянском вопросе, 3 декабря 1880 года писал ему: *"...не ожидайте – о, не ожидайте! – чтоб Вас поняли. Нынче именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, извилистое, просёлочное и себе в каждом пункте противоречащее. Аксиома, вроде дважды два – четыре, покажется парадоксом, а извилистое, противоречивое – истиной. Сейчас только прочёл в "Новом времени" выписку из "Русской речи", где Градовский учит Вас и читает Вам наставления... Мертвец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвеца-то и послушают, а Вас нет... Но повторяю: продолжайте разъяснять Вашу мысль, особенно на примерах и указаниях..."*.

И Бог не помешал. Не мог помешать разрыванию родства и самоуничтожению славянства, как в свое время не помешал сделать свой не только исторический, но и мистический выбор Александру Невскому и Даниилу Галицкому. Потому что, во-первых, нам дана свобода воли, и, если нас так тянет к пропасти, препятствовать Бог не станет; а во-вторых, **на нас накопилась такая гора грехов отпадения от Бога и от славянского родства, что неизбежен был в начале XX века этот русский пожар на краю пропасти**, который в то же время, если мы, наконец, осознали бы эту гору грехов, мог бы

стать очистительным. Но костёр этот полыхает над Россией до сих пор, не очищая, а, по-прежнему, сжигая нас, потому как мы до сих пор не повернулись лицом к Истине, а наоборот, всё быстрее и быстрее идём и даже бежим в противоположную сторону, к краю Бездны...

И невольно возникает вопрос: неужели, по большому счёту, как это ни горько, жертва И. С. Аксакова была напрасной?

И другой горький вопрос: чем был в то время, что представлял собой русский народ, ради которого И. С. Аксаков приходил на Землю, печальником которого стал по определению Божию, и из-за боли по которому у него не выдержало сердце?

А что представляет собой русский народ сегодня? И есть ли он вообще? Может быть, осталось лишь название? А на самом деле вместо него давно существует уже некое неопределенное народонаселение, имеющее к истинному русскому народу такое же отношение, какое, например, имеют современные греки к древним грекам? Народонаселение, которое по инерции, или для того, чтобы скрыть истину, всё ещё называют русским народом, но с неохотой, предпочитая говорить: "российский народ"? Может быть, и о значении И. С. Аксакова можно говорить лишь в прошедшем времени, чисто археологически?

Но, наверное, он всё-таки не случайно приходил на Русскую Землю! И, наверное, не случайно, что он явился миру на стыке Европы и Азии, на стыке славянского и тюркского мира, на стыке Православия и Ислама, в селе с символическим названием Надеждино под сенью храма во имя великомученика Димитрия Солунского, покровителя всех славян и, что порой забывают, – русского воинства. **Иван Сергеевич Аксаков родился в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси Чудотворца, в земной обители которого, Троице-Сергиевой лавре, его, чуть ли не единственного из мирских, потом похоронят**. Но так как в своё время в честь Преподобного по обету назвали его отца, Сергея Тимофеевича, то его сына назвали Иваном, потому как назавтра был день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимейшего ученика Иисуса Христа. Помните замечательные строки Марины Цветаевой, русской поэтессы с трагической судьбой, родившейся в этот день: "Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний – Иоанн Богослов". Сотни колоколов... вот что значил для русских людей этот день и этот святой!

Известно генеалогическое дерево Аксаковых, составленное прадедом Ивана Сергеевича: они, Аксаковы, как и другие древние русские дворянские роды, якобы восходят к варягам, а именно к рыцарю Шимону, или Симону, племяннику норвежского короля, пришедшему на Русь во времена Рюрика. Я же склонен относить это семейное предание к легенде, может, предки Аксаковых не избежали искушения быть "благородных" кровей, на Руси с Петра Первого модно было в среде явно или тайно презирающего свой народ дворянства искать варяжские корни: пусть даже разбойник с большой дороги, но, непременно, чтобы иностранец. Но, если даже племянник норвежского короля и был, всё равно позже в западную, королевскую норвежскую кровь мощной и сильной струёй вошла другая – восточная. В конце концов, стали же они **Аксаковыми**! По историческим хроникам и летописям следует, что пошли Аксаковы, – и в том, по моему глубокому убеждению, неслучайная воля Божия, – от "татар", а именно от некоего Ивана Аксака *(аксак (тюрк.) – хромой)*; вспомним Темир-Аксака, Железного Хромца или Тамерлана, вспомним тысяцкого Ивана Калиты, сына крещёного "татарина" Вельямина, вышедшего из Золотой Орды при хане Узбеке. Кстати, предки одного из столпов славянофильства А. С. Хомякова – тоже вышли из Золотой Орды. Да и фамилия Ю. Ф. Самарина – тюркского происхождения. Великая русская семья Аксаковых, олицетворяющая собой православную, державную Россию, выразила собой истинную суть евразийства и, по-моему, лишила споры на эту тему какого-либо основания. Став символом всего русского, всеславянского, по крови своей она была больше тюркская. Глубоко промыслительно, что через несколько веков Аксаковы, потомки выходца из Золотой Орды, стали уже совершенно русскими, православными, может, даже не подозревая о своих тюркских корнях.

Но это ещё не всё. Жена Сергея Тимофеевича Аксакова, мать Ивана, Ольга Семеновна – была полутурчанкой, и не просто полутурчанкой, а из знатного рода турецких эмиров, прямых потомков пророка Мухаммада (Магомета). Несколько экспедиций было отправлено в своё время в Россию, чтобы отыскать и вернуть в Турцию его мать. Поразительный, о многом заставляющий задуматься, выстраивается ряд!..

Но вернёмся к вопросу, что представлял в пору И. С. Аксакова и что представляет собой ныне русский народ?

Чтобы дать определение понятию "русский народ", необходимо дать определение понятию "русский". Энциклопедические словари (не только советского времени) по какой-то причине, словно сговорившись, обходят этот вопрос. Словарь под редакцией Д. Н. Ушакова: "Русский – прил. к русские". И – всё! А "русские" – трактуется таким образом: "Восточно-славянский народ, составляющий большинство населения СССР, великороссы". Все вроде бы правильно, а сути нет. В качестве иллюстрации приведена строчка из Фета: "Я русский, я люблю молчанье дали мразной". И из Пушкина: "Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с её загадочной красою любила русскую зиму". Из всего этого можно заключить, что русские – восточно-славянский народ, любящий молчанье дали мразной и русскую зиму. (В. И. Даль почему-то вообще обошел стороной этот вопрос). А вот как толкует понятие "русский" Советский энциклопедический словарь: *"Русские, нация, осн. нас. РСФСР... Около 1 млн ч. живет в странах Америки и ок. 200 тысяч в странах Западной Европы. Язык русский. Сложились в народность в XIV–XV веках. В нацию – во вт. пол. XIX века. После Окт. рев. в ходе социалист. преобразований Р. консолидировались в социалист. нацию и вместе с др. народностями и нациями СССР образовали новую ист. общность – советский народ".*

Как это ни печально, последнее определение наиболее точно выражает нынешнее состояние русского народа. Советского Союза уже нет, а советский народ реликтово остался, и, надо признать, это не худшая часть человечества, и потому так трудна, даже трагична его судьба – без национальной идеи, без Бога, без Веры...

Я полагаю, что энциклопедические словари деликатно обходили этот вопрос так как боялись сказать главное, что коротко и ясно выразил великий русский писатель и мыслитель Ф. М. Достоевский: **"Русский – это православный. Русский без Бога – совершеннейшая дрянь"**. И всё сводится, по сути, к одному: лиши русского человека православного чувства, – а вся история XX века сводилась к уничтожению в русском народе православного чувства, – и он становится слепым орудием в руках всевозможных мессий и революционеров, дровами и кочергой одновременно для загребания жара для чужих костров.

И этим многое объясняется в историческом поведении русского народа, что он время от времени вставал на путь самоуничтожения, в том числе в 1917 году. И этим объясняется лютая ненависть большевиков к Православной Церкви. Иначе зачем бы ее так ненавидеть – ну, нет Бога, и нет, пусть верующие тешатся, бьют лбы в своих церквах. А большевики начали своё самоутверждение именно с уничтожения Православной Церкви. **И часто народ не только не встаёт на её защиту, но и сам участвовал в её погроме или равнодушно наблюдал со стороны, потому что в большинстве своём он уже не был, не чувствовал себя православным, то есть русским.**

Кое-кто ныне из господ-либералов, рядящихся чуть ли не в русских националистов-патриотов, оправдывая закономерность или даже желательность развала СССР, с удовлетворением отмечают, что Россия стала наконец-то почти моноэтнической страной, так как в ней теперь проживает 85% русских (об остальных русских, оставшихся не по своей воле за ее границами, забудем?!). Увы, "русский" – давно уже, если не изначально, понятие не этнического порядка, и если принять всё-таки единственно верное определение, что русский – это православный, то **истинно русских в России ныне столь мало, что о них только с определенными оговорками можно говорить как о народе**. Только этим, наверное, можно объяснить вроде бы необъяснимое безразлично-равнодушное поведение-отношение к собственной судьбе русского народа во время так называемой "перестройки" и нового кровавого ельцинского октябрьского переворота 1993 года. Этим объясняются совсем не

редкие случаи, когда русские офицеры даже во время боевых действий на Кавказе продавали оружие чеченским бандитам, зная, что уже завтра оно будет повернуто против русских солдат, да и против них самих! Этим объясняются случаи, когда русские милиционеры за тридцать сребреников пропускали "КамАЗы" террористов со взрывчаткой в Москву...

Я бы даже сказал, что ныне русское, державное чувство более развито в этнически нерусских русских.

Я считаю правомерным дальше продолжить мысль Ф. М. Достоевского: отпавший от православия славянин – совершеннейшая дрянь. Потому что ему, кроме всего прочего, нужно доказывать, порой на бессознательном уровне, свою принадлежность к химерическому мировому сообществу. Не знаю, наверное, только этим можно объяснить ненависть католической Польши к России, только этим, наверное, можно объяснить запредельную, можно даже сказать, инопланетную жестокость католиков славян-хорватов к православным славянам-сербам.

Потому война против славянства – тоже давно уже не этнического порядка. Это – война против последних на планете, увы, уже только оазисов или даже анклавов Православия, которая как бы разлагается на несколько составных. **Это, прежде всего, – борьба против России, в которой ещё тлеет под пеплом и может возродиться Православие.** Уже практически почти уничтожена пусть маленькая, но всё равно опасная, потому как она находится в центре Европы, православная Сербия. Сильный удар по православному духовенству нанесён в Болгарии и на Украине. Не гнушаясь никакими средствами, ведётся борьба против Белоруссии, которая не только обозначила себя православной, но и ответственной за судьбу, по крайней мере, двух славянских народов, в том числе русского, очень это беспокоит "мировое сообщество".

Без преувеличения можно сказать, что для русского народа, для славянства в целом пришли последние времена и сроки. Если окончательно будет уничтожено Православие (скорее всего, при оставлении внешней обрядовой формы), то не будет больше ни русского народа, ни славянства в целом, и никто не заметит этого, потому как ещё на долгое время "этикетки" названия народов останутся. Русский народ всегда был не моноэтническим, это, можно сказать, даже принцип его: строить себя не по крови, а по Вере, и потому русским народом (а, скорее всего – "российским") в случае уничтожения Православия будет называться легко манипулируемый полиэтнический сброд.

И. С. Аксаков пришёл в мир на той грани славянской и русской истории, когда ситуация была ещё не столь безнадёжной, когда ещё можно было что-то практически предпринять, что он доказал в случае отправки в Сербию генерала Черняева с тысячами русских добровольцев, в случае освобождения сербов и болгар от турок и в попытке организации славянского экономического учения. Тогда Россия чувствовала себя ещё православной державой, хотя в полную меру таковой уже не была: таковым, увы, оставался только простой русский народ, и потому именно он незамедлительно откликнулся на призыв И. С. Аксакова, даже вопреки правительству, уже, по сути, давно не русскому, вопреки уже откровенно не православной, а значит, не русской, сознательно или бессознательно готовящей революцию, интеллигенции, самозванно объявившей себя "совестью народа"!.. И потому не случайно, что **деньги на освобождение болгар и сербов жертвовали почти исключительно представители простого народа** да купечество, которое тогда еще не оторвалось от народной жизни. Правительство вынуждено было поддержать народный порыв защитить братьев-славян, которые ассоциировались у народа с понятием "православные", и без преувеличения можно сказать, что **Александр II вошёл в славянскую историю как Царь-освободитель помимо своей воли, во многом благодаря народной воле и воле И. С. Аксакова.**

Возможен и, главное, нужен ли был тогда славянский союз? Не будучи семи пядей во лбу, можно сказать, что будь тогда он, на грани XIX–XX веков, то не было бы ни Первой, ни, тем более, Второй мировой войны. Необходимость славянского союза была, как это ни парадоксально, скорее почувствована врагами, чем самими славянами, и враги славянства делали всё возможное, в том числе сея межславянскую вражду и подозрительность, чтобы дискредитировать этот союз.

Возможен ли ныне сколько-нибудь реальный славянский союз, когда славянская распря продолжается, когда многим чужие кажутся роднее своих, когда на три "государства" распалась даже Россия (пусть она называлась СССР), распалась Чехословакия, совсем недавно – Югославия, хотя этот почти молекулярный, ведущий к аннигиляции, распад как раз доказывает внутреннюю противоестественность этого распада? Сегодня ситуация более, если не сказать, совсем безнадежная: потому что больше нет притягивающей к себе, – если не всегда, то по крайней мере во время беды, – сильной России, в которой **при откровенно нерусской власти мы имеем в большинстве своем уже не православный, а значит, не русский народ**, скорее, только интуитивно ещё ощущающий себя таковым. На нынешнем этапе славянской истории легче соединить Чехию с Германией, чем со Словакией, Хорватию с Германией, чем с Сербией, Западную Украину с кем угодно, только не с Россией, и никакой древнеэтнический принцип тут не поможет.

И, возвращаясь к И. С. Аксакову, приходится вслед за К. Н. Леонтьевым с горечью констатировать, что в силу независимых от него исторических и иных обстоятельств **он мог быть только феноменом, но не силой**, потому что, не только не поддержанный, более того – саркастически осмеянный самозванно определившей себя великой, а на самом деле глубоко чуждой народу псевдорусской интеллигенцией, он боролся за русскую самобытность и славянское единство практически в одиночестве.

В результате ныне мы стоим перед гораздо более горькой и страшной реальностью, чем век назад, и **спасительный славянский союз ныне возможен только гипотетически для нескольких православных государств – и то только при коренном изменении дел в России**. Но любой шаг к объединению вызовет озлобленную реакцию тайного мирового правительства, вплоть до военной агрессии, как в Югославии. Остаётся одно, как писал И. С. Аксаков: "Для славян ныне песня одна: ждать и терпеть. И блюсти свое внутреннее славянство".

Да, для славянства пришла пора конечных Времён и Сроков, как за ними неминуемо последует пора вселенских Времён и Сроков, о чём не хотят задуматься враги славянства. Что мы нужны в изгнании не только для обновления их крови.

У нас же, русских, два пути. Один – попытаться сохранить свою русскость, а это значит – православность, начать изнутри снова строить Россию. Второй: раствориться в понятии "россиянин", как в свое время нам предлагали раствориться в понятии "советский", смириться с положением полуколониальной страны и счастливо довольствоваться такими благами цивилизации, как сникерсы, памперсы, жевательные резинки, американские боевики и прочие атрибуты обезьяньей республики. В каком-то смысле второй путь более благополучен для народа, точнее, уже народонаселения, мировое зло, справедливо приравняв нас тогда к какому-нибудь африканскому полупервобытному племени, не будет больше смертельно жалить, а наоборот, даже будет поддерживать более-менее сносный уровень жизни, предотвращающий бунты и восстания, то есть будет более заботиться о нас, чем нынешняя российская власть...

Выбор за нами...

* * *

В 1991 году, накануне 200-летия со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова, кровного и духовного отца Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, в попытке разобраться с этими конечными вопросами, я полетел в Болгарию, а несколько позже – поехал в Сербию, в страны, которые И. С. Аксаков, без преувеличения, в своё время спас, – и с горечью убедился, что И. С. Аксакова там не помнят. Мне скажут, что в Болгарии, в отличие от России, он увековечен в названиях. К примеру, в Софии одна из центральных улиц носит его имя, его именем названы улицы в других городах и сёлах, гимназия его имени есть в городе Пазарджик, есть город Аксаково рядом с Варной. Да, но это ничуть не помешало посткоммунистической Болгарии под соблазнительным демократическим ветром "свободы" броситься в саморазрушение, отталкиваясь от всего не только советского, но и от всего русского.

Доходило до того, что в Варне демонстранты носились по улицам с лозунгами: “Лучше турки, чем русские!”. Приехав в Болгарию семь лет спустя, в 1998 году, я увидел, что антирусские тенденции у болгарских властей не ослабли, а, наоборот, усилились. Если прежний президент Болгарии Ж. Желев вошёл в историю болгаро-российских отношений, прежде всего, тем, что 3 Марта – в День освобождения Болгарии русской армией от турецкого ига – в своей торжественной речи умудрился ни разу ни сказать, кто же всё-таки освободил Болгарию от турок, а на праздничной церемонии на Шипке российскому послу даже не дали слова, более того, он был объявлен чуть ли не шпионом, и все болгары, кто имел смелость поздороваться с ним тогда, были объявлены агентами российского влияния. Были сознательно нарушены прежние экономические связи, кстати, нужные более Болгарии, чем России. Болгарские курорты опустели, более или менее состоятельные россияне стали ездить на отдых в Турцию, тем самым поддерживая её экономику.

Конечно же, в Болгарии, как и в России, нельзя отождествлять власть с народом. И в первый, и во второй приезды меня поразило удивительно тёплое отношение к России, к русским простых людей. И в то же время какое-то гипертрофированное, граничащее с маразмом, неприятие всего русского официальной болгарской властью и так называемой демократической общественностью, которая мало чем отличается от нашей российской, наверное, только ещё мельче и оголтелее. К примеру, готовится к печати новый школьный учебник по истории, так в нём 500-летнее турецкое иго называется уже не иначе как турецким присутствием. Мы знаем, что светлый Праздник славянской письменности и культуры, отмечаемый в день поминовения равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, пришёл в Россию из Болгарии, где он до сих пор был одним из самых почитаемых. Так вот, накануне этого праздника в софийской газете “24 часа” появляется статья под названием “Кирилл и Мефодий – греческие шпионы” (!). И подзаголовок: “Как два брата были внедрены в болгарское самосознание”. Дальше ехать некуда... Но оказалось, что есть куда: в дальнейшем Болгария предоставила свои аэродромы для натовской интервенции против братской Сербии.

В отличие от Болгарии, в Сербии, по-прежнему тянувшейся к России и пытавшейся противостоять, в том числе с оружием в руках, новому мировому порядку, я столкнулся с ещё большим парадоксом. Если сто с лишним лет назад сербская газета “Застава” писала: **“Сербский благодарный народ нелегко забудет имя великого Аксакова и его братскую любовь и помощь в самые тяжелые дни своей новой истории...”**, то ныне, увы, ни один человек, по крайней мере, с кем я встречался, не смог мне объяснить: кто был Иван Аксаков и какое отношение имел к Сербии и Черногории? И тем более уж никто из них не читал знаменитое послание “К сербам”. Ещё как-то можно было объяснить, что И. С. Аксакова не знали солдаты действующей армии, инженеры, крестьяне, но оказалось, что фамилия И. С. Аксакова неизвестна бравшей у меня интервью прорусски ориентированной журналистке из белградского еженедельника “Политика”, профессору-литературоведу с мировым именем из университета города Нови-сад, даже известному политологу, называющему, кстати, себя не иначе как новым славянофилом, ни государственным деятелям, включая президента Слободана Милошевича, будучи у него на приеме, никакого движения на его лице при имени Ивана Аксакова, я не заметил.

Мне скажут: ничего страшного тут нет, имя И. С. Аксакова растворилось для сербов в понятии Россия, в русских, таковы законы исторической памяти. Может быть, я согласился бы с этим, если бы хоть отчасти претворились в жизнь его мечты о спасительном славянском единстве. **Увы, страшная междоусобная война на Балканах, в конечном счете направленная против России, – которая не раз жертвенно и губительно для себя бросалась спасать сербов (вспомним Первую мировую войну, которая закончилась трагедией для России), была развязана самими славянами...** О каких, хотя бы отчасти осуществлённых идеалах И. С. Аксакова можно говорить, если когда-то единый славянский народ, говорящий на одном языке, оказался разорванным по вере. Ведь хорваты, о судьбе которых И. С. Аксаков тоже переживал, – это те же сербы, только ставшие католиками, а боснийские мусульмане – тоже сербы, только во время турецкого ига принявшие ислам. Кстати, албанцы, которых тогда называли косоварами, во время

Косовской битвы сражались на стороне сербов против турок. И вот когда-то единый народ устроил внутри себя такую кровавую бойню, кажется, не имеющую по своей жестокости аналогов в мировой истории!

Тут есть над чем призадуматься. Злодеяния немецких оккупантов в Сербии меркнут перед злодеяниями братьев-хорватов. Неужели это в нашей славянской сути? По крайне мере, я, как ни пытался, не мог объяснить этой запредельной жестокости, кроме как отпадением от Веры. Мы виним в наших бедах Америку, но кто-то в Югославии попытался к этой проблеме подойти самокритично: давайте одумаемся, ведь мы, по сути, единый народ? Сама постановка этого вопроса считалась безнравственной. И опять сербы повернулись с протянутой рукой к России, на сей раз к поверженной предательской перестройкой: помоги!.. **И опять русские добровольцы правдами и неправдами перебирались через границы, чтобы спасать сербов от таких же, по сути, сербов.** В своё время, ещё в самом начале югославской беды, я попытался напечатать об этом статью в "Советской России", что надо попытаться противоборствующие силы усадить за стол переговоров, ведь все три стороны – славяне, но покойный ныне глубокоуважаемый мною Э. Ф. Володин, тогда работавший в газете, не пропустил её: "Это не патриотично по отношению к православным сербам...". Да, я тоже всей душой был на стороне православной Сербии, но ведь даже у сербов не было никакого единства. При первом приезде в Белград меня поразил факт: все православные, все патриоты, все любят Россию, но все с опаской оглядываются друг на друга; если я пошёл в гости, например, к Р. М., то он ставил условие, чтобы я не ходил в гости к Д. К., потому как тот, по мнению Р. М., не истинный патриот, а может, даже скрытый, прогермански настроенный враг. Это ещё хуже, чем у нас, русских: если собрались трое патриотов, то это уже непременно четыре непримиримых и претендующих на последнюю истину партии. Так вот, если собрались трое сербских патриотов, то непримиримых, претендующих на последнюю истину партий будет уже пять. В старое время, когда на планете не было так тесно, противоборствующие стороны, вчера ещё все сербы, могли разбежаться в разные стороны, как раньше – на восточных, западных и южных славян, но, увы, бежать уже некуда, и вчерашние братья в смертельной схватке сцепились между собой. Неужели это действительно в нашей славянской сути?..

При чтении статей И. С. Аксакова, через сто с лишним лет после их написания, **постоянно возникает чувство, что они написаны сегодня**. В своё время при подготовке первого переиздания в советское время сборника статей И. С. Аксакова в Башкирском книжном издательстве, за который издательству влетело, я столкнулся с любопытным фактом. В фонде редких книг республиканской библиотеки, я, перепечатав на машинке одну из его статей, дал её прочитать своей жене, кстати, редактору книжного издательства, не сказав, чья статья. Возвращая её, она сказала:

– Всё думаю, кто мог бы её написать. Распутин? Но язык не его.

Надо было видеть её удивление, даже потрясение, когда она узнала, что статья написана сто с лишним лет назад, в ней даже фигурировали такие термины, как "застой", "перестройка"...

Судьба И. С. Аксакова трагична во всех смыслах. Если старшие славянофилы, в том числе и его брат, Константин Сергеевич, начав борьбу за национальное самосознание, за истинно русские пути, не ставили перед собой целей далее теоретических, то Иван Сергеевич, видя невозможность претворения этих идеалов в отдельно взятой стране, даже в такой огромной и сильной, как тогдашняя Россия, пытался соединить перед грядущими бедами, которые он явственно видел, всё некогда разбежавшееся, в том числе по каким-то внутренним причинам, славянство. **Он, наверное, одним из первых в России пытался раскрыть глаза обществу на уже давно опутавшую Европу и все больше набрасывающую сеть на Россию "тайну беззакония".** Попытайтесь найти в библиотеке том по еврейскому вопросу из его собрания сочинений, изданного его вдовой, Анной Федоровной Тютчевой, дочерью великого русского поэта, вместе с племянницей Ивана Сергеевича Ольгой Григорьевной Аксаковой, внучкой Сергея Тимофеевича Аксакова, которой он посвятил "Детские годы Багрова-внука". Недавно этот том переиздан Социздатом в серии "Потаённая русская литература", и вам станет страшно: всё, о чём он предостерегал тогда, век назад, увы, уже случилось. Просто и ясно определил

он суть еврейского вопроса: “Если бы евреи отступились от своих религиозных верований и признали во Христе истинного мессию, никакого бы еврейского вопроса и не существовало. Они тотчас бы слились с теми христианскими народами, среди которых обитают... Христианство есть венец иудаизма – конечная цель, к которой иудаизм стремился, которая осмыслила всё его историческое бытие... иудаизм только в христианстве нашел своё объяснение и оправдание...”

Никому не в обиду будет сказано, но никто, наверное, из последующих авторов не раскрыл так глубоко губительной для России, для всего мирового сообщества сути этого вопроса. Он предсказал, что будет с Россией, если и в этом вопросе жить по принципу “Авось, пронесёт!..”: “Еврейский вопрос в России – вопрос великой важности, чрезвычайно серьёзный, серьёзный до трагизма, к нему действительно нужно отнестись с беспристрастностью... **Всякий край, в котором экономическое государство захватывают в свои руки евреи, не процветает, а чахнет и гибнет...** Всякий честный, серьёзно образованный еврей (мы знавали таких и с некоторыми из них были даже в приязненных отношениях) подтвердит наши слова о том вреде, который наносит населению хищнический инстинкт невежественной еврейской массы, нередко преисполненной злого религиозного фанатизма, под влиянием своих цадиков, крепко сплоченной и организованной...”

Но русское правительство, русское общество вели себя словно глухари на току. Они не слышали, более того, принципиально не хотели слышать И. С. Аксакова, он раздражал их, заигрывающих с еврейской интеллигенцией, претендующей на место русской. Правительство, земство из самых прекраснодушных побуждений строили университеты, народные школы, а в этих школах и университетах за государственный счёт воспитывали нигилистов, революционеров, разрушителей России. Это как раз по этому поводу Ф. М. Достоевский писал И. С. Аксакову: “Но повторяю: продолжайте разъяснять Вашу мысль особенно на примерах и указаниях...”

И потому И. С. Аксаков был так ненавистен нарождающемуся российскому либерализму, **в жутком одиночестве, в полном непонимании общества, в отсутствии истинных последователей продолжал он разъяснять свою коренную мысль**. Последователи появятся позже, когда будет уже поздно, после русской и всеславянской катастрофы, после Первой мировой войны и революции 1917 года, в изгнании: Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский, И. Ильин, И. Солоневич... **Евразийская мысль родилась как запоздалое прозрение.** Запоздалое, но, может, не безнадежно позднее? **Евразийцы не случайно своими корнями восходят к славянофилам.** Евразийцы попытались проанализировать причины катастрофы: отравившись Западом, отвернувшись от Востока, Россия тем самым нанесла себе сокрушительный удар, не оправдала надежд, не стала опорой для всего славянского и неславянского мира. Да, прозрение пришло в горьком изгнании, но в надежде, что со временем их труды будут востребованы в России, как и во всём славянском и не славянском мире...

А тогда – умерли старшие славянофилы: И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, отец, старший брат – и он почти в полном одиночестве пытался соединить славянство перед предстоящими бедами. И не выдержало сердце неимоверного напряжения – он скоропостижно умер 27 января 1886 года от разрыва сердца, от безысходной боли о будущем России.

Поразительно: он взывал – его не слушали, и тем более ему не следовали. Но когда он умер, на какое-то время все вроде бы опомнились, скорее сердцем, чем умом понимая, кого потеряли. В тогдашней не многомиллионной ещё, но не столь ещё космополитической Москве 100-тысячная процессия самой разнообразной публики вышла отдать последний долг признательности и благодарности высокочтимому славному гражданину и учителю.

“Огромная масса учащейся молодежи дружно, на перерыв, несла на руках высоко над головой белый глазетовый гроб с прахом идеально-честного русского человека в продолжение всей дороги от университетской церкви, по Моховой, Охотным рядом, через Театральную площадь, Китайским проездом, Лубянкой, по Мясницкой, к Красным воротам, на Каланчёвскую площадь, к вокзалу Московско-Ярославской железной дороги. Весь этот длинный путь переполнен был сплошными толпами публики, среди которой, как между

двух стен, тихо и торжественно проносили драгоценный прах...". Похоронен он был, – чуть ли не единственный из мирских, – в основанной Преподобным Сергием Радонежским Троице-Сергиевой лавре, и отклики на его смерть составили целую книгу. В послесловии к ней было оговорено, что в неё не вошли отзывы болгар (которые составили отдельную книгу), лужицких сербов и хорватов, что "...газеты коих в последнее время редакцией "Руси" вовсе не получались".

"Иван будет великий писатель", – сказал Сергей Тимофеевич Аксаков, прочитав одно из детских произведений сына. В слово "писатель" Сергей Тимофеевич вкладывал не только понятие "литератор", а то единственное на Руси истинное значение: трибун, общественный деятель, болеющий за настоящее и будущее своего народа, иначе говоря, печальник Земли Русской. Епископ Рижский и Митавский Донат перед панихидой по почившему Ивану Сергеевичу Аксакову так и скажет: "Скончался печальник Земли Русской об исполнении её исторических заветов внутри и вне её пределов... Скончался печальник славянства в его поисках за свою историческую судьбу, в его порывах в восстановлении его славянской личности, в убеждениях, в науке, в общежитии, в языке, в гражданском строе жизни!.."

"Потеря невосполнимая, – писали "Современные известия": – И. С. Аксаков был не только литератор, публицист и общественный деятель, **он был – знамя, общественная сила**. В этом было его главное значение, и потому-то особенно тяжела его потеря, именно теперь, когда положен на весы вопрос: достойно ли Россия встретит надвигающиеся события, а они касаются тех глубоких её задач, того коренного призвания, которым и посвящена была вся жизнь покойного".

"Нечего и говорить о значении этой потери... для русского и славянского мира, – отозвалось "Новое время". – Закатилась одна из самых ярких звёзд, какие когда-то блестели на небе русского общественного слова... Не русский талантливый писатель только скончался – скончался общественный трибун, обладающий даром зажигать сердца, никогда ни единым словом не изменивший своему призванию".

На смерть И. С. Аксакова откликнулся практически весь славянский мир. После многих веков разобщения он, может, только теперь почувствовал себя вновь, – к сожалению, ненадолго, – единым славянством. Но неужели для этого обязательно нужна была его смерть?!

Согласитесь, вышеприведенные выдержки для многих – откровение. Не то, чтобы нашей молодежи изучать "жизнь, светлый характер и великие патриотические дела" И. С. Аксакова – его имя сознательно было исключено из нашей памяти, более того: на нём умышленно было выжжено, как, впрочем, на всех русско-мыслящих, титло, подобно тем, что выжигали на ворах и разбойниках, – **"славянофил"**, что равносильно было определению, которое потом введут в обиход захватившие в России власть большевики: **"враг народа"**. К этому уже в наше, постсоветское время успел приложить руку вознесённый нынешними либеральными демократами до небес "великий гуманист" и великий русофоб А. Д. Сахаров: "Дух славянофильства на протяжении столетий представлял собой страшное зло". И это написал человек, который сам своими руками сотворил действительно страшное зло – водородную бомбу, способную уничтожить наш мир!..

Не забуду, как в Минске, на Празднике славянской письменности и культуры чуть ли не с ненавистью отшатнулась от меня: "Он же славянофил!.." – до того любезничавшая со мной и считающая себя весьма просвещённой латышка, научный сотрудник Латвийской национальной библиотеки, когда узнала, что свое выступление я посвящу И. С. Аксакову. Она даже не подозревала (и тем более не подозревают о том нынешние латышские и эстонские лидеры), что **И. С. Аксаков приветствовал создание газет и школ на латышском и эстонском языках, а за поддержку в своих статьях стремления народов Прибалтики к самостоятельности не раз получал предостережение цензуры**. И что на его смерть с болью отозвались и латышские газеты: "Во внимание к великому значению И. С. Аксакова вообще и к тёплому его заступничеству за латышей в особенности, представители латышской печати послали глубоко огорченной вдове телеграмму... Аксаков был горячим защитником и наших интересов" ("Rota"); "он неуклонно защищал интересы небольших славянских племен, а также интересы латышского народа" ("Baltigas Wehstuesis").

Увы, вышеперечисленные отклики одинаково неизвестны как русской молодежи, так и нынешнему поколению сербов, болгар, чехов, и тем более латышей и эстонцев. Огромное значение личности И. С. Аксакова в том, что он не просто выступал в защиту славянских и других малых народов, а сыграл исключительную практическую роль в их судьбе. Вот, например, выдержка из сербской газеты "Браник": "Ныне всякий добрый серб в Сербии с благодарностью вспоминает русское имя, скидает шапку. Что это так – это великая заслуга Аксакова. **В славянских комитетах, которые материально поддерживали славян на Балканах, ему принадлежало решающее слово, он заставил русский народ возгореться гневом на турецкие насилия. Он подвинул официальную Россию на войну с Турцией, и таким образом возникли свободные государства на Балканах".**

Газете "Браник" вторил, уже говоря о белорусском народе, протоиерей И. Котович на панихиде в Виленском Свято-Духовом монастыре: "Не забудет и Западно-Русский край Ивана Сергеевича! Нужно было иметь много мужества и сознания гражданского долга, чтобы так бесстрашно восстать на защиту попранной и униженной русской народности в здешнем крае, как восстал Иван Сергеевич в 1862 и 1863 гг. ...Со свойственной ему прямотой он открыто проповедовал великий грех русского общества и русских учёных, – забвение про существование Белоруссии, основ её жизни и подвигов её сынов, он прямо ставил вопрос, что здешний народ – господин и хозяин той земли, которую поляки повсюду прославили Польшей, и этой ложью заслепили глаза русскому обществу... Оживление в Западной России было весьма велико, взоры мыслящих людей постоянно обращались к Москве, к Аксакову, что думает, что скажет он. **Почти все проекты преобразования в крае или проходили через его руки или не чужды были его указаний или косвенного влияния**".

Кое-кто пытался представить И. С. Аксакова врагом Польши, но послушаем, что по этому поводу писала словенская газета "Liubljanski Zvon": "Полякам он не был враждебен по принципу... Его любовь к славянам была сознательная, живая, твердая. Его не смущала даже явная неблагодарность славянских племен к России, которая так много для них сделала и с такими жертвами. У него эта любовь не ограничивалась, как у некоторых других знаменитых славянофилов, одним православным единством; где только страдало и страдает славянство от несправедливости и себялюбия других народов, оно всегда находило в нём сочувственный отклик...".

Его мучила уже тогда явно наметившаяся славянская междоусобица. Он и умер-то раньше времени, съедаемый этой междоусобицей и слепой политикой российского правительства. Или, как писал некто, скрывшийся под инициалами "Н. П.", в "Гражданине": "К числу причин, сведших его в могилу, мы, несомненно, уверены, относилось и то глубокое страдание, которое испытывал он при виде направления, принимаемого политикой в Балканском вопросе. Говорят, была болезнь сердца, однако врачебные знаменитости даже за несколько часов до кончины обещали ему еще много лет "покойной жизни", но когда к физической болезни сердца присоединяются ещё нравственные удары, бьющие в то самое место, чем жил и для чего жил человек, сосуд не устоит, и нравственное страдание прекратит физическую жизнь".

Не мог не откликнуться на смерть И. С. Аксакова и правитель Черногории Никола Негош, которого Иван Сергеевич посетил во время своего путешествия по славянским странам в 1860 году: "Да, я узнал о том, что мы понесли тяжелую потерю великого патриота, и этим я ужасно расстроен. Ваша великая родина волей Божию всегда имела и будет иметь таких славных людей, но пусть Небо создаст ещё раз такого же, который только что угас, любя одинаково славян как с берегов Бояны и Марицы, так и с берегов Невы и Москвы-реки. Благодарные сердца югославов будут носить по нему траур, так же как его соотечественники и особенно я, потому что он на самом деле испытывал ко мне дружеское расположение...".

Английская газета "Standard", мягко скажем, не очень симпатизирующая взглядам И. С. Аксакова, назвала его смерть "национальной потерей" для России. Откровенно враждебный России, разумеется и И. С. Аксакову, "Pesther Lloyd" вынужден был признать: **"Это был один из могущественнейших деятелей своего времени: он приводил в движение монархов, народы и идеи"**.

* * *

Очень трудно коротко рассказать об И. С. Аксакове, так насыщена его биография. Принципиальный государственный чиновник: уже в молодости ходили легенды о его беспримерной честности, его назначение "заставляет трусить каждое присутственное место".

Известный поэт, хотя сам он не высоко ставил себя как литератора, но кому в России неизвестны были ставшие хрестоматийными строфы из поэмы "Бродяга", которая, несомненно, была предтечей некрасовской поэмы "Кому на Руси жить хорошо?".

Блестящий публицист, но почти все его статьи, оригиналы которых, к сожалению, не сохранились, были подвергнуты цензурным искажениям, и мы никогда их не прочтём в полном виде.

Пытливый ученый-исследователь: за описание украинских ярмарок, – а он любил Украину, наверное, не меньше России, – ему была присуждена Константиновская медаль Географического общества и Демидовская премия Академии наук. Председатель Общества российской словесности.

Бесстрашный издатель, каких было мало на Руси: первый же выпуск его "Московского вестника" обратил на себя внимание не только читателей, но и цензуры. А второй выпуск вообще был запрещён, а сам И. С. Аксаков лишался "на будущее время права быть редактором какого бы то ни было издания". И так будет до самого последнего дня. Не случайно его потом назовут "страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений".

Возмутитель общественных устоев, к сведению нынешнего опереточного Дворянского собрания: будучи потомком старинного дворянского рода, он был автором письма-проекта к государю: "Чтобы дворянству было дозволено торжественно перед лицом всей России совершить великий акт уничтожения себя как сословия..."

Осенью 1854 года началась героическая оборона Севастополя, и И. С. Аксаков записывается в Серпуховскую дружину Московского ополчения. Он не верил в возможность отстоять Севастополь, но сделал этот шаг, как он писал родным: "Мне было бы совестно не вступить... люди дерутся и жертвуют". Иван Сергеевич был не просто штабс-капитаном Серпуховской дружины, а квартирмейстером и казначеем её. После окончания кампании он сдал в казну крупную сумму сэкономленных денег, что вызвало не то чтобы недовольство начальства, – он ставил, мягко говоря, в неловкое положение интендантскую службу всей армии. Этот факт послужил основанием для назначения его в комиссию князя В. И. Васильчикова по расследованию интендантских злоупотреблений во время войны.

В 1857 году Иван Сергеевич едет за границу. Но заграница его тянула не модными курортами, хотя потребность в лечении была, – он стремился глубже понять суть происходящих там событий, особенно в славянском мире, и оттуда яснее виделось происходящее в России. Вернувшись, он начинает издавать газету "Парус". 22 июня 1858 года он пишет М. Ф. Раевскому, на которого в 1856 году, после окончания русско-турецкой войны, русским правительством была возложена забота по устройству церквей и школ в Болгарии, Боснии, Герцеговине, Албании и Черногории (забегая вперёд, скажу, что с 1860 года он станет в славянских странах представителем возглавляемого И. С. Аксаковым Московского славянского благотворительного комитета): "После долгих хлопот удалось, наконец, возвратить себе гражданские права в литературе, которых я был лишён покойным Императором. Я получил дозволение и с сентября сего года начинаю издавать от своего имени еженедельную газету... Интересы славянские, само собой, разумеется, будут играть в этой газете важную роль... Мне необходима еженедельная корреспонденция из славянских стран, так чтобы в одном было письмо из Сербии, в другом – из Болгарии, в третьем – из Богемии, в четвёртом – из Далмации, в пятом – из Галиции и т. д., только таким образом славянский вопрос приобретёт популярность в России. Сделается вопросом, близким нашему купечеству и вообще грамотному простому люду...".

26 августа он снова писал М. Ф. Раевскому: "Пожалуйста, завяжите сношения "Русской беседы" с Венгрией. Кажется, мадьяры начинают сознавать, что их политическое бытие тесно связано с независимостью славянских племён... Старайтесь славян наших из области учёно-отвлеченной перевести

на живую почву, заставьте их изучать не только памятники древней славянской письменности, а живой народ, его обычаи, предания, верования. Вот что важно...”

Но уже 13 апреля следующего года письмо его к М. Ф. Раевскому полно горечи: “Первые два номера “Паруса” произвели шум и гул страшный. В публике было сочувствие огромное, и нет сомнения, что через год славянский вопрос сделался бы популярным в России... И только тогда сочувствие к славянам было бы действительно и принесло бы плоды... если бы ни запретили “Паруса”... **Вы не можете себе представить, как вообще Петербургу ненавистна и подозрительна Москва, какое опасение и страх вызывает там слово: народность. Ни один западник, ни один русский социалист так не страшны правительству, как московский славянофил.** Никто не подвергается такому гонению... “Парус” запретили, но министерство иностранных дел тотчас же спохватилось, что запрещение “Паруса” в то время, когда его воспретили в Австрии и когда наша политика предписывает нам дорожить сочувствием славян, — весьма несвоевременно, что такой орган славянской мысли, который был бы центральным славянским органом, был бы весьма полезен... Всего проще было бы не запрещать “Паруса” или разрешить его вновь, но государь никак на это не согласился, а велел Ковалевскому предложить кому-либо из московских славянофилов, только не Аксакову, продолжить “Парус” под другим названием...”.

Только не Аксакову! Увы! Сколько раз и потом такое было в России! Чтобы угодить чужим, оскорбляли своих! Били по своим!

Лишённый возможности говорить с братьями-славянами через газету, И. С. Аксаков решает говорить с ними глаза в глаза. 10 января 1860 года, немного оправившись после смерти отца, он сообщает Раевскому: “Мой план таков: весною, в начале мая явиться к Вам в Вену и там представить на ваше высочайшее благоусмотрение план моего окружного путешествия по славянам, на что я полагаю посвятить месяца три или четыре...”.

И поездку эту он совершил. В мае 1860 года он предпринимает большое путешествие по славянским землям: Хорватии, Черногории, Сербии, Далмации. В Черногории он побывал в г. Котор, посетил её правителя, выдающегося сербского поэта, князя Николу Негоша в столице Черногории г. Цетине, который был тогда, по сути, небольшой деревней. Наверх к Цетине из Которского залива современная автомобильная дорога поднимается жутковатым серпантином, в одном месте параллельно ей сохранился небольшой участок, как нам сказали, не самый опасный и сложный, старой дороги, по которой верхом и пешком поднимался И. С. Аксаков. У нас в России по таким тропам даже альпинисты страхуются альпинистской верёвкой. Мало того, он передвигался по Черногории со своей турецкой внешностью (вспомним, его бабка по матери была турчанкой), то и дело встречая вооружённых людей, в условиях вот-вот готового вспыхнуть антитурецкого восстания. “Путь в Черногорию ужасно труден и утомителен, — писал он родным, — голые скалы и камни, никакой долины, никакого прохода между горами, а надо взбираться на самую верхушку. Цетинье, столица Черногории, не только городом, но и деревней назваться не может. Здесь, собственно, два дома, заслуживающих это название: дом или “дворец” князя и дом архиерея. Разумеется, мы были прекрасно приняты князем, у него и обедаем и ужинаем. Описывать вам теперь подробно Черногорию невозможно, на это бы понадобилось слишком много времени, а времени у меня очень мало...”.

А вот запись в дневнике от 4 (14) июня: “В 7-м часу утра мы отправились с Петковичем в обратный путь, опять же с теми же черногорцами-проводниками, встретили двух герцеговинцев верхом, вооруженных и с красным тюрбаном на голове. Они остановились поговорить с Петковичем. Они ехали к господарю (князю черногорскому и Брускому) посоветоваться насчёт восстания. Петкович объяснял им, что они зачинают глупость, что терпели, ещё бы потерпели и проч... Но они отвечали, что терпели довольно: **уже 500 лет терпим? Невмоготу стало.** Как Бог даст и проч. На лицах их была написана решимость. Видно, что они говорили с Петковичем из одной учтивости...”.

Именно во время этой поездки в Черногорию Аксаков пришёл к своему основному выводу, который выразил в письме к родным, выводу, который, наверное, как никогда злободневен сегодня: “Я вообще убедился, что **только одно есть действительное средство поднять славянский дух в прочих**

угнетённых племенах, – это чтобы сама Россия стала Русью: этот один факт, без всякого вмешательства политического, без всякой войны, оживит и направит на путь дух прочих онемеченных, объитальяненных, офранцуженных, отуреченных племён славянских...".

Потом была Сербия. Из письма к родным: "...Я начинаю говорить похорватски или по-сербски; по крайней мере, мог со всеми довольно свободно объясняться".

Сербский публицист Матия Бан познакомил его с тайным планом восстания в Боснии с целью присоединения Боснии к Сербии. В позднейшей переписке с И. С. Аксаковым Бан строил планы далеко идущие: создания южнославянской федерации из сербов, болгар, хорватов, своего рода прообраз будущей Югославии, которая потом должна была, в свою очередь, войти в состав общеславянской конфедерации. В подготовке восстания И. С. Аксаков обещал ему содействие. В августе 1860 года он передал ему три тысячи рублей из средств Славянского комитета. Но И. С. Аксаков понимал, что такое дело нельзя осуществить только на частные пожертвования. Поэтому обратился за помощью к русскому посланнику в Вене В. П. Балабину, русскому генеральному консулу в Белграде А. Е. Влангали и к М. Ф. Раевскому, которые были его единомышленниками. В результате общих действий русское правительство предоставило Сербии бессрочный беспроцентный заем на 900 тысяч рублей. Однако сербское правительство в результате интриг отказалось от этого займа. И. С. Аксаков писал родным: "Белград – гнездо интриг политических, как со стороны покровительствующих держав, так и ещё более со стороны самих сербов, разделённых на множество партий".

Полностью осуществить план поездки по славянским землям помешала смерть брата, Константина Сергеевича. Потому Раевскому одна за другой идут посылки: "На днях Вы получите от меня 80 экземпляров стихотворений Хомякова, изданных под моим наблюдением..." Он посылает в славянские страны сборники сказок Афанасьева, сочинения Пушкина и Гоголя, всевозможные словари.

В то же время его гнетёт духовное одиночество, слишком мало единомышленников, слишком мало людей в славянском мире, кто его понимает. К тому же: "Безумствуют славяне на западе и на востоке. Безумствуем и мы... Славяне могут нам рассказывать, что у них скверно, и ожидать от нас помощи. Нам же рассказывать, как у нас скверно, не приходится. А кроме скверного нечего и рассказывать!"

Всё это подтачивает его здоровье, как и смерть одного за другим родных. 5 августа 1861 года он делится с всё тем же М. Ф. Раевским своим горем: "Родные мои сестры не выходят из траурных одежд. Три года кряду смерти: 1859 г. – отец, 1860 г. – брат, 1861 г. – сестра! Маменька очень ослабела... Тяжело, болезнь и кончина сестры помешали мне объявить о моей газете, и хоть я не оставляю такого намерения, но трудно, признаюсь, мне теперь отдаваться газете, когда на руках моих вся семья, и все женщины!"

Но уже через месяц его письма полны заботой о самом главном деле: "Пусть каждый славянин пишет, что имеет сказать в пользу своей народности". Иван Сергеевич помышляет о развитии славянского экономического учения, он сближается с группой промышленников, в которую входили И. Ф. и Н. Ф. Мамонтовы, А. В. Третьяков, В. А. Конорев, К. Т. Солдатенков, И. В. Щукин. Он горячо интересуется самобытными сторонами промышленности и сельского хозяйства в славянских странах.

Положение об освобождении крестьян от 19 февраля 1861 года его глубоко разочаровало. Он видел в его половинчатости плевелы будущих бед России. Он замышляет газету, которая помогла бы читателям ориентироваться в происходящих событиях. Он называет её "День". Разрешая издание газеты, московский цензурный комитет оговаривал: "Главное управление цензуры разрешило дозволить г. Аксакову издавать означенную газету без политического отдела, чтобы московскому цензурному комитету иметь особенное, в цензурном отношении, наблюдение за этим изданием". В результате этого "особенного" наблюдения издание газеты то и дело приостанавливалось, в конце концов, в 1868 году она вынуждена была прекратить свое существование. Надо сказать, что издание "Дня" с самого начала представляло собой акт отчаяния. И. С. Аксаков издавал "День" на свои небольшие средства, он вынужден был постоянно ограничивать себя и сотрудников в выплате гонорара.

Типографии своей не было, выход газеты зависел от многих случайных причин. Была вынуждена прекратить существование, и по тем же причинам, газета "Москва", которую он редактировал в 1867–1868 годах.

* * *

Особое место в биографии И. С. Аксакова занимает его деятельность как основателя, идейного вождя и руководителя Московского славянского благотворительного комитета, во главе которого он стоял более 30 лет. Под его руководством комитет играл ведущую роль в организации и координации других славянских комитетов страны. И. С. Аксаков чувствует себя счастливым, когда в июне 1867 года ему удалось собрать в Москве Всеславянский съезд. Во время торжественного приёма в честь дорогих гостей он поднял чашу за братство между всеми славянами: "Отныне его братство призвано стать не отвлеченною только, абстрактною, как говорят немцы, идеею, не платоническим только бесплодным чувством, а действительным, деятельным, животворящим фактом. Братство! Братья! Как много сказано этими словами. Невольно повторишь слова Хомякова:

О, вспомнишь ли, что это слово "братья"
Всех слов земных дороже и святей?!"

И. С. Аксаков принимает активное участие в оказании помощи Сербии и Черногории в их освободительной борьбе против Турции. Многое ещё остается, а может, и навсегда останется тайной, что касается деятельности И. С. Аксакова по помощи, а точнее сказать, по организации народно-освободительного движения на Балканах. Действуя вопреки политике российского правительства, он вынужден был стать великим конспиратором, его фамилия почти всегда оставалась в тени, на поверхности, в печати фигурировали и по сей день преимущественно фигурируют другие фамилии, порой имеющие к освободительному движению самое косвенное отношение. Весной 1875 года вспыхнуло восстание в Боснии и Герцоговине. Показательно, что сербское правительство в первые же дни восстания обращается за финансовой, военной помощью не к российскому правительству, а непосредственно к И. С. Аксакову. Вот когда пригодились ему навыки, приобретенные им в бытность квартирмейстером и казначеем Серпуховской дружины во время Крымской войны. Он не просто организует общественное движение, а заём сербскому правительству, общенародный сбор средств на нужды борющихся народов, **за четыре месяца возглавляемому им Московскому славянскому комитету удалось собрать около 600 тысяч рублей**.

Оставаясь в тени, организует поставку оружия, продовольствия, медикаментов, тайно переправляет через границу отряды русских добровольцев, медиков и выдающегося военачальника, героя взятия Ташкента и покорения Средней Азии генерала Михаила Григорьевича Черняева (как позже во время болгарского восстания зашлёт в Болгарию легендарного генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, оба окажутся в опале), который по согласованию с сербским князем Милошем должен был принять сербское подданство и возглавить сербскую армию, а по сути – создать её. Российское дипломатическое ведомство, узнав об этих секретных переговорах, приняло меры к тому, чтобы Черняеву не было дозволено выехать из Петербурга – за ним был учреждён надзор, и ему было отказано в выдаче заграничного паспорта. Черняев тайно покинул Петербург, приказ о задержании его на границе запоздал, и в июне 1876 года Черняев был уже в Белграде. Известие о назначении его главнокомандующим сербской армией послужило сигналом к отправке новых отрядов добровольцев и подняло восстание на Балканах на степень русского национального дела.

Внешне Черняев действовал самостоятельно, сам вёл переговоры с сербским правительством, порой превышая свои полномочия, но, как восклицает одна из современных исследовательниц Ольга Червинская в работе "Писатель как историограф: сербский вопрос и личность генерала М. Г. Черняева в рецепции Ф. М. Достоевского": "Можем ли мы сегодня знать, насколько самостоятельно действовал Черняев? Архивы убеждают, что за его фигурой

скрываются другие персонажи. Это, в первую очередь, сын известного писателя и идеолог славянофильства Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886), которому принадлежит основная заслуга в организации славянского движения на Балканах... Только для наивного сознания удивительным является то, что все шаги генерала делались под руководством именно Аксакова".

В подтверждение этого утверждения можно привести выдержку из недавно ставшего известным письма самого М. Г. Черняева к И. С. Аксакову: "Глубокоуважаемый Иван Сергеевич. Писал бы Вам каждый день, сообщал бы Вам не только о том, что делается, но и о том, что намерен делать. Ведь не могу же я забыть, что именно Вы меня сюда снарядили, на собственный страх. Кто же понимает тогда значение моего приезда в Сербию, кроме Вас?"

Иван Сергеевич позже писал: "Две трети пожертвований внёс наш бедный, обремененный нуждою, простой народ... Пожертвования по общественной лестнице шли в обратной прогрессии: чем выше, чем богаче, тем относительно слабее и скуднее. Наши денежные знаменитости не участвовали вовсе, а если и участвовали, то в самом ничтожном размере во всероссийской народной складчине".

Ко второй половине августа 1876 года основные боевые действия развернулись у пограничной крепости Алексинац. Здесь турецкий главнокомандующий Абдул Керим сконцентрировал свои основные силы. Черняев же, предугадав место основного удара турок, лично руководил созданием укреплений Алексинаца. Сербы проявляли удивительную беспечность в создании единой линии обороны. Так, Черняев перед самым сражением 18 августа обнаружил, что направление у монастыря Шуматовац вообще не укреплено. Буквально за считанные часы по его приказу здесь был возведен мощный редут. Турки, заранее разведав "слабое место", бросили на этом направлении свои главные силы. Генерал Черняев возглавлявший оборону Шуматоваца, воодушевлял солдат-сербов, и, когда погиб начальник редута, встал у артиллерийского орудия и лично повел стрельбу по накатывавшимся волнами туркам. Были отбиты с огромными потерями для врага все четыре атаки. Части турок удалось ворваться на территорию редута, но, благодаря мужеству самого генерала Черняева, редут отстояли.

20 августа турки предприняли попытку овладеть редутом у Горни Андроваца. Обороняли его войска под командованием всего две недели назад прибывшего в Сербию Николая Раевского. Здесь русские добровольцы и сербские солдаты стояли насмерть, Раевский погиб на этом редуте уже после окончания ожесточенного боя, когда турки отходили. Смерть была мгновенной – пуля попала в висок. И если под руководством Раевского сербы выдержали на этом направлении все атаки врага, то через два часа после его гибели они оставили редут. В 1902 году мать Раевского построит на месте гибели сына церковь во имя Св. Троицы, вложив в её строительство почти всё свое состояние.

Понеся огромные потери в ходе боев 18–22 августа и поняв, что лобовыми ударами он ничего, кроме собственных колоссальных потерь, не добьется, Керим-паша тайно обошёл неприступные русско-сербские позиции и нанёс обходной удар. Черняев был уверен, что исправит положение контратакой, но среди сербов началась паника, и они побежали. В ожесточённом сражении у Горни Андроваца 2 сентября 1876 года объединённые русско-сербско-болгарские отряды потерпели тяжёлое поражение... С этого времени в сербской армии начинается заметное падение боевого духа, и ставка в борьбе против Турции делается в основном на подразделения русских и болгарских добровольцев, **В бою, как правило, русские и болгарские добровольцы отходили последними, зачастую гибли, оставляемые бегущими сербскими солдатами.**

Из вновь прибывших российских и болгарских добровольцев в сентябре 1876 года были сформированы две отдельные русско-болгарские бригады. Командовали ими офицеры русской службы – сербы подполковник Депрерадович и полковник Милорадович. Общее руководство было возложено на Келлера. Во время схваток в долине Моравы добровольцы русско-болгарских бригад Келлера одержали несколько побед над турками и их кавказскими наемниками.

В конце сентября 1876 года двадцатишестилетний Келлер был назначен начальником левого крыла третьего корпуса сербской армии. Это крыло действовало против талантливого турецкого полководца Осман-паши Непобедимого.

Под командованием Келлера находилось всего десять сербских и русских батальонов пехоты, один эскадрон конницы и десять орудий. Правда, вскоре к его силам были присоединены четыре русских батальона и один русский эскадрон из добровольцев князя Оболенского. Русские и болгарские добровольцы, несмотря на их самоотверженность в бою и безудержную храбрость, не могли существенно изменить положение. Под Горни Андровацем турки, создав колоссальное превосходство в силах, 17 октября 1876 года разгромили сербскую армию. Тем не менее, полностью её уничтожить не смогли именно из-за самоотверженных действий русско-болгарской бригады, которая до конца прикрывала отход разбитых сербских батальонов. **Почти половина добровольцев, участвовавших в этом сражении, пала в бою; практически все остальные были ранены...** Вскоре, 29 октября 1876 года, под Яжунисом турецкая армия нанесла очередное поражение сербам. И вновь основную тяжесть боев приняли на себя добровольцы. Командир русско-болгарской бригады полковник Меженинов на вопрос Черняева о подробностях сражения ответил: **"Все сербы убежали, все русские – убиты".**

От полного разгрома Сербию спас ультиматум России, предъявленный Турции. Боевые действия приостановились, было объявлено перемирие, закончившееся мирным договором и, в конце концов, предоставлением независимости Сербии и Черногории.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов И. С. Аксаков проводит огромную работу по помощи болгарским дружинам. Один из современников рассказывал: "Мне случилось быть на одном приеме у И. С. Аксакова. Помню, что голова закружилась от этой массы людей всякого звания, как поток, нахлынувшей в его приемную, и как сердце усиленно билось и умилялось от бесчисленных проявлений народного энтузиазма. Как вчера помню, этих старушек и стариков, на вид убогих, приносивших свои лепты для славянских братий, в каком-то почти религиозном настроении, и в этой толпе заметил одну старушку, на вид старую, долго разворачивавшую грязненький платок, чтобы достать из него билет в 10 тысяч рублей".

Вот где пригодились его связи с купечеством. Оружие, покупаемое в Германии, бесплатно провозилось в Одессу по железной дороге, где грузилось на пароходы. **Всё больше говорили, что освободительное движение славян получило в лице И. С. Аксакова своего Минина. Болгары называли своих ополченцев "детьми Аксакова"**, через Аксакова они получили, в частности, 20 тысяч винтовок, 12 крупповских пушек, даже военная форма ополченцев, так называемая "пехотная болгарка", была придумана им.

Зимой 1878 года русская армия, сломив сопротивление турецких войск, стала продвигаться к Константинополю, и 19 февраля в Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор. Согласно ему, Болгария превращалось в самостоятельное княжество, Турция признавала независимость Сербии и Черногории. Но под давлением Англии и Австро-Венгрии русское правительство на Берлинском конгрессе согласилось на передачу Южной Болгарии под власть Турции. И. С. Аксаков рассматривал это решение как предательство. 22 июня 1878 года он выступил с необычайно резкой речью на собрании Московского славянского комитета, который к тому времени уже был подчинён контролю министерства внутренних дел, в расчёте, что его речь будет опубликована за границей, а в России будет известна "высшим мира сего, а мне только этого и нужно".

И он был услышан. К примеру, чешская газета "Narodni Listu" писала: "Понятно поэтому каким справедливым гневом должен был воспламениться благородный дух Аксакова на те правительственные круги, на тех "духовных изменников" народа, которые по желанию чужеземной шайки, имеющей много представителей в русской демократии, старались лишить последнюю войну ее славянского характера, старались умалить значение по-славянски мыслящих военачальников и распространив в народе нерасположение к "войне вынужденной". Тогда, после первых неудач русских войск под Плевной и в Армении, поднялся Аксаков, чтобы 8 октября 1877 г. в речи, которая сама была геройским подвигом, пристыдить этих людей "малой веры" и возбудить во всём русском народе, указав ему на великое призвание и его великие обязанности в славянском мире., новое богатырское воодушевление: **"Вперёд! Россия не может уступить, мы должны победить, ибо уступить значило бы отступить"**. И Россия, благодаря своим богатырям, которых Аксаков

увенчал венком своих феноменальных, полных красноречия и силы речей, действительно победила, а её чудо-богатырь Скобелев стал перед воротами Царьграда. Но тут зависть старых врагов России составила заговор против неё, "честный маклер" Бисмарк зло заплатил России за все ее благодеяния, а русская дипломатия, потеряв голову, позволила разорвать Свято-Стефанский мир (так они определяли для себя Сан-Стефанский мир). Кто не знает и не помнит эту монументальную речь Аксакова в час Берлинского конгресса? Как ветхозаветный пророк, который презирает опасности и гнев властителей и провозглашает миру истину, как ему велит сердце, так тогда протестовал именем русского народа его геройский мыслитель и учёный против этого деления Болгарии, против этого унижения русской славы, против этой задержки славянства в его кровью добытом развитии".

Сербский листок "Драшков Рабош", выходящий в Сплите, ещё глубже осветил суть проблемы: "Он первый воздвиг невидимую плотину, чтобы греко-славянский мир не потонул в мире германо-римском. Первый отмежевал Восток от Запада. Служил народу и вере славянской с ревностью апостола, более всего проникнутый духом Св. Первоучителей Славянских..."

Речь И. С. Аксакова произвела большое впечатление. Как писал А. Никольский в "Историческом вестнике", "и хотя Славянское общество было тотчас закрыто, и сам И. С. Аксаков был выслан из Москвы в деревню, но Берлинский трактат был принят Россией не в той оценке, какую дали ему наши дипломаты, а в той, какую дало ему патриотическое проклятье Аксакова...". Особый резонанс эта речь получила в славянских странах. **Была даже выдвинута идея предложить Аксакову болгарский трон.**

Вынужденное молчание И. С. Аксакова дорого обошлось России: как свидетельствовало "Новое время", "после прекрасной речи о Берлинском трактате Аксаков должен был замолчать, а бывшие министры внутренних дел преследовали всякое проявление русской мысли. В эти десять лет молчания в русском обществе народились самые вздорные идеи нигилизма... Деятели в это время были люди, которым русская мысль, русское чувство были непонятны, хотя и носили некоторые славные русские фамилии, но в душе не принадлежали ни к какой национальности. Пошлость и умственная ничтожность этих людей были ясны для Аксакова, он указывал на трагические её последствия. Предостерегал...

Увы!..

Увы, не в лучшем, а в более худшем положении мы ныне, сто с лишним лет спустя. "Деятели в это время были люди, для которых русская мысль, русское чувство были непонятны". Для нашего времени это мягко сказано. В годы революции, гражданской войны, коллективизации сколько-нибудь национально мыслящая интеллигенция была уничтожена или была вынуждена покинуть Россию. И в последние, даже относительно благополучные десятилетия XX века пресекалось все русско мыслящее. Выросли целые поколения русских, оторванные от корней. В 90-е годы во второй раз в XX веке в России победила откровенно нерусская власть, обслуживаемая откровенно антирусской русскоязычной интеллигенцией. Но не о ней сейчас речь. Речь о тех вроде бы русских по крови интеллигентах, кто духовно облагораживал, обустраивал и сейчас продолжает облагораживать новый режим – о так называемой народной интеллигенции, которая сама о себе бессовестно, впрочем, ещё в позапрошлом веке, придумала легенду, что она – совесть народа, не спросив народ, считает ли он так... За редким исключением, после некоторой растерянности она тоже бросились угождать очередной антирусской, антироссийской власти, это тем более гнусно, что новая власть, в отличие от прежней, коммунистической, силой не заставляла этого делать, более того, не очень-то нуждалась в этом. И потому цинично-снисходительно принимала эти книксены.

Россия ныне стоит перед страшным, может быть, уже свершившимся выбором. Положение наше куда безнадёжнее, чем большинству из нас представляется. Дело даже не в разрушенной экономике и разложенной армии. Дело гораздо глубже: в самые беспросветные поры гонения, в том числе при большевиках, Церковь была более Церковью, чем ныне. Не остались ли уже от неё лишь внешние обрядовые одежды? Не потому ли она так поддерживается нынешней властью? Определяя нынешнюю трагедию России, мы, невольно или специально смещая акценты и тем самым

уводя от истины, акцентируем на обнищании народа, половина которого в результате новой революции оказалась за чертой бедности. Но, во-первых, кто определял эту черту бедности, на самом деле, может, всё гораздо страшнее. А во-вторых, в этом смысле Россия знавала времена и пострашнее, но народ не рассматривал их как трагически-конечные. Потому как у него была внутренняя идея. Он знал, что это беда временная. Что у него есть будущее, которое, прежде всего, от него, народа, и зависит. Только надо на время, ради этого будущего, затянуть пояса. Народ русский ныне вымирает не от голода. Прямо скажем, голода в стране нет, это не более как трёп вчерашних партноменклатурных функционеров, народ вымирает от безнадёжности, бессмысленности своего существования, что его повели по чужим, не по русским путям-болотам не к русским конечным целям. Дайте ему надежду, верните ему национальную идею, о которой нынешние правители стесняются даже упоминать или сводят её к насыщенности рынка памперсами и сникерсами, и он накормит не только себя, но и, как раньше, ещё полмира. В России всегда коренным вопросом был вопрос земли. Сколько веков русский крестьянин мечтал о ней! И вот сейчас, пожалуйста, вроде бы бери её, сколько хочешь. А он не хочет брать. И не только потому, что в результате всех революций и контрреволюций источены его жизненные силы, но и потому, что земля для него не просто предмет купли-продажи, а нечто более святое, а вот это святое у него и отобрали...

Большой духовной поддержкой для И. С. Аксакова было письмо Ф. И. Тютчева: "...и вот почему, дорогой Иван Сергеевич, Ваш "День", во что бы то ни стало, не должен ни на минуту сходить с нашего горизонта. Значение Ваше не в рати, а в знамени. Знамя это создаст себе рать, лишь бы оно не сходило с поля битвы. Не бросайте и не передавайте его – это моё задушевное убеждение".

Почему же случилось так, что как бы приговором его почти напрасной жертвенной жизни-свече стали слова: "феномен, но не сила", "знамя, но не рать"? Почему, как мы видим, даже великий русский пророк Ф. И. Тютчев не мог представить, предвидеть, призывая И. С. Аксакова не бросать, не передавать знамя, – что потом оно просто выпадет из рук и некому будет подхватить...

Удары по И. С. Аксакову наносились и слева, и справа, их наносили враги, та же уже народившаяся леволиберальная интеллигенция и, что совсем не парадоксально на Руси, свои, которые в чём только его не обвиняли. В том числе в отходе от славянофильских идеалов. Сам И. С. Аксаков понимал, что какое-то изменение первоначальной славянофильской идеи – неизбежно. Он превосходно это выразил в предисловии к "Биографии Ф. И. Тютчева": "Может потеряться из виду преемственная духовная связь между первыми деятелями и новейшими; многое, совершающееся под общим воздействием, но совершающееся в данную известную пору, при известных исторических условиях будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты и строгости некоторых славянофильских идеалов... Некоторые слишком поспешно определённые формулы, в которых представлялось иным славянофилам историческое осуществление их любимых мыслей и надежд, оказались или окажутся ошибочными, и история осуществит, может быть, те же начала, но совсем в иных формах и совсем иными неисповедимыми путями. Но, тем не менее, раз возбужденное народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы..."

1 марта 1881 года был убит царь Александр II.

Потрясённый, И. С. Аксаков на экстренном собрании Славянского благотворительного комитета выступил с речью: "...Это суд Божий творится над нами. Это сам Бог, живущий в истории, ниспосылает нам своё страшное откровение, перед Его лицом мы стоим, позванные к ответу... Какой же ответ мы даём, мы дадим?.. Пусть, пусть испытует каждый сам свою совесть: нет ли и его доли участия в той скверне, за которую карает нас Бог и которою запятналась перед всем миром наша земля?

Нечего себя обманывать. Мы подошли к самому краю бездны. Ещё шаг в том направлении, в котором с таким преступным легкомыслием мы двигались до сих пор – в кровавый хаос!.. Кто же дерзнул осквернить грехом русскую землю, осрамить, опозорить русский народ, да ещё во имя народа, и не только надругаться над ним, но и распоряжаться его историческими судьбами?

Кто же они? Одна ли горсть злодеев – бессмысленных, лютых, одержимых демоном разрушения? Откуда же она завелась на нашей земле? **Спросим себя строго по совести, не есть ли она продукт той духовной измены, того отступничества от народности, в котором повинны более или менее мы все – так называемая интеллигенция?** Если она не что иное, как логическое, крайнее выражение того самого западничества, которым уже со времен Петра снедаемо как недугом и наше правительство, и наше общество, – которое искажает все отправления нашего государственного организма, ослабляет и уже ослабило живое творчество духовных начал, таящихся в глубине народного духа? Ибо мы не удовольствовались теми сокровищами знания и науки, которыми богата Европа, но и приобщились самому её духу, воспитанному в ней её историей, её религией, – сотворили из неё себе кумира. Поклонились её богам, устремились к её идеалам. Мы отвернулись от своей трапезы, пошли на пир чужой, и вот вкушаем и похмелье в чужом пиру! На кого же сетовать?..”

“Великая” русская интеллигенция, уходя от ответственности, привыкла искать причины российской трагедии в ком и в чём угодно, только не в себе, только вовне, в том числе в происках “жидомасонства”. Так легче договориться со своей совестью. И. С. Аксаков же прямо сказал: нельзя путать следствие с первопричиной. А первопричина – это, прежде всего, отпадение русской интеллигенции от Бога. Он писал: “Но христианин не может просто перестать быть христианином; он то и дело будет бороться со своим бывшим Богом и в самом себе и вокруг себя; он не перестанет вечно бунтовать против начала, которым проникнуто всё существо исторических современных обществ, бунтовать – непременно озлобленно – везде и всюду. Попирать всё, что этим началом освящалось в мире. Поэтому окончательный удел всякого христианского, отрекшегося от Бога общества – бунт и революция. Но бунт ничего не созидает, и общество, положившее революционный принцип в основание своего развития, должно неминуемо, от революции к революции, дойти до анархии, до совершенного самоотрицания и самозаклания...”

Он далеко видел. Я уже упоминал послание-предостережение “К сербам”. Перечитывая его ныне, поражаешься: писавшие его предвидели будущую сербскую трагедию конца XX века, вызванную в том числе и обольщением первых побед и национальной гордостью, опасно переросшей в национальную гордыню. Увы, это послание оказалось не услышанным: “Народ сербский, внушивший уже почтение другим народам, не унизит никогда своего достоинства. Но мы знаем, что после испытаний, через которые вы уже прошли, предстоят вам другие испытания, не менее опасные... Свобода, величайшее благо для народов, налагает на них в то же время великие обязанности; ибо многое прощается им во время рабства, ради самого рабства, и извиняется в них бедственным влиянием чужеземного ига. Свобода удваивает для людей и для народов их ответственность перед людьми и перед Богом. С другой стороны, счастье и благоденствие преисполнены соблазна, и многие, сохранившие достоинство в несчастьях, предались искушениям, когда видимое несчастье от них удалилось и, заслужив Бога наказанье, навлекли на себя бедствия хуже тех, от которых уже избавились. Всякие внешние и случайные несчастья могут быть легко побеждены. Часто же, испытывая народную силу, они ещё укрепляют и воспитывают для будущей славы; но пороки и слабости, вкравшиеся в жизнь и душу народа, раздваивают его внутреннюю сущность, подрывают в нём всякое живое начало, делаются для него источником болезней неисцелимых, готовят ему гибель в самые, по-видимому, цветущие его годы благоденствия и преуспеяния. Поэтому да дозволено будет нам, вашим братьям, любящих вас любовью глубокой и искренней и болеющим душевно при всякой мысли о каком-либо зле, могущем вас постигнуть, обратиться к вам с некоторыми предостережениями и советами... Мы старше вас в действующей истории, мы прошли более разнообразные, хотя не более тяжёлые, испытания и просим Бога, чтобы опытность наша, слишком дорого купленная, послужила нашим братьям в пользу, и чтоб наши многочисленные ошибки предостерегли их от опасностей, часто невидимых и обманчивых в своем начале, но крайне гибельных в своих последствиях; ибо опасности для всякого народа зарождаются в нём самом и истекают часто из начал самых благородных и чистых, но не ясно осознанных, или слишком односторонне развитых...

Первая и величайшая опасность, сопровождающая всякую славу и всякий успех, заключается в гордости...”

Все, что мы ныне имеем со славянами и между славянами, всё, что мы ныне имеем с Россией, печальный результат и того, что век с лишним назад не прислушались к И. С. Аксакову. Мы его по-настоящему не прочитали. Он уже тогда явственно видел, какие беды могут встать перед нами, если мы, славяне, не просто будем врозь, а если нас к тому же разделит гордыня или взаимная подозрительность. Об этом в то же время с горечью писал и другой великий славянин, Ф. М. Достоевский: "Но, увы, чуть ли не вся интеллигенция райи (райя – презрительная кличка христианских подданных Оттоманской империи, буквально: стадо. – **М. Ч.**) хоть и зовёт Россию на помощь, но боится её, может быть, столько же, сколько и турок: "Хоть и освободит нас Россия от турок, но поглотит нас и, "больной человек", не даст развиться нашим национальностям" – вот их неподвижная идея, отравляющая все их надежды! А сверх того у них и теперь уже сильней разгораются между собой национальные соперничества; начались они, чуть лишь просиял для них первый луч образования". И результатом этого национального соперничества – братский жутко-кровавый развал Югославии. И ещё: "Выгода России не в захвате славянских провинций, а в искренней и горячей заботе о них и покровительстве им. В братском единении с ними... Одной материальной выгодой, одним "хлебом" – такой высокий организм, как Россия, не может удовлетвориться. И это не идеал и не фраза: ответ на это – весь русский народ и всё движение его в этом году. Движение почти беспримерное в других народах по своему самоотвержению и бескорыстию, по благоговейной религиозной жажде пострадать за правое дело... Славянское дело во что бы то ни стало должно было наконец начаться... Но если уж началось славянское дело, то кто, как ни Россия, должна была встать во главе его. В том назначение России... Русские уйдут, но великая идея останется. Великий дух русский оставит следы в их душах – и на русской крови, за них пролитой, вырастет и их доблесть. Ведь **убедятся же они когда-нибудь, что помощь русская была бескорыстная и что никто из русских, убитых за них, и не думал их захватывать!"**

Боже мой, теперь-то, через сто с лишним лет, неужели братья-славяне не убедились, что помощь русская была бескорыстной?! Но режет кому-то глаза эта великая очевидность: мне показывают одну из российских демократических газет со статьёй, цинично доказывающей, что не было никакого освободительного похода на Балканы, была обыкновенная российская экспансия...

О, как боятся они, ликующие ныне победу, хоть каких-то ростков нового славянского единения! Кляпом в горле, который так хочется проглотить, у них сегодняшняя Белоруссия. И только это уже доказывает, что славянский союз нужен. Как они боятся исторически сложившегося в границах России евразийского союза! Более того, они лучше нас представляют, что это за великая нравственная и геополитическая сила, удерживающая Россию от окончательного распада: глубоко русская, глубоко православная семья Аксаковых, выразившая суть России, генетически восходит одновременно к славянам и тюркам и не случайно явилась миру на стыке Европы и Азии. И этнически ли чистый славянский союз спасал Русь и Россию в самые беспросветные времена? На этот вопрос в свое время ответили два славянина, два русских князя: Александр Невский и Даниил Галицкий. Русь, Православие спас унизительный союз с Золотой Ордой, которая посягала на всё, но, в отличие от вроде бы христианского Запада, не посягала на Веру. И на Чудском озере, после которого князь Александр стал Невским, нам помогали "татарове", и в Куликовской битве Русь в смертельной битве схватилась не с Золотой Ордой, в чём нас до сих пор пытаются убедить наши историки-западники, а вместе с Золотой Ордой – с все тем же, до сих пор при всяком удобном случае смертельно жалящим, в свое время отпавшим от Православия католическим Западом.

* * *

Особенно трудными были последние годы И. С. Аксакова, он видел трагическую невозможность хотя бы частичного воплощения своих идеалов, и, как следствие, – чувствовал приближение великой беды. В декабре 1885 года нависла угроза закрытия его последней газеты "Русь". 26 января 1886 года он писал одному из своих корреспондентов: "Как трудно живётся на Руси!.. Есть какой-то нравственный гнёт, какое-то чувство нравственного измора,

которое мешает жить, которое не даёт установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования, фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадёжности, беспроглядности давят на нас...”

Ныне в воздухе витает некая приторная идеализация дореволюционной России: **якобы благоденствовала там, пусть с некоторыми издержками, гармония между царской властью, Церковью и народом, иначе говоря: Самодержавие, Православие и Народность**. Но, увы, это был лишь иллюзорный идеал, но далеко не действительность. Читая беспощадно честного Ивана Сергеевича Аксакова, мы торопливо пробегаем по этим страшным строкам, своего рода приговору, не вдаваясь в глубинный смысл их, не стремясь определить суть, причины этого нравственного гнёта, нравственного измора, чувства безнадёжности и беспроглядности, которые давят нас и сегодня.

Случайно ли, что эти слова-приговор были последними в его жизни? На следующий день его не стало. Не от этой ли безнадёжности он умер? Не стало человека, суть которого можно выразить цитатой из сербской газеты “Застава”: “Если бы мы жили при более благоприятных обстоятельствах, Аксаков, без сомнения, простёр бы свою любовь на всё человечество”. Хотя в то же время кто-то из современников говорил, что он чувствует себя русским в трёх случаях: когда слушает древние песнопения, когда слышит русскую народную песню, и когда читает статьи Ивана Сергеевича Аксакова...

Н. Н. Страхов после смерти И. С. Аксакова писал: “Ни одна из надежд, ни одно из задушевных желаний Аксакова не имеет впереди себя ясного будущего. Церковь осталась в том же положении; укрепление и развитие её внутренней жизни по-прежнему идёт шатко и медленно, и невозможно предвидеть, откуда появится поворот к лучшему. Славянские дела свидетельствуют, что духовное значение России не развилось, после подвигов, достойных Аннибала или Александра Македонского, мы вдруг с сокрушением видим, что старания иностранцев и их политическое и культурное влияние берет верх над той связью по крови, которая соединяет нас со славянами. Но ведь узел славянского вопроса заключается именно в нашей культуре, и если самобытные духовные и исторические силы наши не развиваются, если наша религиозная, политическая, умственная и художественная жизнь не растёт, то мы неизбежно должны отступить для славян на задний план, сколько бы мы крови ни проливали. Какая же для нас надежда в этой борьбе? Становясь грудью за единоверцев, мы должны спрашивать себя: не убывает ли в нас и в них та вера, в которой весь смысл дела и вне которой бесплодны все подвиги?..”

Увы, с ещё большей горечью эти слова можно повторить и сегодня, сто с лишним лет спустя.

Н. Н. Страхов далее писал: “Всё это, и лучше и яснее всякого, видел и чувствовал Аксаков. Потому больше чем когда-нибудь ему стало тяжело перед смертью. Не могу выразить, как изумили, как больно поразили меня несколько унылых слов, вырвавшихся у него в последних письмах, и тем сильнее поражавших, что выходили из уст такого богатыря. “Чувствуешь, – писал он, между прочим, – что настоящий переживаемый нами период – долгий период, и его ничем не сократишь”. И вот ему не довелось пережить этот период. Смерть избавила его от этого страдания... Нет, для себя он вовремя умер. Благочестивые люди верят, что смерть всякого человека совершается не без соизволения Божия. И на этот раз мы как будто можем понять смысл этого соизволения. Аксаков довольно потрудился. И верный раб, наконец, был отпущен от своей работы. Что с нами будет? Конечно то, чего мы заслуживаем”.

Сегодня, как никогда, злободневны слова, сказанные архимандритом Никифором Дучичем 8 марта 1886 года в Белграде на панихиде по почившему И. С. Аксакову: “Со смертью Ивана Сергеевича Аксакова угасла блестящая звезда на русском пространном небе, – звезда, какие и у великих народов, как русский, появляются лишь веками... Сияние этой блестящей звезды переходило за пределы русского царства и простиралось на края и земли южных и западных славян, оживляя и укрепляя их вековые надежды на свободу, исторические и народные права, пробуждая и развивая в них сознание духовного единства всех славян.... Это та сила, которой трепещут противники славян, радующиеся раздору между ними и желающие им вечного рабства у чужеплеменников, – силы, которой и врата адовы не одолеют, когда она разовьётся и окрепнет”.

Геннадий Михайлович Гусев. Это имя связано с “Нашим современником” на протяжении почти 20 лет, с 1993-го по 2012 год, когда он был первым заместителем главного редактора журнала.

Неутомимый, честный и самоотверженный работник на ниве культуры, он на разных должностях — заместителя главного редактора издательства “Молодая гвардия”, инструктора сектора художественной литературы Отдела культуры ЦК КПСС, главного редактора “Роман-газеты”, директора издательства “Современник” — был подлинным подвижником и организатором литературного дела, многие молодые и начинающие под его крылом стали классиками отечественной литературы. И в самые тяжёлые дни развала и крушения всего и вся — он и в Союзе писателей России, и в “Нашем современнике” до конца был верен русскому Слову и своим патриотическим убеждениям.

Мы всегда будем с благодарностью вспоминать время, прожитое бок о бок с Геннадием Михайловичем, и публикуем краткие воспоминания о поэтах, с которыми его сводила жизнь.

ГЕННАДИЙ ГУСЕВ

“ДРУЗЬЯ МОИ, ТОВАРИЩИ ПОЭТЫ...”

Проблески памяти

За всю свою долгую жизнь я не сочинил ни одной поэтической строфы. “Парнас не про нас”. Судьба решительно отказала мне даже в малюсенькой доле стихотворного таланта. Однако, словно извиняясь за скупость, она зато щедро одарила меня неостывающей пожизненной Любовью к истинной поэзии.

Перечитав – начиная с довоенных детских лет – груды стихотворных сборников, я всегда радостно, бескорыстно завидовал тем, кто сумел “изваять” (как любил говорить мой весёлый друг Володя Фирсов) хоть две имеющие право на бессмертие строчки. Неустанно стремясь, по Блоку, у каждого автора “выудить жемчужину из моря его слов”, я добросовестно перечитывал и пухлые графоманские рукописи, и беспомощные стишата друзей, знакомых и прочих соискателей поэтической славы. И всякий раз сердце трепетало: “А вдруг?..” Однако рождённый ползать летать не может. И я многажды благодарил свою планиду за то, что не попустила мне впасть в грех рифмоплётства.

...Если уж совсем честно – остались в памяти четыре строчки, придуманные в 10-м классе, в 1951 году, навеянные первой любовью и очарованием фатьяновских песен:

— Мне не только на скамейке —
в сердце места нет.
Слово ласки мне не скажешь,
не пошлёшь привет...

Ох-хо-хо... Благодарение небесам – вовремя понял: не дано, не мучайся, не твоё!

А любовь к большой поэзии осталась, повторяю, навсегда. Более того, на всех житейских поворотах и этапах мне смолоду посчастливилось встречаться, общаться едва ли не со всеми – да, да! – по-настоящему талантливыми русскими и русскоязычными поэтами второй половины XX – начала XXI века. Встречаться, общаться, а с некоторыми и дружить.

Вот оттого вдруг и пришла мне дерзкая мысль: а что, если рассказать об этих встречах? Какой след, глубокий, не смываемый временем, или просто лёгкую малозаметную царапинку в душе оставила каждая из них? Будет ли это интересно возможному читателю? Признаюсь – не уверен. Очень уж субъективный, зыбкий замысел – без чётких резюме об уровне того или иного дарования, без какого-либо квалифицированного анализа творчества каждого из авторов. И даже без сколько-нибудь внятных объяснений, почему именно эти имена и эти встречи врезались в память.

Любитель – он и есть любитель; по-лермонтовски: "Но я люблю – за что, не знаю сам..." Необъяснима подлинная любовь, в том числе к Отчизне, но лишь высокая поэзия, пусть отчасти, позволяет приблизиться к истине.

Чтобы отсечь соблазны и сомнения, одолевающие автора, выбираю простой, как правила арифметики, приём поалфавитно выстроить "шеренгу" знакомых поэтов, независимо от их регалий, заслуг, уровня таланта, и рассказать только о том, где и как, всерьёз или вскользь встретился с каждым – и какое впечатление произвели на меня он (она) – и по-человечески, и поэтически.

...Если вдруг из более чем сотни проблесков, промельков, сполохов памяти сложится вдруг (о чём и мечтаю!) пусть не полная, повторяю, очень субъективная, дилетантская, размытая, но всё-таки картина жизни советской поэзии на протяжении 50 лет – я буду счастлив. Ведь каждый поэт – загадка, каждая удачная, выстраданная им строка становится молекулой ноосферы. Изучать, постигать это богатство, гордиться им – нашим потомкам. А нам, уходящим, сдающим смену – важно успеть помочь им глубже понять, в чём же тайна "кастальского ключа" и почему так часто вечные растут из "житейского сора".

АББАКУМОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Замечательная, истинно русская (москвичка, архангелогородская по рождению), талантливая и немногословная женщина. Радуюсь, что именно ею открываю свой поэтический "лексикон". Маша была лауреатом редакции журнала за лучшую подборку года – и вообще все мы относились к ней приветливо и уважительно, а я так, вдобавок, и с тайным чувством вины перед нею. Возможно, оттого, что однажды переврал её имя и обозвал Мариной, на что она отозвалась короткой репликой сквозь зубы и обожгла меня презрительным взглядом.

Лучшие стихи Марии включены в антологию поэзии журнала "Наш современник", изданную нами к 50-летию со дня основания журнала. Помню строчку из её стихотворения: "Влезло небо в тёмное пальто, рукавами долы загребает". До чего же здóрово – о мрачных тучах "дамокловой кратии" над Россией! Суровый, жёсткий стих Аввакумовой родствен тому, чьё имя – стало фамилией Марии.

АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА

Высокая, стройная, жгучая, голосистая. Волосы иссиня-чёрные, рассечённые посередине белым пробором. Красавица однако! Я впервые увидел её в Махачкале полвека назад, в 1961 году, совсем ещё молодым, во время первой своей комсомольской командировки. Дибир Магомедов, 1-й секретарь обкома, представил нас друг другу и, обращаясь ко мне, шутливо заметил:

“Фазу – наша гордость и наша любовь. Смотри и завидуй!” Фазу взмахнула руками, желтоватые “сталинские” глаза вспыхнули, пухлые губы растянулись в широкой улыбке.

Мы потом встречались много раз – и на дагестанской земле, и в Москве. И всегда она была – сгусток энергии, громкого смеха и увлекательных историй. Одна из встреч особенно запала в память. Приезжаю с работы домой, как всегда, поздно, голодный, усталый. Батюшки-светы! В доме моём – дым коромыслом! За столом сидят за коньячком и хохочут жена моя Галя и несравненная горянка! Звеня кубачинскими украшениями (колец, кулонов, колье на ней – видимо-невидимо!), Фазу тут же налила мне стопку “Кизляра”, хлопнула по спине и воскликнула:

– Ну вот, Галочка, а ты говорила – не дождусь!

Я глянул на часы: скоро метро закроют, а ей, как выяснилось, добираться в Переделкино. Фазу весело махнула рукой: детское время, дескать. Посидим ещё, поговорим, споём.

– У Фазу всё схвачено! – бодро заявила она, прощаясь. И тут же пояснила: “колёса” уже у подъезда.

– Да не смотри ты часто на часы. Это вредно. Бег жизни ускоряется! – Чмокнула меня, Галю – и исчезла.

...Потом были совместные поездки на Дни литературы, встречи на объединённых пленумах творческих союзов в Кремле, на празднике “Белые журавли” в Дагестане. Фазу, как нынешняя Анна Прохорова на ТВЦ, всегда была “в центре событий”. И всегда – в густой, неотступной тени великого Расула Гамзатова. Ох, и не любила же она его – до хруста в костях, до скрипа зубовного. Всюду ей, как и даргинцу Абу-Бакару, чудилась тяжёлая “рука Расула”. А что? Быть бы ей первой среди всех дагестанских поэтов, если бы не Расул. И даже отчество у Фазу было – Гамзатовна...

Сидим как-то у меня на кухне, прошу гостью прочесть что-нибудь из новых стихов. Фазу долго отнекивается: дескать, в русском переводе наизусть не помню, а по-аварски читать – время зря тратить... И вдруг вспыхнула, глаза засверкали: “Ладно, я вам в прозе перескажу одну свою балладу!”

...Дочь-горянка жаловалась матери, что муж совсем уже не так, как раньше, ласкает её. Похоже, и на других воровато поглядывает. Мама, что мне делать?

– Пойди, дочка, в лес, выследи тигра и вырви у него из усов два-три волоска.

Задумалась ревнивица надолго – и решилась; прихватив кусок свежей баранины, двинулась в густой лес. Тигр встретил её грозным рыком, но она кинула ему мясо и убежала прочь. Так повторилось трижды, а на четвёртый день зверь уже взял мясо прямо с руки и даже, положив голову на её колени, задремал.

Тут-то и были вырваны из тигриных усов три заветных волоска. Примчалась дева домой, и мать говорит ей примерно следующее: ты сумела укротить тигра, теперь иди и укроти своего мужа!

Не правда ли, прелестная поэтическая притча?

Фазу, Фазу! Как жаль, что безжалостное время прервало наши радостные встречи... Теперь до Дагестана не добраться мне уже никогда. Да и опасно там...

БЕЗЫМЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

По коридорам ЦК комсомола, что располагался в центре Москвы на Маросейке, в начале 60-х время от времени проплывал монументальный походкой **сам** Безыменский, Александр Ильич.

Знаменитым его сделало – на все советские годы – одно-единственное стихотворение под названием “Молодая гвардия”, песня немецких “ротфронтовцев”, переиначенная, перелицованная на русский язык ловким полуграфоманом. Стриг купоны всяческих услуг и похвал до самой смерти с одного стихоизделия!

Я дважды лицезрел “бронзоволикого” певца комсомольской юности – в большом зале ЦК ВЛКСМ и в узком кругу сотрудников агитпропа в просторном кабинете секретаря ЦК А. Камшалова. Естественно, вспомнили про “Молодую гвардию”, историю её создания.

— Александр Ильич! — обратился я к "классику". — Позвольте дилетантский вопрос. У вас в одной строке — "...мы юности не знали в тенётах царских пут" — два очень схожих слова: тенёты и путы. Наверное, для усиления эмоционального воздействия?

Ильич обнажил зубы-клыки, снисходительно улыбнулся.

— Это значит, мой друг, что молодость наша была опутана сетями-тенётами и повязана царскими путами! Подчёркиваю — царскими. Вот есть такие, что говорят, будто я просто перевёл на русский песню немецких революционеров. Но у них никогда царей не было! Именно царскими путами было скована наше поколение.

"Но у них были кайзеры — всё равно, что наши цари!" Так я должен был продолжить беседу. Но... молод был и не всё ещё понимал.

Почему я столь резок в своей оценке когда-то известного поэта? А вы почитайте хотя бы "Песню о шапке" — удивишься и расхохочешься. Поэту дали ордер на котиковую шапку, он получил её в спецраспределителе и тут же вознёсся храброй мыслью... аж к мировой революции:

Будет день: мы предъявим ордер
Не на шапку —
На мир.

Поэзии — не видать и не слыхать. Одна трескучая публицистика.

Куда лучше меня (и ещё короче) припечатал Безыменского острослов Михаил Дудин:

Волосы дыбом, зубы торчком —
Старый мудак с комсомольским значком.

Ни прибавить, ни убавить! Здóрово схвачено!

БЛЫНСКИЙ ДМИТРИЙ

Очень талантливый парень, погибший во цвете лет от алкоголя.

Дима (или Митяй, как иногда ласково называл я его в добрые трезвые минуты) был по-русски отзывчив, поэтически простодушен, неотразимо симпатичен. Однако "вино № 21", водка то есть, раздваивала его, как стивенсоновского героя, на милейшего Джекила в трезвости и злобного Хайда в поддатии.

Год 1964-й, лето. Ещё Никита у власти. Комсомольская бригада едет из Москвы в Целиноград для творческих встреч с молодёжью героической целины. Трое из нас оказались в одном гостиничном номере: я, зам. главного редактора издательства "Молодая гвардия"; Жора Арутюнянц, полковник, Герой Советского Союза, член подпольной "Молодой гвардии", и поэт-комсомолец Дима Блынский. Всё шло своим жизнерадостным чередом: огромные аудитории, бури аплодисментов, мощные всплески оптимизма.

Приближался день вылета в Москву. И в это время я заметил, что к Диме буквально прилип какой-то поэтический жучок из местных соискателей славы. Жучок с оттопыренным карманом брюк — дураку понятно, что́ там...

А Дмитрию — **нельзя**! Меня ещё в Москве предупредили: может сорваться с катушек. Я этого прилипалу отвёл в сторонку и жёстко предупредил: смотри, парень... Увы, не помогло. А я-то, легковерный, успокоился...

Драма разыгралась вечером и ночью прямо в номере. Вдребезги пьяный Блынский, хватая меня и Арутюнянца за грудки, требовал "добавки".

— Ты, герой, жлоб армянский! Ну, налей хоть полстаканчика, я же знаю, у тебя есть коньяк!

Растерянный Жора жалобно глядел на меня, отталкивал агрессора: да нету у меня, отстань, нету!

Потом пришла моя очередь. Блынский метался по комнате, хлопал дверцей холодильника, рычал и мычал, изрыгая проклятья — и вдруг вскочил на подоконник (а это был 6-й этаж!), отворил окно и завопил:

— Дайте выпить, гады, а то спрыгну!!!

Я кинулся к нему, молниеносно ухватил со спины за пиджак, и мы вместе рухнули на пол.

Неохота вспоминать, как мы рано утром тащили его в самолёт, сколько упрёков и подначек услышали от экипажа и пассажиров. Не буду, не буду больше, хватит!

...Ненадолго спас я Диму от гибели. Через пару лет он оказался в Мурманске, читал стихи морякам... и сорвался в смертельный штопор. Сперва с поклонниками – "за тех, кто в море", потом в одиночку, в гостиничном номере – из горла. За успех, за победу поэзии над будничной рутиной. Дальше – тишина навсегда...

Уже в XXI веке земляки сумели к юбилею погибшего поэта издать достойный однотомник его стихов. И всё...

Погиб поэт, невольник собственной слабости и людского небрежения. Кто виноват? Да все виноваты... Извечный ответ на извечный трагический русский вопрос.

ВИКУЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Познакомились мы давно, ещё в "молодогвардейские" времена (60-е годы), а друзьями стали, когда я стал заместителем у Стаса Куняева – его преемника на посту главреда "Нашего современника". Друзьями стали – до самого смертного часа Сергея Васильевича...

Он мужественно согласился на переход Лёни Фролова из журнала в издательство "Современник" к новоиспечённому, малоопытному директору Гусеву. Потом не раз говорил мне, сокрушаясь: "Эх, если бы всё наоборот! Фролов – в издательство, а ты – ко мне в журнал". Собственно, так и произошло, только через целых 13 лет. И уже не при нём.

Сергей настолько прикипел сердцем к журналу, что появлялся в редакции чуть ли не каждую неделю на протяжении всех последних лет – и ельцинских, и путинских. Приходил то с рукописями, а то и просто "на огонёк" моей сигареты. И часто, махнув рукой и решительно улыбнувшись, говорил: "А! Давайка и я закурю, коли так!"

С рукописями, сказал я. Уточняю: это не были новые стихи. Викуловский "кастальский источник" иссяк. Он ещё успел переиздать своё поэтическое "Избранное", но от былой известности и авторитета не осталось и следа. Новый XXI век оказался беспощаден и к стойким бойцам за Россию, и к баловням судьбы века предшествующего. Всех накрыло огромным цунами безверия, безвкусия и скоротечной капризной моды.

В глазах Сергея я отчётливо видел негаснущее страдание человека, пережившего свои стихи и свою, пусть негромкую, славу.

Мы похоронили его на Троекуровском кладбище Москвы, неподалёку от МКАД и совсем близко от могилы Юры Кузнецова.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Никогда не были – и не могли быть – близки. Из всех мимолётных отчуждённо-холодных встреч одну забыть не могу.

В 1978 году моему земляку и знакомцу с комсомольских времён Андрею Дементьеву исполнилось 50 лет. По этому случаю в большом кафе собрались гости Андрея. Юбиляр усадил меня на почётное место тамады рядом со своими родителями. Поминутно взглядывая на часы, он тянул время, хотя час торжества уже давно пробил. "Сейчас, сейчас," – успокаивал Андрей собравшихся.

Ага! Вот в чём разгадка! В дверях появился знаменитый тёзка Дементьева вместе со своей Озой. Не снимая куртки и шапки, Вознесенский полез в карман, достал что-то, размахнулся и швырнул в "президиум". Я интуитивно отдёрнул голову вправо – а нечто тяжёлое ударилось о стенку возле моего уха и, звякнув, упало под скамейку.

Андрей-юбиляр нагнулся, поднял брошенный предмет и радостно воскликнул: "О! Часы!" И тут же вошедший даритель продолжил: "Не бьются и не тонут. Носи, друг!"

Я не то что испугался – был потрясён. Зачем же так, не по-людски? Но ведь и стихи-то у него тоже с вывертом, тоже показушные! "Стиль – это человек"...

Потом год за годом я читал новые книжки и подборки Вознесенского. Далёк от меня дар этот – из какого-то "антимира": ни разу радостно не

встрепенулось сердце ни от одного его мастеровитого стихотворения. Его поэзия не органична. "Треугольная груша" – точный образ! Он, архитектор по диплому, хотел протащить в русскую поэзию и утвердить в ней своего рода литературный "кубизм", своенравную экспрессию, расхристанную образность. Не получилось. Не могло получиться: вся история русской поэзии восстала против смутьяна. Любопытно: был у Андрея Андреевича всего один лишь верный последователь, да и тот всего-навсего Пётр Вегин.

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Встречи с такими женщинами не просто запоминаются – они украшают жизнь. Лариса – солнышко ясное, сказал я однажды, ничуть не кривя душой. Но для меня, к счастью, она оставалась всегда просто "своим парнем" – весёлым, ироничным, готовым подхватить шутку или изящно обойти неудобную тему.

Лариса часто возникает в моей памяти в образе знаменитой кошки, что гуляет сама по себе по раскалённой крыше XX века. Она писала талантливые стихи, потом стала летописицей "кремлёвских жён". И то, и другое получалось у неё складно и ладно. Думаю, основательность в литературном деле у неё – от родителей, особенно от отца, чью память и славу дочь бережёт неустанно и преданно.

Мы с Галей однажды посетили ещё официально не открытый музей "Т-34". Отец Ларисы был одним из создателей советского победоносного танка. В ту пору она ещё только готовила экспозицию будущего музея – но ни секунды не сомневалась, что у неё, как модно говорить сегодня, "всё получится". Вот эта глубокая вера в правоту и осуществимость дела, которому служишь, и поныне восхищает меня в этой стойкой женщине.

Она, действительно, сама по себе – не за коммунистов, но уж тем более не за либералов, не за "III интернационал" или за масонов – но всегда и неизменно за Россию. Только без громких слов.

Надеюсь, что Лариса долго-долго не будет забыта своим народом – если он таковым останется, а не превратится окончательно в аморфный электорат.

ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ

Пожалуй, самый даровитый и, бесспорно, самый известный в России и за рубежом национальный поэт, весь в орденах, премиях и почётных званиях. Рискну сказать ответственно: по заслугам! Правда, иные регалии ему приходилось буквально выколачивать из литературных и партийных чиновников.

Свидетелем и участником одной из таких наградных "баталий" довелось быть и мне, грешному. 7 сентября 1973 года Расулу исполнялось 50 лет. Возникла ситуация прецедента: до него никому из писателей к полувековой дате Героя Соцтруда не присваивали. Молодёжь, понимаешь. Не успел ещё обрести должной известности. Но, с другой стороны, уже курлыкали в радио- и телеэфире его и Френкеля "Журавли" – миллионы советских людей плакали, мужчины едва сдерживали слёзы, когда звучал голос Бернеса: "Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей..."

Перевёл знаменитое восьмистишие на русский язык переводчик Яков Козловский. Бродит легенда, будто в оригинале, на аварском, журавлей... вообще не было, а скакали в небе какие-то джигиты-призраки. Я в это не верю, поскольку и сам автор, и переводчик с негодованием опровергали эту явно рождённую завистью лабуду.

Вплоть до дня юбилея вопрос о Герое так и не был решён. Расул всё больше нервничал, буквально хватал за фалды секретаря Союза писателей СССР Юрия Верченко, а тот в ответ смеялся, показывал на меня и говорил: "Не мы решаем, а ЦК. У него и спрашивай". А что я, рядовой инструктор отдела культуры, мог знать, если мы были тогда в Алма-Ате на Днях советской литературы, за тысячи вёрст от Москвы?

Наконец, в ночь на 7-е, пришла весть: всё-таки Гамзатова возвысили до Героя! На моём пиджаке теперь уцелеет пуговица, которую пытался оторвать Расул, грозно рыча: "Звэзду Героя дадыте?!" Рано утром я, наверное, был первый, кто поздравил юбиляра. Однако бес, который, как утверждал Леонид Леонов, "сидит и дремет **внутре** нас", подтолкнул меня пошутить над тяжёлым

с похмелья поэтом. Я высокопарно произнёс, что счастлив сообщить ему о высокой государственной награде... ордене Трудового Красного Знамени! Доныне вздрагиваю, как вспомню медленно сползающую по стенке на пол грузную фигуру Расула... Ничего себе шуточка!

К счастью, всё обошлось. Потом был большой сабантуй, пир горой, нескончаемый поток поздравлений. Но кажется мне: не забыл горец неуклюжую мою выходку. Не раз и не два потом встречались мы, но какой-то почти неощутимый холодок всегда проскальзывал между нами.

...Однажды, не помню уж, в каком году, лежал Гамзатов в "Кремлёвке" по поводу гипертонии. Альберт Беляев, завсектором нашего отдела, поручил мне навестить корифея в больнице. "Знаешь, – сказал он на прощанье, – разорись на чекушку коньячка. На всякий случай". И заговорщицки рассмеялся.

Сидели в палате, лясы точили. Зашёл на костылях Ростислав Плятт (я обожаю его!), потом ещё кто-то. Настало время прощаться. Вдруг Расул тяжко вздохнул и произнёс примерно следующее: "Для полного счастья, ребята, не хватает стаканчика коньячку. Ма-аленького стаканчика!" Плятт замахал руками: как можно, здесь такие строгости...

Эх, была не была! Ведь коньяк иногда рекомендуют сердечникам. Щёлкнул я замочками кейса, зажёг армянские "три звёздочки" – к всеобщему восторгу собравшихся. И была это не чекушка, а полноценная поллитровка "армянского" за 8 руб. 12 коп.

Как тут не вспомнить заодно и короткий анекдот времён А. Н. Косыгина: "Формулу воды знаешь? – Знаю: аш два о. – А формулу коньяка? – Не знаю, подскажи. – Аж восемь двенадцать!"

Не забыть и семейный ужин в имении Расула. Помнится полутёмная большущая столовая, широкая столешница, уставленная всякими вкусностями, молчаливая Патимат, гамзатовский ангел-хранитель.

Это была осень 1991 года, праздник "Белых журавлей". На наших глазах и при нашем бессильном бездействии погибал великий Союз. Оттого и не было веселья, искромётных гамзатовских шуток и реплик в том последнем грустном нашем застолье...

ГЛУШКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

О ней и писать, и вспоминать трудно, тревожно. Она, когда-то друг Станислава Куняева, после его прихода в "Наш современник" вдрызг разругалась с ним, заподозрив в нём (как и в Вадиме Кожинове) "адвоката измены". Измены нашему советскому прошлому, светлым коммунистическим идеалам. Отсылаю интересующихся драматической историей идейной схватки двух больших поэтов, бывших единомышленников, к книге Стаса "Мои печальные победы".

В ней явственно ощущалось что-то фанатичное – как в суриковской "Боярыне Морозовой". Глаза пылали – когда она клеймила врагов и "адвокатов" – исступлённым зловещим пламенем. Как вспомню, так вздрогну... Тяжёлая в общении, она была буквально перенасыщена, перегружена ненавистью и... завистью, которую тщательно маскировали драпри идейных расхождений.

Последняя наша встреча наедине произошла незадолго до её смерти в моём бывшем кабинете в Союзе писателей России. Был какой-то пленум (или секретариат?) Союза – я вышел из зала перекурить. И вдруг – батюшки! – Татьяна. Зная, как тяжело она больна, я хотел ретироваться, но был остановлен.

– Остановитесь, Гусев, – прокурорским тоном сказала Глушкова. – Найдите две-три минуты для беседы со мной. И можете курить, я не против.

Я послушно остался, уже не сомневаясь, о чём она будет со мной говорить. И она запальчиво начала клеймить Куняева, Кожинова, Казинцева – и стыдить меня за то, что я, бывший сознательный комсомолец, работник ЦК, помощник члена политбюро... "Я понимаю: семья, возраст, чужая власть не пощадит... Но есть же у вас, – и глаза её вспыхнули адовым пламенем, – возможность хотя бы неучастия в дьявольской игре промонархистов и предателей? Уйдите на пенсию! И скажите, наконец, своё слово – если оно действительно у вас ещё осталось!"

Я всё-таки оторопел (хотя уже давно предполагал, что такой "вышинский" разговор у нас когда-нибудь состоится); погасил сигарету и ответил примерно

так: “Татьяна Михайловна! Боюсь, мы не поймём друг друга. Все вокруг кажутся вам мерзавцами и приспособленцами. И у меня тоже никаких шансов обрести ваше уважение. Что ж, переживу. Но только одно ещё скажу: ваша абсолютная бескомпромиссность – то же самое, что монастырский затвор. И ни союзников, ни попутчиков у вас не будет”.

...Она была хорошим, классным мастером поэтического слова. “Когда не стало Родины моей”... – эта строка, эти стихи словно острой бритвой ранят сердце. И чего, казалось бы, в них – всё до боли известно, всё “невыносимо ясно” – однако благодаря Глушковой остаётся уже более двадцати лет невыразимой жгучей тайной:

– Когда не стало Родины моей...

ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Он написал сам о себе такую игривую, отнюдь не самокритичную (как может показаться) эпиграмму:

Михаил Александрович Шолохов
Для простого читателя труден.
И поэтому пишет для олухов
Михаил Александрович Дудин.

Что поделаешь – в памяти застряли именно короткие дудинские шаржи в стихах – смешные, не всегда цензурные, но всегда убийственно точные (напомню хотя бы двустишие о Безыменском). Да, и ещё я цитировал в своей статье “Правнуки Победы” (“Наш современник”, № 8, 2005 г.) его грустное и провидческое стихотворение “Я всей жизнью своей виноват...”. Поэт так выразил свою сверлящую душу тревогу об угасании, исчезновении у потомков высокого почтения к великому подвигу отцов:

— И тоска мою душу гнетёт,
И осенние никнут растенья,
И по мрамору листья метёт
Оскорбительный ветер забвенья.

И потому, думаю я, Михаил Александрович незадолго до своей кончины сумел переломить, преодолеть долгий приступ диссидентского, либералистского отречения своего от советской власти, от партии, которая, говоря словами Шолохова, великого его тёзки, дала писателям всё, кроме права писать плохо.

Он сумел уйти в мир иной достойно, сбросив с души жёрнов двуличия и конъюнктурности. В Иванове, в литературном музее я, стиснув зубы, слушал последнюю магнитную запись – завещание и покаяние Героя Соцтруда, охмурённого в начале 90-х дурью перестройки и жаждой “свободы во что бы то ни стало”. Он, ленинградец, перед смертью завещал похоронить его на сельском погосте под православным крестом рядом с матерью.

...Мы с Юрой Орловым, ивановским поэтом, прошли по осенней хляби не одну сотню метров к смиренному кладбищу, к дудинской могиле. Тёмно-серый гранитный крест, напротив – полуразрушенная церковь. И оглушительная, надмирная тишина.

...Его могилку тоже обметает “оскорбительный ветер забвенья”. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава...

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мой земляк (калининский-тверской) старше меня на целых пять лет, и эта разница стала незадолго до нашего знакомства причиной первой – заочной – моей стычки с подающим надежды провинциальным поэтом. Работал я тогда последний годик в ЦК комсомола замзавотделом пропаганды (1968 г.) и вполне вписывался в когорту “бородатых комсомольцев” – на выданье в партгосаппарат. И вдруг меня вызывает Сергей Павлович Павлов, 1-й секретарь ЦК, и говорит: “Побеседуй с пареньком из Калинина: талантливый поэт, образованный, речистый, активный”. И протянул мне через стол личный листок по учёту кадров.

– Сергей Павлович! – удивился я, пробежав первые строчки листка. – Да ему же сорок лет скоро! Совсем не комсомольский возраст!

Брякнул – и поперхнулся: самому-то Павлову тоже сорок! Да и настрой у шефа явно в пользу незнакомца. Полоснув меня молнийным блеском голубых глаз, Павлов всё же сдержался и только процедил: – Побеседуй...

Потом был ещё почти целый год совместной с Андреем работы в ЦК и проживания в дачном посёлке Вялки, что в ближнем Подмосковье. Потом я ушёл служить в другой ЦК, а Дементьев остался в "нижнем" на моей должности замзава, пока его не переместил в журнал "Юность" Борис Полевой.

И ещё почти десять лет, вплоть до юбилея Андрюши, о котором я частично уже рассказал под буквой "В", мы встречались домами, спорили, читали стихи... ну, в общем, были почти друзьями. Помню его первую (или вторую?) жену Галю, которая, как мне рассказывали, буквально вытащила Андрея из пучины пьянства и одичания (так ли это было – не знаю, да и не надо: нынче он – **мэтр**, участник бесчисленных телешоу, широко узнаваем, несмотря на почтенные 84 года от рождества своего).

Однако год от года (особенно после его 50-летнего юбилея, который начался с хулиганского "броска часами" его уже знаменитого тёзки) трещины в наших отношениях становились всё шире. Андрей всё дальше уходил в стан "шестидесятников", комсомольский пыл в нём окончательно угас. Он нашёл себя, своё место в ряду "эстрадных поэтов". Многие его вполне рядовые стихи были положены на музыку (и Михаил Муромов, и Евгений Мартынов столько для его возвышения сделали! "Яблоки на снегу", "Лебединая верность" и т. д.). Патриотическая насыщенность его "молодых" стихов осталась в прошлом, либо приобрела какую-то быстро линяющую плакатность.

Ну, а потом, "когда не стало Родины моей", Андрей несколько лет жил-поживал в Израиле с очередной своей супругой в качестве телекорреспондента. Вспомнилось тогда: мама его и отец, сидевшие неподалёку от меня в "президиуме" Андрюшиного юбилея, ну никак не были похожи на русских тверяков. Ну никак!

...Совсем недавно моя Галя видела в "ящике" очередной телесеанс Дементьева и доложила мне, что Андрей весьма тепло отзывался о Геннадии Гусеве, называя его своим "другом" и расточая похвалы... "Почти другом был" – написал я только что. Но это было давно, хотя и правда. А сегодня... аффилированный (как модно нынче говорить) в механизм либеральных СМИ, регулярно печатающийся в гусевском "МК" Андрей давно уже не друг мне, не товарищ, не брат по борьбе.

ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

На одном крыле не летают. На одной ноге далеко не ускачешь...

Судьба этого всероссийски известного поэта сложилась неповторимо. Молодой, красивый, весёлый Николай встретил свою единственную, дражайшую, навсегда любимую Александру – и вышла в итоге неразлучная семья и уникальный творческий дуэт – поэт и композитор, одарившие радостью, раздольем, певучестью своих песен миллионы уже ушедших в мир иной и живущих ныне поколений, чьей Родиной был великой Советский Союз или новая – страждущая и верящая – Россия.

Между прочим, так сложилось, что ни в одном поэтическом перечне, что присутствуют либо в официальных писательских докладах, либо в обзорных критических статьях, вы почти не встретите фамилии Добронравова. Как говорится, ни "во первых строках", ни в последних. Он, как правило, попадает в безликое, как братская могила, "и т. д." или "и др.". Зная Николая, его характер, свидетельствую: его это ничуть не огорчает. Скромнейший человек, он, тем не менее, вовсе не считает себя "недооценённым" – ещё бы, при такой-то оглушительной популярности в народе! Он просто знает: его Аля, её музыка – второе крыло его скромной поэтической музы, надёжно и точно несущее стихи в многомиллионные уши и души людские.

Была в моей жизни, как подарок судьбы, роскошная южная – сочинская – неделя дружеского общения со "звёздной" четой Добронравов–Пахмутова. Тогда, осенью 1988 года, мы были ещё благополучными отдыхающими в совминовском санатории "Россия". Отчаянно купались в море, с шутками-прибаутками ходили в город на базар и обязательно покупали много-много крупных

помидоров "бычье сердце" – их обожали наши с Николаем супруги. Чаи гоняли, о себе рассказывали друг другу – и наговориться на могли. А Союзу ССР и дружбе нашей оставалось всего-то три года жизни...

Уже 19 лет работаю я в "Нашем современнике", но ни разу за это время даже не возникал вопрос о публикации стихов Н. Н. Добронравова. И это, я знаю, не от какого-то "снобизма" большого русского поэта Ст. Куняева. Николай Николаевич сам ни разу не приходил в редакцию с рукописью. Думаю, это объясняется нерасторжимостью, слиянностью его стихотворных текстов с музыкой Александры Николаевны. Не разъять, не разделить. Дрова, даже сухие, остаются просто осколками дерева, пока их не охватит живительный жаркий огонь.

И в самом деле. Из множества замечательных пахмутовских песен я, пожалуй, больше всего люблю "Надежду" (причём в исполнении Анны Герман, несправедливо рано покинувшей землю). Но что такое гимн надежде без музыки и чарующего голоса? Вполне дидактический текст, где "удача – награда за смелость", где звезда – "памятник надежде" и т. п. Но всё-всё волшебно преображается при первых же звуках незабываемой мелодии!

Так что? Н. Н. – просто поэт-песенник, из того же ряда, что Танич, Пляцковский, или того горше – картинный бездарный Резник? Нет и ещё раз нет – Добронравов из другой когорты, где правофланговыми русские песнетворцы Алексей Фатьянов, Михаил Исаковский. Именно так – песнетворец! И не иначе.

ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Короткие дни искреннего товарищеского общения с поэтом-фронтовичкой Друниной не могли не остаться в памяти. 1991 год, август... Всего два месяца тому назад погибла наша старшая дочь Ирина, и мне с трудом удалось уговорить убитую горем жену поехать на юг, в Дагестан, на литературный праздник "Белые журавли". В составе писательской бригады москвичей была и Друнина.

Ей оставалось жить чуть больше месяца...

Она буквально вытащила мою Галю из бездны отчаяния. Всё время была с нею рядом, волокла её к морю, в город, к людям – в общем, всячески пыталась "развить горе верёвочкой" и доказать неожиданной подруге, что жизнь хороша, что не всё потеряно!

А сама была снедаема жгучей неотвязной мыслью о погружении родной и любимой страны в пучину нестроения и смуты. Чутким сердцем поняла она: ночные песни вместе с "защитниками Белого Дома" во славу Ельцина оказались **изменой** России. Так родились предсмертные обжигающие строки: "...как летит под откос Россия – не могу, не хочу смотреть..." И выбрала смерть. И навсегда осталась в русской поэзии.

ДРОННИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Витя – один из самых талантливых "орлят" (орловских писателей, наследников Тургенева, Бунина, Лескова). Увы, и он, и дорогой моему сердцу мастер "малой прозы", собрат по комсомолу Ваня Рыжов уже никогда больше не порадуют новыми вспышками, новыми взлётами таланта. Улетели навсегда...

Словечко "взорлим!" запомнилось мне особо именно в "дронниковском" толковании. Как-то, наливая по новой, улыбаясь и повышая голос, он торжественно произнёс: "Взорлим, други! За матушку Русь и её литературную столицу!" То есть – за славный город Орёл.

...Помню Виктора молчаливого, мужиковато-нерешительного, будто и не горожанина вовсе. Было это в один из моих теперь уже давних приездов в Орёл, когда был ещё жив Лёня Моисеев, секретарь местной организации писателей, поэт куда меньшего калибра, чем Виктор, человек шумный и очень сильно пьющий. И как "подбросит уголька", так неудержимо рвётся читать свои стихи. Дронников был куда более скромен и строг.

Вот судьба – загадка-неугадайка: неожиданно – после долгого перерыва – Стас Куняев не просто решил, а радостно заторопился поставить в очередной номер большую подборку Витиных новых стихов. Я обрадовался, спросил – не удержался: "Хорошо?" И Станислав Юрьевич, необыкновенно скупой

на похвалы, ответил мне – и в голосе его сквозило удивление: "Очень сильная подборка!" Он взял в руки листок и прочёл мне короткое стихотворение, две строчки которого запомнились – о чудо! – сразу и надолго... "Я, как Есенин, не умею... В поэзии нельзя уметь". Коротко и точно! Дано иль не дано.

Через несколько дней мы узнали, что Виктора не стало...

ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Строго говоря, он не совсем Евтушенко. По-русски (то есть по отцу) он – Гангнус. Фамилия отцовская, честно говоря, не вполне благозвучна, особенно во второй её части. Однако брат Жени соблюл традицию, остался Гангнусом. Так ведь он – не поэт.

...Совсем недавно по телеканалу REN TV в концерте известного сатирика Михаила Задорнова (сына советского прозаика Николая Павловича Задорнова, воспевшего в своих романах русский Дальний Восток) выступала 9-летняя девочка, которая необыкновенно, не по возрасту выразительно и проникновенно прочитала известное стихотворение Евтушенко "Идут белые снеги". Я был почти до слёз растроган: "Если будет Россия, значит, буду и я".

Мы с Евгением одногодки. Многие из нашего "потока" уже ушли из жизни и легли в русскую землю. Но Евтушенко, политический вертухай, успел не только всем властям послужить (от Ленина и Сталина до самого Ельцина и Путина), но и отечество сменить.

...Всего лишь несколько раз судьба сводила меня с этим человеком. И остались эти встречи в памяти каким-то досадным грузом – не тяжким, нет, скорее противным, как чирей на сидячем месте.

Какой он мастер всё вывернуть, перелицевать, переиначить, преувеличить – или унизить (в зависимости от того, куда дуют ветры истории, где его острый нюх чует новые политические или социальные веянья)! Поэт-флюгер, поэт-арлекин... Слышу иногда по радио "примадонну" (А как же без неё? Никак!) – и в памяти тут же возникает Евтух – пёстрый, как петух. Ни разу не видел пёстро-клетчатого в нормальном костюме и говорящим просто, а не витийствующим.

Вспоминается, как будущий "оклахомец" выцыганивал у меня издательский договор по высшей ставке гонорара за небольшую по объёму книжку новых стихов. Все мои резоны, в том числе и "моралите" о собратьях-поэтах (дескать, тебе больший тираж и гонорар – а придётся урезать у других), разбивались, как кувалдой, одной фразой: "Пусть победит сильнейший и талантливейший!" Этакий нутряной социал-дарвинизм, что утвердился теперь в России – даст Бог, не навсегда...

Ну, а "подстава" с жалобой Суслову на инструктора ЦК Гусева, который "оставляет моих детей без молока и хлеба, запрещая печатать в журнале "Аврора" мою новую поэму", – это просто классика жанра. Как говорится, нет слов: ведь от одной только книжки поэт, щедро издаваемый в СССР, получал гонорар, сопоставимый со стоимостью автомобиля. Не "Майбаха", конечно, но всё-таки...

Евтушенко ещё при жизни организовал на станции Зима музей имени себя любимого. Периодически наезжает в Россию из Штатов – чтобы не забывали туземцы "больше чем поэта". Но чем больше пены и треска – тем всё меньше, неизмеримо меньше любви и восхищения к даровитому стихотворцу, разменявшему талант на моду и конъюнктуру...

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Я знал двух Жигулиных: "тихого лирика" советских времён и демократического витию времён горбачёвско-ельцинских. Анатолий-1 был сосредоточенно-скромен, даже застенчив; беседовать с ним было одно удовольствие. Запомнилась мне звонкая, весёлая строчка: "Жизнь моя! Простор звенящий!" Но никогда, ни слова – о прошлом. А потом, когда воцарилась разнузданная свобода и столь же разнузданное поношение советской власти и коммуняк – пришло время Жигулина-2, "апрелевца". Пришло время мстить Сталину и КПСС за отсидку по 58-й...

Анатолий – поэт сильный, нежный, органичный, с глубоко сокрытым тайным смыслом стиха. И не только "зэковским". И во взгляде, и в лучших вещах

его постоянно сквозила, ныла, почти неслышно плакала нота какой-то вселенской грусти...

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Летом 1956 года, в самом начале комсомольской карьеры, мне довелось целый долгий день провести вместе с известным когда-то комсомольским поэтом, напарником А. Безыменского, горячим интернационалистом А. Жаровым. Ну ж был денёк!..

...В крайкомовском "газике" по узкому шоссе мчимся из Краснодара в станицу Усть-Лабинскую. Слева и справа — чуть уже желтоватые стены мощной, высокой кукурузы, тянущей к жаркому солнцу налитые солнечным соком тугие початки. Едем с живой легендой на встречу с молодёжью. А "легенда", сидя рядом с шофёром, всё ворчит и бурчит, всё ему не так: и койка в гостинице скрипела, и хамы на улице голосили — спать не давали...

"Пускай поворчит, — прощал его я. — Такая трудная боевая молодость была у старика!" Теперь смеюсь над собой: ведь Жарову тогда было всего 52 года!

Стал взрослее и понял я: ворчал и фыркал поэт не от старости. Первопричиной вечного недовольства был **комплекс** недооценённости, недонагруждённости, прижизненного угасания популярности, коим страдали многие творческие личности, особенно избалованные славой в юности. Но что слава? Дым, сладкий тлен — покружила, поласкала, побаловала — и растаяла... Я уж так рьяно хлопал в ладоши, так поощрительно улыбался поэту после чтения им стихов в комсомольских колхозно-совхозных залах (у нас были аж три встречи, последняя на полевом стане, под звёздами кубанскими) — а он морщился, отмахивался, как от надоедливого комара, и бубнил: "Не та комса пошла, не та..."

Больше мы не встречались. После него осталось трёхтомное собрание сочинений, пионерский (теперь уже умолкший) марш "Взвейтесь кострами..." и дорогой моему сердцу "Заветный камень". Этой песне, думаю, суждена благодарная жизнь в душе и моего уходящего поколения, и ещё детей и внуков наших. А дальше... Взойдёт ли когда-нибудь на крымские утёсы новый русский матрос, принесёт ли Родине новую славу?

ЗАХАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

С этим необыкновенным человеком и оригинальным поэтом судьба свела меня ещё в благословенные годы комсомольской юности.

Необыкновенным — потому что он известен был (и помнится моему поколению) как необычайно "креативный" (иду навстречу теперешней лингвистической моде) пропагандист, скажу больше — певец научно-технического прогресса и всяческих инноваций. Достаточно сказать, что он без перерыва на протяжении более 40 лет (рекорд, достойный книги Гиннесса) возглавлял один из популярнейших советских журналов "Техника — молодёжи", долгое время вёл на ТВ "продвинутую" передачу, посвящённую научно-техническому творчеству молодёжи.

ВэДэ, или ВэДэшенька — звали мы его, любя и восхищаясь. А когда кто-нибудь, запутавшись в имени и фамилии, именовал его "Василий Захарович", ВД милостиво поправлял: "Ради Бога, зовите меня просто Жора!" Неистощимо весёлый был человек...

Почти полгода провели мы с ним рядом, плечом к плечу, в ГДР, работая над публицистической книгой "В гостях и дома. Дома и в гостях". Книга, приуроченная выходом в свет к 50-летию комсомола, шла трудно, продираясь сквозь жёсткие барьеры цензуры — родной и гэдээровской, сквозь "колючку" тенденциозно-однобокого взгляда на советскую жизнь со стороны немецкого автора-либерала, западника Райнера Кирша.

Издание спасли ВД и я. Кирш был отстранён от авторства, а Вася смог убедить фотокора Томаса Биллхарда стать "писателем" немецкой части книги, повествующей о молодёжи СССР. Для Васи вообще, по-моему, не существовало чего-либо невозможного...

Последний раз мы встретились в Доме композиторов в день его 80-летия. Запомнилось: длинная столешница, ряды стульев, толпа приглашённых.

Пробил час, а стол пустой – ни еды, ни напитков. Появляется ВД – "могуч и радостен, как бой", громко приглашает гостей к столу. Удивлённый народ рассаживается – и тут же молчаливые официанты разносят тарелки, наполненные закусками, и разноцветные бутылки. Помнится, почтили его своим присутствием Сергей Михалков, старый друг его гроссмейстер и тёзка Смыслов – и много ещё достойных, знаменитых людей.

...Хоронить ВД мне не довелось – лежал в больнице. Не потому ли по сей день он для меня не умер; просто – отчалил в очередную длительную командировку...

Однажды, возвращаясь с крупной попойки в ЦДЛ, я испытал приступ панического страха, когда весьма поддатый Вася, уговоривший меня и Галю сесть в его машину, рисовал на Крестовском мосту такие зигзаги – справа налево и слева направо... Поразительно: доехали – и благополучно. Рисковый и удачливый был!

"Оригинальный поэт", написал я. И не думаю, что ошибся. Поэзия была для него не просто тайной отдушиной от грохота и звона воспеваемых им машин и аппаратов. Она была негромким голосом души, тоскующей о любви и верности, о дружбе, о вечности. Не скажу (врать не буду), что меня тянет к его стихам. Но в час, когда нахлынут воспоминания о встречах с ВД, восхищаюсь в мечтах его неистощимым жизнелюбием и говорю с благодарностью: "Какое счастье, что встретился мне такой чудесный сочинитель такой интересной жизни!"

КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА

Как ни странно, я близко познакомился с ней, когда уже работал в "Роман-газете". Об издании сочинений этой поэтессы в самом многотиражном журнале планеты, разумеется, и речи не шло. Но редакция "РГ" находилась в том же здании, где размещалось крупнейшее литературное издательство СССР – "Художественная литература", или Худлит (что позволяло злоязыким говорить о **худой** литературе, якобы щедро издаваемой редакторами упомянутого элитного издательского дома).

Уже и не вспомню, что привело меня в кабинет Валентина Осипова, директора Худлита, в тот день, когда пред наши очи явилась Римма. Напористая, упрямая, она буквально атаковала директора, настаивая на публикации каких-то своих стихов, отринутых редакцией поэзии. И речь вдруг зашла о "еврейских мотивах" в одном из её стихотворений. Валентин, человек с громадным уже издательским опытом (позади была работа в "Молодой гвардии"), мягко и даже полушутливо поинтересовался, с чего бы это вдруг обычно сговорчивая Римма так заупрямилась, так взъерепенилась?

– Знайте, Валентин Осипович: у меня мама – еврейка, и я горжусь этим!

Тут она как бы заметила меня и задиристо произнесла: "А что думает "Роман-газета"? Наверное, удивлены? Разочарованы?" Пришлось, как обычно, заявить о моей интернационалистской позиции и т. п. Римма не унималась: слыхала, дескать, о "русском клубе"; слыхала-де и о Гусеве, якшающемся с антисемитами... Какая страсть, какой напор!

Потом мы с ней оказались в одной туристической группе – открывали добрую старую Англию. Она секретарствовала в Союзе писателей СССР, в годы перестройки стала рьяной "апрелевкой". Ни о каких контактах с нею уже и речи быть не могло.

Добротная советская поэтесса, многие стихи которой соперничали с просоветскими одами Роберта Рождественского, превратилась в злобную разоблачительницу "тоталитаризма". Именно за это её назначили председателем Союза писателей Москвы – либерального осколка бывшего большого Союза, где она долгое время послушно проводила линию КПСС...

Но поэт она была неслабый, высокопрофессиональный, и всё лучшее было написано ею в советские годы. А поэзия, настоянная не злобе и ненависти к матери-Родине (Римма была среди подписантов знаменитого "расстрельного" письма Ельцину в 1993 году), обречена на иссыхание и творческую анемию.

Ни слова о Римме, ни вздоха – ни по ТВ, ни по радио. Они и мёртвых любить разучились.

КАРТАШЁВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Сколько было обид, если кто-то (в том числе издатели и журналисты) писал её фамилию – по привычке через "о"! Отстаивание "Ё" у поэтессы-патриотки вполне сопоставимо с привязанностью к этой букве у куршевельского богача Прохорова, создателя "народного" Ё-мобиля. Да простит меня Нина, которую я искренне уважаю, за это сравнение с малоголовым дылдой, окутанным миллиардами баксов...

Нина умеет завоевать аудиторию – и заслуживает высокого уважения за внимание к тому, что именуется обратной связью с массой любителей поэзии. Увы, как быстро, год от года, "масса" эта редеет, как облаков летучая гряда в одном из стихотворений классика... Карташёва утопала в цветах и овациях ещё лет 10–15 тому назад. Что там Политехнический-1962! Более чем тысячные залы Дома Союзов, ДК МИИТа, доронинского МХАТа, кинотеатра "Мир" содрогались от грома аплодисментов. И маленькая, ладная фигурка поэта на большой сцене, склонившаяся в благодарном поклоне... Что было, то было – и вряд ли скоро повторится вновь. Или я не прав?

КАСМЫНИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Он ушёл от нас тринадцать лет назад, а душа болит, ноет при частых воспоминаниях о нём – постоянно и жалобно.

Боюсь, что бы ни сказал я о нём – сейчас или потом – всё будет не вполне так, как надо, как он того заслужил. Посему упрощу задачу – не размахиваться на всю ширину и глубину нашей с ним дружбы, а только о самом-самом дорогом, не стираемом временем.

Большой, нет – крупный, упрямый, своенравный мужик – таким он вошёл в 1980 году в мою литературную жизнь. Я, пожалуй, даже чуточку побаивался его – ну, не могучих кулаков, конечно, а широко распахнутых пронзительных глаз, словно проверяющих тебя (и других тоже) "на вшивость", то есть трусость, мягкотелость, уступчивость. Гена был истинный рыцарь Поэзии; он по-отцовски возился со всеми, в ком чуял или угадывал хоть капельку таланта.

Мы снова воссоединились в расстрельном 1993 году, когда я пришёл на работу в "Наш современник". Гена настойчиво показывал мне подборки стихов близких редакции поэтов, далеко не всегда соглашался с моими подчас дилетантскими оценками, но дорожил и прислушивался к интуитивным, подчас внезапным суждениям. Окончательно всё решалось, конечно, главным редактором.

...А потом грянула беда. Настигла его меланома. Дозвонившись до Чиссова, директора института онкологии им. Герцена, я положил тёзку в клинику, где, увы, всё худшее быстро подтвердилось...

Потом приезжали мы к нему в Реутов, поддерживали как умели, а он день ото дня таял, таял, скукоживался. И, успев прийти к Богу, успокоился навсегда.

Включили мы лучшие стихи Геннадия в нашу юбилейную поэтическую антологию. Всё, что могли...

КОБЗЕВ ИГОРЬ

Я встретился с ним один-единственный раз. Он пришёл ко мне, директору "Современника", с требованием заключить с ним издательский договор. Ребята из отдела поэзии раньше говорили мне о нём как о человеке нелюдимом, чьё сознание омрачено юдофобией: все беды и нестроения русские он де склонен объяснять происками "сынов израилевых"...

Что осталось в памяти? Молчаливое рукопожатие, угрюмые глаза. Угрюмые – и настороженные: вряд ли этот курносый "цекист-интернационалист" подпишет договор с русским поэтом, знающим, кто во всём виноват.

А мне тут же вспомнились две строчки из чьих-то стихов: "Нем и мрачен, как могила, едет гуннов царь Аттила". Конечно, на царя Кобзев явно не тянул, но "нем и мрачен" – подходило в самый раз.

Договор я подписал, книжечка его вышла в свет.

...Минули годы и годы. Подошла в этой рукописи очередь буквы "К". Игорь Кобзев: а отчество-то? Заглянул в справочник 1986 года –– нету его! Полистал энциклопедический литературный словарь – тоже нету! Настала очередь "словаря-справочника" С. Чупринина, сработанного уже в XXI веке. Бог мой, кого в нём только нет – вплоть до жены Высоцкого, "изваявшей" одну книжечку воспоминаний о бывшем муже – а о Кобзеве ни слова. Есть Кобзев на стр. 631 тома I – но совсем другой, В. А., какой-то пушкиноед, чья книжка красноречиво охарактеризована в словаре словами рецензента "НЛО" "как канцелярская (по стилю) и графоманская (по мыслям) брошюра". И всё-таки Чупринин этого Кобзева "застолбил". А поэта-антисемита – геть из литературы! А ведь этот начисто забытый ныне поэт сформулировал капитальный для нынешней русской интеллигенции вопрос: *"Вышли мы все из народа... Как нам вернуться в него?"* Ответа нет, а "выход" после краха СССР стал просто бегством из родных палестин: кто на Запад за длинным долларом, ради комфорта и мнимых "ценностей". А кто – стремительно вниз, под социальный плинтус, в пьянство, в бомжи, в никуда...

КОРОТИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Образцово-показательный перевёртыш. То ли в 1979-м, то ли в 1980 году я с удовольствием подписывал в печать вёрстку его хлёсткой антиамериканской публицистики, которая разлетелась по всему Советскому Союзу циклопическим тиражом почти 4 миллиона экземпляров. (Не забыть оторопь, которую я ощутил на складе готовой продукции Чеховской типографии, где печаталась "Роман-газета": огромное безлюдное помещение и, насколько хватало глаз – влево и вправо – упакованные пачки журнала от пола до высоченного потолка. Целую тайгу, не меньше, пилили на один только номер!)

И десяти лет не прошло, а Виталик стал верным, суетливо-активным подельником "прораба перестройки" А. Н. Яковлева. Отодвинув в сторону могучего "коммуняку" Софронова, Коротич зажёг для страны обманный, болотный "Огонёк", заманивающий "совков" в демократию, на свободу по-американски, которая вдруг оказалась лучше, чище, комфортнее, чем тоталитарная советская несвобода.

Дальнейшее известно. Льстивый холоп убежал в Америку. Она не взыскала с него за прошлую ругань – он её отработал с лихвой...

КУГУЛЬТИНОВ ДАВИД НИКИТИЧ

Мы часто виделись и общались с ним в советские времена. А в 1986 году вместе (так совпало) отдыхали в Карловых Варах: он, увенчанный всеми возможными наградами державы, и я, помощник Предсовмина РСФСР. В конце отпуска Давид пригласил меня в свой отель. Звучали цветистые тосты за мир, за дружбу, за Россию. Но у меня в самом укромном уголке сознания таилось, словно степной зверёк в норке, глухое недоверие к речистому и громогласному визави...

Дело в том, что до меня ещё в Москве докатились слухи, будто Кугультинов сотрудничал в годы войны с фашистами, был чуть ли не эсэсовским офицером-пропагандистом во вражеском калмыцком военном формировании, а потом как-то хитро, змейкой увильнул от кары – и превратился в главного певца своего маленького, но гордого народа. Впрочем, слухи, словно мухи, как писал совсем другой поэт...

...Прошло ещё пять лет. Осенью проклятого 91-го ко мне в кабинет на Комсомольском вошёл калмыцкий поэт Алексей Бадмаев. "Надо поговорить, Михалич", – заявил он и плюхнул на стол передо мной внушительную папку. Я стал листать её. Да-а, там были в том числе старые фотографии – прямо скажу, не для слабонервных! И человек на многих из них весьма походил на Давида Никитича...

Я озадаченно сложил бумаги и фото обратно в папку, протянул её Алексею и заявил: "Не мне, дорогой, надо это предъявлять! Этим занимается Контора. Я не Давид, да и всему Союзу вряд ли под силу свергнуть такого Голиафа, как Кугультинов".

Конечно, я всё рассказал Бондареву. Шеф был, как всегда, краток и точен: "Не наше дело. Если понадобится – без нас разберутся".

Не понадобилось. Певец дружбы народов на какое-то время преобразился в антисоветчика и русофоба, а потом ушёл в мир иной... Нынче о нём в литературном мире ни слуху, ни духу.

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ

О великом поэте, крупной, неординарной личности невозможно рассказать сколь-нибудь внятно и толково "в алфавитном порядке".

Всего три эпизода из многих лет общения с Поликарпычем. Близко, потоварищески сошлись мы с ним в 1981 году, когда появилась в "Современнике" возможность поручить ему заведовать отделом поэзии. Я было совсем решился, да отговорил меня Лёня Фролов, главный редактор. "Поэт очень хороший, – сказал он, нажимая по-костромски на "о". – Но очень капризный, заносчивый, нетерпимый к чужому мнению. Намучаемся с ним. Не советую". И я струсил...

Однако судьба-индейка всё равно свела нас близко – уже в "Нашем современнике". Он упорно называл меня на "вы" (моложе был на 8 лет), но в остальном, кажется, почитал за своего, часто заходил в мой кабинет поговорить по душам, а когда душа его "горела" с утра – звал к себе на 1-й этаж остограммиться. Трудно, ой, трудно было отказать живому классику.

Пронзительно ясной, будто вчера, картиной живёт в душе поездка во Владимир и посещение храма Покрова на Нерли. О, это непередаваемое чувство духовного вознесения, когда голова запрокинута в глубь церковного купола! Когда мы вышли из храма, я спросил его, можно ли только что пережитое передать в стихах. Юра ответил: я попробую. И написал потом свою трилогию о Христе.

...Так было суждено, что я оказался последним из всех не родных, но близких ему людей, с кем он разговаривал за несколько часов до кончины. Мы с женой еле успели впрыгнуть во внуковскую электричку на Москву, а там, в вагоне – Кузнецов! Замкнутый, сосредоточенный. Минут двадцать поговорили о том, о сём, сказали друг другу, пожимая руку на прощанье: "До завтра!" А назавтра его уже не стало. Навсегда...

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Труднее всего "упаковать" его в алфавитно-справочный, почти бесстрастный мемуарный текст. Столько вместе пройдено, пережито, переговорено, переспорено... В одном только "Нашем современнике" плечом к плечу, душа в душу – уже девятнадцать лет!

О нём, своеобычном, ярком поэте узнал я, конечно, сразу по приезде с Кубани в Москву. Ещё до прихода в "Молодую гвардию" на одной из аппаратных "планёрок" Сергей Павлов сказал: "Отделу пропаганды надо постараться приблизить к комсомолу группу талантливых молодых поэтов – Евтушенко, Рождественского, Куняева..." Евтушенку приблизили – свозили на знаменитый молодёжный фестиваль в Хельсинки, и он отписался нашумевшим тогда "Сопливым фашизмом". А Куняева – не приблизили: не поддающимся идеологической конъюнктуре он оказался...

Шли годы. Я подружился с Володей Фирсовым. А Стас ещё долго был "за кадром". Как-то в издательстве у Валентина Осипова познакомились-поручкались, но сам этот момент не запомнился. Знакомы – и всё.

По-настоящему, по-товарищески объединила, сплотила нас, не убоюсь патетики – любовь к России, тревога за неё – и неприятие либерального "прогрессизма". Стас после знаменитых своих поступков – участия в дискуссии "Классика и мы", письма в ЦК КПСС о русофобско-еврейском засилии в литературе и искусстве советской страны – стал для власти реакционным русофилом и, следовательно, не премируемым госпремиями.

...В 1987 году стотысячным тиражом вышел в свет "Литературный энциклопедический словарь". Сколь важно любому писателю попасть в такое издание, "застолбить" своё имя на века – объяснять не буду. Как говорится, невыносимо ясно. Полистайте страницу 629. Начальные "Ку..." – Кайсын Кулиев; неведомый Моисей Кульбак, автор поэмы "Буня и Бера"; японец Куникида; однофамильцы Кунья – уругваец и бразилец – а Куняева нет! Не поленился, полистал – так и есть: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский – все

на своих местах: “рус. сов. поэт”. И Жигулин Толя – “рус. сов. поэт”. А Куняев – нет? Или просто “рус. поэт”? Не в этом ли отгадка отсутствия его фамилии?

В том же 1987 году (я уже был помощником Председателя Совмина России) Союз писателей выдвинул на соискание Госпремии РСФСР им. А. М. Горького критико-публицистическую книгу С. Ю. Куняева “Огонь, мерцающий в сосуде”. Секция литературы уважаемой комиссии по присуждению премий во главе с Михалковым высказалась “за”, правда, большинством в один или два голоса. Но другие, более чем уважаемые, вхожие в самые высокие кабинеты члены комиссии возмутились, возопили: “Как можно присуждать Госпремию человеку, позволившему себе в этой книге усомниться в общенародной любви к творчеству Высоцкого? Да это же явно от зависти! И, опять же, выпячивание “русской идеи”, “русского самосознания” в пику социалистическому интернационализму...”

Казалось, всё решено. В проекте постановления Совмина о премиях фамилия Куняева не значилась (как и в упомянутой выше энциклопедии). До торжественного вручения премий оставалось двое (или трое) суток.

...Я пришёл уже поздно вечером в кабинет Воротникова, держа в руках книжку Стаса, и попросил шефа прочесть (“ну хотя бы главу четвёртую, где о Высоцком”) эту книгу, вычеркнутую из премиального списка. Виталий Иванович строго посмотрел на меня и спросил: “Вы считаете, что нужно прочесть? Я не потеряю время зря?”

Через день я увидел, что в наградном проекте Воротников своим чёрным “паркером” от руки вписал фамилию Станислава Куняева отдельной строкой в перечень лауреатов в области художественной литературы.

А через четыре года Стас, уже главный редактор журнала, позвонил мне домой и спросил, кого я мог бы порекомендовать ему на освободившуюся должность первого зама. Уже изгнанный из Союза писателей, я без ложной скромности предложил свою кандидатуру. Станислав поверил мне. И я до сих пор благодарен ему и за доверие, и за братскую поддержку.

...Скоро ему исполнится 80 лет. Всё настойчивее одолевают его болезни, “тяжелее путь и тоньше нить”. Но мужественный, крепкий, цельный человек не просто не сдаётся – наращивает напор неиссякаемой творческой энергии. Он приветствует звоном боевого щита активные, несломленные силы России, укрепляя их новыми духоподъёмными книгами.

...А вот стихов больше не пишет. Уже 20 лет, с той поры, как погиб СССР. “Я сказал поэтическим словом всё, что хотел сказать, – говорит он. – Для меня настало время суровой прозы”.

Он сам теперь стихов не пишет, зато издаёт вот уже 23 года самый поэтический в России журнал!

МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

К своему 55-летию в сентябре 1988 года я вдруг получил поздравительную открытку от Алексея Маркова, с которым когда-то, в 70-е, жили по соседству на улице Яблочкова. (Гуляли, пиво пили, обсуждали разные актуальные проблемы; чаще всего – засилие в литературе и искусстве евреев-“прогрессистов” и западников. Потом разъехались в разные углы мегаполиса и долго-долго не виделись.)

Алексей написал мне вот что:

“Милый, чуткий, верный в дружбе Геннадий!

— Пусть будет чисто в небе
И свежи будут травы,
Не будет в русском хлебе
Химической отравы.
Пускай сердца людские
Не будут бессердечны,
Традиции России
Не умирают вечно.
А Вам желает лично
Удачи, счастья Марков.
Целую Вас публично
и обнимаю жарко!”

И — никаких намёков на встречу, и никаких просьб! А ведь я тогда работал в Совмине РСФСР. Ладно, что касается просьб, с этим всё понятно: Марков был человек гордый. Но почему же всё-таки вспомнил и поздравил?

В "Современнике", где я директорствовал до 1984 года, работала его дочь Екатерина. Очень, должен сказать, привлекательная особа. Само собой, вокруг неё кружились всякие (наверное, не безосновательно) слухи и сплетни. Однако в беседах с её отцом эта тема не возникала ни разу.

Алексей бывал мрачен, угрюм и упрям. Никакой склонности к компромиссам. Теперь я думаю, что эти качества натуры плюс талант позволили ему задолго до гибели СССР предвидеть беды и пакости конца XX века, постигшие Россию. Но дожить до этого ему было не суждено... Может быть, и слава Богу?!

МИХАЛКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Уж столько о нём говорено-переговорено, писано-переписано. Однако и мне есть что сказать о нём. Как говорится, из личного опыта. И благодарной памяти.

Он пришёл в Союз писателей РСФСР на должность председателя после ухода из жизни Леонида Сергеевича Соболева — милейшего человека, настоящего интеллигента и твердокаменного русского патриота.

Михалков, как известно, тоже дворянского (и древнейшего!) роду, был когда-то любимцем И. В. Сталина и уже многажды орденоносцем, включая высшие госнаграды — ордена Ленина. И потому, когда подступила дата его 60-летия (январь 1973 г.), в отделе культуры ЦК, где тогда я работал, было принято такое "соломоново" решение: коль скоро ордена Ленина у него уже есть, ознаменуем юбилей Трудовым Красным Знаменем. Инструктору Гусеву было поручено подготовить наградные документы. Скажу для тех, кто не знает или забыл: указы Президиума Верховного Совета о награждении орденами готовились в ЦК, а в высшем органе советской власти их просто подписывали.

Итак, сижу, пишу: "За большие заслуги в развитии советской литературы..." — и тут распахивается дверь моего личного кабинета. Влетает возбуждённый запыхавшийся Михалков.

— Г-геннадий! Это ты оформляешь наградные на меня? — и пронзил взглядом.

— Я, — подтвердил и удивился: что это с ним?

— Им-мей в виду: "Трудовичком" не отделаетесь! — прорычал юбиляр. — Не трать зря время! — И хлопнул дверью. Через пару-тройку дней вышел Указ о присвоении С. В. Михалкову звания Героя Социалистического Труда. Вторую геройскую "Звезду", к 70-летию, оформлял уже не я.

В 1980 году меня назначили директором первого (и единственного) общероссийского литературного издательства "Современник". На первую встречу с коллективом, на мою "инаугурацию", ехали в машине председателя Госкомиздата Свиридова.

— Н-не трусь, — подбадривал меня Сергей Владимирович. — Они там разболтались, но быстро присмиреют: у тебя ЦК за плечами!

В этом же духе он произнёс и свою рекомендательную речь. А уже где-то через полгода я вынужден был позвонить ему — лопнуло терпение. С подписанными им стандартными письмами-рекомендациями приходили ко мне один за другим поэты, прозаики, публицисты — и с ножом к горлу: заключайте договор! Чаще всего вскоре выяснялось, что этого делать не сто́ит. Подымался гам вселенский, обиды, угрозы, оскорбления... Вот жизнь была у графоманов! Я, помню, как-то посчитал, и вышло — минимум 8 партгоссовинстанций могли трепать директора из-за обиженного писателя. Увы, чаще — замаскированного графомана... Райком, горком, обком, СП СССР и РСФСР — и, наконец, ЦК. Однажды накатали на меня жалобу аж в КПК — как на несознательного коммуниста!

— Сергей Владимирович! — взмолился я. — Ну пожалуйста, не вооружайте просителей своими охранными грамотами. Спасу нет!

— Ст-тарик, — как всегда, с очаровательным своим заиканием ответствовал СВ. — Каждый занимается своим делом. Я рекомендую — ты разбираешься и отказываешь, если надо. Я ад-двокат, ты п-п-рокурор. Но в отличие от суда — там всякое бывает — последнее слово за т-тобой. Договорились?

На протяжении последующих четырёх почти лет он ни разу не упрекнул меня, что я “не прислушался”. Это был человек слова. Прямо по Черчиллю: “Я хозяин слова: сам дал его – сам могу взять обратно”. Ну это я так, между прочим.

Его очень любил Илья Глазунов, называл своим Благодетелем. Со мной ничего такого, в смысле благодеяний, не было. Один только раз я попробовал трепыхнуться, когда он вдруг восхотел издаться в “Современнике”. “Но у нас ведь “взрослая” литература!” – попробовал я сыграть в недоумение. Он быстро поставил меня на место, как когда-то с “трудовичком”. Единственное, что утешает: его книга вышла в свет, когда я уже покинул директорский кабинет. Но договор-то по высшей ставке всё-таки я подписывал...

НЕФЁДОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Эх, Женя, Женя... Как же славно, как весело жили мы на Внуковских холмах! Но подточила тебя исподтишка, накопилась в сердце ядовитая отрава – и враз всё рухнуло и разбилось, как зеркало, вдребезги... Враз – и навсегда.

Поныне тяжко переживаю его уход. Да, мучила астма, да, избыток веса телесного был очевиден. Но ведь не пил, не курил, вообще был враг излишеств! Неисповедимы пути и решения сил небесных...

Но всё-таки о его поэзии. Не сомневаюсь, что книги Нефёдова и особенно 20-летний *подвиг* еженедельного сатирико-стихотворного отклика в газете “Завтра” на происходящее во временно побеждённой России останутся в благодарной истории русской публицистики. Как мог, я воспел этот подвиг в своей рецензии на книгу Жени “Птенцы гнезда Бориса. Евгений о неких”. И так уж он меня хвалил за неё! Но я-то знаю, что самой сокровенной мечтой его был переход, перелёт, преображение в признанного лирика. А политика, как цепкий репейник, всё не пускала в райские сады истинного вдохновения...

Помню, шли мы с ним к роднику за водой – это в Переделкине, неподалёку от дачи Пастернака. Раскинул он руки и воскликнул громко, радостно: “Узнаю тебя, жизнь, принимаю!..” Потом вздохнул: “Нет, не принимаю такую! Тяжело, Гена. Воспевать бы вот этих весенних птичек, славить эту небесную синь – а у меня в голове всё бесы – меченые, да беспалые, да рыжие мечутся...”

Он был рыцарски, несокрушимо предан Красной Империи, своему родному Красному Лиману и своей газете.

НОЖКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Огромной нравственной и духовной силы талант! Он и бард – классом, по-моему, ничуть не ниже, чем до кумира возведённый Высоцкий; поэт пронзительной русской искренности (как выдохнуто перед тем, как шагнуть в огонь: “Последний бой – он трудный самый...”); и, конечно же, замечательный артист. А уж о мужском обаянии, притягивающем людей к нему, словно магнитом, и говорить нечего!

Он подарил мне своё аудиособрание сочинений – целых 12 кассет! Поистине царский подарок. И как только устанет, заноет душа, израненная лицезрением уродств и издевательств новых хозяев жизни над Россией и её народом – включаю магнитолу с записями его замечательных песен русского Сопротивления.

Господи! – взываю я к небесам и иконам. Сделай так, чтобы и Михаил Иванович, и Егор Исаев, и Миша Годенко, и Семён Шуртаков – дорогие мои старики – назло врагам и времени дожили бы до русской Победы!

ОЛЕЙНИК БОРИС ИЛЬИЧ

“Он пошёл поперёк”, – вспоминаю я строчку из “космического” стихотворения Юрия Кузнецова – вспоминаю всякий раз, когда думаю о славном, несгибаемом украинском поэте. В отличие от многих-многих националов, аллилуйствовавших при советской власти, Борис остался верен идеям и правде социализма и дружбы народов.

Замечательный, поистине "щирый" украинец был не просто компанейским, добрым, открытым человеком, но и надёжным товарищем. Мы не стали близкими друзьями, не получилось, как теперь говорят, "по жизни". Но однажды, когда я редактировал "Роман-газету", позвонил ему и попросил встретить в Киеве и переправить в Винницу мою жену с маленькой дочкой. Борис сказал: "Добре". Но не просто встретил, а показал моим мать городов русских, довёз до Винницы и там сдал их, очарованных "дядей Борей", с рук на руки моему другу. Такое не забывается.

Олейник – по-настоящему большой поэт. На таких, как он, вся моя надежда: переживём лихолетье самостийности и отчуждения! Всё равно будут вместе две родные сестры – Россия и Украина. И снова в школьных учебниках и на мове, и на русском оживут певучие, мудрые строки Бориса. Трудно сейчас в это верить – но без веры, надежды и любви жизнь иссыхает, лишается смысла.

ОШАНИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ

Думаю, что творческое бессмертие (точнее – долголетие) в памяти русского народа Льву Ивановичу гарантировано: невозможна духовная, эмоциональная картина Великой войны без его фронтовых песен. Любая строчка из баллады "Эх, дороги" – любая! – рассказывает о народной беде и грядущей победе больше, чем иные скучные романы или трескучие репортажи. "...Твой дружок в бурьяне неживой лежит..." "...У крыльца родного мать сыночка ждёт..." Звучат эти строчки – и несёт тебя, душу твою по опасным, пыльным и туманным дорогам войны – а кругом бушует пламя, земля дымится – и дороги эти позабыть нельзя. Невозможно!

ОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

"Его зарыли в шар земной..." Золотая строка, обеспечившая автору долгую-долгую известность. А был он, говоря его же словами из великого стихотворения, "всего, друзья, солдат простой без званий и наград". Нет, конечно, у героя-танкиста Орлова было звание, были награды, была и должность – секретарь правления Союза писателей России. Но какое значение всё это имеет "sub specie aeternitatis" – с точки зрения вечности? Мне кажется, он, горевший в пылающем танке, вырвавшийся из цепких лап смерти, постиг самое главное: смысл жизни – в готовности пожертвовать ею ради славы и самостояния Отечества. А остальное – мелочи, житейская шелуха. От Сергея воистину веяло вечностью.

Он был положен в шар земной в 1977 году. Через 32 года после войны она, проклятая, всё-таки настигла его. Но стереть, вытравить его имя из великого перечня русских героев, победивших фашизм, – не удастся никогда, покуда жива хоть одна русская душа на свете.

ПЕРЕВЕРЗИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Одна из самых интересных, выразительных и противоречивых личностей в постсоветской литературной среде. Многие ценят и уважают его (ещё бы! за просто так такими заметными и многое решающими в творческом мире не становятся). Многие, особенно либералы, а также кое-кто из независимых, "не стайных" – относятся к Ивану полупрезрительно-полупижонски и недружелюбно: наехал из якутской глухомани в столицу с большими деньгами русский выскочка, обворожил писателей-патриотов своею решительностью, рисковой натурой – и пролез к вершинам писательской власти. Сам Сергей Михалков, в гроб сходя, благословил Ивана на председательство в Международном сообществе писательских союзов...

А я никогда не забуду, как мы с Геной Касмыниным гостили у Ивана в Ленске, когда он был ещё просто фермером, и мой тёзка готовил к печати первую книжку молодого русского якутского поэта. А вскорости, в декабре 1994 года, когда журналу нашему грозило полное финансовое банкротство, Переверзин, уже зам. главы администрации города Ленска, оплатил сдвоенный номер "НС" (№ 11-12) и спас издание. Такое не забывается!

Потом Иван Иванович перебрался в Москву, стал удачливым шефом Литфонда России и широко "расписался" как поэт. К нему и здесь, на творческой

ниве, отношение разное. По-моему, его лирике недостаёт философской глубины – зато буйствуют иногда до очаровательной наивности авторские эмоции. Я – за таких поэтов; хороших, разных, наивных – а иногда и неожиданно мудрых.

ПОЖЕНЯН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Я познакомился с ним полвека назад, в "Молодой гвардии". Гриша был тогда третью мифического "Горпожакса", автора лихой антиамериканской книжки (Горчаков, Поженян, Аксёнов). Запомнилось: шумные, громогласные, самоуверенные Гриша с Васей – и тихий, застенчивый Овидий. Разведка шума не любит.

Потом, уже в издательстве, мы снова сблизились с Григорием, но не на почве шпионского детектива, а на поэтическом просторе. Слегка бравируя своей прозападной оппозиционностью, он даже предложил мне пари, что более половины предложенных им стихов в будущей книге не выйдут, не увидят света – "цензура забодает, старик, вот увидишь!"

К удивлению Гриши, сборник вышел более чем благополучно. То ли цензура не доглядела, то ли автор чересчур тщательно спрятал "фигу в кармане". Пари – дело святое, и в один из дней мы отправились в Переделкино, на Гришину дачу, отмечать выход "счастливой" книжки.

Ох, и сцепились мы с ним, вдребезги разругались, как только разговор коснулся западных прелестей и преимуществ. В моей жизни это был, пожалуй, единственный случай, когда я в пылу жаркой дискуссии позабыл, что мой собеседник – фронтовик, герой обороны Одессы. Ведь это он так здóрово сказал когда-то, что солдату немного нужно – "по трудному счастью на брата да красное знамя на всех". Увы, ко времени нашей встречи в Переделкине красное знамя сменило цвет на красно-бело-синий...

ПРИМЕРОВ БОРИС ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Поэт милостью Божьей, он даже в светлые советские времена казался кем-то "не от мира сего": огромные удивлённые глаза, неожиданные слова, непонятные поступки, внезапные перепады настроения. Только что громко, от души смеялся – и вдруг смятение, грусть, чуть ли не отчаяние... Почему? Что случилось? А не узнаешь; спросишь – Борис как-то виновато улыбнётся, слабо махнёт рукой и словечка не скажет.

"Блаженный", говорили о нём жестокосердые прагматики. "Блажен, кто верует", – это подходило к Примерову гораздо больше. Думаю, именно вера в человечность советской власти помогла ему незадолго до гибели написать едва ли не лучшее стихотворение, обращённое к Господу и к... СССР. "Боже, советскую власть сохрани!" Этот страстный рефрен выразил душевное состояние миллионов людей, осознавших после длительного дурмана перестройки, чтó и почему они потеряли...

В 1992 году я впервые оказался в литфондовской больнице на Каширке с подозрением на микроинфаркт. Помню, как надо мной склонились два почтенных доктора, повторявших ежеминутно чуть ли не с радостью два слова: "мерцание", "трепетание". Это мерцало и трепетало моё изношенное сердце. А на этаже, в соседней палате доживал последние свои земные дни Боря Примеров. Мне до сих пор кажется, что именно там, в больнице, он принял окончательное решение – уйти из этого мира, погрязшего во грехе, блуде и предательстве. Мы гуляли с ним по коридору, обсуждали политические и литературные новости (чего-чего, а новостей тогда было навалом, сверх всякой меры). Одна фраза Бориса резанула меня, уколола, словно спицей: "А зачем теперь жить, Геннадий Михайлович? Ясно же, что всё будет хуже и хуже, и конца этому не видать". Не мог я тогда предположить, что он уже подводит итог, точнее – черту под собственной жизнью...

РЕГИСТАН ГАРОЛЬД ГАБРИЭЛЬЕВИЧ

Гарик был достойный сын своего отца – соавтора первого советского государственного гимна (вместе с Сергеем Михалковым Эль-Регистан сочинял знаменитый "сталинский" текст, который потом целиком приватизировал

властоугодливый непотопляемый “дядя Стёпа”). Скажу больше – Гарольд для меня служит весомым опровержением старой догмы, будто “природа отдыхает на детях великих людей”. Его поэзия более глубока, более раздольна, нежели традиционно экзотичные строчки папы Габриэля. Кстати говоря, весьма похоже и ещё одно поэтическое “яблоко”, которое недалеко упало от “яблони” – это Расул Гамзатов, во всём превзошедший своего отца, мудрого Гамзата из горного аула Цада.

Они дружили с Фирсовым – значит, рядом с ними, в том числе на “алексеевских посиделках” (в ресторане “Украина” в дружеской компании Михаила Алексеева, Ивана Стаднюка, Геннадия Семенихина), бывал и я. Мне и место в застолье чаще всего выпадало рядом с Гариком. И он, постоянно эмоционально взвинченный, охваченный тревогой за судьбу России, одним из первых в нашем круге друзей угадал лживую, беспринципную сущность “безродного баловня судьбы” генсека Горбачёва.

Меня часто коробило регистановское нытьё: всё идёт в державе не так, благородные идеалы коммунизма и даром никому не нужны, зато всем хочется пожить сытно и комфортно – “как у них”.

“Помяни моё слово, Михалыч: скоро мы проснёмся – а Союза-то и нет, исчез, как призрак, потому что все от идей отвернулись, и никакой революции не надо. Победит желудок, восторжествует секс”... Так пророчествовал Гарольд – увы, всё так и случилось.

...Он умер как-то тихо, незаметно – сколь много было таких смертей в годы ельцинского геноцида. Повесился Примеров; задохнулся от негодования Гарольд Регистан...

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ

Всё написанное им во славу Советской власти и КПСС – всё забыто и замолчано, словно и не было велеречивых “Двухсот десяти шагов” и множества других, порой откровенно публицистичных, крикливо-пропагандистских стихов. Зато либералы, обкорнав поэзию Роберта, всячески выпятили его песенную лирику, созданную поэтом в содружестве с композитором Арно Бабаджаняном. Певец развитого социализма был превращён в аполитичного шоу-поэта.

Когда было принято решение об издании “Нерва”, сборника стихов Высоцкого, именно Роберт согласился написать к нему предисловие. Его друзья и единомышленники – Евтушенко и Вознесенский – слишком откровенно (вероятно, из зависти?) подчёркивали “бардовость”, а не поэтическую самодостаточность поэта-артиста. Кстати, Окуджаву они охотно называли поэтом, хотя оснований для этого у Булата было ничуть не больше, чем у Высоцкого.

Любопытна первая фраза предисловия “От составителя”, т. е. Р. Рождественского: “Эта книга – не песенник”. Хитрый Роберт вроде бы сразу отрезал: Высоцкий больше, чем бард. Впрочем, никакой смелости в этом не было – автор далее всем содержанием своего предисловия утверждал именно песенность, неразрывную связь актёрского голоса и музыки с литературным текстом. Теперь я думаю, что скорее всего Роберт был прав. Но эмоциональный заряд стихов Высоцкого оказался столь велик, столь ко времени великой антисоветской смуты, что до сих пор он, уже в “новой” России, “больше чем поэт”. Или – всё-таки меньше?

Побывал директор “Современника” и в гостях у Рождественского, на переделкинской даче. Что запомнилось? Стойкое ощущение чуждости, постылости быта этой семьи, какая-то деланность речей и почти нескрываемая фальшь совсем ненужных комплиментов. Всё было чужое, холодное – даже еда...

РУЧЬЁВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

На всех мероприятиях Союза писателей России в 70-е годы они были вместе – уральская поэтическая “бригада” во главе с молчаливым, скромным Борисом Ручьёвым. Рядом с ним – статная, высокая женщина с ласковым, чарующим голосом – Людмила Татьяничева, и молодой поэт, бывший сталевар Валентин Сорокин.

Я знал, что Ручьёв был жертвой репрессий 1937 года и целых 14 лет отбывал несправедливый срок на Колыме, на "полюсе холода" – возле Оймякона. Как Я. Смеляков, В. Боков, О. Волков, Ручьёв для меня был образцом человека, не сломленного злой несправедливостью судьбы и государства, оставшегося патриотом Отечества, которое не проклинают, на которое не таят обиды и злобы.

Милейший, немногословный Борис Александрович! Сколько же пришлось ему пережить, перетерпеть, выстрадать! Лишь недавно (благодаря публикации в родном журнале) я узнал некоторые подробности лагерного житья Ручьёва – и вновь восхитился нравственным величием этого человека. Он сумел поэтически достойно выразить своё неприятие законов и "понятий" блатного мира, ныне воспеваемого псевдоискусством "свободной" России...

— ...Горд я тем, что не завыл по-волчьи,
В волчьей стае молодость прожив...

И – жизнеутверждающий, судьбоносный вывод:

— Горд я тем, что душу от заразы
Для друзей и Родины сберёг.

Эти слова дорогого стоят!

Замечу ещё вот что: в неоконченной своей поэме "Полюс" Ручьёв впервые сравнивает сталинскую систему лагерей – ГУЛАГ с архипелагом, где "зоны – те же острова". Так что не Солженицыну принадлежит авторство зловещей метафоры...

СВЕТЛОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ

Он по отцу вообще-то Шейнкман, но это не имеет отношения к поэзии, ведь так? Я встретился с ним всего лишь раз, и было это незадолго до его смерти от рака.

М. А. давно и прочно дружил со своим соплеменником, художником-карикатуристом Иосифом Игиным, который активно сотрудничал с издательством "Молодая гвардия" и питал ко мне явную симпатию. Вероятно, и с учётом моей должности. Однажды Иосиф Ильич пригласил меня к себе в мастерскую на Мясницкую (тогда – на улицу Кирова, близ метро того же названия, нынче "Чистые Пруды").

– Приходите, познакомлю вас с двумя героями моих карикатур. С какими? Секрет. – И интригующе улыбнулся.

Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице старенького двухэтажного дома, вошёл в большую комнату, вкусно пахнущую дорогими сигаретами, варёным кофе и коньяком. "Героями" Игина были два Михаила – Светлов и Таль. Слегка кольнуло сердце: очень уж иссохшим, испитым, смятым болью, всё в глубоких морщинах, было лицо знаменитого поэта. Но когда разлили свежую бутылку коньяка, Светлов оживился, глаза озорно зажглись: "Ну что, друзья, махнём эту лампаду "за молодую гвардию рабочих и крестьян!" И, почти пропев строчку из Безыменского, улыбнулся мне и "махнул" – не торопясь, со вкусом.

Потом я расхрабрился и сел играть в шахматы с пьяненьким гроссмейстером Талем. **Ничья!** Подумать только! Я чувствовал себя чеховским героем, попавшим под лошадь. Да, пьяненький, небдительный – но ведь Таль!

...После этого снова играл в шахматы уже через много-много лет – со своими внуками. И не так удачно. А тем "историческим" матчем у карикатуриста Игина всю жизнь хвастался, правда, обязательно добавляя: "Ну, конечно, Миша Таль был не в лучшей своей форме, но..."

...Игин ещё раз взял меня с собой на свидание с умирающим Светловым. Тягостное зрелище: налитые болью глаза, беспомощная, обтянутая жёлтой кожей рука. "Пива принесли? А рак у меня есть", – шепнули губы, когда-то выпевшие на весь мир "Гренаду"...

СИМОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Поэт, любимый с детства. Очаровывал душу мою ещё с довоенных, теперь уже немыслимо далёких лет. Вместе с Пушкиным. По-своему, по-советски (а Пушкин – по-русски!).

"Был у майора Деева товарищ, майор Петров..." Быстрые, летучие строки – и дерзкий, запомнившийся навсегда рефрен, почти девиз: "Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать! Ничто нас в жизни не может вышибить из седла..." Скольких, кроме меня, вдохновлял этот девиз!

Единственная близкая встреча моя с поэтом (остальные, мимолётно "рукопожатные" – не в счёт) состоялась на закате его земных дней, во время поездки большой писательской делегации в Грузию (осень 1978 года). Я только-только пришёл в "Роман-газету" – не все ещё знали, что я больше не "комиссар от ЦК". Симонов, уже совсем больной, исхудавший, тем не менее, взял на себя руководство нашей разношерстной оравой, определяя, кто куда поедет на встречи с читателями – кто в Абхазию, кто в Аджарию, кто в Телави, Кутаиси, Цхинвали... Дошла очередь до меня. "Евгений Аронович! – обратился он к Долматовскому, "бригадиру" абхазской писательской группы. – Гусева из "Роман-газеты" – к вам, не возражаете? А то у вас, я смотрю, одни поэты!" Мне на мгновение показалось, что Симонов ненароком зачислил меня в прозаики. Я и обрадовался тайно, и огорчился: если бы... А он посмотрел в мою сторону, грустно улыбнулся и кивнул головой.

Совсем немного времени прошло, и его не стало. Прах его был развеян над кровавым полем боя на Могилёвщине, где насмерть летом 41-го стояли герои-однополчане, памяти которых он остался верен до конца.

На книжной полке у меня стоит томик стихов Симонова, подаренный в 1985 году художником В. Медведевым, "одетый" в футляр, сшитый из солдатского военного сукна. А на форзаце – солдатское письмо с отметкой военной цензуры, словно пропуск в книгу фронтового прославленного поэта...

СМЕЛЯКОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Люблю и преклоняюсь перед этим человеком-глыбой, настоящим русским мужиком, который "гнётся, да не ломится", до конца на своём стоит, чего бы это ни стоило.

...Повезло мне: я не просто был знаком с неистовым Ярославом, но даже однажды был награждён особым его вниманием – приглашён на его 60-летний юбилей, который отмечался скромно, по-домашнему, среди друзей. Деталей и всех обстоятельств уже не помню. За одно ручаюсь: я был в тот день и час счастлив и красноречив. Ещё бы! Ведь Ярослав Васильевич такой родной, такой **свой**, преданный советскому Отечеству, несмотря ни на что! Наверное, хорошим, проникновенным был мой тост за здоровье Ярослава, овеянного яркой поэтической славой, певца нашей комсомольской юности, – юбиляр неожиданно заявил, рубанув рукой сверху вниз:

– Давай, Геннадий, руководи дальше застольем – у тебя хорошо получается!

Словно приговорил меня 40 лет тому назад на многие годы быть тамадой в самых разных застольях – в родной стране и за границами её.

Стихи Смелякова, его "Работа и любовь", подаренная мне автором в феврале 1972 года, стали на всю жизнь одним из неиссякаемых моих духовных аккумуляторов. Когда наползает на сердце неожиданная тоска, когда вновь и вновь всею своей громадной неразрешимостью тревожит кантовско-толстовский вопрос о смысле твоего бытия на земле, я достаю с книжной полки Пушкина, Бёрнса, Юру Кузнецова – и обязательно Смелякова.

Обязательно!

СУРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор бессмертной "Землянки", знаменитого "Марша защитников Москвы" однажды (уточняю: единственный раз!), уж и не помню – по какому случаю, пригласил меня, молодого "молодгвардейца", к себе домой, в огромную мрачную квартиру на улице Горького, неподалёку от Почтамта. Я, честно сказать, трепетал: впервые такой человек наедине со мной – "небожитель",

лауреат и т. д. – как вести себя с ним, о чём говорить, чтобы не заговориться?

Первым делом он достал из холодильника бутылку "Столичной", какую-то нехитрую закуску. Спросил, какого я роду-племени, как в Москву попал. Словно школяр на экзамене, я сжато отвечал на его вопросы. Чем дальше, тем больше мне казалось, что он похож на мрачного Жарова или на лысого Грибачёва. Да и правда, они были похожи, как родня – писатели сталинского племени, самоуверенные, ревнивые, готовые на всё, чтобы у партии не было никаких сомнений в их преданности, закалённые в политических интригах, осторожные – и беспощадные.

Наша встреча произошла ещё до снятия Хрущёва. Видимо, Суркову очень хотелось выпытать, а как новое поколение, вступившее в жизнь после XX съезда, всё-таки относится к разоблачению культа личности Сталина. Во всяком случае, он скоро повернул наш разговор (под рюмочку, под селёдочку) именно в это русло. А я, захмелев и осмелев, заявил хозяину: дескать, непростимы Сталину невинные жертвы, но всё-таки с ним, с его именем мы победили немцев, бомбу сотворили, в космос вырвались. Ну, в общем, как писал мой друг Феликс Чуев: "Зачем срубили памятники Сталину?"

Сурков, явный сталинист, слушал меня жадно и, по-моему, стальные глаза его оттаяли, потеплели.

СТАРШИНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Он для меня – один из самых-самых красивых, добрых, открытых людей, когда-либо встреченных на долгих, извилистых дорогах жизни. Одна улыбка была просто бесценна – всё вокруг становилось каким-то родным, понятным, простецким... Великое счастье – хотя бы время от времени встречаться с таким человеком, читать его книжки, упиваться стихами...

Хранится у меня, кроме книжек с автографами, и один – тайный! – экземпляр его собственного "самиздата". Это – аккуратно сброшюрованный вручную сборничек, содержащий 220 русских частушек – по преимуществу скабрёзных и даже откровенно матерных. Как говорится, "автор неизвестен", то есть Коля собирал, записывал их по городам и весям матушки-России, хохотал, удивлялся, смущался – и радовался остроумию и неунываемости русских мужиков и баб.

– Обрати внимание, Михалыч, – говорил он мне. – Здесь нет никакого следа западной деловитости и прагматичности в вопросах секса. Наши обязательно – поверь мне, я давно изучаю проблему – относятся к самому интимному с юмором, с непременным преувеличением и огрублением. Никакой поэзии "низа", только юмор! Это от тайного, скрываемого от людей стыда, поверь мне!

Он был когда-то ротным запевалой, он прошагал и на пузе прополз в годы войны пол-России и пол-Европы – и сохранил в очаровательной детской цельности русскую душу. Молодым помогал, друзьям прощал грешки вольные и невольные, Россию любил беззаветно – а скромен был, как, пожалуй, никто другой из собратьев по перу. Во всяком случае, я никого другого рядом с Николаем поставить не могу. Все – скрытно или явно – считали себя, хоть немножко, "избранными", Богом отмеченными. Старшинов был абсолютно свободен от гордыни, высокомерия, снобизма. Человек, подобный тёплому и радостному солнечному лучу...

СУХОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Товарищ Сухов – поэт, был, когда позвала Родина, и замечательным красноармейцем. Истинный сталинградец: полон достоинства и серьёзности, подтянут; чуточку суховат. Немногословен. Именно таким и запомнился, хотя разговора по душам с ним у меня так и не случилось. Вот встреча в редакции журнала: беседуют два больших поэта, я – третий, не поэт, слушаю и любуюсь ими. Не выдержал – встрял:

– Фёдор Григорьевич! А как вам сталинградские стихи Михаила Львова? Как они – если без музыки и великого голоса Зыкиной?

– "Когда кипела волжская вода" – это всё-таки поэзия, независимо от Зыкиной, – ответил мне Сухов, кажется, с оттенком недовольства. А Станислав Куняев снисходительно улыбнулся...

СУЛЕЙМЕНОВ ОЛЖАС ОМАРОВИЧ

"Казахский Евтушенко" (и правда, сходство было – какое-то сущностное!), бесспорно, отмечен талантом.

Встречались с ним неоднократно, и всегда – конечно же, не на равных: он – поэт, я – чиновник, пусть и с высшим образованием. Олжас не скрывал своей снисходительности. Лишь однажды возникла ситуация, когда ему пришлось прибегнуть к испытанному восточному приёму – изощрённой лести. Это была история с его книгой "Аз и я", изданной (даже по тем временам) непомерным для Казахстана тиражом – по-моему, 65 тыс. экз. А я был в отделе культуры ЦК КПСС "куратором" Союза писателей Казахстана и мог весьма подпортить сладкую жизнь Олжаса. Ведь речь шла о явно националистических – сильных! – и даже русофобских мотивах в его книжке. Инструктор ЦК пишет служебную записку... и вдруг возникают трудности с загранпоездками – а будущий мининдел Казахстана ой как любил вояжировать по заграницам! Ничуть не меньше, чем кунак Женя со станции Зима.

"Аз и я", естественно, была спущена на тормозах. Олжас, как и многие его коллеги в других республиках, продолжал готовиться к отречению от КПСС и Советской власти.

ТВАРДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ

Он был из немногого числа тех, кто созидал, выстраивал, закалял душу поколений русских людей – тех, кто победил Гитлера, и тех, кто были детьми на пороге или в пламени Великой войны.

Не представляю своих погодков, да и тех, кто учился в советской школе ещё до оскорбительного перестроечного нахрапа: "Даёшь правду – и ничего, кроме правды!" – чтобы не читали они "Тёркина", чтобы не замирали юные сердечки от страшных, истинно правдивых и беспощадных слов великого стихотворения "Я убит подо Ржевом". Таким влюблённым в поэзию Твардовского пришёл я на работу в отдел культуры, не предполагая ещё, что, хоть и косвенно, буду соучаствовать в смещении великого поэта с редакторства в "Новом мире". Не хватило у партии – уже тогда, за 20 лет до её гибели – великодушия и духовной стратегии, чтобы поберечь "Тварда" (уже тяжко больного, кстати), возвысить его в год 60-летия: уж кто, как не он, заслуживал Героя? А мы ему – "Трудовичка". Дескать, вот тебе за упрямство и непослушание... Ну, и оттолкнули окончательно в объятья недругов, и ускорили гибель...

"Я знаю – никакой моей вины"... И он же, мудрый, понимающий, продлил эту в том числе и мою без вины виноватость гениальным рефреном: "...и всё же, всё же, всё же..." Всё же... я тогда работал в ЦК.

ТРЯПКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Аристократ Глазунов не раз презрительно хмыкал, говоря о русской патриотической поэзии XX века: "Тоже мне классики! Тряпкин, Тяпкин, Туркин..." А ведь стихов Николая Ивановича не читал великий художник! Прочёл бы – не стал бы, я уверен, хмыкать и хихикать.

Тряпкин – по-настоящему большой поэт. "Божья дудка". Мне довелось быть с ним вместе в трагические минуты его жизни – уже на излёте, когда ударил инсульт, когда в семье его, беспомощного, обессиленного, поднялась мутная волна имущественных дрязг. А поэту, пластом лежащему в кровати, просто грозил голод. Мы с Бондаревым (я был тогда оргсекретарём Союза) нашли деньги; я приехал в дом Тряпкина и провёл суровую, жёсткую беседу с женой, дочерью и зятем поэта – чтобы не травили старика! Николай Иванович, как мог, благодарил меня, мыча и плача, а сердце моё разрывалось от жалости и гнева на Богом проклятого Горбачёва...

В студёную зимнюю пору похоронили мы Николая Ивановича среди россыпи недавних могил на одном из новых московских кладбищ. Почти 20 лет минуло. Скажи мне сегодня – найдёшь могилку Тряпкина? Боюсь, что не найду...

А ещё говорят: "государствообразующий народ" русские. Может, и так, только **это** государство – РФ – образуют не русские. Вот увековечить светлую память Андрюши Вознесенского – всегда пожалуйста. А тут – Тряпкин, понимаешь, совсем не Байрон, хотя и с русской душой. Ну и что?..

ФОКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Необыкновенно русская, свойская, родная, словно из соседней деревни, только во всеоружии образования – вот такое впечатление у меня от немногих коротких встреч с Ольгой. Ни в чём не изменилась, ничему родному не изменила. Вот уж истинный ответ на кобзевский вопрос: "Вышли мы все из народа... Как нам вернуться в него?" А Фокина никогда и не выходила!

Сергей Васильевич Викулов очень ценил дарование Ольги, заметно переживал, когда в его родном журнале долго не появлялись её новые стихи. Он готов был даже подозревать Куняева: уж не "заморозил" ли Стас отношения журнала с народной поэтессой, не проявил ли невнимание к её творчеству.

– Она не стареет! – горячо говорил он мне. – И не повторяется. Всякие выверты постмодернистские ей чужды, противны. От этого больше горечи в её последних стихах, но ничуть не меньше веры в русскую могучую силу!

Я соглашался с ним, а сам продолжаю думать: что-то давненько от Ольги Александровны весточки со стихами нет. Возраст? Хвори одолели? Дела житейские. Но всё-таки хочется верить – Ольга ещё не спела свою последнюю песню!

ЧУЕВ ФЕЛИКС ИВАНОВИЧ

Один из самых близких и дорогих мне товарищей – и по темпераменту, и по характеру, по твёрдости убеждений. Уж как только его не гнули и не гнобили – да перестань ты носиться, как с иконой, со своим Сталиным, неужели не видишь – ты в абсолютном меньшинстве, и партия уже ясно определилась с культом, а Чуев всё своё гнёт: Сталин – наша слава боевая... Феликс не гнулся, не сдавался – он предчувствовал, предвидел, что в XXI веке общественный запрос на фигуру сталинского типа и масштаба будет только возрастать и усиливаться. И речь именно не о конкретном Иосифе Джугашвили, в Бозе почившем более полувека назад, со всеми его человеческими комплексами, слабостями и пороками, а о Сталине – мудром вожде, дальновидном политике, полководце и организаторе. Феликс преклонялся именно перед таким Сталиным и верил в него до конца дней своих.

Самым дорогое для меня воспоминание о Феликсе – это дни и ночи в подмосковном доме отдыха "Ёлочка" под Звенигородом, где мы дружной бригадой сочиняли для последующей (но так и не состоявшейся) публикации "Слово о комсомоле". Как молитву повторяю с тех пор пронзительно оптимистичную строчку из Феликсовой поэмы: "Озарённая гагаринской улыбкой, голубая будет вечно плыть Земля". Земля и после полёта Юры Гагарина будет вечно плыть в космосе, но она уже **другая** – её украсила улыбка космонавта № 1. Так завораживающе действует поэтическое слово. Думаю, что особенно глубоко – слово близкого друга.

ШИПИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Какой это был весёлый, компанейский парень! Когда он приходил к нам в редакцию, в отдел прозы к своему другу Славе Морозову, бывшему десантнику, мы все (а я в особенности) оживлённо, радостно предвкушали, как сейчас лихие "небесные ангелы" споют фирменную Колину песню: "Я с покоса – и домой". И две гитары, подзадоривая друг дружку, без всяких усилителей наполняли комнату шелестом и звоном скошенной травы, заполошными вскриками полевых птах.

Коля только-только успел отметить свой "пенсион" (60-летие), переехать в наш писательский городок Внуково и – внезапно скончался.

ШЕЛЕХОВ Михаил Михайлович

Поэт, написавший такие сильные стихи о Сталине! Отнюдь не раболепно-культовые, вовсе нет. Мне кажется, Шелехову удалось, словно на неких мировых весах, взвесить, чего больше Сталин сделал для России – добра или зла. И сразу запомнилась своею прочувствованностью первая фраза одного из его стихотворений:

Этого человека трудно любить
И трудно стихи посвящать...

Не правда ли, как перекликается эта мысль с гениальной строкой А. С. Пушкина о сербе-отцеубийце Карагеоргии: “И ужаса людей, и славы был достоин”.

В один из приездов Михаила в Москву, в нашу редакцию (это было лет 7-8 назад) я познакомился с ним, сказал по-белорусски “дзякуй” и крепко пожал ему руку. За Родину, за Сталина.

ЮШИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Женя какое-то время был главным редактором журнала “Молодая гвардия”. Уж так мы с Куняевым старались сблизить, спаять единой идеей три русских журнала! Но, увы, “каждый умирает в одиночку”. Слишком замкнут и холоден был главный в журнале “Москва” Лёня Бородин. Слишком слабым как организатор и боец оказался Юшин. Так посмотреть – парень хоть куда: сговорчивый, контактный, но не рождённый руководить. С поэтами это бывает часто... В конце концов, когда тираж “Молодой гвардии” “сдулся” чуть ли не до одной тысячи экземпляров, Женя сдал вахту своему товарищу, тоже поэту, но человеку с гораздо более высокой планкой личных амбиций. Приведёт ли он уважаемый журнал к возрождению его былой славы – не знаю. Не уверен.

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

ПУТНИК, В ЛАЗУРЬ УХОДЯЩИЙ

Метафизика света в творчестве С. А. Есенина

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Сергей Есенин

"Ключи Марии" в истории русского внецерковного мистицизма

Рассказывая о своей встрече с Сергеем Есениным "лютой, ветреной и бесснежной зимой" 1921 года в Москве, С. М. Городецкий вспомнил и о полученной им в подарок теоретической работе "Ключи Марии". "...Эту книгу он любил и считал для себя важной. Такой она и останется в литературном наследстве Есенина", – утверждал Городецкий вскоре после гибели *казненного дегенератами*[1] поэта. И не ошибся. Ошиблись же, по его словам, все критики в том, что "Ключи Марии" не были взяты достаточно серьёзно и реализованная в тексте "идеалистическая система" оказалась вне их поля зрения. Есенин так и не дождался отклика на это важное для него произведение, хотя властно его требовал[2]. До сих пор многие комментаторы (вслед за А. К. Воронским) воспринимают "Ключи Марии" преимущественно как воплощение есенинской эстетики или ещё уже – имажинистской "теории искусства", упуская из виду "философический план" трактата, о котором говорил сам автор, формулируя выстраданную им "философию жизни"[3]. Такое толкование текста было навязано некогда весьма узкому кругу читателей Анатолием Мариенгофом, познакомившимся с поэтом в августе 1918 года и увидевшим в его классификации образов основу для возможного обоснования имажинизма[4]. Есенин, поддавшись обольщающей стратегии этого пензенского "денди", ненадолго принял его версию и формально придерживался её до августа 1924 года, когда сам объявил о роспуске группы имажинистов. Но и до этого он, конечно, отдавал себе отчёт в том, что эстетика как форма теоретизирования так или иначе связана с рафинированным гедонизмом, ценностным предпочтением момента "чувственного восприятия красивого"[5], с ослеплённостью обликами бренных вещей и в качестве таковой предлагает человеку довольствоваться пребыванием в сфере видимости (а в предельном случае – быть *шизоидом-гиперэстетиком,* по терминологии В. С. Гриневича). Тот же,

---

ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич — доктор философских наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг "Онтология полической воли" (1992), "Метафизика воли" (2012), "Собирание духа. Пути и беспутство русской мысли" (2013), сборника рассказов "Оливема" (2000), романа "Ворох, или Играющий с огнём" (2010 — Литературная премия имени Н. В. Гоголя).

кто, как он – *пророк Есенин Сергей* – жаждет и алчет большего, претендуя на проникновение в "мир невидимый", в "царство космических тайн"[6], мечтая о познании "тайны Бога", не может довольствоваться лишь эстетическим способом существования и сопутствующими ему иллюзиями, и неизбежно обращается к *мистической философии духа*[7] – вслед за Александром Блоком и Николаем Клюевым. На мой взгляд, есенинский трактат – значительное **событие в истории внецерковного христианского мистицизма**, смысл которого в возвращении дважды травмированного (Расколом и масонским Просвещением) русского сознания к истокам и первообразам гиперборейского мышления наших великих предков, в рискованном восстановлении прерванной традиции подлинного бытия-в-Духе и попытке её радикального обновления в стиле неискажённого церковными ортодоксами поистине вселенского, солнечного христианства[8]. В этом "философическом плане" Есенин, опережая К. Э. Циолковского и А. Л. Чижевского (не говоря о более поздних работах Пьера Тейяра де Шардена), духовно продвигался в том же направлении, что и его старший современник Андрей Белый, романы которого вызывали у него подлинное воодушевление. Отзвуки есенинского восхищения "Серебряным голубем" и "Котиком Летаевым" находим и в "Ключах Марии" – этой "золотой книге странника". Её ценность – не в "туманной имажинистской заумной символике" (А. К. Воронский), а в авторской реконструкции устойчивой совокупности архетипических представлений русского скитальца-богоискателя, чувствующего себя в мире сем "бездомником", "гостем случайным", *путником, в лазурь уходящим,* "вечно странствующим странником", "прохожим". Это миросозерцание, используя термин Ф. Ф. Зелинского, можно назвать *герметическим пантеизмом* с явно выраженной неоплатонической основой, увековеченным в изящной формуле знатока герметической традиции Николая Кузанского: "Бог через всё – во всём и всё через всё – в Боге"[9]. Этот исторический тип неоплатонизма, видимо, и имел в виду Городецкий, говоря об идеалистической системе Есенина, убеждённого в том, что "поэт должен искать образы, которые соединяли бы его с каким-то незримым миром"[10]. Поэтому он и приходил в бешенство, когда восторженные почитатели называли его "пастушком, Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта"[11]. И дело было не в погоне за европейской известностью, не в *уайльдовщине*, как казалось Городецкому, и не в жажде "мировой славы", поднимавшей Есенина над "хищным" Николаем Клюевым и другими *поэтами уходящей деревни*[12]. Есенин никогда не идеализировал, подобно им, деревенскую избу, превращая её в храм, но видел в ней в лучшем случае подобие космического "храма мудрости" или же – "избяной обоз", колесницу, напоминающую о предначертанном нам издревле со времен Скифии участии в "мистерии вечного кочевья"[13] – в таинстве, выводящем нас за пределы земного опыта и предполагающем обретение *космического сознания*. И ностальгические ноты в мистической "вечной песне перед мирозданием", звучащие в есенинских стихотворениях и поэмах, начиная с 1914 года, были не столько отзвуками реквиема по "Руси уходящей", сколько знаками вселенской тоски по утраченной *небесной родине*, о которой не так давно говорил и Н. В. Гоголь, – грусти "о прекрасной, но нездешней, Неразгаданной земле", проявлениями "скрытой печали земли по браке с небом"[14], по "той стране, где тишь и благодать", по "иной земле", "небесному саду" и "нездешним полям", о которых напоминала Есенину египетская "Книга мертвых". Между прочим, и *тишина*, воспеваемая "пастушком" Есениным, совсем не деревенская, не земная, а вселенская, "кочующая тишина", означающая, согласно древним гностикам, движение воз-*духа* (в есенинском написании) – незримого Духа Божьего, носящегося над *бездной*, пронизывающего всё сущее. В этом эзотерическом контексте поэт и в самом деле оказывался пастухом, *пастырем* душ живых, вовлечённых в космический круговорот перевоплощений, не соизмеримый по своей длительности с отрезком ничтожного человеческого *бытия-между-рождением-и-смертью*. Вот почему использованный Есениным в "Ключах Марии" термин *философия жизни*, ассоциирующийся с именами Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, не вполне уместен. Есенин был далек от гуманистско-просветительского преувеличения ценности земной жизни – этой частной формы бытия, которая сама по себе "пуста, больна и глупа"[15]. И не раз объяснял друзьям: "Жизнь – это глупая шутка. Всё в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущённый хаос разврата"[16]. Верно: такова

жизнь до тех пор, пока её не коснулся *Свет невечерний,* ***несказанный свет***, почти забытый в Европе, этой земле Заката, утратившей духовную зоркость и восприимчивость, о которой некогда писали Якоб Бёме, Ф. Шеллинг и Ф. Гельдерлин. Звери, птицы, "дымящаяся земля", "отелившееся небо", "скирды солнца в водах лонных" были Есенину ближе, чем "подлые людишки"[17]:

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Эти строки – не повод усматривать в его поэзии идеализацию "неизреченности животной"[18] (в толковании А. Л. Воронского), гимн исключительно земной, бессознательно-природной жизни – "Психее в вуалях материи" (А. Белый), а в самом поэте видеть исключительно "русскую душу", забывая, что его устами вещал поднявшийся над слепотой душевной "дух бродяжий", всезнающий и вездесущий, чего не понял обиженный на младшего друга Николай Клюев, этот "Уайльд в лаптях", утверждавший в 1926 году: "Есенин не был умным, а тем более мудрым"[19]. "Ключи Марии" свидетельствуют об ином: о светлом уме, продвинувшемся по "вечной дороге" *звездного посвящения,* видевшем в узорах ночного неба письмена "золотой книги" Бытия – "звёздные псалмы" (1914). Вот почему правильнее говорить, если не о *тео-софии* (как её понимал Андрей Белый) или "космотеизме" (Фридрих Якоби), то, по меньшей мере, о *космософии*, роднящей поэзию Есенина с той древней традицией богопознания, которая устами упоминаемого автором "Ключей Марии" Гермеса Трисмегиста утверждала, что Бог – это "существование всех вещей", а "вселенная есть Бог в действии", излучение энергии божественной воли[20]. В такой Вселенной "смерть не существует", ибо она – "Вселенная жизни"[21]. Сформулированное таким образом сакральное знание исцеляло поэта от тоски пред "сонмом уходящих", освобождало (пусть – ненадолго) от страха смерти. Более того, было для него спасительно, поскольку избавляло от разрушительного для души презрения к бренному "миру сему" и учило находить радость совершенную в самом *бытии-в-мире,* лишённом тех изъянов, которые приписывали ему *люди лунного света* – христиане погружающегося в "мировую ночь" Запада[22]:

Всё встречаю, всё приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришёл на эту землю,
Чтоб скорей её покинуть.

Элементы такого же жизнеутверждающего, космического сознания присутствовали и в творчестве Андрея Белого. Последний сообщал Иванову-Разумнику о "значительном разговоре" с Есениным[23] в конце сентября 1918 года – как раз тогда, когда тот пробивался к рунической основе древнерусского алфавита и подбирал **ключи к разгадке тайнописи русского духа**, запечатлевшего свои основные прозрения в "предметностях" нашего домашнего обихода, в кружевах орнамента, в музыке и "мифическом эпосе". Вполне вероятно, что в той неторопливой беседе русские поэты-космисты коснулись и центральной фигуры древнерусского орнамента – "вселенского символического древа"[24], и универсалий нордического мышления – архетипа *Колеса бытия*, символизирующего *Вечное возвращение*[25], круговорот перевоплощений бессмертных душ, и *Великой Триады* (Неба – Земли – Человека), и гностической природы "христианства грядущего", т. е. затронули темы, занимавшие Есенина в **период духовного собирания** идей для "Ключей Марии", где мы находим и образ мира как "вечного, неколебимого древа", и рассуждения о "мировом стволе", соединяющем землю и небо, и слово о человеке как "узловой завязи самой природы", "чаше космических обособлений" (= микрокосме)[26], а главное – попытку нового мировоззренческого синтеза в духе идущего от апостола Павла *гностического интуитивизма* (Андрей Белый), стремление увековечить своё "живое слово" об открывшейся ему солнечно-световой природе *вселенского Христа:*

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.

Предположение о захваченности поэта космософской тематикой подтверждает С. Т. Конёнков в своих воспоминаниях о том, как спорил в 1920-м году с Есениным *и громко, и рьяно:* "Обычным предметом столкновения была космогония..."[27], которая в творчестве поэта-солнцепоклонника порой трансформировалась (как некогда и у Якоба Бёме) в *Христософию*, что, конечно же, вызывало раздражение у поверхностных эрудитов-недоучек вроде Н. И. Бухарина. Зато более вдумчивый А. К. Воронский опознал в гиперболизме "Ключей Марии" устремление от "сдвига наземного к сдвигу космоса"[28], правда, не обратил при этом внимания на есенинские слова о том, что "человечество будет перекликаться с Земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а и со всем миром в его необъятности"[29]. Отметим, что к итоговым формулам своего герметико-пантеистического миросозерцания Есенин шёл не менее четырех-пяти лет – с момента того "прорыва" во внутренней жизни, который он пережил в 1914 году во время обучения на историко-философском отделении университета имени А. Л. Шанявского на Миусах, припав к "златому роднику" платоновского *припоминания* и вкусив *сладостей книжных*. Без этого припадания к истокам не прозвучали бы в "Ключах Марии" строки о людях "неразумных, не рожденных к посвящению", невосприимчивых к "царству солнца внутри нас"[30]. Этот есенинский стихийный пантеизм, включавший в себя и веру в Христа как воплощение *максимальной человечности*[31], столь очевиден, что только "слепота неопытного глаза"[32] и неведение в области истории религий позволили литературному критику-атеисту связать поэзию Есенина с "церковной настроенностью" и "дедовской прививкой" старообрядчества. Церковь как социальный институт, как полицейский придаток государственной власти вызывала у поэта отвращение.

Я молюсь на алы зори.
Причащаюсь у ручья...

Так говорит всё же "религиозный человек", хотя его религиозность здесь отнюдь не церковная, если не принимать в расчёт вселенскую "церковь духа", церковь "солнечного пространства"[33], о которой Есенин говорит в своем трактате, имея в виду то, что позднее Пьер Тейяр де Шарден назвал *Божественной Средой*[34]. Реконструируя узловые моменты есенинского *опыта внутренней жизни,* можно назвать те сакральные для Есенина места, где он получил "доступ к Божественной Среде", с особой интенсивностью пережив пантеистический восторг, благодатную близость божественного всеприсутствия: село Константиново, Белое море и Соловецкие острова, в Москве – "этом городе вязевом" – Тверской бульвар и Миусы. Зная о есенинском неприятии "мистики дешевого православия"[35], Воронский не заметил лукавства в автобиографии Есенина, утверждавшего: "Я вовсе не религиозный человек и не мистик". Учитывая склонность поэта к переодеваниям и защитному скоморошеству, не будем принимать все его слова за чистую монету, помня о сорвавшейся как-то раз с его уст молитве: "Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей..."[36]

"Перелом": рождение в Духе

Итак, до рокового 1914 года были обыкновенные стихи, напоминавшие лирику Кольцова и Надсона, не то чтобы хорошие, но и не совсем плохие, одним словом, никакие. Были попытки создания поэмы "Тоска" – симптомы глубокой депрессии, знаки томления пробуждавшегося духа. И не редкие жалобы в письмах: "...Такой я несчастный, что и сам себя презираю"[37]. По-деревенски начинавший слагать стихи "нежный отрок" *(Небесное Дитя)* пребывал "в слепоте нерождения", ибо "ничто не дается без жертвы"[38]. Возможно, первое жертвоприношение совпало для Есенина с влюблённостью, с юношеским увлечением какой-нибудь Аней или Маней. Об этом появившиеся после духовного "перелома" бесподобные стихи – "свежие, чистые, голосистые" (Александр Блок) – с собственно есенинской интонацией, и в них же – сви-

детельства о необъяснимо открывшемся ему холодном сиянии Истины, о "герметическом откровении"[39]:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайным тихим светом
Напоил мои глаза.

Толкователи, видящие в Есенине "реалиста" и не ведающие о присущем его поэзии *натуралистическом мистицизме*, спешат идентифицировать упомянутого "Кого-то" с тем или иным конкретным женским ликом. Напрасно, ведь не столь важно, на первый взгляд, *нежная девушка в белом* или *девушка в голубом* инспирировала поэта. Важен имевший место *факт сознания*, названный самим Есениным осенью 1915 года "духовным преломлением", "переломом"[40]. Вероятно, этот "Кто-то в солнечной сермяге"[41], напоивший его глаза тайным светом, – сам Христос. В таком случае становится понятным возникшее у поэта после того, как *навестил его кроткий Спас*, чувство превосходства над Александром Блоком, *не знавшим Христа,* не продвинувшимся по пути Богопознания далее мистического переживания Вечно-женственной ипостаси Абсолюта и павшего с высоты своей "первой любви" в бездну *астартизма*[42]. Есенин же был удостоен встречи с *дорогим гостем* – самим Христом-Логосом, постиг Его световую сущность, после чего и пошел на разрыв с поповским "инквизиционным православием", далёким от поклонения Богу в Духе и Истине. В *доселе скрытой внутренней силе русской мистики* он нашел "неиссякаемый родник кристально чистой поэзии"[43], основу для преодоления ступени разорванного, "несчастного сознания", на которой застряла великая русская литература и философия XIX столетия (исключая А. С. Пушкина). Счастье по-есенински – в приятии мировой жизни во всех её манифестациях, в соучастии каждого живого существа во вселенской литургии, когда и "мелкий дождь своей молитвой ранней ещё стучит по мутному стеклу", и воробей читает псалтырь, и человек молится "дымящейся земле". Такое счастье и искать-то не надо:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат...

Счастье, неведомое и недоступное тургеневскому "лишнему человеку" и "подпольному человеку" Достоевского, оказывается совсем рядом – *вот* здесь, в полноте эстетически переживаемого мгновения, правда, поймать его, схватить и присвоить невозможно, да и не к чему, ведь оно, как открытость человека беспредельной вселенской жизни, не самоценно, но лишь предваряет обретение подлинного рая и, как утренняя заря, "пророчит благостную весть", весть о "несказанном свете"[44], *Свете истинном, который просвещает всякого человека, приходящего в мир*. Внутреннее преображение, испытанное Есениным в 1914 году и связанное с обретением им особой духовной *зоркости,* провидческой способности, означало, как объяснил ему позднее Андрей Белый, соединение его пробудившегося "Я" со Светом и возникновение новой духовной сущности – *Я-Света,* человека-светоносца, вырвавшегося на "*простор* самопроявления" (П. А. Флоренский). Таким поэт и предстал девятого марта 1915 года перед Александром Блоком. Таким же – светлым, сияющим херувимом – запомнился он Николаю Клюеву и обитателям петербургских салонов, где читал свои стихи. "– Алёша Ка-га-мазов, – как-то презрительно бросил, пристально разглядывая Есенина, один ныне покойный эстет, – вспоминал М. В. Бабенчиков в 1955 году. – С Алёшей у Есенина было действительно нечто общее. Как Алёша, он был розов, застенчив, малоречив, но в нём не было ни тени "достоевщины", в бездну которой Есенина в те годы усиленно толкали Мережковские"[45]. Достоевщины в Есенине действительно не было, но был и открыто явил себя в "Ключах Марии" предугаданный Достоевским русский идеалист-богоискатель, христианский социалист, быстро разочаровавшийся в том *мещанском социализме,* который был навязан стране *бесами* антирусской революции – Троцким, Свердловым,

Зиновьевым, Бухариным и прочими: *имя им легион.* Ещё в 1913 году Есенин признавался в письме Марии Бальзамовой: "Я был сплошная идея"[46], т. е. был тем самым *русским мальчиком, подростком,* появление которого на авансцене истории России провидел Достоевский. Эта есенинская идея, тождественная осознанной им Самости (т. е. Христу, с точки зрения глубинной психологии), развёртывается в *ангелических образах*[47] его автобиографичной лирики. "Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы и не можете ли вы быть Христами? – вопрошал семнадцатилетний Есенин в письме к другу Грише Панфилову. – Разве я при воле не могу быть Христом, разве ты тоже не пойдёшь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего?"[48] Идея не есенинская, идея апостола Павла. Она-то и захватила семнадцатилетнего поэта, а через пять лет разрослась в его "идеалистическую систему", в апологию "внутренней силы русской мистики" и – повела на Голгофу.

"Человек, исполняющий долг жизни по солнцу"

Удивительно, что и в среде озабоченных перспективой мировой революции троцкистов у Есенина нашлись "единомышленники". Одним из них был Георгий Устинов, обнаруживший в "Ключах Марии" чарующую метафизику света, без которой не понять скрытого смысла цветового символизма в есенинской лирике. По-большевистски прямолинейно Устинов поделился своим открытием с "крупнейшим теоретиком партии" Н. И. Бухариным – идеологом тотального красного террора. Тот хохотал от души: в самом деле, какая нелепость вытаскивать из пропылившихся запасников средневековья какую-то "жуткую метафизику", когда и преодолевшая её гегелевская диалектика (что бы ни говорил Ильич) устарела и сдала позиции богдановской теории социальных систем! Вот такие лжемарксисты, не подозревавшие о марксовом восхищении античной натурфилософией и преклонении перед Лейбницем, не способные подняться до его уровня понимания гегелевской "Феноменологии духа", и создавали удушающую атмосферу безмыслия в условиях насаждаемого ими в России *казарменного коммунизма*. Они-то, видимо, и подвигли Есенина на выпад в "Ключах Марии" против *марксистской опеки искусства,* задевший Устинова. Тот, хотя и размахивал однажды в гневе револьвером перед поэтом, все же был поражен "космическим масштабом" его мышления, тяготевшего к *солнечному монотеизму*, но по идеологическим соображениям не позволил себе пойти дальше в интерпретации есенинской метафизики, как это сделал Андрей Белый в своем "значительном разговоре" с Есениным о "грядущем христианстве" осенью 1918 года.

Продолжая эту линию толкования есенинской световой метафизики, обратим внимание на то, что она начисто была лишена налета плоского, рассудочного космополитизма, но, совсем напротив, исходила из духовного наследия Древней Руси, из "культуры наших прозрений"[49], согласно которым именно Русь должна была положить начало космическому "исходу мира"[50], исполнению "долга жизни по солнцу", преображению человека – этого "слабого и слепого червяка"[51] – в *солнценосца* (Николай Клюев). Приоткрывая в "Ключах Марии" содержание своей "философии жизни", Есенин имел в виду, прежде всего, свою собственную, вот здесь-и-теперь совершавшуюся жизнь – "ярчайшую сверкающую переливами всех цветов русскую жизнь"[52]. И его феноменальная поэзия была откровением этой пронизанной вселенским Светом жизни во всём её радужном многоцветье – не литературным отражением, а непосредственной, отчётливой явленностью в языке исконно русской жизни, оказавшейся под угрозой истребления со стороны иного "духа народа", стремящегося к планетарному господству, созидающего свою *концентрационнную вселенную.* Отсюда и профетическое сознание Есенина, его чувство собственной значимости во внутренней, тайной истории России, отсюда же – и его нарастающее ощущение опасности в 1925 году и самочувствие жертвы, помнящей слова своего учителя "смиренного Миколая" (Клюева): ты – агнец, "обреченный на заклание за Россию"![53] Мисту, как и Христу, не миновать Голгофы, писал Есенин в "Ключах Марии". Он "идёт на это пропятие, провидя и терновый венок, и гвоздиные язвы"[54]. Поэт нашёл свою Голгофу и гвоздиные язвы в пятом номере гостиницы "Англетер", где палачи-*дегенераты,* инсценируя самоубийство замученного ими поэта, не удосужились для правдоподобия

завязать затяжную петлю на его шее и уничтожить сгустки крови своей жертвы на полу и письменном столе. Вероятно, ни заказчики, ни исполнители этого преступления не ушли от возмездия согласно закону *мстящей справедливости,* осознанному Есениным во время работы над поэмой "Пугачёв" (1921 г.), появление которой напугало Николая Клюева как предвестие неизбежной расправы над её автором, перешедшим "роковую черту"[55], как некогда перешёл её в романе "Капитанская дочка" А. С. Пушкин, воссоздав образ мудрого и бесстрашного вождя русского бунта. Есенинский Пугачёв не менее обаятелен, хотя сам "из простого рода" и сердцем – "степной дикарь". Он отказывается от задуманного побега в Турцию, "в новый край, чтоб новой жизнью жить", видя "невеселое житьё" своих соотечественников, чувствуя общую "русскую боль", ибо:

И теперь по всем окраинам
Стонет Русь от цепких лапищ.

И несмотря на то, что нет надежды на успех "мятежа свирепого", Пугачёв решает стать тем, "кто б первый бросил камень": ведь он разгадал свое "значенье" мстителя за народ, страдающий от "российской чиновничьей неволи":

Нужно остаться здесь!
Нужно остаться, остаться,
Чтобы вскипела месть,
Золотою пургой акаций
Чтоб пролились ножи
Железными струями люто!

Золотая пурга акаций[56] тут – знак того, что в кульминационные моменты истории вопреки человеческому законодательству в действие вступает священное *божественное право,* смутно сознаваемое каждым народом, *право на восстание*. Взрывной потенциал поэмы был очевиден для апологетов антирусского террористического режима, не связанного даже своими собственными законами, как говорил Н. И. Бухарин. Да и сам Есенин понимал, что написал "революционную вещь" – поэму о подлинно русской *революции снизу:*

Уже мятеж вздувает паруса.
Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.

Такого власть имущие русофобы-интернационалисты не прощали, боясь новой пугачевщины – этой "страшной мести" со стороны измученного ими народа.

Коснувшись проблемы понимания символики цвета, добавим, что развертывание цветовой гаммы русской духовной жизни начинается в поэзии Есенина (как и у позднего Пушкина) с **белого** цвета, символизирующего энергийно-смысловой центр Всеединого бытия, Трансценденцию, совершенство и святость. Тут всплывают и *шифры Трансценденции* – метелица, вихри снежные, черёмуховый снег и девушка в белой накидке *(нордическая Белая Дева),* тут и яркие строки о пережитом поэтом откровении, намекающие на заданную Кем-то (пока ещё незримым) *полярную* "творческую ориентацию наших предков"[57]:

Я по первому снегу бреду.
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Ясно, что речь поэта – о Полярной звезде и, думается, о *пути звёздного посвящения,* ведущем на утраченную родину, лежащую где-то у Северного полюса[58] или в "засеверной стороне", где "тишь и благодать", а может быть, и ещё дальше, к "нездешней, Неразгаданной земле" – в космос, влекущий к себе как "родительский очаг"[59]. **Синий** цвет в этом же стихотворении (как и **голубой** – во многих других) – знак "звездной субстанции", частица которой существует в виде души человеческой, а также – знак восхищавшего

досократиков *Воздуха,* цвет созерцаемого провидцами неба[60]. Присутствие синего и голубого цветов в есенинской лирике нарастает из года в год, что означает увеличение удельного веса "небесного" в сравнении с "земным" в природе человека – этой "чаше космических обособлений", микрокосмической "завязи" противоположных космических начал[61], о чём извещали поэта древнейшие космогонические мифы гиперборейского Севера, Индии, Египта и Греции, упоминаемые им в "Ключах Марии". Можно сказать, каждый из таких мифов – ключ к тайнописи духа нашего кочующего сверхнарода[62], вобравшего в себя *содержания коллективного Бессознательного* всего человечества. Хотя неземное, космическое начинает преобладать в составе такой "сложной вещи", как человеческая душа, зеленеющая земля со своими березами и ивами все ещё притягивает и влечет к себе:

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зелёный шевелится.

"Огонь зелёный" у Есенина – бёмовский символ[63] *духа Земли,* склонного к обособлению и выпадению из хора космических сил, способного отвергнуть перспективу слияния с небом. В "Ключах Марии" есть напоминание о посреднической миссии человека, о "послании нас слить небо с землей"[64]. О таком слиянии – позднее стихотворение Есенина, где небо дано в его "опрокинутости" и "сочетании" с землей, а человек предстает путником, который, не порывая с землей, вступает в Царствие Небесное:

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Смысловое "содержание красочностей" *ангелических образов*[65] есенинской лирики приоткрывается нам тогда, когда мы видим в них *знаки экзистенции* поэта, нашедшего ключи к пониманию "книги нашей души"[66] как *зеркала Вселенной.* Эти образы – символические выражения состояний его глубинного *Я-Света,* отвечающего *на зов Трансценденции,* реагирующего на воздействия *Божественной Среды.* В ангелических образах соединяются два знания: "о природе моей и о природе извне... и растворяется зелень – в душевной голубизне", – подсказывал Есенину Андрей Белый. – "...Чувствуешь себя новорождённым в лазури и катастрофически погибающим в зелени". Иначе говоря, спасение от гибели в "зеленях" и "бешеной кровавой мути" земной жизни – в уходе в небесную лазурь, в новом, духовном рождении, приближающем к разгадке "космических тайн" человеческой природы, сгущение которых – в нашем мозге. **Лазурь** – *восстание* и *светлая пульсация смысла* (Андрей Белый), внеположного земной жизни, самой по себе – вне космического контекста – бессмысленной. Говоря о *световой значимости* иных цветов есенинского спектра, нужно иметь в виду, прежде всего, **красный** в его основных вариациях (алый, малиновый, розовый, багряный) и золотой. Что касается красного, то он у Есенина прочно ассоциируется с пантеистической приобщённостью человеческой души к мистерии мировой жизни, с переживанием земного счастья, с *памятью крови,* привязанностью к родной земле, которая порой кажется настоящим раем, и к родичам, ушедшим предкам. **Золотой** намекает на светоносительство как миссию *телесной жизни* и вместе с тем означает *откровение солнечности* (Андрей Белый), близость "солнечного пространства" как того Царствия Небесного, в которое "просунулся" Иисус Христос ещё в своем земном *бытии-в-мире,* распахнув врата для алчущих "света солнца истины"[67], заслоняемой черными рясами "гонителей св. духа-мистицизма"[68]. Мы видим, что приобщение Сергея Есенина к великой мистической традиции Богопознания позволило ему осуществить в художественно-образной форме тот великий синтез в сфере духовной жизни, о котором как о задаче говорил Ф. М. Достоевский. В его творчестве произошёл прорыв к "просветленному чувствованию", свершилось страстно ожидаемое русскими богоискателями *омоложение духа,* не утратившего своё исходное языческое многоцветье,

преодолевшего болезнь двоеверия и разорванного, несчастного сознания, увидевшего в космосе обстающий нас “храм вечности” и “знаки открывающейся книги”, обнаружившего “царство солнца внутри нас”[69]. В эпоху предельного духовного оскудения и опустошённости орнаментально-фресковая поэзия Сергея Есенина снова делает для нас зримым “несказанный свет” Всеединого бытия, являя нам “блеск и силу Сына Божия”[70], исток радости совершенной.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] “Казненный дегенератами” (1925) – статья Бориса Лавренева (Лавренёв Б. А. Казнённый дегенератами. – В кн.: Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С. А. Есенина. Саратов, 2011. С. 149–151), странным образом просочившаяся в подцензурную печать в условиях диктатуры русофобов-интернационалистов, терроризировавшей народ до конца 1930-х годов, нацеленной на искоренение русской культуры и поголовное истребление её “лучших людей” (Достоевский Ф. М.). В книге Э. А. Хлысталова “Тайна гибели Есенина” (1991) и в куняевской биографии С. А. Есенина (1995) убедительно показана несостоятельность официальной большевистской версии самоубийства поэта, которую все ещё защищают некоторые плохо информированные или недобросовестные исследователи, не получившие доступ к архивам органов госбезопасности, пренебрегающие известными материалами угрозыска, связанными с мученической смертью Есенина (Куняев С. Ю., Куняев С. С. Сергей Есенин. Изд. 8-е. М., 2017. С. 524–283; см. также: Смолин Г. А. Крестный путь Есенина. М., 2016). Смерть Есенина – “дело рук троцкистов”, – уверяла З. Н. Райх Сталина (Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)–ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике. 1917–1953. М. 2002., С. 366). Симптоматично, что власти до сих пор игнорируют требования граждан о проведении объективного расследования обстоятельств гибели поэта, как будто боятся установления истины. Особое отвращение вызывают недавние публикации с аргументацией, заимствованной из области нашей карательной социопсихиатрии, не соответствующей современным стандартам научности, игнорирующей достижения гуманистически ориентированной психопатологии, воспроизводящие прямо-таки идиотские диагнозы, вынесенные Есенину *(мятущийся шизоид-гиперэстетик, расстройство личности возбуждённого типа, дисгармоничность психического склада и т. п.)*. Например, автор, обнаруживший не так давно “закупорку мыслей” у Н. В. Гоголя, сделал еще одно замечательное по своей нелепости, квазинаучное открытие в “Патографии Сергея Есенина”: оказывается, успехам поэта в области литературного творчества “способствовала его болезнь – патологическое расстройство личности, одним из которых является невероятная целенаправленная настойчивость, выходящая за общепринятые рамки, умение достичь, раз навсегда, поставленной цели” (Агеева З. М. Патография Сергея Есенина. М., 2015. С. 24). Иначе говоря, по мнению автора, видимо, отличающегося “гармоническим психическим складом” и не выходящего за “общепринятые рамки”, сильная воля – это болезнь. Что тут скажешь? Да, ничего не скажешь, а только “плюнешь да перекрестишься” (как говорил любимый писатель Есенина – Н. В. Гоголь).

[2] С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. 1. М., 1986. С. 182.

[3] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 174, 185, 169.

[4] Мариенгоф А. Б. Роман без вранья. СПб., 2016.

[5] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. М.,1979. С. 179.

[6] Там же. С. 178.

[7] Водолагин А. “Тайное знание” Александра Блока. // Наш современник, 2015, № 11. С. 266 –278.

[8] Сравнение Христа с “шаром солнца” находим в настольной книге русских мистиков – “Аврора, или Утренняя заря в восхождении” (Böhme J. Aurora oder Morgenröte im Aufgang. Frankfurt am Main und Leipzig, 1992. S. 141), переведенной Алексеем Петровским (другом Андрея Белого) и хорошо известной Есенину.

[9] Кузанский Н. Соч. в двух томах. Т. 1. С. 110.

[10] С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. 1. С. 183. Есенин в “Ключах Марии” говорит о платоническом влечении русского простолюдина к познанию “неосязаемого и далекого мира” (Т. V. С. 174). О приверженности поэта платонизму говорят многие его строки, например: “Глаза, увидевшие землю, В иную землю влюблены” (1916).

[11] Там же. С. 184. “Он возмущался теми критиками и составителями хрестоматий, которые зачисляли его в крестьянские поэты. Это всё равно, говорил он, что зрелого Пушкина продолжают называть “певцом Руслана и Людмилы”, – вспоминал И. Н. Розанов (С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. 1. С. 433).

[12] Там же. С. 184, 242, 435.

[13] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 171; Водолагин А. В. Вечное кочевье. – В кн.: Водолагин А. В., Болдырев А. И., Иванов А. В. Четвертая печать. Эскизы к феноменологии русского духа. Тверь, 1993. С. 75–86.

[14] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 179. “Эти дивные древние песни пантеистического эротизма пронзают всю лирику Есенина”, – отмечал Р. Гуль. (Русское зарубежье о Сергее Есенине. М., 2007. С. 310).

[15] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. М., 1980. С. 46.

[16] Там же. С. 45.

[17] Там же. С. 39.

[18] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. I. М., 1977. С. 112.

[19] Сергей Есенин. Подлинные воспоминания современников. М., 2017. С. 64.

[20] Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. Киев, М., 2001. С. 47, 56, 54.

[21] Там же. С. 41, 46.

[22] *Мировая ночь* (die Weltnacht) – термин, используемый Мартином Хайдеггером для обозначения нашего духовно скудного времени, когда “сияние Божества угасло в мировой истории” (Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Main, 1994. S. 269, 271), когда “мир снова зависает над Бездной, которая когда-то страшила древних, о которой с трепетом напоминали Якоб Бёме и Шеллинг, Гельдерлин и Ницше” (Водолагин А. В. Метафизика воли. СПб., – М., 2012. С. 282).

[23] Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 165.

[24] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 170.

[25] Водолагин А. В. Блуждающий дух. “Вечное возвращение” Андрея Белого. // Инициативы XXI века, 2016, № 2.

[26] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 180, 175.

[27] С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В двух томах. Т. 1. С. 291.

[28] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 187; Воронский А. К. Искусство видеть мир. Портреты. Статьи. М., 1987. С. 169.

[29] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 182.

[30] Там же. С. 187. Примерно в это же время А. Л. Чижевский разрабатывал свою теорию человеческой психики как сгустка “солнечной субстанции”, обсуждая её с единомышленником и другом К. Э. Циолковским (подробнее об этом см.: Водолагин А. В. Собирание духа. Пути и беспутства русской мысли. Саарбрюкен, 2013. С. 130–142).

[31] О Христе как воплощении максимальной “полноты человечности” см. в кн.: Кузанский Н. Соч. Т. 1. С. 155. Называя Ленина “самым человечным человеком”, В. В. Маяковский невольно изображал его как лжехриста, антихриста, *сверхчеловека,* каковым тот и стал сто лет назад, развязав красный террор в России. Сталин также летом 1918 года в Царицыне вполне осознанно отказался от всего “человеческого, слишком человеческого”, взяв на себя миссию Великого инквизитора, которая тяготила его так же, как и известного персонажа Ф. М. Достоевского. Сталинские отметки на полях романа “Братья Карамазовы” говорят о том, что эта тема занимала его и накануне Великой Отечественной войны, и сразу после неё. Миссия Великого инквизитора была реализована Сталиным прежде всего в отношении троцкистов – организаторов *Большого террора* против коренных народов России.

[32] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 176.

[33] Там же. С. 181, 187. Тем, кто обеспокоен проявлениями “богохульства” в поэзии Есенина, напомним, что в богохульстве обвиняли и Христа: “Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: “богохульствуешь”, потому что Я сказал: “Я Сын Божий”?” (Иоан. 10, 36). Кажущееся прямо-таки ницшеанской хулой может быть на деле свидетельством духовного поиска истинного *Бога живых.*

[34] Шарден П. Т. Божественная Среда. М., 1994.

[35] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. С. 114.

[36] Русское зарубежье о Сергее Есенине. С. 55.

[37] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. С. 25.

[38] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 170.

[39] Термин Ф. Ф. Зелинского.

[40] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. С. 68. О том, что такого рода "преломление" не даётся свыше, как манна небесная, а силою берётся, т. е. предполагает некий творческий акт человека, отвечающего на зов Бога, читаем у П. Тейяра де Шардена: "В каждой душе Бог любит и спасает весь Мир целиком, который преломляется в ней особым образом. Однако это преломление, этот синтез не даны нам в совершенно готовом виде с первым же проблеском сознания. Мы должны сами своей деятельностью искусно соединить рассеянные повсюду элементы" (Божественная Среда. С. 35).

[41] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. I. М., 1977. С. 55.

[42] Астартизм – термин Александра Блока. Астарта – древнесемитская богиня чувственной любви, отличавшаяся воинственностью и властолюбием, отождествлявшаяся в эллинистическую эпоху с греческой Афродитой земной и римской Юноной, астрологически связанной с Венерой. Подробнее об "астартизме" у Блока см.: Водолагин А. "Тайное знание" Александра Блока. // Наш современник, 2015, № 11. С. 266–278. Согласно герметической традиции, Афродита-Венера представляет собой эманацию женственности как ипостаси Бога (см.: Кузанский Н. Соч. Т. 1. С. 91-92).

[43] С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 243.

[44] Есенинский "несказанный свет" – одно из имен Бога в *отрицательной теологии* (см.: Кузанский Н. Соч. Т. 1. С. 93–95).

[45] С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 237–238. "У нас с Клычковым было ощущение, что он преисполнен верой Алёши Карамазова..." – вспоминал в 1960 г. Григорий Забежинский (Русское зарубежье о Сергее Есенине. С. 69).

[46] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. С. 39.

[47] В "ангелических образах" (в отличие от *заставочных* и *корабельных*) выявляется и именуется *лик, первообраз* вещи или существа, т. е. то, что Платон называл *эйдосом*.

[48] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. С. 29.

[49] Там же. Т. V. С. 172.

[50] Там же. С. 171.

[51] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. VI. С. 10.

[52] Там же. Т. V. С. 174; "У имажиниста Есенина "цвет" почти побеждает всё", – заметил Р. Б. Гуль в 1923 году (Русское зарубежье о Сергее Есенине. С. 308).

[53] Куняев С. С. Николай Клюев. М., 2014. С. 393.

[54] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 187.

[55] Куняев С. С. Николай Клюев. С. 393.

[56] Акация в египетской мифологии – знак священнодействия. В толковании Нерваля акация символизирует закон, сообразно которому "каждый должен знать, как умереть, чтобы жить в вечности". И у Пушкина, и у Есенина Пугачёв знает о своей брошенности в смерть ради обретения вечной славы и вечной жизни.

[57] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. 178, 182.

[58] Там же. 182.

[59] Там же. 171.

[60] **Голубой** цвет в мистической философии Якоба Бёме, с которой Есенин мог ознакомиться в библиотеке университета имени Шанявского, символизирует "зрелище небесного Царства радости" (Böhme J. Aurora oder Morgenröte im Aufgang. Frankfurt am Main und Leipzig, 1992. S. 223). Книга Я. Бёме в переводе Алексея Петровского была издана в Москве в 1914 году.

[61] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 175, 179.

[62] Водолагин А. В. Вечное кочевье. – В кн.: Водолагин А. В., Болдырев А. И., Иванов А. В. Четвертая печать. Эскизы к феноменологии русского духа. С. 86.

[63] Böhme J. Aurora oder Morgenröte im Aufgang. S. 180.

[64] Есенин С. А. Собр. соч. в шести томах. Т. V. С. 186.

[65] Там же. С. 183–184.

[66] Там же. С. 181.

[67] Там же. С. 187, 189.

[68] Там же. С. 190.

[69] Там же. С. 190, 187.

[70] Böhme J. Aurora oder Morgenröte im Aufgang. S. 140.

ВИКТОР СИРОТИН

О ЧИСТОТЕ ЯЗЫКА, ЧЕСТНОСТИ И ЧИСЛЕ СЛОВ

I

Как известно, *цивилизация* и *культура* неравнозначны и неравноценны, поскольку первая заявляет о внешних качествах, а вторая – о внутренних. Умалённая во внутренних качествах, цивилизация разрушается, общество становится неполноценным, а человек – безличным. Но и культура вне "вещей" цивилизации являет собой унизительное и жалкое зрелище. Запад, в вещно-ценностной ипостаси достигнув высокого уровня материального бытия, во внутренних сущностях скатывается к нищете отнюдь не в библейском смысле этого слова. Россия, замороченная-таки "вещными" ценностями Запада, в погоне за ними соскользнула со своего исторического пути, в результате чего оказалась на обочине *той цивилизации*, за которой тщетно гналась на протяжении столетий.

Дабы не заблудиться в дебрях "духа", ограничусь здесь, да простят меня прокураторы цивилизации, теми сущностями, которые составляют основу национальных культур.

Каковы во всём этом перспективы России?

Георгий Свиридов в последние годы жизни писал в своём дневнике: "*В наше время Россия духовно опускается ещё на один порог преисподней*". Там же с надеждой и требованием: "Если русской культуре суждено существовать, она должна возвратиться к истоку нравственности и добра". И опять: "Я печально смотрю на будущее, – имея в виду "не русский взгляд на русское", – борьба с национальной культурой ведётся жестокая...".

И в самом деле, недавних истуканов тоталитаризма сменили более вертлявые лживые идолы либерального толка, в результате чего в народе подорваны основы, крепящие дух, мораль и нравственность. Стираются традиции, нивелируется своеобразие национальных культур. Стаи "орлов", переписывающих историю и клевещущих на старую Россию, разбавили "мелкие птахи", среди которых гордо реют "соколы" демократии – духовные чада певцов "оттепели" Евтушенко и Вознесенского. Вознесшиеся не по таланту и возгордившиеся не по достоинствам. Между тем, демократическая песнь умеренных "буревестников" и "героев"-шестидесятников – нынче голосистых певцов демократии – раздаётся из-под хоругвей, предательски напоминающих прежние кумачи. Ибо сотканы они из тех же евтушенко-рождественских сказаний

о светлых временах, кроющихся под сенью столь же благочестивых "героических будней". Но песнь "эстрадных поэтов" способна расшевелить лишь неискушённую или падкую на всякий шум и гам публику. Отсюда далёкий от настоящей литературы жаргон жаждущих славы и почестей картонных борцов и громкоголосых песнопевцев "из тех чинов, что дрались из-за блинов". Русский язык превратился, по словам Свиридова, в "московско-арбатский" жаргон, умело увиливающий от достоинств литературной речи. Но видя "новых Бурлюков", к которым так и льнут ряженные по-новому "эстрадники", композитор настаивал на преемственности во зле: "Ошибочно... думать, что Бурлюки исчезли из нашей жизни. *Никто не помнит их стихов, но их и создавали не для вечности*".

Последнее замечание многого стоит!

Хилые литераторы, существуя в затхлых от духовного разложения "тусовках", могли плодить лишь сорную литературу и, конечно же, обречены на забвение, "ибо *нет Гения Беспочвенного*". Это утверждает мировое творчество и блистательные произведения самого композитора. Но не мог он (выронивший уже своё мужественное перо...), если не "один, как прежде", то в малом числе успешно бороться против хорошо налаженной кампании против России – кампании, превращённой в индустрию по обессмысливанию народа.

Последние сто лет непрекращающееся засорение русской культуры "бурлюками" и *хамами* (без кавычек) происходит потому, что и устно-телевизионное скоморошье творчество, и печать находятся в руках тех же "нянек" и самозваных "представителей культуры народа", которые воспринимают его бытиё "не как нацию, не как народ, – пишет Свиридов, – а как литературу, как искусство, как историю, как государство, – опосредованно, книжно".

Следует со всей серьёзностью отнестись к мысли великого композитора: *"Лозунг "Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с парохода современности" совсем не устарел, как хотят обмануть нас адепты этого лозунга. Он жив, этот лозунг, он руководство к действию и призыв к нему! Если нельзя выбросить Толстого из жизни нашего народа, можно его извратить, оболгать, как это делает, например, литератор Ш<кловский>*. Эти люди ведут себя в России, как в завоёванной стране, распоряжаясь нашими национальным достоянием, как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности"!* "Для меня совершенно неважно, – пишет Свиридов, – кто он сам по национальной принадлежности: русский, еврей, папуас или неадерталец. Он враг русской культуры, достояния всех народов мира, он враг всех народов"!

И впрямь, в русскоязычной окололитературе – по форме весьма претенциозной, а по сути беспочвенной – пустот и заковыристых "мыслей" тем больше, чем чаще авторы "мыслят" о русских классиках. Так, в послеоктябрьские времена на "корабле Шкловского" одним из принципиальных его последователей был "корабельный юнга" и чистильщик сапог большевистских "штурманов" литератор Б. М. Эйхенбаум. Остановимся на нём подробнее.

Далёкий от понимания принципов художественного творчества, "палубный интернационалист" по призванию и "текстовик" по предпочтению, претендовал на знатока тех авторов, в творчестве которых особенно плохо разбирался. Поэтому более всего досталось от него Михаилу Лермонтову. Казалось бы, уж на что велик поэт! Ан нет! Если мы вчитаемся в "текстоведение от Эйхенбаума", то убедимся, что наш герой, пожалуй, повеличавее будет...

Судите сами: грандиозный по замыслу и художественной форме, поразительный по философской глубине и красочности лермонтовский "Демон", по Эйхенбауму, – лишь "типичная литературная олеография ("калька" с чужих произведений. – **В. С.**)". Кого бы вы думали? Ныне почти забытых поэтов: Козлова, Подолинского и других, ряд которых, очевидно, сжалившись над Лермонтовым, начётчик наш дополнил великими именами Пушкина и Байрона.

---

* Свою книгу "Материалы и стиль в романе Льва Толстого" (1928) В. Б. Шкловский сам впоследствии назвал "в целом ошибочной". В других своих работах он более интересен. Хотя и там, едва начав, за цитатами других авторов порой забывает, о чём пишет (см. анализ "Записок из подполья"). Пытаясь вспомнить, продолжает о чём ни попадя, вновь теряя мысль до следующей цитаты из кого-нибудь. В литературных попурри (см. "Художественная проза – размышления и разборы", 1959) Шкловскому нередко изменяет и вкус, и стиль, отчего, сваливая в кучу цитаты из классиков, он в своих мыслях порой "сваливается" туда и сам.

В “Смерти поэта” Эйхенбаум не находит ничего, кроме эмоций: “Стихотворение... действует общей силой эмоциональной выразительности, а не смысловыми “образами”. Образы и речения сами по себе не представляют собой ничего особенно оригинального или нового”... То есть каждый раз выдавай ему эксклюзив, который (так хочется Эйхенбауму) опровергал бы *каждое предыдущее* – “отжившее”, “старое”... классическое... Поправ “Смерть...”, критик, в собственных глазах вырастая до небес, тем более не щадит “Мцыри”. Мощная по духу, величию идеи и накалу творчества, свежести и силы образов поэма “не является новым жанром и не открывает нового пути”... Потому “Мцыри” в бельмах Эйхенбаума есть не столь уж и примечательное “завершение тех опытов эмоционально-монологической поэмы, которые начаты были Лермонтовым ещё в юности”... Мало того, “Лермонтов не создаёт нового материала, а пользуется готовым” (?!), усложняя его “обычными лирическими формами и сентенциями (пуэнтирован)”, гневается критик на поэта, как раз обогатившего литературу новыми формами и техникой стихосложения. Впрочем, иногда литературо*ед* по призванию в своих опусах нисходит до похвалы великому русскому поэту. Так, полистав один из шедевров мировой прозы – “Тамань”, Эйхенбаум роняет на её счёт скупую “похвалу”: “Лермонтов показал себя здесь мастером малой формы – *недаром в кругу своих товарищей он славился как рассказчик анекдотов*”... Закусив удила, и здесь календарный юбиляр и оценщик “анекдотов” лихо несётся по кочкам своей ограниченности. Ни разу на них не споткнувшись, “крупнейший советский литературовед”*, пришпоривая себя перьями, выдаёт новое откровение: “Никто, кажется, из русских поэтов не пародировался так охотно, как Лермонтов, – и это совершенно понятно” (?!).

Что тут скажешь... *Всякий литературоведческий анализ бессмыслен, если он не освящён совестью!*

Храбро “расправившись” с Лермонтовым и попутно вменив в вину анекдотичность стиля ещё и Чехову, “текстовик” наш прибегает к до смешного частому и до неприличия пространному цитированию классиков, хитро предоставляя им самим выяснять между собой отношения. Почти всегда не к месту и никогда к смыслу, он Львом Толстым и Сенковским проходится по бедному Пушкину, с тем чтобы самого Толстого забить цитатами из Прудона, де-Местра и Бокля. Распустив павлиньи перья из цитат, от которых у читателя рябит в глазах, Эйхенбаум, почистив пёрышки, в Лескова выстреливает мыслями А. Скабичевского и М. Меньшикова. Силком втягивая писателей в свои интрижки, бойкий литератор даже и не пытается выглядеть прилично. Что делать! Не в состоянии проникнуть в глубину текстов, не умея оценить и не особенно ощущая силу и богатство Слова, критик только и может, что цитатами других заполнять пустоты своего мышления. Но художественное Слово существуют независимо от умственных возможностей исследователя. Потому фрагменты эти, вопреки обрезаниям и препарированиям, продолжая содержать в себе яркие мысли и образы, подобно жерновам без труда перетирают посреднические комментарии критика, жиденькие и никчёмные.

Относительно отсутствия в творчестве поэта “новых путей” и использования им “готовых материалов” скажем, что Эйхенбаум далёк был от творчества как такового, а то бы ведал, что *процесс созидания неразрывно связан со всем предшествующим опытом* – мировым, если художник гений, или региональным, если не является им. Поэтому тем, кто хочет выделиться, ничего не остаётся, кроме как “скакать” зигзагами, совершенствоваться в зауми или блудить со “смыслами”.

И всё же, закрыв глаза на явное злоупотребление чужими текстами, Эйхенбаума можно было бы назвать сносным текстологом, если б он знал, для чего прибегает к самим текстам. Но, упиваясь собой, Эйхенбаум только себя и видит, а потому скатывается в своих опусах к некому суррогату или *литературоведению для себя.* Это, когда, начиная с писателя, продолжаешь ***о себе,*** драгоценном и эрудированном. Таким образом, того может и не желая, Эйхенбаум стал у истоков “течения”, которое, будем честны, надолго пережило его самого...

---

* Строка из предисловия к книге: Б. М. Эйхенбаум. “Статьи о Лермонтове”. М.-Л., 1961. С. 3. Все приведённые цитаты взяты мною из книги Эйхенбаума “Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки” (1924). Wilhelm Fink Verlag Munhen. 1967 (издана на русском языке).

Имитируя анализ творчества Достоевского и Толстого, этим же незадолго до Эйхенбаума и К° грешил другой "писатель о русской литературе" – Лев Шестов, которого Толстой, разглядев в нём бытовое лакейство, с иронией назвал "парикмахером". Таковые оценки, заметим, ничуть не смущали шествующих в Россию "парикмахеров", ряды которых полнили портные, фармацевты и прочие. Выходцы из малороссийских и бывших польских местечек, как только освоили разговорный русский язык и научились писать "на ём", отложили в сторону "химию", ножницы и портняжное шило и, выплюнув изо рта гво́здики, взялись толковать русскую культуру, загружая не особенно понятный им русский язык заглавными сокращениями, жаргоном и прочими "терминами".

Казалось бы, зачем? К чему поганить язык великого народа, и без того неоднократно оболганного в пристрастных "исследованиях"?

Затем, видимо, что несёт он в себе тот образ, который источает свет души человеческой; хоть и надломанный, но исходящий *из уникального состояния духа и честного сердца*. Переделывая на свой лад русских классиков, именно эту *духовную свечу* норовят погасить поколения "парикмахеров" и эстрадных хохмачей. Не ослабев в желании не мытьём, так катанием избавиться от *не своих* духовных ценностей, хохмачи и циники объединёнными усилиями умело переливают в своих сочинениях из пустого в порожнее, простое представляют сложным, а сложное совершенно непонятным. Таким образом, сорные "филологии" вырождались в кладбищенские растения, и духом и цветом дурманящие сознание людей.

II

Но только ли в "науке о литературе" дела обстоят столь плачевно?

Увы, не только. Мёртвой хваткой впились в культуру России невзлюбившие её ерофее-войновичи, познерствующие медиа-магнаты и эстрадные "фольклористы на час". Последних повсеместно сменяют всё новые и новые персонажи "истории и культуры", в число которых вошли производители серийных монументов.

К примеру, на протяжении многих лет, пользуясь невежеством "городских голов", в Златоглавой победно шествуют монстры "вечного Зураба", который, словно издеваясь над обществом, "творит" в наименее знакомой для себя ипостаси, не выдерживая масштаб и не соразмеряясь с пространством. Ан, нет! И с благословения "голов", "отцов русской демократии" и министров попранной культуры церетелизация страны продолжается, бездарности резвятся на площадях, а подлинные таланты гниют в подвалах. И не мудрено: веяниям нового времени соответствуют его кумиры. Вдохновляемая лукавыми диссидентами и сутулыми интеллектуалами, именно эта публика охотно рядится в реквизиты романтических страдальцев, "героев" и "гениев".

Нечто подобное происходит и в поэзии. Выделив из "толпы" поэтов Иосифа Бродского, увидим, что с его талантом может спорить лишь неприязнь его к России – и к той, "которую мы потеряли" и "которая его посадила", и к неповинной в том исторической России.

Выдающийся поэт Юрий Кузнецов очень точно охарактеризовал утерявшего внутренние стимулы русскоязычного "второго Пушкина": *"поэзия Бродского – имитация, его надо переводить на русский язык, русское мышление"*.

Но почему? В чём проблема?

В том, что перевести его на русский язык, как и на любой другой, очень даже сложно, ибо не перекликается такого рода поэзия *ни с душой народа*, *ни с культурой его*, *ни с содержанием*. Книжная душа Бродского способна "переводить" лишь умозрения, да и то сухим языком "технической" поэзии. Не имея тяги к народному, и по-настоящему не предрасположенный к классическому наследию, не понимая своеобразия национальной культуры, Бродский не мог ценить и традиции. При духовной всеядности (то есть бездуховном приятии всякой формы "слова") автор, или, как в данном случае, "человек вселенной" может существовать лишь в лысом поле псевдокультуры, выраженной здесь в "голом (опять же – *техническом*) тексте" стихотворений.

Отчего же так?

На это даёт ответ сам Бродский, в нобелевской речи не преминувший заявить о своём, разрушающем цельность всякого языка, "творческом кредо".

В соответствии с ним – с "кредо Бродского", – *"не язык – инструмент поэта, а, напротив, поэт есть инструмент языка"*. Иначе говоря – не архитектор строит здание, *а камни строят архитектора!* Очевидно, нобелевский лауреат полагал, что "камни" музы важнее замысла, в его поэзии чаще всего скачущего по поверхностности темы или вовсе отсутствующего.

Итак, проблема обозначена. Что на этот счёт говорят учёные-языковеды?

"Язык является одновременно материалом, орудием и произведением литературного творчества. Из этого следует, что он, во всяком случае, представляет собой нечто большее, чем простой "слой" в литературном произведении"*, – утверждает австрийский учёный Макс Верли, специально оговаривая, что языкознание и литературоведение взаимозависимы, но не идентичны. В. Шкловский – здесь стоит отдать ему, отрекшемуся от "опоязовщины", должное! – прямо писал о смешении "инструментов языка": "Многие литературоведческие школы, сближающие себя с языкознанием, считают искусство явлением языка, понимая язык как систему, заменяющую самое действительность". И далее – с явным неудовольствием: "Мы часто спорим о словах, подставляя слова вместо предметов и пряча в словесных обобщениях те противоречия действительности, которые должны были бы определять существенные качества предмета".

А вот мысли Шкловского не только по теме, но и по существу языкового творчества:

"*Если литература – явление языка, то, значит, мы познаём не мир, а словесные отношения, и сама история человечества – смена разных отношений к словам. Если же мы познаём через литературу действительность, если она – средство для познания её сущности, то, конечно, познание это тоже совершается через сочетание слов, но слова – способ изобразить событие, показать поведение людей*".

Хорошее и очень точное определение!

Далее Шкловский пишет о том, что его почитатель Бродский просто обязан был знать: "*Не язык владеет человеком – человек владеет языком, привлекает разные стороны его: иначе разговаривает на улице, иначе – дома, иначе поёт и иначе мечтает*"**. Итак, с этим вопросом, вроде бы, ясно. Но возникает следующий.

Только ли *живая*, а значит – *совестливая* и *созидательная* – мысль отсутствует у Бродского?

Г. Свиридов даёт весьма точное определение характеру его поэзии.

По неприязни к Отечеству и духовной затхлости относя Бродского к "скорпионам" предшествующей революционно-реформаторской поэзии, композитор живыми и точными штрихами передаёт суть будущего лауреата: "У Бродского нет совсем свежести. Всё залапанное, затроганное чужими руками, комиссионный магазин. "Качественные", но ношеные вещи, ношеное бельё, украшения с запахом чужой плоти, чужого тела, чужого пота. Нечистота во всём. Что-то нечистое, уже бывшее в употреблении – всегда! *Нет никакой свежести в языке, и это даже не язык, а всегда жаргон* – местечковый, околонаучный, подмосковно-дачный".

И в самом деле: полные прямых или косвенных компиляций, изначально старческие стихи, отдающие болями в пояснице и мигренью в голове автора, говорят ещё и о каком-то общем несварении организма. Поскольку многие из них не обладают внутренней целостностью, за отсутствием серьёзных или выстраданных идей (искусственно придуманные или раздутые до размеров "земного шара" в расчёт не берутся), зачастую их можно завершить любой строчкой из середины, с которой можно и начинать их читать.

О "залапанности" поэзии Бродского Свиридов говорит в связи с общим упадком религиозного сознания, к чему "инструмент языка" непосредственно приложил своё перо. Это позволяет считать стихотворчество "нового Иакова" "идеологическим элементом в борьбе против христианской культуры, которая подлежит уничтожению". А то, что в тексте Свиридова это жёсткое замечание делается в связи с усиленно пропагандируемой антимузыкой, нисколько

---

* Верли М. Общее литературоведение. М., Издательство "Иностранная литература". 1957. С. 66.

** Шкловский В. Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1959. С. 409–410, 411.

не снижает уместности определения применительно к претенциозной и бодливой, но пластически незадачливой поэзии Бродского. Ведь какие формы ни изобретай, как ни разбрасывай слова по "пьяным" строчкам, но поэзия, отвечая поющей или страдающей душе, в недрах своих является всё же *музыкой в Слове*. И тем не менее, у поэта есть вполне добротные вещи, существующие как бы вне связи с личностью автора. Это – "Элегия" (1968), "Осенний крик ястреба" (1975), "Песчаные холмы, поросшие сосной..." (1978). Пожалуй, ещё "Только пепел знает, что значит сгореть дотла" (1985), "Рождественская звезда" (1987). Можно найти у Бродского и прекрасные афоризмы. Например, *"Обычно тот, кто плюёт на Бога, // Плюёт сначала на человека"*. В справедливости этого убеждают воспоминания Штерн.

Любопытно, что в юные годы Бродский, имея некоторый опыт стихосложения, более зрело смотрел на вещи. Так, своим "Неотправленным письмом" (1962–1963) как бы участвуя в развернувшихся тогда дискуссиях о реформе правописания русского языка, он писал: "...наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется..." И завершает письмо совершенно справедливым замечанием: "Язык – это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни". Но вскоре последовавший арест, суд и годовая ссылка на работы в Архангельскую область, видимо, усугубили разложение характера стихотворца. Хотя именно суд (словно в угоду возопившим на весь мир "голосам", "друзьям" и проч.) нежными женскими руками судьи Е. Савельевой "сделал биографию" Бродскому, сплетя поэту нобелевский венок. Судья же невольно и водрузила его на благородно полысевшую голову лауреата. Если б не "образцово-показательный" суд над "тунеядцем", то бедный Иосиф, со временем пробившись-таки в "толстые журналы", вряд ли выделялся бы среди талантливых поэтов России. Впрочем, если принять во внимание memoir – воспоминания старинной поклонницы поэта Л. Штерн, куда как убедительно характеризующие Бродского того периода, – то в благородное негодование "глупым и нелепым судебным процессом" можно внести серьёзные коррективы.

"*Я позвонила Иосифу: приходи завтра на смотрины. Прихорошись, побрейся и прояви геологический энтузиазм. Бродский явился обросший трёхдневной щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках*, – сообщает Штерн.

Итак, *Иосиф плюхнулся, не дожидаясь приглашения, в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой "Прима". "Ваша приятельница утверждает, что вы любите геологию, рвётесь в поле и будете незаменимым работником", – любезно сказал Иван Егорыч.*

"*Могу себе представить... – пробормотал Бродский и залился румянцем (в юности он был мучительно застенчив)"*, – лучится восхищением Штерн.

"В этом году у нас три экспедиции: Кольский, Зауралье и Магадан. Куда бы вы хотели? – Абсолютно без разницы", – хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок. "Вот как! А что вам больше нравится – картирование или поиски и разведка полезных ископа... – Один чёрт, – перебил Бродский, – лишь бы вон отсюда!"

"Может, гамма-каротаж?" – не сдавался начальник. "Хоть – гамма, хоть – дельта – не имеет значения", – парировал Бродский. Богун поджал губы.

"И всё-таки, какая область геологической деятельности вас интересует? – Геологической?" – переспросил Иосиф и хохотнул.

Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся (тем, кто забыл, напомню, что поэт был исключительно застенчив! – **В. С.**) *и заёрзал в кресле* (и, очевидно, совестлив. – **В. С.**).

"Позвольте спросить, – ледяным тоном произнёс Иван Егорыч. – А что-нибудь вас вообще интересует? – Разумеется, – оживился Иосиф. – Ещё как! Больше всего меня интересует проблема духа... как бы объяснить вам попроще (какое, однако, сострадание к безнадёжной простоте не известного миру И. Богуна со стороны не ведомого ещё человечеству гения! – **В. С.**)... *Точнее, сейчас меня занимает метафизическая сущность поэзии..."*

После столь невыразимо глубокой мысли тогда ещё не святого Иосифа Богун вежливо, но решительно попросил свидетельницу бессмертного разговора (со стороны Бродского, разумеется) проводить её великого современника к лифту.

Смывшись от геологии и при этом обхамив (причём *даже не заметив этого!*) незнакомого человека, Бродский, так ни разу не испытав чудесные возможности увидеть свою страну, предпочёл ей "проблемы духа", "метафизическая сущность" которого простиралась от койки до библиотеки и обратно. Что касается поэтических исканий, то, не возблагодарив судьбу, а впоследствии сбившись (прошу прощения за каламбур) с большой дороги на мировоззренческую колею, Бродский уверенно выбирается на проторённые другими поэтические тропы, на которых тернии встречались ему всё реже, а бурьяна становилось всё больше (о чём, в частности, говорят *откровенно наводящие на ответы* вопросы Бродского знаменитому польскому поэту Чеславу Милошу и, в ещё большей степени, многочисленные интервью, которые давал он сам). И в своих переводах Иосиф не очень-то внимателен. Кто-то заметил: "Если вы прочтёте стихотворение "Сатрапы" в переводе Бродского, то увидите, что он вносит в текст лексику Ленинграда, своего поколения, арго". Ну, да бог с ними, с переводами. Вживаться в чужой мир дорогого стоит. Обратимся к жанру путевых заметок, тоже, впрочем, влетающих в копеечку.

С изумлением прослеживая в "Путешествии в Стамбул" (1985) размышления Бродского о Восточном (греческом) христианстве и Католичестве и без удовольствия читая рассказ о поездке в Бразилию ("Посвящается позвоночнику". 1978), не знаешь, чему в них удивляться больше всего: невежеству или цинизму, пока, разобравшись, не приходишь к выводу, что любви к себе отдано там наибольшее предпочтение.

Через все писания красной нитью проходит откровенно потребительский взгляд на мир, разбавленный "вечными" сентенциями о "человеческом стаде, бродящем под сводами Аль-Софии"... Всё это сменяется скукотой не знающего куда себя деть туриста. Отсюда подробное описание "не гнущейся" спинки сидений самолёта и злое брюзжание на местную пыль после посадки. Во всём сквозит больная душа классически гнилого "русского интеллигента", а потому всё, на что ни обращает своё раздражённое внимание Бродский, говорит, конечно же, о нём самом, попутно свидетельствуя о психически неуравновешенной натуре.

Оттого не удивляешься, что, рассматривая в музее исламские реликвии "и прочие священные тексты" и не умея прочесть их, поэт (а лучше всё же сказать *Бродский*) разом и без всякой нужды умудряется оскорбить и арабский, и русский языки. Как бы отплёвываясь от всего увиденного, он небрежно роняет: "...невольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня русского, думал я". Через страницу – в своих мыслях о Византии – он ещё более конкретен. Обыгрывая турецкие слова "бардак" (стакан) и "дурак" (остановка), Бродский совсем не по-великому острит: "Достаточно, что и христианство, и *бардак* с *дураком* пришли к нам из этого места", то есть... из "византийской Турции".

Но учитывая, что не был Бродский историком (ну, не был, и всё тут! Хоть и слышал, что турки завоевали Византию *потом,* через пять веков после принятия Русью Православия), не будем очень строги и обратимся к его туристским эмоциям, которые впечатляют не меньше: "Но мечети Стамбула! – никак не уймётся в своей желчности жертва клевет, наговоров, милицейских, судебных и прочих социальных притеснений. – Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от неё оторваться застывшие каменные жабы!"...

Негодуя едва ли не на всё, но в Греции решив всё же хоть что-то похвалить и выбрав для этого храм Посейдона, Бродский делает это совершенно замечательным образом: "Он в десять раз меньше Парфенона (?!..). Во сколько раз (!) он прекрасней (?!), сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства (?!..). Крыши у него нет".

Вот так... Одной только фразой, как будто взятой из тетрадки полкового писаря или сочинения второгодника, Бродский умудряется принизить поразительный красоты Парфенон, посеять сомнения в эстетическом ощущении ("отсчёте") красоты (то есть, что прекрасней: "Чёрный квадрат" Казимира Малевича, "Сикстинская Мадонна" Рафаэля или "Свиные туши" Хаима Сутина – это ещё надо подумать...) и "добить" храм обывательским замечанием об отсутствии "крыши" (на самом деле – *антаблемента с настилом* и перекрытием под кровлей из черепичных или мраморных пластин). А ведь оголённые человеческим произволом колонны храма свидетельствуют не только об утере "крыши", но о великих трагедиях древности, беспощадно распинавших

и культуру, и жизни человеческие. Эти изувеченные, но грандиозные останки ушедшей цивилизации напоминают нынешнему человеку о том, что не он только, но и всё сущее преходяще...

Расстроенный от потери "крыши", Бродский в том же "Посвящении...", прожив в Рио-де-Жанейро всего неделю, утверждает, что это тот "город, где у вас не может быть воспоминаний, проживи вы в нём всю жизнь". Отчего же? Да люди там никуда не годные – "не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая", "лощёные такие шоколадные твари..." – пишет он о соплеменниках Хорхе Борхеса, Хулио Кортасара, Леопольдо Лугонеса и Адольфо Касареса. Но вот, отвратив свой взор от "шоколадных тварей", одна из которых, к слову, спёрла у него кошелёк (надо же – дрянь такая!), он и в белых своих коллегах на конгрессе ПЕН-Клуба в Рио не находит ничего путного: "Занятно было наблюдать всю эту шваль..." – отхаркивается от них "духовно-проблемный" Иосиф и попутно "выдающийся поэт современности". Как тут не вспомнить сентенцию Цицерона: *"Чтобы быть Цезарем, надо иметь душу Цезаря".*

Но отвлечёмся от никак не впечатляющих путевых заметок и обратимся к мыслям Бродского о европейской цивилизации. Судя по контексту записей, не понимая, о чём он, собственно, думает, Бродский пишет: "Может быть, даже, говорил я себе, вся европейская культура, с её соборами, готикой, барокко, рококо, завитками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч., есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда лесу"...*

И здесь реплики Бродского вызывают ощущение духовной неопрятности, "залапанности" и немытости, являя тот род интеллектуального сора, из которого если и растут цветы, то кладбищенские или попросту дурно пахнущие ("Представление", 1987). Когда читаешь всё это, не покидает ощущение пребывания в непроветренной петербургской коммуналке, донельзя загаженном общественном подъезде с вечно заплёванным полом, раздавленными окурками и тараканами, которым бежать некуда... Всё это говорит о разложении чего-то важного. Впрочем, туристская ипохондрия Бродского, ровно запылённая на страницах юбилейного сборника литературоведческой заумью, скоро становится вполне объяснимой, поскольку в одном месте, видимо, проговорившись, автор называет себя "затравленным психопатом"**.

Как бы там ни было, прозаический опус "Путешествий..." Бродского, став ляпсусом, никогда более не имел продолжения, как, собственно, и сами путешествия (опять ведь спереть могут что-нибудь... гады!). И если Иосиф на ослах от литературы (да простят меня те, кто просто запутался в тенётах поэтической зауми и цинизме в прозе) водружён-таки был на поэтический Олимп, то не без помощи проходимцев от "большой" политики. То был не первый и не последний "политический нобель"***. Уже потому, что в число лауреатов не попали ни А. Куприн, ни Л. Леонов, ни М. Горький (ну, с ним-то понятно), ни А. Ахматова, ни В. Астафьев. И не только им – Льву Толстому, Чехову, Ибсену, Верхарну и Малларме "комитет" не удосужился присудить Нобелевскую премию. А вот Уинстону Черчиллю присудил... Причём, – *по литературе* (хорошо хоть не за укрепление мира...****). Потому, наверное, что писал лучше всех...

---

* Все цитаты, включая "Бродский – геолог" Л. Штерн (с. 250–251), взяты из книги, посвящённой 50-летию, цитирую: "выдающегося поэта нашего времени" Иосифа Бродского "Размером подлинника". Таллин. 1990.

** Бродский знал, что говорил. Журнал "Новый мир" (№ 1, 2007) приводит заключение судебно-психиатрической экспертизы от 11 марта 1964 года: "Бродский проявляет психопатические черты характера", но "психическим заболеванием не страдает и может отдавать отчёт своим действиям и руководить ими". В последнем особенно убеждают дневники поэта...

*** Напомню: ежегодная международная Нобелевская премия по физике, химии, физиологии, литературе, а также за деятельность по укреплению мира учреждена Альфредом Бернхардом Нобелем, присуждается с 1901 года.

**** За девять лет до получения премии – 5 августа 1944 года – Черчилль сделал запрос в правительство Великобритании о возможности использования против Германии отравляющего газа. Черчилль, вознамерясь стереть немцев с лица земли, указывал на готовые к применению 32 000 тонн горчичного газа и фосгена, могущих уничтожить всё живое в Германии на площади 965 кв. миль, что превышает города Берлин, Гамбург, Кёльн, Ессен, Франкфурт и Кассель, вместе взятые (см. Albert Speer. "Inside the Third Reih". P. 413. Примечание ** David Irving, Die Ceheimwaffen des Dritten Reiches. Hamburg, 1969). Рядом с этой несостоявшейся акцией бедствия Хиросимы и Нагасаки выглядели бы ничтожными. Даже Гитлер отказывался (Ibid. P. 413) применять в военных целях отравляющие средства.

Словом, феномен Бродского интересен, прежде всего, *как явление, а не факт поэтического пространства.* Именно последнее выявляет подмену истинных ценностей на мнимые, в которых роль древней цифири принимают на себя "части речи" наряду с высосанными из пальца "амбивалентными образами" и прочим. Всё это в основных "частях" своих выморочно, за исключением тех "живых мест", где проявляется циничное отношение к духовным святыням и самой жизни ("Набросок", 1972). Ввиду духовной и физической запущенности, муза Бродского становится похожей на до времени располневшую даму, проституирующую сомнительными достоинствами; эдакую гейневскую "богиню Гаммодию", убранную в плохо стиранное бельё из плохонького комиссионного.

Итак, поэтическое дарование Бродского очевидно, умосплетения прозаика не выдерживают критики, а вот аура гения, упорно навязываемая массовому читателю, вызывает изумление...*

Но лиха беда начало. Благо, не одним Бродским жила литература, проросшая густым бурьяном схожих сочинений. Ибо перекосились опоры русской жизни, и "поехала крыша" у целого ряда российских литераторов...

"Эпоха Бродского" вытряхнула из реквизитов диссидентства духовно обрезанных ерофеевых и войновичей. Унавозив своими писаниями отечественную литературу, они унавозили почву и для гнилой поросли из разнообразных сорокиных. А чего ещё было ожидать? С воцарением в России "новой культуры" лишённое самосознания общество неизбежно покрывает короста из самозванцев от литературы. Увенчанная премиями, именно такого рода "литература" выстилает дорожку в *ад стереотипов.*

Беда, однако, в том, что суррогатная культура, метастазами разойдясь по телу страны и наполнив миазмами читательский мир, *сумела занять прочные позиции в жизни остальной России.* На фоне этого словесно-порнографического "творчества" (между тем, широко представленного и, в соответствии с планами "рынка", "недурно расходящегося") "канонический Иосиф" смотрится почти целомудренно.

Если бы только это...

Массовое оглупление дешёвым чтивом достигло такой степени, что наиболее чтимыми в России оказываются "полёты" Гарри Поттера, сладковатые, с горчинкой, истории баснописца Пауло Коэльо и околокремлёвские сплетни неудавшихся сатрапов и их прихвостней. И всё это происходит в лоне великой отечественной литературы, которая самой сущностью своей призвана оберегать человека от духовной неопрятности, тотального невежества, пошлости и безвкусицы, которая в лице своих гениев свидетельствует *о душе и необходимости совести в человеке.*

Но и это не всё... Иные "случаи" в "литературном мире", выходя далеко за пределы и совести и морали, напрямую грозят привести нравственные мерила людей к полному нулю, *прямо свидетельствуя о том, чего стоит нынешнее российское общество.*

Некто Плутцер (очевидно, от слова – *плут*) или Плуцхер (уж и не знаю, как объяснить, хотя догадаться можно) издаёт Энциклопедию русского мата в 12 томах (!), в которой одному только известному *слову из трёх букв* он уделяет весь первый том. Здесь под видом изучения автор смакует падаль своего внутреннего разложения, заполняя миазмами "чёрные дыры" общества, и без того во многом опущенного до плинтуса...

Ясно, что "труд" сей является не просто похабщиной, но пробным шаром духовных дегенератов, мечтающих бытие страны превратить в некую "хреновину" или гноящуюся "дыру". Очевидно, такую цель преследуют "писатели и философы", и по сей день ненавидящие чуждый им язык, упорно отыскивающие в нём то, что близко им самим. В этих целях и пытаются они своими духовными миазмами вымазать истинно великое и могучее Слово, язык которого им до сих пор непонятен, а потому вызывает панический страх!

---

* В сборнике "Назидание. Стихи" (Ленинград. 1990), посвящённом тому же юбилею, в предисловии так прямо и написано: "Творчество Иосифа Бродского относится к высшим достижениям русской и мировой культуры, и оно должно как можно быстрее и шире войти в обиход русского читателя и читателей всех народов нашей страны".

И всё же главное зло от деятельности нынешних “интеллектуалов”, “энциклопедистов” и “просветителей”, которых в теперешней России развелось немерено, видится мне не в глупости и даже не в наглости их. Куда большее беспокойство вызывает в этом подлом деле число помощников, кои нашлись сначала в лице коллектива издательства, а потом и в *убогих миром покупателей* этой продукции. Ибо, по словам автора, первый том тиражом 10 000 экземпляров “разошёлся довольно скоро”. То есть сочинитель без труда нашёл (и, очевидно, найдёт и в дальнейшем) многие тысячи поклонников и единомышленников, которые так же, как и он, “тащатся” от подобных “народных изречений”.

Казалось бы, достаточно устыдить сочинителя, издателей и какое-то число читающей публики, если б в этом “деле”, как в зеркале, не отразились пороки *всего* российского общества, к которым следует отнести *реакцию на подобные вещи.* В этом “зеркале” угадываются уродливые отражения как тех, кто издавна ненавидит русскую культуру, а потому настойчиво и не со вчерашнего дня распространяет подобные гадости, так и тех, кто употребляет такие слова и делится с другими этой гадостью. Во всём этом повинно не только отребье и малодушные низы общества, но и “чистенькая” его часть, бездеятельно отвращающая благородный лик свой от подобных мерзостей. *“Кто из нас не возмутится, когда бесчестят женщину, отчего же мы не возмущаемся, когда бесчестят язык: ведь и он живой, ведь и он целому-дренный. Есть преступления против языка, которые никому не прощаются”,* – писал Дмитрий Мережковский во времена, когда общество способно было ещё возмущаться бесчинством и когда подобного рода гнев не назывался ещё фашизмом...

Есть ещё и другое...

Если с Плуцкером всё более-менее ясно – тот исходит восторгом от... “широты” русского языка, то М. Эпштейн – другой “русский писатель” и тоже “филолог, философ, культуролог, эссеист”, наоборот, сетует на <u>бедность русского языка</u> (*потому настойчиво предлагает внедрять в него английские слова*). “Можно ли сравнивать 750 тысяч слов и 150 тысяч (а если без лексикографических приписок, то всего лишь 40-50!)”, “имея страдание” о языке, сопоставляет Эпштейн английский язык и русский*.

Кстати, это “тот самый” автор, который, будучи в Балтиморе (США), умудрялся влиять на “целый “Континент” (журнал такой), где он когда-то впервые изложил идею (и не оставляет её до сих пор) *интернетской шифровки* произведений великих людей. К примеру, Ф. М. Достоевского он честно и откровенно предлагает... *<u>не читать</u>* (и в самом деле – зачем?!), “сжав его” в коротенький абзац... Ясно, что “описания сути произведений” Достоевского и исследований о нём (как и обо всех остальных гениях) будут принадлежать авторам подобных идей, в числе “шифровальщиков” которых себя, Эпштейн, очевидно по скромности своей, не упоминает. Ну, не то чтобы он совсем уж устраняет себя от этого, а, как бы это сказать, передоверяет, что ли (я, ей-богу, сам напуган строгостью языковых смыслообразований, поэтому боюсь ошибиться в словоиспользовании), подталкивая к этому других. Кого? Как... кого? Некого, что ли? Тот же Иосиф Бродский некогда нашёл у Достоевского “*всеядную прожорливость языка, которому в один прекрасный день* (любил всё же Бродский природу! – **В. С.**) *становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда <u>он</u> набрасывается на себя* (язык на себя набрасывается! – **В. С.** См. “Звезда”. № 10. 2005. с. 220)”.

А вот ещё: в далёкие уже времена социал-демократ Столпнер шептал на ушко Василию Розанову: “*Достоевский весь вертляв и фальшив. ...И у него всегда так. Лицо являет величайшее смирение, убогость, нищенство, и из-под него лезет на вас сатанинская гордость.* (А что, Толстой разве лучше? А Пушкин? А Лермонтов? А Тургенев? А этот, как его, Лесков? А Есенин? Всех бы их!.. – **В. С.**) Свои сентенции Столпнер закончил изречением, которое могло быть (начитанный Эпштейн, так уж получилось, как-то упустил его) и эпиграфом, и путеводной звездой (пишу без намёков, ей-богу!) всей

---

* См. “Русский язык в свете творческой филологии”, “Знамя”, № 1, 2006.

деятельности "шифровальщиков" – мастеров букв, слов и чисел. Вот оно: "*Россия должна выбраться из этого бреда, из этого дурмана, из этой фальши, лукавства и всяческой духовной тьмы...*" ("Мимолётное", 1915). Как мы знаем, так оно и получилось. Через два года в Россию устремились спасители её и на кораблях, и в запломбированных вагонах, и на верблюдах, и на всех остальных возможных и невозможных видах транспорта. Продолжают помогать России и сейчас – и "оттудова", и "отсюдова", и "откудова" угодно. Благо, современные технологии позволяют это делать, не отходя от компьютера и, простите за неуместный каламбур, *не отходя от кассы*. Но не будем отвлекаться от "*творческой филологии*" Эпштейна и языко-едения.

Так вот – и вполне серьёзно! – рассматривается (по первоисточнику назовём её "континентная") *блокада человеческого гения*, загоняемого "Эпштейнами и К°" в прокрустово ложе собственных, назовём их *субъективными*, умозрений. А что ещё думать, если в соответствии с задумкой "авторов проекта" за короткое время можно будет прочесть "всего" Достоевского, Толстого, Гомера, Цезаря, Лермонтова, Пушкина, Бальзака, Диккенса и ещё десяток-другой гениев. Ну, хорошо, один вечер будешь читать "их", ну два, ну три... – *а дальше что?*

Как это – что? Разве прецедент-открытие не стоит того, чтобы воспеть Эпштейна, столь хитроумно избавляющего нас от невежества?! Тем более что сэкономленное время можно использовать на что-нибудь путное, более приятное и естественное, например, выпить или съесть что-нибудь... Да мало ли на что! И тогда воцарится над мировыми знаниями лик Его (Эпштейна) и сонм порхающих круг Него "ангелов" единокорытников*, выморочных борцов с гениями, апологетов тупости и провозглашателей "знаний" для теле-смотрителей и поедателей за компьютерными играми пицц, чипсов, гамбургеров и проч.

Размышляя обо всём этом и даже где-то завидуя столь грандиозным планам Эпштейна, почему-то опять пришёл мне, грешному, на память другой "спецьялист" по тюремно-лагерному ивриту Плуцкер. Почему пришёл? Сам не знаю. Потому, наверное, что два "антагониста" (один из которых *одного только мата насчитал больше, чем другой слов в русском языке*) всё же нашли бы общий язык через понятные им слова.

И точно – на ловца и зверь бежит!

Занимаясь наукой по компьютеру и разрешаясь при этом "творческой филологией", Эпштейн сдаёт себя с головой. Найдя рубрику "Русский мат" (которую тоже, наверное, основали "филологи" типа Плуцкера), исследователь наш оскаливается злорадной репликой: *видимо, русский мат является "главным источником новейших словообразований"* ("Знамя", № 1, 2006, с. 195). Очевидно, здесь проявляется духовная связь эпштейнов-слово-изучателей, плуцкеров-слово-распространителей и прочих "писателей". Удивительно, однако, не это, а то, что они, через задний ход (не подумайте ничего плохого!) пробравшись в русский язык, пролазят и в "игольное ушко" науки... Уж не потому ли, что научились прикидываться верблюдами?

Поневоле приходят на память слова А. Куприна из письма Ф. Батюшкову, как будто бы отвечающие и на поставленные, и на незаданные вопросы: *"...Ведь никто, как они* (предтечи нынешних "спецьялистов" по русскому языку. – **В. С.**), *успели внести и вносят в прелестный* (*гламурный,* сказали бы эпштейнианцы. – **В. С.**) *русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных телеграфно-сокращённых нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку социал-демократическую брошюрятину. Они внесли припадочность, истеричность и пристрастность в критику и рецензию*". Далее Куприн чуть не с мольбой обращается к знаковым "филологам": "*...Идите в генералы, инженеры, учёные, доктора, адвокаты – куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который вы <...> и вывихнули*".

Да, впечатляющая характеристика дана "писателям и филологам", как и тому, чем они на самом деле занимаются! Однако не тронули молитвы Ку-

---

* Они же, в университетах США (насчёт Европы не знаю) занимая на факультетах славистики известные позиции и оберегая их (позиции) от иначе мыслящих, мягко говоря, по-своему преподносят русский язык и литературу. Остаётся только надеяться, что умные и упорные в учёбе студенты сумеют овладеть русским языком настолько, чтобы смочь без посторонней (опять винюсь за неловкий каламбур) помощи разобраться в русской культуре.

прина циничных похабщиков русского языка. Не тронут и мои... А потому вернёмся к "культурологии".

Как же пришёл к своему "числовому" выводу печальник о языке русском г-н Эп-н (здесь и далее, дабы не прослыть – упаси Бог! – юдофобом, буду упоминать его в сокращении)?

А вот как: г-н Эп-н исходит из количества ("прироста") новых слов. Нелепость этого всякому здравомыслящему человеку очевидна, но мыслит г-н Эп-н по принципу "пипл всё схавает". Однако не будем нервничать, а рассмотрим всё по порядку.

Если бы "прирост" слов за многие столетия был главным достоинством языка (любого), то стараниями "собирателей слов" каждый следующий век плохо понимал бы предыдущий, а лет эдак через 300 народное тело и вовсе перестало бы понимать *само себя*. Тогда в мировой культуре произошла бы полная неразбериха, которая *напрочь перечеркнула бы все предыдущие достижения человеческого гения!* Ибо не было бы никакой возможности переводить *на новый язык* все эти (назовём их "эпштейновскими") изменения. Не было бы и смысла. Почему? Да потому, что язык всё время исчезал бы, "появляясь" по-новому, в совершенно иных качествах. Но Бог милостив! Потому на одного г-на Эп-на приходятся достаточно честных, порядочных и умных людей. Культурный Апокалипсис не приходит ещё и потому, что язык по своей природе консервативен. Настолько, *насколько консервативное* (то есть не совращённое) *сознание народа тяготеет к своей сущности*. Сама же она является следствием многосотлетнего формирования *своеобразия мировосприятия*, которое заявляет о себе (или не заявляет) в мировой культуре. Увы, для г-на Э-на язык народа сродни галантерейным новшествам, которые должны сменяться в соответствии с требованиями сезона или каприза модниц.

Но это ладно. Как можно не сказать о том, что г-н Эп-н попросту *передёргивает существо факта*. Так, утверждая, что в английском языке 750 тысяч слов, он обходит главное: *сколькими словами живёт англоязычное сознание* (в устной ипостаси на три четверти германского происхождения). То есть он не задаётся вопросом: сколько слов *работает*, как в реальности, так и в облюбованной г-ном Эп-ном семантике, филологии и т. д. Что с того, если в копилке 75 монет, а вытрясти из неё можно 2 или 3? Не является секретом ведь, что словарь самых выдающихся писателей редко превышает семнадцать-двадцать тысяч слов. И даже в совокупности всех "разниц" (то есть сложив *арифметическую разницу* самых великих англоязычных писателей за последние три столетия) число "рабочих" слов вряд ли превысит 40-50 тысяч. К примеру, словарь Шекспира (кстати, внёсшего в родной язык около 1700 слов) специалисты признают одним из самых богатых в англоязычной литературе, но он насчитывает "всего лишь" около 24 тысяч слов (столько же у А. Пушкина). Если же самому г-ну Эп-ну предложить перечислить все известные ему слова, то, лихо начав, он наверняка начнёт спотыкаться на первой же сотне...

III

Да, чуть не забыл: откуда г-н Эп-н взял цифру 750 000?..

Самый авторитетный в США Webster's Dictionary, выпущенный в 1983 году, насчитывает 315 000 *главных* слов (в 2001 году он переиздаётся *с тем же* количеством слов). В 1989 году Webster's New Internetial Dictionary of the English Language, second edition, unabridged (то есть другой Вебстер) насчитал 550 000 *главных* слов. В 1993 году Random House Dictionary, second edition "укорачивает язык" до 450 000 слов. Последний Webster's Third New Internetial Dictionary (2005) подтверждает наличие 450 000 *главных* слов (для справки – в одном из первых словарей в 1864 году было 114 000 слов, в 1890-м – 175 000, а в 1909 году Webster's Dictionary включал 400 000 слов). Но это всё ветреные американцы, к тому же язык этот "не ихний". Как же обстоят дела в Англии? Там тоже регулярно считают слова. The Oxford English Dictionary выпускает в 1989 году 20 томов, в котором было 290 500 слов. Но, очевидно заглянув в штатовские словари и придя в ужас от разницы, учёные по новой считают слова и в 2005 году выпускают Oxford English Dictionary в 20-ти томах, в которых уже *301 100* слов. Но досчитать до 750 тысяч им совесть не позволила. Так где же г-н Эп-н выкопал свою "магическую цифру"? По каким "буквам" разгадал и по каким "числам" вычислил её?

Что касается русского языка, то Владимир Даль ещё в позапрошлом веке выпустил Словарь, в котором насчитывается более 200 000 слов. При этом Даль не включил в свой труд уменьшительные и увеличительные формы в качестве самостоятельных лексических единиц, иначе в нём оказалось бы более 600 000 слов*.

Количество слов безусловно говорит о богатстве языка, *но до известных пределов*. Каких? Их опять же определяет *рабочее состояние языка*, включающее все известные человеку сферы деятельности (при этом обязательно оговаривая разницу "прибавочных" технических и прочих специфических слов, не принадлежащих, собственно, к "языку", но в иных случаях могущих участвовать в нём). Исходя из этого приходишь к совершенно противоположному г-ну Эп-ну выводу: современный английский язык, разрастаясь, структурно иссыхает *именно ввиду обильного привнесения в словарь множества узкофункциональных, технических и прочих* ***лишённых образа,*** *а то и вовсе бессмысленных слов и словообразований, совершенно не нужных в языковой и какой бы то ни было культуре!* И если разбухание, – по Эп-ну, "богатство", – английского будет продолжаться, то он (язык – не Эп-н) разделит участь латинского или, что не многим лучше, будет язык "для жизни" и *"для словаря"* (для "филологов", эп-нов, и пр.). Ибо о богатстве языка свидетельствует не количество слов, а их *задействованность в бытии*. Это касается не только языка, но и творчества вообще, на которое, судя по названию статьи, почему-то претендует г-н Эп-н.

Рискуя вызвать ропот "ортодоксальных филологов" и языко-едов, скажу всё же: Рембрандт, Веласкес и Хальс создавали свои шедевры, пользуясь лишь *шестью* (6-ю) цветами! Умело создавая нужные, мастерски пользуясь дополнительными и взаимодополнительными цветами (чуть не сказал – *словами!*), живописцы пользовались великолепным по своему богатству и разнообразию "числом" цвета и оттенков, колористическая тонкость и глубина которых свидетельствует о широкой палитре. Дабы унять гордость нашего (уточню – балтиморского) великого философа, скажу ещё, что "эпштейнизм" опередил самого Эп-на, причём в современной (или, да простится мне моё языковое невежество, *модерновой*) живописи, ибо разноцветье тюбиков, нынче исчисляясь уже сотнями, всё растёт и растёт, а толку с этого – чуть... И ещё: можно ли не замечать псевдонаучность и косноязычие, слабоумие в анализе и на редкость без*образ*ное ощущение русского языка самим г-ном Эп-ном, что весьма странно для философа, филолога, культуролога и ещё чёрт знает кого! Ибо звания, должности и научные степени не имеют значения, если подтверждены лишь кафедрой(-рами), а не реальными знаниями.

Чего стоит один только, простите, перл: "Но если всю *почву* русского языка *залить* (?!) под этот железобетон (?!) (неологизмов. – **В. С.**), *на ней* (?!..) ничего уже не останется".

Ну, в самом деле: как можно *сыпучую почву*... *залить* под железобетон? Может, проще железобетон, отбив от арматуры**, размолотив, добавив цемент и разбавив водой, *"залить"* на почву? Но если даже "залить" то, что не заливается, *под* то, что как будто обладает "литейными" свойствами, то что же будет представлять из себя и как можно увидеть *то*, что "залито"? Впрочем, это нам тяжело. Г-н Эп-н может "заливать" всё, что угодно и подо что угодно. В данном случае "под", "на" или, скорее всего, *мимо* русского языка...

Как же пришёл г-н Эп-н к жизни такой – энд why?

Ясное дело, не без поддержки выдающихся ушедших в мир иной или живущих ещё гениальных философов, поэтов, культурологов, которых в "евонном" штате, наверное, пруд пруди. Впрочем, в данном случае он приводит образец мысли другого философа и, конечно же, русского писателя.

---

* После смерти В. Даля Бодуэн де Куртэнэ включил в Словарь (видимо, "для количества") множество ругательных слов, ввиду чего истинным "далевским" Словарём следует считать репринтные издания 1863 и 1866 (1955 и 1994).

Для сравнения: современный немецкий язык насчитывает около 400 000 слов, шведский – около 300 000. В латинском языке специалисты насчитали 100 000, в древнегреческом – более 100 000, в древнеисландском и в санскрите (литературном языке древней Индии) – более 200 000 слов.

** Железобетон – это монолитное соединение бетона и стальной арматуры, применяемое в строительстве. Конструкция – изделия из такого материала (Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. М., 1999).

“Лев Шестов напрямую связывал идеологическую “диктатуру слова” при большевизме с пережитками магии”, – пишет г-н Эп-н, по всей вероятности, опять (теперь уже с Шестовым) ревнуя “магию” к “числам”. Что же говорит сам Шестов, в котором, к слову, новая власть души не чаяла? “Для них (то есть возлюбивших его большевиков) реальные условия человеческой жизни не существуют, – писал Шестов о своих протеже “оттудова” уже. – Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу”. Но г-ну Эп-ну Иегуды Лейбы Шестова мало, и он опять берёт на подмогу Иосифа Бродского, в послесловии к “Котловану” рассуждавшего об Андрее Платонове (к слову, проект *настоящего – “политического”* – котлована принадлежит не Платонову, писатель лишь придал ему художественную форму). Здесь ясно видно, что по крутизне Бродский в своих умозрениях явно превосходит Шестова (будем честны – Шварцмана). Судите сами: у Платонова возникает... “возникновение понятий, лишённых какого бы то ни было реального содержания <...> ...Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде *жертвой своего языка*, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость”, – вставляет Бродский в уста Платонова собственные домыслы. И далее: “Мне думается, что поэтому Платонов непереводим и, до известной степени, благо тому языку, *на который он переведён быть не может* (так и написано: *благо тому языку!*)”, – пишет Бродский, единовременно уничижая и русский язык, и великого писателя, рядом с которым его самого и различить-то трудно. Так, “нобелевский пигмей” цитируется просто пигмеем, отчего оба они становятся ещё меньше ростом!

Словом, и в отношении Андрея Платонова “полный абзац”...

Впрочем, прокомментирую его.

В нём – в “абзаце” – теперь уже Бродский использовал давненько наработанный им приём: когда можно было утаить или незаметно изменить смысл цитируемого, он это делал, не моргнув глазом, а когда это не представлялось возможным, то говорил от своего имени, как в данном случае. И тогда хучь глаза закрывай, хучь нос вороти от сказанного... – тоже, как в данном случае. Не иначе как оба писателя (Эп-н и Бродский), переутомившись за “вычислениями”, спутали русский язык с чем-то ещё... Если жизнь где-то и “выстраивается” по числам и магии, это не значит, что она так же строится и в грамматике. Хотя чем чёрт не шутит. К примеру, Кручёных выворачивал её наизнанку: “Бор а циципи. Рпе сека, зоркотимся!”. Но то было давно. Г-н Эп-н с наслаждением приводит “магические слова” из “Геологов” нынешнего “классика” Вл. Сорокина: “Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление. – Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок”.

Чем не магия, а? Здорово, да? И ведь по-русски написано, не по-аглицки! Буквы-то русские... Или вот, из того же Сорокина (рассказ “Заседание завкома”) г-н Эп-н любовно приводит следующий отрывок: “Нашпиго! Набиво! – заревел милиционер. – Напихо червие! Напихо червие! – закричала Симакова... – Напихо червие, – повторял Старухин. – Напихо...”. Так и хочется подумать вслед за г-ном Эп-ном: *Э-эх, дикари!*..

Если вернуться к “филологии Эп-на”, то как не изумиться его утверждению, что *словоизменение* и *словообразование* совершенно разные вещи?! Это означает, что с изменением слова г-н Эп-н не чувствует *изменение образа* его, как и образа вообще. Приводя удобные для себя примеры: “сапожок” и “сапожище”, и “сирота” и “сиротинушка”, а не, скажем, “дочь” и “доченька” (чётко разделяющие *наличие* дочери и *отношение* к ней), Эп-н считает эти пары одним словом. Впрочем, и в своём примере “писатель” не видит разницы между *смыслом* и *образом*, между *фактом отсутствия* одного или обоих родителей и *отношением* к сироте (чаще всего, *мягком, лирическом, жалостном*, и т. д. – не буду продолжать, ибо нашему учёному и эти слова могут показаться идентичными, а потому к словарю русского языка не имеющими отношения). Очевидно, внутренне абсолютно чужой русскому языку (который, как и любой язык, не ограничивается одним только “запасом слов”), г-н Эп-н вполне естественно не понимает того, что язык, облечённый народным телом, сопротивляется чуждым ему привнесениям, как бы ни хотели того апологеты трупных языков. Не понимая этого, не ощущает г-н Эп-н и *изменения образов слова*. Впрочем, усилия “языковеда” не пропадают даром, ибо сплошь и рядом натыкаешься на чуждые языку (но не г-ну Эп-ну) словоизменения и словообразования.

Потому, подменив действительное эфемерным и лихо отбросив "приписки", филолог наш в лучших традициях "парикмахеров" от литературы обскубал русский язык до **40 тысяч.** А почему нет?! Было бы желание. Вот и я мог бы после устного счёта г-ном Эп-ном свести его "запас" к нескольким ста словам. Но делать этого не буду, хотя бы потому, что в его статье с заумным и до смешного эрудированным названием, их (разных слов), наверное, больше. Другое дело – нужно ли было писать все эти "слова"...

Знакомясь с опусами г-на Эп-на, видишь полное непонимание им того, что разрастающийся словарь и пухнущий не по дням, а по часам язык *есть свидетельство его деструктивного разжижения, размывания и ослабления.* И если всё это не происходит с русским языком, то *это как раз свидетельствует о силе и языко-родной защите его!*

Но не понимает этого г-н Эп-н или, наоборот... – понимает? Впрочем, какая разница...

В свете всего рассмотренного становится очевидным, что г-н *Эп-н не только не знает, не чувствует и не любит русский язык, он его ненавидит!* И, ненавидя, вредит всеми доступными ему способами. Целенаправленно наносимый им вред русской культуре не вызывает сомнений, поэтому в оценке его псевдонаучных опусов не должно быть ни двойственности, ни толерантности, ни либерально-космополитической "амбивалентности". Причём духовная мелкость и личная интеллектуальная ущербность Эпштейна не играют здесь большой роли, поскольку его опусы рассчитаны на мало сведущую и духовно неприхотливую публику. Другое дело *направленность* деятельности. В длинном ряду старых и новых "схарий" Эпштейн, по сути своей, по призванию, предназначению и по делам своим, является банальным продолжателем "учения" псевдомудрствующих. Поэтому к нему целиком применимы слова Г. Свиридова, ставившего во главу угла не национальную принадлежность "неопапуасов" и "неадертальцев", а преследуемые ими цели: *они враги русской культуры и культурного достояния всех народов.*

Впрочем, всем этим опусам не приходится удивляться так же, как и сочинителям их. Уходящая в историю наглость (да простит мне г-н Эп-н это, быть может, не самое удачное словосочетание) чуждых русскому языку писателей вполне узнаваема. В доказательство этого приведу небезызвестный факт, характер которого, при всех "словообразованиях" свидетельствуя о позорной беспомощности "нашего" правительства, узнаётся довольно легко. Судите сами.

После подавления Временным правительством восстания большевиков в июле 1917 года их главарям было предъявлено обвинение в измене, грозившее в военное время смертной казнью. Невзирая на это, Лейба Бронштейн по кличке Троцкий "в Совдепе стучал по трибуне и кричал: "Вы обвиняете большевиков в измене и в восстании?.. Сажаете их в тюрьмы?.. Так ведь я же был с ними, я же здесь!... Почему вы меня не арестуете?"... – Члены Совета депутатов молчали. (Они были противниками восстания, большевики тогда были в меньшинстве)", – пишет журналист А. И. Дикий*. Вместо того чтобы судить Троцкого, как преступника, Совдеп, очевидно, опешив от "исторической наглости", замял инцидент.

Возникают "окаянные" вопросы:

Где ещё? В какой истории можно найти прецедент, когда – от имени народа и в качестве русского правительства в самый ответственный момент жизни государства четырьмя "плуцкерами" (Троцким, Иоффе, Караханом и Каменевым-Розенфельдом) заключён был позорный для страны мир с врагом, который, если бы не разлагающая армию деятельность тысяч "просветителей", был бы побеждён в том же 1917 году?! "В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделали всякое изумление, всякий возмущённый крик наивным, дурацким", – писал И. Бунин в "Окаянных днях" о подписавших в Брест-Литовске "похабный мир". Увы, "жирондисты" не были свергнуты. Обезволенный народ не способен был защитить своё Отечество, да и не понимал уже, *где* оно... Когда же Сталин взялся вытащить страну из тяжелейшего кризиса и в этих целях стал проводить "чистку в рядах партии", что, напомню, было перевыполнено холуями

---

* Цитируется А. Диким по книге Б. В. Никитина "Роковые годы", Париж. 1937.

системы с невероятной жестокостью... Потомки "пламенных революционеров" до сих пор ему этого не могут простить! Когда же в условиях тотальной блокады России лидер постленинской эпохи сумел создать мощное государство, то и это всё никак не зачтётся ему. Вписан был Сталин в историю (причём "окончательно, бесповоротно и навсегда"!) как чудовище...

Но мы несколько отвлеклись от "литературы".

Я далёк от мысли сравнивать местечковых "энциклопедистов", которые, конечно же, являются "русскими писателями, философами" и прочая, с негодяем мирового масштаба Троцким, но хочу лишь отметить, что в некоторых случаях история повторяется. Вместе с этим хочу указать и на *неминуемую историческую наказуемость* всякой анемичной власти, которая в России в лице нынешних временщиков подобна узкоголовому страусу.

Как только возникает ситуация, требующая энергичной защиты культуры, так номинальные правители России, более всего боясь принять меры в отстаивании интересов русского народа, зарывают головы в "песок" должностного уюта. Когда же проблемы буквально тычут в глаза "окопным правителям", то они зарываются глубже или натягивают на глаза свой должностной "колпак", дабы ничего не видеть. Увы, вместо резкого (вплоть до уголовной наказуемости!) осуждения "энциклопедистов"-русофобов и похабщиков русской культуры, власти предоставляют им телеканалы и СМИ. Поощряя наглость, прямо потворствуют гибельным для страны процессам. Единственное, что заботит нуворишей, ставших политиками, это: "как ,если негодяи получат по заслугам, воспримет Россию демократический мир?.." Если анемичная номенклатура, глядя "наверх", трусливо лепечет: "Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?.." – то чиновная челядь охает: "Как бы чего не вышло!" Между тем, Запад, как дикий, так и не очень, с издёвкой посмеивается (и вполне заслуженно!) над аморфной российской властью, жалкой в личной слабости, политическом малодушии и социальной беспомощности.

Чего удивляться мату, если в отечественной прессе "смело" публиковались ещё недавно низкопробные вирши, которые заканчивались злобными и безумными словами: "Благодарю тебя, Дантес! Благодарю, Мартынов!" ("Московские вести". 2001, № 3. С. 246).

Деяния ничтожных стихоплетов, того же рода "просветителей", "герострат0в" и прочих необходимо расценивать как *преступления против Общества, Закона и Государства*. То есть они должны быть преданы суду. Только такая реакция может смыть грязь, брошенную в лицо народу. Долг всякой уважающей себя власти состоит в законном (подчеркиваю это!) наказании негодяев, к числу которых следует причислить не только авторов, но и издателей, на глазах у всех совокупно, планомерно и продуманно оскорбляющих Россию и её культуру, при этом по-шакальи вгрызаясь в и без того иссушенные корни нравственных устоев народа!

Кто же виноват? Опять инородцы и опять евреи?

Полагаю, дело не только в них. Больше того, не "они", а *именно* ***мы*** (без кавычек) виноваты во многом из того, что происходит. Обвинять в бедах России одну лишь заезжую братию не только глупо, но и, при боязни глядеть правде в лицо, непродуктивно и исторически опасно. Опасно потому, что, прикрываясь "чужаками", мы опять не видим *собственных* болезней. В отношении "чужих" нелишне знать, что, наделённые пристрастием к "материи" и за счёт внутреннего обладая внешним мышлением, мифические "граждане мира" с отнюдь не мифическими целями ловчее других подбираются к издавна облюбованному ими золотому тельцу". И потом, почему другие державы, тоже находящиеся под игом "тельца", отнюдь не дышат на ладан (о духовном умерщвлении разговор особый)? Следовательно, надо говорить *о формах вмешательства* в структуру и жизнь чуждого им и по духу, и по сознанию государства. "Пусть наш народ идёт своим путём, – размышляя о России писал Свиридов. – Русские не претендуют на руководящие роли в правительстве государства Израиль".

Давно прошло время щекочущих нервы удобных формулировок и слов, успокаивающих нечистую совесть. Настала пора чётких и ясных определений, избегая недомолвок и смущений в раскрытии поистине страшного диагноза. Гигант, поражённый тяжёлой болезнью, должен знать её, а не, внимая вре-

менщикам, тайным советникам и явным лицемерам, слышать спасительные *для них* басни и неумолкающие оптимистические прогнозы. То же касается и главного действующего лица истории – народа.

Разве на пустом месте, по словам Свиридова, *"тюремный жаргон стал языком России"*? Нет, конечно, *не на пустом*, *а на имевшемся* или специально подготовленном для этого. В результате, пишет композитор, русский народ "почти утерял свою национальную особенность и принадлежность. Он превратился в безликую рабскую массу, всегда готовую к послушанию и сохранившую лишь жалкие остатки своего былого богатейшего языка для уразумения приказаний, отдаваемых ему его владыками, и матерную брань, которой он выражает отношение ко всему на свете: к своей жизни, своим близким, своим хозяевам, своей судьбе".

Но не только жаргон царит в русском языке, и не только в устном.

Повсеместно, как тараканы, плодятся письменные извращения великорусского языка, заявляя о себе в "фэнтэзи" (от английского fantasy; так в России в *Домах Книги* называется отдел *фантастики*), "гламурах" (от английского glamourous – 'обаятельный, очаровательный'), нелепых транскрипциях и буквальных заимствованиях (например, *нонфикшэн* – non-fiction – 'нехудожественный') из английского в русский язык, превращая его тем самым в псевдорусский. В златоглавой снуют сотни маршрутных такси, надписанные нелепым словом "Автолайн" (тогда уж надо писать *ауто* от слова auto или, не без иронии, авто-line, поскольку в русском языке никакого "лая", кроме собачьего, не существует). Примеров всем этим языковым извращениям не счесть.

Спортивные комментаторы, которых молва кличет "прапорщиками эфира", загаживают русский язык до безобразия! Но если в эфире и "письменности" разносчиками языковых инфекций является "спортивная братва" и журналистская братия, в первом случае свидетельствуя о малой образованности, а в последнем – подтверждая "древность" своей профессии, то в устной речи языковую заразу вроде "фьючерсов" разносят мещане, имя которым легион! Выпоротая мировой и русской классикой, живущая ото дня ко дню и плюющая на всё, что нельзя съесть и чем попользоваться, эта армия превращает в пустыри духовное наследие России. И то, что "народу" помогают в этом (и немало!) "другие", ни в коей мере не оправдывает добровольное само-оглупление, хуже чего может быть лишь *коллективное беспамятство по-холопски*. Впрочем, потеря памяти в русском обществе, обвально заявившая о себе среди как известных, так и не известных нам "учёных-лингвистов", имеет давнюю историю. Взять хотя бы прилепившийся к бумаге *кроссворд* (от англ. Crossword), вытеснивший красивое и благозвучное слово *крестословица*.

Остановимся на "прилипании" чуть подробнее

В незапамятные времена формирование народов сопровождалось длительным периодом совершенствования средств письменного, бытового и обиходного общения. В этом процессе обмен и заимствование слов было и неизбежно, и необходимо. Когда же становление языков прошло *стадию необходимости*, тогда интенсивность языкового обмена значительно уменьшилась. Единичный "обмен словами" между различными языковыми группами как средство оптимизации общения продолжается и сейчас. Международные культурные и политические диалоги, как и деловые связи, поневоле приводят к отбору приоритетных, обоюдопонятных и приемлемых в контактах слов. Это же касается литературы и обиходного общения. Но следует признать по меньшей мере странным, когда коренные, ясные по слогу, смыслу, многозначные по содержанию и ёмкие по образу русские слова-понятия сменяются громоздкими, режущими ухо и колющими читательский глаз жаргоном (например, *хоспис* – от английского hospice, в русском языке имеющего *свой* куда более богатый по ассоциативному ряду аналог *приют*, *богадельня*). Разве здесь не налицо *подмена одной системы понятий другой?* Не проще ли тогда взять русско-английский-французский-немецкий-испанский... словарь и, в зависимости от степени малодушия, буквально *вносить в русский язык* тысячи иноземных слов?.. Если уж сдаваться, так сразу, а не втихомолку и похолуйски!

Должно быть ясно: когда *равно значительные* языковые культуры в своих контактах заимствуют друг у друга отдельные слова – это понятно, потому что

естественно. Но когда, *при отмеченной равнозначности,* это происходит главным образом с одной стороны, то со всей очевидностью свидетельствует *о психологической слабости, моральной ущербности и духовном пораженчестве* допускающей этот процесс "стороны", таким образом, *превращая общество и самый народ в мировую окраину.* Применительно к России это равно свидетельствует как *о вторичности самосознания лёгких в "окультуривании"* нынешних русских, ***так и о том, что они ими не являются...*** Ибо для русских по исконной принадлежности к своей истории и культуре такое самоуничижение является казусом или вопиющим исключением.

"Мы русские – какой восторг!" – говорил Александр Суворов – "Меч России", до мозга костей принадлежа мощному культурно-историческому пласту русской жизни. Это было самоощущение, личная оценка и восхищение народом в ипостаси чудо-богатыря, "булатную" закалённость которого явил сам Суворов. Всего этого лишены нынешние, не помнящие родства *заёмщики чего попало и отовсюду*. Психологически существуя в около-истории и оставаясь чуждыми отечественной жизни, они и обрекают Россию на вторичность. Здесь и нужно искать *неприязнь "к самим себе", "своей" культуре, языку* и, наконец, *к друг другу*... Здесь же взращиваются адепты глобализации, маскирующиеся под попечителей народа в лице политиков и "спецьялистов" по языку, обкатывающих свои "открытия" в либеральных СМИ. К примеру, на страницах журнала "Знамя" и "Звезда" (кстати, *"Знамя"* теперь уже чего?.. Со *"Звездой"*-то понятно...) сии знатоки языцей, а всего более ересей лингвистики, не устают навязывать обществу то латинскую "буквицу", то английскую лексику. Всё неймётся ненавистникам русского Слова! Хочется им замордовать или размыть до неузнаваемости великолепие языка Лермонтова и Тургенева!

Конечно, не на всякую глупость следует обращать внимание. Но иная из них, облачаясь в псевдонаучную форму и свивая паршивые гнёзда в редакциях русскоязычных журналов, подчас находит сторонников среди несведущей публики. Делая свои мыслишки "достоянием общественности", литературные трутни и грантоеды, звеня сребрениками, вносят свою лепту в разрушение *всякой* национальной культуры. Закрывать глаза на такого рода "рупоры гласности" совершенно недопустимо. Ибо всё, что не служит интересам России, работает против неё!

В "непричёсанных" редакторами дневниках Достоевского, статьях и письмах русских классиков разъяснён уже *характер опасности* русской культуре и языку, в частности. Те, кому дороги богатейшие россыпи и нераскрытые ещё залежи удивительно пластичного, многомерного и жизненно ёмкого русского языка, знают, что он является средоточием формируемого многими веками *стиля мышления, склада ума и характера народа*. Это и делает язык исторически заявившей о себе нации уникальным явлением мировой культуры.

Русский язык сродни океану. Верхняя, обиходная его часть подвержена "ветрам перемен", *но не глубины его.* Так, айсберг являет свою мощь главным образом сокрытой, *глубинной своей частью*, без которой "айсберг слов" будет плоской ледышкой, легко стаивающей под внешним воздействием. Будучи социо-народо- и страно-образующим феноменом, язык не позволит безнаказанно вычленять *себя* из души народа и мышления его. Тем более, что он есть инструмент не только мышления, но и чувствования, воображения, ощущения и творчества в целом.

Если волевым путём отсечь современность от консервативного, "отсталого" и "тянущего вниз" прошлого, то тогда неизбежно наступит духовное отупение и моральное разложение носителей языка. Ибо с потерей живых сущностей (образов) из языка и из души народа уйдут богатейшие пласты сначала письменной, а потом и всей остальной (в масштабе человечества – мировой) культуры: изобразительной, музыкальной и пластической. Язык всякого народа содержит в себе условную сумму духовной и исторической информации о нём, при историко-культурном своеобразии составляющую *общую значимость* его языка. Когда в народе, а значит, *и в языке* преобладает внутренне обусловленная *значимость*, тогда он, мощно заявив о себе в истории, создаёт великую литературу. Когда же громким "языком" начинает "орать" о себе поверхность, в характере будет преобладать разбросанность и доминировать инертность, при которых достоинства неизбежно оказываются на вторых или вовсе никаких ролях, тогда и литература, соответствуя им и плетясь в хвосте

опущенной культуры, становится вялой и неслышной для себя и, тем более, для других народов. Отсюда важность формирования *и отдельных личностей*, позитивная сумма которых составляет культурное богатство общества и народа.

Подобно живому организму, язык развивается, приходя в соответствие с формами сознания и неизбежным *количественным* расширением материального мира. Но, как и в нерукотворном храме, в нём есть святыни, которые необходимо *почитать и защищать!* Слово хранит в себе таинства, смысловую, образную и художественную сущность которых необходимо оберегать от духовных невежд и псевдореформаторов, добровольных или нанятых могильщиков культур, языков и наречий.

Язык нашедших себя в мировой культуре народов несёт в себе интереснейшую информацию, *содержащую код созданной культуры.* Богатые смыслом и образами языки, стоящие у рождения всякой целостной культуры, ждут бережного *раскрытия и сохранения себя в самом языке в виде письменного или устного Слова*. Но "лингвисты" и "филологи", как и "парикмахеры" и "фармацевты" от литературы, вне сомнения, знают, что исчезновение языковой сущности повлечёт за собой деградацию сознания человека, общества и народа в целом (не знают они только того, что деградация коснётся и их самих!). Она и будет местью языка *тому народу*, который не ценит, а значит, и не заслуживает его достоинств, художественных образов и смысловых сокровищ...

Что касается возможных и неизбежных языковых изменений, то естественнее будет исходить от *корней* (в данном случае – *славянских*) *слов*, что присуще *народной этимологии*. Тогда, не нарушая *сущность языка*, изменения и привнесения смогут дать здоровые, плодоносные ростки. В этом процессе могут приживаться и чужие слова, если они органично впишутся *в характер и своеобразие русского Слова и речи*, без чего русский язык не является национальным.

И в самом деле, сколько поэзии в таком слове, как "*про*тал*и*на", отражающем *проседание субстанции*, *податливость её*, внутреннее неслышное и невидимое *сочение* воды – *талой* воды; или в слове "*ка*пель", внутренняя (слоговая) раздельность которого несёт в себе и *пластичность,* и *отрывистость*, передающие *неспешное падение одной и рождение новой* "капли". Вот и "*ру*чей" даёт представление о малой, резвящейся по камням и неровностям почвы *ручной* речушке. Подобных прекрасных, образных, живых и навсегда современных слов в русском языке не счесть! Эта же ёмкость языка позволяет ему дружить с новоприёмными словами. Наверное, одним из них может быть предложенная мною *эвольвента* (производное от завитка греческой капители ионического стиля – *волюты*). Ибо не знаю, как, избегая многословия, передать изменяемость в своём развитии духовной, бытийной и смысловой ипостаси в пространственном, "завивающемся" продолжении своём могущей привести к содержанию, *противостоящему* начальному.

О тектонике языка

Казалось бы, нет нужды доказывать исключительную важность языка в его *этической* и *культуроформирующей* ипостаси. И всё же приведу мнения авторитетных этнолингвистов Э. Сепира и его ученика-единомышленника Бенджамина Уорфа, ясно показывающие: *язык не просто способ общения – это психический склад народа*.

Американский учёный Э. Сепир отмечал важность в человеческом общении, в первую очередь, *языковых норм*: "Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления, главным образом, благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения".

Б. Уорф, завоевавший мировую известность своей теорией "лингвистической относительности", согласно которой открывающаяся человеку картина мира в значительной степени определяется системой языка, на котором он говорит, делал акцент на строительные, *культурообразующие* особенности языкового материала: "Языки различаются не только тем, как они строят предложения, но и тем, как они делят окружающий мир на элементы, которые являются материалом для построения предложения. *Грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза*"

(выделено мной. – **В. С.**). Грамматические и семантические категории языка, согласно Уорфу, служат не только инструментами для передачи мыслей говорящего, но формируют его идеи и управляют его мыслительной деятельностью, *дисциплинируя*, добавлю от себя, *поведение человека*, *стиль его мышления и логику построения фразы*.

Оттого в тех же США (и особенно в США!) вас могут не понять, даже если вы построите фразу грамматически правильно и произнесёте её без акцента. Потому что вы свой *стиль мышления* "не выстроили" в соответствии с местноязычной грамматикой. Таким образом, заявляют о себе *связь стиля и логики мышления* с грамматической формой их выражения. Впрочем, помимо понятийного несоответствия мыслительных процессов виной тому окажется ещё и ущербное ассоциативное мышление, в ходе культурной эволюции англосаксов уступившее *сугубо рациональному* мировоззрению в ущерб самому миру (о том, почему глупый "на всех языках" не поймёт умного, говорить не будем, – тут явно причины иного рода).

И в самом деле, позвонив в англоязычную страну, вы можете услышать по автоответчику: "Please, leave me a message. I will call you back", что в буквальном переводе на русский язык означает: "Пожалуйста, оставьте мне сообщение, я позвоню вам обратно".

В русском языке отмеченные слова опускаются. Они и не пишутся, и не произносятся, *потому что подразумеваются*. В этом проявляется специфически русская экономность мышления, имеющая основу *в стиле жизни и мировосприятии*, отличном от англосаксов. Мировоззренческая разница, будучи базой всякого языка, здесь заявляет о себе в языковой форме.

В по-инженерному строгой и неизменной конструкции английского предложения: *подлежащее – сказуемое – дополнение* – заложена архитектоника, выстраивающая дисциплину информативного общения, тогда как носителю русской языковой динамики свойственно *предполагать* (додумывать) то, что не выражено (не высказано) словом. Эта особенность русской (славянской) ментальности – видеть мир в его многосложности и *неоднозначности*, как мы уже говорили, – исходит от культурно-исторически сложившегося мировосприятия. Именно оно, вне всякого сомнения, способствовало созданию великой литературы с её богатством образов, пластичностью *и широтой ассоциативного ряда* в языке. Но *эта же особенность*, ввиду неизбывной нашей "стихийной" *склонности недосказывать и на деле – не завершать*, *обусловила отставание в том, что требует чёткой организации, дисциплины и аккуратности исполнения*. Отсюда нескончаемые беды в экономике, путаница в социальных связях, бытовых и всяких иных отношениях.

К примеру, на вопрос: "Где находится...?" или "Как пройти...?" – вам скорее всего ответят: "Там..." или: "Идите *туда*...", указывая направление мимо всяких дорог. В результате вы ещё не раз будете вынуждены задать тот же вопрос. И это при том, что *оно*-таки, действительно, *"там"*, но *по некой прямой*... – "по воздуху", над котлованом разрытой до подземных ключей улицы (потому что технику некогда завезли "не туда", то и рыть начали "не там"), через кварталы и невесть откуда появившиеся стройплощадки (которых вчера не было, да и сегодня не должно быть) и т. д. Такого рода трудности будут подстерегать вас *и там, где и желательна, и важна максимальная ясность*. Эта же способность перетолковывать (ввиду той же *"шири" и "вековой" неопределённости*) тему в неведомые и порой неожиданные для другой стороны значения позволяет понимать самые очевидные вещи *"и так" – "и эдак"*. И даже в такие взаимоисключающие слова, как *"да"* и *"нет"*, мы умеем привнести оттенки, нивелирующие их решительную однозначность.

Оно вроде бы и "да", но вместе с тем и не совсем "да"... Почему? А пёс его знает... Во всяком случае, в "округлости" его иной раз ощущаются "колючие уголки" (понятно, что тоже неочевидного) "нет", что, наверное, каким-то чудным образом вмещает в себя нашу знаменитую вселенскую ширь, в которой безнадёжно тонет самое мудрое мировоззрение и не может найти для себя опору "железная логика".

Также и "нет". Оно, конечно, "нет", но в то же время не совсем "нет...", ибо в нём ощущаются "округлости" того же, где-то в уголках сознания затаённого, "...да". В результате: *ни "да"*, *ни "нет"* (*ни то ни сё*). Но и в этом же поле раз можно нарваться на такое (словно обухом по голове) **"НЕТ"**, что хучь стой, хучь падай! Так же, впрочем, как и от **"ДА!"**, потому что тоже "обухом"...

Словом, и здесь "единство противоположностей". Есть ещё более плотные, не столько по смыслу, сколько "по эмоциональной окраске" слова, рассмотрение которых может лишь вдохновить известных нам сочинителей.

Кстати, о ясности и точности в значении слов

Английское couple или pair и в переводе и наяву означает *точно* два. В славянском сознании "пара" это тоже "два", *но может быть три и даже четыре...* Поэтому, если вы скажете англичанину, немцу или американцу: "Приходите через *пару дней"*, – они заявятся к вам *точно через два дня,* и вы можете оказаться не готовы к встрече. Если же где-нибудь в русской глубинке спросите у хозяйки *пару яблок* или *пару грибов*, то она не замедлит отсыпать вам полсумки – *от души и бесплатно.*

В данном случае – и в этимологии слова, и в характере человека, – заявляет о себе *щедрость* и *великодушие*, некогда особенно присущие русскому народу, но в нынешних реалиях создающие *неясность, непонимание или недоумение* (англичанин, например, спросит *пару фунтов* яблок или грибов и непременно заплатит). Примерно о том же (вот и у меня – "примерно") писал Уорф. Впрочем, не только об этом.

В соответствии с его теорией, индивиды членят мир на фрагменты, *предопределяемые структурой их родного языка*. Так, если для обозначения схожих объектов в одном языке имеется несколько различных слов, а другой язык обозначает их одним словом, то носитель первого языка должен уметь определить разницу характеристик, тогда как носитель другого языка не обязан это делать. Таким образом, Уорф отмечает важную роль родного языка не только в межличностном, но и в межнациональном общении, подразумевая и известные трудности в работе филологов в постижении премудростей литературного творчества.

Итак, язык, будучи самодостаточным, не является только самостоятельной величиной. В своих проявлениях перерастая функции общения и информатики, он приобретает содержание, которым полнится общество, живущее и мечтами, и благими намерениями, и реальностями бытия. Потому именно духовное здоровье народа *вкупе с его культурно-этическими запросами* определяет "здоровье" языка. Более того, обладая немалой социальной и культурной ёмкостью, включающей развитое мировосприятие народа, язык, будучи важнейшей частью культурной и общественной жизни, определяет культурный массив настоящего и будущего страны. Ввиду этого осмелюсь заявить: *языковые параметры есть* ***самостоятельные начала цивилизационной идентификации.*** Поэтому для сбережения русского языка от словесной грязи следует отвергать всякое пустое или провокационное "совершенствование" его. Отвергать ещё и потому, что отдающие кладбищенским духом сочинения лицедеев от филологии, совершенно свободные от нравственности, *перегружены псевдосмыслом.* Это прирождённые мастера о простом говорить сложно, о совестном – с издёвкой и пренебрежением, о духовном – цинично. Именно эти самозваные "благодетели" и самоизбранные опекуны *всякой* культуры являются первыми завистниками и неприятелями великорусского языка. А ведь русская культура тем ценна для остального мира, что, наделённая стремлением к истине, исследует душу человеческую. Для этого она в полной мере обладает языковым богатством, пластикой, многозначностью и выразительностью образов, произрастающих в беспокойной душе народа – *истинного носителя языка и запечатлённых в нём образов.* Отсюда важность сохранения языка, который есть *пользуемая со-творческая ипостась души человеческой, без которой человек и человеком-то не является.*

В том-то всё и дело! Именно здесь зарыта собака. *Человек* в глобализованной культуре попросту не нужен. Он лишний!

Но кто же нужен?

Да в том-то и дело, что *Никто* – "глобальный ноль", многомиллионный потребитель, *комфортно существующий вне всякой национальной культуры!* Отсюда "желание исказить, окарикатурить человека, лишить его богоподобия и сделать скотоподобным", – писал Г. Свиридов. Во всём прослеживается "идея" *пересотворения человека в недочеловека!* Поэтому, имея в виду "пекущихся" о русском языке, следует говорить *не о средствах* лицемеров и лжецов, *а о целях*, которые они преследуют. Обращение homo sapiens в биоовощ,

наделённый покупательной способностью, есть одна из них, для чего культура языка сводится к некому "юниверсуму". Опасность такого "бытия" нарастает с увеличением пустых и *безликих,* ибо обездушенных, клипов мышления, которые ввиду плоских характеристик легко укладываются во всякой голове. Эти, по факту пересозданные, неисчислимые "хомо сапиенсы" и есть жертвы потерявших или вовсе никогда не имевших совесть фальсификаторов – менеджеров лжи, функционеров "культурной" подлости и насилия над лучшим, что было и всё ещё есть в человеке!

Но беда не только в новоявленных "схариях-интернационалистах" и даже не в числе их, а в том, что ереси их обращаются в теле ослабленного духом общества в раковую опухоль. Как тут не вспомнить Ортега-и-Гассета: "Не страшно захворать – *страшно быть самой болезнью.* Плохо, когда общество поражено безнравственностью, хуже, *когда оно перестало быть обществом"!*

Об "Иванах, не помнящих родства" в верхних эшелонах власти можно и должно говорить много. Но и остальным, кто не "там", должна быть ясна и цена, и мера великой ответственности. Ибо великой страны заслуживает не тот народ, *который некогда заявлял о своих выдающихся качествах, а тот, который продолжает заявлять о них в исторической жизни!* Могучий народ никогда не размещался в "собачьей конуре" истории. Она попросту не годится для того, кто нуждается в иных культурных и пространственных измерениях. Этим отличается пёс, привязанный к собачьей конуре, от созвездия Пса, принадлежащего звёздным пространствам мировой истории!

США

Николай Коняев появился на страницах "Нашего современника" в начале 90-х годов благодаря Вадиму Валериановичу Кожинову, отметившему дарование молодого автора, и тогда вышла экстравагантная повесть "Гавдарея", благодаря которой на много лет писатель из города на Неве стал автором журнала на Москве-реке. Ироничный, остроумный, но в то же время въедливый историк, нередко своими суждениями вызывавший огонь на себя, Николай Михайлович всегда оставался привлекательным для читателей "Нашего современника". Он описал жизнь другого Николая Михайловича — Рубцова — так, что до сих пор это жизнеописание остаётся лучшим. Затем последовала череда рассказов религиозной окраски, знаменовавшая собой становление Николая Коняева как православного христианина. В редакции всегда с интересом следили за творчеством Коняева. И вдруг — неожиданное скорбное известие: этого интереснейшего человека не стало. Не достиг и 70-летнего рубежа. По современным понятиям — рано! Мы будем всегда помнить Николая Михайловича и добром вспоминать мгновения общения с ним в стенах нашей редакции.

Коллектив "Нашего современника"

ЭДУАРД АНАШКИН

РАССВЕТНЫЕ ПЕСНИ КАРИНЫ СЕЙДАМЕТОВОЙ

Моё личное знакомство с Кариной Сейдаметовой состоялось позже, чем знакомство с её стихами. Одна из первых встреч с Кариной произошла на Всероссийском поэтическом фестивале “Соколики русской земли”, который Евгений Семичев проводил в Новокуйбышевске. Помнится, стояла зима, но фестиваль оставил ощущение яркости и приподнятости настроения. И причиной тому в немалой степени были первые фестивальные лауреаты, среди которых – молодой поэт Карина Сейдаметова.

Не меньше памятна мне другая наша встреча, состоявшаяся в селе Майском, где я живу, благодаря замечательному православному поэту, прозаику, драматургу Владимиру Осипову. Ныне Володи уже нет с нами, но в Самаре и поныне вспоминают с благодарностью ту большую работу по пропаганде литературы, что он проводил. А тогда Владимир Осипов организовал вечер поэзии в местной школе. И пригласил выступить на этом вечере наших землячек, самарских поэтесс Диану Кан и Карину Сейдаметову. Вечер тоже удался на славу, собрав полный актовый зал и став культурным событием в жизни нашего села.

Было это в далеком уже 2007 году, когда Карина ещё жила в городе Новокуйбышевске. Небольшой уютный городок, ближайший сосед Самары, стал для поэтессы не только малой родиной, где жили и живут её предки, но и местом прохождения первых “литературных университетов”, стартовой площадкой для творческого становления:

Новокуйбышев... Бабушка Анна...
Душный август... Прости-прощевай,
Край охранный мой, обетованный,
Вспоминай обо мне, вспоминай!..
Край наследный мой — мир соколиный,
Мой нежданно-негаданный рай.
Домик в листьях отцветшей малины,
Блик остатнего солнца вбирай!
... Это чувство вины запоздалой
(Вспоминай меня, край, иногда!) —
Осознать ценность родины малой,
Покидая её навсегда.

...Вскоре после нашего знакомства Карина Сайдаметова была принята в Союз писателей России и поступила учиться в Московский литературный институт. Я охотно дал Карине рекомендацию в Союз писателей России десять лет назад. А с тех пор, наблюдая за успехами этой поэтессы, лишь укреплял-

ся во мнении, что поступил правильно, поддержав молодой талант, ведь такими рекомендованными с годами только гордишься. Это, согласитесь, бывает далеко не всегда. Порой приходится и жалеть, что дал рекомендацию автору, как бы подписался за него, а автор не оправдал надежд, пишет "левой задней ногой" да ещё и ведёт себя так, что стыдно лишний раз вспоминать о своей рекомендации.

В случае с Кариной у меня появилось немало поводов для радости и гордости за неё. Радовался, узнав, что Сейдаметова стала лауреатом Всероссийской поэтической премии имени Юрия Кузнецова. Радовался, когда стала лауреатом Международного православного фестиваля "Рождественская звезда". Радовался, узнав, что успешно закончила Московский литературный институт... И вот держу в руках новую книгу Сейдаметовой "Вольница", третью по счету, но первую, вышедшую в Москве, где Карина теперь живёт и работает.

Даже по названию книги видно, что Карина Сейдаметова как поэт выросла на Волге, вольной реке. И достойно несет волжское поэтическое слово – свободное и раздольное. На Волге сходятся самые разные дороги востока и запада, старины и современности, государевой державности и казачьей вольницы. В волжском многонациональном тигле язык переплавлен в звонкое золото. И Карина Сейдаметова остаётся в лучших своих произведениях детищем этой волжской раздольной песенности и глубины:

Две стороны одной луны мерцают.
И я за обе, как могу, молюсь...
Когда клянут друг друга Золотая
Орда-беда и грусть — Святая Русь.
Наследье предков — роковая мета!..
Не потому ль характер мой суров?
В нем царствует татарин Сейдаметов
И властвует казак Пономарев.
Правители судьбы моей строптивой,
Два рода: кочевой и боевой —
Кресало и кремень, а я огниво
Фамильной жгучей связи родовой...

Читал книгу и вдруг изумился, дойдя до стихотворения про старинную деревню Марьевку, соседку моего села Майского. Стихотворение-то явно автобиографическое! Вот уж не думал, не гадал, что Карина маленькой девочкой бывала совсем неподалеку от нашего села. И сегодня по пыльным улочкам Марьевки колесят на "лисапедах" маленькие девчонки, как когда-то автор книги "Вольница". Жива русская глубинка!

Встречай, деревня Марьевка,
Из города родню...
Где я девчонкой маленькой
Взрастала день ко дню.
Табачину накручивал,
Ворча, на лавке дед:
"Чай, ничаво, научишься!
Вон старый "лисапед"...
А после с бабой Клавою,
Минуя огород,
В даль выйду величавую —
В калитку летний ход.
... Там, за малинным маревом,
Где память детства ждет,
Меня в деревню Марьевку
Никто не позовёт,
Где маленькой девчонкою
Мечтала и росла.
Из-за околиц звонкая
Святая даль плыла...

Первое ощущение вольницы, когда ребёнок, обдуваемый ветерком, обретает ощущение себя детищем большого русского пространства. Это ощущение позже скажется в стихах Карины строками о северных озерах, о туркестанских просторах... Но вот что интересно. Во времена, когда маленькая Карина на "лисапеде" колесила по Марьевке, набивая шишки на коленках, ни о какой святости марьевской дали речи не могло идти, потому что не было в Марьевке храма, порушенного во времена гражданской сумятицы. Но маленькой Карине почему-то всё равно виделась не только величавость, но и святость марьевской дали.

Думаю, Карина Сейдаметова порадуется, узнав, что величавая марьевская даль, как Карина в детстве её увидела, всё-таки огласилась святыми звонами недавно открытого Свято-Никольского храма. А начало его строительства ознаменовалось чудесным обретением старинной иконы Святителя Николая Чудотворца. Старинное русское село Марьевка, появившееся в заволжской степи почти три столетия назад, снова стало богомольным. И совсем напрасно поэтесса пишет: "Меня в деревню Марьевка // Никто не позовет!" Гостеприимства и хлебосольства Марьевке не занимать!

Карина Сейдаметова и сегодня, как в юности, верна себе. Она, как и прежде, не гонится за дешёвой авторской популярностью, не унижается до барабанных стихов о России. Как и в юности, для Карины чувство родины – тихое чувство, таинство:

Этот ветер не сдержит никто!
Он корежит родимые ветки
И на пугале треплет пальто.
И ревёт над могилами предков.
Он деревья от века ломал.
По дорогам пускал чернозёмы,
У господнего древа дремал,
Со снегами кутил до потёмок.
...Пальтецо продувая насквозь,
Он пугает понурых прохожих,
Разоряет рябинную гроздь,
И озноб разгоняет по коже.
Одичалому ветру хлестать
И заламывать ветки до хруста...
Ведь ему никогда не приять
Чувство родины — тихое чувство...

Стихи Сейдаметовой – это рассветные песни долгих мучительных поисков во тьме непростой земной жизни. Поиски, которые проходят в столкновениях с болью, разочарованием, но только так человек и может обрести истину. Выстрадать во тьме блуждания в самом себе и в погружённом во мрак мире, когда поэт не позволяет себе извериться в том, что рассвет наступит тогда, когда его призовёт рождённая во тьме во имя света песня:

...Песня к рассвету поспела и
Зорька, как мать, тяжела.
Зоркою яблоней белою
С новой весной расцвела...
Много под яблоней этою
Спето-сговорено слов,
Что нам на жизнь нашу сетовать,
Муку в муку измолов.
Дверь притвори в доме стареньком
И, не гадая, молчи!
...Жизнь потихоньку уставится,
Словно заслонка в печи.

В книге "Вольница" стихи имеют все приметы творческой зрелости чувств – от личного и гражданского до патриотического и материнского.

“Вольница” – не просто книга талантливого автора, это книга этапная в поэтическом становлении. Книга зрелая, чувственно выстраданная и обозревающая мир не просто лирическим взглядом поэтессы, но взглядом поэта-патриота, хотя этот поэт женщина и мать. Поэта, чётко осознающего свою личную ответственность за будущее России.

Многотрудное счастье моё!
Поднимается солнце с востока,
И природа себя узнаёт —
Узнаёт в сыновьях ненароком.
Среди сутолок будничных дней,
Среди призрачных дум о высоком,
Кроме сказок, светлей и ясней
Мы согреты лучами востока.
Ну, а если покажется мне,
Не жена я, а только невеста —
Где-то мальчик заплачет во сне,
И опять не найду себе места.
Жизнь рассветные гимны поёт,
День взмывает в лучах исполином.
Многотрудное счастье мое,
Наречённое ласково — сыном.

И мы, благодарные читатели, приветствуя появление на литературном небосклоне России яркой самобытной поэтической зарницы, вправе ждать, что вскоре она пополнит плеяду звёзд русской поэзии.

В связи с техническими сбоями в стихах **Вадима Ковды**, напечатанных в номере 07-2018, были допущены ошибки. Строку *“всем друзьям расскажу, как счастливым в СТРАДАНИИ быть...”* следует читать так: *“всем друзьям расскажу, как счастливыми быть...”*, а также строфу –

А на снегу сидит, исполнена страданья,
ворона, до костей продрогшая насквозь.
И голосом глухим, простуженной гортанью
скрежещущее — кар-р! — неведомое слово

следует читать:

А на снегу сидит, исполнена страданья,
ворона, до костей продрогшая насквозь.
И голосом глухим, простуженной гортанью
скрежещущее — кар-р! — роняет на мороз.
Скрежещущее — кар-р! — неведомое слово.

Приносим автору свои извинения.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Я так много хочу о нём сказать, что даже не рискну начинать сегодня.

Только одно вспомню.

У него всё время играла музыка в машине, непрестанно. Он постоянно цитировал какие-то строчки из песен на память, удивляясь, как сказано, как сформулировано. У него было поэтическое мироощущение.

Самые любимые песни у него были – конечно же, песни Великой Отечественной и о Великой Отечественной.

Он весь в них растворялся, он был совершенно оттуда, из этих песен.

И, удивительно, я как-то спросил у него о любимых фильмах – и он назвал несколько чёрно-белых советских кинолент.

Про Нахимова, про Кутузова. Фильмы, которые вышли в те ещё времена, в очень давние.

Понимаете, у нас с ним был год разницы – мы практически ровесники, – но я никогда, за три года работы с ним, никогда не слышал, что он даже упоминал имена каких-то исполнителей или кинозвёзд эпохи нашей юности и молодости.

Никого и никогда. Это будто бы казалось ему лишним, суетным, наносным, неважным.

У меня было твёрдое и совершенно спокойное ощущение, что вырос он не в 80-е и 90-е – а в сороковые, в пятидесятые.

Он был совершенно из того времени и из того материала – он был совершенно своим среди людей, победивших в самой страшной мировой войне и отстроивших страну заново.

У меня всегда было ощущение, что он старше меня на тридцать или сорок лет, или на несколько жизней. У всех было такое ощущение.

Он был один из самых лучших мужиков на земле из числа известных мне. Может быть, самым лучшим.

Когда произносишь самые важные понятия, характеризующие настоящего мужчину, сразу осознаёшь, что это его личностные характеристики.

Мужество — он. Честь — он. Ум, интуиция, прозорливость — он. Юмор и задор — он. Ярость и бесстрашие — он. Широта души и щедрость — он. Искренность — он. Гостеприимство — он. Неутомимость и огромный запас физических и душевных сил.

Верность слову. Если он давал слово даже врагам не мстить — он не мстил никогда.

Он был слишком хороший для политика. Он был слишком смелый для солдата.

Поэтому его убили.

Непосредственные исполнители и разработчики убийства: офицеры СБУ.

Такое резонансное действо должны были неизбежно согласовать с Порошенко: издержки теракта могли оказаться слишком велики. Так что Порошенко знал.

Однако, рискну сказать вслух, имел место и посторонний импульс, быть может, даже заказ.

В ДНР за годы войны начали строить социализм: при всём том, что Захарченко социалистом не был. Просто для кризисных ситуаций никакая другая форма экономических отношений, как выяснилось, не подходит.

Поэтому: национализация и плановая экономика.

Сложно сказать, кто не любил Захарченко больше: украинские политики, неонацистское быдло, украинские военачальники или олигархат — украинский, и российский тоже.

С Донбасса погнали весь "крупный капитал" — никаких финансовых игроков там не осталось: им не было места.

Они пытались зайти сначала при помощи украинского оружия, а затем вдруг объявились в Москве и стали пытаться зайти оттуда, легально: вернуть себе свои заводы, фабрики и гостиницы.

У Захарченко в Москве была кличка "Упёртый". Он никого не пускал. Говорил: ополченцы отвоюют, им надо возвращаться на работу — и они вернутся на предприятия, которые принадлежат республике, а не чёрт знает кому.

Через считанные дни, если не часы, после его убийства в Донецке начался передел собственности и начали открываться офисы тех, кого он при жизни так и не пустил на Донбасс.

По ряду предприятий, которые были официально переведены в госсобственность, тут же возбудили уголовные дела по факту "Хищения".

Капитализм победил. Это наводит на некоторые мысли, правда? Они были слишком готовы к его смерти.

Взгляды мои: лево-консервативные, и я иной раз спорю со своими "правыми" коллегами, пытаясь объяснить им банальные вещи. Например, такие: капиталисты могут позволить вам ходить хоть с трезубцем, хоть с иконой Николая II, хоть с Перуном. Им всё равно. Всё, что их интересует — вопрос собственности.

На Донбассе имела место попытка построить народную республику — да, получилось далеко не всё, да, много шло наперекосяк, — но, уверяю, направленность была явной и очевидной.

Теперь там этого нет. И не будет.

Чем же сердце успокоить?

Донбасс всё равно не сдадут.

И по той причине, что жители Донбасса сделали свой выбор.

И по той причине, что России нужен плацдарм, чтоб не потерять всю Украину разом.

И по той причине, что капиталисты тоже не делятся своим с кем попало. Хотя вывеска им, в сущности, не важна: Украина, Россия, Новороссия — без разницы. Но в данном случае вывеска "Украина" не предусмотрена.

Разочарован ли я итогами Русской весны?

Кому какое дело до того, что я чувствую.

В любом случае: земля священна и священно русское слово.

Жители Донбасса говорят на русском языке и живут на русской земле.

Это — результат. Это лишь часть результата, какого мы хотели, но будем довольствоваться тем, что есть.

Революция завершилась.

Единственно что: та радость, которая обуяла компрадорскую, быдловатую и неонацистскую часть Украины в связи с убийством Захарченко — глупа.

Убивая, они думают, что приближают возвращение Донбасса.

Отлично зная, что на Донбассе действительно имеет место Гражданская война, они убедили себя, что никакой Гражданской войны нет, а есть ряд лидеров, которых надо убить – и тогда Донбасс сам упадёт в руки.

Они все выводят народ из уравнения – народ, как субъект истории, в их сознании отсутствует.

Они могли видеть море людей на похоронах Гиви и Моторолы. И они видели. И в день похорон Гиви, и в день похорон Моторолы в украинских СМИ и в украинских соцсетях был наложен полный запрет на показ событий из центра Донецка.

Потому что вид десятков тысяч людей, стоящих в многокилометровых очередях, чтоб проститься со своими героями, ломал все эти схемы.

Но что им делать ещё – этим властям, этим силовикам, этим спецслужбам, этим олигархам, мечтающим вернуться в Донецк, – они больше никак не могут повлиять на Донбасс.

Если проводить на Донбассе любые выборы и любой референдум, Донбасс вновь проголосует за отделение.

Если идти войной – они проиграют эту войну.

Они могут только убивать. Это по большому счёту всё, что умеет молодая украинская демократия.

Пилить и воровать, калечить и убивать, и потом чудовищным образом врать по всем этим поводам.

Торговать своим суверенитетом направо и налево, и потом снова пилить и воровать, калечить и убивать и врать, врать, врать.

Прощаться с Александром Захарченко пришли более двухсот тысяч человек. Три четверти людей просто не успели попрощаться – потому что если бы прощание продлили, оно шло бы сутки, двое, трое, неделю. Никто не взял на себя ответственность за это из властей республики.

Море людей, невиданное количество цветов – и крик людей: “Спасибо” – когда выносят гроб и когда гроб опускают в землю. И слёзы.

Нынешняя, сворованная у нормальных украинцев, Украина международного жулья и неонацистских дегенератов, теряла Донбасс, когда убивала тысячи гражданских и тысячи ополченцев Донбасса. Украина теряла Донбасс, когда убила сотни донецких детей. Украина теряла Донбасс, когда в спину убивала легендарных донецких командиров, которых так и не смогла победить в бою.

Украина потеряла Донбасс, когда убила Захарченко.

Они ликовали, ожидая, что теперь Донбасс упадёт им в руки, теперь его вернут.

Никто вам ничего не вернёт, утритесь.

И ещё два слова о Захарченко.

Он был единственным из ныне живущих руководителей государства, который реально воевал. Все знают про два его ранения – но у него их был добрый десяток. И не только на этой войне. Об этом, наверное, уже можно сказать – раньше это было нельзя. Это была не первая его война.

А ещё он прекрасно улыбался.

Есть такой сорт роз – улыбка Гагарина.

Донецк – город роз. Должны быть розы – улыбка Захарченко.

Захар ПРИЛЕПИН